



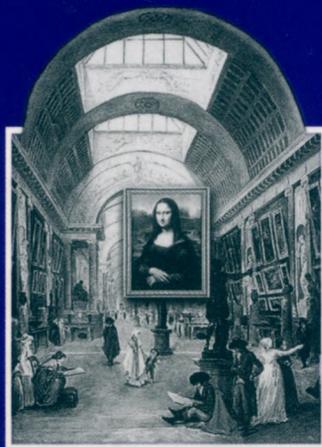
Улыбка Джоконды

НАГИБИН

ЮРИЙ

ЮРИЙ НАГИБИН

Улыбка Джоконды



«Это улыбка разочарования глубоко порядочной женщины, готовой преступить запретный порог, но обнаружившей, что за порогом этим пустота».

Юрий НАГИБИН



Юрий НАГИБИН

Улыбка Джоконды


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВЗОН
Москва
2004

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)
Н16

Оформление и компьютерный дизайн Ю.Ю. Герцевой

Подписано в печать 04.12.03. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 36,96. Тираж 5 000 экз. Заказ № 2035.

Нагибин Ю.

Н16 Улыбка Джоконды: Сб. / Ю. Нагибин. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ВЗОИ», 2004. — 701, [3] с.

ISBN 5-17-021233-X (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-9602-0029-5 (ОАО «ВЗОИ»)

Юрий Нагибин.

Классик русской литературы.

Непревзойденный художник, чья изысканная проза восхищала современников — и не утратила своего очарования сегодня.

Безупречный знаток СЛОВА, мастер СЮЖЕТА, виртуоз МЫСЛИ, каждое из произведений которого — настоящая жемчужина.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

© Ю. Нагибин, наследники, 2004
© ООО «Издательство АСТ», 2004

Итальянская тетрадь

Кондотьер



а площади Сан-Джованни и Паоло, бегло осмотрев собор и заглянув в примыкающий старинный госпиталь, мы с женой расстались; она пошла в город по магазинам, мне же хотелось побыть с Бартоломео Коллеони, чей знаменитый конный монумент высится у левого крыла собора. Мы решили встретиться в обед в небольшой траттории, примеченной нами, когда мы шли сюда с набережной Большого канала.

Бронзовый гигант известен каждому, кто бывал в Музее изобразительных искусств в Москве, по великолепной, в натуральную величину копии, установленной в нижнем зале, с которого начинается осмотр. Я влюбился в лучшее творение Андреа Верроккьо, когда впервые десятилетним мальчишкой попал в музей, который мать по старинке называла Музеем изящных искусств. В тот прекрасный жгуче-морозный январский день я раз и навсегда полюбил изящные искусства, и кровь во мне сменилась: послушное домашнее животное, прилежный ученик стал злостным прогульщиком, лентяем и лгуном. Вместо школы я чуть не каждый день отправлялся в музей, без зазрения совести обманывая и домашних, и учителей, выгадывая своим враньем свободу и очарование.

Так облагораживающе подействовали на незрелую душу изящные искусства.

Конечно, я полюбил многое в музее, но Коллеони остался во мне первой любовью. Он могуч и прекрасен, так же могуч и прекрасен его конь. В горделивом поставе прямой крепкой фигуры, в жестких морщинах грозного лица, в косо выдвинутом вперед плече под железным оплечьем, в неумолимом и победном облике воителя было все, чем пленяется героическое мальчишеское сердце. К тому же очаровывало, туманило голову звучное и таинственное слово «кондотьер». Я так же не задумывался над его смыслом, как и над смыслом другого заветного слова: «мушкетер». Мне не было дела, что кондотьер — это наемный военачальник, продающий свой меч любому, кто хорошо заплатит, а мушкетер — хранитель королевской особы. Я вкладывал свой смысл в эти слова, в тяжело-звонком «кондотьер» звучала битва, стук мечей, топот тяжелых коней, в «мушкетере» — скрежет острых шпаг.

Было и еще одно, сделавшее скульптуру Верроккьо столь важной для меня. Подавленные муки совести отыгрывались смутным ожиданием расплаты, я всякий раз не верил, что попаду в музей. Не верил, садясь в кольцевую «аннушку», не верил, приближаясь к ограде музея, не верил, подымаясь по широким каменным ступеням и слыша свое громко стучащее сердце, не верил, минуя контроль — это было самым страшным испытанием, — и разом исполнялся захлебывающейся веры, обнаруживая исчерна-зеленого кондотьера на своем месте. Правда, до этого счастливого мига мой стыдливый взгляд должен был скользнуть по белому, голому, как из бани, Давиду, держащему на плече что-то вроде мочалки, а затем уже находил Коллеони, и был мне бронзовый воитель гарантией предстоящего счастья.

Я продолжал любить Коллеони и взрослым, видя в нем уже не героя, а воплощение не пробужденной временем к

сомнений и милосердию средневековой души, зная, что полагается больше любить другого конника в том же зале — Гатемалату, созданного учителем Верроккьо, великим Донателло, ибо в нем больше гармонии, спокойствия, величавости, столь приличествующих скульптурным образам. Не экспрессия и движение стихия скульптуры, а состояние великого, сосредоточенного покоя. Это утверждали в один голос все экскурсоводы. Но я оставался верен Коллеони и всю жизнь мечтал о встрече с ним подлинным, первоизданным под небом Венеции. И как всегда бывает, оказываясь в Италии, не мог добраться до жемчужины Адриатики. Тоска по Коллеони стала ностальгическим бредом о детстве и пронзительной чистоте былого мировосприятия.

Наконец-то свершилось... Вот он стоит на высоком постаменте, еще более величественный в просторе и одиночестве, чем в тесноте музейного зала. И два времени — нынешнее, венецианское, и давнее, московского детства, — слились в моей душе.

Полное, радостное, чуть усталое чувство паломника, достигшего земли обетованной, владеет мною. Я не спеша захожу в прохладную мглу храма, смотрю на темные, почти неразличимые фрески и картины, на яркие пятна витражей и возвращаюсь на площадь, под синее венецианское небо, по которому проплывают битые осенние морские облака, погружая в тень фигуру кофодтьера.

Я не замечаю движения времени, мгновение остановилось...

— Синьор, я к вашим услугам. Хотите осмотреть храм, госпиталь или вас интересует памятник?

Он был похож на артиста Тото, такая же небольшая озябшая фигурка в светлом плаще с поднятым воротником, горбоносое, узкое, насморочное лицо с выступающим подбородком, полоской усов и темными, будто исплаканными глазами. Его грудь защищал от вея морских ветров песвежий шер-

стяной шарф, на руках были замшевые перчатки с дырочками на концах пальцев, но лихо заломленная фетровая шляпа придавала упылому облику некоторую жизнестойкость. Фигура этого человека уже мелькала передо мной и здесь, на площади, и в храме. Таких вот гидов-добровольцев полно возле любого памятного места, они подхватывают растерянных туристов-одиночек и за малую мзду знакомят с достопримечательностями. Этим занимаются разные люди: чаще всего пенсионеры, иногда безработные, нередко просто бездельники, предпочитающие случайный, но легкий заработок трудам праведным. Мне показалось, что обратившийся ко мне человек принадлежит к последней категории. Для пенсионера он недостаточно стар, для безработного слишком беспечен при всей своей захудалости. Он был одним из тех людей, что держатся в жизни лишь привычкой жить и при этом сохраняют хорошее настроение. Мотылек, моль, и все-таки пусть будет и такая краска на палитре жизни. Но сейчас мне хотелось остаться наедине с Коллеони, и я повел себя не слишком любезно.

— Не говорю по-итальянски, — сказал я по-немецки и тут же раскаялся.

— Синьор — немец? — спросил он с мягким венским произношением. — У нас не будет затруднений.

— Будут, — буркнул я по-английски.

— Синьор предпочитает английский? — улыбнулся человек и, предупреждая новый ход с моей стороны, произнес с американским акцентом: — Я могу и по-французски, и по-испански, и по-гречески...

— Не пойдет! — возликовал я на своем родном языке. — Я могу только по-русски...

— Чудесно! — радостно вскричал человек. — Я три года провел в русском плену и даже думать стал по-русски. Конечно, прошло столько лет... Как я говорю?

Я вынужден был признать, что говорит он на удивление чисто.

— У меня большие способности к языкам. Сложись моя жизнь иначе... — Он вздохнул. — Так что будем смотреть?

И чего он ко мне привязался? Я видел, как с ним расплачивалась чета белобрысых, вываренных в щелоке шведов. Он получил достаточно на порцию спагетти, или равиоли, или острой пиццы-неаполитано с анчоусами и на кружку светлого в таверне средней руки. А уже приближалось обеденное время, и не в обычае у таких людей жить впрок. Может, он разлакомился на порцию жареной рыбы с картофелем и бутылочку кьянти? Желание вполне понятное. Но у нас с женой на счету была каждая лира, мы всякий раз внимательно изучали вывешенное перед входом в trattoria меню, прежде чем переступить порог. Обойдется без рыбы с картофелем, гурман несчастный!

— Кондотьер Бартоломео Коллеони родился в Бергамо, — сообщил человек, не дождавшись моего ответа.

— Я был в Бергамо, заходил в церковь, где он похоронен, видел надгробье и каменную конную статую, не идущую в сравнение с памятником Верроккьо, — быстро проговорил я.

— Синьор много успел! — с огорчением сказал человек. — Может быть, мы пройдем в храм?

— Я уже был там и прослушал по автомату немецкое объяснение. Вряд ли вы скажете мне что-то новое.

Он не пытался убедить меня в противном. Свои сведения о храме он, несомненно, почерпнул из того же источника — автоматического гида, приводимого в действие двумя монетами по сто лир. И все же нелегко ему было вычеркнуть из своего меню жареную рыбу с картофелем и бутылочку кьянти. Впрочем, не исключено, что он мечтал о мельбе и чашке черного душистого кофе. Он сказал, хитровато прищурившись:

— Но ведь о Коллеони вы не слышали лекции?

— Я и так все знаю. С детства.

— Я говорю не о памятнике. А что знает синьор о самом Коллеони? Не о свирепом и беспощадном воине, страшном

для врагов Венеции, умеющей платить больше других нужным людям, а о Коллеони-человеке?

— А что о нем знать?.. — пробормотал я, чувствуя, что крючок бьет меня по губам.

— Это будет стоить всего одну миллю, — сказал человек. — Жалкую тысячу лир. Неужели знаменитый кондотьер этого не стоит?

Тысяча лир, мятая бумажка с портретом Микеланджело, полагается мне в день на карманные расходы. Это чепуха — один доллар и двадцать центов. Но с другой стороны, это большая кружка пива или две чашечки кофе и право сидеть допоздна в открытом кафе на площади Сан-Марко, слушая музыку. И если б я верил, что он действительно может рассказать что-то интересное!..

— Знаете, — сказал я, — а ведь мы с вами встречались. Лет десять назад.

Он почему-то смутился.

— Н-не думаю... Где, простите?

— В Риме. Вы рассказывали, почему улыбается Джоконда.

— Сеньор, поверьте, за всю мою жизнь я лишь раз покинул Венецию и сразу оказался в плену. — Для убедительности он прижимал руку к сердцу. — А там — Сибирь, снег и очень холодно. Это навсегда отбило у меня вкус к путешествиям. Я не был в Риме, даже в Падуе не был. Вы меня с кем-то путаете. И я не знаю, почему улыбается Джоконда. Наверное, просто от хорошего настроения. Но зато я знаю, что Коллеони, этот знаменитый воин, гроза врагов, звонкий шит и разящий меч Венеции, свирепый и непобедимый кондотьер, был... слабым человеком...

Я ждал чего угодно, но только не этого, и попался:

— Господь с вами! Откуда вы это взяли?

— Могучий кондотьер смертельно боялся своей жены. Это была настоящая ведьма, дьявол в юбке. Но, конечно, для своих домашних, окружающие видели ее улыбку. И потому лишь

немногие догадывались о семейном кошмаре Бартоломео. Когда он возвращался из походов, то попадал из огня да в полымя. С той разницей, что в битвах лил чужую кровь, а здесь терял свою. Да, да, скандальная и здоровенная баба швыряла ему в голову чем попало, дралась, царапалась и кусалась. Бедняга не решался снять латы и даже спал во всем своем железе.

— За что же она его так?

— Она считала, что он мало приносит в дом. Другие, мол, кондотьеры больше берут. Злая и корыстная баба. Для нее он был никчемным человеком, шляпой, размазней. Тут она сильно расхотелась с его врагами, которых он крушил и топтал на полях сражений, а потом безжалостно грабил. Но дома он был тише воды ниже травы. Что, храбрец, — теперь он обращался прямо к кондотьеру, — нашла и на тебя управа? Крепко доставалось от женушки?.. И знаете, — он хохотнул и втянул носовую влагу, — она ему изменяла. Кондотьер, под которым дрожала земля, не мог заставить дрожать семейное ложе. Он был рогоносец. Рогоносец Коллеони — хорошо звучит! — И, оттопырив указательный палец и мизинец, он стал показывать козу кондотьеру.

Для итальянца нет ничего оскорбительнее этого жеста. Сама измена не ранит так сильно, как насмешка. Тихий, мирный, робкий итальянец может кинуться в драку, обнажить нож, чтобы рассчитаться с обидчиком. Мне почудилось, что Коллеони тронул коня, сейчас он рухнет с пьедестала и разотрет в порошок наглеца. Железный гнев не минует и того, кто прислушивался к сплетне. Конечно, это была игра воображения. Недоступный земному лепету, надменный и сокрушительный, вел он сквозь вечность, как сквозь битвы, своего могучего коня.

И все-таки история гида меня позабавила. Он точно сработал на контрасте и, главное, посеял во мне какое-то сомнение. А что, если в самом деле могучий Коллеони был мужем-подкаблучником? Занятна такая живая и неожиданная крас-

ка в человеческом балагане. Да пет, гид использовал старый, давно известный прием. Как там у Лермонтова о другом бесстрашном паладине?

Вернулся он в свой дом
Без славы и без злата.
Глядит — детей содом.
Жсна сго брюхата.
Пришибло старика...

Но разобратся в этом мне не удалось. Тишина взорвалась праведным гневом моей вернувшейся жены. Она столько успела, а я все еще валандаюсь, как нищий у церковной паперти. Давно пора обедать. Она сбила ноги, разыскивая меня по всем тратториям. Никакие объяснения не принимались. Торопливо кивнув gidу, я подхватил жену под руку.

— Кондотьер, — слышался укоризненный голос, — а где же обещанная милля?

Я ему ничего не обещал, но сразу дал деньги. Не за вранье о Коллеони, а за повеллу, которую он мне подарил своей прелестной паглостью...

Вечерняя прогулка к термам Каракаллы

Решив рассказать, как мы ходили к термам Каракаллы в Риме, я вдруг удивился сходству этого слова с русским «теремом». Неужто тут общий корень? Термос — это тепло. Нет бани без тепла, и терем, как всякое жилье, дает кров и тепло. Непременная принадлежность терема — теплые сени. А с другой стороны, терем — высокое строение, стало быть, он как-то связан со словом «турн» — башня.

Императорские термы (в Риме есть еще термы Диокле-тиана и термы Траяна) служили не только для омовения, они были чем-то вроде клуба, здесь беседовали, рассуждали, спорили, читали вслух и пели, здесь звучали кифары, авлосы и лиры. И прохладное вино лилось в термах для остуды и освежения купальщиков, и тонкие яства подкрепляли умященную плоть отдыхающих на благоуханном ложе.

Каракалла — обычный древнеримский подонок, взошел на убийстве (прикончил своего брата-соправителя Гету), держался на массовых убийствах (резня в Александрии) и пал от руки убийцы — преторианца Макрина. В свободное от убийства время он покровительствовал строительству. При нем много строили — и в Риме, и в римских провинциях. Его бани — самые громадные после Колизея останки цезарийского Рима. Сейчас здесь ставят оперы и монументальные спектакли. Здесь же, под звездным небом, наш поэт в расцвете своей громокипящей юности сеял разумное, доброе, но, увы, не вечное. По-пятно, что нам не терпелось к баням Каракаллы, и, найдя их на карте города, составив маршрут, мы отправились в ранний, окрашенный нежно-алым закатом под вечер из нашей маленькой гостиницы, затерявшейся в кривых улочках близ Форума, в сторону Колизея. Впрочем, я зря расписываюсь за жену, которая вовсе не разделяла моего энтузиазма в отношении терм. Она почему-то не доверяла Риму за Колизеем. Ей по душе была та часть города, которая примыкает к вилле Боргезе, древние обнажения ее тревожили, арку же Константина она считала тем пределом, за который вообще лучше не выходить. Мне стоило немалого труда убедить ее, что нас ждет очаровательная и романтическая прогулка.

В новых городах полезно менять маршруты даже с риском запутаться. Смело сворачивайте в незнакомые улицы, переулки, дворы, пусть вы собьетесь с дороги, испытаете растерянность, страх, в конце концов вы непременно будете вознаграждены каким-нибудь открытием, встречей. Вопреки

обыкновенно мы пошли к Колизею не по виа Кавур, самой прозаической и деловой улице Вечного города, а по узенькой улочке, носящей имя древнеримского цирка, и сразу были награждены вознесением. Непонятно, каким образом мы очутились высоко над городом, над Палатинским холмом, вровень с верхними ярусами Колизея.

Прямо под нами оказался вход в метро и полицейский участок с крошечными фигурками блюстителей порядка в парадных плащиках с алым подбоем; справедливо было бы называть их жертвами итальянского беспорядка, ибо не проходит дня, чтобы их не убивали. От Сицилии до швейцарской границы идет беспощадная охота на полицейских. Но эти «моритури» (обреченные смерти) не становятся осмотрительней, собранней и серьезней; под дулами бандитских пистолетов они думают только о девочках.

Нам надо было спуститься вниз, чтобы попасть на улицу С. Грегорио, которая приводит к широченной и длинной улице Терм Каракаллы. Но спуска не было. Нам не оставалось ничего другого, как идти вперед, и гигантская обкусанная чаша Колизея медленно тронулась в одном с нами направлении. Конечно, то был обман зрения. Мы отмахивали урны, деревья, кусты, скамейки, клумбы, внизу скрылась арка Константина, прежде зримая в перспективе, но если судить по Колизею, то мы не продвинулись ни на шаг. Пытаясь осилить наваждение, мы все прибавляли шагу, но темный громозд справа, за узким глубоким ущельем улицы, опровергал наши жалкие усилия. Я не суеверен, но чувствителен к смещениям и трезвой обыденности бытия и вижу в них настораживающий знак каких-то тайных сил. Из этого вовсе не следует, что я охладел к цели нашего похода, скорее наоборот, ибо понял, что нас ждут неожиданности. Видимо, и жена это поняла, но с другим чувством.

— Знаешь, — сказала она мрачно, — я не вижу ничего очаровательного в нашей прогулке.

Выручить нас мог только спуск. Уйти от Колизея в этой выси было невозможно. Он медленно плыл ровнеь с нами сквозь сгущающуюся тьму, а потом вдруг озарился бледным, мертвенным светом, явив чудовищный оскал мертвеца. И тут мы увидели узенькую крутую каменную лестницу, уступами сбегаящую вниз. Мы кинулись к ней и, совершив головокружительный спуск по ее обшарпанным, покрытым мохом ступеням, оказались напротив арки Константина. Мы с женой молча приняли это издевательское чудо, неразгадываемость которого как-то странно настроила нас друг против друга. Каждому казалось, что другой не был на страже, что лишь ослаблением заботы о близкой жизни объясняется тревожная нелепица получасового бега, оставившего нас на том же самом месте.

Переходили мы улицу на одном из худших перекрестков Рима поврозь. Я — в несколько бросков, угадывая мгновения спада в лавинном потоке транспорта. Мне помогли платформы трамвайных остановок и резервные зоны. Жена задумала дело вовсе безнадежное: дожидаться, чтобы все светофоры Т-образного, с двусторонним движением перекрестка дали красный свет. Она ждала этого теоретически невозможного момента с терпеливым упрямством трусости, глухой ко всякой логике. И когда я уже начал махать ей рукой, чтобы она возвращалась в гостиницу, случилось невероятное: все светофоры зажгли красный свет, парализовав движение на всех улицах, выходящих к перекрестку.

...Мы миновали арку Константина и пошли по очень прямой, ярко освещенной улице С. Грегорио. Справа чернели на фоне затухающей зари развалины Палатино, слева тянулось темное, поросшее деревьями всхолмие, светились огни вилл. С чудовищной быстротой проносились машины, казалось, все они куда-то опаздывают. И было в этой части города что-то странное, тревожное, а что — мы не могли взять в толк, пока не увидели одинокую юношескую фигуру на краю тротуара.

На улице не было прохожих, широкий тротуар пустынен из конца в конец, только шуршат шинами равнодушные, словно необитаемые автомобили.

И так приятно было явление живой человеческой плоти в этом бездушии металла и скоростей. Можно спросить незнакомого человека, правильно ли мы идем, просто обменяться взглядом. Но мы опоздали. На огромной скорости подлетел маленький «фиат» и, взвизгнув тормозами, замер возле юноши. Тот что-то закричал и приветственно взмахнул рукой, в которой держал цветок. Дверца машины распахнулась. Мы увидели смуглую обнаженную руку, большие темные очки в пол-лица, рыжие курчавые волосы.

Рослый юноша сложился и ловко юркнул в машину. В салоне горел свет. Мы видели, как он вручил цветок водителю и был награжден нежным шлепком по щеке. Его большая рука легла на рыжий загривок, пальцы зарылись в волосы, заиграли там, он медленно приблизил губы к любимому лицу.

Я почувствовал легкое прикосновение к своему локтю. Очарование чужого счастья вернуло мне жену.

— Тьфу, гадость! — сказала жена и отдернула руку, отстранилась, вновь убедившись в моем бессилии перед окружающим миром.

В машине находились два парня: рыжий и брюнет. Через мгновение они пронеслись мимо нас, рыжая голова покоилась на плече спутника.

Пьяцца ди Порто Капена повергла нас в растерянность и ужас. На карте это аккуратный кружочек, в действительности — хаотическое пространство, где скрещиваются, переплетаются потоки машин, автобусов, троллейбусов и трамваев, где в беспорядке торчат высоченные дома и угрюмые развалины, где подступает лес, шумят деревья, воет негородской ветер; сюда вливаются и отсюда вытекают широченные, похожие на реки улицы без тротуаров — нельзя же считать тротуарами узенькие полоски плитняка, схлестываемые ветром

проносящихся машин. И невозможно понять систему движения, приспособиться к нему, опасность грозит со всех сторон, здесь нет ни правил, ни ограничений, человек брошен на растерзание железным хищникам. Здесь признают только дальний ослепляющий свет. Лучи смерти тянутся со всех сторон, и нет спасения. Ослепленные, оглушенные, ошарашенные безжалостным буйством площади, мы бессмысленно метались среди машин, не выгадывая даже малого приближения к цели...

Звонки, гудки, скрежет и лязг тормозов, наше сбитое дыхание, резь в глазах, охлест воздушных волн от больших машин и вдруг — небольшое возвышение, три сросшихся корнями дерева и урна, набитая доверху палыми листьями. Островок в бушующем море, здесь можно перевести дух, осмотреться. Но лучи мощных фар не дают проглянуть пространство. Лишь почное небо дарит ощущением покоя и прочности в этом взбаламученном мире. Справа по мутной мгле нарезан какой-то силуэт: то ли кроны деревьев, то ли облака. Вспоминаю, что по карте там должен быть зеленый массив. Тогда рослые деревья слева — парк Капенских ворот. Значит, надо идти прямо, в сторону площади Нумы Помпилия. Не доходя ее, мы должны увидеть термы. Обреченно, забыв о безопасности, мы ринулись поперек светового потока...

Нам не суждено было погибнуть на этой площади. И настал такой миг, когда мы увидели чудовищный мрачный громозд, облитый луной, ставшей прямо над ним. Термы в отличие от других исторических развалин не подсвечивались, во всяком случае в этот вечер. И у жены мелькнула надежда, что мы ограничимся лицезрением их со стороны. Но мы приняли столько мук, что надо было довести дело до конца, и, крепко взяв жену за руку, я потащил ее через все струящиеся гибельным светом аллеи безбрежной улицы.

Наверное, термы выглядят иначе, когда преображаются в театр или даруют трибуну поэту, но сейчас эти колоссаль-

ные черные мертвые камни производили удручающее впечатление. Они усугубляли бездушность ночи. И тут мы увидели крошечный костерок под стеной и компанию молодежи вокруг него и доверчиво пошли на этот свет.

Девочка лет пятнадцати в белом коротком платьице, открывавшем тонкие руки до плеч, впадины подмышек и длинные ноги до тощих бедер, ломалась в странном танце, озаряемая красноватым светом пламени. У нее были густые длинные волосы, то и дело падавшие ей на лицо. Она отбрасывала их назад сильным взмахом головы. Страшно, никак нельзя было понять, какой она масти. Волосы то отблескивали медью, то казались совсем черными. Девочка танцевала изо всех силенок, она так выламывала свое худенькое тело, что становилось за нее страшно. Ее усилия пропадали впустую, никто на нее не смотрел. Смотрели на нас — трое или четверо подростков, лежащих на траве и передающих друг другу красную точку сигареты.

Внезапно костер потух. То не был настоящий костер, горела кучка бумажного мусора и палых листьев. Девушка продолжала изгибаться, отбрасывая с лица меняющиеся цвет волосы. Глаза парней горели зеленым в темноте. Они лежали очень тихо и неотрывно смотрели на нас. Чем-то нездоровым веяло от этих затаившихся наблюдателей да и от плясуньи с движениями твистующей лунатички.

В траве обозначилась тропинка, она вела внутрь терм. Неторопливо, спокойно, словно таково и было наше намерение, мы пошли этой тропинкой. Волчьи глаза неотступно следили за нами. Сквозь листовенную и бумажную гарь тянуло сладковатым дымком.

Мы беспрепятственно ступили в широкую расщелину, разломившую толстую стену. Я успел заметить, до чего хорошо стала луна над развороченным нутром терм, с графической четкостью распределив здесь серебро и чернь, как мимо нас метнулась, возникнув из-под земли, мужская фи-

гура и прынула во тьму. И тут же послышался короткий, резкий свист. Мы непароком вторглись в чью-то дорожащую покровом жизнь, испугнули ее, встревожили. Разумнее не настаивать на своем присутствии. У нас хватило выдержки выйти из терм через другой лаз, чтобы не сталкиваться с юными наркоманами, возможно уже одолевшими стадию безволия.

— А все-таки хорошо, что мы сюда пришли, — сказал я. — Только вечером это производит впечатление. А днем все становится обыденным — очередные развалины.

Была у нас такая домашняя игра: в любом свершенном промахе стараться найти что-то положительное, доказать друг другу, что мы не такие уж растерянные перед жизнью идиоты. Но впервые жена не подхватила игры.

— Думай лучше о том, как попасть домой.

Я обиделся и пошел вперед. И сразу завизжали тормоза. Возле жены стал, как лист перед травой, серый «фиат», и курчавый парень, высунувшись из дверцы, что-то кричал ей. Нас предупреждали: женщина с сумочкой на плече не должна ходить близко к поребрику тротуара — есть такие ловкие водители, что сдергивают сумку на полном ходу. Я кипулся на выручку. Парень поглядел, захлопнул дверцу и, круто отвалив от тротуара, укатил.

Пройдя немного вперед, мы увидели стоящий у тротуара серый «фиат» с погашенными фарами. Но через заднее стекло там кто-то проглядывался. Неужели курчавый оборкот решил повторить попытку знакомства с сумочкой жены, сообразив, что ему противостоит лишь старый седой человек?

— Пойдем на ту сторону, — сказала жена. — Вон к той часоventке.

Насчет часоventки она добавила, щадя мое самолюбие, но я не собирался делать вид, что мне море по колено. Как-то вдруг я понял нашу совершенную безоружность в этом темном, безжалостном и молодом мире.

Мы перебежали аллею и оказались на клочке земли, мысом вдававшемся в площадь. Здесь стояла старенькая часовня под рослыми, еще не облетевшими деревьями, в их тени приютились две машины: старый «ситроен» и повельский «альфа-ромео». Мы заметили их, только очутившись между ними. А справа у тротуара остался серый «фиат» — то ли с нашим курчавым знакомцем, то ли с каким-то другим умелым почным человеком.

— Наверное, у них тут стоянка, — тихо сказала жена

Но она сама понимала, что на такой стоянке машина не задержится. К тому же в «ситроене» сидел человек и, положив подбородок на руль, неотрывно глядел на «альфа-ромео». Это нас подбодрило: если он что и злоумышлял, то, очевидно, не против нас.

Мы как раз поравнялись с «альфа-ромео», когда оттуда вышла голая женщина. Так показалось нам в первое мгновение — нам бросилась в глаза ее большая белая грудь, которую она грубо закинула в лифчик, и голые ноги. Нет, на ней были трусики телесного цвета. В свободной руке она держала светлый пыльник. Женщина пронесла мимо нас свое немолодое, серое, влажное от трудов и закупоренной духоты машины, усталое лицо, опавшее спертый запахом дешевых духов, пота и папиросного дыма, и медленно направилась к «ситроену».

А первая машина резко рванула с места. И тут же от тротуара на ее место приземлился серый «фиат». Конвейер любви работал образцово.

Мы побрели к площади Нумы Помпилия, которую я вдруг вспомнил, как вспомнил и эту улицу, и термы Каракаллы; все это я не раз видел, ведь тут проходит главная дорога в аэропорт Леонардо да Винчи, поэтому так велик и стремителен поток машин.

— Жаль, что термы не работают, — сказала жена. — После нашей романтической прогулки хочется отмыться.

Поэт

Когда мы вернулись в Милан после трехнедельной поездки по стране, наш милый хозяин Джанни сказал, что его друг-миллионер приглашает нас на ужин. Мы приняли известие хладнокровно, быть итальянским миллионером не фокус, если при всех падениях один американский доллар стоит восемьсот двенадцать лир. Джанни поторопился уточнить: его друг — миллионер в долларах, а в лирах — миллиардер. Лет десять назад ему досталась в наследство небольшая фабрика; талантливый инженер и волевой администратор, он превратил фабрику в одно из самых доходных предприятий Ломбардии.

Миллиардер жил под Миланом, в небольшом городке, где проводятся автомобильные гонки. Там у него вилла, но есть еще квартира в Милане, охотничий домик в горах, за озером Комо, и мыза в Скандинавии, его жена-северянка любит фирорды и снежную зиму. Из шуточных намеков Джанни мы поняли, что если будем хорошо себя вести, то удостоимся приглашения во все резиденции миллиардера, кроме скандинавской в связи с ее отдаленностью. Мы дали себе слово на один вечер забыть о классовых боях.

Я никогда не имел дела с миллиардером и думал, что появление его должно быть обставлено торжественно, вроде выхода восточного властелина или римского кесаря, — трубы, букцины, флейты, карнаи, кимвалы, ковровые дорожки, белые слоны, полуголые рабы. И был сильно разочарован, когда в полутемном баре миллиардерской виллы, где мы пили аперитивы, невысокий круглый человечек с чаплинскими усиками сунул мне небольшую теплую руку и назвался священным именем. Он показался мне тихим, скромным, рассеянным и даже грустным. Потом, в клубе, где нас ждал ужин, во время долгого застолья, наблюдая, как он ест, пьет, разговаривает, вернее, ленится есть, пить, разговаривать и даже слушать, я

понял, что его поведение диктуется пресыщением. Ему все надоело, и он не хочет притворяться, будто ему весело. Героический период жизни, когда он подымал фабрику, давно миновал, теперь дело движется почти без его участия; он был три или четыре раза счастливо женат, особенно удачным оказался последний брак с красивой северной женщиной, подарившей ему наследника; младенец надежно защищен от процветающего в стране киднепинга двумя вооруженными до зубов охранниками, мамками и няньками в пуленепроницаемых жилетах; к путешествиям он давно остыл, скудная доступность всех остальных радостей заставляет его быть верным жене, воздерживаться от вина, не одеваться по моде, на нем поношенный клубный пиджак с оторванной на животе пуговицей, мятые фланелевые брючки, нечищенные ботинки, кое-как повязанный шерстяной галстук; его «мерседес» полагалось бы давно сменить, даже будь он убогим миллионером по-итальянски. Но все это ему безразлично. К его услугам лучшие портные Лондона, штучные «роллс-ройсы» или «мерседесы» с блиндированными стеклами, впрочем, к личной безопасности он совершенно равнодушен. Похоже, он не прочь, чтобы его похитили, все-таки какое-то разнообразие. Считается, что большие деньги заставляют стремиться к еще большим деньгам, но этот инженер, видать, не стал настоящим капиталистом.

Лишь раз обнаружил он свой сильный характер. Джанни пошел танцевать. Ресторан был почти пуст. Из-за частых нападений на рестораны миланцы утратили вкус к ночной жизни. После девяти улицы города пустеют, одинокие фигуры принадлежат полицейским, карабинерам, паркоманам и педерастам. И хотя у въезда на территорию клуба дежурит крепкий паренек с перебитым носом и вздувающейся от пистолета подмышкой, клубмены предпочитают ужинать дома. Почувствовав себя по-домашнему, Джанни разошелся и стал пародировать новомодные танцы. Джанни — коммерсант, но он явно прошел мимо своего настоящего призвания: с удлинен-

ным, глазастым, необыкновенно подвижным лицом и долгим пластичным телом, с умением подмечать смешное в окружающих и ловко копировать, он прирожденный комик. Убежден, спимайся Джанни в кино, он затмил бы умученных режиссерами и порядком выдохшихся Альберто Сорди и Уго Тоньяцци. Любимый номер Джанни — это пресловутый Андреотти, которого он почему-то особенно не любит. Так и сейчас Джанни выдал танец парализованного старичка, в котором все сразу узнали бывшего премьера.

Потом Джанни танцевал, как подвыпивший карабинер, как накурившийся марихуаны наркоман, как гомосексуалист, испытывающий отвращение к партнерше, как усталый жиголо на Ривьере. Ему стало жарко, он скинул пиджак и с блеском изобразил танец провинциального мафиози, на которого сыплются ножи и пистолеты. А когда музыка стихла, к нему подошел администратор и сказал, что устав клуба запрещает танцевать без пиджака и что отныне он здесь персона нон грата. Джанни рассмеялся, поклонился и, сделав лицо скорбящего Андреотти, вернулся за столик.

И тут послышался неожиданно громкий и жесткий голос: миллиардер потребовал счет и лист чистой бумаги. Счет он небрежно подписал, кинул официанту чаевые, а растерявшегося администратору вручил заявление о выходе из клуба.

— Шампанское и кофе будем пить дома, — сказал он нам и, резко двинув стулом, поднялся.

Пока мы шли к выходу, к нему подбегали взволнованные, огорченные люди и упрашивали взять заявление назад. Их лепет словно не достигал его слуха. Обращались и к Джанни — с извинениями и просьбами о заступничестве, тот улыбался, прижимал руки к груди, закатывал глаза — мол, рад бы, да не властен. Откуда-то извлекли древнего, впрозелень старца, наверное, одного из старейшин клуба. Миллиардер спизошел до ответа:

— Оскорбили моего друга, здесь мне печего делать.

А дома за кофе он подсел ко мне и спросил но-немецки с грустно-доверительной интонацией:

— Вы любите поэзию?

— Очень!

— Вы правду говорите?

— Конечно. — Меня удивило, что он придает этому значение. — Я люблю поэзию больше прозы.

— А знаете, — сказал он застенчиво, — я пишу стихи.

— И печатаетесь?

— Зачем?.. Но для друзей я издал небольшой сборник. Всего сто экземпляров, впрочем, и это куда больше, чем нужно. Разве бывает у человека сто друзей? Даже если причислить к друзьям всех бедных родственников.

Он вышел из комнаты и вернулся с папкой в руках. Стихи не были сброшюрованы: отпечатанные на отдельных листах изумительной, плотной и нежной, как сафьян, будто дышащей бумаги не типографскими литерами, а рисованными буквами, они были вложены в строго оформленную папку. Меня трудно удивить полиграфическими чудесами, я видел старинные издания Библии, молитвенники королей, монографию о Босхе семнадцатого века в переплете из свиной кожи, с золотыми застежками, и все же я был потрясен. Расточительная щедрость издания обуздана безукоризненным вкусом.

Он писал маленькие стихотворения — четверостишия и восьмистишия, каждое напечатано на отдельном листе.

— Великолепно! — восхитился я от души.

— Подарить вам?

— Спасибо. Жаль, я не читаю по-итальянски.

— Хотите послушать коротенькое стихотворение по-немецки? Оно сложилось, пока мы ужинали.

Как разительно меняет человека прикосновенность к проклятому и благословенному делу литературы! Куда девался пресыщенный, равнодушный хозяин жизни? Из-за очков струился мягкий, молящий свет коричневых беспомощных глаз. А

что ему до меня — случайно захожего человека, которого он больше не увидит, к тому же глухого к итальянскому звучанию стихов? Но мы принадлежим к одному братству боли, и сейчас я был важнее для него всех друзей и всех бедных родственников.

Он прочел коротенькое стихотворение, набросанное на бумажной салфетке.

- Хотите знать, как это звучит по-русски? — спросил я.
- Я все равно не пойму.
- У вас же ухо поэта.

Слова, слова,
Всего-то лишь слова...
Но — высшая вам честь!
Всё тлен и суета,
Вы — есть.

- И это стихи?
- Я не умею переводить, стихи получились сами собой.
- И смысл есть?
- Да. Очень неожиданный для владельца фабрики.
- Как она мне надоела! Вот единственное, для чего стоит жить. — Он что-то размашисто написал на титульном листе своего сборника и подвинул папку ко мне. — Я несчастен, видит Бог... — Беспомощный взгляд коричневых глаз за очками приметно подтвердел. — Но без фабрики я был бы еще несчастнее.

Животный мир Италии

Животный мир Италии богат. Прежде всего здесь очень много собак. Их любят. В нашей маленькой гостинице не было ни ресторана, ни кафе, и мы ходили завтракать в бар на углу улицы Кавура. Несколько столиков было вынесено на

тротуар под цветные зонтики: отсюда хорошо открывалось всхолмие Форума с базиликой Массенцио, и кормили тут недурно — за две милли можно получить завтрак туриста: омлет с ветчиной, булочку, кофе. Мы приходили в девятом часу, когда итальянцы выводят собак на прогулку. Через несколько дней мы уже знали всех местных псов. Очень мила была старая овчарка, хотя я не люблю эту породу. Связано это для меня с карателями в дни войны. Умная и преданная овчарка в том ничуть не повинна, так распорядился ее судьбой Великий Хозяин. Этот же старый пес на полусогнутых ногах и с обвислым брюхом, почти касающимся земли, был существом домашним, он никогда никого не выслеживал и не преследовал, не сторожил, не облаивал, чтобы привлечь погоню, не валил на землю и не рвал зубами. С огромным, неомраченным доверием к людям и всему сущему, он лишь в силу врожденной деликатности и тонкого воспитания не обнаруживал бурно распирающих его нежных чувств. Он приходил сюда в сопровождении дряхлого хозяина в поношенном, но безукоризненно отутюженном костюме и белой рубашке с крахмальным воротничком. У хозяина был голый смуглый череп в коричневых пятнах и крапчатая рука, он заказывал себе чашечку крепчайшего кофе, а псу — хлебец. Но до этого, только ступив на территорию бара, пес начинал со всеми раскланиваться, при каждом кивке еще ниже припадая к земле. Это напоминало придворные поклоны испанской знати. Он раскланивался с посетителями, с их собаками, не умеющими ему ответить и глупо лаявшими, с розовой кошкой владельца бара, с ней особенно любезно, потому что то была злая и несчастная кошка, она то и дело шипела и выгибала горбом шелудивую спину. Он кланялся даже голубям, ходившим враскачку меж столиков, нахальным воробьям, залетавшим под цветные зонты. Его приветливостью окрашивалось утро.

Появляясь здесь, он всегда заставлял двух молодых бродячих дворняжек сорочьей расцветки, видимо близких род-

ственниц — где у одной бело, у другой черно, и наоборот. Завидев овчарку, дворняжки ложились на спину, кверху пещным блохастым брюхом, передние лапы поджаты, их жалобная поза читалась как непротивление злу насилием. Старая овчарка хмурилась от смущения и отвешивала каждой по любезнейшему поклоу. Дворняжки вскакивали, благодарно повизгивая.

Был еще маленький пуделек, который все время служил. Сперва перед собственным хозяином, молодым толстым обжорой, затем, получив кусок сахара и твердо зная, что ничего больше не дождешься, у других столиков. Подачку он брал нежадно, но, верно, гордился своим умением сидеть столбиком. Был еще красный сеттер, приходивший с хозяином за газетой. Толстую, свернутую в трубочку утреннюю газету ему полагалось нести в зубах, но это было еще не главное его умение. Хозяин неизменно забывал у стойки бара зонтик. Пес деловито возвращался, опускал газету на пол, брал в пасть зонтик, осторожно и ловко подхватывал газету и трусил за хозяином.

Был мрачный жесткошерстный терьер со спутанной бороденкой, был огромный добродушный сенбернар, пускающий тягучую слюну с брыл, и была жемчужная тонконогая борзая, которая смеялась, обнажая верхние мелкие зубки.

Много было всяких собак, и была ужасная собака. В ней смешались разные крови: блютерьер дал заросшую морду, спаниель — расцветку и гусиные лапы, эрдель — курчавый чепрак. Из этой мешанины получилось милое существо, сейчас уже очень старое, потрепанное жизнью, но живое и доброе. Беда была в другом: под брюхом у нее колыхались большие черные тугие мешки — изуродованные болезнью, раком видать, сосцы. При ходьбе они раскачивались словно колокола. Бедняга не понимала своей непривлекательности и доверчиво сповала между столиками, ожидая подачки. Люди брезгливо отворачивались, иногда не глядя кидали какой-нибудь кусок. Она съедала его неторопливо и признательно

и тянулась мордой к дарителю в надежде, что он ее погладит. Похоже, ей больше хотелось ласки, чем куска. На моих глазах она этого не дождалась. Правда, никто ее не гнал, не шпынял, не обидел словом. Но хозяин бара, рослый черноглазый молодец в спортивной куртке и туфлях «адидас», видел, что большое животное неаппетитно посетителям. Он подзывал собаку свистом, давал пощохать обрезок колбасы и кидал его за ограду заведения. Что-то странное и тягостное появлялось в собачьем взгляде. Неужели она догадывалась?.. В этом нет ничего невозможного: поведение окружающих, прежде таких приветливых, стало иным, когда она почувствовала неудобство и тяжесть от своих чудовищно разбухших сосков.

Но и это несчастное существо не было вовсе обделено лаской. Каждый день на угол тупичка возле траптории приходил старик пенсионер со складным креслом и двумя нахлебниками: собакой и кошкой, которые в своем возрасте были еще старше его. Он устанавливал кресло, удобно усаживался и начинал созерцать окружающую жизнь.

Нахлебники заваливались спать у его ног, прижавшись друг к дружке спинами. Кошка спала беззвучно, собака повизгивала во сне, сучила лапами, наверное, ей спилось, что она гонится за кошкой.

У старика была странность: он всякий раз приносил с собой коробку с форсистыми оранжевыми полуботинками. Он доставал их, разглядывал, мял, шохал, оглаживал чистые, не касавшиеся пола подметки, терся о них щекой и клал туфли назад в коробку. Когда же мимо проходили соседи и знакомые, а старика знал весь квартал, он снова доставал обновку и горделиво показывал. Я так и не узнал: купил ли он их, или получил в подарок, или сам стачал, или выиграл в лотерею. И навсегда осталось для меня тайной, что значили оранжевые полуботинки в символике мирового бытия.

К этому старику, покончив с колбасой, подходила большая собачонка. Нахлебники не чуяли ее во сне. Она лежи-

лась по правую руку старика. Он что-то говорил ей, потом нагибался, отчего кровь прилиwała к его лбу и темени, как у святого Петра, распятого вниз головой, и начинал осторожно массировать ее сосцы большой и легкой рукой рабочего человека. Собака потягивалась, благодарно поскуливала, что-то отпускала ее внутри, и, лизнув старикову руку, она умиrotворенно закрывала глаза седыми ресницами и засыпала. Старик распрямлялся, кровь медленно сплывала с лица. Он кричал хозяину бара, чтобы тот подал ему стакан пива.

Хорошо относятся в Италии к собакам, с уважением. Собак много, они гадают на улицах, но никто не делает из этого трагедии, не предлагает их уничтожить, ни даже ограничить место для выгуливания одним квадратным метром за помойкой. И лай их никому не мешает, и лезущая в линьку шерсть. Собаки не мешают людям, и люди не мешают собакам. Похоже, помнят, что некогда вырвали из природы и приучили служить себе дикого, свободного зверя, воспитали в нем собачью преданность и тем самым обязали себя ответной заботой. На этом негласном сговоре все равно больше выигрывают люди, собаки и так совершенны, а люди научаются доброте...

Италия — голубиная страна. Голубей много во всех городах, но особенно в Риме, Венеции, Флоренции и Милане. Прошу прощения у Неаполя, возможно, он не уступает своим собратьям, но я попал туда в какой-то неголубиный день. И запомнились мне крупные чайки. В Риме голуби — хозяйва площади Навонна; треск голубиных крыльев не умолкает над площадью Дуомо во Флоренции, площадью Сан-Марко в Венеции; соборная площадь в Милане кишмя кишит голубями, случается, им отдавливают лапы зазевавшиеся прохожие. В голубиной толпе всегда есть хромцы, но потом лапка заживает, и голубь возвращается к обычной беспечности. Самые забалованные голуби — на Домской площади в Милане. Они не боятся ни людей, ни кошек, ни собак, никому не уступают дорогу и взлетают только для того, чтобы облепить

голову и плечи туриста, ставшего перед аппаратом уличного фотографа. Они знают, что турист ради хороших снимков будет скармливать им отборное зерно, которое приобрел у того же фотографа. Огромный пассаж Виктора Эммануила, выходящий аркой на площадь, затянут частой сеткой от голубей, лишь внизу оставлен проход для посетителей. Если б не эта предосторожность, знаменитая галерея стала бы голубятней — от пола до потолка в клейком, несмываемом и несчищаемом помете. При всем том газеты не называют голубя «опасным другом», «разносчиком заразы», «птицей-антисапитаром», наталкивая нервный ум граждан на мысль, что уничтожение голубей оздоровит общество. Нет, тут твердо помнят, символом чего был и остался для человечества голубь.

Очень много голубей на площади Ла Скала. В центре площади — памятник Леонардо да Винчи. Мастер стоит на высоком постаменте, а ниже его по четырем углам разместились леонардески — преданные ученики, оказавшиеся в вечном плену у таинственной Леонардовой улыбки. Они так и не обрели собственной индивидуальности, хотя картины их можно встретить в лучших музеях мира: изысканный Джованни Антонио Бельтраффио с острой аристократической бородкой, простодушный Марко Д'Оджионне — каптенармус художественной артели, трагический Чезаре Да Сесто, мучительно томившийся своей зависимостью от Учителя, и самый талантливый — Андреа Соларио, едва не вырвавшийся из магического круга. Леонардо чуть наклонил в раздумье голову под знаменитым плоским беретом, борода струится по груди. Лицо сосредоточенно, пытливо и мягко-печально. В рослой фигуре — изящество и сила, чем и отличались искусство и личность художника. Хороший памятник. Я что ни день ходил к нему, и в конце концов мне открылось странное чудо. Огромный Виктор Эммануил на соседней Домской площади загажен голубями от копыт лошадей по треуголку, кажется, что он гипсовый, а не бронзовый. Иное дело — памят-

ник Леонардо. Голуби делают различие между Мастером и учениками. Хотя высаящаяся в центре монументальная фигура Леонардо является самой привлекательной посадочной площадкой для голубей, редко-редко на плечи или голову Мастера опустится одинокий сизарь и тут же летит прочь, будто вспугнутый окриком. В то же время низенькие леонарδεςки облеплены голубями и ссохшимися потеками их внимания. Я не вижу тут ничего мистического: когда чужой голубь или невоспитанный малолеток, незнакомый с правилами поведения, нарушает этикет, старожилы предупреждают — прочь, сюда нельзя, садись на Бельтраффио или Д'Оджионне, что тебе, места мало?.. Растения, как известно, отзываются на ласку и могут сами регулировать подачу влаги к своим корням и тепла к зеленому телу — такие опыты ставились неоднократно, так неужели же одушевленным существам, тысячелетия прожившим возле человека, не знать, кто такой Леонардо и как надо обходиться с величайшим гением Ренессанса?..

Когда мы приехали в Рим, то оказалось, что заказанный нами по телефону номер в маленькой неплохой гостинице освободится только завтра утром. Администратор, в меру смущенный накладкой, предложил отвести нас в соседний отельчик, где есть свободный номер, крайне спартанский, зато и очень дешевый. Мы, конечно, согласились, не почевать же на развалинах Форума. Багаж у нас забрали, утром его перенесут в наш законный номер, и мы отправились налегке, что было весьма кстати, поскольку лифта в захудалом отельчике не имелось. Поднявшись на пятый этаж по узкой деревянной винтовой лестнице, мы оказались прямо перед нашим номером, выше — чердак. Отомкнув дверь ключиком от обычного английского замка (как я люблю массивные гостиничные ключи, так блаженно заполняющие ладонь!), мы ступили в маленький голый номер с полутораспальной кроватью, одним-единственным стулом, тумбочкой и тяжелой настольной лампой. Не было ни шкафа, ни вешалки, ни хотя

бы гвоздя, чтобы повесить одежду. Не было и умывальника, зато имелась дамская фаянсовая ваза и ночная посуда из того же сверхтяжелого металла, что и лампа. Нам предоставили для ночевки убежище летучей любви. Жена раскрыла постель, белье было свежее, чистое, но все же мы решили спать не раздеваясь. Несколько подавленные, мы погасили свет и легли на грешное ложе, накрывшись нашими плащами. Жена сразу затихла, но я не мог понять, спит ли она или добросовестно притворяется в надежде, что ее притворство обернется настоящим сном. А потом я и сам ненадолго заснул и увидел короткий сон, связанный с Флоренцией, откуда мы приехали в Рим. Мелькнули Старый мост с золотыми рядами и ползущий по дну обмелевшей Арно экскаватор, и какой-то желчный человек, дергаясь, говорил: «Вот увидите, он устроит новое наводнение!» Я был в Италии во время страшного флорентийского наводнения, унесшего бесценные сокровища живописи, и страшно затосковал от пророчеств желчного человека, даже заплакал и проснулся. Но проснулся как-то не совсем. Флоренция еще дотаивала во мне смутными, не обретающими формы видениями, и, словно сквозь туман или болотные испарения, я различал обиталище, в котором находился, хотя не умел его назвать, но это меня не пугало — я был защищен несомненным присутствием жены.

Странное полубодрствование озвучилось каким-то топотом. Я поднапрягся той частью своего существа, которая принадлежала яви, и топот стал яснее, определеннее. При этом я отчетливо сознавал, что в комнате никого, кроме нас, нет. Видимо, закошнотые звуки создавали эффект присутствия незримого бегуна. А затем что-то шарахнуло меня по накрытым плащом ногам, и, резко вздрогнув, я окончательно стряхнул с себя сон и увидел комнату в тусклом свете, процеживающемся из-за ставен, и довольно крупное животное, сидящее на полу. Оно то вытягивалось, то сокращалось. Когда вытягивалось, слышался царапающий звук. Глаза привыкли к

полумраку, теперь я видел, как животное, цепляясь за мой пиджак, висевший на спинке стула, становится столбиком. В нем было не меньше полуметра. Я перебрал в уме разных животных, от ласки до бобра, по размерам подходила выдра.

— Выдра! — сказал я вслух.

— Что с тобой? — послышался тихий, напряженный голос жены. — Это крыса. Прогони ее.

Я смертельно боюсь крыс. Меня пятилетнего панугала крыса, выпрыгнувшая в мою кровать с сеткой, когда я болел корью.

— Кыш! — сказал я неубедительным голосом. — Пошла вон!

Крыса прислушалась замерев. Потом опять зацарапала когтями по моему пиджаку и вытянулась на задних лапках. Я увидел ее чудовищную тень, достигающую потолка. Нагнувшись, я нашел ботинок, швырнул в крысу и по обыкновению попал. Крыса зыркнула клоквенным глазом, взяла ботинок в зубы и затопала в угол комнаты. Я заорал, схватил тяжелую лампу и швырнул в крысу. Она исчезла, а ботинок остался...

Проснувшись утром в отменном итальянском настроении, я потянулся и задел рукой свинцовую лампу. Мне вспомнилась ночная баталия, и я подивился реальности своего сна. Мне захотелось рассказать об этом жене, но ее не оказалось рядом. Оглянувшись, я увидел, что она сидит на стуле у окна, тоскливо вперившись в узкую щель меж ставен.

— Проснулся наконец? Идем скорее отсюда. Я чуть не наступила на эту гадость.

Я проследил за ее взглядом: в углу комнаты, там, где порванные обои обнажали черную дыру, лежала громадная дохлая крыса. Я никогда не видел таких больших крыс...

Италия поражена крысами. По статистике, их не менее миллиарда. Это так называемые серые крысы, самые крупные, сильные и свирепые из всех помоечных крыс. Они пришли в Италию из Индии в средние века, частью уничтожив, частью загнав на чердаки ископных обитательниц Апеннин-

ского полуострова — не столь больших и агрессивных черных крыс. Серые крысы — настоящее бедствие страны. Они нападают на маленьких детей, на беспомощных стариков и паралитиков, разносят заразу, сжирают несметное количество зерна и всяких продуктов. Борются с крысой, уверяют виднейшие итальянские ученые-крысоведы, почти невозможно. Немногочисленные по сравнению с крысиной несметью кошки боятся крыс, все виды крысоловок бессильны, отравы недействительны, крысу нельзя утопить, она может сколько угодно держаться под водой. Крыса так долго живет возле человека, что досконально изучила все его жалкие уловки, обрела великую человеческую приспособляемость, пластичность и выживаемость, ей не страшны ни морозы, ни жара, она всеядна и неприхотлива. Она обогнала своего учителя. И если мы хотим знать, чего можем достигнуть в ближайшее историческое время в результате напряженного самоусовершенствования, нам следует внимательно приглядеться к крысам.

Но я не разделяю пессимизма итальянских ученых. Население страны приближается к пятидесяти миллионам. Отбросим стариков, детей, больных, инвалидов, останется двадцать миллионов боеспособного населения. Двадцать миллионов тяжелых настольных ламп — это по силам итальянской промышленности; каждому крысобою придется сделать всего пятьдесят бросков. И с серой опасностью будет покончено. Если же этого не сделать, страна будет перемолота резцами серых обитателей помоек и подвалов...

А еще в Италии водятся серны, дикие кошки, зайцы, белки, хорьки, многочисленные птицы и пресмыкающиеся, а также рыбы, имеющие промысловое значение. Но я пишу лишь о том, что видел собственными глазами.

Якопо Тинторетто



тот очерк написан не искусствоведом, обязанным все знать о предмете, которым занимается, а писателем, не обремененным подобной обязанностью. Впрочем, можно ли все знать в державе хрупких и тонких духовных ценностей? Располагая терпением и необходимыми материалами, можно досконально изучить биографию художника, собрать более или менее интересные и достоверные анекдоты о нем, что даст представление о грубых проявлениях характера и темперамента; можно охватить знанием весь объем творчества и проследить его эволюцию, можно, наконец, узнать, что художник сам думал о своем искусстве, если он о нем думал, а не творил безотчетно, как растет дерево или как творил ангельские лики кротчайший и паихристианнейший фра Беато Анжелико. И, узнав все это и много чего другого, ты вдруг окажешься после кропотливых трудов своих бесконечно далек от главной тайны творца, готовой открыться интуиции, а не научному постижению.

Уж как все знал старательный и неутомимый Вазари, особенно о современных ему художниках, со многими из которых дружествовал этот общительный и доброжелательный человек! И давно ушедшие зачинатели итальянского Ренессан-

са не успели стать для него легендой. Он слышал о них рассказы, порой очевидцев, порой с чужих слов, но всегда житейски достоверные, а не мифотворческие. Великие примитивы были для него людьми из плоти и крови, а не бесплотными тенями. Главное же, он почти все видел своими собственными глазами, а не в копиях или перерисовках. Вазари сумел поработать в крупнейших художественных центрах Италии — Риме, Флоренции, Венеции, посетить и малые города, располагавшие собственными живописными школами. Но разве помогло это ему постигнуть во всю глубину нетрадиционное искусство Якопо Тинторетто, одного из гигантов Возрождения? Вазари отдавал должное его мастерству, числил за ним ряд больших художественных достижений, но об истинном масштабе мастера Скуолы Сан Рокко не подозревал. И как же он ругал его за эскизность, недоработанность, даже за лепость и небрежность, что по-нашему называется халтурой. И это говорилось о художнике, в котором, как ни в ком другом, соединился Божий дар с трудолюбием и тщанием. Но художественная ответственность Тинторетто не имела ничего общего с ползучим педагогизмом ремесленников живописи.

Замечательный русский художник, историк живописи и критик Александр Бенуа рассказывает: «Однажды Тинторетто посетили фламандские живописцы, только что вернувшись из Рима. Разглядывая их тщательно, до сухости, исполненные рисунки голов, венецианский мастер вдруг спросил, долго ли они над ними работали. Те самодовольно отвечали: кто — десять дней, кто — пятнадцать. Тогда Тинторетто схватил кисть с черной краской, набросал несколькими штрихами фигуру, оживил ее смело белилами и объявил: «Мы, бедные венецианцы, умеем лишь так рисовать».

Конечно, это была лишь умная и многозначительная шутка. Так, и вполне сознательно, по художественному расчету, а не ради экономии времени, Тинторетто создавал порой фигуры второго и третьего плана, придавая сюжету мистический

характер; вообще же он серьезнее других венецианцев относился к рисунку. Недаром молва передарила ему в качестве художественного кредо, якобы начертанного на стене мастерской: «Рисунок — Микеланджело, краски — Тициана», высказывание теоретика Пино. Колористически зрелый, Тинторетто был полной противоположностью Тициану, но в рисунке некоторых его первоплановых женских фигур можно найти сходство с манерой Буонарроти, хотя в отличие от Тициана, совершившего поездку в Рим, он никогда не видел его подлинников. Но ведь прозвище «венецианский Микеланджело» он заслужил не только за яростную энергию своего творчества. Кстати, по словам Вазари, Микеланджело, познакомившийся с Тицианом, очень лестно отзывался о его живописи, но бранил рисунок. Когда-то Флобер сказал о Бальзаке: «Каким человеком был бы Бальзак, если б умел писать!» Микеланджело сходно высказывался о блистательном венецианце: «Каким бы художником был Тициан, если б умел рисовать!»

С Вазари пошло представление о Тинторетто как о «неправильном» художнике. Впрочем, и Вазари едва ли был в этом оригинален, он, скорее, повторял расхожее мнение. Но несомненно, и сам немало способствовал утверждению такого мнения и продлению его на века. Во всяком случае, и Рафаэль Менгс, и Джон Рескин гневались на Тинторетто в духе Джорджо Вазари, который называл Тинторетто «могучим и хорошим живописцем», — видимо, подкупала бьющая через край энергия манеры Тинторетто, так приятно напоминавшая Вазари его кумира Микеланджело, — и тут же: «самой странной головой в живописи». Импрессионизм Тинторетто, благодаря которому он шагнул через века в наше время, представлялся Джорджо Вазари то шуткой, то произволом, то случайностью. Он считал даже, что Тинторетто порой выставляет «напоказ, как готовое, самые грубые эскизы, в которых виден каждый удар кисти». О шедевре Тинторетто «Страшный суд» в церкви Sen Moria all'Orto он писал:

«Кто смотрит на эту картину в целом, тот остается в изумлении, но если рассматривать отдельные ее части, то кажется, что она написана в шутку».

Сердечный друг Тициана, знаменитый поэт Аретино, тоже не пропускал случая снисходительно пожурить Тинторетто. Аретино, поклонявшийся Тициану, перевернулся бы в гробу, если бы услышал, что придет время — и «Благовещение» Виччелио, такое нежное, грациозное, совершенное по живописи, будет проигрывать в глазах посетителей рядом с неистовым «Благовещением» маленького красильщика, как прозвали Якопо Робусти по ремеслу его отца.

Немного грустно, что сам Тинторетто, отвлеченный, внебытовой, погруженный в свой мир и в свое искусство, лишенный тщеславия и профессиональных счетов, не проявил высокого презрения к хулительной молве. Известны его слова: «Когда выставляешь свои произведения публично, то нужно воздерживаться некоторое время от посещения тех мест, где они выставлены, выжидая момента, когда все стрелы критики будут выпущены и люди привыкнут к виду картины». На вопрос, почему старые мастера писали так тщательно, а он так небрежно, Тинторетто отвечал шуткой, за которой скрывались обида и гнев: «Потому что у них не было столько непрошенных советчиков».

Тема непризнания — большая тема, ибо нет такого художника, каким бы независимым и самоуверенным он ни казался, который не нуждался бы в понимании и любви. Великий русский пианист и композитор Антон Рубинштейн говорил: «Творцу нужны три вещи: похвала, похвала и похвала». Тинторетто слышал немало похвал при жизни, но, пожалуй, ни один из великих не знал столько непонимания, хулы, глупых наставлений, высокомерных усмешек. Он вышел победителем из борьбы с веком и все накапливал посмертную славу, но не только упомянутые выше Менгс и Рескин открывали по давно ушедшему художнику огонь из всех орудий — в раз-

нос время, в разных странах наивная вазариевская близорукость вдруг охватывала просвещенных искусствоведов в отношении Мастера, так мощно одолевающего время.

Я с самого начала предупредил читателей, что я не искусствовед, не художественный критик, а просто человек, умеющий цепенеть перед картиной, фреской, рисунком. Если уж промахиваются знатоки, то с меня что взять? И вроде бы можно не каяться в своих заблуждениях. И все же мне хочется повиниться в том, как произошло мое воссоединение с Тицторетто, которого я принял совсем за другого.

Это произошло в дни моего первого приезда в Венецию. До этого я знал и любил Тицторетто мадридского, лондонского, парижского, венского и «эрмитажного» (на моей родине все переименовывается: улицы, площади, города, сама страна, так что лучше назвать Тицторетто, получившего пристанище на берегу Невы, именно так), но не знал главного Тицторетто — венецианского. И вот я отправился на долгожданное свидание.

От гостиницы на улице (или набережной?) Скъявоне до улицы Тицторетто, где находится расписанная им Скуола Сан Рокко, путь немалый, если судить по карте, но я решил проделать его пешком. За неделю, проведенную в Венеции, я убедился, что тут нет больших расстояний. Перепут узких улочек и горбатых мостиков быстро приводит к любому месту, которое на красно-синей карте кажется бесконечно далеким. Прежде всего надо было попасть на другую сторону канала. Я пошел от площади Сан-Марко, пустышной в этот утренний час, не забитой туристскими толпами, гидами, фотографами, продавцами искусственных летающих голубей, ползающих змей и бешено вращающихся на резинке светящихся дисков, горластыми слепцами, продающими лотерейные билеты, томпо-неопрятными венецианскими детьми. Даже голубей не было — раздувшись для тепла, они сидели на крышах и карнизах окружающих площадь зданий.

Маршрут я выбрал по улице Пророка Моисея, по широкой улице 22 Марта к площади Морозини, откуда уже виднеется горбатый мост Академии. За мостом начинается самая сложная и путаная часть пути. Проще было добраться через мост Риальто, но мне хотелось еще раз зайти в музей Академии и глянуть на «Чудо св. Марка». Я полюбил пре-красное и странное полотно Тинторетто по репродукциям. Посланец неба спускается к распростертому на земле телу вверх тормашками, словно он кинулся с небесной тверди, как ныряльщик с вышки, — вниз головой. На всех известных мне картинах небожители нисходят самым корректным образом: в блеске и славе, ногами вниз, головой, осиянной нимбом, вверх. Святой садится на землю, как дикий гусь, далеко и прямо пустив под себя ноги. А здесь он летит кувырком, в великой спешке, чтобы сотворить свое чудо. Удивительно мускулистое и по-земному сочное зрелище. В этой сложной многофигурной композиции, на редкость единой и цельной, притягивает взгляд молодая женщина в золотистом платье с младенцем на руках. Она изображена сзади в сильном и женственном полуповороте к распростертому на земле мученику. Эта фигура напоминает мне другую — с подмалевки Микеланджело в лондонской Национальной галерее. Сам набросок малоудачен, особенно неубедителен бесстыдно и ненужно обнаженный Христос (вечная тяга неистового перевертня к мужской срамной плоти — даже Богочеловека не пощадил!), но первоплановая фигура одной из жен-мироносиц исполнена восхитительной экспрессии. А ведь Тинторетто не мог видеть этого эскиза, неужели возможно такое совпадение? Вообще воздействие художников друг на друга — тайна, не объяснимая простыми житейскими причинами. Впечатление, что какие-то флюиды носятся в воздухе и воздействуют на готовую к восприятию душу. То же и в литературе. Я встречал подражателей Кнута Гамсуна, не державших в руках книг певца Глана и Виктории, эпигонов Бориса Пас-

тернака, имевших самое поверхностное представление о его поэзии.

Стоя перед картиной, я хотел понять: что возбуждало творческую волю Тиңторетто, кого он здесь любил? Конечно, летящего вниз головой святого, эту молодую, холоднолюбопытную, но прекрасную упругой статью женщину и еще двух-трех резко выразительных персонажей в толпе, но только не мученика — голого, бессильного, неспособного к протестующему усилию. Было что-то кощунственное в этой яростной картине, столь далекой от обычной трактовки религиозного сюжета.

На маленькой площади перед храмом Св. Видаля я чуть задержался. Кто-то уже позаботился о голубях, рассыпав им корм, и оголодавшие за ночь стаи слетались сюда на пиршество. Голуби толкались, ссорились, взмахивали крыльями, подпрыгивали, с остервенением клевали зерно, не обращая внимания на пушистую рыжую кошку, изготовившуюся к прыжку. Меня заинтересовало, чем кончится охота. Голуби казались совсем беззащитными перед ловким и быстрым зверем, к тому же алчность притупляла инстинкт самосохранения. Но ведь кошка не торопится, тщательно рассчитывает прыжок, значит, не так уж просто сцанать голубя.

Безмятежность голубей словно провоцировала кошку на бросок. Но крошечная тигрица была опытным охотником. Медленно, почти неощутимо подползала она к стае и вдруг замирала, будто всякая жизнь останавливалась в ее худом подрыжей пушистой шкуркой тельце. И я заметил, что суматошливая голубиная толпа с каждым подползем кошки отодвигалась от нее ровно настолько, насколько она сокращала разрыв. Ни один голубь в отдельности не заботился о своей безопасности — защитный маневр безотчетно и точно производила общая голубиная душа.

Наконец кошка изловчилась и прыгнула. Сизарь выскользнул из ее лап, поплатившись одним-единственным се-

рым с приголубью перышком. Он даже не оглянулся на своего врага и продолжал клевать зерна ячменя и конопляное семя. Кошка нервно зевнула, открыв маленькую пасть с острыми зубками, расслабилась, как это умеют лишь кошки, и вновь сжалась, собралась. Ее зеленые глаза с узким разрезом зрачка не мигали. Кошка, похоже, хотела прижать жадную стаю к увитой бугенвиллеями стене, но голубиная масса не просто отступала, а поворачивалась вокруг незримой оси, сохраняя вокруг себя простор площади.

Четвертый прыжок кошки достиг цели, голубь забился в ее лапах. Кажется, это был все тот же голубь, которого она облюбовала с самого пачала. Быть может, у него был какой-то ущерб, лишаяющий его ловкой подвижности собратьев, неправильность в сложении, делающая его более легкой добычей, чем остальные голуби. А может, то был неопытный молодой голубь или большой, слабый. Голубь забился у нее в лапах, но как-то бессильно, словно не веря в свое право на освобождение. Остальные продолжали насыщаться как ни в чем не бывало.

Стая делала все что могла для коллективной безопасности, но, раз жертвы избежать не удалось, спокойно поступилась своим неполноценным сородичем. Все произошло в рамках великой справедливости и беспристрастности природы.

Кошка не торопилась разделаться с голубем. Она вроде бы играла с ним, позволяя биться, терять пух и перья. А может, кошки вообще не едят голубей?.. Так что же это — выбраковка дефектной особи? Или тренировка хищника?.. Я мучился, не понимая, имею ли право вмешаться в круговорот неподсудных человеку сил, и тут какой-то прохожий швырнул в кошку блокнотом, угодив ей в бок. Кошка мгновенно выпустила голубя, в невероятном прыжке взвилась на забор и сгнула. Голубь отряхнулся и, оставив по себе горстку сизого пуха, заковылял к стае. Он был сильно помят, но отпоще не выглядел потрясенным и все так же хотел жрать.

Я злился на себя. Есть положения, когда надо не рассуждать, не взвешивать все «за» и «против», а действовать. Когда правда только в жесте, в поступке. Я же мог сразу прогнать кошку, но отнесился к происходящему эстетически, а не этически. Меня восхищало и поведение кошки, и поведение голубей; и в том и другом была своя пластическая красота, в которой исчезал жестокий смысл происходящего. Лишь когда голубь забился в когтях, я вяло вспомнил о нравственной сути дела. А прохожий не рефлексировал, просто сделал жест доброты...

В главном зале музея Академии, прямо напротив «Чуда св. Марка», висит «Ассунта» Тициана. Страшно сказать, но дивная живопись величайшего венецианца блекнет рядом с неистовством его младшего современника. Но есть в полотне Тициана то, что вовсе отсутствует у Тинторетто, — он думал о Боге, когда писал. А Тинторетто создал не чудо святого Марка, а фокус святого Марка. А ведь Тициан куда телеснее, куда приземленнее Тинторетто, уже шагнувшего к той духовности, бестелесности, что будут отличать его великого ученика Эль Греко. Должен оговориться, я высказываю здесь те мысли и ощущения, которые владели мною в описываемую пору, то есть в пору первого свидания с Тинторетто на его родной почве.

Скуола — это место для религиозно-философских рассуждений и споров, призванных приблизиться к высшей истине. В Венеции существовало несколько десятков подобных братств и менее десятка принадлежало к числу «великих». Скуола Сан Рокко — великое братство, а следовательно, и очень богатое. И когда братство решило декорировать свои роскошные покои, то объявило конкурс, пригласив к участию в нем всех крупнейших венецианских художников: Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто, Андреа Скьявоне, Джузеппе Сальвиати и Федерико Цуккарни. Им было предложено сделать небольшой эскиз на тему вознесения св. Рокко на

небо. И тут Тицторетто, видимо почувствовавший, что пришел его судьбоносный час, совершил беспрецедентный художественный подвиг: в кратчайший срок он написал громадное полотно (5,36 x 12,24) «Распятие» и принес его в дар братству Сан Рокко. Живописная мощь произведения, созданного с такой неправдоподобной быстротой, произвела столь сильное впечатление на соперников Тицторетто, что они почтительно самоустраились от участия в конкурсе. Трудно сказать, что сильнее потрясло старшин братства — само произведение или жест бескорыстия художника, но подавляющим большинством голосов они отдали заказ Тицторетто. Было это в 1564 году, когда художнику исполнилось сорок шесть лет. Завершил он свой труд в 1587 году, будучи шестидесяти девяти лет от роду, и через семь лет, всеми признанный, любимый и оплакиваемый, покинул телесно этот мир, духовно оставшись в нем навсегда. Совершил Тицторетто свой геркулесов труд в три приема: в 1564—1566 годах он написал картины для Albergo, или Зала Совета, между 1576-м и 1581-м он украсил Верхний зал и с 1583-го по 1587-й сделал то же для Нижнего зала. Созданное Тицторетто по мощи и художественной полноте можно сравнить лишь с Сикстинской капеллой, а по исчерпанности самовыражения — с росписью доминиканского монастыря Св. Марка во Флоренции братом Беато Анжелико.

Сюжеты картин традиционны: история Иисуса. Тицторетто как будто задался целью вскрыть ту чудовищную энергию, которая, выражаясь современным языком, аккумулировалась в краткой жизни Сына человеческого. Начинается с «Благовещения», где крылатый святой Гавриил в сопровождении ангелов могучей птицей влетает в покои Девы Марии, проломив стену. Так можно врываться с мечом, а не с оливковой ветвью. Конечно, Дева Мария испугана, она сделала защитный жест рукой, рот ее приоткрылся. Надо долго и пристально вглядываться в картину, дабы обнаружить, что Тиц-

торетто не нарушил канона, за что художников предавали церковному суду, и архангел со свитой влетает в окна. Но и разобравшись в этом, вы продолжаете видеть пролом в стене, ибо сам Тинторетто не мог иначе представить себе явление Бога посланца с такой вестью. Громадная энергия вскрыта художником в тихом, благом, хотя и чреватом великими потрясениями событии. Достаточно вспомнить раннюю картину Леонардо, находящуюся в галерее Уффици, где та же сцена исполнена великой тишины, нежности, покоя. И даже упоминавшееся нами куда более динамичное, нежели леонардовское, полотно Тициана в той же Скуола Сан Рокко рядом с Тинторетто выглядит пасторалью.

Сгустком энергии предстает следующее полотно — «Поклонение волхвов». Художественный вкус не позволил Тинторетто придать волхвам — их еще называют магами или королями — экспрессию в духе святого Гавриила. Пришедшие в вертеп исполнены смирения, умиленности, трепетной любви к божественному младенцу и его осиянной пимбом матери. Лишь черный король, с более горячей южной кровью — кажется, его звали Гаспар — вручает свой дар, миро в золотом сосуде, жестом сдержанно-порывистым. Тинтореттовская энергия отдана обрамляющим центральную сцену фигурам: служанкам, ликующим ангелочкам и призрачным всадникам на белых конях, видимым в проломе стены. Эти повесть откуда и почему взявшиеся всадники брошены на полотно кистью настоящего импрессиониста. Странно, но эти всадники в большей мере, нежели резвящиеся упитанные ангелочки, придают вполне бытовой сцене мистический оттенок.

В «Избиении младенцев» огненный темперамент мастера, равно и его импрессионистическая манера, получил полную свободу. Соблазн и кощунство в этой картине, где перед восхищенным экспрессией зрелища глазом художника равны жертвы и палачи. Но предела неистовства Тинторетто достигает в том самом «Распятии», что доставило ему воз-

возможность декорировать Скуола Сан Рокко. Многие большие художники писали Голгофу, каждый по-своему, но у всех эмоциональный центр картины — распятый Христос. У Тицторетто Христос — формальный центр картины. Огромная фреска представляет собой апофеоз движения. Голгофа? Да нет, строительная площадка во время аврала. Все в работе, все в движении, в предельном и в каком-то радостном напряжении сил, кроме одной из жен-мироносиц, то ли уснувшей, то ли впавшей в транс. Остальные испытывают явный подъем: и те, что еще возьмется с распятым Христом, и те, что водружают крест с прибитым к нему разбойником, и те, что приколачивают к перекладине другого разбойника, и те, что копают яму в углу картины и режутся в кости, и те, что спешат к месту казни пешим ходом или окош.

Даже группе скорбящих на переднем плане не подарил художник покоя последней боли. Они энергичны в своем страдании, и до чего же мощно вскинул свою прекрасную голову любимый ученик Иисуса апостол Иоанн! Выпадает из живого буйного действия распятый на кресте атлетически сложенный Христос. Лицо его скрыто в наклоне, поза на редкость невыразительна и петрогательна. Он исключен из деятельной жизни и потому неинтересен Тицторетто. Художник откупился от Христа огромным кругом очень холодного сияния, а всю свою могучую душу, всю страсть отдал тем, кто живет и делает. Совсем иным предстает Христос на картинах «Се человек», «Крестная ноша», «Вознесение», здесь он включен в мировое напряжение и потому желанен кисти Тицторетто. Все же Тицторетто лишен истинно религиозного чувства, его бог — пластика, движение. Он и за кошку, и за голубя, если они верны своему предназначению, своим инстинктам и месту, определенному им в природе. Больше всего он любит потную работу, так прекрасно напрягающую человеческое тело, будь то работа землероба, воина, чудотворца и даже палача. Лишь бы гудели мускулы и звенели сухо-

жилия. Церковники привлекали к суду живописцев, нарушивших канон — не тот размах крыльев у архангелов и прочая чепуха, — но проглядели дерзостный разгул, учиненный Тинторетто. Есть великая ирония в том, что братья Скуола Сан Рокко привлекли к Богу делу человека, на редкость далекого от неба.

Тинторетто гениален и трагичен в этих полотнах, но малопоэтичен и нерелигиозен. Да, я знаю, что Гёте, восхищаясь «Раем», одной из последних картин старого Тинторетто, называл ее «предельным славословием Господу». Быть может, в исходе жизни Тинторетто пришел к тому, чего я никак не мог обнаружить в его библейской серии. Нет, не чуду Бога, а чуду Человека поклонялся художник. Но ведь бывает, что даже злостный безбожник в близости смерти тянется к кресту.

Так думал я, так писал в ту пору о Тинторетто, восхищенный собственной пронизательностью и беспристрастием критического взгляда, позволившего мне ясно и трезво увидеть любимого художника. Чем упиваться своей мнимой пронизательностью, лучше бы задуматься над словами великого мудреца Гёте. И мне невдомек было тогда, что я лишь один из многих мелкодушных «остромыслов», не дотянувшихся до понимания истинной сути Тинторетто.

Чужую слепоту понять нелегко, попробую разобраться в собственной. Быть может, определенную роль сыграло то, как я шел к Тинторетто. Я уже говорил: главный, венецианский, Тинторетто открылся мне напоследок, а до этого была радость свидания с ним в других крупнейших мировых музеях. Самое сильное потрясение я испытал в Вене, где находятся два прекраснейших из нерелигиозных его полотен, которых, если исключить портреты, не так уж много. Тинторетто не раз обращался к любимому художниками Возрождения сюжету: Сусанна и старцы. Одно полотно я видел в мадридском Прадо, тут тема взята как-то наивно, в лоб. Пока один из старцев отвешивает лицемерно-почтительный поклон опешившей

голой купальщице, другой вклешился ей в грудь. Это не старчески грешное и жалкое подглядывание, а почти изнасилование. Да и по цвету картина довольно ординарна. А вот венская Сусанна — воистину чудо, торжество живописи.

Ничуть не избегавший обнаженной натуры, Тинторетто в отличие от очень плотских Джорджоне и Тициана бестелесен, он пишет не плоть, а кожу — то смуглую, то золотистую, то млечно-светлую, любясь игрой света и тени на живой, дышащей плоскости. Он, пользуясь выражением русского поэта, «превращает тело в душу». Картина выдержана в зеленовато-серых тонах, лежащих нежными тенями на гладкую, золотисто-матовую кожу Сусанны. Образ вечно женского так манящ и трепетен, что невозможно осуждать несчастного старца с налившимся кровью лицом, который подползает к красавице из чаши в малиново-пурпурной одежде. За один этот яркий мазок, подаренный полотну, можно было бы простить старого греховодника. Но, по легенде, старики поплатились жизнью за свое бессильное ревение.

Необыкновенно красиво соседствующее с «Сусанной» большое полотно «Спасение Арсинои». Нагая женщина возле одетых мужчин кажется нагой вдвойне. Сколько эротизма в Джорджоневском «Концерте» и его «Грозе»! Жестокость рыцарских лат еще сильнее подчеркивает незащитную наготу прелестной Арсинои, но картина Тинторетто не эротична. Пишу об этом не в похвалу и не в укоризну художнику, но что-то это же говорит о человеке. Кстати, «Концерт» Джорджоне, украшающий Лувр, с некоторых пор «передарен» Тициану. Наверное, для этого были веские основания. Но, по мне, существо искусства куда важнее всех документов и свидетельств. Обнаженная натура «Концерта» написана той же рукой, что создала «Спящую Венеру» и «Грозу», а не тициановских шю.

Очаровательно и радостно по краскам лондонское «Происхождение Млечного Пути». Амура отнимают от груди ма-

тери, и брызнувшие из соска капли молока сразу превращаются в звезды. В этой картине, созданной уже в пору работы для Скуола Сан Рокко, присутствует тот буйный певец движения, каким обернулся зрелый Тинторетто, и все усиливавшаяся с годами жадность к каждому квадратику полотна, требующему заполнения. Там, где у другого мастера, скажем у Тьеполо, было бы просто синее небо или громозд облаков, у Тинторетто кувьркаются ангелочки, парят хищные птицы, вовсе посторонние сюжету, тянут длинные шеи гордые павлины, а вдали парит и вовсе что-то непонятное. Такое впечатление, что этой картиной Тинторетто как бы перевел дух, стесненный трагизмом страстей Христовых.

По своим радостным краскам «Млечный Путь» куда ближе к раннему полотну «Вулкан застает Венеру и Марса» из мюнхенской Пинакотеки, нежели к циклу Сан Рокко, где доминирует не цвет, а свет, что делает из Тинторетто предшественника Рембрандта. Поза Венеры, застигнутой старым, хромым и гневным мужем, столь изящна и не смятенна, что художник сохранил ее в Венере «Млечного Пути». А ведь на раннем полотне запечатлен грозный для богини миг. Но тридцатилетний художник жизнерадостен и благодушен. Он и сам не подозревает, каким трагизмом исполнится его творчество уже в ближайшее время.

Следующая важная встреча с Тинторетто состоялась в Мадриде. В Эскуриале хранится «Омовение ног», написанное до 1650 года, то есть примерно в одно время с «Чудом св. Марка», но уступающее ему в экспрессии и композиционном построении. Художник плохо распорядился пространством, фигуры апостолов разбщены, тут нет эмоционального центра. Нельзя же считать за таковой бурную сцену сдирания штанов одним апостолом с другого. Возможно, сдираются не штаны, а сапоги, что не играет роли, картину я видел очень давно, а на репродукциях не разберешь. Здесь сконцентрирована та энергия, которой в дальнейшем Тинторетто будет

хватать на все полотно. А Спаситель, решивший дать ученикам урок смирения и омыть им ноги, самый невидный участник запечатленного здесь библейского эпизода. Его с трудом отыщешь на заднем плане, в левом верхнем углу картины. Значит, он не интересовал художника? Блуждающий по картине взгляд задержится на юном апостоле, натягивающем чулок, — похоже, это Иоанн, которого возлюбил Учитель, и на сочно выписанной собаке. Где же тут религиозное чувство? Разве был Христос в сердце Творца, когда он взялся за кисть?

Наконец пришло время и самой страшной картины Тинторетто, да и всей эпохи Ренессанса: «Опознание тела св. Марка». Тут уже весь зрелый Тинторетто с его трагизмом, мистикой и главной художественной задачей, имя которой — свет. Но ни следа простой и теплой веры, так согревающей безыскусные полотна фра Анжелико или «маленьких» мадонн Рафаэля. Языческий Тинторетто сменился мистическим. И вот я пришел в Скуола Сан Рокко...

Когда хочешь понять в искусстве что-то не дающееся тебе с налету, как подарок, как благодать, надо использовать количественный метод. Тут безошибочно работает материалистический закон о переходе количества в качество. Конечно, так следует поступать, когда произведение тебя затронуло, но ты чувствуешь, что не сумел постичь его глубины. Тогда, коли это музыка, слушай ее снова и снова; даже великие композиторы не брались судить о новом музыкальном произведении с одного прослушивания. Коли стихотворение, читай до одурения, и оно улыбнется тебе. Коли песня — пой, сводя с ума домашних; коли картина или скульптура — смотри. Смотри до усталости, до офонарения, затем отступи, дай отдых глазам и душе и вернись снова. И ты будешь награжден.

Могу сослаться на собственный опыт. Я человек от природы немusыкальный, с отчаянно плохим слухом. Однажды в школе на уроке музыки я обнаружил такую глухоту и тупость, что учительница приняла это за издевательство и вле-

пила мне кол (худшая отметка в русской школе). Меня это болезненно задело — не сама отметка, испортившая табель лучшего ученика в классе, а сознание своей неполноценности, обделенности в чем-то прекрасном и важном. И я стал буквально насиловать себя музыкой. Каждый день я пробирался без билета — денег не было — в оперу или на концерт. Соседский патефон и тарелка репродуктора помогали моему музыкальному образованию. Я развил в себе какой-то слух, обнаружив к тому же невероятную музыкальную память: могу фальшиво пропеть самые мелодичные оперы Верди, Чайковского и «Кармен» Бизе. А главное, я влюбился в музыку. В моем литературном багаже несколько книг о музыкантах (три из них переведены на итальянский), два кинофильма, телефильм, множество статей и передач по радио и ТВ. Могла ли моя школьная учительница думать, что поставленная ею жирная единица породит музыкального писателя?

В отношении изобразительного искусства мне не пришлось брать таких барьеров, как в музыке, но с Тинторетто вышел казус. Хорошо, что в том ликовании, о котором я рассказывал вначале, сразу обнаружилась трещина. Я очень недолго упивался своей проицательностью и самолюбивой уверенностью, что держу за хвост маленького красильщика. Что-то не так — стучало в мозг и в душу. Не принимая героического решения, я стал ходить в братство Сан Рокко, как на службу, каждый день к открытию. Вскоре меня стали привечать служители кивком и улыбкой, а затем дали кличку «сумасшедший русский».

Я погружался в тишину и мягкий свет нокоев братства, как искатели жемчуга в морскую пучину. Только я искал другой жемчуг — духовный. Если б я знал, что буду писать об этих поисках, то вел бы записи. Но мною двигал вполне бескорыстный, лишенный литературных амбиций посыл, и сейчас мне не восстановить всей картины. Остались отдельные яркие пятна...

Хорошо помню, как вдруг присох к полу возле совсем не главной картины в нижней комнате — «Мария Магдалина». Я знал, что подобные полотна редкость у Тинторетто: стофажная фигурка в чистом пейзаже, — что в светозарном слиянии природы и человека Тинторетто в очередной раз нарушил какие-то обычаи Ренессанса. Но ни о чем таком я в тот раз не думал, захваченный не поддающимся словесному выражению чувством сопричастности простому и бессмертному мгновению. В последней вспышке заходящего солнца я видел не фигурку, оживляющую пейзаж, а настоящую Марию из плоти и крови, из тайны и света, не земного, а Божьего. Она читала книгу — Священное писание? — это почти бессмыслица, но изумительная бессмыслица, создающая эффект интимного присутствия. А пейзаж с дивным тревожным деревом, водой у ног Марии, горами на горизонте и пожарным небом не нуждается в оживлении, он так же одухотворен, как и маленькая человеческая фигурка — часть мироздания. И я стал частью этого пейзажа, я разделил тишину юной книгочеи, поднявшейся с человеческого дна к стопам Христа и навек неотделимой от Него.

И было еще вот что. Я смотрел на Иисуса, стоящего перед Понтием Пилатом («Христос и Пилат» — зал Альберго) в белой хламиде или простыне, наброшенной на голое тело. Его уже подвергли побоям, пыткам, измывательствам, на груди и руках веревки, которыми он был связан. Иисус держится прямо, только незримая тяжесть чуть пригнула плечи, ссутулила спину, но он полон скромного достоинства, так прекрасно контрастирующего с суетливой фигурой фарисея, что-то вынюхивающего в Законе против Мессии, и безразличного, умывающего руки Понтия Пилата. И вдруг я увидел, что у Христа запал рот. У тридцатитрехлетнего человека рот стал как у старика. И я заплакал, сам не замечая этого. Я телесно ощущал, как больно было Иисусу, этому дивному, легкому человеку, пришедшему в душный, тягостный мир, опутанный

суевериями, предрассудками, веригами мрачной религии, принесемому людям слова любви, доброты и духовного освобождения и оставшемуся не услышанным никем, кроме нескольких преданных женщины да горстки робких учеников.

И снова я плакал, когда смотрел на Иисуса с его проваленным ртом, сгибающегося под тяжестью креста на голгофской круче. Как ему тяжело и как старается он не показать этого! Тинторетто чувствовал на собственной спине непомерную тяжесть креста, когда писал эту картину. И каждый, в ком живо сердце, перед этим полотном сгибается под крестной пошей.

Я ничего не анализировал, не пытался понять, просто плакал (чем и заслужил кличку «сумасшедший русский») и вселился в мир Тинторетто, который был и миром Христа в его земном обетовании. С каким сердцем написано изумительное полотно о поклонении пастухов! Эти простые души первыми явились в вертеп, подвигнутые темным, но безошибочным чувством. Тут все чудо: святое семейство — малыш в плетеной корзинке, которую качает тонкая рука Матери, такой юной, безмятежной, не ведающей судьбы; покорно-печальный Иосиф (он ведает?); чудесные в своем наивном порыве пастухи, заботливые женщины, помогающие Марии, и удивительно милые животные: вол и петух в хлеву, отделенном от жилья, равноправные участники происходящего.

А «Бегство в Египет», где Мария так бережно прижимает к груди сыночка, а Иосиф так сильно тянет ослика за узду! Художник щедр на подробности: под копыта ослику он бросил забытый кем-то горшок и тряпицу, зацепившуюся за сухую ветку, справа поблескивает водоем с мостками для стирки белья и крошечной фигуркой зашедшего в воду человека вдалеке; другая фигурка вышла из дверей уютного домика, немного жалкого под чернью рослых тревожных деревьев и зловеще закатного неба. Семья только покинула Назарет, спасаясь от гнева Ирода, и художник старается, чтобы она

успела в своем бегстве. Поэтому так напрягается ослик, так сильно тянет его широко шагающий Иосиф.

Художник опекает Христа и в другом прославленном полотне — «Последний ужин» (у нас — «Тайная вечеря»). Здесь Тинторетто позаботился о кухне с посудой и хлопотливыми служанками, а под лестницей в несколько ступенек усадил торговцев снедью, обеспечив их бдительной собачонкой.

Эмоциональным центром картины является убранный в глубь холста Христос, ибо, перебрав взглядом выразительные, резко индивидуализированные фигуры апостолов (только что было произнесено: «Один из вас предаст меня»), вы сосредоточите взор на прекрасной голове Христа, высвеченной шимбом. Как кротко и задумчиво его лицо, как добра рука на плече припавшего к нему Иоанна! Скрытая динамика изображения достигнута диагональным расположением стола последней трапезы, как бы втягивающим взгляд в глубину, и таинственной игрой света. Гёте больше всего любил это полотно в братстве Сан Рокко, а Веласкес сделал с него копию для Академии Сан Фердинандо в Мадриде.

Перед смертью Тинторетто вновь написал «Тайную вечерю», момент причастия, для церкви Сан Джорджо Маджори. Оно куда пышнее, многонаселенней и закрученней, нежели холст в Сан Рокко, в нем усилились как бытовые, так и мистические мотивы: здесь куда больше снеди, посуды, обслуги, вовсе посторонней публики, суеты, но появились в немалом количестве телесно наполненные и вовсе призрачные небожители, а таинственный светильник спорит с сиянием вокруг чела Иисуса. Художник умер в год окончания картины, это лебединая песня, наполненная иерихонской трубой, от звука которой рушились крепостные стены.

Но все это вовсе не о том. Я вспомнил о холстах братства Сан Рокко, ибо они заставили меня понять, какой верующий, истинно религиозный человек Якопо Тинторетто и как он любит Христа. Русский классик Лесков придумал замечатель-

ные слова для человека, чья вера проста, глубока и бесхитро- стна: тепло верующий. Тиоторетто был таким вот тепло ве- рующим. Он чувствовал Христа телесно, он, как свое, ощу- щал его плоть, его дыхание, грусть и мужество, усталость и томление, муку и торжество, когда, порвав земные путы, он устремился к престолу своего небесного Отца, — дивная, бо- говдохновенная картина «Вознесение».

Лишь однажды встретилось мне такое же душевное, ин- тимное, трогательно-нежное отношение к Христу — мятеж- ного протопопа Аввакума, знаменитого раскольника семнад- цатого века, окончившего жизнь на костре первого великого прозаика России. В своем «Житии», с которого пошел рус- ский роман, он пишет о том, что Иисус сладчайший не акри- дами питался, а молочко пил, хлебец ел, и мед, и мясо, и рыбку и вино пивал за спасение наше. Сидя в смрадном узи- лице на плесневелом хлебе и протухшей воде, Аввакум тро- гательно радовался, что Христу бывало вкусно и сытно и не- множечко хмельно в добрый час.

Тиоторетто по-аввакумовски чувствовал Христа и пото- му изображал обстав его жизни так любовно подробно. Ему было дорого все, что окружало Христа: его близкие, учени- ки, жены-мироносицы, мужчины, на которых пал его свет, и вол, жевавший жвачку возле его колыбели, и петух, проку- карекавший тем утром, когда в небе еще не истаяла звезда Вифлеема, и ослик, увозивший его в Египет, и подвернувшая- ся под ноги собачонка, и каждый предмет утвари, и стол, и скамья, коли пригодились Ему. Великий художник был и великим христианином.

Но он не стал бы таким, если б читал Священное Писа- ние как житейскую книгу, если б воспринимал Христа толь- ко человечески, пусть с самой горячей любовью. Бытовая оче- видность «Бегства в Египет» сквозит тайной. Эта тайна в по- жарном небе и мраке облаков, в мерцании дальних холмов, в нездешнем свете на лице Марии. Свет. — могучее оружие зре-

лого Тинторетто. Для него это не художественный прием, способный усилить экспрессию, а сама суть. Можно сказать, что он писал свет, подчиняя ему и пейзаж, и фигуры своих многонаселенных композиций; свет возносит изображаемое им в истинно библейский, небесный чин. Обаяние Христа в его великой человечности, доступности; он мыл ноги своим ученикам, беседовал с ними, рыбачил, преломлял хлеб, ел рыбу, мясо, пил вино, он был внимателен к хлопотливой Марте и сосредоточенной Марии, находил для каждого особое слово, врачевал тела и души, он поднял упавшую перед ними во прах блудницу из Магдалы, но Сын человеческий был и Сыном Божьим. Он принес новую веру, новую религию, дал новое сердце людям. Тайна Христа осенила полотно Тинторетто, пронизанные бурным мистическим чувством: «Воскресение», «Молящийся в саду», «Крещение», «Искушение Христа», «Вознесение».

Вот это и дает Тинторетто его настоящий масштаб, иначе было бы что-то умилительное, уютное, вроде «маленьких голландцев». Но он, Тинторетто, был сыном своего времени, а время было грозное. Целостное мировоззрение эпохи Возрождения рухнуло, воцарился дух мятежности и разлада, религиозные войны покатались по Европе, сея смерть и разрушение, запылали огни инквизиции, святейшая реакция повергла Италию в уныние, а искусство сделалось фальшивожеманным. Мрак сошел на человеческие души. Тихий ангел фра Беато отлетел с опаленными крыльями.

Географическое положение царицы Адриатики и все многочисленные выгоды — экономические, политические, военные, религиозные, — которые оно давало, очень долго помогали «Яснейшей республике» оставаться «самым цельным и организованным из европейских государств, могучим оплотом христианства». Венеции хватило еще на два века; «когда вся остальная Италия была уже в полном разложении, Венеция (и только она) могла дать такого атлета жизни, как Каза-

пова, такого жизненного писателя, как Гольдони, и таких истинно великих художников, как Гварди и Тьеполо» (Александр Бенуа).

Но все-таки ветер вселенского разлада тревожил безмятежные воды венецианских каналов в середине шестнадцатого века, когда сын красильщика Робусти заиграл могучей мускулатурой Тинторетто. Человеку с чуткой душой трудно, даже невозможно сохранять олимпийское спокойствие во взбаламученном мире, оставаясь безучастным зрителем чужих страстей и чужих бед. Не знаю, какая душа была у великого Паоло Веронезе, но ему это удавалось. Его блистательные, пышные, роскошные полотна и фрески создавались будто посреди Эдема, и отрешенность их от бурь времени никак не отразилась на высочайшем качестве живописи. И ныне они все так же восхищают глаз, не затрагивая души. Холодное великолепие. Впрочем, это хорошо, что искусство такое разное. Якопо Тинторетто не обладал (по счастью) столь невозмутимым духом, он был открыт всем тревогам и волнениям времени. Смело отбросив традиции венецианской школы с ее лиризмом, изобразительной солидностью, предашностью натуре, заботой об «иллюзионности» и вещественности, он стал творить свой собственный мир из света и тьмы, свободно населяя картины призраками, а не телами, отбросив всякую заботу о правдоподобии, хватая жизнь навскидку и не пренебрегая ничем. Учитель Эль Греко в чистой духовности, предшественник Рембрандта в царстве светотени, далекий предтеча импрессионистов, он, пленник своего времени, стал заложником вечности. Пробив толщу веков, ступил в наши сумрачные и невероятные дни. Тинторетто — из нашей боли, тревоги, сомнений, нашей слабости и бесстрашия перед вечной тайной..

О жизни Тинторетто мало известно. Сын красильщика, родился в Венеции, где и прожил почти безвыездно всю свою семидесятишестилетнюю жизнь. Впрочем, одно путешествие,

уже в преклонные годы, он предпринял: со всей семьей съездил в Мантую по приглашению герцога Гонзага, чтобы проследить за развешиванием заказанных ему картин. Легко представить себе хлопотные сборы, волнения домашних, озабоченность самого мастера, которому впервые предстояло ступить на Большую землю. Путь его, наверное, лежал через Падую и Верону; видел ли он творения Джотто, слышал ли легенду о бедных влюбленных Ромео и Джульетте? Так хотелось бы хоть каких-то человеческих радостей вечному труженику...

А что, если динамическая мощь творений Тицинетто — следствие его обделенности движением? Есть домоседы, байбаки, лежебоки, для которых покой — счастье, а есть мобильные, быстрые люди, для которых ограниченность в движении — страдание. В Венеции с ее улочками-щелями меж крошечных площадей не разгуляешься. Тут нет простора ни для пешей, ни для конной прогулки. Пожалуйте в гондолу, на засаленные плоские подушки, а там даже жеста резкого себе не позволишь. Тоска неподвижности изживала себя в вихревом движении, закручиваемом на холсте. Быть может, из той же тоски — летящая живопись Тьеполо?

Меня мало греет легенда о том, что старый Тициан отказал Тицинетто в руководстве, испугавшись, что тот его превзойдет. Это рассказывают о многих художниках: Верроккьо, мол, вовсе бросил живопись, после того как его ученик Леонардо да Винчи вписал ему в картину ангела.

Другая легенда: он лепил из воска маленькие фигурки, одевал их и писал при разном освещении. То же самое говорят об Эль Греко. Возможно, это правда, хотя совпадение выглядит нарочитым. Но радуется как несомненная и значительная черта Тицинетто — отказ от титула рыцаря, который ему готов был присвоить Генрих III Валуа, посетивший Венецию на пути в Польшу. Разве мог быть титул выше, чем «маленький красильщик»? Вечный труженик знал-таки себе цену.

Не представляются убедительными и многочисленными попытки «выводить» Тинторетто из Корреджо или Пармиджанино, хотя этот манерный художник оказал огромное и дурное влияние на живопись шестнадцатого столетия. Если Тинторетто устоял перед Микеланджело и Тицианом, верность которым декларировал, то стоит ли тревожить теи куда меньших? Другое дело, что он решал подчас сходные с Корреджо задачи — скажем, в плафонной живописи. Но ни картин, ни фресок певца Леды никогда не видел.

Мне известны два портрета Тинторетто. Возможно, их существует больше. Молодой портрет примечателен необычайно пронизательным, каким-то пронзающим взглядом больших черных глаз. Но это еще не Тинторетто. У русского философа и писателя Василия Розанова есть рассуждение о том, что внешность человека полностью совпадает с его внутренней сутью лишь в определенный период жизни. У кого в молодости, у кого в зрелые годы, у кого в старости. Поэтому можно сказать: «Это еще не Достоевский» или: «Это уже не Тургенев». Портрет старого Тинторетто я вычислил заранее, увидев его репродукции, лишь когда писал этот очерк. Вот тут Тинторетто был в фокусе.

Был замечательно одаренный, широко образованный и, как положено в Стране Советов, невостребованный человек Александр Габричевский, близкий друг Бориса Пастернака, пианистов Генриха Нейгауза и Святослава Рихтера. Он носил ни к чему не обязывающее и ничего не дающее звание члена-корреспондента Академии архитектуры, писал по искусству и почти ничего не мог напечатать. Мне однажды попалась его интересная статья о портретной живописи, кажется, так и не опубликованная. Он утверждал и убедительно доказывал, что каждый портрет одновременно и автопортрет.

Меня всегда поражали в огромной портретной галерее Тинторетто его удивительные старики. Чувствовалось, что он особенно охотно пишет старость, когда личность челове-

ка отлилась в окончательную форму, достигла предельной выразительности, пусть и в ущерб тем привлекательным свойствам, которыми дарит юность. Самым замечательным в этих стариках была непреклонная печаль глаз. Не могли же Тинторетто попадаться модели только с такими глазами! Значит, он наделял их собственными глазами, точнее, выражением своих глаз. Это и было тем элементом автопортрета, о котором писал Габричевский. А какие же еще глаза могли быть у человека, не страшившегося заглядывать в последние бездны?..

После всего, о чем здесь говорилось, увидел ли я по-иному Христа на главном полотне братства Сан Рокко? Нет, я так и не узнал в молодом атлете, пригвожденном к кресту и с некоторым любопытством смотрящем вниз, на всеобщую суету, Иисуса «Крещения», «Искушения», «Тайной вечери», «Воскресения», «Крестной ноши». Или Тинторетто представлялось, что дух Спасителя уже отлетел, осталась лишь безразличная плоть? Или он просто не сумел изобразить Сына Божия на кресте, обезоруженный пассивностью позы?.. Не знаю. Это так и осталось для меня тайной. Но может быть, это правильно? Ведь скучно, когда все тайны разгаданы...

Вермеер Дельфтский



немцы основательно пограбили Россию во время Второй мировой войны. Иные сокровища, воистину бесценные, так и не найдены. Среди них знаменитая Янтарная комната, которую до сих пор ищут. В ответ советские оккупационные войска тоже основательно пограбили побежденную Германию, кое-что, например собрание древних рукописных книг, по сей день не возвращено. Эти бесценные фолианты в заплесневелых переплетах свиной кожи, забившие до отказа старую церковь, тихо догнивают, пока советские инстанции ведут бесконечную тяжбу с немцами, не желая ни за что расстаться с культурным кладом, при этом не пытаясь его ни использовать, ни хотя бы сохранить.

Мы вернули немцам увезенную Дрезденскую галерею, когда возникла зловещая страна ГДР — смесь спортивного общества с полицейским застенком.

А перед этой благородной акцией, призванной навечно скрепить дружеские связи между Советским Союзом и той частью страны, которую откололи от государственного тела Германии, чтобы построить там социализм, картины, кое-как развешанные по стенам, но больше приваленные штабелями к стенам, наше доброе правительство открыло для обзора

ния самым отборным гражданам, самым выдающимся, заслуженным и доверенным: высшей партийной номенклатуре, министрам, маршалам, генералам, директорам крупнейших заводов и их семьям, то есть как раз тем людям, которым эта милость была совершенно не нужна. И лишь перед самой отправкой галереи на родину сюда были допущены немногочисленные счастливицы из числа деятелей культуры. Я попал в святилище в числе первых — не за свои заслуги, разумеется, а по родственным связям: был женат на дочери советского Форда, директора первенца отечественного автомобилестроения, ныне носящего его имя — завод имени Лихачева.

Иван Алексеевич Лихачев был при Сталине чем-то вроде апостола Иоанна при Христе: тот его возлюбил, как со скромной гордостью говорил о себе евангелист. Поэтому, хотя в группу входило два министра, маршал — горный орел, начальник автоколонны Советской Армии и генерал-полковник авиации, главой культурных паломников считался Лихачев, младший по официальному положению. К нему и обращался данный нам в сопровождающие знаменитый скульптор Меркуров, автор известных монументов, доселе украшающих Москву, человек громадного роста, необъятного туловища, с зычным голосом и длинной пегой бородой.

Читающие этот очерк не поверят, но Меркуров — с деликатной помощью высоких гостей — вытаскивал из хаотичной завали то «Леду» по рисунку Микеланджело, то портрет старика кисти Тинторетто, то что-то Шардена, как будто это были рыночные поделки, лишь обесценивающие собой дорогие рамы, а не величайшие ценности человечества.

Правда, ряд наиболее выдающихся (то ли по мнению Меркурова, то ли по мнению специалистов из Госбезопасности) полотен был без всякой системы развешан по стенам. И среди них, разумеется, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, главное сокровище галереи. Надо сказать, что все участники нашей экскурсионной группы слышали об этой картине и шли на свидание именно с ней.

И вот мы благоговейно приблизились к величайшему творению Рафаэля, «чистейшей прелести чистейшему образцу», и уставились на него, как баран на новые ворота. Мне кажется, что все ожидали чего-то более торжественного, великолепного, помпезного. А тут что — молодая мать с младенцем на руках, ангел и старик священник.

— А это правда дорогая картина? — засомневался министр среднего машиностроения.

— Дорогая? — чуть обиженно повторил Меркуров и, по-прежнему признавая только Лихачева, повернулся к нему: — Да пяток твоих «ЗИСов» стоит.

— Что ты имеешь в виду? — недоверчиво нахмурился Иван Алексеевич. — «ЗИС-101» или «ЗИС-110»?

Нынешний ЗИЛ в девичестве носил имя Сталина, «ЗИС-101», содранный с «лишкольна», был первым советским лимузином; поворожденный «ЗИС-110» — правительственную машину — содрали с «наккарда».

— Не машин, а заводов ЗИС, — хладнокровно ответил Меркуров.

— Не лепи горбатого! — Лихачев пепельно побледнел сквозь розовый гипертонический румянец.

— Господи! — вскричала моя теща и, забывшись (она была из купеческой богомольной семьи), истово перекрестилась.

— В-вах! С ума сойти! — проклекотал горный орел.

Все были потрясены, и престиж Рафаэля в глазах этих простодушных людей поднялся выше самых высоких гор.

Когда через какое-то время я принес в дом известие, что Дрезденскую галерею возвращают ГДР, Лихачев рванул на груди рубашку старым матросским революционным жестом и заорал:

— Молчи, враг народа! Мы за Сикстинку грудью пойдём!..

Но это позже. Тогда же Меркуров, довольный произведенным впечатлением, разливался соловьем, восхваляя Рафаэля.

Я его не слушал. Случайно сместив взгляд, я увидел нечто, повергшее меня в трепет. Серо-жемчужного цвета фетровая шляпа лихо надвинута на правый глаз, алым пламенем горит камзол, рука сжимает золотую монету, готовую упасть в ладонку молодой женщины в желто-белом одеянии, превращающем шлюшку в невесту, цепко следит за расплатой хитрая рожа сводни, и скалит зубы крепко подвыпивший лютнист. Боже мой, да ведь это «У сводни» таинственного Вермеера Дельфтского, моего любимого художника, знакомого лишь по черно-белым репродукциям! И тут же я увидел другую его и столь же любимую картину — «Девушка с письмом».

Луи Селин сказал, что мании одних не доставляют счастья другим. Это правда, хотя мании порой бывают заразительны. Высокопоставленная компания уже обелась искусством, к тому же все были убеждены, что ничего более дорогого, чем «Сикстинская мадонна», и ничего более завлекательного, чем «Леда», они не увидят. Но мне удалось подтащить их к Вермееру. Они тупо воззрились на дивные полотна, искренне недоумевая, что тут хорошего: не божественно и не соблазнительно. Мое сообщение о том, что первая картина изображает сценку в публичном доме, вызвало легкую рябь на глади духовной невозмутимости, вскоре погасшую. Картина Вермеера странно целомудренна, она не пробуждает дурных страстей и поэтому безразлична для неразвитого сознания.

— Ничего особенного, — выразил общее чувство начальник автоколонны.

Меркуров услышал его фразу и почувствовал себя задетым. Он знал, как сбить номенклатурную спесь и заставить трепетать сердца.

— Ничего особенного? — повторил он, посмеиваясь в пегую бороду. — А картина эта идет почти в цену «Сикстинской».

— Мать-перемать! — ахнули оба министра, начальник автоколонны и генерал-полковник авиации.

Репутация Вермеера была спасена...

Но довольно о первом свидании с Вермеером. Неверно, что слишком сильное ожидание неизменно идет во вред впечатлению. Я предчувствовал чудо, но все же не ждал, что оно окажется столь ошеломляющим. Вопреки уверениям искусствоведов, Вермеера можно полюбить в черно-белых репродукциях, хотя это и не тот Вермеер, который открывается в красках, а тем паче в подлинниках. Встретившись с полотнами художника впервые, я убедился в прозорливости своей любви.

Он воистину поэт света и цвета. Боже мой, как красиво сочетание киноварно-красного камзола офицера с его жемчужной шляпой, светло-желтым платьем и белым платком разрумянившейся от вина шлюшки и многоцветной скатерти! Картина эта довольно большая, особенно для Вермеера, фигуры даны в натуральную величину, но, когда вспоминаешь ее, она кажется огромной, как луврские полотна Рубенса или конный портрет Карла I кисти Ван Дейка. Есть в ней какая-то внутренняя монументальность, удивительная значительность, будто тут не жанровая, весело-фривольная сценка, где пьяный офицер авансирует золотом тоже порядком накачавшуюся девицу, а великая библейская тема динария Цезаря.

Тут есть своя философия, мирочувствование художника. Для него важны и значительны и эти полнокровные, умеющие жить люди, спокойно и радостно получающие от жизни те удовольствия, которые она способна дать. Предстоящее этой паре соитие прекрасно, как прекрасны все проявления здоровой, молодой и крепкой жизни. Потом освобожденный от вожделения офицер отоспится и вернется к своей службе на благо республике; сводня — пронырливая харя — найдет девице другого кавалера; может, им окажется лютнист, так уверенно держащий в руке стакан с вином, а девица будет продолжать свою усердную и нужную для порядка в мире службу любви, копя помаленьку на приданое, — словом, мы присутствуем при миге всеобщего довольства.

В картинах больших мастеров всегда есть какой-то секрет, порой не один. Секрет этого полотна в раскрасневшейся от возлияний девице, спокойно предоставившей свою молодую грудь мощной длани кавалера. Она как-то странно не затропута всем происходящим; в своих светлых одеждах, исполненная достоинства, она похожа на певичку. Если б кавалер убрал игривую руку, снял шляпу и протянул кольцо вместо монеты; ее румянец стал бы печальным знаком волнения перед аналогом. Откуда эта внутренняя безвинность, незамазанность окружающим? То ли от высокого профессионализма, то ли от уверенного прогляда в будущее, когда она, скопившая хорошие деньги, которых хватит на полное обзаведение, станет перед аналогом с добрым крестьянским парнем или ремесленником, ничуть не смущенным ее трудовым прошлым. Не знаю как в Голландии XVII века, а в довоенной Германии такой обычай был в порядке вещей.

Эта картина заставляет сомневаться в той имперсональности, которую приписывает Вермееру большинство исследователей, вспоминая при этом Джотто: мол, и у того все персонажи на одно лицо. Но даже в отношении Джотто это несправедливо. Вспомните его Иуду на падуапской фреске, где он поцелуем предает Христа в Гефсиманском саду. Ох, сколько психологии в этом неоднозначном лице!

На полотне Вермеера, о котором идет речь, четыре персонажа, и каждый отмечен четкой индивидуальностью: ироничный, спокойный, знающий себе цену офицер, не менее знающая себе цену девица (чуть не обмолвился «невеста»), пронзительная сводня и несколько расслабленный прожигатель жизни с лютней и стаканом.

Пресловутой имперсональности я не нахожу и на втором дрезденском холсте Вермеера — «Девушка с письмом», — решенном совсем в другой, приглушенной гамме. Эта картина — торжество солнечного света в живописи Вермеера; здесь впервые, кажется, с такой ликующей силой выражен его пленэризм.

Вермеер оказался предтечей импрессионистов. Все старые голландские мастера работали в куда более темной манере; его светлая, солнечная живопись — одно из новаторских достижений мастера из Дельфта, которого так долго числили, полузабыв, одним из «маленьких голландцев», к тому же далеко не столь очаровательным, как Терборх или Мэтсю.

Как писал большой знаток Вермеера Е. Ротенберг: «В «Девушке с письмом» Вермеер достиг этой особой светоносности красочного слоя, когда каждая частица пигмента кажется излучающей матовые искры». Похоже, именно в этой картине Вермеер впервые применил ту технику крошечных мазочков — уколов, точек, — что сродни пуантилизму. Тонкая, изощренная техника, которая связывается для нас с именами Сера, Синьяка, отчасти Камиля Писарро, с успехом заменялась старым голландским мастером.

Глубоко анализируя живописные достижения этого холста, где произошел синтез света и цвета, столь же авторитетно разбирая примененные здесь приемы, которые станут постоянными у Вермеера, — лаконизм, строгий отбор деталей, чудесная пенаселенность живописного пространства, дающая простор чистой игре красок и светотени, — Ротенберг присоединяется к хору голосов, приписывающих Вермееру имперсональность, внеэмоциональность, доведенную до полного бесстрастия. Художник и его модель одинаково нейтральны к происходящему. Художник решает свои чисто живописные задачи, а девушка как живое существо его ничуть не интересует, он и не пытается постичь ее индивидуальность. Да и постигать нечего, ибо он изображает не чтение письма живым, чувствующим человеком, а модель, манекен, которому сунули в руки клочок бумажки. «С чего вы взяли, что это любовное письмо?» — иронизирует исследователь.

А какое же еще письмо могла получить юная, очаровательная девушка, поспешившая к распахнутому окну, чтобы лучше видеть торопливые или неразборчивые от волнения стро-

ки? С таким глубоким и задумчивым выражением не читают счета от прачки или булочника, ни цидульки от подруги, ни материнской эпистолы; тут можно не спешить, найти хорошо освещенное место, удобно сесть и спокойно прочесть.

Вермеер поймал этот чудный момент молодости-влюбленности, ожидания-надежды и воплотил в прелестном образе миловидной, серьезной девушки, в чьей опрятной сдержанности, подтянутости таится байроновское: «Ты любви не считаешь забавой...»

Какое там бесстрашие, какая имперсональность! Живое, упругое биение жизни, нежная тайна человеческого бытия, прикосновение к чужому сердцу — вот чем волнует эта картина, а дивная живопись возносит земное в божественный чин.

Строгий исследователь делает одно-единственное исключение из внеиндивидуальной живописи Вермеера: «Служанка, наливающая молоко». Здесь «в противовес внутренней безличности героини «Девушки с письмом» создан подлинно характерный образ, переходящий в тип». Это правда в отношении служанки, но девушка с письмом тоже тип, пользуясь терминологией Ротенберга, только совсем другой — из привилегированной социальной среды, способной чувствовать ничуть не меньше, чем «простой народ». Но мой соотечественник накидывается со своими восторгами на служанку, потому что она человек труда, в ее грузноватой фигуре есть ощущение крестьянской силы, здоровья, почвенных начал. Преклонение перед трудом, его облагораживающим влиянием необычайно характерно для представителя самой бездельной, ленивой страны на свете, но на словах безмерно чтящей потную работу. Звание Героя у нас присваивают людям, которые кое-как делают самую обычную работу: убыточно растят хлеб, шоферят, слесарничают, ткнут, торгуют, рубают уголь. Всякое ремесло заслуживает уважения, но зачем окружать его ореолом мистического восхищения? Но искусствовед Ротенберг так раскошегарился в связи со «Служанкой, наливающей мо-

локо», что, будь его воля, он дал бы ей звание Героя Социалистического Труда. А заодно и запечатлевшему ее трудовой подвиг — шутка ли — палить молоко! — художнику.

Профессиональные же суждения его об этой картине исполнены, как всегда, проникновенности и художественного чутья. Совершенно справедливо его наблюдение, что в мощной жанровой живописи страны-труженицы крайне редок человек труда. И вообще не чиновный, не военный, не привилегированный человек редкий гость полотен «маленьких голландцев». Лишь Адриан Остаде охотно писал крестьян — в пьяных плясках и потасовках, картежных играх, всяческом дуракавалянье, но никогда на пиве.

А Вермеер сотворил — это страшно говорить о таком небольшом холсте — нечто эпическое. Свежее, опрятное, заботливое существо с чудесными надежными руками и серьезным милым выражением — символ голландской женщины той славной поры.

И еще один чудесный образ труженицы создал Вермеер (похоже, я перехожу на социалистические рельсы Ротенберга) — луврскую «Кружевницу». Тут достигнута удивительная стереоскопичность: девушка как бы высунулась из картины. Протяни руку — и ты ощутишь округлость ее головы с тщательно уложенными волосами, так мило обрамляющими усердное лицо. Но она не заметит прикосновения, поглощенная своей тонкой работой. Нет, изображенное тут больше чем просто работа, это мгновение творчества, мгновение одухотворенной сосредоточенности человека, приносящего в мир нечто новое.

Стереоскопический эффект усилен непривычно плотной для лаконичного Вермеера населенностью переднего плана. Обычно художник обходится минимальным для данного сюжета количеством предметов домашнего обихода, ибо решает живописные, а не жанровые задачи. Но он не стал скупиться, когда живопись потребовала заполнения переднего плана, чтобы все изображение обрело объемность.

Самое удивительное, когда искусствоведы отказывают в индивидуальности лучшему портрету Вермеера — «Голова девушки» из Гаагского музея. Вот что значит ослепление собственной концепцией.

Есть в мировой живописи два шедевра, которым близок по лаконизму, психологической глубине и некой не определяемой в словах живописной тонкости портрет Вермеера: «Дама с горностаем» Леонардо и «Портрет камеристки инфанты Изабеллы» Рубенса. Они вроде бы ничуть не схожи, эти три женских образа на черном глухом фоне, но есть в них на последней глубине загадочная родственность.

Дама с горностаем — это юная Чечилия Галлерани, любовница Людовико Моро, надолго приковавшая к себе непостоянного в чувствах герцога. Ее пальцы поглаживают горностаю — геральдического зверя рода Сфорца; тонкая, нервная, обманчиво хрупкая рука обладает странным сходством с маленьким хищником. Да она и сама тайная хищница, эта юная особа с тихим, кротким, запертым на сто засовов лицом. Она вся из тайны блестящего снаружи, а внутри источенного коварством, сладострастием и жестокостью двора двуличного Моро.

Камеристка Рубенса. При первом взгляде на портрет хочется воскликнуть: «Какое милое лицо!» При втором: «Непростая и очень себе на уме девица!» При третьем — долгом, ибо портрет не отпускает: «Такая юная и такая искушенная, сколько темных тайн хранится за ее гладким лбом!»

Тайны дворца, тайны королевского двора... А за Вермееровой девчушкой тайны городского подворья, где она растет и быстро зреет, по-своему ничуть не менее жгучие. Она еще подросток, но уже сведущий, прозревающий свою суть, маленькая Ева, готовая вкусить от запретного плода. У нее грешный, чуть приоткрытый рот, опасноватый скос глаз при совсем детской припухлости щек. И как женствен поворот ее ладненькой головки! Как хорошо подобрала она тона своих одежд и

откинула хвост тюрбана! Что ждет ее в будущем? Едва ли это милостивое существо станет кружевницей или хозяйской-хлопотуньей. Уж скорее той румяницей, что принимает монетку от офицера. Такая может выбиться в «Женщину, взвешивающую жемчуг», или в «Даму у спинета», или в ту, с лютней, которой служанка вручила послание любви («Любовное письмо»). А может, и еще выше шагнет. В ее детской хрупкости большая жизненная сила, угаданная художником.

Есть у Вермеера и другая девичья головка — брюссельский «Портрет девушки». Все так похоже: ракурс, скос глаз, овал лица, одежда, головной убор, но характер совсем иной — куда проще, бесхитростней, наивней. Вермеер словно решил посмеяться над теми, кто будет упрекать его в имперсональности: вот вам — живописно один к одному, а характеры разные.

Я так много говорю об этом, ибо мне ненавистно прокрустово ложе, на которое искусствоведы стремятся уложить художника. Большого художника всегда приходится обрубать, чтобы он поместился. Отказав Вермееру в психологизме, его вытолкнули из портретистов. Конечно, Вермеер не Франс Хальс, которого увлекала лишь глубина человека. Словно подтверждая высказывание Паскаля, что человеку по-настоящему интересен только человек, Хальс всю жизнь писал лишь человеческое лицо, причем не лицо вообще, а конкретного человека. И наделил не иссякающим в веках интересом вполне заурядные лица разных бургомистров, сукошников, торговцев, офицеров, просто бюргеров и почтенных жен их.

И для Вермеера человек далеко не всегда был лишь сочетанием красочных пятен. Остротой психологической характеристики отмечены персонажи картин: «У сводни», «Кружевница», «Женщина, взвешивающая жемчуг», «Географ», две девичьи головки.

Но Вермеера интересовало и другое, быть может, в первую очередь — сама живопись, игра света на предметах, лицах, одежде, переливы красок, велюры, все богатство много-

цветья, без которого пир жизни потерял бы свое величие, и когда он отдается чистой живописной стихии, то впрямь становится имперсонален — всякую психологию побоку!

Впрочем, слишком категоричные утверждения всегда ложны. Жан Жироду остроумно говорил, что Трою погубили утверждения. Случалось у Вермеера, что оба творческих импульса совпадали. Когда смотришь на «Офицера и смеющуюся девушку» — так скромно названа сценка в публичном доме, где юная дама красноречиво, хотя и застенчиво подставила ладонку под монету, то сперва глаз не можешь отвести от изумительно красного камзола офицера (этот любитель летучих наслаждений настолько не интересовал художника, что он усадил его спиной к зрителям) — как чудесно принимает солнечные блики и прозрачные тени киноварная гладь! Затем переводишь взгляд на его огромную темную шляпу — кусок почти в цветенье дня — и, оскользнув бегло стену с географической картой — к чему это в бардаке? — сосредоточиваешься на прелестном лице женщины, лукаво-безгрешном и таком манящем, что плакать хочется об ушедшей молодости.

Вот в «Спящей девушке» берлинского музея натура является лишь объектом для игры света (недаром художник закрыл глаза девушке, а ведь без глаз лицо — маска). Здесь человеческая фигура значит для художника ничуть не больше, чем великолепная скатерть, ваза с фруктами, кувшин, кресло, приоткрытая дверь. Но почему картина не только восхищает, но и волнует? Солнечный свет в комнате будит множество воспоминаний, ассоциаций, затрагивает что-то сокровенное в душе.

Живопись, только живопись владела помыслами художника и в потрясающих по свето-цвету «Бокале вина», «Уроке музыки», «Молодой даме в окне», «Госпоже и служанке». К этому ряду картин Вермеера приложимы слова, вычитанные мною у Вальтера Патера: «Искусство есть средство освободиться от тирании чувств»:

Для меня долгое-долгое время Вермеер Дельфтский оставался тайной. Я знал его по репродукциям, преимущественно черно-белым, и сам не понимал, в чем причина его особой притягательности, несопоставимой с очарованием «маленьких голландцев», многих из которых я видел в наших музеях.

И казалось, что все свои картины, кроме ранних (одна на мифологический сюжет, другая на библейский) да двух пейзажей, он творил в одном и том же интерьере: всегда узнаваемые были окно, стена с географической картой, немногочисленная мебель, скатерть на столе. Если же появлялось что-то новое, то и оно, как правило, принадлежало тому же самому помещению. Возникла и долго преследовала меня бредовая мысль, что Вермеер калека или паралитик, обреченный на вечное затворничество. Ведь два его пейзажа могли быть написаны из того самого пресловутого распахнутого окна.

Мне не попадались ни книги о Вермеере, ни каталоги его выставок, ни статьи о нем. Затем я встретил имя Вермеера у Марселя Пруста. Шарль Сван, первый щеголь и шармер Сен-Жерменского предместья, светский идеал юного Марселя, научивший франтов подбивать цилиндр зеленой кожей, работал над этюдом о Вермеере. И Одетту, его любовницу, впоследствии жену, раздражало, что Сван ограничивается — из какой-то странной стыдливости — сообщением всяких конкретностей о жизни и творчестве художника, воздерживаясь от личных оценок, упорно уходя в тень. «Ах, если б мне попался этот труд Свана! — вздыхал я. — Голландский сфинкс был бы наконец рассекречен. Как интересно, что Сван с его безукоризненным и придирчивым вкусом, с его чувством изящного выбрал именно этого уединенного художника!»

Прошли годы, и я узнал все то темное, но в общем-то достаточное, что известно о внешней жизни художника. Свою тайну Вермеер никому не открыл и унес с собой в могилу. Каждый почитатель Вермеера открывает его тем ключом,

которым владеет. Единой точки зрения на сокровенную суть его творчества нет, да и быть не может. Ее нет и в отношении куда более открытых мастеров, отнюдь не стремившихся остаться загадкой для современников и — подавно — потомков.

У него была крайне перомантическая, однообразная, неподвижная жизнь, и в этом он сродни Тинторетто. Тот всего лишь раз покинул родную Венецию ради короткой деловой поездки в близлежащую Верону. Вермеер не покидал своей крошечной страны. Он прожил недолгую, всего сорок три года, жизнь, но полностью реализовал, исчерпал отпущенный ему Богом громадный дар. Под уклон дней в его работе наметился явный спад, и он, если можно так выразиться, согласился не быть.

Родился Вермеер в Дельфте, в 1632 году, в зажиточной буржуазной семье. Отец изготавливал шелка, держал гостиницу и торговал картинами. Последнее дело перейдет к его сыну Яну, который, будучи одним из самых высокооплачиваемых художников, постоянно нуждался в деньгах, ибо работал очень медленно, а семью имел огромную: одиннадцать детей.

Вермеера часто называют учеником знаменитого Карела Фабрициуса, у которого встречались элементы пленэра. Но и в ранних, еще далеких от будущей зрелой манеры картинах Вермеера нет следа ученичества у Фабрициуса. Вермееру было всего двадцать два года, когда Фабрициус погиб от порохового взрыва, и поэт Арнольд Бон в стихотворении на смерть большого художника сказал, что гений Фабрициуса возродился, как феникс из пепла, в облике Вермеера. Очевидно, отсюда и пошла легенда об учителе и ученике. При этом Вермеер, несомненно, был чем-то обязан Фабрициусу, как и другим великим предшественникам. Художник не возникает из пустоты.

Замечательно другое: необычайно высокая оценка поэтом совсем еще молодого живописца. Его взлет был стремителен. В двадцать один год он был принят в гильдию св. Луки —

цеховое объединение живописцев. Это было как бы посвящением в профессиональные художники, в Мастера. Теперь оставалось только одно для утверждения своей зрелости — жениться, что Вермеер не преминул сделать, сочетавшись браком с Катериной Больнесс, девушкой из состоятельной семьи, с которой и прожил в полном согласии до самой смерти в 1675 году. Вермеера неоднократно избирали главой художнической гильдии, что свидетельствовало о его первостатейном положении в среде дельфтских живописцев. К исходу его недолгой жизни интерес к нему стал угасать — и соответственно доходы. Он, конечно, не дошел до нужды Рембрандта, бедности Хальса, тем паче нищеты лучшего пейзажиста Гоббема, но и не оставил семье никакого наследства, кроме нескольких собственных и чужих полотен. Последние уже ценились дороже.

Это очень тусклая жизнь, если сравнить ее со сверкающей жизнью Рубенса, любимца века, художника-дипломата, всеобщего баловня; это очень обыденная жизнь, если сравнить ее с взлетами и падениями Рембрандта; очень пресная жизнь, если вспомнить о долгом и пышном цветении Франса Хальса; это жизнь с горчинкой, если взглянуть на безупынное существование многих «маленьких голландцев», несопоставимых по таланту с Вермеером. Но ведь то была жизнь художника, а не обывателя, и потому жизнь Вермеера можно считать хорошей жизнью, наполненной любимым трудом, гармонично поделенной между мастерской и семьей.

Беда — житейская — Вермеера состояла в том, что он был вовсе не жапристом, но романтиком, создавшим свой особый, меланхолический мир — при обилии солнца и ярких красок, — который до поры вводил в заблуждение голландских буржуа схожестью с тем, что им так правилось «повесить на стеночку». А потом они прозрели в отношении Вермеера, как еще раньше — в отношении Рембрандта, которому поэт Вандель строго выговаривал: «Кто любит жизнь, может обойтись

без теней и, будучи сыном света, не искать паутины и темных закоулков».

Судьба художника в руках его современников. Пока он соответствует их вкусу, их уровню понимания, их интересам и чаяниям, он любим, ценим и покупаем. Если же он пошел своим, независимым от времени, от настроения общества путем, он обречен.

Миниатюрист Изабе сказал: «Я прожил очень счастливую жизнь, потому что всегда льстил своей модели». Иногда удача художнику может выпасть не за счет намеренной лести, а в силу полного, искреннего совпадения с тем, что хотят заказчики. Я имею в виду не прямого заказчика, а целокупного — вкус общества. Поэтому самое благополучное существование во все эпохи вели художники академического направления, ибо это наиболее доступное широкой публике и бестревожное искусство. Легко живется декоративным, пышным, нарядным живописцам вроде Паоло Веронезе или Рубенса с его белотельми, жирными красавицами, ибо во все времена люди падки до ярких зрелищ. Великолепную жизнь прожил Ван Дейк, он редко выходил (а мог — да еще как!) за рамки салонного портрета высочайшего живописного класса. Любопытно, что из двух крупнейших мастеров натюрморта — Клаеса и Гедды — при жизни предпочтение отдавали первому, а в потомках — второму, который, конечно, выше. Но у первого застолье еще предстояло, а у второго — уже прошло, что всегда грустно, ибо напоминает о том конце пира, которого никому не миновать.

Какую тяжкую жизнь вел величайший гений человечества Леонардо, сколько мук выпало на долю величайшего творца всех времен Микеланджело, как трудно добивался признания великий Тинторетто! Эль Греко вынужден был укрыться в Толедо от мадридских церковников, а как мучили Гойю, не заметили Сислея... Конечно, бывали счастливые исключения, гении с легкой рукой: Рафаэль, Тициан, Веласкес, — но ведь их судьбы должны быть правилом...

Охлаждение общества к Вермееру произошло при жизни мастера; я склонен думать, что причина этого не в потускнении его дара. Истинный шедевр «В мастерской художника» — поздняя работа; еще позже написаны «Астроном» и «Географ», «Любовное письмо», «Дама у спинета»; наоборот, все усиливающееся ощущение холода и равнодушие публики привели мастера к такому провалу, каким явилась пышная и пустая «Аллегория Веры», чуждая ему, «как пуля живому сердцу».

Что же случилось? Окружающие вдруг стали замечать, что художник не потрафляет их вкусу. Где веселые катки с нарядными дамами и господами? Где паруса победного флота? Где лихие пирушки, галантные похождения и другие кавалерственные подвиги, что довлеют мужской гордости? Где хотя бы глупые крестьяне, тузящие спьяну друг дружку, — сюжет, что дарит лишний раз ощущением собственного превосходства? Ничего этого нет. Все как-то чопорно, печально, отстраненно: и бардак не бардак, а обычный бюргерский дом, и шлюха не шлюха, а скромная свояченица. Вермеер перестал что-либо говорить пресыщенному сердцу современников. И его прочно забыли — на два века.

Вот как описывал Голландию за год до появления на свет Божий младенца, нареченного Яном, в семье дельфтского бюргера Вермеера знаменитый философ Декарт, бежавший из Франции от религиозных преследований, в письме к своему другу: «Советую выбрать вашим убежищем Амстердам и предпочесть его не только всем капуцинским и картезианским монастырям, но и красивейшим местам Франции и Италии... В большом городе, где я живу, кроме меня, нет человека, не занятого торговлей; каждый так озабочен наживой, что я мог бы всю жизнь прожить, никем не замеченный. Каждый день прогуливаюсь среди толкотни многолюдного населения с такой же свободой и спокойствием, как вы в ваших аллеях. Размыслию ли когда об их действиях — получаю

такое же удовольствие, какое ощущаете вы при виде поселян, обрабатывающих ваши поля, ибо вижу, что труд их служит к украшению моего жилища и к тому, чтобы я ни в чем не нуждался. Вам приятно видеть, как зреют плоды в ваших фруктовых садах, и чувствовать себя среди изобилия. Думаете ли вы, что мне менее приятно видеть приходящие корабли, обильно несущие все, что производит Индия, все, что редко в Европе? Какое другое место на земле, где так легко было бы, как здесь, найти все удобства жизни и все редкости? В какой другой стране можно наслаждаться такой полной свободой, где можно спать так спокойно, где была бы всегда готова вооруженная сила, исключительно назначенная для вашего охранения?»

Чтобы достичь такого благоденствия, надо было пройти через великие испытания, кровавые бои, жертвы, свергнуть испанское владычество, изгнать захватчиков, установить свою прочную государственность и смело кинуться навстречу новым опасностям, подняв уже не освободительное, а стяжательское знамя. Голландия с той же настойчивостью, мужеством и упорством, с какими она перемалывала полчища испанского наместника Альбы, стала захватывать новые земли, осваивать моря и океаны, вытесняя отовсюду еще недавно победительные флоты Испании и Португалии. Вчерашние солдаты становились купцами, а вчерашние мирные капитаны торгового флота — пиратами.

Две хищные компании — Ост-Индская и Вест-Индская, — дерзкое каперство, беспощадное колонизаторство — направили в Голландию бесконечный поток золота. Амстердамская биржа стала центром мировой спекуляции. Люди спекулировали на всем — от хлеба и спирта до цветов и картин. Кстати, спекуляция подкосила Рембрандта, скупавшего оттиски своих гравюр, чтобы они дороже стоили, и после ряда удачных лет вдруг оказавшегося с грудой невостребованного товара на руках. Героический период становления нового

класса, когда купец был воином, землепроходцем, мореплавателем, пиратом, породил мощное искусство. Вчерашние воины и герои, сегодняшние дерзкие предприниматели, они гордились трагической историей своей родины, они жили в мире сильных чувств и хотели большого, мощного, трагического и героического искусства. И получили гиганта Рембрандта, великолепного Франса Хальса, мощного Потера, сочного Адриана ван Остаде. Но минуют годы, утончится вкус все более набирающего знаний и культуры бюргерства, и они получают загадочного, ни на кого не похожего Вермеера. Даже не очень понимая странное очарование его статичной «эмалевой» живописи, они чутьем прирожденных коммерсантов угадали, что это стоит дорого, и охотно платили.

Мне кажется, не случайно Вермеер появился именно в Дельфте. То был не совсем обычный город. Очень богатый, причем богатство его зиждилось не столько на банках, сколько на изумительном дельфтском фаянсе, Дельфт лежал в стороне от большой воды и был лишен шума, суеты и вульгарности портовых городов. Он был тише, раздумчивее и утонченнее. Поэтому так и пришлось ему по душе загадочное, куда более тонкое, нежели у других художников, искусство Вермеера. Именно он, а не мощный Фабрициус, не перебравшийся в город фарфора чудесный Питер де Хоох получил прозвище Дельфтский.

Но прошли десятилетия, и бюргер окончательно убедился в несокрушимой прочности своего положения, которому не страшны ни испанцы, ни морские соперники — англичане, ни беспокойные соседи, ни внутренние потрясения — вчерашний гёз сам стал хозяйчиком. Доспехи времен освободительной войны давно заржавели в чулане, бывший воин, мореход, пират, конкистадор, рискованный финансист пожирнул, обуржуазился, а стало быть, и опошлится, героическое мироощущение сменилось гедоническим. Теперь уже не хотелось, чтобы искусство будоражило, волновало, напомина-

ло о трагическом, куда-то звало. Самодовольство требовало возвеличивания, а легкая скука — спутник пресыщенности — развлечения. Рембрандту указали на дверь. Сочного, пронизательного Франса Хальса заменил гладкий, любезный Ван дер Хельст, могучий потеровский бык потеснился ради славных коровок Кейпа, уютный Исаак ван Остаде занял место своего непричесанного брата Адриана, а элегического, странного, уводящего глаза Вермеера разменяли на высокоталантливых, но простых, бодрых и откровенных Терборха, Питера де Хооха, Метсю, Тенирса и других «бытовиков».

Когда нужда стала стучаться в двери Вермеера, он сделал попытку потрафить повому вкусу и унизил свое творчество несколькими салонными портретами, мертвыми аллегориями. Не поправив своих дел, он взял и умер.

После его смерти в мастерской оставалось лишь одно значительное полотно, которое называлось «В мастерской художника». Оно примечательно не только своими исключительными художественными достоинствами, но и причастностью к тайне Вермеера. Он воистину был сфинксом — не только в живописи, но и в житейском поведении. Художник как будто специально постарался, чтобы никто не знал, как он выглядит. И это в Голландии, где портретирование было обязательно, как весенний насморк. Он не давал писать себя другим, не оставил и автопортрета, с одной оговоркой: он присутствует «В мастерской художника», в священный час творчества — за мольбертом. Он пишет девушку, украшенную смешным венком (уж не пародия ли это на рембрандтовскую «Весну»?); полузакрыв от смущения глаза, она нелепо держит в одной руке громадный фолиант, в другой — зачем-то — тромбон. А не высмеивал ли Вермеер собственные аллегорические потуги? Художник сидит к нам спиной, мы видим чуть сутуловатую, широкую спину, длинные волосы под щеголеватым беретом, крепкие, хорошо обутые ноги, руку с кистью, и тут нам открывается один секрет: Вермеер писал картину

по секторам. Сейчас он пишет веночек на голове натурщицы. Это подтверждает мнение, что Вермеер писал почти без эскизов, ограничиваясь лишь беглым наброском.

Ну, метод свой он открыл, но почему же скрыл лицо? Если девушка из куда более состоятельной семьи отдала руку начинающему художнику, наверное, он не был уродом, это подтверждает и его ладная, щеголеватая фигура. Вермеер сознательно не захотел открыть свое лицо. Из скромности? Но для голландцев той поры глядеть с портрета было столь же естественно, как курить трубку, пить пиво или подсчитывать барыш. Этика тут ни при чем. От обиды на современников, перенесенной в будущее? Он писал это полотно в пору начавшегося к нему охлаждения. Его перестали видеть, понимать. Когда вчерашние друзья вонзали в Юлия Цезаря свои кипжальки, он закрыл лицо, ему было стыдно за них. Поза Вермеера на этом полотне напоминает мне жест Цезаря. Художник повернулся задом к тем, кто отвернулся от него, — символическая поза.

Я не верю в бессознательное творчество и потому исключая в нем случайность. Для меня в страшном полотне Вермеера «В мастерской художника» все строго высчитано ради конечного исчерпывающего смысла: разочарование. В судьбе, в окружающих, во времени, в наивной вере, что искусство говорит само за себя. Красивое, нарядное полотно исполнено горечи, печали и незлой иронии.

Трагедия Вермеера в том, что он принадлежал не голландскому миру, а миру, не времени, а вечности. Но подтверждения этому пришлось ждать два века.

Трудно понять такое: картины были, а их не видели. Забылось недавнее восхищение, забылось самое имя художника. Но уж так ли это страшно и непривычно? Музыка Баха была на слуху у жителей многих немецких городов, которые посетил композитор в своей скитальческой жизни, а они ее будто и не слышали, зато слышали музыку сладенького Те-

лемана. И потомки этих глухарей не слышали Баха, пока уже в XIX веке рысьи глаза Феликса Мендельсона-Бартольди не отыскивали «Страсти по Матфею» в завали забытой барочной музыки. Он взмахнул дирижерской палочкой, и начался новый отсчет музыкального времени.

Чтобы вернуть в мир гения, нужен другой гений. Когда в 1842 году известный французский художественный критик Теофиль Торе наткнулся на Вермеера, о котором ничего не знал, он опешил, возликовал и напечатал блестящую статью в «Газете изящных искусств», но это еще не означало возвращения забытого художника. Когда же за дело взялся его приятель, другой Теофиль — Готье, то повторилась история Баха — Мендельсона: один гений вытащил из небытия другого. Историю изобразительного искусства пришлось срочно перестраивать, в ней появилась новая глава.

Но быть может, еще больше для признания Вермеера сделал творец нового романа Марсель Пруст, чей авторитет стал на Западе непререкаем. Он не только ввел тему Вермеера в ткань своей эпопеи, но и научил, как надо смотреть картины дельфтского мастера. У Вермеера есть два пейзажа: «Вид Дельфта» и «Уличка», их оказалось достаточно, чтобы попасть в число величайших пейзажистов всех времен. Пруст связал имя Вермеера с одним из своих самых важных персонажей, писателем Берготом, да еще в такой ответственный момент жизни человека, как умирание и смерть:

«Скончался же он при следующих обстоятельствах: довольно легкий приступ уремии послужил причиной того, что ему предписали покой. Но кто-то из критиков написал, что в «Виде Дельфта» Вермеера (представленном гаагским музеем голландской выставке), в картине, которую Бергот обожал и, как ему казалось, отлично знал, небольшая часть желтой стены (которую он не помнил) так хорошо написана, что если смотреть только на нее одну, как на драгоценное произведение китайского искусства, то другой красоты уже не захочешь, и Бергот, поев картошки, вышел из дома и отправился

на выставку. На первых же ступенях лестницы, по которой ему надо было подняться, у него началось головокружение. Он прошел мимо нескольких картин, и у него создалось впечатление скудности и ненужности такого надуманного искусства, не стоящего сквозняка и солнечного света в каком-нибудь венецианском палаццо или самого простого домика на берегу моря. Наконец он подошел к Вермееру; он помнил его более ярким, не похожим на все, что он знал, но сейчас благодаря критической статье он впервые заметил человечков в голубом, розовый песок и, наконец, чудесную фактуру всей небольшой части желтой стены. Головокружение у Бергота усилилось; он впился взглядом, как ребенок в желтую бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную стенку. «Вот как мне надо было писать, — сказал он. — Мои последние книги слишком сухи, на них нужно положить несколько слоев краски, как на этой желтой стенке». Однако он понял всю серьезность головокружений. На одной чаше весов ему представилась его жизнь, а на другой — стенка, очаровательно написанная желтой краской. Он понял, что безрассудно променял первую на вторую. «Мне бы все-таки не хотелось, — сказал он себе, — чтобы обо мне кричали вечерние газеты как о событии в связи с этой выставкой».

Он повторял про себя: «Желтая стенка с навесом, небольшая часть желтой стены». Наконец он рухнул на круглый диван...»

Вот как надо вглядываться в картины Вермеера, чтобы они отдали вам всю сконцентрированную в них красоту.

Считается, что Пруст в образе Бергота вывел Анатоля Франса, который ему покровительствовал и пользовался в ту пору гипертрофированной репутацией умнейшего и своеобразнейшего писателя Франции. Именно таким выглядит Бергот у Пруста. Остроумная, хотя и вяловатая проза Франса не давала оснований для подобного возвеличивания. Берготом на деле оказался сам Пруст. Но сейчас нам важно другое: в концепции романа Бергот — гений. И этот гений едва

не пропустил собственной смерти, замороженный желтым цветом Вермеера. Вот что такое дельфтский сфинкс!

О желтом, красном и коричневом у Вермеера можно писать исследования, но еще лучше — стихи. Когда же Вермеер дарит холсту голубое, хочется благодарить Создателя за ниспосланную благодать.

Литература сильно проникла в живопись, «маленькие голландцы» насквозь литературны, как и русские передвижники, как и адепты академического стиля всех мастей, — они рассказывают; но случается, истинно большие мастера тоже прибегают к языку другого искусства: Рубенс, Делакруа. Вермеер — это торжество живописи, он не знает иного языка, кроме цвета и света.

Но художник такого масштаба не бывает просто функцией отпущенного свыше дара, в данном случае — невероятно сильно чувствовать свет и цвет мира и уметь воссоздавать солнечное великолепие на холсте. Он еще личность, человек, через которого проходит предельно чувствительный нерв бытия. Вермеер всей кровью ощущал преходящесть, мотыльковую краткость людей вокруг себя, так тянущихся к наслаждению, труду, созерцанию всей «краткой радости дышать и жить», чувствовал собственную хрупкость и недолгость и не мог быть безмятежно веселым, бездумным, не мог полностью раствориться в настоящем. Отсюда таинственный налет печали на его солнечном искусстве. Отсюда такая близость нынешней душе его замерших посреди далекого прошлого фигур.

Мне бы хотелось закончить рассказ о Вермеере одной маленькой историей, случившейся со мной недавно. В истории этой нет ничего важного и поучительного, но, думается, любовью штришок к несуществующему портрету художника чего-то стоит.

В последние годы у нас то и дело возникают новые издания, исчезающие так же быстро, как и появились. Иногда им

удается выпустить один-два номера газеты или журнала, прежде чем уйти в небытие. Не знаю сам почему, но я предпочитаю этих эфемеров традиционным органам печати. Наверное, мне, человеку кабинетному, импонирует легкий дух авантюрного предпринимательства. Недавно, откликнувшись на очередной призыв, я отправился по указанному адресу в Южин переулок, в самом центре Москвы, неподалеку от площади Пушкина. Удивительно, что я, коренной москвич, не только никогда не бывал в этом переулке, но даже не слышал о нем. В адресе настойчиво подчеркивалось: «строение номер 5», что также было непривычно: как правило, ограничиваются номером дома. Все это настроило меня на таинственный лад. Ожидания оправдались, я попал в московское зазеркалье.

Тут царила странная пустышность, выключившая коротенький переулок из суматошливого городского центра. Пешеходы и машины исчезли, старый кирпичный, почерневший от времени дом с заветным номером и названием улицы казался необитаемым.

Я вылез из машины и вошел в подъезд, с усилием оттолкнув глухую дверь на ржавой тугой пружине. Подъезд не был освещен, но откуда-то сверху сочился тощий, бледный, нездоровый свет. Когда глаза привыкли, я обнаружил лестницу, металлические перила и пошел вверх по обшарпанным ступеням, опирая руку о леденящий холод перил. Второй пролет подвел меня к темному коридору. И опять таинственная световая сочъ позволила углядеть двери: высокие — деревянные, низенькие — обитые жостью... Последние были без ручек и, похоже, никуда не вели. Первая же деревянная дверь со старинной медной ручкой легко поддавалась нажиму и впустила меня в холодную, смрадную щель со стеллажами, заставленными папками. Несло плесенью и сопревшей бумагой. Неприятный живой шорох наполнял спертый воздух хранилища. Я настроил себя на крепкий, бодрый испуг, но ко мне подкрадывался какой-то гаденький ужасик. Я выскочил в коридор.

Я толкнулся в двери еще двух-трех пустующих смрадных помещений и вдруг попал в населенность и свет. Я вздрогнул не только от неожиданности. Мне показалось, будто я вселился в полотно Вермеера. Помните его «Географа» и «Астронома»? Это ведь один человек, только по-разному освещенный. И скурые приметы научных трудов разные: у одного циркуль, у другого небесный глобус. Сейчас странный человек дельфтского тайнописца предстал передо мной в яви. В густых тенях казалась бесплотной тощая, сутулая фигура молодого ученого, рыжекудрого и луноглазого, со вздернутым готическим носом. Он был не то в ученом халате, не то в рясе, остроконечная шапка на рыжих кудрях напоминала клубок. Он повернул ко мне свое аскетическое лицо с выражением прииженного высокомерия и заинтересованной отчужденности.

— Простите за беспокойство, — сказал я, — вы не знаете, где находится пятое строение?

— Пятое строение... пятое строение... пятое строение... — забормотал он, словно приучая себя к непривычному сочетанию.

Под его бормоток я огляделся. Мир этого ученого был куда плотнее населен, нежели вермееровский. Тут были микроскопы, колбы и реторты, горелка с сиреневым пламенем, похожим на мотылька, секстанты, угломеры, циркули; старинный глобус и стеклянный кубок на треноге, в котором Нострадамус вычитывал свои предсказания. И повсюду мерцали, сверкали, сияли, маслянисто тускнели всевозможные минералы — крупными уломками и мелкой россыпью. Это был ученый с не написанной Вермеером картины «Минералог».

— Пойдемте! — вдруг сказал ученый и решительным жестом запахнул халат.

Мы спустились по лестнице и через черный ход вышли во двор. На пустыре торчали пятиэтажные кирпичные коробки, похожие на административные корпуса дореволюционных фабрик.

— Раз, два, три, четыре... пять... — пересчитал он корпуса. — Это должно быть пятым строением.

— Но там нет жизни.

— А где она есть? Но если тут есть хоть какая-то жизнь или силится стать, то лишь в этом доме. Видите, наверно хотели вымыть окно. Все остальное мертво.

И, сказав эти зловещие слова, человек, которого я вынул из старой голландской картины, исчез в дверном проеме, как в черном рембрандтовском лаке.

И тут я решил показать из ответной любезности, что понял его маскарад или сжившуюся с ним личину, и крикнул в черную дыру:

— Привет Вермееру!

Когда, справив свои журнальные дела, я шел через двор к машине, передо мной выросла длинная, гнутая фигура в рясе-халате и клобуке-колпаке — вермееровский ученый муж. В усталом, порыжелом солнце ржавь его волос стала красной, с вкраплениями оттенков бордового — любимая гамма Вермеера.

— Вам! — сказал он, мучительно стесняясь, и капли пота со лба смешивались со слезами на впалых щеках. — Возьмите! Прощу вас! Горный хрусталь!

Он протянул мне сероватый, полупрозрачный брус и, едва я взял его в руку, исчез...

Иногда мне кажется, что ничего этого не было, все-то мне приснилось, и тогда я открываю ящик письменного стола и достаю тусклый, гладкий уломок горного хрусталя.

Кто он такой, даритель этого уломка? Прекрасный безумец? Романтик с ностальгической мечтой о дивном семнадцатом веке? Безобидный ученый чудака? Фанатичный поклонник Вермеера? Городской сумасшедший? Называй его как хочешь, одно остается неизменным: он существует в образе, созданном Вермеером. Много ли случаев такого вот оживления через века грезы художника?

Марк Шагал

Любовь — это его еврейская экспансия: по горизонтали — к людям, по вертикали — к Творцу и Вселенной.

Л. Беринский



еряясь перед громадой многоликого творчества Марка Шагала, прожившего почти столетнюю жизнь, многие искусствоведы пытались свести сделанное им к нескольким главным направлениям, основополагающим темам, но безуспешно: художник не вмещается ни в какую схему.

Пожалуй, наиболее убедительно выглядит соображение о триединстве его творчества: рождение, супружество, смерть. В памяти сразу начинают мелькать бесчисленные картины, рисунки, гравюры, панно и витражи, доказывающие справедливость этого утверждения. Но тут же вспоминаются бесчисленные картины, рисунки, литографии, офорты, панно и витражи, которые — даже с натяжкой — в это триединство не укладываются.

Так же трудно, да что там — невозможно зачислить Шагала в какое-либо художественное ведомство. В разные годы жизни; а порой и одновременно он мог быть реалистом, примитивом, экспрессионистом, сюрреалистом, кубистом; он и в конструктивистах побывал, и супрематизму отдал легкую дань, вот разве что чистого абстракционизма всегда чуждался.

Бывают бессознательные художники, не тревожащие себя раздумьями о природе своего искусства, поющие, как жаво-

ронок по утрам, но Шагал был постоянно и глубоко мыслящим человеком, склонным предавать свои размышления бумаге — и в прозе, и в стихах. Он всегда тяготел к самопознанию и осмыслению окружающего. Его интересовали конкретные люди: творцы и обыватели; его волновала тайна Человека, не меньше занимали и «другие народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени»; он общался с Рембрандтом и услышал, что тот любит его, и с Тинторетто, и с Эль Греко, он вел вечный счет с Богом. В итоге всех размышлений он очень точно и просто назвал главную движущую силу своего творчества: «Принцип моей работы — я люблю людей, каждого человека».

Эти детски-бесхитростные слова определяют в его творчестве самое главное, без чего можно безнадежно запутаться, пытаясь объяснить, почему витебский еврей с котомкой «оживляет» французский городской пейзаж, почему в библейский сюжет вступает, а иногда влетает грустная витебская лошадка, похожая на корову, или корова, похожая на козу, и почему к месту и не к месту витебский мечтатель-музыкант терзает скрипку на горбатой крыше. Шагал видел их в своем витебском детстве и смертно, жалостно, благодарно полюбил на всю жизнь этих странников, скрипачей, мясников, сапожников, бродячих торговцев, стариков со свитками торы в коричневых чехлах, молочниц, волооких певичек, полюбил всю уличную и окрестную живность, особенно петухов — «глашатаев новой жизни», и ослика, и корову, и козу, и речную рыбу, еще не ставшую фаршированной. И от любви — ничего иного — помещал на свои полотна, независимо от того, что там было изображено: парижский вид, цирковая клоунада, библейское действо или полет с любимой в облаках.

Впечатления детства остались для него вечной поэзией. Он просто не в силах был удержаться, чтобы не поместить петушка хоть в уголок картины. Но случилось, петушок этот выросал в гиганта, как на картине «Красный петух», напи-

санной в Париже в 1940 году, когда уже шла Вторая мировая война. Этот петух куда больше человеческой фигуры, летящей по воздуху, и куда больше коровы, играющей на скрипочке у подножия дерева, которое тоже меньше петуха. То был, видимо, мощный ностальгический всплеск посреди грозного неурюстройства съехавшей с рельсов Европы.

На одном из самых знаменитых холстов Шагала исхода тридцатых годов, то есть вблизи катастрофы, «Распятии», он провидит новый апокалипсис, который принесет в мир гитлеровская Германия, хотя приметы этой страны отсутствуют. В центре — распятый на старообрядческом русском кресте Христос в снопе льющегося сверху света, слева через реку переправляются беженцы, а за ними пылают дома, и за крестом полыхает дом, и взвились на воздух от ужаса старые евреи, среди них ребе, а сзади подлетает охваченная паникой молодая женщина; удирают со всех ног странник с мешком, старик с торой, женщина с младенцем, и пылает у подножия креста еврейский... шестисвечник. Когда спустя много лет Шагала спросили, почему свечей шесть, хотя национальный светильник о семи свечах, он глянул на своего собеседника глазами, полными слез, и ничего не ответил. Его постигло горестное провидение: шесть миллионов евреев было уничтожено во Вторую мировую войну.

Трудно понять художника, не зная его биографии, среды, из которой он вышел, его родителей, города или деревни, где он увидел свет, особенно если имеешь дело с таким укорененным художником, как Марк Шагал. Его еврей с мешком — вечный беженец; вечный странник — это он сам. Конечно, он не был бездомен в житейском смысле. Богатый человек, он мог поставить себе дом где хотел. Но, увы, не в родном Витебске. Город его детства был утерян, как утеряна и вся Россия. Шагал неоднократно менял место жительства — когда по собственному желанию, когда по необходимости. Еврею неуютно было в мире, над которым нависла свастика.

Витебск вскоре после революции на недолгое время стал центром художественной жизни страны. Причина этого мне не ясна, но тут собралось множество выдающихся художников, как местных: Шагал, Иегуда Пэн, так и заезжих: Казимир Малевич, Эль Лисицкий. Но ни для кого из них, кроме самого Шагала, Витебск не стал средоточием Вселенной. А ведь они видели те же домики и церковки, синагоги и лавочки, коров и лошадей, петухов и кур, цадиков и молочниц, дышали тем же воздухом, слышали ту же певучую речь и ту же жалобную скрипку, но гений места их не осенил, а Шагала без Витебска нельзя представить. Потрясающая библейская серия офортов и литографий Шагала населена местечковыми евреями, даже если они посят имена Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа Прекрасного, царя Давида, пророка Моисея, брата его Аарона. Но так ли уж это удивительно? Витебские евреи — потомки тех, о которых глаголет Священное писание.

Шагал и в своей автобиографической книге, и в стихах, в многочисленных выступлениях и статьях всячески подчеркивал очарованность Витебском, свой вечный витебский плен. Скажем, чтобы больше к этому не возвращаться, ибо противно: Витебск отнюдь не платил взаимностью своему певцу и спокойно передал его... Франции. Загляните в Советскую энциклопедию: Марк Шагал — французский художник. Понятно, когда города и страны оспаривают друг у друга право числить за собой великого сына: Москва и Санкт-Петербург не могут поделить Пушкина, Испания и Франция спорят из-за Пикассо, но чтобы город, да и вся республика Белоруссия отказывались от чести считать своим гения — такого не бывало в печальной истории человечества. Тому две причины: в большевистское царствование Шагал считался формалистом, что при торжестве навязанного сверху социалистического реализма расценивалось как преступление; когда же большевизм рухнул (во всяком случае, официально), идеологическое отторжение сменилось расовым: Шагал еврей.

«Нам не нужен этот жид!» — громогласно заявили минские и витебские антисемиты от культуры. И только в самое последнее время, когда красно-коричневые чуть поджали хвост (надолго ли?), имя Шагала воссоединилось с Витебском и получило общероссийское признание.

Марк Шагал родился в 1887 году в местечке Лиозно под Витебском, в семье разносчика рыбы. В прекрасной книге «Моя жизнь» Шагал так пишет о своем появлении на свет: «Родился я мертвым. Мне не хотелось жить. Этаким светлый пузырь, не желающий жить. И весь до отказа наполнен живописью Шагала.

Вгоняют в него булавки, окунают в воду — наконец он подает тихий стон.

Да, я мертворожденный.

Я не хочу, чтобы психиатры делали из этого вывод».

Многие загадки его творчества имеют очень простые отгадки. Откуда пошел знаменитый мюзикл «Скрипач на крыше»? От грустных, часто зеленоликих шагаловских скрипачей, играющих на крыше дома, порой сидя на печной трубе. Вот еще кусочек из его книги:

«Какой-то праздник — Сукес или Симхестойре.

Деда ищут, не могут найти.

А дед, как всегда в ясный день, забрался на крышу, присел на трубу и хрустит сладкой морковкой. Сюжет, а? А то, что вы теперь знаете происхождение моих картин, что их тайна разгадана, — это мне все равно, можете радоваться!»

Но маленький Марк и сам охотно предавался этому поднебесному развлечению. Он так же сидел на трубе, воображая ее первой ступенью лестницы Иакова, ведущей в небо. Под ним были горбатые крыши приземистых домишек, провалы дворов, широко разбегались улицы, по которым двигались возы, шагали солдаты, семенили старики и дети, спешили торговцы со своим товаром, разносчики, молочницы, бродили куры, петухи, козы. Я часто видел коз на соломенных кровлях русских изб, — наверное, они залезали и на ви-

тебские крыши, — а щедрый художник помещал туда и лошадей, и корову, ну а петуха сам Бог велел. И первый странник Шагала с заплечным мешком тоже зашагал по крышам. Мы еще скажем о том, где учился Шагал, но куда важнее его собственное признание: «Я был вскормлен отцом и Библией». А Библию он называл «эхо природы».

В детстве и отрочестве он не ведал своего призвания. И все время пере придумывал себе будущее:

«Меня взяли помощником к кантору. По праздникам я вместе со всей синагогой слушал свои высокие ясные трели. Все вокруг улыбались, и я предавался мечтам: «Стану кантором и поступлю в консерваторию».

Во дворе у нас поселился скрипач, откуда он приехал — не знаю. Днем он работал приказчиком в скобяной лавке, а по вечерам обучал нас музыке. Я научился водить смычком, и, хотя звук был ужасный, он всякий раз восторгался и кричал, отбивая ногой такт: «Превосходно! Прекрасно!»

И я предавался мечтам: «Стану скрипачом и поступлю в консерваторию».

Мои родственники в Лидзго иногда приглашали меня с сестрой потанцевать. Приглашали нас и соседи. Я был стройный, юный, волосы так и вились на голове. Я танцевал и предавался мечтам: «Стану танцором и поступлю в...» Куда поступают танцоры — я не знал.

Днем и ночью я сочинял стихи. Они нравились окружающим. И я предавался мечтам: «Стану поэтом и поступлю в...»

Вместо всего этого он поступил за взятку в гимназию. Он хорошо выучивал урок, но от дикой застенчивости не мог выйти к доске. И стал заикаться.

Однажды он «увидел большую вывеску, вроде тех, что висят над лавками: “Школа живописи и рисования художника Пэна”».

«Все, — решил я, — хватит перебирать! Поступлю в эту школу и стану художником». И поступил. И стал. Хотя, конечно, не сразу. Шагал очень любил своего учителя, но вско-

ре почувствовал, что тихий умелец не может дать того, что ему нужно. И, сломив слабое сопротивление родителей, он уехал в Санкт-Петербург учиться живописи всерьез. Отец дал ему на дорогу двадцать семь рублей, предупредив, что больше денег у него нет. Легко понять разочарование родителей Марка: они-то мечтали, что крепкий и расторопный паренек станет приказчиком.

Около трех лет занимается он в художественных школах столицы. Эти занятия дадут ему лишь немногим больше, чем уроки старика Пэна. Шагалу казалось, что ни профессора, ни соученики его не понимают. Хотелось показать свои работы большому и необычному мастеру.

В частном училище Званцевой, куда поступил Шагал, преподавал роскошный, причудливый «мирискусник», реформатор театральной живописи Лев Бакст. Шагал пошел к нему исполненный надежды: «Он меня поймет. Он поймет, почему я заикаюсь, почему бледен, часто печален и пишу лиловыми красками». Бакст посмотрел работы и уверенно сказал: «У вас есть талант, но вы небрежны и на неверной дороге». Подобные упреки предъявляли некогда великому Тицторетто (его красно-коричневыми тонами увлечется в свой час Шагал) такие знатоки живописи, как Вазари и Аретино. Любопытно, что новая, необычная манера даже тонким ценителям нередко представляется небрежностью, неумелостью и даже халтурой. Сколько издевательств выпало на долю импрессионистов!

Шагалу расхотелось советоваться с мэтрами, да и вообще он резко охладел к Петербургу. При каждой возможности он удирал в Витебск, где ему хорошо работалось. Но был там «магнит еще более притягательный» — молодая художница, тонкая, артистичная натура Белла Розенфельд, в которую он влюбился. Взаимно. Но и любовь не остановила Шагала, когда он решил ехать в Париж, мировой художественный центр. Там находились «его университеты». Позже он скажет: «Почвой, в которой были корни моего искусства, был Витебск, но мое

искусство пуждалось в Париже, как дерево в воде. У меня не было никаких других причин покидать родную землю, которой я оставался верен в течение моей дальнейшей жизни».

Перед отъездом он впервые принял участие в выставке. К этому времени за ним уже числился ряд превосходных полотен, таких, как «Рождение» и «Смерть», где ясно вычитывается зрелый Шагал, как «Невеста в черных перчатках» и «Автопортрет» в духе итальянского маньеризма.

Шагал приезжает в Париж и вскоре поселяется в знаменитом «Улье» на Монпарнасе, по соседству с Модильяни, Леже, Архипенко, Цадкиным, Сутиным, близко сходитя с Р. Делонэ и особенно — с писателями Гийомом Аполлинером, Блезом Сандрамом, Морисом Жакобом.

На этот раз Шагал не ошибся, он попал куда надо. И дело не в том, что он чему-то там научился или отдал серьезную дань кубизму, окрасившему целый период его работы, — он обрел высококультурную среду, столь необходимую молодому человеку из провинциального Витебска, не нашедшему себе места в Петербурге.

Его продуктивность в эти годы ошеломляет. Знаменитая картина «Посвящается моей суженой», так насыщенная ликующим красным цветом, где художник с головой коровы держит на плечах любимую, была написана за одну ночь. Загадочное полотно: суженая вывернулась невероятным образом, чтобы залепить смачный плевок в коровью морду избранника.

Наказал ли Шагал себя за измену или за свой отъезд — не знаю. Он слишком любил Беллу, слишком бережно к ней относился, чтобы позволить себе безответственную художественную игру. Очень свободно обращаясь с натурой, деформируя ее как угодно, он всегда щадил Беллу. Что-то очень серьезное подвигло его на этот творческий акт. Но есть ли нам дело до личных мотивов художника, раз он не дает расшифровки посылки? Будем ему благодарны за эстетическую радость.

В средоточии Парижа Шагал продолжает витебскую серию: «Я и деревня», «Свадьба», «Полная луна», «Сани» и та удивительная картина «Ослы и все другие», которая вызвала столько ахов и охов в связи с молочницей, у которой отскочила голова, но продолжала по инерции следовать за спешащей бабой. Шагал дал исчерпывающее объяснение этому казусу: ему необходимо — из чисто живописных соображений — пустое пространство над плечами молочницы. Стало быть, голову долой! Когда же голова отскочила у пьяницы на другом его холсте, мастер не счел нужным расшифровывать простую метафору: пьяные, как известно, легко теряют голову.

А еще он много пишет солдат. Началась эта серия до отъезда в Париж и будет продолжаться годы и годы. Солдат тревожил Шагала как обитателя местечка, которому опасна всякая власть: солдат, городской, чиновник; но в отличие от полицейских и крапивного семени солдата еще и жалко, он подневольный, он бедняжка. Его муштруют, он разлучен с близкими, его насильно посылают под пули: с несчастливой русско-японской войны Шагал научился сочувствовать солдатам. Он писал их веселыми и грустными, поющими песни и прощающимися с женами, здоровыми, полными молодецкой силы и ранеными, с искаженными страданием лицами. Один из самых знаменитых его солдат — пьющий чай из самовара — был создан в начале парижского проживания. Хорош солдат: молод, усат, подтянут, фуражка взлетела над распаренной головой. А на первом плане картины тот же солдат, только очень маленький, отплясывает с крошечной кухаркой — мечта служивого. Это типичное для Шагала всех периодов совмещение разных пространственных и временных планов.

В том же году создан «Торговец скотом»: кобыла, телега, в телеге бык, которого везут на заклание, на передке возница-торговец, за телегой идет баба с теленком на плечах, в ниж-

нем углу еще два персонажа, вполне загадочных: орущая баба и обалделый молодой мужик. Да еще есть жеребенок в брюхе кобылы, вполне готовый для появления на свет. Он будто высвечен рентгеновскими лучами. Лошадь смотрит вперед, все остальные — назад. Бык едет, очевидно, в смерть, но он беспечален, а люди встревожены и словно хотят вернуться назад. Считается, что в этой картине с предельной силой выявлено родство людей и животных. В чем?.. Но может, родство человека с домашним животным — это родство палача с жертвой? В старой России палач и обреченный на казнь прощали друг друга на лобном месте; случалось, жертва делала подарок палачу: крестик, кольцо. Не знаю. Но знаю, что настоящее произведение искусства не обязательно подлежит расшифровке. Оно говорит о себе красками, а не сюжетом, иначе это литература. Шагал терпеть не мог, когда литература подменяла живописный ряд, поэтому отвергал русских передвижников, как и всякий ползучий реализм, якобы адекватно отражающий жизнь.

И все же не дает мне покоя это полотно. Может, я не так его понял? С чего я взял, что на телеге лежит бык? Это корова, мать телка, что на плечах у женщины, и везут ее к новым хозяевам. Но откуда тогда тревога, бьющая с холста? Почему никто не хочет смотреть вперед, почему орет истошно баба в нижнем углу картины? И тут мне попало замечательное рассуждение, говорящее в пользу моей первой версии и объясняющее происходящее. Оно принадлежит искусствоведу Н.А. Апчинской, большому знатоку Шагала. Жизнь в полудеревенском Витебске среди резников, торговцев скотом и рыбой научила Шагала не только любви и жалости к животным, но и отношению к ним, как к священной жертве, необходимой для существования человека. Вот откуда спокойствие лежащего на телеге рогатого животного, оно принимает свою участь как предопределенную свыше и дает урок достоинства людям.

В том же году он создал лучшего из своих скрипачей на крыше — с зеленым лицом и красными губами. Эту картину Шагал считал нужным объяснить: «...картина представляет собой конструкцию из треугольников. Я искал здесь ритм. Следы на снегу, три головы одна над другой на втором плане слева, ступени домов напоминают повторы в музыке Стравинского».

Зеленолика и «Беременная», так хорошо выносившая младенца, что он обрел у нее в животе заверченный образ маленького мастерового. А вокруг все, что надо для человеческого счастья: домики и лошадь на земле, месяц, птицы и корова в небе и голова ражего молодца под картузом. Он так умильно смотрит на беременную в новой цветастой юбке, что нет сомнения: ее чрево не долго будет пустовать.

Было бы противоестественно, если бы память о Витебске начисто заслонила чудо Парижа в глазах Шагала. Дивный город, мировая столица искусств не преминет появиться на холстах Шагала и займет в его творчестве видное место. Эйфелева башня и Нотр-Дам станут таким же клеймом мастера, как витебская церковка или кособокий домишко. Впервые Эйфелева башня выстроилась на картине «Париж из окна» — фантазмагорическое произведение включает самого художника в виде кошки и некоего двуликого Януса. Искусствоведы, потирая руки, хором заговорили о дуальности и единстве мироощущения Шагала. Возможно, они правы. Но не исключено, что это веселое хулиганство, избыток сил и опьяненность светом, который, по собственному признанию художника, он открыл для себя в Париже. Шагал утверждал, что его русские картины «были без света», а Париж подарил ему «сумасшедший свет», ставший «конструирующим средством».

Шагал участвует в «Осеннем салоне» и узнает первый большой успех. Слава его растет, и весной 1914 года в Берлине открывается его персональная выставка. Из Берлина он

едет в Россию, где его застает мировая война. Но мы забежали вперед.

Вернемся к Парижу, к его урокам. На какое-то время кубизм почти безраздельно завладевает Шагалом: «Автопортрет», «Ню», «Солдат пьет чай», «Поэт» и особенно «Адам и Ева», где вовсе исчезает фигуративность, всегда присутствующая у Шагала, — наиболее яркие вещи этого периода. Кубизм ощущается и в «Прогулке», где Шагал возвращается к теме своей любви, которой суждено окрасить последующие годы его жизни. Но стоило Шагалу вернуться в Витебск, как кубизм отлетел от его кисти: ни в грустном «Зеленом еврее», ни в «Молящемся», ни в блестящем «Автопортрете», ни в солдатской серии, которой Шагал отозвался на войну, ни в бесчисленных «Беллиных» полотнах кубизм не просматривается. Художник вернулся к своей синтетической, свободной манере, едкая очарованность Пикассо прошла.

Вернувшись в родной город в самый разгар войны, Шагал сочетался браком с Беллой, которая все эти годы преданно ждала его.

Душевная жизнь человека далеко не всегда совпадает с глобальным бытием, даже если человек этот остро чувствует мировую боль. На земле шла страшная война, а Шагал парил в облаках; он летал с Беллой над крышами Витебска, раз взгромоздился ей на плечи с бокалом вина в руке, едва не задев головой пролетавшего мимо ангела. Этим полетам во сне и наяву отданы лучшие холсты того времени.

В упоенном любовью состоянии Шагал встретил революцию и как-то бездумно, с полным доверием к происходящему включился в ее работу. Этот отвлеченный, живущий в собственном мире человек вдруг оказался уполномоченным по делам искусств революционного правительства в Витебске. Он создал художественную школу, пригласив туда, кроме Пэна, Малевича и Эль Лисицкого. Вскоре выяснилось, что отец супрематизма и глава конструктивизма считают Шага-

ла художником вчерашнего дня. Он же, отдавав по отзывчивости природы супрематизма и более основательно — конструктивизма, обнаружил в беспредметности мертвечину и моральный вакуум; механичность конструктивистского искусства задержала его чуть дольше соблазном новых возможностей. Он разругался с Малевичем, ушел из школы, а вскоре покинул Витебск.

Он делает роспись в Еврейском камерном театре в Москве, всерьез увлекается сценографией, пытается оформлять спектакли, но разрыв с Грановским, главным режиссером театра, ставит крест на сценических потугах Шагала. Вообще то было не лучшее время его жизни. Вдруг он оказывается в подмосковной Малаховке, где преподает живопись и рисунок в колонии беспризорных детей. Вдруг он снова обращается к кубизму с включением супрематизма, высмеив обе методы включением в картину вполне реального вида на городскую улицу. Появляется у него и коллаж, очень красивый, но вовсе для него случайный, много жесткой конструктивистской графики. Впечатление такое, что Шагал как-то заметался. Мне лично из всего созданного им в первые послереволюционные годы больше всего нравится «Война дворцам», где мужик в кровавого цвета рубашке швыряет в пропасть дворец с колоннами. Сознательно или бессознательно одел Шагал этого революционера в рубашку палача?

А затем Шагал спохватился, угадав за своей растерянностью нечто большее, чем бытовой дискомфорт. Позже он скажет об этом ясно и точно: «Я не нужен Советской России так же, как был не нужен царской. Может быть, Европа полюбит меня, а потом уж и она — моя Россия». И, забрав Беллу, он в 1923 году уехал сперва в Берлин, потом в Париж. Навсегда. И все случилось по его надежде: Европа полюбила его, а через много-много лет придет и черед России...

Оказавшись в Париже, он почувствовал настоятельную необходимость подвести предварительные итоги (выражение

Сомерсета Моэма) и написал замечательную книгу «Моя жизнь».

Очень разное и вместе цельное искусство Шагала всегда узнаваемо и неожиданно. Меньше разнообразного художника можно любить всего, целиком, — скажем, Дега, Тулуз-Лотрека, даже Ренуара, хотя он менялся в годах, но Шагалов было много. Эти Шагалы разнились стилистически, тематически, настроенчески; порой они как бы исключали друг друга. Я люблю разных Шагалов, но особенно дорог мне певец Беллы.

«Белла. Она тихо стучит в дверь своим тоненьким пальчиком. Входит, прижимая к груди необъятный букет, груду сметно-изумрудной, в красных пятнах, рябины.

— Спасибо, Белла...

.....
Сумерки, я целую ее. А в голове уже прекраснейший натюрморт. Белла лежит обнаженная, светящаяся, мягко очерченная. Белла позирует мне. Мне страшно. Я ей признаюсь, что еще никогда не видал обнаженных. Мы уже, можно сказать, жених и невеста, но как страшно приблизиться к ней, коснуться ее...»

«Беллина» галерея начинается с «Моей суженой в белых перчатках»; в «Прогулке» Белла взлетела на воздух, в «Дне рождения» взлетел под потолок сам Шагал и, на редкость изящно изогнувшись, нанес любимой целомудренный поцелуй; в картине «Над городом» они оба пребывают в свободном полете; в «Двойном портрете с вином» Белла посадила ликующего мужа на плечи.

Через два года после свадьбы Шагал решил еще раз пережить счастливейший миг своей жизни: теперь свадебный обряд совершал спустившийся с неба ширококрылый ангел, а вокруг — Витебск с неизменным скрипачом на крыше, а на щеке Беллы проступил контур будущего ребенка. Он и впрямь не преминул появиться в должный срок — чудесная

дочка Ида, чей очаровательный портрет 1924 года по праву входит в «Беллину» галерею.

Приезд в Париж вызвал новый подъем чувств в Шагале, лучшие полотна середины двадцатых годов посвящены Белле. Это «Любовники с цветами», «Невеста и жених с Эйфелевой башней», «Белла с гвоздикой», «Двойной портрет», «Белла в зеленом», «Белла в голубом» — всего не перечислишь. Я уверен, что это Белла увела его от кубизма, в котором Шагал, что ни говори, утрачивал свою индивидуальность, особость. Безблагодатная жесткость кубов, пирамид и прочих геометрических фигур не отвечала мягкости, женственности модели, не отвечала нежности чувства.

Я прерву последовательный рассказ о жизни Шагала, чтобы завершить тему Беллы. В 1943 году, побывав в марсельской тюрьме, Шагал с семьей бежал в Нью-Йорк от коричневой чумы, накрывшей Францию и чуть не всю Европу, а уже на следующий год Беллы не стало. Она оставила записки о своей не очень долгой, но полной и счастливой жизни, ставшие позже книгой «Зажженные огни» с рисунками Шагала.

Потрясение было так велико, что девять месяцев великий труженик, умевший спасти свое сердце в работе, не брался за кисть и карандаш. Девять месяцев — это срок, за который женщина вынашивает дитя и производит на свет. Случайно или нет такое совпадение? У кого другого это могло и впрямь быть случайностью, но только не у Шагала. Вся его жизнь неотделима от тайны, загадочной путаницы, мистических совпадений, провидческих угадок и вообще мистерии. Бессознательно он вынашивал в себе другого, нового себя, способного жить без Беллы. Он переделывал свое сердце, свой мозг, свои нервы, двигательный аппарат, зрение, слух, обоняние, чтобы войти в мир, где не будет любимой, ее голоса, ее запаха, ее движений, ее тепла, ее ауры, той, о которой можно сказать словами поэта: «Все невеста и вечно жена».

И когда минул назначенный природой срок, Шагал восстал из временного небытия и принялся справлять тризну по ушедшей. Первая же его картина стала гимном Белле, он собрал на холст все, чем полнилась их жизнь: Витебск в светящемся круге, летящего петуха со свечой, их самих в полете на бледном луче, себя у мольберта с перевернутой от горя головой, утирающую слезу Беллу в том самом ее молоденьком платье с воротничком и с веером и устремившегося к ней с неба ангела, готового принять ее безгрешную душу. Великой печали исполнен «Автопортрет», где художник склонился перед двумя призраками, слившимися в объятии: это он сам молодой и Белла в подвенечном платье с фатой и букетом; нимбом осеняет их корова, держащая Священное писание в расщепе копытца. Он переписывает «Свадьбу», в «Ноктюрне» дает Белле еще раз полетать над темным почным Витебском, прикинув к доброй шее лошадки, а в «Зеленой почии» полетел с нею вместе над тем миром, где они были так счастливы. Белла не дает ему покоя. Он вспоминает о ее черной перчатке и как-то захлебно соединяет на полотне живую прекрасную Беллу с доверчиво открытой грудью и ее бледный призрак, петуха и часы, витебские дома и себя со свадебным букетом. Тема Беллы неисчерпаема...

Окончательное возвращение Шагала во Францию произошло в 1948 году, и в том же году наконец-то вышли «Мертвые души» с его гениальными иллюстрациями, заказанными знаменитым Волларом почти четверть века назад. У Воллара, маршана и знатока искусства, друга импрессионистов и автора прекрасных книг о них, была странная особенность: он делал художнику фундаментальный заказ, заставлял работать до седьмого пота, но издавать не спешил, как бы совершенна ни была представленная работа. Помимо «Мертвых душ» он заказал Шагалу иллюстрации к Библии. Тот совершил большое и трудное путешествие по Ближнему Востоку — Палестина, Сирия, Египет — и создал графическое

чудо. Воллар пришел в восторг и отложил до лучших времен. Библейская серия Шагала — вершина его графики — увидела свет лишь после смерти причудливого издателя.

Иллюстрации к «Мертвым душам» Шагала задумал в офортах, но выполнил их в сложной технике, сочетавшей традиционный линейный офорт с акватинтой, гравюрой сухой иглой и механическими способами обработки досок. Автор отличной статьи о Шагале — книжном иллюстраторе — Ю.А. Русаков дал исчерпывающую характеристику шагаловской гоголиане: «Иллюстрации Шагала носят в целом гротесковый характер; безобидный юмор соседствует в них с неудержимым сарказмом — словом, все, как у Гоголя, но в экспрессивно-свободных формах искусства XX века. При этом одни листы близки почти к традиционному реализму, а другие доведены до сюрреалистической фантастичности. Такое специфически шагаловское решение сюиты иллюстраций сообщает ей какое-то особое напряжение, ту внутреннюю, уже чисто пластическую интригу, которая заставляет с нарастающим интересом вглядываться в офортные листы... Это Гоголь, увиденный глазами Шагала, и только Шагала...»

Открывается второй том издания парным портретом Гоголя и Шагала — затылками друг к другу. Писатель и художник здесь родственно схожи. То ли Шагала открыл это скрытое сходство, то ли сыграл с нами хитрую шутку. Но эти крючковатые носы, эти рты, таящие в усмешке невидимую миру скорбь, — воистину братья! Да, братья в человечестве, умевшие смеяться и плакать над трагикомедией этого мира.

Любопытно, что Шагала не придерживается скрупулезно раз найденного образа. Особенно переменчив Чичиков. Изредка он сближается с гоголевским образом среднестатистического человека: ни толст, ни тонок и т.д. В сцене с Собакевичем он вдруг приобретает местечковые черты, хотя в иллюстрациях выдержан русский типаж. Оевреился Чичиков с Собакевичем, наткнувшись на такой монолит хищничества,

цинизма, непробиваемой самоуверенности, что с него слетели весь лоск и вальяжность, он стал суетлив и жалок, как витебский обыватель перед властью, и невольно обрел черты еврейской приниженности.

И совсем другой Чичиков с Машиловым. Пообщавшись с этим пересахаренным человеком, которого не пришлось ни уговаривать, ни тонко и хитро обманывать, ни тратить на него хоть волоконце серого вещества мозга, настолько тот был податлив, расслаблен, беспечен и бескорыстен, Чичиков явно поглупел, отчего голова у него уменьшилась, стала вроде пробки от графина.

И совсем другой Чичиков бреется, готовится к балу. Он раздулся в воздушный шар от самодовольства, сознания своей пригожести, он наслаждается предчувствием успеха в местном высшем свете. И вот он на балу: глазки закрыты в сладостном упоении, грудь выпячена колесом, воротнички подпирают атлас щек, в петлице бутоньерка. До чего хорош, победителен, неотразим и пошел этот ловец мертвых душ!

Не знаешь, чем больше восхищаться: столом ли обжоры Собакевича, где возлежат на громадных блюдах прямо в шкуре и вроде бы даже живьем свинья и корова, а третий — загадочный — представитель животного царства, принесенный в жертву алчности Собакевича, присел на задние лапы посреди звездчаток морковного гарнира, и это уже не смешно, а страшно, вспоминается, что чревоугодие — смертный грех, — или вещевым миром скраги Плюшкина: в страшном нагромождении всевозможной рухляди, среди которой попадаются антикварные ценности, но неизмеримо больше сущей дряни, подобранной на дворе или на помойке, призрачной кажется очерченная тонкой линией сквозная фигурка владельца этого грустного мира.

Чудесен маленький офорт «Капитан Копейкин и Наполеон». Император отличается от калеки войны лишь треуголкой и мундиром: он так же одинок и одиног, как ищущий

щий пенсионера бедолага, так же обобран войной, которую сам же развязал. А судебная палата, куда притащилась со своего мистического птичника жутковатая помещица Коробочка — вошь-стяжательница! От каждого чиновника сохранилась лишь голова, полголова, четвертушка с носом да рука, строящая очередное «входящее» и «исходящее», весь остальной телесный состав этих крючкотворов изничтожился, растворился в затхлом воздухе присутствия.

Но самое грандиозное — это «Дядя Митяй и дядя Мишяй». Я не встречал в искусстве более мощного и страшного изображения русской косной и бессмысленной силы. Взгромоздившись на лошадь передом к хвосту, задом к голове, сев ей почти на шею, раскрылечив чудовищные ягодицы и растопырив босые кривопалые ноги, дядя Митяй взметнул плеть, но ехать собирается к дяде Мишяю, так что скакать его конош придется задом наперед. Невозможно представить себе более жуткий образ несостоятельности, бездарного расхода силы. Сейчас офорт приобрел особый смысл, ибо все наше многострадальное общество, вся страна, подобно дяде Митяю, скачет раком неведомо куда.

Другой эпохальный графический цикл Марка Шагала — иллюстрации к Священному писанию. Мы уже знаем, как много значила Библия в жизни Шагала. Есть у него еще многозначительное высказывание: «Библия — это сама природа. Я Библии не видел, я нагрезил ее». Был ли Шагал верующим человеком? Несомненно, хотя в интервью он это отрицал. Его фамильярность с Богом идет от интимно-личного отношения к Богу, присущего евреям. Ведь они ощущают свои отношения с Богом как договор, как прямой уговор их праотца Авраама с Всевышним по принципу: ты мне — я тебе. Шагалу хотелось восславить Бога на тот лад, который дарован ему, но в еврейской религии Бог невидим, никто не знает, как он выглядит (праотец Авраам вроде бы знал?), а потому наложен запрет на его изображение. Шагал жаловался:

Ты дал мне краски в руки, дал мне кисть,
А как тебя изобразить — не знаю...

Но когда пришла необходимость, Шагала ничуть не смущали строгие законы иудейской религии, тем паче он, оказывается, знал, как выглядит Господь: «Еврей с лицом Христа спускается на землю, о помощи моля...» И появится у него Бог в виде старого, но бодрого еврея в камилавке, несущего на руках только что сотворенного из грязи Адама, чтобы вдохнуть в него душу.

Все работы Шагала на библейские темы были собраны в Ницце, в музее «Библейское Послание» в 1973 году; тут были представлены гуаши и 66 офортов тридцатых годов и послевоенные офорты, числом 39. Об этом титаническом и гениальном труде было сказано много высоких, звучных слов, но лучше всего говорил сам Шагал: его произведения «воплощают мечту не одного народа, а всего человечества», он ждал, что люди найдут в них «идеал братства».

Каково первое впечатление от этого беспримерного собрания? Никакой связи с официальной иконографией. «Сочетание приземленности с высокой духовностью, интимности с эпическим величием, психологии и мистики» (Г. Апчинская).

По манере Шагала здесь, как никогда, близок к примитивистам, но это не бесхитростные лубки в духе таможенника Руссо или грузина Пиросмани, тут за простотой форм проглядывает изощренность сложно организованного интеллекта, духовная изысканность («Ревекка дает папиться слуге Авраама», «Иосиф-пастух»). Шагала не боится некоторой карикатурности: «Битва Иакова с ангелом», где сцепились два атлета выше средней упитанности, «Аарон перед семисвечником» — брат пророка Моисея похож на жалобного витебского еврея на молитве; есть листы, исполненные утонченной красоты («Встреча Иакова с Рахилью»), а почему-то сюжет трех ангелов, посетивших Авраама, настраивает Шагала на улыбочивый лад. За трапезой у «высокого отца» он

усадил их окрыленными спинами к зрителям, впечатление такое, будто на лавке уселись три откормленные индюшки.

Есть комический элемент в «Лестнице Иакова», давно занимавшей воображение Шагала. Быть может, оттого, что тяга его деда к печной трубе представлялась ему первым шагом на пути в небо, он веселился, создавая этот офорт: по лестнице суетливо спускаются ангелы, их крылья кажутся кокетливыми пелеринами, а один из небожителей летит к спящему Иакову вверх тормашками. Это уже цирк, а не Библия. А не была ли самая поэтичная, самая мудрая, самая всеохватная и грозная книга чуть-чуть цирком, столь любимым Шагалом? В цирке сконцентрировано карнавальное, праздничное начало человеческого существования, оттененное смертельным риском и едкой насмешкой, а Библия — это все, следовательно, должна включать в себя и то яркое, причудливое, грозное, чем является захватывающее человека от детских лет до старости цирковое зрелище.

Мир евреев всегда был един, в этом лишний раз убеждаешься, когда рассматриваешь офорты, посвященные любимому герою еврейского эпоса — царю Давиду. Замечательно превращение юного местечкового музыканта, играющего на арфе Саулу, в старого ребе, выслушивающего просьбу Вирсавии сделать их сына Соломона царем Израиля.

Принято сближать библейскую серию Шагала с Рембрандтом и Эль Греко. Шагал специально ездил в Голландию и Испанию изучать этих великих мастеров. Рембрандт впрямую светится в «Аврааме, оплакивающим Сарру»; кроме того, Шагала сближает с ним отсутствие патетики, пренебрежение частностями, резкая индивидуальность образов; с Эль Греко он совпадает «сильным визионерством», как выражаются искусствоведы.

В 1960 году издатель Териад, весьма удачно заменивший Шагалу талантливого, но необязательного Воллара, издает сто двадцать литографий Шагала к Библии. Эпическая мощь

этих работ осилила малое пространство книжного листа. Мономентальная пластичность языка, обобщенность формы, крупноплановость фигур, преобладание одного тона, уплотщающее пространство, придали им фресковую обширность и звучность. Когда смотришь на эти листы, кажется, что это воспроизведение стенной росписи. Художественно они равновелики, но меня особенно трогает, как и в самом Священном писании, благоуханная, высоколиричная, с доверчивым библейским эротизмом (смягченным Шагалом) история вдовы мавритянки Руфи и благородного Вооза. Как просто и как таинственно, как нежно и как величественно передается здесь такая обычная история между женщиной и женщиной! Как значительна и глубока простая жизнь, где поле, колосья, овца, луна, ночь, утро, солнце, безгрешная пагота и побеждаемое одиночество.

О мощи боговдохновенного шагаловского творчества говорит и то, что в литографиях он не повторил ни одного образа, ранее найденного в офортах. Общее же отличие: доминирующий в офортах национальный тип сменился на вселенский, общечеловеческий. Женщины и мужчины, цари и пророки литографий — это не предки витебских молочниц, скрипачей, раввинов, резников, сапожников и портных, это прачеловечество. От них пошли мы все, независимо от рас и языков. Ирония здесь вовсе оставила Шагала. Когда голый Давид выпрыгивает из окна Малхолы, спасаясь от гнева ее отца, это происходит в разреженной атмосфере вечности, а не в тепловатом климате обыденности, тяготеющей к водевилю.

Шагал набрал тут духовности и мистичности, каких не знало искусство двадцатого века. Скорбный Иов, смиренный Иоиль, неистовая пророчица Мариам с бубнами, могучий Моисей, очерченный несколькими штрихами, но, клянусь, по своей величественности, мощи и тишине сравнимый лишь с мраморным Моисеем Микеланджело, возводит труд худож-

ника — смертного человека — в Богово деяние. Рембрандт, несомненно, любил Шагала, но любил его и Господь Бог.

У Шагала есть еще великолепные иллюстрации к «Одиссее», к ароматной сказке Лонга «Дафнис и Хлоя», к «Тысяче и одной ночи», басням Лафонтена, к книгам современных ему авторов; они все заслуживают и внимания, и восхищения (особенно хороши страшноватые зверушки лафонтеновских басен), но по вложенной в них творческой силе все же не могут тягаться с библейской серией.

Но вот о чем необходимо сказать, так это о теме цирка, прошедшей почти через всю его жизнь и находившей воплощение в масле, гуашах, акварелях и графике. Цирк — это радость каждого нормального детства, но цирк для многих — особенно творческих — людей оказывается чем-то куда более значительным на всю жизнь, чем яркое и веселое представление. Цирк был важной темой в творчестве русского классика Куприна, Эдмона Гонкура, шведа Банга, циркачей охотно и много писал Пикассо, Феллини поставил фильм о клоунах, вдумчиво рассуждал о них в своей книге, разделяя все человечество на белых и рыжих клоунов. Цирк — это сгущенное отражение жизни, ибо содержит в себе все: радость, борьбу, опасность, смех, слезы, красоту полуобнаженных тел, игру мускулов, треск пощечин, музыку, порой гибель; в цирке участвуют мужчины и женщины, дети и подростки, лошади, слоны, собаки, дикие звери, птицы. И клоуны далеко не всегда смешны, порой они зловещи, порой мучительно жалки; выбеленное мукой лицо оборачивается трагической маской. В них есть загадка; чем шумнее, откровеннее, разнузданней они себя ведут, тем таинственнее становятся. О них легко придумывать грустные, даже трагические истории. У Шагала клоуны на любой вкус: от пестрых весельчаков до трагических уродов, вроде того, что играет на скрипке, как-то потерянно обняв корову. В целом же цирк Шагала не весел. А весела ли жизнь, когда знаешь, чем она кончается?..

Но мы как-то забыли о человеке Шагале, оставив его в тоске по Белле. Впрочем, справедливо говорят, что биография поэта — его стихи; значит, биография художника — его картины. И в этом смысле мы, насколько позволяют беглые заметки, добросовестно проследили путь Шагала. И все же случилось в жизни Шагала событие, высокопарно говоря, судьбоносное: его вторая женитьба на прекрасной женщине Валентине Бродской — Вава, которая по прошествии тридцати счастливых и полных лет закрыла ему глаза. Вава появилась на холстах — и погасла печальная тень Беллы. Нет, Шагал не забыл ее, не мог забыть, она осталась в его памяти, в душе, в книге, в картинах, в дочке Иде, но рядом после стольких лет холода и одиночества вновь оказалась близкая душа и горячая живая плоть, и Шагал не понес в новую жизнь вериг тоски о минувшем.

Шагалы очень много ездят. Это было вызвано отчасти его выставками, которые то и дело устраиваются по всему миру — от Парижа до Нью-Йорка, от Иерусалима до Токио, — и с новым увлечением — настенной живописью и витражами. Он расписывает плафоны Гранд-опера и Метрополитен-опера, делает витражи для капеллы Асси и для Иерусалимского университета, исполняет мозаику — там же — для общественных зданий; огромное его панно «Музыка» с профилем любимого Моцарта украсило зал ООН...

И было путешествие, которое могло бы стать значительнейшей вехой в жизни Шагала, но, похоже, не стало: он поехал в Россию. Ему исполнилось восемьдесят шесть лет, но он был полон творческой мощи, чувства жизни, во всеоружии сильного и проницательного разума. Была выставка в Третьяковской галерее. Его принимали взволнованно, даже восторженно. Но в Витебск он не поехал, поняв, что там его не больно ждут; значит, желаемого и ожидаемого возвращения на родину не получилось. Конечно, была кучка дрожащих провинциальных интеллигентов, которые отдали бы

жизнь, чтобы только увидеть Шагала, прикоснуться к краю его одежды, но витебские власти и обыватели молчали.

А нужен ли был Шагалу тот Витебск, который к приезду мастера так и не определил своего отношения к нему? Я думаю, что Шагал настолько все понял про огромную, пеленую, несчастную страну, пасынком которой был, что не испытал особого разочарования от своего визита.

Шагал прожил еще двенадцать лет. Он не прекращал могучего труда: витражи для Реймского собора, витражи для Художественного института в Чикаго, для церквей во Франции и Великобритании. Иллюстрирует «Одиссею», выполняет литографии к «Буре» Шекспира, присутствует на открытии громадной выставки в Центре имени Жоржа Помпиду. И, не узнав ни дряхлости, ни ослабления душевных и умственных сил, падения мастерства и восторга перед жизнью, он ушел 26 марта 1985 года на девяносто восьмом году жизни, повторив Тицианово долголетие.

«В чем урок жизни Шагала? — спрашивает поэт и переводчик Лев Беринский и сам себе отвечает: — В том, что он был достоин бытия и как гениальный художник, и как... сын человеческий. Нам, людям, бессмертие не дано, да оно и не нужно. Дана возможность обессмертить себя в очертаниях собственной жизни. Марк Шагал в течение жизни «нажил» себе бессмертия этого на века!..» Люди были и остались идолопоклонниками. Даже христианнейшим из них мало Господа Бога, нужен еще кто-то из плоти и крови, чтобы распластаться перед ним. Величайшей личностью Возрождения был Леонардо, величайшим творцом — Микеланджело. Отчаявшись получить своего Леонардо, неповторимое чудо соединения в одном человеке двух несовместимых гениев: художественного и научного (Леонардо тоже пришлось сделать выбор, и он, на горе нам, предпочел изобретательство), мы, сегодняшние, возвели в ранг Микеланджело Пикассо. Петер Мюррей в знаменитом Словаре художников писал, что Пи-

кассо, как Джотто и Микеланджело, начал в искусстве новую эру. «Никто так радикально самую природу искусства не изменил». Философ культуры Владимир Вейдле блистательно ответил Мюррею: «Вот именно, так «радикально», в корне. Никто, ни Микеланджело, ни Джотто. Те искусство меняли; он его отменил. Он и есть наш Микеланджело, тот самый, которого мы заслужили».

Но мне кажется, что мы заслужили большего и получили своего истинного Микеланджело: витебский еврей в ремесле мог все, что мог Пикассо, но он мог куда больше, ибо плакал вместе с нами, радовался вместе с нами, молился вместе с нами и любил всех нас.

Владимир Татлин

Татлин, тайповидец лопастей
И винта певец суровый,
Из отряда солщеловов.
Паутиный дол снастей
Он железною подковой
Рукой мертвой завязал.
В тайновиденсье шипцы
Смотрят, что он показал,
Онемевшие слепцы.
Так неслыханны и вещи,
Жестяные кистью вещи.

Велимир Хлебников



тому художнику (1885—1953) пристало бы появиться под одной обложкой с Леонардо да Винчи, ибо, при всей несоизмеримости их, он, как никто другой, схож с великим тосканцем многообразием дарований, редчайшим сочетанием художественного и научно-технического гения и тем, что нередко отдавал предпочтение изобретательству перед творчеством. Посудите сами: Татлин, как и Леонардо, был живописцем, графиком, скульптором, архитектором, оформителем торжеств, музыкантом, автором трактата по изобразительному искусству и, наконец, изобретателем. Леонардо считают творцом первого летательного аппарата (вертолета), Татлин придумал и построил деревянную летающую птицу, дав ей имя «Летатлин», которая должна была передвигаться по воздуху силой человеческих мышц, управляющих крыльями*.

Когда Леонардо поступал на службу к герцогу Миланскому Моро, он свое искусство лютниста поставил впереди

* Есть рисунок Татлина, изображающий человека в полете на этой машине.

живописных достижений, о которых, правда, небрежно обмолвился, что может писать и рисовать «наравне с кем угодно». Татлин был замечательным бандуристом — инструмент, напоминающий лютню, только куда массивнее и грубее. Леонардо своей игрой очаровывал придворных герцога Сфорца, Татлин на Берлинском фестивале получил приз и смог на эти деньги съездить в художественный центр мира — Париж и познакомиться с Пикассо.

Татлин не прокладывал каналов, не создавал проектов фортификационных сооружений и военных орудий большой разрушительной силы, как то делал для Цезаря Борджиа Леонардо, но он преуспел на театре и в качестве сценографа, и режиссера, и даже актера. Так что в количестве дарований гений кватроченто и один из столпов русского авангарда равны.

Леонардо вел скитальческую жизнь: селение Винчи, Флоренция, Рим, Милан, Франция — в этой стране он нашел последний приют и покой. Увидевший свет Божий в Москве, Татлин тоже много странствовал: Пенза, Петроград, Париж, Киев, Харьков, Одесса и те земли, куда он ходил сперва юнгой, потом матросом на парусниках, — Болгария, Турция, Египет, Греция, Италия. Умер он в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. Тут ему повезло больше, чем Леонардо, могила которого неизвестна. Величайшего гения живописи сбросили в общую яму, так же поступят позже с величайшим гением музыки — Моцартом. Человечеству есть чем гордиться...

Во всем другом Татлин и Леонардо не схожи: загадочный, непонятный для окружающих, старательно скрывающий свою внутреннюю жизнь (даже писал справа налево) итальянец — и открытый, доверчивый, компанейский, громкий русак до мозга костей. К концу жизни Леонардо обрел покой и независимость. Безытный Татлин (семьи не было, но сын был — погиб на фронте в Отечественную войну) не обрел Леонардовых скромных благ — советская власть не позволила.

Я все говорю о Леонардо, а ведь Татлин соединен в этой книге с другим художником, Яном Вермеером Дельфтским, — творцом и человеком совсем иного склада. Но и тут обнаруживается известное совпадение судеб. К исходу жизни к Вермееру охладели его соотечественники, еще недавно выдиравшие друг у друга полотна медленно работавшего мастера; его забыли — на целых два века Татлин был в расцвете сил и дарования, когда его услуги как художника стали не нужны стране победившего социалистического реализма. Он напрочь исчез с выставок, из залов музеев его картины перекочевали в запасники; в последний раз главное его искусство могло проявить себя, когда он оформлял книгу друга своего, поэта Велимира Хлебникова, главы футуристов; он сделал лучший из всех существующих карандашный портрет «Председателя земного шара». После этого оставался лишь театральный художник Татлин.

В этом нет ничего зазорного. Знаменитый «миriskусник» Александр Бенуа, создавший много первоклассной станковой живописи, считал себя прежде всего театральным художником. Великолепный Бакст целиком реализовал себя в театре. Но для Татлина театр был лишь одной из многих форм самовыражения, причем далеко не самой главной. У него были приметные удачи: оформление народной драмы «Действо о царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе», названной Алексеем Ремизовым «портянкой Шекспира», и постановка драматической поэмы В. Хлебникова «Запгези», где он выступил как режиссер, художник и чтец от автора. И в том и в другом случае Татлин взорвал театральную привычность, как взрывал ее в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Совсем иначе подошел Татлин к оформлению спектакля «Дело» по пьесе Сухово-Кобылина, талантливо осуществленной на подмостках ЦТКА Алексеем Поповым. Время было суровое. Только что отгремели 1937—1938 гг., когда часть народа переселилась в мир иной, а другая — в

Сибирь и на Дальний Восток, за колочую проволоку. И Татлин выступил как правоверный, основательный реалист. В профессиональном отношении все было сделано на высочайшем уровне, в духе старательного школьного прочтения бредоватой пьесы Сухово-Кобылина. Его измена своему лицу была замечена и одобрена. «Художником были сделаны макеты, эскизы декораций и громадное количество рисунков и акварелей для костюма, грима, типажа. Мы знаем ряд прежних оформлений «Дела», они обычно решались или в плане стилизации эпохи, или в плане символизма, в плане гофманианы. Татлин трактует оформление совершенно реалистически», — писал видный критик Алексеев.

Но это было лишь началом сползания в чужое. Вермеер, принужденный отказаться от себя, «оговорился» лишь несколькими холодными, безличными картинами (среди них почти стыдная «Аллегория Веры») и быстро перестал быть. Самоуничтожение Татлина растянулось на тринадцать лет. Во время войны он сделал неплохую работу в Художественном театре — спектакль «Глубокая разведка» по пьесе А. Крона, но после этого стал соглашаться на любое предложение, ничуть не заботясь ни о качестве театра, ни о драматургическом материале. Дважды имя этого необыкновенного художника и чистого человека оказалось связанным с одиозной фигурой литературного проходимца А. Сурова. Этот Суров, будучи заведующим отделом рабочей молодежи в газете «Комсомольская правда», присвоил пьесу своего подчиненного А. Шейнина «Далеко от Сталинграда». После этого он забросал театр пьесами, неизменно получавшими высшую награду тех лет — Сталинскую премию. Он стал любимым драматургом вождя народов. Эти пьесы писали за него литературные евреи, оставшиеся без работы после кампании по борьбе с космополитизмом. Так лицемерно называлась первая широкая антисемитская акция Сталина. Суров был разоблачен после смерти своего высокого покровителя. Хотя эта история не имеет

никакого отношения к Татлину, она так хороша, что стоит рассказать.

Обвинение в плагиате было брошено Сурову на большом писательском собрании. Суров высокомерно отвел упрек: «Вы просто завидуете моему успеху». Тогда один из «негров» Сурова, театральные критик и драматург А. Варшавский, спросил его, откуда он взял фамилии персонажей своей последней пьесы. «Оттуда же, откуда я беру все, — прозвучал ответ. — Из головы и сердца». — «Нет, — сказал Варшавский, — это список жильцов моей коммунальной квартиры. Он вывешен на двери и указывает, кому сколько раз надо звонить». Так оно и оказалось. Сурова выбросили из Союза писателей, пьесы его сняли, он спился и умер.

Но Татлин ни о чем этом так и не узнал, он умер раньше. Конечно, у Татлина была горькая, сумрачная старость, но он не был расстрелян, как Древин и Мейерхольд, не сидел, как Куприн, Шухаев, Ротов, не знал губительной нужды Фалька, Осмеркина, Удальцовой. Он имел работу, имел кусок хлеба, мог немного писать для себя. Об участии в выставках, конечно, нечего было и думать.

Однажды, году в 50-м, я столкнулся с Татлиным на лестнице старого московского доходного дома; я спускался, он тяжело поднимался вверх — не работал старый лифт. Я без числа видел фотографии и автопортреты Татлина, но скорее угадал, нежели узнал великого художника, рослого, крепкого, мастерового сложения человека в длинной, согбенной фигуре с помятым, квелым лицом и глазами старого, больного пса. Боже мой, и это бывший лихой матрос (ведь картина, принесшая Татлину мировую славу, с таким вот названием, была его автопортретом) — какое бедное, изношенное лицо, какие обвисшие, сдавшиеся плечи! Вскоре его не стало...

В молодости и во всю расцветную пору жизни у Татлина были стать, лицо и руки рабочего. Это странно: он происходил из интеллигентной семьи. Отец его был инженер-путе-

ец. Он окончил технологический институт в Петербурге, поступив на службу, быстро выдвинулся и был отправлен за границу для совершенствования в железнодорожном деле. Прекрасный инженер, Евграф Татлин отличался широтой культурных интересов, особенно любил и хорошо знал поэзию. Эта любовь привела его на похороны знаменитого поэта Якова Полонского. У отверстой могилы срывающимся голосом читала стихи, посвященные памяти усопшего, молодая поэтесса, выпускница Бестужевских курсов. Стихи были в благородной некрасовской традиции, особенно ценной Татлиным. Инженер и юная поэтесса познакомились; влюбились друг в друга, поженились, родили сына, и тут жизнь, обещавшая быть такой долгой и счастливой, внезапно рухнула: молодая женщина скоростижно умерла, не ведая, какое странное чудо оставила после себя на белом свете. Ничего-то мы не знаем о тайне человека. Почему от союза двух милых, но вполне заурядных людей — трудяги-инженера и слабенькой поэтессы, перепевающей Некрасова, — получился мужиковатый монстр, который ничего не захотел взять из наготовленного человечеством в живописи, рисовании, скульптуре, строительстве, музыке, сценическом искусстве, а все должен был придумать сам, наново, так, как еще не было? Если б меньше летали на Луну, запускали ракеты к Юпитеру, изощрялись в придумывании глобальных способов уничтожения жизни, может, и знали бы ответ на этот вопрос.

Отец его не долго пробыл холостяком. Новая семья переехала из Москвы в Харьков. Татлин не знал материнского тепла, не чувствовал под собой семьи и рано стал бродягой. Семнадцати лет, едва окончив Харьковское реальное училище, он сбежал из дома, добрался до Одессы и ушел юнгой на паруснике к берегам Турции.

Домой он из плаванья не вернулся, а поехал в Москву, где пристроился к молодым художникам-богомазам. Он стал писать иконы и готовиться в художественное училище, куда

и поступил. Учителями его были великие Валентин Серов и Константин Коровин. Но видимо, учителя не очень-то были нужны Татлину — свои занятия он продолжал в Пензе у местных провинциальных художников П. Горюшкина-Сорокопудова и А. Афанасьева — иллюстратора сказок. Учился он лениво, но упоенно копировал в летние месяцы древнерусские церковные фрески.

Татлин как личность покрыт тремя слоями вранья, и реставрировать его подлинную судьбу дело не такое простое. По чистой случайности мне довелось узнать многие обстоятельства его жизни, мало кому известные. Первый слой вранья — самый бесхитростный — может быть назван фольклорным. Он возник очень рано, едва Татлин обрисовался на фоне художественной жизни Москвы. Появлению его Татлин обязан своей необычностью; в нем страшно сочетались тихость с авантюрной предприимчивостью, скромность с внутренней свободой и полной независимостью от чужих мнений, погруженность в себя с раскованностью и готовностью где угодно отстаивать свою правду. Он не признавал авторитетов, но был в плену у Хлебникова; грезил его стихами, смотрел на мир его глазами, но не из подчиненности, а потому, что Хлебников зорче видел то, что открылось ему самому. Татлин формально не входил в группу футуристов, сложившуюся вокруг Давида Бурлюка и Хлебникова, но исповедовал ту же веру, был так же устремлен в будущее. «Будетлянином», то есть человеком будущего, называл себя Хлебников. Татлин был его другом, постановщиком, иллюстратором, портретистом, вдохновенным пропагандистом. Он оставался верен его памяти и после ранней смерти поэта, устраивая хлебниковские торжества. Хлебников был из породы высоких безумцев, отсвет его ирреальности, сдвинутости падал на душевно здорового Татлина. Странности, порой диковатые, поведения Хлебникова, безытного, бездомного, неукладного, молва переносила на Татлина. Обыватели с некоторым испугом

косились на рослого, ражего молодца с пудовыми кулаками молотобойца.

Он виртуозно играл на бандуре (инструменты делал сам, своими на редкость ухватистыми к каждому ремеслу руками), пел низковатым голосом и, как сказано в песне: «Через ту бандуру бандуристом стал». Он съездил со своей бандурой в Берлин и получил там приз, а молва послала его в странствие по просторам России в компании слепых бандуристов.

Татлин, подобно Хлебникову, был безразличен к одежде, охотнее всего обходился старым свитером с растянутым воротом, обвислым пиджаком и мятыми брюками, но, как и на Хлебникова, на него вдруг находил щегольской стих, он покупал модное пальто, перчатки, тросточку и не идущее к этому ансамблю летнее капотье. Это тут же становилось темой усмешливых пересудов, сплетня переходила в молву, молва — в легенду.

Татлин не был бабником, скорее уж — человеком целомудренным, но в какой-то счастливый момент юности позволил себе несколько летучих увлечений и стал «севильским обольстителем».

Татлин был неустанным тружеником с высочайшей рабочей дисциплиной, молва называла его богемой. Его вечный художнический поиск толпа называла блажью.

Во всем этом не было большой беды. Татлин если и ведал о сопутствующих ему слухах, то не придавал им значения. Были дела поважнее...

Более противна официальная легенда, которая начала складываться во второй половине шестидесятых годов, когда с искусства Татлина сняли табу и в Доме архитекторов состоялась небольшая выставка, посвященная его восьмидесятилетию. Окончательно оформилась легенда в исходе семидесятых — о Татлине стали говорить, писать, и молодая советская популяция с удивлением узнала, что был такой громадный художник, который не только писал картины и

создавал скульптуры, но строил башни, самолеты, изобретал новые формы домашней утвари, ставил спектакли и играл на бандуре. Оказалось, что он был первоиллюстратором Хлебникова, Маяковского и Хармса, опередил Кальдера в создании висячей скульптуры, а Иофана, архитектора так и не возведенного гиганта — «Дворца Советов», — в замысле высочайшего здания в мире. И тут Татлину принялись делать благополучную советскую судьбу.

В этом смысле очень показательна статья знаменитого советского писателя-прозаика, поэта и драматурга Константина Симонова. Величайший мастер сервизизма, Симонов умалчивает о том, что четверть века Владимир Татлин был в загоне, впечатление такое, будто счастливая, подъемная жизнь его естественно перешла в неомраченную посмертную славу.

Вначале К. Симонов с той отчетливостью и толковостью, что были главными достоинствами его прозы, перечисляет таланты Татлина, ставит вехи на его творческом и жизненном пути. Заставляет насторожиться лишь одно слово, дважды повторенное: «даровитый». Даровитый — это сниженное «одаренный», а последнее слово куда ниже, чем «талантливый». У Диккенса в романе «Жизнь и приключения Николаса Никльби» лорд Верисофт, неплохой, но глупенький человек, с жалким пафосом утверждает, что «Шекспир — способный человек». Почти так же звучит слово «даровитый» в отношении художника, который был явлением в русской и мировой культуре, создателем нового живописного и скульптурного языка, зодчего-новатора, изобретателя, отмеченного чертами гениальности. Симонов — не лорд Верисофт, он абсолютно умен, только очень осторожен. Да, Татлин разрешен, но это не значит, что его можно возвеличивать, ведь у нас есть такие титаны кисти и резца, мастера социалистического реализма, как Налбандян, Лактионов, Александр Герасимов, Вучетич, Томский, они могут обидеться, а руки у них длинные. «Даровитый» — это так немного, корифеи разве что слегка поморщатся.

Убежден, что ни один иностранец не увидит в статье Симонова ни лжи, ни фальши, ни лакейской задней мысли, а тем паче угодничества перед властью. Все это бьет в нос лишь соотечественникам и сомученикам Татлина. Статью стоит подробно процитировать, ибо она дает много полезных сведений, а также представление о той атмосфере, которая задушила Татлина. Статья начинается с добросовестного перечня всех тех областей человеческой деятельности, где оставил свой след В. Татлин, и кончается так: «...вот далеко не полный перечень того, чем занимался в своей жизни умерший в 1953 году в Москве и похороненный на Новодевичьем кладбище советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Евграфьевич Татлин».

Есть ли тут слово неправды? Нет! Но вот какой нюанс. Если б речь шла о таком художнике, которого подразумевает Симонов, то есть прожившего большую, производительную и признанную жизнь, то конец абзаца звучал бы так: «...советский художник, народный художник СССР, лауреат Сталинских премий, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР». Это тот обязательный большой джентльменский набор, который полагался старому, много и продуктивно потрудившемуся на советскую Родину художнику. Во всяком случае, сам Симонов задолго до старости обладал всеми этими отличиями, кроме звания «народный художник СССР», — у писателей не могло быть такого чина, зато он носил еще медаль лауреата Ленинской премии. И вся бездарная, а порой даже не вовсе бездарная сталинская гвардия от изобразительного искусства обладала названным мною набором. А то, чем отметили Татлина, означает лишь неугодность, непризнанность, загнанность. К своим холоумам от искусства, особенно в сталинскую пору, советская власть была очень щедра и столь же скупа к тем, кто не угождал ей.

Симонов продолжает хвалить Татлина: «...друг летчиков и планеристов и одновременно друг музыкантов и поэтов, он,

по свидетельству людей, лично его знавших, к которым я, к сожалению, не принадлежу, великолепно читал стихи Маяковского, Хлебникова и Есенина. А одна из его ранних живописных работ — «Матрос» — не что иное, как автопортрет, имеющий отношение еще к одному из его увлечений — к юношескому увлечению морем, куда он не раз именно в качестве матроса уходил в плавание. Не правда ли, какая интересная личность? В ней есть нечто очень привлекательное и внутренне связывающее ее и с нашим временем, и с нашим обществом, где и вторая, и третья профессия человека давно стали не в диковинку и где живой интерес людей к самым разным сторонам жизни и искусства дает нам столько многообещающих примеров.

В Татлине, во всей совокупности его деятельности поистине есть нечто очень близкое нам именно сегодня, хотя он родился в восьмидесятые годы прошлого века и умер почти четверть века назад».

Это уже ложь в открытую. Что имеет в виду Симонов, когда говорит, что вторая и третья профессия у нас не в диковинку? Я не знаю ни одного профессионала, который позволил бы себе разбрасываться. Если б это было правдой, мы знали бы других художников, которые что-то строили, музицировали или ставили спектакли. Но таких не было — ни одного. Разносторонность не поощрялась даже внутри своей профессии. Как жестко перекрыли великому Святославу Рихтеру путь к дирижерскому пульту! Могучий виолончелист Ростропович прорвался было, но и у него вырвали из рук заветную палочку. Когда же Рихтер обнаружил живописный дар, стало хорошим тоном издеваться над его художническими потугами. Сам Симонов, меня литературный жанр, усердно декларировал: «Я больше не поэт. С этим покончено. Я драматург». И позже: «С театром — все. Я прозаик, романист». Поэт Антокольский, одаренный художник, осмелился обнародовать свои акварели, когда убедился, что Сталин умер

всерьез и надолго. Скульптор Кербель, создатель памятника Марксу напротив Большого театра и ленинского монумента на Октябрьской площади, виртуозно играл на деревянных ложках, но только у себя дома, при закрытых дверях и окнах. Многогранность считалась подозрительной, ее воспринимали как легкомыслие, поверхностность, нежелание всерьез трудиться на благо любимой Родины. Это пошло, как и все дурное в нашей жизни, от Сталина: он вообще не любил талантливую молодежь, а многосторонне одаренных на дух не выносил. Когда-то он кропал стихи, пытался написать пьесу, всерьез углубиться в науку, ничего из всего этого не вышло, и в результате нам было негласно предписано заниматься только своим прямым делом.

Но однажды Сталина осенила большая выдумка: призвать ударников* в литературу. С одной стороны, чтобы унижить писателей: подумаешь, умельцы, каждый может марать бумагу; с другой — показать Западу, какого культурного человека вырастила из простого рабочего советская власть. Затея позорно провалилась. Из всех призванных в литературу вошел лишь один Авдеенко, которого Сталин позже сам же прихлопнул. Именно универсальность явилась одной из причин опалы Татлина. При этом его последовательно и беспощадно лишили всех ипостасей, кроме одной: театрального художника. Исчез Татлин-живописец, Татлин-иллюстратор, Татлин-скульптор, Татлин-зодчий, Татлин-конструктор, Татлин-изобретатель, Татлин-музыкант, остался Татлин — сценограф суровских спектаклей. Симонов прекрасно знал, что мы знаем, что он говорит ложь, но это его ничуть не смущало.

Лукавец Симонов был писателем очень одаренным и на редкость трудолюбивым. Кто-кто, а уж он-то знал цену труду, и следует верить его восхищению рабочей хваткой Татлина. Пусть расскажет о «башне Татлина», как прозвали знаменитую модель памятника Третьего Интернационала. «Ког-

* Ударниками назывались передовики производства.

да смотришь на старые фотографии Татлина и его товарищей по работе над проектом памятника, то сразу же замечаешь про себя, что это не просто авторы проекта, это люди, застигнутые в разгар работы, люди, своими руками превращающие этот проект в модель, сложную по конструкции и по материалам, большую, пятиметровую — то есть целое инженерное сооружение.

Недавно я прочел у архитектора Т.М. Шати́ро, с которым сотрудничал Татлин, работая над проектом и моделью памятника, очень поэтичные, на мой взгляд, строки, связанные с самой атмосферой этой работы. «Прогулки по набережным Невы с лесом кранов и ферм были для нас неисчерпаемым источником вдохновения. Вид подвижных ажурных конструкций на фоне быстро бегущих туч открывал нам поэзию металла. Так вызревала идея сквозной динамичности сооружения как главного средства эмоционального воздействия на зрителей».

И хотя в период создания этой модели, в 1919—1920 годах, морские плавания остались у Татлина далеко позади, эти строки напомнили мне о том, что Татлин когда-то был моряком, а сам образ ажурной металлической башни, внутрь которой вписаны объемы нескольких залов и помещений, мысленно связался с ощущением морского и небесного простора, куда врезается что-то по-корабельному высокое, сильное и прочное, населенное людьми и вознесенное ввысь людскими руками. Идея создания проекта этого памятника вызревала у Татлина, а потом и начинала осуществляться в ту пору, когда он работал в ИЗО* Наркомпроса и был прямо причастен к целому ряду практических дел, связанных с осуществлением ленинской идеи монументальной пропаганды. Есть немало документальных свидетельств того, какое непосредственное участие принимал Татлин в этой общей работе, а сам проект памятника Третьего Интернационала остался прямым результатом его собствен-

* ИЗО — отдел изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения.

ной художнической попытки принять участие в реализации этих планов. Попытка эта была одухотворена высокими целями и отмечена дерзостью архитектурной и конструкторской мысли, а если говорить о самой модели, то и высокой профессиональной техникой исполнения.

Да, разумеется, ажурная металлическая башня-памятник, башня — Дворец Революции, высота которой проектировалась в четыреста метров, не могла быть поднятой в небо, практически осуществленной. Но модель башни была сделана и показана сначала в Петрограде, а потом в Москве, в Доме Союзов, на выставке, приуроченной к XV съезду Советов...

Вокруг башни было много споров, одни ее перевозносили, другие отрицали. Да и странно было бы, если б не возникало споров вокруг столь дерзкого по мысли проекта.

Однако, несмотря на все эти споры, через четыре года заново воссозданная модель башни стала одним из главных наших экспонатов на одной из первых международных выставок, в которых принял участие Советский Союз, и получила на этой Выставке декоративного искусства в Париже золотую медаль».

И опять все вроде бы правильно, кроме одного, главного: Татлин проектировал свою башню не ради модели, а чтобы ее построили. Даже такого вопроса не стояло: строить — не строить; башня должна была подняться посреди столицы как символ новой эпохи. Ну а высота могла быть несколько уменьшена. В мировом опыте уже было возведение строений более трехсот метров в высоту. Отказ от строительства явился тяжелейшим разочарованием для Татлина, крушением самых заветных надежд, одним из тех ударов, от которых человек не может оправиться.

Ну а в Париж модель действительно послали, очень хотелось похвастаться и золотую медаль получить. Да и припугнуть буржуев своим имперским размахом. Старый русский способ. Когда-то, в трудную для России пору, Екатери-

на II заказала знаменитому зодчему Баженову проект нового Кремля. Скульптор представил грандиозную модель (она до сих пор хранится в Донском монастыре), и торжественно приступили к строительству. Государыня сама заложила первый камень. Иностранцы были потрясены. Им казалось, что Россия полностью разорена неудачной войной с Турцией, а северный колосс вон как развернулся! Цель была достигнута, и строительство незаметно свернули. Несчастный архитектор запил вмертвую...

Побочное — мелкое — вранье в приведенном выше отрывке: идея монументальной пропаганды названа «ленинской». Идея принадлежала Татлину, а вождю ее представил тогдашний народный комиссар просвещения Луначарский. С обычной большевистской бесцеремонностью замечательную идею отдали Ленину.

Беспечальный Симонов продолжает рисовать картину бурной и на редкость удачливой деятельности Татлина и наконец подходит ко второму, главнейшему делу художника: созданию летающего аппарата «Летатлина». «В этой работе, — пишет Симонов, — Татлин сотрудничал с авиаторами, с людьми, издавна близкими ему своими поисками технической целесообразности, смыкающейся с безукоризненностью форм. Заботливо восстановленный нашими авиаторами и историками отечественной авиации «Летатлин», некогда впервые продемонстрированный в Музее изящных искусств в Москве, возобновил свою жизнь в Музее авиации и космонавтики и до сих пор поражает взгляд своей изобретательной красотой».

Замечательная фраза, что самолет возобновил свою жизнь в музее. Но для самолета жизнь в музее — это смерть. Он живет только в небе. Нет, «Летатлин» никогда не поднимался в небо. Инициатива беспокойного ума не приглянулась властям. Дай только волю, эдак каждый построит себе по «Летатлину» и на легких крылышках смоеся за границу. Татлин перенес второе горчайшее разочарование.

Дальше Симонов умиляется тем, что Татлин отошел от конструктивизма и даже осудил его письменно. Да, в начале тридцатых годов начались ожесточенные нападки на все «измы», и Татлин самосохранения ради вынужден был открещиваться от направления, которому истово служил. Тут надо бы плакать, а не ликовать. Особенно его радует, что Татлин занялся настоящим делом: проектирует мебель и одежду и даже выступает в роли фотомодели. В двадцатые годы Татлин, случалось, откладывал кисть и вдохновенно придумывал новые формы бытовых предметов: тарелок, чашек, чайников, сахарниц, молочников, сочетая в них рациональность с изяществом и духом времени. Так и Леонардо прерывал работу над «Тайной вечерей», озабоченный состоянием миланской канализации. То была игра свободных творческих сил, причуды гения, а в тридцатые годы штаны и табуретки стали для Татлина печальной необходимостью.

Бегло упомянув, что в последующие годы Татлин продолжает писать и рисовать, Симонов удовлетворенно отмечает его практическую деятельность, в том числе оформление животноводческого павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Вы представляете себе Пикассо или Матисса, тратающих свой талант на свиноводческий рай? Я хорошо знаю, что это на самом деле значило в жизни Татлина. Ужасающий по безвкусице, пошлости и позолоченной лжи колхозный эдем, где рабство выдавалось за вдохновенный труд, а нищета за изобилие, стал последним прибежищем для всех художников, не нашедших себе места в социалистическом реализме. Талантливый Владимир Роскин, Лопухин, Джон Левин и другие видные конструктивисты корчились там.

Конечно, Татлин в свободное от колхозно-павозной деятельности время что-то писал и рисовал — он не мог без этого, — но ничего не выставлял: не брали.

Особенно утешен Симонов театральными работами Татлина: два оформленных им спектакля были удостоены Госу-

дарственных премий. Во-первых, не Государственных, а Сталинских; во-вторых, Татлин не вошел в число награжденных; в-третьих, это были спектакли по пьесам проходимца Сурова.

Конец, как говорится, вечнает дело: Симонов с глубоким удовлетворением пишет, что «большое количество его работ, главным образом живописных и графических, после его смерти было передано в Центральный государственный архив литературы и искусства, где они были заботливо сохранены».

Почему работы Татлина были сданы в архив, а не в музей? Архив — это для рукописей, писем, всякого рода биографических материалов, фотографий, семейных реликвий, личных вещей, но не для картин и рисунков. Для художественных творений архив — это кладбище.

Все дело в том, что музеи отказались от Татлина, которого нельзя было выставлять. Знаменитый Малевич долгое время был представлен в Третьяковской галерее одним лишь «Черным квадратом». Не больше места отводилось Татлину. Но и сейчас стены музеев не расцвечены полотнами Татлина, которые в основном пылятся в запасниках. Но это уже не по приказу свыше, а от собственной лени, равнодушия, нежелания обременять себя лишними заботами.

Татлин лишь полувернулся из небытия. Он вроде тех эмигрантов, которые могут приезжать в бывший Советский Союз, но гражданства им еще не восстановили. Тут нет специального злостного расчета — инерция, расхлябанность, незаинтересованность в культуре.

Константин Симонов ловко и цинично выполнил свою задачу: трагическую судьбу превратил в непрерывный советский праздник. Такова вторая легенда.

Теперь перейдем к третьей, самой, пожалуй, удивительной. Личная жизнь Татлина погружена в туман. У него был сын, погибший в Отечественную войну, но я и слова не слышал о его жене. В моем представлении он всегда был человеком бессемейным, как и его друг Велимир Хлебников. В мо-

лодости он постоянно был окружен ученицами и поклонницами, среди которых оказалась незадачливая балерина и начинающая художница, юная Александра Корсакова — Шура. Она дебютировала на сцене крайне неудачно; при кажущейся гибкости стройной, высокой фигуры она выглядела деревянной, и даже влюбленный в нее рецензент, известный искусствовед Сидоров, с трудом выдавил что-то насчет «безукоризненно красивой Корсаковой», не упомянув о танцах. А вот Татлин обнаружил в ней несомненный графический талант. В девушке странно сочетались упорство и лень. Последнюю не выносил фанатик работы Татлина. Он бы отказался от нее, да уж больно хороша! Она волновала его своим загадочным присутствием-неприсутствием; казалось, Шура все время думает о чем-то, находящемся в бесконечной дали от того места, где она физически пребывает. Это беспокоило и влекло, как всякая тайна. По-моему, тайна Александры Николаевны Корсаковой заключалась в легкой форме шизофрении — не знаю, догадывался ли об этом Татлин. Безумие в небольших дозах красит женщину; у Татлина с его ученицей начался роман и длился несколько лет, пока она окончательно не убедилась, что он на ней не женится.

Тогда она сошлась с довольно известным в московских кругах молодым человеком Борисом Семеновичем Луиным. Он когда-то заведовал литературным кафе, и Есенин обратил к нему следующее двустишие: «Нам Борис Семеныч нужен, / Он нам даст обед и ужин». Затем на пару с братом держал книжную лавку. И вдруг стал театральным администратором. Недоучившийся студент Петербургского университета, Луин не имел профессии. Очень худой, длинный, умный, с легким характером, довольно остроумный, хотя не пошмал чужих шуток и анекдотов, он показал Шуре удобным спутником в жизни. Они поженились. Татлин изредка навещался к ним, искренне полюбив Бориса Семеновича.

За несколько лет до войны Лукин заболел тромбозом и потерял ногу. Вторая нога тоже была ненадежной. Что было делать? По совету брата он купил подержанный «ундервуд», кое-как научился печатать, повесил на своем доме по Большой Молчановке объявление: «Машинистка живет на шестом этаже» — и принялся выстукивать для себя и жены завтраки, обеды и ужины длинными, костлявыми пальцами.

Его жена воспринимала все эти довольно печальные обстоятельства как сквозь сон. Она и всегда-то производила впечатление непронаввшейся. Тем не менее в середине тридцатых годов она начала приобретать имя как талантливый иллюстратор. Но вскоре левое искусство прикрыли, и Шура без особых душевных мук забросила карандаш. Во время войны, когда сильно припекла пужда, она занималась ретушью, позже Татлин, желая помочь милым ему людям, привлекал ее в качестве художницы по костюмам к своим театральным работам. У Татлина не было ни одного родственно близкого человека, и, умирая, он сделал наследницей Александру Николаевну. Ей досталось несколько картин, рисунков, довольно много театральных эскизов. В пятьдесят третьем году ей в голову не могло прийти, что это не только богатство, но и судьба.

В последующие годы она от нечего делать рисовала перышком московские виды и помещала их в «Вечерней Москве». Казалось, она спит на ходу.

Ее муж Борис Семенович проделал за минувшие годы сложную и неожиданную эволюцию. Перестав прыгать и скакать по причине тяжелой инвалидности, он задумался о жизни и смерти, о себе, о вечности и Боге; Библия стала его настольной книгой, а Монтень, Константин Леонтьев, Федоров, Розанов — постоянным чтением. По совету своего брата, писателя Я. Рыкачева, он начал сам писать. Так возникла замечательная книга «Неслучайные заметы», высоко оцененная Андреем Платоновым, Ильей Эренбургом, Корнеем Чу-

ковским. Но минуло тридцать два года со дня смерти Лунина, и книга его до сих пор не увидела света. Лишь три больших отрывка из нее удалось мне опубликовать в периодических изданиях.

Умирая, Лунин обратился к Я. Рыкачеву с письмом: *«Брат! Не оставь Шуру. Ты знаешь, как она беспомощна и жалка перед жизнью. Помоги ей, сохрани ее»*. Наша семья откликнулась на эту просьбу. Шура получила необходимую помощь, подолгу жила у нас на даче. Рыкачев с присущим ему упорством сумел раздуть слабо тлеющую в ней искру творчества. Она вернулась к своей естественной довоенной манере, сделала много страшных и прекрасных рисунков. Освоила масляную живопись. На родине она долго не имела хода, но в Японии вышел роман Булгакова с ее иллюстрациями, а в Чехословакии — Достоевский. Нам удалось устроить ее первую персональную выставку. О Корсаковой заговорили, ее приняли в Союз художников. А затем началось паломничество к наследию Татлина со всего мира. Происходило как будто новое открытие Татлина, о нем писали статьи, исследования, монографии в Англии, Германии, Франции, США. И чем больше ширилась слава Татлина, тем значительнее становилась судьба его наследницы. Это заставило ее крепко задуматься. Но пока был жив Рыкачев, она хранила про себя свои думы. Когда же его не стало, в 1976 году, на Большой Молчаповке, в доме, откуда давно уже сняли объявление машинистки, живущей на шестом этаже, возникла вдова великого художника Татлина.

Никакого Бориса Семеновича Лунина не было в помине; во всяком случае, в жизни Александры Николаевны Корсаковой был лишь Татлин, ее учитель и супруг. И странно, это открытие приняли не только иностранцы, но и те люди, которые прекрасно знали, как обстояли дела на самом деле. Вдова знаменитого Татлина была им куда привлекательнее, чем вдова безвестного Лунина. Меня поражала ее дерзость,

это была хлестаковщина чистой воды. Но на Руси любят Хлестаковых, любят обман, нелепицу, вздор, это наша национальная черта. Я не моралист, но в мое сердце стучались предсмертные слова обреченного: «Брат! Не оставь Шуру. Ты знаешь, как она беспомощна и жалка перед жизнью...» Она не была ни жалка, ни беспомощна. Она была цинична, решительна и очень практична: подторговывая славой, картинами и рисунками Татлина, она создала себе удобную и беспечальную жизнь. Я прекратил с ней всякие отношения. Она не спрашивала меня о причине, но упорно присылала пригласительные билеты на собственные вернисажи и выставки Татлина.

Ее недавняя смерть едва не примирила меня с ней. Она умерла высоко: почувствовав, что творческие силы угасли, да и физических оставалось немного, она ушла из жизни, приняв усиленную дозу снотворного. Мне она оставила рукопись Бориса Семеновича, имущество — какой-то подруге; уцелевшие работы Татлина присвоил лечивший ее врач. После этого племянница усопшей, возникающая из дагестанских долин, выполняя последнюю волю тетки, необъяснимым образом «подселила» ее в могилу Татлина.

Новодевичье кладбище — закрытая, привилегированная усыпальница, здесь хоронят по особому разрешению, получить которое невероятно трудно. Как это удалось скромной провинциалке — еще одна загадка. Но теперь на Новодевичьем кладбище лежат рядом художник Татлин и его посмертная жена.

В этом есть что-то от Кафки или Юрия Мамлеева, виднейшего русского писателя-сюрреалиста: останки холостяка Татлина женились и создали загробную семью.

Эта легенда, этот миф о Татлине стоит двух предыдущих.

А теперь вернемся в реальный мир. Пересказывая татлинские легенды, я невольно познакомил читателей с основными вехами его творческой и житейской биографии. Осталось несколько белых пятен.

Значительным в жизни Татлина был 1912 год. На выставке Московского училища живописи и ваяния, куда Татлин дважды поступал, так и не кончив, он выставил свои лучшие работы: «Матрос» — масло, «Продавец рыб» — клеевая краска и двадцать три эскиза к народной драме «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольф». В России «Матрос» стал так же знаменит, как рублевская «Троица» или «Черный квадрат» Малевича, но значительно живописнее последнего, хотя, возможно, не столь глубокомыслен. Это автопортрет, выполненный в предельно лаконичной манере, на очень условном фоне, дающем намек на оснастку парусника. Сколько существует матросских портретов, но для всякого, кто видел татлинского морячка, хотя бы в репродукции, существует только этот салага: надежный, с мощной шеей, так хорошо обрезанной чуть растянутым воротом штормовки, знающий себе цену, сильный и скромный человек.

Но конечно, главное достоинство портрета не психология, а живопись. Неяркие, приглушенные краски, жестковатая манера — кажется, что он не кистью написал, а сбит, сколочен на века рукой гениального столяра. Этот портрет, поддержанный чудесным «Продавцом рыб», как-то сразу поставил все на свои места в авангардном искусстве, выведя Татлина в безоговорочные лидеры...

В этих работах Татлина ярко проявилась его удивительная способность к п е р в о в и д е и ю. Он все окружающее видел как будто в первый раз, с поразительной и радостной свежестью. Словно никто в мире (а уж подавно художники) не видел ни матроса, ни рыб, ни нагого женского тела, ни фруктов в вазе, ни букета цветов. Их видел лишь Творец в день творения и он, Татлин, художник милостью Божьей. Каждая картина Татлина — это открытие того, чего еще не было ни в жизни, ни на холсте. Естественно, у него не могло быть ни учителей, ни предшественников. Потому и ученичества в обычном смысле слова у него тоже не было, он сразу

стал писать и рисовать, как Татлин. Даже таким титанам, как В. Серов и К. Коровин, не удалось, хоть на время, повести Татлина за собой.

Смолоду он был блестящим рисовальщиком. Ему можно смело переадресовать хвастливое заявление Пикассо: «В детстве я рисовал, как Рафаэль». Умнейший Владимир Вейдле очень точно сказал о рисовальной манере Пикассо: «Линия его совершенно «умственная», отвлеченна, тяготеет к схеме; ничего телесного в ней нет. Его кривые ищут циркуля или прямой; волнистые грозят изломом; выгиб тела — невозможным для тела выгибом». А вот Татлин рисовал живописно, а не линейно, его линия телесна, исполнена органики, жизни, хотя в отличие от Пикассо он не думал ни о Рафаэле, ни о стремящемся стать вторым Рафаэлем Энгре.

Татлина отличала одна редкая особенность: его картины сохраняли эскизную незавершенность, а театральные эскизы казались законченными картинами. Это придавало чарующую живость и непосредственность первым и убедительную фундаментальность вторым. Последнее качество сполна проявилось в его ранней театральной работе «Действо о царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе». Русское балаганное искусство было вообще очень близко Татлину своей яркостью, грубоватой броскостью, даже дурашливостью, прикрывающей лукавство.

Кто хочет понять русского человека в его темной глубине, понять всерьез, а не через благовоспитанную классику, очень льстившую народу даже в своих разоблачениях «темных сторон», должен познакомиться с этой вот безымянной драматургией, где народное самосознание выговаривается якобы пародийно, на деле же серьезно и по существу.

Можно лишь пожалеть, что Татлину больше не довелось работать в том же игривом и сокровенном роде. Наиболее близко к этой манере он подошел через двадцать три года, оформляя спектакль по пьесе А. Островского «Комик XVII

столетия», поставленный талантливым И. Берсеневым на сцене МХАТа-II. Конечно, то уже не был столь победно раскованный условный мир, как в «Царе Максимилиане» с фантазмагорическим Венериным задиришкой и роскошной Курмерской Венерой, но и Вавилонский разбойник, и Фотиев, и Татьяна, и сам Бог Саваоф, да и все второстепенные персонажи пьесы Островского были ликующе ярки, причем каждый лист — законченная картина. Впрочем, и в более позднем и потому уж вовсе не условном «Деле» эскизы, скромно названные «Костюм Тарелкина», «Костюм Варравина», были великолепными портретами с глубокой психологической характеристикой. Я горжусь, что у меня в доме висят эскизы двух шутов из «Комника» и чиновника из «Дела».

Когда я думаю над тем, почему Татлин так часто и охотно изменял живописи, то не пахожу другого объяснения, как его слишком быстрое и окончательное овладение ею. Живописно он не развивался: та уверенная легкость, с какой он решал все живописные задачи, пришла к нему в ранние годы и не оставляла никогда. Он не менялся, не открывал в себе новых живописных возможностей. Было, скажем, два Боттичелли — примитив и автор «Весны»; два Рафаэля — один из смеси Перуджино, Леонардо и Микеланджело, другой — всевластный творец «Сикстинской мадонны»; минимум два очень разных Тинторетто, три Вермеера, два Писарро, второй — пуантилист; два Гогена — парижский и таитянский; без счета Шагалов. Но Татлин в живописи был один. Поэтому развитие его шло вширь, а не вглубь. Освоенные формы искусства переставали его удовлетворять, он искал чего-то нового в способе изображения, в материале, в инструментарии.

Так, после своих больших живописных и графических успехов (он успел зарекомендовать себя и превосходным книжным художником, оформив несколько поэтических сборников), Татлин сменил кисть и карандаш на бандуру, уехал в Берлин, а по возвращении с головой ушел в новое и непри-

вычное дело — монументальные рельефы. В связи с этим был выброшен новый лозунг: вместо «Улучшить глаз» — «Ставим глаз под контроль осязания». Он был уже так влиятелен в это время, что лозунг, не понимая толком его смысла, подхватили чуть не все молодые художники.

Сам Татлин разделял эти работы на три самостоятельных ряда: «живописные рельефы», «контррельфы» и «материальные подборы». Все это были варианты художественного конструирования. В советском искусствоведении к этому определению неизменно добавляется слово «экспериментальное», чтобы, упаси Боже, не подумали, что произведения этого рода могут иметь абсолютную художественную ценность и претендовать на самостоятельное место в ряду других искусств. Нет, это всего-навсего эксперимент, попытка что-то придумать, игра взрослых людей, блажь, наконец, но довольно безобидная, если не принимать ее всерьез и не допускать в парадные комнаты искусства. Возможно, в силу такого вот отношения к этим работам Татлина они не дошли до наших дней, — во всяком случае, мне не удалось отыскать их местопребывание, за исключением одного материального подбора в Третьяковской галерее. Он сделан из лакированного красного дерева и кровельного оцинкованного железа. Работа находится в запущенном состоянии, но чувствуется «глаз, проверенный рукой» и тот изящный дух, который ее породил. Впрочем, пренебрежение и недоброжелательство пришли уже во дни советской власти, а в пору, когда Татлин с огромным воодушевлением и продуктивностью создавал свои «рельефы», отношение к ним в художественных кругах было заинтересованное, хотя и неоднозначное. Ретроградов во все времена хватало.

Первая выставка «живописных рельефов» состоялась в его мастерской на Остоженке в 1914 году. Здесь экспонировались «работы из дерева, металла, стекла, штукатурки, картона, левкаса, гудрона. Поверхность этих материалов обра-

батывалась шпаклевкой, раполоном, припорашивалась пылью» (В. Татлин).

За ней последовали: выставка «Трамвай В» и большая выставка «0—10» в Петрограде, где распространялась иллюстрированная листовка, написанная самим Татлиным. обстоятельно и скромно он рассказывал о своих работах. На «0—10» демонстрировались контррельефы и впервые была показана висячая скульптура. Когда знаменитый театральный художник Г. Якулов через два года создавал дизайн кафе «Питреск» в Москве с помощью Татлина и Родченко, эти висячие скульптуры стали главным декоративным элементом оформления.

Дождался Татлин и печатного доброго слова о своих рельефах. В «Новом журнале для всех» авторитетный критик С. Исаков писал: «Публика так привыкла к всевозможным вывертам со стороны футуристов, что с легким сердцем отнесла к сонму саморекламистов и скромного, чуждого какой-либо рекламы, всецело поглощенного художественными исканиями своими Татлина... Выявляя скрытую жизнь матерьяла, определяющего ход нашей промышленной жизни... постигая законы энергии, заложенной в материи, и переводя их в плоскости красоты, он тем самым становится сам господином над миром материальным и родит надежду, что когда-нибудь и все человечество найдет средства и силы сбросить с себя принижающее иго машины».

Вот как серьезны были поиски Татлина, вот почему щетишные ручники, барсуковые флейцы, шпахтели стальные и деревянные, напильники, молотки и пилы стали ему желаннее нежных живописных кистей.

Меж тем в «терновом венце революций» наступил 1917 год, окрылив Татлина смелыми надеждами, открыв (и быстро закрыв) новые возможности, сообщив (обманно) неслыханный масштаб его творчеству, — я, конечно, говорю о башне Татлина, чья печальная судьба нам уже известна. Если

верить сегодняшней нашей прессе, то все многомиллионное население Российской империи восприняло революцию как приход Антихриста. Это чепуха, ложь, обычное для русских шараханье из одной крайности в другую. Революция в большой мере была подготовлена интеллигенцией, в первую голову — творческой. Переворот отвечал ее чаяниям, которые она вынашивала со дней первых русских интеллигентов: просветителя Новикова и автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Оба поплатились за свои свободолюбивые взгляды тюрьмой и ссылкой. Конечно, Октябрьская революция была крестьянской, а не пролетарской — сколь-нибудь значительного пролетариата в промышленно отсталой России не было. Крестьяне, которых Ленин обманул обещанием земли, своей кровью отстояли революцию, идейно подготовленную интеллигенцией. И в этом ее неизбежная вина перед собственным народом и всем мировым сообществом.

Но ведь и прекрасные мечтатели Фома Кампанелла, Томас Мор верили в общество, созданное на тех основах, которые позднее назвали социализмом, в общество всеобщего братства, равенства, свободы от всех форм угнетения одного человека другим, а мы их чтим и любим. Поэтому, может, стоит снисходительнее отнестись к заблуждениям декабристов, герценовского круга, шестидесятников, народников и даже марксистов (через увлечение Марксом прошел выдающийся религиозный философ Бердяев). И не стоит удивляться, что революцию приветствовали такие люди, как певец Прекрасной Дамы Блок, глава символистов Брюсов, режиссер-новатор Мейерхольд, футуристы Хлебников, Маяковский, Каменский (к ним можно смело причислить Татлина), крестьянский сын Есенин, мистик Андрей Белый, русский Рубенс — Кустодиев и многие-многие другие светлые и честные люди. Их было неизмеримо больше, нежели таких провидцев, как Бунии, Мережковский, Зинаида Гиппиус, кото-

рые сразу и безоговорочно ее проклинали. Даже проникательнейший Осип Манделштам на первых порах отнесся с уважением к революционному действу. А Марк Шагал и вовсе закомиссарствовал в Витебске по линии искусств, но, отдадим ему должное, быстро спохватился и покинул страну.

Похмелье к трубадурам революции пришло в разное время: Блок очень скоро перестал слышать музыку революции и уморил себя голодом, Есенин повесился, Маяковский застрелился, Мейерхольд прозрел лишь незадолго до своей мученической гибели. А вот Брюсов и Хлебников умерли, не успев разочароваться. Татлин держался за свои иллюзии дольше других, наверное, потому, что он был самым незаземленным, — недаром же его так тянуло в небо.

Он прошел через жесточайшие разочарования, связанные с «башней Татлина», оставшейся моделью, с художественным конструированием, выродившимся не по его вине в бытовую мелочевку, а там и вовсе в дизайн одежды, с механической птицей «Летатлин», так и не поднявшейся в небо, со сценографией, медленно, но неуклонно превращавшейся в натуралистическое подобие быта, а для него самого — в халтуру.

В тридцатые годы его окрылил вернувшийся после долгого перерыва интерес к живописи. Нет, «интерес» слишком вялое слово — то была истинная страсть, не знавшая утолечения. Чаще всего он пишет натюрморты; как никогда, щедро расцвели татлинские цветы и заблагоухали с холстов дивные букеты, но были и пейзажи: «Лето», «Весна», «Сумерки», несколько выразительных портретов. Особенно хорош портрет неизвестного — и живописно, и почти пугающим проникновением в страшноватую суть человека. Тогда же написана лучшая из обнаженных Татлина — «Купальщица». Чур меня, но, кроме рембрандтовской «Данаи», я не знаю, где бы так живо, без прикрас, но до муки притягательно изображалась женская плоть.

Графика скупер, тут выделяется очаровательный набросок «Портрет сына» — хрупкое, обреченное юношеское лицо. В сороковые годы им завладел пейзаж, а в графике он блистал портретом Хлебникова и автопортретом. Общее впечатление от этих двух десятилетий такое, будто Татлин почувствовал за собой некий художнический долг и старался изо всех сил его вернуть. Похоже, он догадывался, что в оставшуюся жизнь будет работать почти сплошь на потребу, окончательно увязнув в болоте дурного театра.

Он сделал достаточно для бессмертия, но такой неустанный труженик, такой великий выдумщик, до ноздрей набитый замыслами, наверняка мог дать больше. Он не израсходовал всего своего громадного запаса, но в этом нет его вины. Перефразируя Александра Блока, можно сказать: сожрала его большевистская Россия, как супоросая свинья своего поросятка. Это трагическая судьба. Но если сравнить с судьбой расстрелянного Древица, узников сталинских лагерей Куприна, Шухаева, Ротова, Пунина, с жалким, подвальныйм существованием раздавленных конструктивистов, супрематистов и прочих «формалистов», то Владимиру Татлину сказочно повезло.

Что думал Татлин, угасая, о революции, от которой ждал расцвета человеческой личности, расцвета культуры, искусства, рождения новых форм творчества, мы не знаем. До самой смерти Сталина о таких вещах не говорили, даже не шептались — о них плакали наедине. А Татлин ушел в один год со Сталиным. Но когда я встретил его на лестнице дома, где жила его загробная жена, не нужно было слов, чтобы понять всю печаль, боль и разочарование этого огромного, чистого, мудрого и наивного человека.

Что сказал бы Гамлет

Из путевого дневника



редко бывает, чтобы человек ехал в чужую страну и не создал в душе хотя бы смутного, приблизительного ее образа. И конечно, отправляясь по делам кинематографическим в Копенгаген (совместный фильм о великом пролетарском писателе Мартине Андерсене-Нексе), я нес в себе образ Дании — зыбкий, нестойкий, расплывающийся при малейшей попытке придать ему хоть какую-то определенность.

Этот образ строился из весьма разнородного и случайного материала: пахнущие цветами и снегом сказки Ганса Христиана Андерсена, страстные исповеди удивительнейшего мыслителя и писателя Сёрена Киркегора, расплески той эротической волны, которую лет десять назад поднял, погнал и обрушил на Европу маленький, пристойный от века народ, — иные западные социологи окрестили это порнографическое цунами «сексуальной революцией».

Когда я приехал в Данию, мои представления об Андерсене и Киркегоре нисколько не изменились. Пожалуй, лишь одно царапнуло душу — до чего верна поговорка «Нет пророка в своем отечестве»! Великий сказочник популярен в собственной стране куда меньше, нежели у нас. Внешне все в порядке: в Оденсе, на острове Фюн, куда я не попал, приез-

жим показывают дом, где родился Андерсен; в Копенгагене поставлен памятник не только ему самому, но и дивным его лебедям-оборотням; в центре города, от площади Ратуши, пролегает широкий бульвар его имени. Но датчане были искренне удивлены моим настойчивым желанием попасть в Оденсе и еще больше тем, что в эти дни в Ленинграде начался «фестиваль Андерсена». «За что вы его так любите?» — вежливо округляли глаза интеллигентные датчане. «А кому дети человеческие обязаны пробуждением фантазии, сладкого дара мечты? — не слишком напрягаясь, отвечала я. — Чем были бы мы все без Кая и Герды, Снежной королевы, Стойкого оловянного солдатика, Русалочки?» Собеседники деликатно пожимали плечами: вы полагаете?.. «Ну а за что вы его так не любите?» — улыбаясь, но про себя злясь, спрашиваю я. «О нет, мы любим, конечно...»

Никогда и ни о чем не спрашивайте датчанина напрямую, постарайтесь узнать интересующее вас обходным, окольным путем. На прямо поставленный вопрос датчанин почти никогда не отвечает. Конечно, бывают исключения, но я говорю о характерном, общем свойстве. Датчанин сразу замыкается, уходит в себя, на лицо его наплывает тень печали, а взгляд становится отрешенным, он смотрит то ли мимо вас, то ли сквозь вас в какую-то далекую арктическую пустоту, где небо, льды и тишина, где в помине нет докучных, тягостных вопрошателей. Он молчит и ждет, чтобы вы отказались от своего вопроса. И нередко старания его увенчиваются успехом. Тогда он возвращается из своего далека, оживляется, светлеет, вновь становится мил и любезен. Но если вы настаиваете, если вы упорно и безжалостно хотите получить ответ на свой вопрос, он будет уходить все дальше и дальше в сумрак, в чащу, в свое укромье, как смертельно раненный зверь.

Откуда это свойство? Не знаю. Влияние климата? «А мысли тайны от туманов», — поет Варяжский гость, утверждая, что волна морская проникла в кровь варягов. Опасное,

изменчивое море вырабатывает в людях настороженность, молчаливость, всегдашнюю готовность к отпору. А может, все дело в повышенной щепетильности — ведь слово изреченное есть ложь, так не лучше ли промолчать? Даже на простой бытовой вопрос редко услышишь прямой ответ. Спросите датчанина, пришедшего с улицы, какая сегодня погода, он кинется к телефону и позвонит в бюро погоды. После этого даст вам исчерпывающую официальную справку, за точность которой не отвечает.

Мне слишком хотелось понять необъяснимую холодность соотечественников Ганса Христиана к своему великому писателю, и я проявил жестокую настойчивость. Помню, как мучительно, неуверенно, задушенно прошелестел наконец ответ: «Его сказки слишком печальны для детей, а иногда... даже страшны». Признаюсь, я так и не понял, что это значит. Печаль Андерсена легка и поэтична, она не угнетает, а возносит душу. А сказки братьев Grimm или русские народные сказки куда страшнее, но ведь дети в них души не чают. И все же мне пришлось отступить — потому что викингов недвусмысленно дали понять, что больше не скажут ни слова.

Что касается Сёрена Киркегора, чью потрясающую книгу «Повторения» я прочел незадолго до поездки, то с него и началась моя Дания.

Оглушенный перелетом, я не заметил, как мы выехали с заперженной машинами площади, промахнули пятнадцать километров, отделяющих аэропорт от города, миновали окраины и проскочили центр. Я очулся в накрытой плотной тенью длинной и узкой улице, чей печальный сумрак проблескивали золотые луковки православной церкви. Но луковки я вдруг потерял, не успев поместить в пространстве, а машина оказалась перед величественным круглым собором с редкостно мощным куполом. «Марморкирке», — сказал мой спутник и соавтор по будущему сценарию Томми Флюгт.

Собор окружали по цоколю позеленевшие от времени бронзовые статуи отцов церкви, осчастлививших свой народ кто переводом Евангелия на датский, кто распространением христианства, кто отстаиванием праведной лютеранской веры, кто просветительством, кто иным богоугодным деянием. Исполненные смиренного достоинства и бесконечного терпения к безжалостным голубям, залепившим их почтенные головы, рясы и мантии белесым, впроголубь клейким пометом, несут они вековую вахту у округлых стен храма. И тут меня резануло по глазам нарушение декоративного ритма слева от входных дверей — там, на цоколе, помещался кто-то явно лишний, втиснувшийся между зелеными старцами своим смуглым бронзовым телом, еще не тронутым патиной времени и пощаженный голубями. В этой фигуре были живость, нервность и острота, принадлежащие как самому оригиналу, так и современной манере ваяния. Человек носил мирскую одежду: обтяжные панталоны, прихваченный в талии сюртук, тугий жилет и высокие воротнички по моде середины девятнадцатого века. Его большая, несоразмерно круглая голова чуть наклонена, чем подчеркнута мощь круглого чела, и странной кажется словно извиняющаяся полуулыбка, нет, складка красивого, горького рта. Скульптор не дал ему бронзового покоя — человек сделал торопливый, короткий шаг, он хочет поскорее проскользнуть туда, где будет защищен от любопытства окружающих. Сильно забившимся сердцем я вдруг угадал его, хотя никогда не видел ранее изображений Сёрепа Киркегора. А ведь он проскользнул-таки, подумалось мне, мимо своих ничего не понявших в нем современников в двадцатый век, — Хайдеггер, Ясперс, Сартр — духовные дети Киркегора, не имевшего детей во плоти. Любовная трагедия, пережитая им на заре жизни и потрясшая его существо (он оказался неспособен к браку, и невеста его досталась другому), открыла в скромном, умственно благовоспитанном

молодом человеке такие страшные силы, что он разом вышагнул из своего времени.

Юный богослов утверждал, что с Богом нужно разговаривать не языком лицемерного смирения, а зычно-требовательным гласом библейского Иова. Силой взыскательной веры можно не допустить Господа выйти из образа всеблагого. Киркегор считал, что поднимись он в своей вере до простодушной наглости Иова, то сохранил бы невесту.

Здесь не место излагать философские и религиозные воззрения Киркегора. Но поразительно, что из насильственно-го оскопления средневекового философа Абеяра возникло новое этическое учение и дивная переписка с потерянной возлюбленной, ставшая жемчужиной эпистолярной прозы, а из фиаско, как назвал Стендаль в трактате «О любви» драму неполноценности, Сёрена Киркегора — целая философская система, имя которой — экзистенциализм. Разумеется, не системой взглядов дорог мне Киркегор, а редкой художественной силой своей прозы.

Маленькая Дания представлена в коллективной работе человечества великими мастерами: в глубине семнадцатого столетия астроном Тихо Браге с непостижимой точностью определил положение светил, что позволило Кеплеру вывести свои знаменитые законы движения планет; великий физик Эрстед, открывший явление электромагнетизма, искал связь между светом, теплом, электричеством и магнетизмом, предвосхитив идеи будущего. Сёрен Киркегор, Ганс Христиан Андерсен... А был еще ваятель Торвальдсен, в котором сконцентрировалось последнее — и уже мертвое — напряжение классицизма; был властитель дум нескольких поколений литературный критик и публицист Георг Брандес; были прекрасные прозаики: Поггонидац, Банг, Йенсен и величайший — после Горького — пролетарский писатель Мартин Андерсен-Нексе; был путешественник, писатель, гуманист, один из лучших людей века — Петер Фрейхейн; была королева немого

кино Аста Нильсен; был и навсегда остался в мировой науке тот, кого следовало бы назвать первым, Нильс Бор...

Но где-то в шестидесятых годах Дания решила удивить мир не формулами Бора, не страшными грезами художника Вилломсена, не новыми изысками золотистой продукции пивника Туборга и не другими всплесками национального гения, а великой сексуальной свободой. Быть может, Дания ничего не решала, даже наверняка не решала, просто игрой обстоятельств оказалась во главе исподволь назревавшей в Европе половой раскрепощенности. И потекли на экраны мира искусно состряпанные секс-фильмы, до предела откровенные лайф-шоу отбросили в провинциальное забвение классический стриптиз, заработала мощная порнопромышленность. И пусть богатые, завистливые шведы, жадно тянущиеся к Дании и не могущие простить ей, что Копенгаген, а не Стокгольм неофициальная столица Скандинавии, вскоре превзошли своих соседей и возглавили «сексуальную революцию», подведя солидную теоретическую базу под оголтелое забвение всех нравственных норм, несомненный приоритет Дании долго поддерживал в глазах знатоков ее порнографическое величие. В большей мере этому способствовало кино, где шведы не потянули. Диву даешься, как ловко умеют позлащать грязь датские киношники! В их фильмах много вульгарного блеска, выдумки, находчивости, остроумия, а порой и драматизма, тут снимаются (без раздеваний) лучшие артисты кино, театра, даже оперы. Так, в супернепристойном фильме «Агент 69» одну из главных ролей играет знаменитый датский тенор.

Фильмы, подобные «Агенту 69», — последние отблески датского эротического расцвета. Сексуальная волна спала. То, что еще сохранилось в Копенгагене, служит лишь приманкой для туристов, преимущественно заокеанских, в их представлении Дания остается самым заманчивым эротическим садом бабушки Европы. Я видел их на Истедгаде, за

главным вокзалом — старых, развеселых, очень пестрых, на мужчинах красные штаны, полосатые пиджаки, на рослых, лошадеобразных женщинах — облегающие комбинезоны, яркие шейные платки. Они, посмеиваясь, забегали в секс-лавочки, смотрели за пыльными занавесками кошмарные короткометражки, с тем же добрым смешком перебирали резиновые изделия и что-то приобретали на память, листали пресупно-кошунственный журналчик «Лолита».

Среди этих туристов, являя какую-то мистическую суестьность, толкался крепкий слепой старик в черных очках, держась за подпругу, то бишь за ремень своей жены-лошади. На другой день я встретил этих туристов в Эльсиноре. Они всерьез считали, что трагическая история принца Датского разыгралась во дворце XVII века, главной достопримечательности Эльсинора. Поняв это, весельчак гид стал плести несусветную чушь, утверждая, в частности, что тень отца Гамлета до сих пор бродит по источающим тлен и сырость залам. Я видел, как раздувались поздри слепого старика, в этих воньких покоях он получал неизмеримо больше впечатлений, нежели на Истедгаде. Гамлет же присутствует в Эльсиноре лишь в виде большого приморского ресторана с очень высокими ценами, посящего его имя.

Датчане крайне холодно относятся и к Гамлету, и к Эльсинору. Их раздражает, что страну прославил случайный и ничем не примечательный эльсинорец Амлет, чье имя, переврав, Шекспир извлек из средневековых хроник и наградил бессмертием.

Еще одно средоточие ночной жизни Копенгагена — Ньюхавн, неподалеку от моего отеля «Викинг». Здесь развлекаются преимущественно моряки и самые отчаянные прожигатели жизни, так, во всяком случае, считает большинство коренных копенгагенцев. Но я подозревал, что за таинственно закрытыми с вечера дверьми, расписанными широкобедрыми русалками, скелетами, кинжалами и масками — мая-

щими атрибутами опасности, за дверьми, отрыгивающими в мгновешнем распахе оглушительно шумную музыку из полутемных, подсвеченных красным педр, ничего не происходит. Днем там скучно торговали сигаретами, пивом и аперитивами, а некоторый аромат романтической морской жизни исходил от расположенных в полуподвальных этажах татуировочных заведений. Не раз можно было наблюдать, как полуголый дядя в клешах терпеливо подставлял живот и грудь для наведения на смуглую кожу нагих дев, пронзенных сердец, якорей и трогательных надписей.

Однажды, возвращаясь в отель около полуночи после долгого, утомительного рабочего дня, одуревший от бесконечного пережевывания политической ситуации той давней поры, когда Нексе разочаровался в социал-демократах, я возжаждал острых ощущений. Старый-престарый мотив неповских времен всплыл из глубины памяти:

Однажды пский барон
Зашел случайно в притон,
Увидел крошку Джанель,
Всю, извиваясь, как змей.

Неужели Новая гавань настолько выдохлась, что там не осталось хоть отзвука былых оргий, поцелуев, лязга матросских ножей? Забытое танго изнывало в моей душе, подгоняя к закрытым дверям.

Я выбрал самую зловещую дверь, на ней была намалевана голова саблезубого вампира с окровавленным ртом. Полутьма, табачный и каминный дым, оглушительная музыка на миг ввели меня в заблуждение. Мне почудилось, что тут и впрямь что-то есть. Сейчас из сизых клубов ко мне кинется крошка Джанель, вся извиваясь, как змей. Я вспомнил, что — «Матрос был дико ревнив...».

Будь что будет! Моя лихая молодость вспыхнула во мне. Но никто не кипулся навстречу. Ни малейших признаков

крошки Джанель не было в пустом, прогоравшем кабачке. А матрос? Он одиноко сидел за столиком над рюмкой зеленого ликера и бутылкой пива — толстый, белобрысый, с баками-колбасками на красной добродушной физиономии. Обрадованный появлением живой души в безнадежной пустоте, он окликнул меня и пригласил за свой столик. Я подсел к нему, он не дал мне сделать заказ.

— Я из Ирландии, — сказал он с таким видом, будто это доказывало его право поставить угощение.

— А я из Москвы! — с некоторой запальчивостью возразил я.

Он привстал и пожал мне руку.

— Я из Ирландии, — мягко, но с намекающей настойчивостью повторил он.

Я давно не видел газет и не знал, что происходит в Ирландии, к тому же матрос не сказал, какую из двух Ирландий он представляет. Надо думать — главную, где Дублин. Воспользовавшись моим замешательством, он успел сделать заказ сонному грустному официанту. Через минуту перед каждым из нас стояло по бутылке пива «Туборг», высокому стакану и рюмке зеленого ликера. Наклонив стакан, я наполнил его светлым пенящимся пивом, и мне запахло не пивной горечью, а сладковатым ароматом Тропической Африки.

— Я из Ирландии, — сказал матрос, коснувшись моей руки.

— С чем тебя и поздравляю, друг!.. — А в памяти было зеленое повывбитое копытами поле для игры в конное поло и рослый, красновато-загорелый, рыжеволосый человек, подошедший к нам, ведя в поводу небольшую гнедую кобылку. Матч только что закончился, и человек, игравший за команду дикорпуса, забил решающий гол. Он смахивал пот со лба, раскланивался со знакомыми, белозубо улыбался, принимая поздравления. Высокая яркая блондинка протянула ему жестянку с пивом. Он дернул колечко и опрокинул банку над жадно открытым ртом.

— Только ради этого и стоит изнурять себя игрой, — сказал он, напившись. — В такие минуты я души не чаю в своем тесте.

Это был датский посол в Нигерии, зять пивного короля Туборга. В Копенгагене знаменитая марка «Туборг» лезет вам в глаза со всех сторон: с рекламных стендов, с экрана телевизора и кино, с кузовов громадных грузовиков, без устали перевозящих ящики с полными и пустыми бутылками, возле каждого магазина, ресторана, бара, ларька висят штабеля этих ящиков; пиво пьют всюду, всегда, в любое время дня и ночи: в учреждениях, институтах, универсальных магазинах, кино, издательствах, редакциях газет, на паромах и пароходах, в потреблении пива датчане оставили позади таких исконых пивохлебов, как чехи и немцы.

Фирма «Туборг» — это государство в государстве. В отелях дают карты города, где красной полосой вычерчен путь из центра к заводу «Туборг»: от площади Ратуши по бульвару Андерсена на прямую, длинную Остерброгаде, переходящую в Страндвейн, упирающуюся в красный дворец под королевской короной: Туборг — поставщик двора. Дальше пути нет, как бы говорит карта. На самом деле шоссе проходит мимо предприятия, где возле заводууправления висит гигантская, с небоскреб, пивная бутылка. Порой кажется, что вся Дания лишь привесок к империи «Туборг». Мне попадались карты, где слово «Туборг» написано более крупным и жирным шрифтом, чем слово «Копенгаген». И все же в Дании пивное двоевластие: удачливый Карлсберг поднялся почти вровень с великим Туборгом. Кроме того, в разных городах варят свое пиво. Дания — страна пивная и молочная; «европейской маслостройкой» называют город Ганса Христиана Андерсена — Оденсе. Красные датские коровы щедры на прекрасное жирное молоко. В стране совсем нет рек, только фиорды, каналы, озера, пруды. Здесь текут символические молочные и пивные реки. Но я не люблю ни молока, ни пива и сейчас

впервые по приезде отведал напиток, так хорошо освежившего после бешеной скачки моего ирландского знакомого. Кстати, я слышал, что старый Туборг умер и теперь на троне королевства Туборг, как и на троне Датского королевства, сидит женщина, та самая яркая блондинка. А муж ее, бывший дипломат, стал принцем-консортом.

— Я из Ирландии! — капризно сказал матрос.

Я вспомнил о Гомруле, борьбе за освобождение, Джойсе, Шоне О'Кейси и Питере О'Туле.

— Да здравствует Ирландия!

Мы чокнулись, рука матроса дрожала, слезы налили уголки бледно-голубых глаз. Да, выродилась матросская удадь. Уверен, что никакая крошка Джанель не расшевелит этого телка, вспоенного пивом. Надо сматываться, тут ничего не будет, потому что не будет никогда, если перефразировать чеховского «ученого соседа».

— Я из Ирландии, — напомнил матрос.

Мне захотелось дать ему в ухо. Но повода не было.

— Будь здоров, друг, — сказал я. — Клапайся своей Ирландии.

Он забормотал жалобно, кажется, уговаривал меня посидеть еще. Я был уже в дверях, когда он вскочил, уронив бутылку, и в два прыжка настиг меня.

— Ты из Ирландии? — спросил я в упор.

Он растерялся, отступил, заморгал пшеничными ресницами.

— Да... Откуда ты знаешь?

— Догадался!

И я вышел на прохладную пустынную набережную.

Кончился ночной Нью-хави. Изжил себя ночной Копенгаген. Но стоит ли об этом жалеть? Дурные чары рассеялись, врожденное здоровье нации победило. Один датский социолог сказал мне, что в «сексуальной революции» был свой положительный смысл. Она уничтожила иные «табу», способ-

ствовавшие возникновению у подростков дурных комплексов. Так ли это — судить не берусь. Ученого социолога я вскоре потерял, а рядовые датчане крайне неохотно говорят на подобные темы, лишь замечают с лукаво-сочувственным видом, что их соседям шведам сексуальная свобода отнюдь не прибавила пыла...

Но довольно об этом. Датчан сейчас интересует не секс, а политика. Слишком много проблем поставила жизнь перед маленькой страной, и демократическая партия, стоящая у власти со времен бородатого винолюба Стаунинга, не может их разрешить, датское общество лихорадит. Казалось бы, и десяти партий довольно для страны с менее чем пятиллионным населением, а недавно возникла одиннадцатая. Ее появление весьма примечательно.

Подробно я узнал об этой партии в парламенте на короткой лекции, которую читает посетителям в зале заседаний служащий в форменной синей рубашке, похожий на актера Бельмондо. То был на редкость веселый, ироничный, лишенный пиетета к чему бы то ни было человек. Указав с комически значительным видом, кто где сидит — места у депутатов постоянные, он познакомил нас с политической структурой страны, весьма вольно и малопочтительно охарактеризовав платформу каждой партии. «А к какой партии принадлежите вы сами?» — спросил я его. «К партии свежего воздуха!» — ответил он со смехом. «Это что же — двенадцатая партия?» Он снова рассмеялся: «Нет! Но знаете, двенадцатая партия появилась-таки на свет. Это партия пенсионеров. Она участвовала в последних выборах, выставляла своих кандидатов. Эту партию упрекали в неполноценности: у всех, мол, есть свои молодежные организации, у вас нет и быть не может. Но пенсионеры нашли выход и создали молодежную организацию из... дебилов. Партия провалилась на выборах и распалась, а дебилы вновь стали несоюзной молодежью». Самое невероятное, что все это правда.

А вот с одиннадцатой партией шутки плохи. По количеству мандатов (двадцать семь) она занимает второе место вслед за социал-демократами. Называется партия «прогрессивной». Ее позиция, со смехом сказал датский Бельмондо, чуть левее самых правых, чуть правее наименее левых. Но чем больше рассказывал он об этой партии, тем меньше видел я причин для веселости. Главный лозунг партии, привлекающий к ней много приверженцев, прежде всего мелких торговцев: освобождение от налогов, которые действительно тяжелы в Дании, поглощают значительную часть доходов населения. Перспектива эта столь заманчива, а глава партии, юрист Могенс Глиструн, специалист по налоговой системе, так красноречив, что даже людей, не вовсе чуждых интеллектуальной жизни, не отвращает предложенный Глиструном путь: все, что безвыгодно, убыточно, должно быть изъято из жизни датского общества. Невыгодна, оказывается, культура — долой культуру! Если даже Королевский театр — гордость нации — убыточен, закрыть Королевский театр! Никаких дотаций на искусство, литературу, к черту музеи, выставки, фестивали, неокупаемые издания! Ликвидировать Министерство культуры. К черту социальные учреждения, если они приносят убытки: ясли, детские дома, бесплатные школы. Немедленно ввести строжайший контроль над дотациями и, разумеется, политическую цензуру, ибо без нее партия «прогресса» не выполнит своих высоких задач. Не правда ли, знакомая песня? Если к этому добавить, что «прогрессистов» отличает зоологическая ненависть к Советскому Союзу и странам социализма, то само собой всплывает иное, крепко настрявшее в ушах поколений название партии: фашистская. С тех же лозунгов начинали нацисты в Германии, чернорубашечники в Италии и опору имели также в мелкобуржуазном слое.

У Глиструпа практика не расходится с теорией: создатель многих липовых акционерных обществ, он скрыл от государ-

ства 60 тысяч крон подоходного налога. Но его приверженцы видят в этом лишь цельность натуры вождя: поделом государству — рассаднику убыточных, никому не нужных институтов, тяжким бременем лежащих на плечи народа. Против Глиструпа начат судебный процесс, самый дорогой в истории Дании. Опытный крючоктвор ловко использует все пробелы в датском законодательстве. Одна ревизия обошлась налогоплательщикам в сумму, на которую можно было бы построить новый Королевский театр. Это вполне в духе Глиструпа, он ратует за экономию и против буржуазной бюрократии, но с появлением его партии в парламенте расход бумаги в главном законодательном органе страны увеличился втрое.

Так чего же резвился парламентский служащий? Дело в том, что многие порядочные датчане не принимают всерьез бредовых устремлений «прогрессивной» партии. Они брезгливо посмеиваются, читая в газетах сообщения об очередных вылазках фашиствующих молодых людей, у которых полиция конфискует ножи, кастеты и даже огнестрельное оружие, чаще всего обрезы боевых винтовок. Опасное благодушие! Когда-то Мартин Андерсен-Нексе говорил: начинают дети и сумасшедшие, а расплачиваются взрослые серьезные люди.

После, сидя с моим соавтором Томми Флогтом в парламентском ресторане, я снова повернул разговор на «прогрессивную» партию. Томми, поэт, кинематографист, член муниципалитета города Хольбека, коммунист, не склонен преуменьшать опасности неонацизма. Он считает, что сейчас в ряде европейских стран повторяется ситуация двадцатых годов, когда люди смеялись над «героями пивных погребков», а к чему это привело?

— Социал-демократы пустили фашизм в Германию, — говорил Томми. — Я вижу вечную слабость социал-демократии перед фашизмом и в истории с Глиstrupом. Он же уголовный преступник, а с ним ничего не могут поделать. Печальный и тревожный симптом...

Но не одно это волнует Томми Флюгта, а с ним и миллионы его сограждан. Количество безработных в Дании перевалило за пятнадцать процентов — это много. И хотя пособие по безработице очень высоко — 95 процентов заработной платы в течение двух лет, затем человек должен двадцать шесть недель отработать, после чего вновь получает право на пособие, — никто в стране не хочет «даровой» жизни. И не в потере пяти процентов дело, а в том, что человек деклассируется, утрачивает личность. Датчане всегда отличались трудолюбием, даже в нищих батраках была своя профессиональная гордость, заставлявшая их вкалывать не за страх, а за совесть. Лишенный работы человек кажется себе неполноценным, он перестает быть главой семьи, авторитетом в глазах детей. Безработица для датчан — это пока еще не пужда, а моральное умирание. К тому же Общий рынок несет непрерывный рост цен, вроде бы соответственно повышается и заработная плата, но как-то незаметно среднему датчанину пришлось отказаться от кофе, заменить масло (и это в «масляной» Дании!) топленным жиром; курильщики запасаются табаком и папиросной бумагой — после предстоящего повышения цен сигареты станут не по карману. Недоступна и хорошая одежда. Квартирная плата съедает треть бюджета.

— Почему же за социал-демократами по-прежнему идет большинство? — спросил я.

— Традиция. Боязнь перемен. Лидеры социал-демократической партии любят повторять: может, мы и не так хороши, но без нас будет куда хуже. На осторожных, недоверчивых датчан это действует завораживающе.

Ведь уровень жизни все еще достаточно высок, в стране порядок — от добра добра не ищут.

...Мартин Андерсен-Нексе говорил о себе, что родился в тени, отбрасываемой храмом Спасителя. Эта высокая, зеленого цвета церковь с уникальной витой паружной лестницей

на колокольне принадлежит двум эпохам: низ — далекой старине, верх — недавнему прошлому. И на памятник Андерсену-Нексе — превосходно выполненный бронзовый бюст, он весь словно в заусенцах, что придает ему колючую, воинственную силу, — тоже ложится тень храма Спасителя, но при ином солнцестоянии. По странному совпадению взгляд бронзового Мартина обращен к той необыкновенной части города, куда устремлены сейчас взгляды многих датчан.

Называется эта часть Христианиа. Впрочем, неверно определять Христианию как часть Копенгагена, вся суть, весь смысл ее существования — в противопоставлении себя столице, в отрицании ее. Это город в городе, со своим особым лицом, своим колоритом, запахом, своим уставом, хотя на поверхности никакого устава нет, да и быть не может. Но он есть, этот неписанный устав, и о нем в своем месте.

Вот краткая история Христиании. Здесь находились заброшенные казармы. Когда-то в самом большом, пяти-шестиэтажном здании стала селиться городская протерь: бродяги, наркоманы, алкоголики, люди без определенных занятий. Но постепенно социальный состав будущей Христиании менялся. Сюда потянулись люди, по преимуществу молодые, которым не нравится буржуазный уклад копенгагенской жизни, не нравится потребительское общество, воинствующее мещанство, люди, не согласные с политикой военных блоков, решением спорных вопросов с позиции силы, люди, разочаровавшиеся в том мире, в котором обречены жить, тоскующие о человеческом тепле и простых добродетелях, но не ведающие или отвергающие пути прямой борьбы. Сюда же потянулись парни и девушки, не поладившие с родителями, не принимающие их веру, идеалы, вкусы, уставшие от разобщенности, отчуждения — неизменных спутников буржуазного образа жизни.

Поначалу копенгагенцы весьма благосклонно отнеслись к заселению пустующих казарм «вредными элементами».

Так их куда удобнее наблюдать и контролировать, в случае же необходимости легко набросить сеть, как на диких голубей в местах привычных кормежек... Отношения усложнились, когда заброшенные казармы из почлежки превратились в ядро странного города, а потом и в город Христианию, где тон задавали не отщепенцы и наркоманы, а вполне здоровые молодые люди, отстаивающие новые формы человеческого общежития.

Многие из новоселов не хотели жить в грязных, пропитанных сладковатой вонью «кэша» казарменных зданиях; они приспособили под жилье бывшую комендатуру, госпиталь, домик командующего, иные притащили сюда автофуры, железнодорожные вагоны и вагончики, в которых живут строительные рабочие, — по окончании строек их распродают за бесценок. А ребята, связанные с ипподромом, поставили в пустующие стойла своих скакунов и рысаков. Появились на улицах и пустырях Христиании коровы, овцы, козы, домашняя птица и огромное количество собак, вскоре создавших свою отдельную от людей коммуны. Открылись лавки, кафе, пивные, даже рестораны — все силами постоянных жителей, возник и рынок близ въездной арки и другой — крытый, по разнообразнейшему ассортименту под стать парижскому «блошиному». Вскоре у Христиании оказался и свой народный театр, несколько музыкальных ансамблей, постоянно действующая художественная выставка. Надо было упорядочить жизнь. Появилось что-то вроде самоуправления, распределяющего жилую площадь, устраивающего на побывку временных обитателей, следящего за санитарным состоянием города, за восстановлением и ремонтом водопровода, канализации.

По-прежнему здесь никого ни к чему не принуждают. Хочешь жить семьей, изолированно, опрятно, чисто — Бог в помощь; хочешь жить табором, спать впокат на грязных полочках или старых газетах — на здоровье! И все же первич-

ный хаос все отчетливой обретает черты разумного человеческого существования. И вот уже в «чистом» Копенгагене заговорила зависть. Как же так, обитателям Христиании жилье ничего не стоит, они не платят палогов, хотя многие прилично зарабатывают и торговлей, и кустарным промыслом, и концертной деятельностью, и другими способами. К завистникам подключились военные, задетые тем, что брошенные казармы приносят кому-то пользу. Да и городские власти взирали на изменившуюся Христианию уже не с прежним благодушием.

Начался поход против Христиании, в который включились многие доброты, газеты, радио, телевидение. Как только не обзывали общину «неохристиан»: рассадник заразы, угроза для детей, клоака посреди столицы, вертеп. Но у Христиании нашлись и защитники, которых очень интересует этот единственный в своем роде социальный эксперимент. Один крупный юрист взялся безвозмездно защищать интересы Христиании в затеянном против нее городскими властями процессе. Видный архитектор стал помогать ребятам в ремонте зданий, водопроводной и канализационной сетей, чтобы покончить с обвинениями в антисанитарии — одном из главных козырей противников Христиании. И хотя в первой инстанции дело проиграно, обитатели Христиании, уповая на социальное лицемерие социал-демократов, твердо надеются отстоять свой город.

Что же такое Христиания? Поселок хиппи? По виду здешние обитатели близки к классическому типу хиппи: длинные, до плеч, салыные волосы у парней и у девушек (у парней иногда косы), джинсовые выгоревшие костюмы, у девушек еще в моде длинные обтяжные юбки, мексиканские пончо и широкополые черные шляпы, цыганско-индейские украшения. Но такой способ одеваться присущ всей западной молодежи, в Христиании он только приметнее, поскольку почти все население молодое. Жизнь в христианском перво-

поселении — старой большой казарме — до сих пор очень похожа на кошмар какого-нибудь Гринич-Виллиджа начала семидесятых годов: никакой мебели, тряпки, газеты, вытертые шкуры на полу, алкоголь, марихуана (кэш), гитары, песни, безделье и беспорядочная любовь. Но прежде всего сильно поредевшее население большой казармы нехарактерно для сегодняшней Христиании, это подонки, отбросы здешнего общества. Остальная молодежь лишь на поверхностный взгляд напоминает хиппи. Ведь хиппи антисоциальны, они говорят «нет» войне, «да» любви и цветам, но по-настоящему любят лишь безделье, свободу от всяких обязательств. Обитатели Христиании придают большое значение досугу, общению, но при этом все они (я исключаю подонков) чем-то заняты: работают, учатся (многие в городе), а главное — их бытие социально заострено.

Они не просто декларируют свое отвращение к войне, насилию, военным блокам, а идут куда дальше. Так, в Христиании было создано... подразделение НАТО. Вымуштрованные офицером на пенсии «солдаты» были облачены в форму НАТО, вооружены по уставу и выпущены в город. Мнимые натовские патрули создавали в Копенгагене нервную, напряженную обстановку. В парке Тиволи подвыпившие «натовцы» приставали к женщинам, затевали драки друг с другом и с прохожими. Словом, вели себя как оккупанты. Военный блок НАТО и без того не пользуется популярностью в Дании, а тут жители столицы буквально зубами скрежетали от справедливого возмущения. Однажды на улицах, дезорганизовав движение, появился «натовский»... танк. Тут только городские власти спохватились...

Музыкальные ансамбли Христиании, выступающие в разных местностях страны, поют политические песни, направленные против Общего рынка, неокOLONиализма, нейтронной бомбы. В дерзких, веселых и жутковатых театральных спектаклях высмеивается мещанство, пошлость

сытой жизни, слепота обывателей. Как видите, это совсем не хиппи!..

Конечно, не следует преувеличивать политическую сознательность, общественную активность и социальный протест Христиании. Тут многое идет от простого эпатажа, от юного вызова «отцам», от неосознанного анархического бунтарства.

Неверно видеть в Христиании альтернативу буржуазному обществу, она порождение этого общества и может существовать лишь внутри его.

В чем же главный пафос обитателей странного городка, где отсутствуют удобства, столь привычные столичным жителям, довольно грязно, много бродячих собак, страшновато освободившихся от власти человека, но с каким-то свирепым добродушием еще терпящих прежних хозяев, всякой тягостной неразберихи? Мне думается, главное, что держит этот мирок, — в общности, чувстве локтя, плеча. Преодолены барьеры разобщенности, отчуждения, достигнуто единение с себе подобными на условиях равенства, доверия, душевной открытости. А этого больше всего недостает западной молодежи. Иные женатые люди, перебравшись в Христианию, расстаются без размолвки и взаимных претензий, просто хочется быть со всеми, а не с ней, не с ним. Это вовсе не значит, что тут отвергают брак или семью, ни в малейшей мере. Основной принцип здешней жизни: не навязывать ничего другим, люди и так устали от наставлений, требований, предписаний, ограничений, вопиющего морализирования старших и власть имущих. Живите как хотите, только не ущемляйте прав окружающих.

Мне лично в Христиании увиделась извечная ребячья мечта пожить без взрослых, что-то трогательное и жалкое. Так и слышишь юный ломкий голос: «Оставьте нас в покое!»

Можно встретить и другие воплощения идеи Христиании, ибо Христиания — это, конечно же, идея, а не местожи-

тельства. У моего соавтора Томми Флюгта есть молодые друзья, с которыми я виделся в его домике под Холбеком. Это несколько семей, решивших жить вместе — коммуной. Люди музыкальные, они создали ансамбль политической песни и ездят по стране в автофургоне, размалеванном под цирковую повозку. Живут они в загородном доме, приобретенном и обставленном на общие деньги, сообща ведут хозяйство, воспитывают детей. Такая форма общежития очень популярна у датской молодежи. Хочется, ох как хочется молодым разорвать тень одиночества, той противостоящей миру обособленности, которой, не жалея сил, добивались их деды и отцы. Сладко слышать рядом с собой дыхание друзей и знать, что не одна лишь бедная ячейка семьи защищает тебя в этом холодном и враждебном мире, а нечто куда более прочное и способное к сопротивлению.

Перед Данией, как и перед каждой страной, стоят свои сложные, требующие большого напряжения сил проблемы. Но конечно же, одними лишь трудными заботами не исчерпывается образ страны. Очарование Дании, пленяющее душу с первыми сказками Андерсена, в ее неунывающих, работающих, склоных к доброй шутке людях, в ее чудесных ландшафтах с зелеными долинами, помеченными островерхими кирхами и темными старыми ветряками, с невысокими холмами, поросшими буками, каштанами, кленами, березами, соснами и ежевикой в чернильной сладости переспелых крупных ягод, с фиордами, озерами и каналами, где парами плавают лебеди, а по воскресным дням раздуваются цветные наурса яхт, с теплым дыханием Гольфстрима, так чудесно смягчающим климат этой обращенной к северу страны.

Но датская погода умеет и крепко злиться. Мне не забыть, как однажды под вечер легкий осенний ветерок вдруг напрягся, посвежел, загудел, запыл и обернулся бурей. Тихое озеро, на берегу которого стоял мой маленький Страндпаркотель, заходило бурунами, клочья пены, сдуваемые с волн, полете-

ли в окна верблужьими плевками, а потом стекла задребезжали от сухих веток и сучков, обрываемых ветром с буков и кленов. Я вышел из гостиницы. Ветер растерзал облака, они повисли черными шапками в белостеклянном небе, казалось, то кроны деревьев, отъятые от стволов и взметенные ввысь. Запад тяжело завалило иссиня-черными облаками, щель заката была багрова и страшна, как будто там зарезали солнце. Припускал дождь, но, гонимый ветром, не достигал земли и тратился на крышу и листву деревьев. Казалось, это навсегда, нет такой силы, которая могла бы унять разбушевавшуюся стихию. Но наутро вновь светило солнце, в синем глубоком небе ни облачка, по зеркалу воды, не тревожа ее, не плыли даже, а плавно влеклись лебеди, и только зеленые ежи каштанов и сучья, усеявшие аллеи, напоминали о вчерашнем буйстве.

Я как-то лучше почувствовал Данию, которая умеет не только улыбаться, но и грозно хмуриться. Терпеливый и мужественный датский характер воспитан бурями, непостоянством морской стихии...

Говорят, в Исландии чуть ли не каждый четвертый поэт. У меня создалось впечатление, что в Дании чуть ли не каждый четвертый художник. Быть может, это объясняется тем, что провел я большую часть времени в живописнейшей части Зеландии, издавна облюбованной художниками, где обитали герои Андерсена-Нексе. Странствуя по земле Дитте, я то и дело наткнулся на усадьбы и мастерские художников.

Въезд на участок восьмидесятилетнего абстракциониста Карла Бейера охраняли два фантастических дерева с короткими стеклянными сучьями. Приглядевшись, я обнаружил, что на обрубленные сучья насажены всевозможные бутылки: из-под пива, водки, вина, бренди, виски, джина. Если хозяин участвовал в осушении всех этих сосудов, можно только подивиться его выносливости и долголетию. Он вышел нам навстречу — крепкий плечистый старик с красноватым,

добродушно-насмешливым лицом, от него приятно пахло кюммелем, стало быть, стеклянные деревья будут и впредь произрастать в его сказочном саду, приютившем среди буков и сосен троллей, русалок, медведей, белок, райских птичек и огромного филина с глазами, как плошки. Хотя мы заявились не вовремя — художник принимал знакомую даму, — он не отказался показать мастерскую, битком набитую новыми работами. Его мастеровитая и уверенная живопись показалась мне несколько сухой и однообразной, возможно, я вообще не воспринимаю подобного искусства; куда больше приглянулась мне деревянная скульптура.

А вот сосед Карла Бейера, пятидесятилетний Фабер, реалист чистой воды. Он влюблен в Зеландию и, похоже, задался целью перенести ее на полотно всю, до последнего валуна и березки с сероватым стволом. Ни разница в возрасте, ни исповедание разных художественных вер не препятствуют художникам-соседям любить и ценить друг друга. Подобная терпимость, воспитание души, ничуть не мешающая твердости пристрастий, верности избранному пути, — одна из самых привлекательных черт датчан.

В современном изобразительном искусстве Дании строгий реализм соседствует со «странным» реализмом, абстракционизм — с сюрреализмом; любопытно освоение африканских (танзанийских) форм у Георга Бро, претворение кошмарных видений Иеронима Босха в очень современной графике Томаса Арнея, сумел избежать ловушек Сальвадора Дали и Макса Эрнста талантливый фантазер Мортенсон...

Не могу расстаться с Данией, не сказав хоть несколько слов о писателе, поэте, публицисте Карле Шарнберге, кумире прогрессивной молодежи. У нас его знают лишь по двум рассказам, опубликованным в сборнике «Датская повелла»: «Бабушка» и «Малыш»; в первом писатель прощается со старой труженицей, во втором приветствует приближающуюся новую жизнь. Но не рассказами и даже не широко известными

ми романами «Пожар», «Всяк кузнец своего счастья» обязан Шарнберг своей пынешней популярности, а маленьким, коротким и броским, как лозунг, стихотворениям, которыми он откликается на животрепещущие события в жизни своей страны и всего мира. Ведь сейчас почти не бывает так, чтобы случившееся в одной точке земного шара не отозвалось немедленно в других, самых отдаленных. Дымят трубы в Лондоне, а гибнет рыба в норвежских озерах, колокола по убитому где-нибудь на Гудзоне проповеднику разносятся над всеми континентами. Чеканные по форме, сочетающие аттическую соль с горячим гражданским чувством и силой боевого призыва, эти маленькие стихи, едва появившись, тут же оказываются у всех на устах. Карл Шарнберг вечно в дороге, в общении с живой аудиторией, он не считает себя профессиональным писателем и отрешивается, как черт от ладана, от литературных разговоров. «Литература сама по себе меня мало интересует, я ею не занимаюсь и плохо знаю» — с этого его не сдвинешь. Но как ни крути, а литература дала агитатору и борцу за мир самое сильное оружие. Не будь его стихи так отточенны, так стилистически совершенны, так изящны, не владеть бы ему людскими душами.

Такие люди, как Шарнберг, служат лучшим доказательством духовного здоровья нации. Принц Гамлет утверждал в разговоре с изменившими ему друзьями виттенбергской студенческой юности Розенкрацем и Гильденстерном, что весь мир тюрьма, «причем Дания одна из худших». Если бы он взглянул из своего далека на сегодняшнюю Данию, то, несомненно, взял бы назад последние слова.

Летающие тарелочки

Из путевого дневника

I



не хочется написать этот очерк так же непринужденно, как я гулял по Америке. Стоп! Непринужденность эта была весьма иллюзорна. Конечно, не потому, что я чувствовал за собой некий присматривающий глаз, не потому, что, дыша мне в затылок кукурузным виски, хватал меня за рукав полицейский... Аи раз и случилось такое. Летел я из Роли — столицы штата Северная Каролина в Остин (штат Техас) с пересадкой в Далласе, где совершилось убийство века, и заблудился в громадном Далласском аэропорту. Мне надо было перейти с линии ТВА на линию «Юнайтед», тогда еще не базовавшую. Увидел я человека в форме, показавшегося мне аэродромным служащим: синие брюки, серая рубашка, фуражка, в руках радиопередатчик. Морщась красным загорелым лицом, вслушивался он в мой невразумительный лепет (произношение у меня хуже нету — английское), глянул в билет, молча и цепко схватил за рукав и куда-то поволок. Мы промчались длинным коридором мимо ресторанов, кафе, баров, закусовых с гамбургерами и «горячими собаками», мимо туалетов, именуемых «комнатами отдыха», потом через зал ожидания с магазинами сувениров и газетно-журнальными киосками, спустились по эскалатору, пробежали тоннелем и очу-

тились на улице, где стояла полицейская машина с мигалкой на крыше, сейчас, разумеется, выключенной. Полицейский — наконец-то я разглядел его форму — толкнул меня в машину, захлопнул дверь, издавшую какой-то убедительно-безнадежный звук, и сел за руль. Машина тронулась, сразу отвернув от аэровокзала. Я крепко приуныл. У меня было не все в порядке с американской визой, что выяснилось по прибытии в США в аэропорту Кеннеди, где я проходил паспортный контроль, перед тем как лететь дальше, в Детройт.

В этом центре автомобильной империи Форда меня ждали профессора Мичиганского штатского университета, чтобы отвезти на машине в свою епархию — Ист-Лансинг. Затевая мою грандиозную двухмесячную поездку в обход госдепартамента, они по неведению пренебрегли какими-то формальностями, отчего выдавшая посольством США виза оказалась действительной лишь на месяц. Гостеприимные хозяева заверили меня, что визу без труда продлят и нечего беспокоиться. Я и не беспокоился вплоть до сегодняшнего дня, когда полицейский толкнул меня в машину и повез, по всей видимости, в участок. Как раз сегодня, на половине путешествия, отмеченной тем, что я расстался с автобусами и пересел на самолет, истек срок посольской визы.

Скрылось вдали темное, мрачно-красивое здание аэровокзала, я подумал, что Далласу к лицу траурный цвет — в память о запятнавшем его преступлении. Мелькнули зеленые квадраты газонов меж взлетными и посадочными полосами, багажные помещения и ангары крупнейших компаний — ТВА, «Юнайтед», «Америкен», «Вестерн», и выплыло из утреннего туманца другое здание аэровокзала, тоже траурного цвета. Машина на крутом, резко-ловком повороте, как в детективных фильмах, подрулила к входу. Полицейский выскочил и распахнул дверцу.

Оказалось, что громадный аэропорт Далласа, уступающий разве лишь Чикаго, состоит из нескольких отдельных

аэровокзалов, находящихся друг от друга на солидном расстоянии и связанных местным аэродромным метро. Из любви к чужеземцу полицейский не стал мучить меня сложностью подземных переездов и доставил к аэровокзалу на своей машине.

Вернусь к тому, с чего начал: к иллюзорности моей не-принужденности. Программа была жесткая, нарушь ее хоть в одном звене, и рвется вся цепь из двадцати четырех университетов. Все было рассчитано по дням, по часам: когда прибываю, когда читаю лекции, провожу семинары, встречаюсь с профессорами и студентами в неофициальной обстановке, как уезжаю. Билеты и на автобусы, и на самолеты были взяты заранее. Мои мичиганские хозяева вели меня по сложнейшему, запутаннейшему маршруту, как космический корабль, — в бесконечном отдалении чувствовал я их надежную руку. На конечных остановках автобусов, а потом в аэропортах меня встречал с машиной представитель очередного университета, чаще всего профессор русской литературы, иногда чейрмен отделения, вроде бы профессор-распорядитель. При отлете провожающие сдавали меня аэродромному служащему, а тот отводил сперва в регистратуру, затем к положенным «воротам», как называют в Америке выход на посадку.

Меня усаживали в самолет раньше остальной массы пассажиров, в небольшой группе инвалидов, эпилептиков, слепцов, дряхлых, обезноженных стариков в кресле на колесах, а также «немцев» — не владеющих английским языком. Я владею английским, вернее, мне так казалось до этой поездки. А тут обнаружилось, что я знаю какой-то другой язык, по-своему красивый и звучный, но малопонятный туземцам, особенно простым людям (и самым нужным): кассирам, стюардессам, шоферам такси и автобуса, продавцам, официантам, коридорным. Куда лучше понимали меня гостиничные администраторы, привыкшие к тому, что иностранные тури-

ты, каждый на свой лад, ломают язык, и сметливые интеллигенты с богатым ассоциативным миром. Надо сказать, что и я, в свою очередь, понимал их неплохо. Вообще же в живой речи аборигенов было слишком много произношения, слова топули в каком-то волнующе-горловом клёкоте. Здешний английский был непонятен, как голубиное воркование, и, спрятав самолюбие в карман, я охотно вступил в братство неполноценных. Правда, под конец поездки мне это надоело: я по-прежнему не различал отдельных слов, но то ли научился по артикуляции понимать их смысл, то ли изучил все не слишком многообразные варианты аэродромных разговоров и безошибочно догадывался о сути — и потому смог покинуть инвалидную команду, смешаться с нормальными пассажирами.

Четкое перемещение в огромном американском пространстве подверглось серьезной угрозе, когда забастовали служащие крупнейшей в стране компании «Юнайтед». На других авиалиниях воцарился хаос. Не хватало мест, пассажиры застревали на пересадках без всякой гарантии вылететь не только в ближайшие часы, но и в ближайшие дни. Те, кому было не слишком далеко, кидались на автобусы, но «Грейхаунд» и «Трайлэйс» тоже вскоре затрещали под этим напором, и в аэропортах начались тяжелые сцены с рыданиями, криками, истерическими припадками. Оказалось, что образцовый американский порядок крайне хрупок. Правда, через неделю-другую все относительно наладилось — компании организовали дополнительные рейсы, но все же напряжение не было снято, и я всякий раз сомневался, удастся ли мне попасть на самолет.

Маршрут у меня был дьявольски сложный: из Лансинга я отправился в небольшой университетский городок Оберлин (штат Огайо), откуда вернулся в Лансинг; самолетом с двумя пересадками добрался до Итаки (штат Нью-Йорк), в знаменитый Корнельский университет; из Итаки автобусом

через Нью-Йорк в Вашингтон, оттуда назад в Нью-Йорк, в Колумбийский университет — один из большой четверки, оттуда... Но стоп! Не буду утомлять читателя перечислением всех мест, где я был. Мне проще сказать, где я не был: в Бостоне, Филадельфии, Нью-Орлеане, Сан-Франциско. Первые два — это культурные центры; Нью-Орлеан, где зародился американский джаз, обладает, по общему мнению, особым южным очарованием, а Сан-Франциско — красивейший из американских городов. Во всех остальных стоящих городах, хоть проездом, хоть пролетом, я побывал. Страна показалась мне широко: заводами, рудниками, нефтяными вышками, фермами, полями, прериями, где пасутся стада, красной пустыней и Большим каньоном, великими озерами и великими реками, горами и лесами, я был там, где строят «Боинги», где играют в рулетку и где убивают президентов.

Если вычертить мой маршрут по карте, получится нечто весьма причудливое, наводящее на мысль о паранойе. От Тусона (штат Аризона) рукой подать до Калифорнии, я же отправился на берег Соленого озера, к мормонам, а в Лос-Анджелес летел потом через всю страну; возле города Колумбуса (штат Огайо) я оказался в самом начале путешествия, а попал туда под конец: в южный Нашвилл (штат Теннесси) я катил из Вильямспорта (Пенсильвания) через северный Кливленд и т.д.

На то были свои причины: Калифорния и Сиэтл возникли по ходу путешествия, в других случаях вмешивался текущий график студенческих капикул. Как ни скрупулезно был составлен маршрут, одна осечка все же произошла. В Вашингтоне меня принимали профессора университета имени Джорджа Вашингтона, но они оказались генералами без армии, и единственное занятие я провел со студентами Джорджтаунского университета, не успевшими, себе на горе, разъехаться на капикулы.

Но следует объяснить, как я вообще очутился в США. Ежегодно в Московский университет из США приезжает большая группа профессоров-русистов для повышения квалификации. В прошлом году с такой вот группой приехала Эллен Кохран, профессор Мичиганского университета, совсем молодой доктор философии. В США все доктора гуманитарных наук имеют звание «д.ф.» — доктора философии. В Европе, кажется, то же самое. Диссертацию Э. Кохран защитила по моим рассказам. В связи с изданием части работ, включающей обширную библиографию, ей понадобился целый ряд справок и уточнений. Мы встретились, и между нами возникло то, чего так часто не хватает людям, — доверие. По возвращении в Ист-Лансинг Э. Кохран подала своему научному шефу, профессору и главному редактору журнала «Русский язык» д-ру Муниру Сендичу идею пригласить меня с лекциями. Идея привлекла Сендича, человека горячего, заинтересованного, влюбленного в русский язык и литературу и не боящегося жизненных сложностей. А сложностей было немало, и первая — отсутствие денег. Да, американские университеты материально стеснены. Это объясняется в основном системой распределения средств. Деньги распределяют загодя, и когда возникает даже малая непредвиденная трата, она сплошь да рядом оказывается университету не по плечу. К тому же распоряжаются деньгами попечители, имеющие весьма отдаленное представление о науке и образовании, они просто несведущи в тех вопросах, которые призваны решать. И случается, что у одних отделений нет средств пригласить... Эйнштейна, а у других деньги пропадают, и они мучительно придумывают, на что бы их потратить, чтобы сохранить в смете на будущий год.

Громадный Мичиганский университет не мог в одиночку поднять моей поездки. Нельзя же звать человека из Москвы на берег Мичигана ради одной-двух лекций, а на курс не было средств. И Мунир Сендич придумал такой ход: пригласить

свить меня как бы в складчину. Он связался с коллегами. Двадцать университетов откликнулись на его предложение. Когда я приехал, их число увеличилось до двадцати четырех. Темы лекций: советский рассказ, экранизация литературных произведений. Последнее связано с фильмом «Дерсу Узала», который минувшей весной совершил третий круг по американскому экрану. Тематика семинарских занятий оказалась куда шире: связь советского рассказа с русской классической традицией, взаимовлияние русской и западной новеллистики, Иван Бунин, Андрей Платонов, сибирская тема в современной литературе, стиль и ритм в прозе, язык Тургенева, русские символисты, инсценировки и экранизации Достоевского, новые силы советской литературы, работа с Курсовой над фильмом «Дерсу Узала», собственное рассказовое творчество. Вот так я очутился в Америке.

Прежде чем продолжить свой рассказ, должен сделать одну существенную оговорку. Я пишу лишь о том, что сам видел, с чем соприкасался. Я не имел дела ни с американским правительством, ни с политиками, ни с заправилами монополий, и тут мне нечего добавить к тому, что со знанием дела пишут наши американисты на страницах газет и журналов. Но полагаю, что этого от меня никто и не ждет. Мои возможности и цели в другом. Поделиться впечатлениями о повседневной жизни страны, о ее простых, печивных, невлиятельных людях. Как бы ни складывались отношения между нашими странами, мы всегда делаем различие между великим американским народом и его отнюдь не великими правителями. Народу этому приходится сейчас решать нелегкие задачи, но он не дает заморочить себя идеологам господствующих классов, в чьих руках все средства массового оглушения. По роду своей поездки я лучше всего узнал университетскую публику: студентов, аспирантов, профессоров, но приходилось мне общаться и с людьми, непричастными к высшему образованию, о них тоже пойдет речь в этих записках.

Студенты в США делятся на две основные группы: на тех, кто бегает, и на тех, кто кидает. Кидают разные предметы, по большей части — тарелочки. Это не игра, счета тут не ведется. Наипопулярнейшая забава американских студентов возникла из ажиотажа вокруг таинственных летающих тарелочек. Как известно, их «видели» чаще всего в Америке. Некий смекалистый делец ловко сыграл на пристрастии своих соотечественников к посланцам иных миров. Он изготовил пластмассовую тарелочку, которая, пущенная определенным способом, может пролететь значительное расстояние, издавая легкое шуршание и красиво посверкивая гладкими плоскостями. Вы кинули, партнер поймал и отправил назад. Начинающие любители стоят довольно близко один к другому, затем расстояние все увеличивается, броски становятся все смелее и точнее, траектория полета все изящнее. В погожий день воздух над кампусами, студенческими городками, полон трепещущих, светлых, отражающих солнце, поющих дисков. Изобретатель «тарелочек» заработал не меньше, чем создатель гамбургеров, впрочем, не убежден, что Макдоналд, покрывший всю страну своими закусочными, действительно придумал мини-обед в продольно разрезанном круглом хлебце.

Американцы крайне впечатлительны и отзывчивы на все новое, будь то летающие тарелочки или... русский язык. И в том и в другом случае сработал жадный интерес к космическому пространству. Когда-то русские отделения можно было по пальцам пересчитать, теперь трудно найти уважающий себя университет, где бы не изучали русский язык. И пришло повальное увлечение русским после запуска первого спутника. Полет Гагарина довел это увлечение до высшей точки. Молодежи захотелось знать язык нации, настолько обогнавшей Америку в самой современной области знания.

На поспешно создаваемые русские отделения студенты повалили валом. Потом число «русистов» несколько сократилось. И все-таки русский язык и русскую литературу не только изучают, но нередко выбирают как специальность, прекрасно отдавая себе отчет в малой перспективности подобного выбора: поскольку в США почти нет школ, где бы русский входил в программу, учителя русского языка не очень нужны. В университетах, посольстве, консульствах, торговом представительстве, фирмах, связанных с Советским Союзом, все места прочно заняты, переводческой работы ничтожно мало. И диву даешься, что при таких неблагоприятных обстоятельствах столько народу занимается по аспирантской программе, то есть связывает с русским языком свое будущее. Молодежь верит, что диалог между великими странами необходим, что он не может прекратиться, а будет расти и расти. И огромен соблазн русской литературы, в первую голову Достоевского и Толстого, хочется читать их в подлиннике. С популярностью Достоевского в США не сравнится ни один американский классик.

Впрочем, попасть в классики у молодых американских читателей — незавидное дело. Я не раз слышал не только о Фемиморе Купере, Марке Твене, Брет Гарте или О'Генри, но и о недавно ушедших — Хемингуэе, Фолкнере, Дос Пассосе, Стейнбеке: «Ну, это же классика!» — с весьма кислой интонацией, означающей, что этих литераторов можно изучать, но не читать по доброй воле. А читать надо Томаса Пинчона, автора романа об охотниках на крокодилов в канализационной системе Нью-Йорка, Джона Барта, Бартелма и некоторых других авангардистов, мастера черного юмора Курта Воннегута, а еще — Апдайка, документалистов «новой журналистики»: Трумэна Капоте, Нормана Мейлера, Тома Вулфа, некоторые бестселлеры, не стараясь запомнить имя однодневки-автора; Джозеф Хеллер после блистательной «Уловки 22» испортил себе репутацию романом «Что-то случилось», Стайрон

и Чивер остаются писателями для избранных, Гор Видал никак не составит себе прочной репутации.

Достоевского читают страстно, он участвует в жизни духа сегодняшней Америки. То же относится и ко Льву Толстому, в меньшей степени — к Чехову. Остальные русские писатели — для специалистов.

И тут дело дошло до изощренности. Докторские диссертации посвящают порой писателям даже не второго, а третьего эшелона: я знаю две работы о Вельтмане, по одной о Каролине Павловой, графе Сологубе, велеречивом митрополите Данииле, предшественнике протопопа Аввакума. Это объясняется тем, что от Державина и Фонвизина до Бунина и символистов все давно расхватано. Конечно, о наших классиках выходят и будут выходить все новые труды, но иные соискатели степени «доктора философии», боясь повторений, углубляются в дебри русской словесности.

В последнее время все чаще стали обращаться не только к советским писателям двадцатых — тридцатых годов, но и к литературе военной поры и нынешних дней.

Все же было бы крайним преувеличением сказать, что нашу литературу хорошо знают. В широкой читательской массе царит полное неведение, иное дело — русисты. Трудно, ох трудно оторваться им от Тынянова, Пильняка, Зощенко, Булгакова, Бабея, но жизнь берет свое, и появляются первые серьезные работы, посвященные ныне здравствующим писателям и недавно ушедшим. Приметно растет популярность Андрея Платонова. И хотя «открыт» для Америки он был еще Хемингуэем, пишут о нем с удивленным восторгом, будто впервые услышали. И все же систематических исследований советской литературы почти нет. А те, что есть, оставляют грустное впечатление. Если Эдвард Браун не ставил себе целью дать сколько-нибудь целостное представление о путях развития нашей литературы и свершающихся в ней процессах, просто собрал под одну обложку написанное

в разное время о привлечших его внимание авторах, то его однофамилец, известный профессор Демминг Браун, выпустил в минувшем году толстый том, несомненно, претендующий на чин курса советской литературы. Я просмотрел этот «курс», а большой раздел, посвященный рассказу, прочел целиком. Впечатление такое, что Д. Браун перестал следить за советской литературой где-то в начале шестидесятых годов. Выдающейся рассказчицей он считает писательницу, лишь прикоснувшуюся — очень талантливо — к этому жанру и перешедшую в тяжелый вес романа. А Виктора Астафьева и Георгия Семенова, без которых невозможно представить советскую новеллистику, он даже не упоминает. Студенты, изучающие русский язык, знакомятся с нашей литературой только по рассказам; повести и романы им не по силам. В качестве пособий они пользуются сборниками, выходящими в милые Д. Брауну годы: конец пятидесятых — начало шестидесятых, с тех пор подобные сборники почти не появлялись. Представление студентов о нашей рассказовой литературе вполне адекватно брауновскому. И если они заглянут в толстый труд ученого, то сочтут, что знают советскую малую прозу в лучших образцах.

Браун не наталкивает студентов на новое, более современное и зачастую более талантливое. А ведь книги наших писателей поступают и в студенческие библиотеки, и в студенческие книжные магазины, но американца нужно ткнуть носом, чтобы он чем-то заинтересовался.

То, что мне показывали на кафедрах под видом «курса советской литературы», вызывало порой глубокое недоумение. Однажды, не выдержав, я прямо сказал: «По-моему, это курс не советской, а антисоветской литературы». Старый профессор-славист посмотрел на меня с видом крайнего изумления, огорчения и растерянности: «А что бы вы посоветовали?» Я стал называть авторов, он старательно записывал, но свет узнавания не вспыхивал в его темных опечаленных гла-

зах. Он не был злоумышленником, лишь жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности.

Я не хочу упрекать всех американских славистов в пренебрежении советским периодом русской литературы. Я познакомился со многими учеными, хорошо знающими и тонко чувствующими нашу литературу, но иные профессора живут на редкость устарелыми представлениями, они заснули где-то посреди тридцатых годов, а ныне, очнувшись, оказались неспособными наверстать потерянное. Громкие имена Распутина, Шукшина, Трифонова стучат им в барабанную перепонку, втесняются в память, но целые десятилетия канули в черном провале. Многие профессора читают нашу литературу лишь в переводе, а переводят нас в США удручающе мало, неизмеримо меньше, нежели американских писателей в Советском Союзе. На это обстоятельство ссылаются с грустным вздохом неповоротливые любители российской словесности, а ведь к услугам тех, кто хочет знать нашу литературу, есть отличный журнал «Soviet literature», который получают университетские библиотеки. Но нет этого журнала на руках ни у профессоров, ни у студентов. Поистине удивительно в американцах противоречивое сочетание живого любопытства с отсутствием истинной заинтересованности, требующей для своего утоления некоторых душевных затрат, тем паче легкого насилия над собой. Что там ни говори, а назойливая, не знающая ни сна, ни усталости реклама развращает. Люди привыкли, чтобы им все навязывали: вещи, еду, развлечения, книги, идеи, — зачем искать самим, когда все должно быть подано на блюде.

Узнать что-либо сразу, даже вовсе ненужное, американец всегда готов, он любопытен, как ребенок. Мало обремененный бытовыми тяготами, он открыт всем впечатлениям мира. Нельзя заговорить в общественном месте по-русски, чтобы тут же не последовало взволнованное: это вы по-каковски? В аудиториях студенты засыпали меня вопросами,

по два с лишним часа не отпускали с кафедры, но то была любознательность без продолжения. Я уверен, что в лучшем случае лишь единицы воспользовались моими советами достать тот или иной журнал, прочесть ту или иную книгу. На это нужно время, а интерес пригасал, едва мы выходили из аудитории. Ну что ж, Господь даже ради одного праведника готов был пощадить вертеп. Прямо диву даешься, как легко повышенная реактивность уживается с душевной и умственной ленью. Но главное — это нежелание хоть чуть-чуть принудить себя: к усилию, терпению, той скуке, что нередко предшествует открытию новых миров.

Столь раздражающая нас американская реклама исходит из ясного представления о толстой шкуре потребителей жизненных благ, включая массовую культуру. Надо очень долго, настойчиво и бесцеремонно лезть в глаза, уши, мозг американцев, чтобы пробудить в них действенный интерес, желание взять. Они спокойно идут на поводу собственных легкоутомимых и необременительных желаний, преимущественно физиологического свойства. Маловато духовности. Куда больше спорта, некрепкого пива «Мюллер», сигарет с дурманцем, зрелищных фильмов, легкого чтива, быстрых, неволнующих, но приятных отношений. Нужна была очень серьезная встряска — вьетнамская война, — чтобы общество и самая отзывчивая его часть — молодежь — обрели способность громкого, сильного слова и активного действия.

Но есть и еще одно, что, на мой взгляд, мешает американскому студенту проявлять любознательность, стараться расширить и углубить свое знание изучаемого предмета, — сама система образования. Американцы шутят: у нас есть высшее образование, но нет системы. Остроумно, но едва ли верно. Отсутствие системы — это тоже своего рода система, здесь же система положительно есть. Прямо противоположная нашей, стремящейся дать студенту общее и по мере сил полное представление о предмете. Американский студент сам выбирает,

чем ему заниматься. Я говорю не об аспирантских программах, дающих специальность, а лишь о четырехгодичной студенческой программе. Он может взять на первом году обучения такие курсы: начертательная геометрия, утопические взгляды Фомы Кампанеллы, творчество Ле-Корбюзье и сербохорватский язык; а следующий год — хромосомную теорию, житие другого Фомы — Аквинского, женские образы в русской литературе, лишь иностранный язык останется тем же. Я не шучу и не утрирую, а называю реальные курсы. Бывает и похлестче. В Ирвайне (филиал Калифорнийского университета) читается курс о Гурджиеве, сомнительном и справедливо забытом философе двадцатых — тридцатых годов. Студент не будет иметь представления о движении русской философской мысли, если ему неведомы останутся имена Чаадаева, Чернышевского, Соловьева, но зато в отношении Гурджиева для него не окажется никаких тайн. Когда я выражал привычное американцам удивление этой все-таки системой образования, то слышал в ответ от ироничного — с намеком на дороговизну университетского обучения: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку» — до серьезного, убежденного: «Это развивает способность к самостоятельному мышлению». Но почему более полное, охватное, фундаментальное представление о научной дисциплине препятствует живости мысли? Если студент слушает курс по русской философии, он может заинтересоваться тем или иным течением философской мысли, той или иной фигурой мыслителя, начать искать соответствующую литературу, но, «загнанный» в Гурджиева, он просто не знает иных течений, иных имен.

Известный профессор русской литературы, председатель общества Достоевского в США Роберт Белнап говорил мне, что в серьезных университетах, в частности Колумбийском, где он сам преподает, начинают отказываться от системы бессистемности в пользу общих курсов. Это не так просто. В Америке не только профессора ставят отметки студентам, но

и студенты профессорам: за знания, за живость изложения, за поведение на лекциях и т.д. И провалиться профессору куда страшнее, чем его ученику...

Я вовсе не склонен преувеличивать бездуховность американской молодежи. Люди всегда разные, и среди молодых американцев немало интеллектуалов, приверженцев идеи и веры, служителей духа.

Конечно, все сказанное касается молодежи из обеспеченных слоев населения и не имеет никакого отношения, скажем, к молодым безработным неграм или пуэрториканцам, которым не до жиру, быть бы живу. Я уже говорил, что по роду своей поездки имел дело преимущественно с университетской публикой, и естественно, что мои наблюдения и соображения носят односторонний характер. Впрочем, не претендуя даже на поверхностное знание, я хотел бы немного поговорить о том населении страны, с каким встречался не в кампусах, а в рейсовых автобусах и на автобусных станциях.

3

У меня создалось четкое представление, что в американских междугородных автобусах ездят лишь негры и я. Это самый дешевый вид транспорта, дешевле даже железных дорог, служащих сейчас главным образом для перевозки грузов. Кроме того, железнодорожная сеть не так густа, многие линии перестали обслуживать пассажиров, поезда вечно опаздывают, в них небезопасно. Говорят, что и автобусы, особенно ночные, тоже небезопасны, и уж подавно небезопасны ночные улицы больших городов, когда переходишь со станции на станцию.

Меня предупреждали насчет Кливленда (промышленные города — очаги злостного хулиганства) и как в воду глядели.

Я прикатил сюда из Вильямспорта в четверть второго ночи на автобусе «Грейхаунд» и должен был пересесты на «Трай-лэйс», чтобы ехать в Нашвилл. Для этого надо было всего лишь перейти наискось улицу, отнюдь не окраинную, такие станции находятся всегда в самом центре города. Я вышел со своей наплечной сумкой и тяжеленьким полиэтиленовым мешком, нажитым в дороге, — книги, журналы, бутылочки с виски, сувениры — отказов не принимают, — когда на меня надвинулся огромный молодой парень с желтыми взболташными белками неподвижно-вытаращенных, мигающих глаз. Он был явно не в себе, но дыхание, вырывавшееся из спекшихся сизых губ, не смердило сивухой — паркоман. Вначале я в них не поверил, именно потому, что он был предсказан женой профессора из Пенстейна, отвозившей меня на машине в Вильямспорт. Но жизнь — я убеждался в этом неоднократно — очень грубый драматург, чрезвычайно приверженный к приему совпадений и всем тем натяжкам, парочитостям, которые, по мнению театралыных критиков, «не бывают в жизни». Милая женщина напороочила мне именно в Кливленде, не в Цинциннати, не в Луисвилле, тоже лежавших на моем пути, а в городе, которому я верил, уж побывав там дважды (правда, в дневное время), да и как было не поверить чудесным паркам, свежему ветру с озера Эри, бронзовым Гёте и Шиллеру — копии веймарского памятника, музею Сальвадора Дали и картинной галерее с дивным Эль Греко, Веласкесами, Гойями, Гальсами и предтечами итальянского Возрождения. И вот сейчас Кливленд наслал на меня своего одурманенного желтоглазого агрессивного гражданина. Я пытался его обойти. Тщетно. Он упорно заступал мне дорогу, что-то бормоча сквозь запекшиеся губы и выделявая пассы вокруг моей головы, почти задевая лицо, а я этого терпеть не могу. Но что делать, я был беспомощен перед ним, руки заняты, да и будь они свободны, разве мне справиться с этим здоровяком, к тому же распаленным наркотиком? Вперед;

чуть слева, светились желанные буквы «Трайлэйс». Но между ними и мною все время выросал этот несчастный и страшный человек. Доведенный до отчаяния, я вспомнил «большой одесский заход», за которым во время съемок фильма «Председатель» специально посылали для Михаила Ульянова в наш славный южный порт, славящийся перлами русского красноречия. Помните, когда Егор Трубников обкладывает на деревенской сходке хулиганов, испохабивших матерной бранью изображение светлого будущего колхоза? Тогда еще снялась с деревьев и с паническими ржавыми криками унеслась прочь галочья стая? Так вот, напрягая связки, я выдал в ночную тишину Кливленда тяжело-звонкую, как скаканье бронзового коня, портовую россыпь. И ей-богу же, с не меньшей убедительностью, чем это сделал Ульянов — Трубников, — защитный инстинкт может заменить талант. Конечно, я не испугал его, но он призадумался. Незнакомая, странная и прекрасная речь затронула глубокие пласты в его затуманенном сознании. Кто знает, быть может, это праязык человечества, потому и не в силах устоять люди перед соблазном древнего татаро-славянского велеречия? Душа моего преследователя словно вспомнила самое себя в почных безднах предбытия, и передышки хватило на то, чтобы достичь дверей станции.

Было и другое — на станции в Ноксвилле, где я пересаживался с автобуса на автобус по пути из Нашвилла в Чанел-Хилл. Я оформил билет и сел на лавку — сумка под ноги, мешок под бок — и задремал. Было около десяти вечера, а мне предстояло всю ночь трястись в автобусе. Очнулся я от толчков в плечо. Медленно разлепил склеенные сном веки, увидел серую неопрятную юбку, обтягивающую массивные бедра и большой слабый живот, потом кофточку, где без лифчика тяжело провисали груди, шею эбенового цвета, все лицо молодой негрityнки и лишь через какие-то мгновения допустил в сознание черную, жесткую, затупленным клинышком бороду. Женщина толкала меня в плечо, улыбаясь доброй

застенчиво-бессмысленной улыбкой, что-то бормотала, я ее не понимал, замороженный жуткой, ухоженной — не в пример всему остальному на этой женщине — бородой.

Я так и не узнал, чего она хочет и что вообще означает странное ее явление, меня окликнули, назвав по имени. И это было почти столь же ошеломляюще, как женщина с бородой, — кто мог узнать меня на автобусной станции в Ноксвилле? Оказывается, профессор Вандербилтского университета Ричард Портер позвонил своему другу профессору Финни, чтобы тот нашел меня, помог с билетом, коль понадобится, и увеселял до отхода автобуса. «Мы заняли столик в ресторане, тут неподалеку, — сказал Финни. — Как вы относитесь к виски-сауэр?»

С благодарностью подумал я о Ричарде Портере, Дике, как он просил себя называть: красивом, элегантном, по-южному чуть церемонном и трогательно заботливом под маской прохладноватой сдержанности. Нигде я не чувствовал себя так надежно и защищенно, как в Нашвилле, под крылом Дика. И вот его покровительство продолжает осенять меня в пути. Сейчас будет ресторан, музыка, холодное виски-сауэр с тепловатой пеной, долькой апельсина и черешней, панированными на пластмассовую булавку, вкусная еда, любезные люди. А затем я ощутил какой-то страшный укол — не то сожаления, не то вины. Мне показалось, что я ухожу от соучастия в чем-то, что мне должно быть ближе нарядного ресторана, будто я ловко и несправедливо скинул положенную мне ношу. Бородатая женщина, все так же робко-бессмысленно улыбаясь, расталкивала дремлющего на скамейке пожилого мексиканца в пончо и черной широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Через зал медленно ковылял, опираясь на четырехногую подставку, парализованный на левую сторону дряхлый негр в халате поверх расстегнутой до пупа ковбойки и драных джинсов; обнаженная грудь заросла седой шерстью. Юноша-негр сидел над раскрытым футляром от ви-

олопчели, служившим ему чемоданом, и перебирал какие-то бедные вещи: майки, носки. На скамейках дремали, покачиваясь и что-то бормоча, смертельно усталые люди, другие томились в бессонном ожидании, вяло переговаривались, тянули сладкую воду из бутылочек, женщины играли с детьми, и среди всех этих ночных пассажиров не было ни одного с белой кожей. Иные из них станут моими попутчиками, иные сядут в другие автобусы во все четыре стороны света, иные, как женщина с бородой или парализованный старик, останутся тут безнадежно обшаркивать заплывающий пол, мыкая свое горе. И все это такие же законные граждане страны, как и те, что кидают тарелочки, отдуваясь, лупят битой по тугому мячу, купаются в бассейнах и пахнут всевозможными одораторами. Некое теневое население...

В Нашвилле меня водили в начальную школу — в приготовительный и четвертый классы. Как теперь и повсюду в Америке, белые и черные дети учатся вместе в этом южном штате. Зрелище было идиллическое: малыши дружно готовили пиццу — такой у них сегодня урок, — старшие напрягались над тайнами родного языка. Приготовительные классы вроде нашего детского сада, тут играют, а не учатся. С малышами мои отношения остались в рамках строго гастрономических — я должен был попробовать изделие каждого, а вот в старшем классе завязался живой, интересный разговор, позволивший мне расчленивать аморфную массу детских лиц. И постепенно вниманием моим завладел черный мальчик, самоустранившийся из беседы. Этой своей исключительностью из общего веселого возбуждения он мне и примстился. Угрюмо и сосредоточенно созерцал он лишь ему видимое нечто, до глубины души презирая зримую очевидность всех окружающих: соучеников, учительницы и меня, захожего чужака. В зоне его внимания пребывал лишь сосед по парте, толстый, добродушный парнишка с такой же черной, как у него, матовой кожей, с пышной мелкокудрявой шевелюрой.

Бесхарактерный толстяк был в кабале у своего волевого приятеля, но по живости и любознательности то и дело нарушал запреты. Он долго крепился, игнорируя меня, едва успевавшего отвечать на вопросы, и вдруг заорал, раздираемый любопытством: «А китайский вы знаете?» Дети рассмеялись, а суровый друг посмотрел на него с такой злобой, что толстяк сжался и даже зажмурил глаза. Но через короткое время его снова прорвало: «А в космос вы летали?» — и прикрыл голову руками. Под конец учительница предложила ребятам спеть в мою честь песенку о Гавайских островах из пьесы, которую они ставят на школьной сцене. Все запели с огромным воодушевлением и очень мелодично, кроме маленького мстителя, как я окрестил про себя черный комок ненависти. Он с такой силой сжал зубы, что на челюстях вздулись желваки. Толстый мальчик, не в силах одолеть соблазна песни, вплеп в хор свой сильный фальцет. Бешеный, слепящий взгляд сковал судорогой голосовые связки певца, в горле как будто виномград прыгал, но звук умер. Он жалко, умоляюще поглядел на своего вождя и покорился.

Тяжело и больно было видеть в ребенке такую ненависть. Он был побегом того же дерева, что и парализованный нищий старик, полубезумная женщина с бородой, что все убитые, повешенные, сожженные по суду Лигча, затравленные собаками, застреленные куклусклановцами, замордованные в полицейских участках, брошенные за решетку по заведомо ложным обвинениям, а также и преступившие закон из мести, все обреченные на безработицу и прозябание. У него не было оснований доверять миру белых людей, тем паче любить этот мир. Его душа, отягощенная родовой памятью, не хотела прощать.

Директриса этой школы, типичнейшая — до подозрения в подделке — южная леди, пожилая, но стройная, как девушка, с искусно уложенной седой головой, красивая какой-то фарфоровой красотой, сказала мне тоном горестного изумления:

«Поверите ли, порой мне кажется, что есть негры, которые ненавидят белых!» Я спросил, неужели это ее так удивляет. «Да!.. Я полагала, что это привилегия белых». До чего же это было по-южному! На миг мне показалось, что я провалился в яркий мир Маргарет Митчелл, в мир «гонимых ветром». Как сильны и устойчивы предрассудки среды, как велика власть прошлого. Красивая, симпатичная, образованная и, наверное, в глазах окружающих передовая женщина решительно отказывала неграм в праве на равные с белыми чувства. Негры должны млеть и задыхаться от благодарности, что в исходе двадцатого века их согласились числить, во всяком случае формально, за людей. Но жизнь мало считается с представлениями красивых южных леди, и чернокожие граждане Соединенных Штатов вовсе не считают себя осчастливленными.

Они получили равные с белыми права, оплатив их кровью лучших своих сыновей. Да, теперь, если негритянских детей не пускают в белую школу, за них вступаются войска. Все гостиницы, рестораны, стадионы открыты для черных. Но из этого вовсе не следует, что расизм умер. Есть и другое, что куда хуже частного негрофобства. Права даны, а ими трудно, порой невозможно воспользоваться. Негритянские дети идут в школу и садятся рядом с белыми, учителя не делают между ними различия, но черный ребенок скоро начинает отставать. Не всегда, но часто. И не потому, что он глупее, а потому, что его дедушка ковыляет в распахнутом халате по автобусной станции, потому, что дома вокруг него неграмотные или полуграмотные люди, потому, что в семье не читают, не смотрят телевизора — его просто нет, потому, что он растет на улице, не имеет своего угла, книжек с картинками, игрушек, никакой помощи от взрослых. Сказанное не относится к тем неграм, которые пробились к достатку, но ведь подавляющее большинство негритянского населения принадлежит к бедноте. У отстающего подростка развивается комплекс неполноценности, ожесточение против общества,

которое обмануло его мнимым равенством возможностей; недостаточная подготовленность мешает найти работу, на которую он вправе рассчитывать как окончивший школу. А уж если он получает такую работу, то редко удерживается на ней и пополняет собой армию безработных. Подлецы видят в этом подтверждение умственной отсталости негров, честные люди — а их подавляющее большинство — новую вину белых. Мало было допустить негров в белые школы, следовало обеспечить им соответствующую подготовку. Сейчас об этом много говорят, но никак не перейдут от слов к делу.

Молодые безработные негры, которым не пошло впрок школьное образование, делают столь тревожной почую жизнь нью-йоркских улиц, что из-за них одинокая женщина даже днем не рискнет пойти в Центральный парк, это они главные герои уголовной хроники больших городов. Ничего удивительного тут нет — что посеешь, то и пожнешь. Белые не препятствуют неграм появляться где угодно, но попробуй белый даже днем ступить в нью-йоркский Гарлем: хорошо, если просто избыют, а могут и нож всадить. Я жил возле Колумбийского университета и ездил на такси через Гарлем — ни разу не видел я на улицах белого пешехода. Так отыгрываются не только белые преступления, но и нынешнее преступное недомыслие. Права имеют смысл, если они обеспечиваются, если люди могут ими воспользоваться. В противном случае они оборачиваются издевательством. Покамест совместное обучение белых и черных детей принесло лишь снижение общего уровня школьной подготовки и глухую обиду черной молодежи. Пока не будут созданы истинно равные шансы, толку нечего ждать. И черный мальчик с лицом как сжатый кулак не хочет размыкать губ в классе, а в глазах его отчуждение и ненависть. «Сейчас еще ничего, — говорит директриса. — А раньше чуть что — хватался за нож». Боюсь, что он еще схватится за нож. Среди молодых негров едва ли обнаружишь характер дяди Тома. Да и с какой стати им па-

тягивать на себя личину смирения, самоуничижаться? Черные не раз доказывали, что нет такой области человеческой деятельности, где бы они не могли успешно соперничать с белыми. Оставим в покое спорт, где их преимущество бесспорно, равно как и джазовую музыку, эстрадные песни и танцы, но сколько блестящих театральных актеров-негров («Черный Орфей» в Гарлеме — самый талантливый театр в США), сколько превосходных писателей, поэтов, художников; в последние десятилетия негры заняли видное место в науке, юриспруденции, бизнесе, государственном аппарате. Негры — несравненные проповедники, энергичные общественные деятели, умелые администраторы. В столице США — Вашингтоне — черный мэр. И хочется верить, что в ближайшем будущем негры добьются не формального, а истинного равенства с белыми. Иначе Америке несдобровать.

Я говорил об одной из самых больших проблем сегодняшней Америки, привлекая нужные мне примеры из лично наблюдаемого. Только не надо рисовать себе всех американских негров с костылем, или с пожом в кармане, или с волчьим блеском ненавидящих глаз. Да нет же, в большинстве своем это здоровые, крепкие, изящные люди с гибкими телами, воспитанными спортом и музыкой, общительные, улыбчивые и удивительно приятные в общении. В этом умении сохранить любовь к жизни и вкус к радости мне видится великая сила расы.

Вернусь к своему почтовому рейсу из Нашвилла, вернее, уже из Ноксвилла в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. Название штата дает полный простор для американского произношения. У меня всякий раз сбивалось с ритма сердце, когда звучало горловое, клекочущее, раскатистое, как эхо далеких выстрелов войны Севера и Юга: Н-о-о-р-с К-э-р-р-о-л-я-й-н-е. Перед отправкой из Ноксвилла случилось маленькое недоразумение: водитель автобуса, называемый почему-то не «драйвер», а «оперейтор», отказался везти молодого пуэртори-

капца с початой бутылкой вина под мышкой. Парень, подбадриваемый товарищами, негрубо, но настойчиво пытался осуществить свое право на передвижение. Пожилой рослый оперейтор, напоминающий мощной статью героя вестернов Джона Уэйна, загораживал вход и зная бубнил: «Не хочу из-за тебя терять работу». Тут не было каприза: над водительским местом висит объявление: «Проезд в нетрезвом виде запрещен». Но парень не был пьян, и профессор Финни почувствовал себя задетым в своих демократических идеалах. «Пропустите юношу! — потребовал он у водителя. — Ему необходимо в Шарлотт». — «Проспится, тогда поедет», — отозвался водитель, заслоняя вход. Почувствовав поддержку, юноша, торопившийся в Шарлотт, стал активнее, и водитель позвал полицейского. Тот был столь же выразителен и фотогеничен, как оперейтор: двухметрового роста, с телосложением пышного Мохамеда Али; тяжелые кулаки уперты в бока, картинный пистолет на одном боку, резиновая палка в черном футляре — на другом, фуражка надвинута на нос, челюсти разминают жвачку. У меня было впечатление, что сейчас помощник режиссера объявит помер дубля и начнется съемка.

— Где мы живем — в Америке или Никарагуа? — спрашивал Финни. — Картер у нас или Сомоса?

Оперейтор закурил, полицейский ловко выдул меж губ пузырь из жвачки, затем снова занялся челюстной работой. Юноша с бутылкой попытался протиснуться в автобус, полицейский взял его за худое плечо и отстранил: «Полегче, паренек!» — сказал с отеческим видом.

— Здесь гость из Советского Союза! — возмутился Финни. — Хорошего же мнения он будет об Америке! Как коммунист в душе, я буду до последнего бороться за права этого юноши.

— Угмонитесь, — сказал полицейский. — А ты, парень, проваливай, если не хочешь огорчений. Продрыхнешься — поедешь!

Финни продолжал спорить, а парень, в жалком самоутверждении хлебнув из бутылки, поплелся восвояси. Мы уже тронулись, когда Финни вскочил в автобус и попросил у меня прощения за попрашную американскую демократию. Я боялся, что его заберут, но все обошлось. Финни соскочил на землю и еще долго бежал следом за автобусом с поднятым кулаком — жест борьбы и единства.

История эта имела продолжение. Сидевший позади меня молодой негр в рубашке хаки — эти рубашки американской пехоты, прочные, удобные и ладно сидящие, популярны среди штатской молодежи — понял, что я иностранец и не слишком боек в английском языке. Он взял меня под свое покровительство, что оказалось весьма уместным. Подробный маршрут, составленный еще в Лансинге, был неточен как раз на этом перегоне. Указаны лишь две пересадки: в Ноксвилле, уже миновавшем, и в Шарлотте, их же оказалось пять. И первая в месте историческом — Ашвилле, ставшем бессмертным благодаря его уроженцу Томасу Вулфу. Два великих честолюбца американской литературы, вечно считавшиеся славой друг с другом, Хемингуэй и Фолкнер, в своих списках пяти лучших писателей США дружно поставили на первое место Томаса Вулфа; не было у них разногласия и с последним местом, отданным Стейнбеку, а в остальном они разошлись: Фолкнер почел себя вторым, Хемингуэй же отдал это место Дос Пассосу, скромно посчитав себя третьим. Но это к слову. Городок Ашвилл я, не ведая о том, что мы по нему едем, проспал. Очнулся же, когда автобус уже въезжал на стоянку маленькой станции, — меня кто-то нежно раскачивал за плечо.

— Простите, я слышал, вам в Чапел-Хилл? Здесь пересадка.

Я поблагодарил юношу в хаки и вышел из автобуса. Процедура с билетами не заняла много времени. Устроившись на лавке, я продолжил свой сон с того места, на котором его прервали. Такое печасто случается. Мне снилось что-то

страшное, памешанное из впечатлений разных жизненных периодов, во сне участвовали: мой мещерский друг, однопогий егерь Макаров, грациозный южный джентльмен с тихим мелодичным голосом Ричард Портер, бородатая женщина, музей космонавтики в Вашингтоне и ракета, летавшая на Луну. Мы всей компанией собирались на Юпитер (я только что посмотрел «Космическую одиссею» Стейли Кубрика), что несказанно меня радовало, но совсем хорошо стало, когда борода сплыла с лица женщины, вмиг ставшего миловидным, и прилепилась к веснушчатому подбородку егеря Макарова, сообщив мужественность. Тут я опять почувствовал легкий толчок в плечо, и вежливый голос произнес сожалеюще:

— Простите, что опять нарушаю ваш сон. Посадка.

Что-то ткнулось мне в руку — банка «север-ап», прекрасного освежающего питья.

Мы вышли из станционного помещения. К ночи похолодало, гудели под ветром провода.

— Это город Томаса Вулфа, — с застенчивой улыбкой сказал молодой человек, словно желая подбодрить меня. — Жаль, что темно и ничего не видно.

Вот когда я узнал, где мы находимся.

Уже в автобусе он подсел ко мне и показал книжку карманного формата «Том Вулф» — прочел я на обложке и не сразу сообразил, что это тезка и однофамилец классика, вошедший в славу за последние годы.

— «Новая журналистика»? — вспомнил я.

Молодой человек довольно закивал курчавой головой. Наверное, его обрадовало, что я знаю этого писателя, и не получилось неловкости.

— Я не читал. У нас его, по-моему, не переводили. Это хорошо?

— Мне очень нравится. Интересно читать. Не то что Барта или Кувера. — Он вдруг смутился: — Простите, может быть, вы любите этих писателей?

— Может, и любил бы, если б знал. Это авангардисты?

— Да, да!.. Наверное, замечательные писатели, но не для меня. Я хочу знать о мире, какой он есть на самом деле, а не о том, каким они его видят.

Я сперва удивился, что так хорошо его понимаю, а уж потом самой мысли, достаточно сложной для паренька в хаки. Он произносил слова четко, ясно, медленно, исключив пачисто «прононсейши». Эх, если бы всегда так!..

— Но ведь каждый писатель изображает мир, каким его видит.

— Это другое дело. Есть же общее для всех. Я не знаю, как выразиться... Люди о многом договорились. Это вот автобус, а не птичья клетка, и мы едем, а не штопаем носки. Авангардисту же автобус свободно может представиться птичьей клеткой, и птицей, и его покойной бабушкой. Меня интересует мир, о котором договорились, который назван. Он меняется, усложняется, куда-то движется. Мне в этом мире жить. И я хочу, чтобы литература помогла мне. Наверное, для того она и существует.

— А вы сами, случайно, не писатель?

Он рассмеялся и смеялся так долго, что я заподозрил его в неискренности.

— Куда мне! Я автомобильный механик. Просто люблю читать. А вы профессор литературы, как доктор Финни?

— Вы знакомы с доктором Финни?

— Нет. Просто знаю его в лицо.

Водитель выключил свет в автобусе, оставив лишь контрольную лампочку.

— Отдыхайте. Я разбужу вас.

Он действительно в пугную минуту разбудил меня и весь последующий путь неотступно следил за мной, потому что с удивительной точностью я засыпал как раз перед тем, как сходить, или перед тем, как ехать дальше. В городе Шарлотт он покинул автобус, поручив меня на последнем этапе юноше с

футляром для виолончели, заменявшим чемодан. Прощаясь, он доверчиво сказал, что приехал сюда для свидания с невестой.

— Вы замечательный спутник, — сказал я. — Вашей невесте можно позавидовать.

Он засмеялся, пожал мне руку своей узкой аристократической рукой с шафрановой ладонью и такими же ногтями и скрылся.

А таинственный футляр обманул мои ожидания, за ним не оказалось никакой истории. Старший брат-джазист выкинул старую рухлядь, купив новый футляр, а младший подобрал. С ним хорошо путешествовать, девушки принимают за музыканта, начинают расспрашивать о знаменитых певцах, завязываются знакомства. А он сам чертежник, получил работу в Роли и едет туда. Хочется скопить достаточно денег и поступить в университет, чтобы обучиться на строителя.

Будущий строитель оказался так же точен, как и его предшественник, и не дал мне проспать очаровательное местечко Чапел-Хилл, где всюду цвели магнолии, айва, японские вишни, сливы и удивительное «собачье дерево»...

А разговор, начавшийся в автобусе с негритянским юношей, я продолжил через некоторое время с профессором Беллапом, рассеянным, как Паганель, набитым знаниями, как оба Гумбольдта, эксцентричным, как Рассел.

— Так кто же сейчас лучший писатель США?

— Это трудно сказать. Официально Сол Беллоу, он единственный живой лауреат Нобелевской премии, но последние его романы читаются далеко не так, как прежние. По элитарному вкусу — Томас Пинчон.

— Он действительно хорош?

— Вы читали, наверное, Курта Воннегута? Пинчон — это Воннегут на высшем уровне: та же бескопечная возня со смертью, но неизмеримо изысканнее литературная ткань.

— Он идет от Джойса?

— Все идут от Джойса. — Он вдруг засмеялся. — Томас Пинчон — от Рабле. Такое же пристрастие к перечням. У нас шутят: одного Хемингуэя, который был молодцом и в творчестве, и в жизни, разменяли на Пинчона и Трумэна Капоте. Первый превосходно пишет, но совершенно неведом широкой публике, второй пишет хуже, но каждый шаг его известен всей Америке...

4

Наездившись в автобусах до одури, я вынес твердое убеждение: насколько разнообразна американская природа, настолько же однообразны ее города. От холодных, замерзших Великих озер штата Мичиган я переносился к лесам и лесным круглым озерцам Огайо, темневшим утиными и гусиными стаями; от живых водопадов в окрестностях Итаки, низвергавшихся с обледенелых скалистых круч, — к цветущим лиственным рощам Мериленда; переваливал через Аппалачи — меж темных ребер искрился снег, а зеленые поляны в распадках желтели первоцветом. С гор в долины, с полей в леса, через полноводные реки и вдоль озер, снегопады сменялись весенним буйством солнца, грибной дождь пронизывал его лучи, и голубым прозрачным маревом занималось пространство, и вдруг — гром, первый гром, что ни час, все менялось в природе. А города?.. Я проснулся на стоянке в Цинциннати и пошел побродить по городу, по его обставленному небоскребами центру, пустынному, как и во всех больших городах. Эта странная лунная пустышность взрывается дважды в день — перед началом и после окончания работы. Центры городов ныне безраздельно отданы учреждениям, здесь не торгуют, не отдыхают, не веселятся, потому и нет прохожих на широких тротуарах. Вернувшись в автобус, я

вскоре задремал, а когда проснулся после долгой тряски, увидел все тот же Цинциннати, только теперь он назывался Луисвиллом. А мог бы называться Кливлендом, Нашвиллом, Балтимором... За редким исключением, все большие города США на одно лицо: высотный центр, или — даунтаун» — деловая часть, вокруг все та же «одноэтажная Америка». Собственный домик по-прежнему голубая мечта каждого американца. Многоэтажные дома презирают и селятся в них лишь в силу необходимости. Однообразное оживление в городской пейзаж вносят бензозаправочные станции, закусочные «Макдоналдс» с рекламой в виде гигантского М, закусочные с «кектаки-фричicken», кафе-мороженое с тридцатью двумя сортами пломбиров и шербетов — ровно столько, ни больше ни меньше, ибо сладкая жизнь страны монополизирована одной компанией, барами, ресторанами, кинотеатрами. Но зрелищных предприятий в подавляющем большинстве городов совсем немного. Некий атавистический душок пуританства подмешивается к бензиновой вони, отравляющей воздух улиц. Не случайно Лас-Вегас с его игорными домами и прочими греховными заведениями лежит на пустышной окраине штата Невада. Хапжеские души тешатся иллюзией, что порок изгнан со стога градов в пустыню.

Торговая жизнь вынесена на окраину, она сосредоточена в гигантских торговых центрах. Лишь завершивших земной путь обслуживают особые магазины.

Я уже говорил, что из заслуживающих внимания городов не видел лишь Сан-Франциско, Нью-Орлеан и Бостон. Из всего же виденного лица необщим выраженьем наделены Нью-Йорк и Чикаго, прежде всего в силу своей ошеломляющей громадности, очень хорош и нетипичен для страны Вашингтон с его портиками и фронтонами, куполами и памятниками, Миннеаполис с аллеями старых, гибнущих, увы, вязов, с Миссисипи в обрывистых берегах и дремлющими прудами. Сиэтл на семи холмах с врезами воды в его зеленую густотищу, объяв-

шую серый камень зданий, небольшой Беллфорд, весь в восемнадцатом веке, и не любимый американцами Лос-Анджелес, он ужасно расплзся, но в этом есть некое отрицательное величие, и потом он такой разный: кручи и виллы Беверли-Хиллз, вечерний шумный грех Голливуда, океанские волны с заплеском через весь золотой пляж, впечатляющая гроздь небоскребов из темного стекла в одном из многочисленных центров, а единого центра нет и в помине. Я оставляю в стороне маленькие университетские городки с их неповторимой прелестью, такие, как Оберлин, Итака, Чапел-Хилл, Боулдер...

5

В рейсовом автобусе, когда не спишь, хорошо и просторно думается о разных разностях. В самолете тоже неплохо думается, хотя и хуже, чем в автобусе, — то и дело подходят стюардессы с журналами, прохладительными напитками, джином, виски, пивом, ленчем или обедом, кофе и чаем, с вопросами о самочувствии и откуда вы такой взялись. В своих мыслях я часто обращался к американской литературе. Мне хотелось понять на основе своего нового опыта, как соотносится она с жизнью.

Вспоминалась знаменитая пьеса Олби «Кто боится Вирджинии Вульф», легшая в основу одноименного фильма, где голливудская кукла Элизабет Тейлор вдруг поднялась до настоящей трагедии. Пусть жалкой, низкопробной — иной и не может быть в современном буржуазном обществе трагедия леди Макбет — женщины, обреченной на бесплодие. В средневековье обманутое материнское чувство обернулось кровавым властолюбием, в профессорской среде сегодняшней Америки — бескровным, но жестоким издевательством над собственным мужем, развратом, истерией. При том, что и

пьеса, и фильм мне всегда нравились, некоторое сомнение в жизненной и художественной правде все-таки точило душу. Сейчас появилась возможность проверки, ведь я довольно хорошо узнал среду, изображенную Олби.

Мне бы хотелось рассказать об одной истории, свидетелем которой — и отчасти участником — я оказался. Началось с прилета в очередной университетский город. Пройдя в зал ожидания, я, как обычно, сразу узнал в толпе встречающего меня. Правда, на этот раз толпа была негуста, но и встречающий профессор резко отличался от всех знакомых мне славистов. Их было несколько типов: рассеянный, нелепый, плохо уместающийся в земных координатах, почти театральной недостоверности муж науки; подтянутый, очень современный американский джентльмен — белейшая рубашка, тщательно повязанный галстук, сирий блейзер; небрежный, заросший волосами человек, не помнящий, во что одет, скорее вечный студент, нежели наставник юношества, и, наконец, энергичный мужчина с крепким рукопожатием, твердым и веселым взглядом и с такой уверенно-свободной и добродушной повадкой, словно вы знакомы с ним с детства, — как правило, администратор от науки. Этот же человек, с обвислыми моржовыми усами, усталым, бледным сквозь природную смуглость, изношенным лицом и коричневыми печальными глазами, тихим голосом и слабой, беззащитной улыбкой, не подходил ни на одну категорию.

— Только что потерял двадцать пять центов, — сообщил он вместо приветствия, угадав меня среди прибывших на мгновение раньше, чем я его.

— Давайте поищем, — предложил я.

— Нет, их сожрало вот это чудовище. — Слабым движением руки он показал на один из бесчисленных аэропортовских автоматов. — Я хотел проверить кровяное давление, и вот... — Улыбка бесконечного, но покорного и тем словно бы просветленного отчаяния сползла из-под усов, сморщив вялый подбородок.

Я удивительно хорошо и уютно почувствовал себя в его печали. Признаться, я несколько устал от напора беспокойной жизни последних недель: с перелетами, новыми знакомствами, остротой отношений, спорами, впечатлениями почти ранящей яркости, хотелось тишины и спокойной грусти, по-хоже, я это здесь получу.

Мы подошли к маленькому «фольксвагену» с изуродованным крылом и почти уничтоженным передом; ни облицовки, ни фар, ни бампера, капот не закрывается, просто лежит поверх мотора, держась на одной петле.

Машина не заводилась, только противно зуммерила.

— Ах, вы не пристегнулись, — сообразил мой новый знакомый — назову его Джонс.

Я ненавижу пристегиваться, у меня тут же начинается клаустрофобия, но делать нечего. Я выхватил ремень из гнезда и, растянув, с усилием всадил металлический конец в паз сиденья, приковав себя к спинке кресла. Машина продолжала зуммерить. Джонс открыл дверцу и с силой захлопнул — не помогло. Он повторил опыт — тот же результат.

— Выйдите, Юрий Маркович, я сразу заведу.

Я отстегнулся, вышел, но машина не завелась.

— Садитесь, Юрий Маркович, это не помогает.

— Кто же вас так стукнул? — спросил я, чтобы переключить раздражение.

— Девочка, студентка. Зимой. Женщины вообще плохо ездят, а тут еще гололедица. Ее потащило, она — на тормоза. Ну, конечно, занесло, и задом мне по передку... Попробуйте приподняться, Юрий Маркович. Только не отстегивайтесь.

— Как приподняться?

— Упритесь ногами в пол, а туловище подвесьте — так можно сказать по-русски?

— Сказать можно, сделать трудно. — Но я все же попытался выполнить его просьбу. Нелегко было держать на весу в малом пространстве машины восемьдесят шесть килограммов.

Зуммер не прекратился. Тогда и Джонс вывесился над своим сиденьем, и, о радость, машина завелась. Мы тронулись в подвешенном состоянии.

— Зачем я польстился на это проклятое устройство! — смеялся и плакал Джонс. — Дьявольски неудобно править, ничего не видно.

— Надо было сделать ремонт, — полузадушенным голосом укорил я.

— Я надеялся, что ее добьют, тогда бы я просто поменял машину.

И тут это едва не случилось. Джонс с такой силой затормозил, что меня вознесло к потолку, затем швырнуло вниз на сиденье — в вертикальном направлении ремень растягивался легко, как резинка от трусов. Перед нами высился зад громадного рефрижератора.

— Можно сидеть нормально, — решил Джонс, поскольку машина не заглохла. — До чего же выносливая машина «фольксваген», наши такой живучестью не обладают.

— Нам далеко ехать? — спросил я, не столь уверенный в выносливости «фольксвагена» и еще менее — в собственной выносливости.

— Нет. Считайте, что мы уже приехали. Я помещу вас в студенческое общежитие, но сперва мы заедем ко мне, буквально на минутку.

Он круто свернул и остановил машину под старым развесистым деревом. Выбравшись наружу, я обнаружил, что у «фольксвагена» изуродована вся задняя часть.

— Как можно было разбить сразу зад и перед?

— А-о! — Джонс с тихой улыбкой покачал головой. — Это не тогда. Тоже в гололедицу, и за рулем тоже была женщина. Преподавательница.

— А страховка?

— Пошла на другое, — меланхолически произнес Джонс. — Вы, наверное, никогда не ездили на такой машине?

— Признаться, нет. У нас это запрещено. Первый же милиционер остановит.

— А у нас на это смотрят сквозь пальцы. В конце концов, это дело каждого — ездить на чем он хочет.

И чего я привязался к его машине? Я уже шагнул к дому, но Джонс остановил меня.

— Вам нравится дом?

— Нравится.

— Продаю! — произнес Джонс с обреченной улыбкой.

— Вы думаете, я могу купить дом на гонорары за лекции?

— Я вам не предлагаю. Продаю вообще. Моя старшая дочь кончила школу и пошла работать стюардессой на ТВА. В общем, семья уменьшилась, зачем нам такой большой дом?

— А у вас нет других детей?

— Есть. Две девочки: четырнадцать и одиннадцать. Я уже подыскал другой дом. Меньше. Тысяч за шестьдесят, а мой стоит все сто.

— Значит, вы в стадии переезда?

— Да, но еще неизвестно, переедем ли.

— У вас нет покупателя?

— Есть. Но я не могу дать шестьдесят тысяч за тот маленький дом, а хозяйка уперлась.

— Сколько же вы даете?

— Пятьдесят восемь.

— Ну, где пятьдесят восемь, там и...

— Пятьдесят девять, — опередил он меня. — Больше ни цента.

— Наверное, она согласится, — выразил я надежду.

— Хочется думать. Глупо, если все развалится из-за одной тысячи.

Чего-то я не понимал в этом грустном, но твердом человеке и счел за лучшее прекратить разговор о доме.

Внутри дом не показался мне таким уж большим, особенно для семьи из четырех человек, тем более что девочки едва

ли остановились в росте и в неуправляемом движении быстро-текущего станут взрослыми девушками, а для молодой сильной жизни необходимо пространство. Полутемный холл — окна были почему-то прищторены — носил следы сборов. Стены оголены, не было и тех малостей, безделушек, что придают обжитость человеческому жилью; ни фотографии, ни вазочки, ни цветка, ни картинки, никакого украшения. Когда глаз привык, я обнаружил сваленные в углу картины в рамах.

Оказалось, жена Джонса — художница. Работает она в стиле, который называется «фигуративный символизм», очень мастеровито, хотя и чуть суховато. Но колористка она замечательная, от картин было трудно отвести взгляд.

Я впервые почувствовал, что бывает цветовая жажда, так же пуждающаяся в утолении, как и та, что саднит пересохшую глотку.

Тут появилась и сама художница — стройная, худощавая, гладко причесанная. Казалось, она так сильно стянула черные сухие волосы к маленькому пучку на затылке, что это причиняло ей боль. Страдание слезило ей громадные темные глаза, морщило бессильный улыбнуться рот. И тот во мне, о ком я часто забываю, но кто на забывает меня, заставляя вопреки всем изменам собственной сути быть писателем, произнес уверенно и сожалеючи: ну, готовься, брат, к откровениям.

Они не заставили себя долго ждать.

— Вы посмотрели мои картины? — спросила женщина. — Меня зовут Катарина.

— Мне понравилось. У вас сильная и мрачная фантазия.

— Это мои сны.

— Вы выставлялись? — спросил я, пытаюсь увести разговор от признаний, буквально рвущихся из нее.

— Да. Мои выставки были в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американцам не нравятся мои картины, они их пугают.

— А вы не американка?

— Я родилась в Европе. Мой родной язык фламандский.

— Ваша живопись чужда плоти и чувственности фламандцев, — пошутил я.

— Я не могу выразить себя целиком в моих картинах. Что-то остается недосказанным. Я пишу стихи. К каждой картине у меня есть стихотворение. Оно как будто бы вовсе не о том, но оно о том же самом, только по-другому, и чуточку больше. Я плохо говорю. Ваш Скрябин придумал звуко-цвет, а я верю в слово-цвет или цвето-слово. — Мучительная улыбка дернула ее губы. — Это шутка, хотя и не совсем шутка. Американцам не нравятся мои стихи, они кажутся им септиментальными.

— На них не угодишь, — сказал я, плоско обманывая себя, что столкнулся с банальной темой непризнанности, и твердо зная в глубине, что это не так.

— Угодить можно, но какой в этом смысл?.. Хотите чаю? — словно вспомнила Катарина о своих обязанностях хозяйки.

Я отказался, и Джонс в одиночестве выпил чашку чая с молоком.

— Вы обедаете у нас? — Глаза женщины набухали слезами, казалось, от моего ответа зависит все будущее семьи.

— С удовольствием.

— Я хорошая кулинарка, — проговорила она с той же трагической интонацией. — У нас будет мексиканский обед. Вы не боитесь острого?

— Напротив, очень люблю.

Сухие, горячие руки коснулись моей руки и благодарно-доверчиво сжали.

— Я жду вас к обеду.

— Спасибо.

Джонс доел сахар из чашки и вытер усы.

— Поедем в гостиницу?

— Мы не прощаемся...

— О нет. Мы не прощаемся! — вскричала женщина, хрустально сверкая пальцами влагой глазами. — Конечно, мы не прощаемся! Нет, нет!..

Мне очень хотелось настроить себя на юмористический лад, но ничего не получалось. Смертельно жаль было ее узких горячих рук, палитых слезами глаз, искусанных губ, всей странно напрягающейся, беззащитной фигуры, и я не понимал, откуда берется эта жалость. Неприкаянная она какая-то... Да ведь у нее муж, семья, она может заниматься своим искусством, не думая о хлебе насущном. Вон и выставки были...

— Картины продаются плохо, — говорил Джонс, борясь с зажиганием. — В лучшем случае ее живопись самоокупается. Да, — произнес он после некоторого раздумья, видимо, подсчитав, — на краски, холсты и рамы как раз хватает. Я ничего не добавляю... Можно вас снова попросить вывеситься?

Я «вывесился», и мотор заработал.

— Кажется, я должен буду поехать в Канаду, — грустно сказал Джонс. — У меня там дом. Достался по наследству. Надо скорее продать, пока родственники не ограбили.

Прежде чем ехать в гостиницу, мы заглянули в студенческий центр, где Джонс измерил-таки кровяное давление. Этот центр был смесью супермаркета с почтой, банком, клубом и клиником. У Джонса оказалось 160/90 — вполне терпимо для человека за пятьдесят. Но Джонс притуманился: он принимает сильнейшие лекарства, а давление на пределе допустимого. И ведь еще недавно у него было давление юности-бейсболиста.

— У нас плохо в семье, — сказал он со своей меланхолической улыбкой. — Мы едва не разошлись перед вашим приездом. Отсюда давление.

— Но сейчас все паладилось?

— Не знаю. Маловероятно. Скорей всего затишье перед бурей. Сосуды не разжимаются, не берут приманку мнимого примирения.

— Сколько вы прожили вместе?

— Старшей дочери девятнадцать, значит, более двадцати.

— Поздно для развода.

— Почему? Жене нет и сорока. Даже я еще не совсем сдался. Но я для нее не муж. Она видит во мне отца.

— Разве у вас такая разница в возрасте?

— Пятнадцать лет. Но дело не в этом. У нее комплекс отца. Он никогда не ласкал ее, не брал на руки, даже улыбки его она не видела. Боялся, что еще заподозрят в инцесте. Нет дыма без огня. Ей всегда хотелось иметь отца, доброго, ласкового, все понимающего, как у подруг. Вдруг она открыла отца во мне. Но я никакой не отец, я люблю ее совсем по-другому. Она этого не хочет, все время и настаивает на разводе.

Я читал о чем-то подобном, и не раз, но не верил, что такое на самом деле бывает. Мне всегда казалось, что Фрейд на виток перекрутил гайку. Сексуальное начало имеет громадную роль в жизни человека, но не решающее, и в споре с судьбой почти всегда отступает перед велениями насущных обстоятельств. Кроме, конечно, клинических случаев. Что ж, я снимаю шляпу перед бесстрашием старого австрийского профессора, не боявшегося крайних выводов.

— Развод не даст ей отца.

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Развод даст ей другого мужа или близкого человека, и она сможет опять обходиться без отца, как было столько лет у нас.

— А если без развода?..

— Я это ей и предлагаю. Заведи себе друга дома, у меня будет женщина на стороне. Но мы останемся вместе, сохраним семью. Это нужно для наших девочек. И мне это нужно, — добавил он, чуть помедлив. — Мне надо, чтоб она была рядом. Просто рядом.

— А что жена?

— Говорит, что не может. Не может мне изменить, пока мы вместе, пока мы муж и жена, хотя бы формально. Она очень чистый человек... и очень несчастный. Я люблю ее, смертельно жалею и не знаю, что делать.

— Не отпускать ее. Она же погибнет одна. Я ее почти не знаю, но, по-моему, она человек, мало приспособленный для самостоятельной жизни.

— Беспомощна, как малый ребенок.

Когда пишешь об этом, все вроде бы выглядит естественно: мужская откровенность, мгновенное доверие к чужому, случайному человеку. Но тогда мне было очень не по себе. Меня словно на медленном огне поджаривали. Советовать что-либо — безответственно, молчать — бездушно. Я спросил:

— А если она уйдет, девочки будут с ней?

— Нет. Девочки все знают, они сказали, что останутся со мной.

— Неужели и это не остановит вашу жену?

— Боюсь, что нет. Конечно, ей мучительно и страшно, по то, что она испытывает сейчас, еще мучительней, еще страшнее. — Он вскинул на меня коричневые истомленные глаза. — Может, вы поговорите с ней?

Поистине утопающий хватается за соломинку!

— Господь с вами! Разве можно постороннему человеку?..

— Наверное, нельзя, — улыбнулся он, и я понял, что он находится на пределе отчаяния.

Он держался, держался из последних сил, и его бедная выдержка отыгрывалась высоким давлением. Все было сжато, стиснуто невыносимой болью, кровь с трудом пробивалась сквозь сузившиеся сосуды. И ничего нельзя было сделать. Умная, талантливая, честная, добрая женщина губила его и себя, не властная над темными велениями, завладевшими ее существом. Если б она была влюблена, если б муж ей изменил, если б ей открылось, что она прожила жизнь с недостойным человеком, еще можно было бы что-то понять и даже исправить. Но никаких разумных объяснений случившемуся нет. Она охладела к мужу, но ведь это почти неизбежно в долгих браках и никогда не ведет к разрыву, если не вмешиваются посторонние силы. Люди приспособляются

жить без счастья, или падают на стороне суррогат счастья и терпят свою долю, или как-то сублимируют тяжкую неутоленность, уходят в детей, в работу, в книги, мечтания. А у нее есть творчество, она талантливая художница и поэт с Божьей искрой, у нее славные девочки, есть дочь-барышня, а ведь матери умеют разделять волнения взрослых дочерей, есть возможность ждать, искать, надеяться, а ей нужно все немедленно разрушить. Почему мы убеждаем себя, что в жизни нет безвыходных положений? Можно и отмахнуться: бабья дурь, пройдет, возрастное, лечиться надо, но ведь это от бессилия. Что мы знаем о человеке? Несколько беллетристических угадок. Науки о человеке до сих пор не создано, главные умственные силы планеты направлены не на познание, а на уничтожение человека, в чем немало преуспели...

А потом был домашний обед, и оказалось, что Катарина действительно превосходно готовит: острый холодный суп «чили», сложное мексиканское блюдо из мяса, сои, тертого гороха, теста, овощей с обжигающим пряным соусом, чудесная мельба и настоящий турецкий кофе, какого я еще не пил в США. Эта женщина вносила артистизм во все, что делала. За обедом, на котором присутствовал еще один молчаливый и крайне сосредоточенный на еде гость — профессор истории, я познакомился с прелестными дочерьми Джонсов: старшая уже вступила в подростковый возраст, не оплатив этот шаг к созреванию ни косолопостью, ни неуклюжестью, ни угрями, ни угрюмостью, — чистая, свежая, стройная, нежно и таинственно улыбающаяся, она почти обрела будущую форму взрослой девушки; сестра была проще — небольшая, прочно сбитая, с крепкими пожками футболистки. Она играла в европейский футбол за школу, а тренировал команду ее отец. Девочки были тихи, как мышки, но когда они изредка оживлялись, становилось ясно, что тихость эта не от строгости воспитания, а от грусти. Они все время помнили о семейном разладе, и страх перед будущим сжимал их маленькие души.

После кофе Джонс пошел немного проводить приятеля, а девочки как-то незаметно скрылись, будто истаяли. Я сказал хозяйке, что восхищен многообразием ее талантов: художница, поэт, кулинарка.

— Почему он не хочет отпустить меня? — произнесла она с такой интонацией, словно это было прямым отзывом на мой нехитрый комплимент. — Почему он не хочет быть мне просто отцом?

Что было сказать? Я стоял перед ней, презирая себя за бедность, сухость, за полное неумение помочь чужому горю. Страшная доверительность этих людей открылась мне с неожиданной стороны; я был для них с т а р ш и й. Искусственно возвращенный в себе инфантилизм из-за вечной возни с собственным детством, ностальгический бред о прошлом, которому я отдал столько времени и душевных сил, подчиненность матери до последних дней ее жизни, отсутствие своих детей — все это позволило мне до сих пор не сознавать свой истинный возраст, возраст старика, деда. Эти люди ждали, что я подскажу им что-то из глубины дряхлого опыта, а этого опыта не было. Да я и вообще не верю, будто можно помочь чужому душевному горю, другое дело, что есть шарлатанские приемы утешения, известные настоящим старикам, привыкшим отвечать не только за себя, но и за меньших: детей, внуков. Я этих приемов не знал. Не знал, чем можно обмануть страдающего человека, чтобы он хотя бы плакать перестал. А она плакала — глазами, ртом, грудью, плечами, но беззвучно, чтобы не услышали дочери. И вдруг я разозлился сам не знаю с чего.

— Ну, хватит! Куда вы пойдете и на что будете жить? На картины, на стихи, которые никому не нужны? Джонс любит вас, он дает вам делать что вы хотите, даже терпит этот разнужданный фрейдизм. Подумайте о дочерях. Им-то каково?

Она перестала плакать и вытерла глаза платочком. Потом высморкала нос — очень по-детски.

— Я знаю, что потеряю их, но чем я виновата?..

А что, если ей просто необходимо остаться одной? Я где-то читал, что бывает такое состояние, когда все окружающие тебя, еще недавно родные, бесконечно близкие, становятся непереносимы. Человеку надо оборвать все связи, быть одному. Тогда бессмысленно ее уговаривать, бесцельны и попытки Джонса решить проблемы внутри существующей формы. Он правильно понял, что ей опостылело окружающее, и хочет сменить дом. Но это ничего не даст, в новом доме все пойдет по-старому. Ее бунт — против кого? Против мужа? И да и нет. Ведь она и его готова сохранить в качестве... отца. Против семьи в целом? И да и нет, ей смертельно жаль девочек. Против себя самой?.. Против своей непризнанности, неудачливости, ненужности людям? Ей нужна всеобщая любовь, она же творец, а ей дана лишь маленькая любовь семьи. Ей неприятна, оскорбительна навязчивая любовь одного Джонса, когда ей нужна любовь всех Джонсов. Она хочет принадлежать им всем, конечно, не физически, но как бы и физически, а он, муж, мешает. И может быть, фигуративному символизму невыносимы вечные поиски малых выгод? И это верный инстинкт в ней — уйти, скрыться. Но лишь признание спасло бы ее. Это не тщеславие, не честолюбие, не жажда успеха. Это сознание своего права выйти на суд людской. Надо что-то сломать, разорвать, сокрушить, чем-то пожертвовать, может быть, тогда явятся какие-то новые, неизвестные силы, чтобы одолеть слепоту и глухоту окружающих? Америка, откликнись искусству Катарины Джонс, ты сохранишь ее душу; спаси мать для дочерей, жену для мужа. Америка не откликнется. Каждый умирает в одиночку. Каждый страдает в одиночку. Каждый сходит с ума в одиночку. И самоубийством кончает каждый в одиночку.

Катарина хочет одиночества, чтоб перестать быть одиночкой. Теплая, плотная, липкая родная плоть обволакивает ее, но не только не скрадывает одиночества, а делает его душашим, безвыходным, непереносимым.

... — Попробуйте уйти не уходя, — сказал я, сам не понимая, что это значит.

...Как и всегда после бури — затихло. Каждый занимался своими делами. Джонс записывал на магнитофон интервью со мной — для газеты, сказал неопределенно; о Катарине напоминал легкий шум из кухни; девочки гладили на террасе футбольную форму младшей — завтра матч. Потом мы с Джонсом отправились в университет.

Вместо лекции Джонс неожиданно устроил вечер вопросов и ответов. Так еще никто не делал. К моему удивлению, опыт удался: вопросов оказалось предостаточно, и если бы не сам Джонс, выступавший в качестве переводчика и ограничивший встречу полутора часами, конца бы не было завязавшемуся разговору. Выступать, конечно, лучше без переводчика, во многих университетах так и делали, рассчитывая на достаточную языковую подготовленность большей части присутствующих. Меньшинство приносило в жертву — пусть вслушиваются в звучание русской речи, это тоже полезно. Раза три-четыре я работал с замечательными переводчиками из профессоров-русистов, один из них даже опережал меня, и казалось, я ему вообще не нужен. Джонс применял иной метод: он спокойно, не перебивая, выслушивал какой угодно длинный период, затем давал отжимку. Так было на концертах знаменитой в свое время исполнительницы песен народов нашей родины Ирмы Яунзем. Певица переводила длинную песню: «Девушка идет к ручью. О, как светла вода!» Боль Джонса была так велика, что ему все было немило, он старался предельно упростить не оставшие от него обязанности профессии и быта. Ему хотелось сжаться, умалиться, самоограничиться лишь самым необходимым, все стало ненужным и докучным в объявившей его беде. В несчастье, как правило, недостатки человека усугубляются, а достоинства тускнеют. Джонс явно не был трагиком: ни в материальном, ни в душевном плане. Сейчас он доводил свою

осмотрительность до аскезы. Он сэкономил деньги, эмоции, слова. Нет смысла ни на что тратиться, ибо ничто ничего не стоит. Правда, оставались еще девочки, Джонс должен был ради них жить и работать, но с минимальной затратой себя. Вот и получалось: я разливался Ирмой Яунзем, а студенты слышали: «Девушка идет к ручью. О, как светла вода!»

Телеграфная краткость перевода огорчала — уж больно живой заладился разговор. Студентов интересовало, как у нас становятся писателями. Расспрашивали с такой горячностью и дотошностью, словно хотели незамедлительно воспользоваться нашим опытом. И, махнув рукой на своего скупого толмача, я заговорил на языке, который некогда в самообольщении считал английским. Рассказал про Литературный институт имени Горького, про творческие кружки на заводах, фабриках, при клубах и учреждениях, про московские и всесоюзные семинары молодых авторов. Последнее особенно заинтересовало студентов. Я едва успевал отвечать. Сохраняется ли зарплата участнику семинара, кто оплачивает проезд, проживание, питание, привлекают ли к этому делу издателей. Все такие практические вопросы в истинно американском духе. Примолкший, тоскливо понурившийся Джонс вдруг поднял голову:

— Я правильно понял, что этим ребятам сохраняют жалованье?

— Разумеется.

— И оплачивают проезд?

— Да.

— И проживание?

— Конечно.

— И питание? — Джонс почему-то понизил голос.

— Ну да. Все бесплатно.

— Живут же люди!.. — со вздохом сказал Джонс...

Джонс, в чем я вскоре убедился, потерял доверие к окружающим. Если уж самый близкий и родной человек может

быть так беспощадец, то чего ждать от других. Он подозревал своих коллег в интригах, желании его выжить. Даже второму тренеру команды, где играла его дочка, он не доверял, полагая, что нет такого второго, который не желал бы стать первым. У всякого иного подобная подозрительность была бы отвратительной, но Джонса выручало страшное обаяние. Темные глаза сужены в монгольские щелки, слабая, удивленная, жалобная улыбка заблудилась в излучинах морщин, голова чуть покачивается. «Хочет на мое место» — это о коллеге-профессоре; «Не подает руки, считает меня виновным в поражении» — это о тренере. И не скажешь, что эти открытия огорчают его, они вносят какую-то ироническую ноту в его страдания...

Студенты и аспиранты пригласили меня на вечер. Видимо, так было решено заранее, обычно прием устраивал главный профессор. Джонс сказал с мягкой, загадочной улыбкой: «Вас ждет сюрприз». Но главный сюрприз ждал его.

Он пришел вместе с Катариной, необыкновенно элегантно: в белом комбинезоне из какой-то упругой плотной ткани, красиво подчеркивавшей крепкую худобу ее молодой фигуры и цветом — бронзовый загар четкого лица. Но что-то в ее темных, с расширенными зрачками глазах настораживало. И улыбалась она слишком часто, преувеличенно любезно, явно не видя, кому она улыбается. С ней что-то случилось, едва она перешагнула порог этого милого и непритязательного дома. Я так и не знаю, отчего произошел взрыв. Возможно, она ощутила свою изолированность: возле нее был человек, притворявшийся ее мужем, хотя он — отец, а кругом двадцати- и тридцатилетние, чей возраст она прозевала. К тому же хозяйка дома, аспирантка Джонса, пела песни Булата Окуджавы — это и был обещанный сюрприз, — усиленная заложенную в них печаль. Я слушал песни и не видел, что произошло в соседней комнате, где стоял стол с бутылками и закусками. Была какая-то малая суматоха, всплеск

голосов, затем донеслось: «Джонсы уходят!» Я пагнал Катарину в дверях: «Куда же вы?» Она не ответила, только покачала головой в тугом обжиге волос. Ее щеки из-под смуглоты палило, и шея, и обнаженные руки горели. Казалось, притропясь — вскочит волдырь. Я от души пожалел Джонса. Скрытое стало явным, она вышла на люди семейную беду. Ей уже было все равно, что подумают, а это непросто для такого человека, как она. Тайна обнажилась, как у Олби. Джонс был похож на свой «фольксваген»: перебиты крылья, передок смесен...

Но следующий день, как и обычно после бури, выдался спокойным. Мы с Джонсом ездили на футбол, где команда, в которой играет его младшая дочь, потерпела поражение с сухим счетом, а веснушчатое существо среднего пола — второй тренер — отказало Джонсу в прощальном рукопожатии, палоткнув его на мысль о готовящихся кознях.

Усталая, опустошенная, притихшая Катарина выразила желание проводить меня в аэропорт. По пути Джонс стал настаивать на ленте, и все мои отказы и уверения, что я поем в самолете, во внимание не принимались. Ему, видимо, требовалась искупительная жертва за малую передышку, испослашную судьбой.

Мимо нас, как и всегда на выезде из города, мелькали бесчисленные «Макдоналдсы», кафетерии, закусовые, но Джонс ими пренебрегал. Он искал что-то особенное, и меня это начало тревожить — времени в обрез, а изысканный стол, как и «служение муз», не терпит суеты.

С трудом отыскали мы какое-то невзрачное кафе в одной из боковых улиц. «Я нарочно привез вас сюда, — сказал Джонс. — Это необычное кафе, в таком вы больше не будете. Оно принадлежит индейцу, последователю и чуть ли не основателю какой-то религиозной секты. Здесь вы получите пищу, максимально приближенную к земному образу. Никаких подделок, никакой химии, никакого обмана. Так пита-

лись наша прама́терь Ева и праотец Адам до грехопадения. Одним словом, пища чистая и естественная, как в раю». Его витийство показалось мне подозрительным.

Внутри кафе украшено огромным портретом толстого индейца и бумажными полосами с его изречениями. А смысл «райской пищи» открыло тощее меню. Это было вегетарианское заведение, где выбор ограничивается разного рода салатами. Пища действительно была максимально приближена к райским пастбищам и возможностям наших безденежных прародителей. Джонс хотел и на судьбе выгадать. Какой все же цельный характер, не дающий размякнуть твердому ядрышку ни при каких невзгодах...

Для чего уделил я столько внимания Джонсам? Люди и вообще заслуживают внимания, особенно те, кому плохо. Но дело не в этом. Как читатель, несомненно, понял: ситуация Джонсов напоминает происходящее в пьесе «Кто боится Вирджинии Вульф». Конечно, драматург предельно обострил и довел до трагического гротеска житейскую скорбную историю, разыгравшуюся в профессорском доме, но в этом есть художественная правда. Пусть в жизни все выглядит куда опрятнее, тише, «нормальнее». Олби как художник прав. Его пьеса — концентрат тех малых и не очень малых житейских драм, что разыгрываются на всех ступенях американского общества.

Иное чувство вызывает роман Джозефа Хеллера «Что-то случилось». Герой романа, служащий неназванной фирмы, с кокетливым упорством на протяжении многих страниц предается душевному стриптизу самого вульгарного свойства. Это противно, но совсем не ново. С великой откровенностью и серьезностью Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди» открыл двери в неопрятный мир детской и юношеской сексуальности. Но Руссо не эпатировал читателя, с предельной искренностью пытался разобраться, из чего строилась его, Жан-Жака, личность. У Хеллера нет такой пакости, которой

не наделил бы он своего жалкого и противного героя и его близких: жену, дочь, сына. Чтоб было еще страшнее, второго сына он делает идиотом. Вот, мол, рядовая семья среднего американца: сексуальный маньяк и мелкий честолюбец папа, алкоголичка-жена, изломанная наркоманка-дочь, старший сын с признаками истерии, младший — полуживотное. Ко всему еще с самого начала объявлено, что герой находится в состоянии непрекращающегося трясучего страха. В ходе повествования эта декларация ничем не подтверждается, но правила хорошего тона соблюдены — какой же современный роман без фобий! В конце романа, где вкус окончательно изменяет автору, написавшему некогда великолепную антивоенную сатиру «Уловка 22», герой душит в объятиях — и прикапчивает — старшего сына, единственное существо, которое он любил. Символика неестественного поступка — он задушил в себе остатки человечности и стал готов к преуспеванию в том обществе, которому принадлежит.

Жизнь современного американца при всей бытовой облегченности достаточно сложна. И нет ничего удивительного, что американские писатели берут ситуации конфликтные, драматические, острые, болезненные, ими движет стремление не только сделать свое произведение увлекательным и уцелеть в жесткой конкуренции, но и помочь обществу искоренить свои недостатки, пороки, заблуждения, помочь человеку выйти из душевного и социального тупика, равно и защитить его от гнета, внешних и внутренних разрушительных сил. Я говорю о писателях серьезных, ставящих себе серьезные цели, а не о производителях развлекательного чтива. Конечно, и серьезный писатель может оступиться. У Хеллера, несомненно, были серьезные намерения, когда он садился за свой «семейный роман», но желание ошеломить, повторить успех «Уловки 22», дурное литературное кокетство привели к провалу — американские читатели дружно не приняли роман.

Я склонен думать, что разоблачительная литература в какой-то мере льстит американцам, они выглядят в ней сложнее, загадочнее, значительней, демоничнее, чем на самом деле. В действительности Сноупс вовсе лишен того помоечного величия, каким наградили его Фолкнер, он вполне бытовой человек с заурядной и даже уютной душошкой, а не мистический накопитель. Живые американцы не разыгрывают бессалий Апдайк, Трумэна Капоте, Пинчона, не охотятся на крокодилов в нью-йоркской канализации, не живут в ветвях деревьев, не скачут и не кровоточат раненым кентавром. Все куда проще и плоше...

Вообще же литература — дитя неустройства. Вот почему в раю, во всяком случае, до грехопадения, не могло быть литературы. После грехопадения стало о чем писать, появилась первая проблема. Живописать же самих себя, свои совершенства, в поучение самим себе — занятие пустое, это понимали небожители и не брались за перо. И хотя Библия утверждает, что вначале было Слово, потом был Бог, я в это не верю. Предбытие не нуждалось в словах, ибо нечего было называть. И в Эдеме царила немота, поскольку безошибочны были все движения населяющей его жизни. Слово возникло с первым конфликтом — появилась тема.

Пусть бегло, поверхностно — нельзя за несколько дней проникнуть глубоко в тощую и сложную драму незнакомых людей, но все же я смог что-то рассказать о Джонсах. А мог бы я рассказать о мире и ладе, который наблюдал в десятках профессорских семей? Кого интересует тихая, спокойная, дружная жизнь, порой с палетом старомодной сентиментальности? У профессора К. с женой — преподавательницей русского языка — общий письменный стол, разделенный пополам, хотя в своем просторном доме, без детей, они свободно могли бы иметь каждый по кабинету. Но им радостно и нежно работать бок о бок, у них тогда лучше получается.

Когда К. за рулем, он поминутно тербит жену: «Моллинька, куда поворачивать? Ох, Моллинька, кажется, я проехал. Юрий Маркович опоздает на лекцию, все пропало. За чем только он приехал сюда, я его погубил. Вся надежда была на тебя, Моллинька, а ты мной не руководишь». Конечно, он вовсе не испытывал такого отчаяния, да и ехал правильно, но так любил жену, что хотел все время чувствовать на себе ее внимание, чтоб она направляла его, поругивала, одергивала. Это вызывает улыбку, но не раздражает, поскольку за всеми воплями К. чувствуется хорошая и любящая душа. «Моллинька, видишь, мы приехали не к тому подъезду. О горе! Люди собрались, а лектора нет. Моллинька, зачем ты пустила меня за руль, такого целеного человека, ты разделяешь мою вину. Бедный, бедный Юрий Маркович!..»

Я ничего не могу рассказать о красивой семье Ричарда П., состоящей из него самого, белокурой жены, чьи предки, видимо, обитали на берегах Рейна или Эльбы, рослого сып-баскетболиста, который вскакивает, когда взрослые входят в комнату; покидая дом даже ненадолго, высокий и мощный, нежно целует родителей — деликатность и взаимное уважение доведены в этой семье до уточенности. А что можно рассказать о прекрасной семье профессора Б., с двумя золотоволосыми сыновьями-погодками, схожими, как близнецы, и столь привязанными друг к другу, о светлой, радостной семье, где понимание — с полуслова, с полувзгляда, где отец все время в трудах и размышлениях, а мать хозяйничает, кухарит, изобретая все новые блюда, а для души занимается гончарным делом. Ребята упоенно читают, гоняют на роликах и велосипедах, смотрят телевизор, что-то мастерят и настолько тратят себя в этом, что у них не остается ни сил, ни времени для хулиганства. Очень это увлекательно? Вот так же и во многих других знакомых мне семьях — нет материала для литературы. Место писателя там, где нарушились привычные связи...

Я вдруг задумался над закопшостью слова «американец», которым так щедро пользуюсь. Рокфеллер — американец, нью-йоркский безработный тоже американец, а что между ними общего? Жаклин Кеннеди-Онассис — американка, и черная женщина с бородой — американка. Стоп! Тут положено сказать «американская негритянка». Да, «американский негр» — распространенное выражение, реже употребляется «американский еврей», «американский итальянец», но никогда не говорят «американский француз», а тем паче «американский англичанин», видимо, из-за давности их пребывания на этой земле. Мой знакомый профессор Дин, чьи предки прибыли на легендарном корабле «Майфлауэрс», никогда не признает настоящим американцем уроженца США профессора Сиднея Монаса, чей папа — выходец из Одессы. Но и Дин, хоть он считается аристократом в стране, не имеющей аристократии, зря задается: когда его предки прибыли в Америку, тут уже обитали голландцы. А до них были испанцы. Строго говоря, вся Америка состоит из эмигрантов, кроме забытых и почти истребленных первожителей страны — индейцев, но как раз их американцами не числят. Выходит, американцев как нации не существует? И вместе с тем весь мир, произнося слово «американец», имеет в виду нечто такое же определенное, во всяком случае, поддающееся характеристике, как англичанин, француз, немец, итальянец.

Вообще в этой области все зыбко и условно. Разве похож д'Артаньян на Шарля Бовари, Кола Брюньон на адвоката Ребандара, гасконец на нормандца, пикардиец на уроженца Турени? И все-таки можно говорить о типе француза. Есть что-то общее, характерное, что сохраняется при всех различиях — социальных, имущественных и тех, что связаны с местом рождения, воспитанием и религией. В отношении Америки дело

обстоит сложнее, слишком много тут намешано рас, слишком велико имущественное неравенство и неравенство людей перед законом, слишком пестро во всех смыслах население страны. Американец — это некий национальный полуфабрикат, который со временем деформируется в нацию. Я же, произнося слово «американец», подразумеваю жителя Америки среднего достатка, имеющего работу, жилье, счет в банке, дающего детям образование, любителя телевизора и газет с воскресным приложением, пива, бейсбола и футбола. Когда-то его все узнавали по цилиндру величиной с паровозную трубу, потом — по котелку и канотье, потом — по мягкой фетровой шляпе с широкими полями, а ныне — по готовности обходиться без головного убора в любую погоду. Вовсе не желая скаламбурить, скажу, что для меня, как и для всех, американец — это средний американец. Ну, вот о нем и поговорим.

Прежде всего американец необыкновенно опрятен. Несмотря на внешнюю дремучесть иных молодых людей: патлы, бороды, усы (сейчас всего этого стало куда меньше), рваные, выгоревшие джинсы, стоптанную нечищеную обувь, телесно они всегда чистые. Душ — первая необходимость — утром, днем, вечером. От американца не может скверно пахнуть, он стерилен, к его услугам десятки одораторов — для рта, для подмышек, для ног, вокруг американца реет ароматное облачко. Американцы не пижоны. Босаяцкий вид молодежи — в какой-то мере франтовство наизнанку, но взрослый американец одет просто. Если же на американце красные или клетчатые штаны, то это не из щегольства, а от безразличия и безвкусицы — бросилось в глаза яркое, купил и напялил. Француз, англичанин, итальянец сроду себе такого не позволят, потому что думают, как одеться, а американец — нет. Некоторое, весьма скромное внимание к одежде можно обнаружить на юге, где люди и вообще подтянутее, северяне начисто равнодушны к своему внешнему виду.

Американцы очень любопытны, о чем я уже говорил, но едва ли любознательны, последнее для своего удовлетворения требует усилий, а к этому не больно приучены. Они мало интересуются шумом постороннего мира, но политики и государственные деятели то и дело напоминают им о существовании этого мира, всегда тревожного, беспокойного, грозящего неприятностями разного масштаба: нехваткой бензина, притоком эмигрантов, какой-нибудь пенужной войной, в которую почему-то надо влезть, — и никогда ничего не дающего Америке, кроме того, что она получает за доллары. При отсутствии настоящего интереса к мировым заботам, к чужой истории и культуре, в стремлении изолироваться, отгородиться американцы, особенно пожилые, любят туристские поездки в Европу, меньше в другие части света, и волнуются, слыша чужую речь. В Европе американцы скидывают сдержанность, становятся шумны, развязны, эксцентричны, в этом проявляется своеобразная любезность к Старому Свету: не нарушать традиционного образа.

Изоляционизм американцев не государственная, а народная идея, в резком противоречии с которой находится активная и агрессивная политика правящих верхов. Достаточно сказать, что они вернулись к такому анахронизму, как «политика канонерок», безнадежно скомпрометированная историей и похороненная еще в прошлом веке. Ныне труп эксгумирован...

Американцы очень приметливы к предметам материального мира. Удивить их нелегко при том переизбытке вещей, какой их окружает, но легко озадачить стариной: шкатулкой или табакеркой с музыкой, поющей заводной птичкой, часами с репетиром или современной чепухой с глупыми розыгрышами. В американцах много детского, недаром Хемингуэй считал, что американские мужчины никогда не становятся взрослыми. Более состоятельные американцы помешаны на старинной мебели и антиквариате. Это понять легко: США —

страна без истории. Нельзя же считать за историю двести незаметно промелькнувших лет. Американцы очнулись где-то в середине прошлого века, когда кончился золотой век тонкого вкуса, изысканной мебели и воцарилась эклектика. Какой-нибудь заваливающий «чиппендейл» или «жакоб» даже в богатом доме служит предметом культа.

В американцах много привлекательного. Они гостеприимны и широки, хотя, разумеется, в семье не без уroda: я видел профессора, который приходил в гости с бутылкой водки, настоящей на стручках красного перца, щедро всех потчевал, а остаток уносил домой; они откровенны, искренни, отзывчивы, очень обязательны и точны. Иметь дело с американцами приятно: они не заставят ждать, любое обещание выполнят, но требуют такой же четкости от партнеров. При всем этом американцы эгоцентричны и неприметливы к окружающим. Чужая душевная жизнь их мало интересует. И потому не стоит переоценивать сердечность американцев при знакомстве и случайных встречах: восторженные крики, улыбки от уха до уха, похлопывание по плечу, можно подумать, что человек жить без тебя не может, а весь этот внешний энтузиазм сиюминутен, он не имеет ни корней, ни будущего. Впрочем, когда ты это знаешь и соответственно относишься, американская повадка кажется довольно милой. Разве лучше холод, сухость, равнодушие? Что ни говори, а при поверхностном общении форма много значит.

Я не раз слышал, что, мол, американцы чем-то похожи на русских. А чем-то на англичан. И чем-то на скандинавов. Думаю, они немножко похожи на всех людей в мире и даже на самих себя, таких, какими их хочет видеть мир.

Подвижность американской психики, а стало быть, и вкуса, особенно приметна в отношении к искусству. Я уже говорил о той легкости, с какой тут зачисляются в классики — в литературные мертвяки. Страшно быть американским писателем: оглянуться не успеешь, как ты уже в пантеоне, иначе

говоря, на почетной свалке. Но особенно быстро «снаниваются» новые течения в изобразительном искусстве.

Мы еще ратоборствуем с абстракционизмом, а американцы, взяв все возможное удовольствие от чистой игры красок этой декоративной живописи, не отягощенной содержанием, но дарующей физиологическую радость глазу, спокойно перенесли свое внимание на прямо противоположное: предельную, почти фотографическую конкретность и точность изображения вещного мира.

Я попал на выставку одного из таких художников в Нью-Йорке, в музее «Метрополитен», забрел случайно из залов, набитых самыми отчаянными абстракциями. Признаться, я несколько пресытился их кричащей немотой, хотелось чего-то конкретного: красноватого бургерского лица над кружевным жабо, терборховского атласа или дымчатой виноградной кисти возле хрустального кубка Хедды с недопитым рубиновым вином. Но крутился я среди отвлеченностей, как жертва Миноса в Лабиринте, безнадежно выходя на собственный след, и вдруг увидел телефонные будки — четыре в ряд. Они сулили избавление, и я кинулся к ним со всех ног. К великому моему изумлению, будки были изображены на большом холсте в натуральную величину. Я пригляделся к ним, и мне расхотелось терборховского атласа и печального хрустала Хедды. Я попал в окружение ошеломляюще реальных кусков действительности — большие, предельно четкого письма полотна предлагали мне то прилавок овощника с помидорами, зеленым луком, морковкой, петрушкой, спаржей, укропом, сельдереем, артишоками — словом, всем, что растет на грядках (овощи тщательно вымыты, капли воды блестят на клубнях и ярко-зеленой ботве), то маленькую, еще запертую на замок часовую мастерскую, то лавку древностей, где каждый выставленный на витрине предмет хочется взять в руки и рассмотреть, то аптеку со всем, что полагается этому заведению, то автобусную остановку с расписанием мар-

шпуртов и старой облупившейся скамейкой, изрезанной перочинными ножиками, то вход в киношку с рекламным стендом, выгоревшими афишами, замусоренным тротуаром — окурки, горелые спички, обертки от мороженого и конфет. А вот помойное ведро у двери какой-то хибарки, старое, мятое, полное через край мусором, овощными очистками, всякой ослизой дрянью, и притягательное не менее, чем подносы Хеды с серебром и хрусталем; хочется рассматривать его, не обходя вниманием ни одной подробности. Человеку интересно все, что наполняет его жизнь, — и высокое, и низкое. В этом смысле телефонная будка, прилавок овощника, витрина и даже помойное ведро наделены в искусстве ничуть не меньшим чином, чем изыски старых мастеров. К тому же долгое засилье абстракций придало вещному миру новую значительность, поэтичность и странную глубину. Ни на одном полотне нет «оживляющей» изображение человеческой фигуры, от чего частенько не удерживался даже Снайдерс. Видать, и ему казалось, что без человека пустошно и скучно. Нет, не скучно. Ненаселенный, но целиком созданный человеком и принадлежащий человеку мир этих картин обладает необъяснимой одухотворенностью. Доведенная до предела иллюзорности натуралистичность как бы взрывает свою узость и растворяется в мироздании. Эти телефонные будки, прилавки, витрины, поганые ведра, скамейки, асфальт, штукатурка принадлежат не улицам каких-то скучных городов, а Вселенной.

И все-таки я не могу передать, чем так прекрасен и волнующ этот пустынный оцепенелый мир обыденных вещей. Быть может, все дело в том, что именно привычное, каждодневное мы видим хуже всего, ибо никогда на нем не задерживаемся. Мы так суетливы, торопливы, беспокойны, вечно куда-то опаздываем, где уж тут взглянуться в окружающее нас изо дня в день. Но, крутясь в своем привычье, мы произвольно населяем его поэзией наших тревог, надежд, разочарований, ожиданий, трепета и, вдруг увидев возле глаз в му-

зейном покое, тишине и нетревожной сосредоточенности, получаем назад все, что туда вложили. Боже мой, каким зарядом поэзии обладает одна только телефонная будка! А трамвайная или автобусная остановка! А угол улицы, за которым только что скрылась незнакомка!.. Я чувствую, что приближаюсь к сути дела, и будь у меня в запасе вторая жизнь, непременно додумался бы до последних, окончательно точных слов. Но мне не светит вторая жизнь...

Этот род живописи был нов только для меня, американцы уже успели привыкнуть к нему. Хотя абстракционизм на Западе подчинил себе на какое-то время вкус большинства, на него не переставали яростно кидаться многочисленные противники. Но ничего не могли поделать с ним, как никогда не могли ничего поделать с естественно возникающими новыми формами искусства приверженцы старых. Восприимчивость людей к тем или иным формам искусства с годами притупляется, и тогда искусству, чтобы выжить, надо дать что-то новое, иную точку зрения на окружающее. На этом в свое время взошел абстракционизм. Но как бы сейчас ни изощрялись сторонники беспредметного искусства, им не одолеть всевозрастающего равнодушия публики. Оказывается, пришла пора — по закону контраста — максимально сблизиться с предметным миром. Презренная «фотография» (говорю условно, ибо в живописи, о которой идет речь, есть отношение к изображаемому, она не бесстрастна, как объектив) победила игру чистой живописности. Нельзя уговорить человека покончить самоубийством; либо этого хочется, либо нет. Так же нельзя заставить человека отвергнуть полюбившееся ему искусство и принять чуждое. Человек может сделать вид, будто подчинился, в душе же останется при своем мнении. Почему-то мне кажется, что интерес к живописи, заимствующей основной прием у фотографии, не будет продолжительным. Тут нарушается закон о переходе количества в качество: чем ее меньше, тем лучше, свежее впечатление, в

переизбытке же возникает страшное и тягостное ощущение духоты. У этой живописи есть что-то общее с «новой журналистикой», берущей в основу художественного повествования документ, хронику подлинных событий. Интересно, порой захватывающе («Холодная кровь» Трумэна Капоте), но и вроде бы тесновато. Не дает полного утоления жажды такая литература, и вновь тянет читателя в «даль свободного романа», пыле почти разрушенного в США дружными усилиями авангардистов...

7

Любопытен процесс, наметившийся в американском театре. С одной стороны, продолжают поиски в области абсурдного, в чем — пользуясь папурговым способом острословить — дошли до полного абсурда, с другой — в оформлении спектакля, в сценическом поведении пришли к некому подобию фотоживописи.

В свое время Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Каверин, на Западе — Крэгг, Пискатер в своих сценических поисках полностью разгрузили сцену от бытовой захламленности, что так сближала подмостки с жизнью в поэтике реалистического театра. И все же эти новаторы не отважились на совершенную условность театра дней Шекспировых, где написанное на дощечке слово «лес» давало обстановку гибели Ричарда III. Малый театр, да и МХАТ, уплативший дань символической отвлеченности, создавали на сцене не подобие — дубликат жизни. Я хорошо помню, как в прекрасном спектакле «Хозяйка гостиницы» кавалер Риппафрато съедал на сцене целый обед, приготовленный и поданный соблазнительницей Мирандолиной. Мой старый друг, артист Малого театра П.И. Старковский, игравший генерала Крутицкого в

пьесе «На всякого мудреца довольно простоты», отказывался дома от чая, до которого был большой охотник, перед спектаклем. «Попью на сцене», — говорил он и действительно с аппетитом чаевничал в третьем действии, уминая коржики, пастилу, печенье и райские яблочки в меду. Высмеивая бытовую загруженность актеров на сцене, Вахтангов заставлял их подниматься по лестнице, приставленной к пустой стене, или совершать другие, столь же бесполезные действия. Оказалось, что зрителю совсем не пужно, чтобы актеры ели и пили на сцене, он хочет от театра не бытового правдоподобия, не рабского копирования каждодневной жизни, а чего-то совсем другого. И до чего же удивительным показался мне на редкость натуралистический обстав сцены в одном из самых своеобразных и загадочных спектаклей из всех идущих в нью-йоркских забродвейских театрах — «Последняя любовь Уорхола».

Энди Уорхол — современный художник поп-арта, известный и своим оригинальным искусством, и еще более экстравагантным поведением. То он разъезжает по стране с выставкой картин, а потом выясняется, что это вовсе не он, а загримированный под него актер. То оказывается героем скандальной любовной истории, озвученной pistolетными выстрелами. То его видят верхом на рассветных улицах Нью-Йорка в костюме прустовского светского льва, горящего скакуна в аллее Булонского леса.

В спектакле, кроме самого Уорхола, действует призрак знаменитой террористки из ФРГ Майнгоф-Баадер, которую нашли повесившейся в тюремной камере. По мнению автора пьесы, дух террористки нашел приют в одной из галактик, откуда и нисходит на землю. Впрочем, некоторые зрители отказывались признать в таинственной женщине с золотым рогом на лбу, без всякой причины убивающей героев пьесы из pistolета, призрак Майнгоф-Баадер. Но поскольку суть зрелища непознаваема, это не так уж важно.

Первое действие, которое называется «Эмигранты», происходит на втором этаже небольшого театра. Сидят зрители в верхнем зале, довольно просторном, на ступеньках четырехрядного амфитеатра. Сцены нет. За сценическим пространством находятся огромные, во всю стену, окна, глядящие на крыши, чердаки и пожарные лестницы соседних домов. Вдоль окон снаружи проходит довольно широкий карниз, по которому некоторые персонажи пьесы, сделав, что им положено, проходят к пожарной лестнице и спускаются во двор. Другим персонажам разрешено удалиться через двери, которые служат и зрителям. Третьи никуда не уходят, остаются на грязном полу после выстрелов золоторогой незнакомки.

Когда мы заняли места, сценическая площадка уже была населена: на узкой койке спал одетым молодой парень, а его подруга в легком халатике ловила какие-то сообщения по радио... И поймала — насчет духа Майнгоф-Баадер. Но я хотел о другом. Условное, даже бредовое зрелище — лишь отдельные частности поддаются приблизительной расшифровке — обставлено с реализмом, которому позавидовали бы МХАТ эпохи сытых обедов кавалера Рипшафрато и Малый театр с долгим чаевничанием генерала Крутицкого. Там было все, что только может быть в жилище бедных эмигрантов, создающих свой быт с помощью добрых людей, блошиных рынков и мусорных свалок. Старый приемник без ящика на колесном, заваленном газетами столе, там же пишущая машинка в помятом футляре; несколько убогих стульев, кухонный столик, на нем закопченный металлический кофейник, электроплитка, разнокалиберная посуда, почерневший серебряный молочник, фарфоровая сахарница с отбитыми ручками, пол застелен драпками, захоженными половиками, у рукомошника — грязные полотенца, вороха неопрятной одежды, какие-то ржавые инструменты, под столом старомодный патефон с набором пластинок, битком набитая корзина для мусора, а вокруг пачки из-под сигарет, обертки жевательной

резинки, бутылки из-под кока-колы и еще не счесть сколько всякой дряни, обременяющей существование современного городского человека, даже самого неимущего. Из всей этой несметы для сценического действия необходим едва ли десяток предметов.

Столь же подробным и вполне жизненным — в элементах поведения действующих лиц — было и все происходящее на сцене. Женщина бесконечно долго настраивала барахлящий приемник, пока не поймала интересующее ее сообщение, потом занялась кофе. Плеснув воды в кофейник, заварила, поставила на плитку, вымыла и вытерла насухо две чашки, положила туда сахару. Закурила, промучившись довольно долго с отсыревшими спичками. Мужчина все это время крепко спал. Попив кофе с молоком, женщина долила в кофейник воды и снова поставила на плитку. Видимо, почувствовав запах кофе, проснулся мужчина и, нащупав под койкой сигареты, закурил. Женщина подошла, откинула одеяло, засучила на нем брюки и очень профессионально сделала ему массаж ног. И тут я поймал себя на том, что слежу за происходящим затаив дыхание. Ты словно подглядываешь в щелку за чужой жизнью. Искусство тут ни при чем, возбуждено чисто житейское любопытство. Но есть и другое, пожалуй, более важное. Это как в поп-арте. Самые обычные предметы: банки из-под крупы, жестянки из-под сардин, канистры, будучи изъяты из привычья и помещены на стене музея, вдруг обретают значительность символа. И смотришь на них не отрываясь, будто сроду не видел. Так исполнились высшего значения все бытовые мелочи дома эмигрантов. А как интересны и содержательны простейшие движения человека, когда он курит, пьет кофе, вертит ручку приемника! Сколько изящества в человеческом теле, воспитанном не природой, а цивилизацией. Это не надоедает. Приходили новые люди, что-то приносили, складывали в угол комнаты, пили кофе, курили и удалялись через окно. Можно было придум-

мать, что они приносят контрабанду, наркотики, оружие, но мне лично ничего придумывать не хотелось. Неизвестные были привлекательны своим бытовым поведением: каждый по-своему зажигает спичку, по-своему затягивается и выпускает дым, по-своему держит чашку, глотает кофе... Потом хозяин вытащил из-под койки патефон, завел ручкой и поставил заигранную, хрипатую пластинку. Музыка, как всегда, встревожила, стало казаться: что-то произойдет. Но пластинка знай себе играла забытое танго тридцатых годов, персонажи продолжали свою простую безмолвную жизнь, в которой самым важным были сигареты и кофе, из их смиренной вялости ничего возникнуть не могло. Как вдруг появилась золоторогая женщина и перестреляла из пистолета всех, кто оказался под рукой. Первое действие кончилось, и зрители перешли в нижний зал.

Хочется разобраться в увиденном, но и не хочется одновременно. При чем тут Энди Уорхол? Ну, это понятно, недаром же мне вспомнился поп-арт. А его последняя любовь? Но ведь пьеса продолжается. Не будем слишком требовательны. В конце концов, нам и так показали немало: скудость, тщету, случайность жизни и случайность — предопределенную — гибели обобщенных до нитки — душевно и физически — людей, которые называются «эмигрантами».

Одна из стен нижнего зала была сплошь стеклянной и глядела на скучную пасмурную вечернюю улицу. У обочины стоял старый «бьюик», изредка мелькали фигуры прохожих, большей частью негров; паренек с бородой, которого мы видели в первом действии, без усталости отбивал чечетку на тротуаре. Сценическое пространство предельно разгружено: стол, два кресла, небольшое настенное зеркало, телевизор и белая простынка киноэкрана. Да, еще на полу стояла шкатулка неизвестного назначения. Вот и все.

Действие началось как-то незаметно. Появился уже знакомый нам актер, игравший одного из посетителей эмигрант-

ского дома, он пил «из горла» пузатой бутылочки светлое пиво. Подойдя к стеклянной стене, осведомился жестом у чечеточника, не хочет ли тот пивка. Чечеточник хотел — зазвенело выбитое бутылкой стекло, и освежающий напиток оказался у него в руках. Я не заметил, кто зажег старую автомобильную покрывку, валявшуюся на мостовой возле «бьюика», огромное пламя озарило улицу, к вящему восторгу набежавших откуда-то зевак. И тут оказалось, что за всем происходящим на улице можно следить по телевизору.

Оживился и киноэкран. Уорхол в бриджах, верховых сапогах и низком цилиндре скакал по еще не пробудившимся улицам Нью-Йорка на вороном коне. Мимо запертых магазинов, спящих автомобилей, в безлюдности, какой не знает бессонный Нью-Йорк. И раз он спешился, и к нему выбежала девочка, набоковская нимфетка, и напряглась страсть, но ничего не случилось — девочку властно позвал бородатый молодой человек, тот самый, что отбивал за окнами чечетку. Похоже, он был ее отцом, и девочка покорилась. Уорхол снова скакал, но теперь за ним гнались на автомобиле. И будь город все так же пустыней, настигли бы в два счета, но Нью-Йорк уже очнулся и закрутил свою сумасшедшую карусель, и здесь гибкий конь обладал преимуществом перед автомобилем. Преследователям все же удалось спешить Уорхола, коня угнали, а художник, странно беспечный к своей судьбе, ничего не замечал, разговорившись с какой-то полной, средних лет женщиной. И вдруг оба сошли с экрана и во плоти предстали перед нами.

Уорхол стал интервьюировать женщину. Она оказалась профессиональной ведьмой. Художник попросил продемонстрировать свое искусство. Женщина деловито сняла халат и, совершенно голая, принялась справлять колдовской обряд: кадить, чадить, произносить заклинания то лицом к зрительному залу, то к окнам, за которыми собралась немалая толпа (молодые негры пустились от восторга в пляс), то перед зер-

калом. Весь необходимый для обряда реквизит ведьма доставала из шкатулки: чаши, кости, бусы, стеклянные шарики, каменные фигурки. Работала она сперва при полном электрическом свете, потом при свечах, и длилось это не менее академического часа. Когда же зажглось электричество, ведьма накинула халат, закурила и, присев к столу, объяснила Уорхолу, что театр — случайный эпизод в ее жизни, она женщина скромная до застенчивости, но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж, — уважая свою профессию, она вынуждена править обряд в голом виде на глазах толпы, ибо так требуется по ритуалу. Томительную ситуацию, в которой ничего не происходило, да и не могло произойти, разрядила золоторогая пришелица. Метким выстрелом она прикончила Уорхола, ко всеобщему облегчению. Свет погас, а когда вновь зажегся, ведьма старательно прибирала за собой, целуя каждый культовый предмет, прежде чем уложить его в шкатулку. От нее мы узнали, что театр давал сегодня последнее представление — уезжает в Гамбург на гастроли. «А вы не едете?» — «С какой стати, у меня тут клиентура. Что, в Гамбурге своих ведьм нету?» Я недавно был в Гамбурге и авторитетно могу сказать — хоть завались...

Я рассказал об этом страшном, как полотно Сальвадора Дали, спектакле не ради него самого, ибо не знаю, в чем его конечный смысл. Наверное, в том, что конечного смысла нет, но много промежуточных. А когда у тебя отнимают любимую и отнимают коня, а к этой любви ты мог явиться только на коне, то не помогут тебе и ведьминские чары, ничто не поможет, и пуля из галактики самый лучший выход. Но нельзя же принимать эту метафору за конечный вывод...

Меня заинтересовало, что в оформлении сюрреалистического спектакля использованы приемы сценического натурализма, родственные той «вещной», фотографически точной живописи, о которой говорилось выше. И это любопытный поворот в американском искусстве, обьевшемся абстракциями.

Все же условное искусство продолжает существовать и порой одерживает новые победы. Пример тому — громадный и неубывающий успех своеобразнейшего спектакля «Мумменшанц». Это немой спектакль. У нас в Москве есть Театр мимики и жеста. Тут только жест, и то лишь во втором отделении, где тела актеров затянута в черное трико, а лица скрыты различными масками. В первом отделении нет и жеста, есть лишь движение упрятанных в меняющуюся оболочку актеров. Первая миниатюра буквально потрясает. На сцене возвышается помост, похожий на каменный брус. И некая аморфная материя, праматерия, которой еще предстоит формоваться, пронизанная первым волевым импульсом, пытается взобраться на этот помост. Бесформенная груда, мучась отсутствием упора внутри себя самой, выпускает беспомощные отростки, неспособные заменить конечности, чтобы уцепиться ими за помост, но жалко, неукложе срывается, некоторое время лежит в изнеможении и вновь карабкается наверх. И кажется, что эта работа рождает в груди нечто вроде мышления: она делает выводы из своих неудач, пытается переместить в себе центр тяжести, чтобы уже не уцепиться за помост, а рухнуть на него, но снова терпит неудачу и вновь идет на штурм. И в какой-то момент ей удается отделиться от земли и повиснуть на краю помоста, это много, но до победы еще далеко — мучительное балансирование завершается сырым ударом об пол. И ты ловишь себя на том, что изо всех сил сочувствуешь этому образу тебя самого; ты уже понял: у вас одна суть, и это только кажется, будто ты решаешь более сложные задачи, так же нелепо, упорно, бессильно, жалко и величественно пытаешься ты оседлать судьбу, срываешься, падаешь, расшибаешься и снова упрямо лезешь наверх. Весь зал восторженно рукоплещет, когда чудовищная медуза, желе, студень, как еще сказать, оказывается-таки на помосте. Удивительное и глубокое зрелище!..

Прообраз некоего кольчатого осваивает в следующей миниатюре возможности дарованной ему формы, как бы разви-

вая тему становления жизни. Но во втором отделении спектакль, сохраняя изящество и тонкость, мельчает, превращается в чистое развлечение.

Сейчас в американском театре, как и в искусстве вообще, междуцарствие: натурализм вклинивается в условность, которая вовсе не думает сдаваться. Приметно возрос интерес к высокому реализму Шекспира, Ибсена, Чехова, Лилиан Хелман. Их пьесы ставятся и имеют успех. Быть может, после всех малопривлекательных изысков захотелось честного хлеба?..

8

У меня создалось впечатление, что американская публика вообще очень терпима в вопросах искусства, видимо, от некоторого равнодушия. Нашего горячего, «печеночного» — выражение Лескова — отношения нет и в помине. Горячатся критики, знатоки, профессионалы, а читатели и зрители сохраняют вид рассеянной снисходительности. Так ли уж все это важно? — просвечивает в усмешке легкого превосходства. Повышенный энтузиазм вызывают лишь некоторые эстрадные певцы и джазы, но и в природе этого чувства в пору разбираться психоаналитику фрейдовской школы. Вообще же американцы не склонны преувеличивать значение искусства, его влияние на действительность. Они не считают, что решение проблемы на страницах книги равнозначно решению той же проблемы в жизни.

Говоря проще, к искусству и литературе рядовые американцы относятся не очень серьезно. А есть ли что-то такое, к чему бы они относились по-настоящему серьезно, кроме своего прямого занятия и налогов? Да, есть. Защита природы. Недопущение войны. Простая регистрация лиц призывного возраста вызвала решительный протест, многотысячные молодежные де-

монстрации напомнили Вашингтону о грозных событиях 1968—1969 годов. И когда произведения искусства говорят о предмете главной заинтересованности и делают это «понятным сердцу языком», американцы не остаются равнодушными. Отсюда бешеный успех антивоенного романа «Уловка 22».

Несколько чрезмерный, на мой взгляд, успех фильма «Дерсу Узала» объясняется глубокой озабоченностью американцев проблемой сохранения окружающей среды, естественно-го мира, дарящего дыхание всему живому. Фильм привлек их и обилием превосходно снятой природы — лунными пейзажами, морем тайги и характером гольда-проводника, все знающего про зеленый мир и его обитателей, дружащего с животными и птицами и верящего, что все на земле наделено тонкой человеческой душой и потому заслуживает безмерного уважения и бережи. Американцы пресытились погонями, стрельбой, мордобоем, кровью, сексом, полонившими экран, им хочется тишины и простых человеческих добродетелей: дружбы, верности, сострадания, понимания чужой боли, готовности помочь, им хочется леса, неба и воздуха — все это они получили в «Дерсу Узала» и отблагодарили фильм премией «Оскар». Что лишний раз доказывает, насколько хорошо знает требования сегодняшней публики режиссер Акира Куросава, говоривший мне, сценаристу: «Зачем нам «восточный» вестерн, зачем приключения и фабула? Пусть будет тишина и скука. И пусть зритель вспомнит о кислороде — ничего другого не надо».

Отношение американцев к природе не эстетическое, хотя и это не исключается, прежде всего оно деловое и действенное: природу надо спасать, иначе кончится жизнь на земле. Ни о чем не говорили молодые американцы так охотно и горячо, как о сохранении природы. Что надо делать, чтобы не исчезли леса, не выветривалась родящая почва, не распространялись пустыни, не гибли звери, не замолкали голоса птиц, не пустели моря и океаны? Понять такое отношение к природе

нетрудно. Мало найдется на земле мест, где бы человек так не разбойничал, как на огромном пространстве между Атлантическим и Тихим океанами. История Америки неотделима от чудовищного браконьерства. Оно началось с той поры, когда меткие, но примитивные лук и стрелы хозяев страны — индейцев, чтивших охотничьи законы, сменились огнестрельным оружием безудержных в своих аппетитах белых пришельцев, с поразительной быстротой истребивших громадные стада бизонов — гордость американских равнин. А покончив с бизонами, перенесли огонь на других животных. Такого беспощадного и бездумного уничтожения жизни не знал мир. Когда же спохватились и подсчитали потери, то оказалось, что изведены под корень многие ценнейшие виды четвероногих и пернатых и убыль эту не возместить. К тому времени промышленность переняла эстафету у зверобоев в деле тотального уничтожения природы. К чести человека, он не щадил и самого себя, энергично отравляя воздух своих степовищ. По зараженности атмосферы лишь Токио может потягаться с промышленными центрами США. Я где-то читал, что, если бы Нью-Йорк не продувало с океана, он вымер бы за несколько дней. А устрашающая эрозия почвы, отравление водоемов отходами производств, чудовищная автомобильная вакханалия, пронизавшая бензиновой гарью все поры страны... — отступать, как говорится, некуда.

И граждане США, в частности студенческая молодежь, не сидят сложа руки. Многочисленные общества по охране природы приметно набирают силу и заставляют считаться с собой не только безответственных стрелков, но и куда более страшных браконьеров — промышленные компании. Как ни богаты, ни могучи компании, им все чаще приходится уступать защитникам природы, за которыми общественное мнение страны. Поджали хвост любители бесконтрольной охоты. И оживают водоемы, леса, слышнее голоса птиц, и кое-где зверье вновь обретает, казалось, навсегда утерянное до-

верие к своим ужасным старшим братьям. И я рад, что видел это собственными глазами.

Сиэтл расположен на семи холмах. Мне никак не удалось насчитать столько, но местные жители твердо знают, что столица окраинного штата Вашингтон оседлала именно семь холмов, как Вечный город Рим, и гордятся этим. Улицы Сиэтла не уступят по крутизне лыжным трамплинам; машины спускаются по ним, с террасы на террасу, скрежеща тормозами, а вверх ползут, рыча на первой скорости. Часть старого города находится под землей, напоминая о себе застекленными окошечками в тротуарах. Окошечки, смотрящие в небо, сделаны из толстого небьющегося стекла, которому не страшны каблуки прохожих, но солнце сквозь них проникает в подземелье, где находятся магазины, кафе, бары. Сиэтл лежит на берегу залива, самолюбиво именуемого морем; залив глубокий, сюда приходят океанские пароходы, в том числе из Советского Союза. Холмистый Сиэтл окружен горами, защищающими его от ветров и стужи, склоны покрыты густыми лесами, пониже — лиственными, выше — хвойными, у подножия гор — широкие чистые озера, на которых полно водоплавающей дикой птицы.

Я долго бродил по берегу одного из озер в виду университетского кампуса и многоэтажных корпусов клиники медицинского отделения. Город под боком, наверное, озеро лежит в городской черте, а на меня доверчиво наплывали большие и торжественные, как лебеди, только не белые, а бурокоричневые канадские гуси. Они ждали корма и, похоже, ласки, так грациозно и мило тянулись ко мне длинными, гибкими шеями. Заветнейшая дичь, мечта каждого охотника, они ничуть не боялись, зная, что на водоемах Сиэтла им ничего не грозит. По старой, забытой дрожи, охватившей меня, давно уже зачехлившего ружье и предавшего охоту анафемс, я понял, чего стоило местным природолюбам погасить ту же

дрожь в сиэтловских стрелках. Это своего рода подвиг. Потом, когда я шел сквозь высокие камыши, на болотистую, влажно проминающуюся под ногой тропинку выскочила кряква с целым выводком желтеньких пушистых утят. Она взволнованно закрякала, но без паники, в голосе лишь естественная материнская озабоченность, все-таки она совершила оплошность по их утиным правилам. Но утка-мать не стала исправлять своей ошибки, не юркнула назад в камыши, что было бы лицемерием, поскольку ни ее детям, ни ей самой ничего не грозило. Без излишней спешки она стала уводить семейство по тропинке, приметно оступаясь на правую лапку. Она была калечкой, хромоножкой, но в этом надежном, охраняемом месте жила полноценной утиной жизнью.

Не надо все же рисовать себе слишком идиллической картины этого уголка земли. Сиэтл вовсе не эдем, где люди и животные, насытившись щедрыми дарами природы, трогательно ластятся друг к другу. Грустное впечатление оставила семья негров-рыболовов: нездорово-тучный глава семьи в белом грязном плаще и фетровой шляпе, рыхлая женщина с курчавой головой Анджелы Дэвис и длинноногий, шарнирный сын-подросток в заношенном джинсовом костюме. Все трое с удочками, не со спиннингами, а с дешевыми пластмассовыми удищами. Бестолково, не умея определить глубины, отчего поплавки то ложились на воду, то тонули, увлекаемые на дно тяжелым грузилом, забрасывали они удочки, но поклевок не было, и, уныло переглянувшись, рыболовы тащились дальше. Это не было ни спортом, ни развлечением. Так и оказалось, когда, столкнувшись раз другой в камышах, мы познакомились и разговорились. Семья без работы. Хочется чего-нибудь вкусного, а денег нет. Вот и рыбалят. Иногда удается поймать несколько карасиков или карпа. «Это не запрещено!» — испуганно воскликнул глава семьи...

В самом центре города, возле бронзового бюста индейского вождя Сиэтла, без сопротивления пустившего белых людей на землю родного племени и потому удостоившегося памятника, сидят на скамейках, а больше валяются на асфальте или на зеленом газоне сквера бронзоволицые, черно- и прямоволосые, вдрызг пьяные соплеменники мудрого вождя.

В многочисленных голливудских вестернах белые смельчаки, пробивающие себе путь на запад, одолевают индейцев в смертельных схватках, иногда даже теряя двух-трех второстепенных персонажей и немало безмяшных смельчаков из «массовки». Схватки, конечно, были: ружья против луков, потом пулеметы против ружей — индейцы, гордый и смелый народ, не хотели без боя отдавать чужеземцам землю отцов. Но покорены были индейские племена, романтические друзья всемирного детства: спуксы, каманчи, могикане, делавэры, навахи, кроу не силой оружия, а водкой и болезнями. Слишком здоровый, не привычный ни к каким отравам и потому лишенный защитной сопротивляемости организм краснокожих сломался под воздействием завезенного гнилыми, но выносливыми белыми людьми яда алкоголя и гнусных болезней. Повальное пьянство уложило на лопатки первооткрывателей Американского континента. У них отобрали все: землю, оружие, лошадей, честь и гордость. Согнанные в резервации, лишенные цели и смысла жизни, племена могли ответить своим развратителям и угнетателям лишь одним: стали стремительно вымирать. Отдал бы или не отдал вождь Сиэтла, с его широким, умным и добрым лицом, землю белым — значения не имело. И все же, поди, ему мучительно видеть соплеменников распростертыми возле его памятника.

Конечно, ныне отменены резервации, индейцы формально уравниены в правах с белыми, индейских юношей можно встретить даже в университетах, хотя и редко.

Хороши величавые канадские гуси, пенугапые криквы, чирки и крохали на сиэтлских водоемах, но спасать надо в первую очередь людей. Это куда труднее, мучительнее и не так эффектно, но неизмеримо важнее. Один студент уверял меня, что у хорошей американской молодежи изоляционистский комплекс, присущий всей нации, зиждется не на отсутствии интереса к остальному миру, не на чудовищном эгоцентризме, не на мещанском «нас не тропьте, мы не трошем», а на сознании вины — перед индейцами (ошибке Колумба обязаны люди с красной кожей своим всемирным названием) и перед неграми (которые, кстати, так себя не называют). Нечего вмешиваться в чужие дела, навязывать другим свою волю, свои жизненные правила и свой уклад, когда столько тягостного, преступного беспорядка в собственном доме.

Не берусь судить, насколько истинна эта мысль, хотя не подвергаю ни малейшему сомнению искренность своего собеседника, но отрадно уже то, что такая мысль существует и даже обрела формулировку. Дело не в искуплении вины дедов и отцов — нельзя отвечать за чужие грехи, лучше не совершать собственных, — а в очнувшемся чувстве справедливости, ответственности, в желании сдвинуть с места глыбу.

Когда все это уже было написано, произошло знаменитейшее событие в жизни США: индейцы доказали, что есть еще порох в старых пороховницах — сухой, горячий порох гнева, несмирения и решимости. Вызрел протест в неубитой вопреки всему народной душе, и вашингтонский акрополь услышал грозный боевой клич истинных хозяев земли, по которой течет Потомак. Явив редкую расовую жизнестойкость, индейцы скинули оцепенение и поднялись на борьбу за свои права. Не за права на бумаге — они есть, а за права на деле. И мой бледнолицый знакомый, и его друзья-единомышленники имеют возможность доказать силу своих верований и в том обрести гражданскую зрелость.

Мой рассказ идет к концу, и я предвижу упрек читателя: старый кинематографист, а с Голливудом разделался одной фразой. Упрек естественный и справедливый. Когда я рвался в Калифорнию, которая отсутствовала в моей изначальной программе, то едва ли не главным магнитом был Голливуд. Мы с детства наслышаны о «фабрике снов», нам туманили голову имена знаменитых актеров — Дуглас Фербенкс был для меня, мальчишки, земным воплощением божественного д'Артаньяна; к тому же до войны я учился в киноинституте, а для всех киношников, особенно для начинающих, Голливуд, как Мекка для мусульманина. Мысленно я уже тогда отправился к святым киноместам, но лишь на пороге старости достиг цели своего паломничества и увидел храм разрушенным.

Разочарование горчайшее: Голливуда не оказалось. Есть город с таким названием, соединившийся с Лос-Анджелесом и ставший его частью. Есть с тем же названием бульвар, есть другой знаменитый бульвар — Сан-Сет, упирающийся в закат, очень длинный и прямой, воспетый во многих американских романах. Но Голливуда — кинематографического центра страны и мира — уже нет. Почти все студии покинули его и возвели свои павильоны в других местах. Интеллигентная университетская публика настолько презирает киномирок, что я не мог толком установить, какие студии остались на пепелище. Кажется, «Парамаунт» — частично и студия телефильмов. Что же касается старой легендарной студии Чарли Чаплина, то она находится в самом Лос-Анджелесе, я видел ее темные печальные останки, и что-то сжалось в душе — все-таки это целая эпоха не только в художественном, но и в этическом бытии нашего мира, пыле безнадежно капущая.

Так что же такое нынешний Голливуд? Это — киношники, стриптизные заведения, бары, несколько дурного поши-

ба ресторанов, магазины, чаще лавчонки, много уличных проституток в стиле «ретро»: пост — на углу, сумочка крутится вокруг пальца, шляпа ниже бровей. По понедельникам город словно вымирает, его пустынный пейзаж чуть оживлен потерянными фигурками жриц любви. Во вторник к вечеру он пробуждается, наполняясь всякой швалью: мошенниками, наркоманами, алкоголиками, педерастами, профессионалами любви обоих полов. Становится оченьлюдно, пестро, беспокойно, даже опасно, но нет в этом зловещей живописности порока, а что-то провинциальное, захудалое. Чувствуется, что Большой Порок реализуется где-то в другом месте.

От старого Голливуда сохранился знаменитый китайский театр и асфальтовая площадка перед ним, испещренная автографами живых и угасших кинозвезд. Кто оставил потомству несколько строк, кто — отпечаток ладоней или ступней и подпись: Алиса Фей, Кэтрин Хепберн, Бинг Кросби, Фред Астор, Сипатра, Куросава... Сюда приезжают туристы, читают наасфальтные письма, вздыхают и уезжают с ощущением, что еще что-то кончилось.

Есть еще изысканный Беверли-Хиллз, прежде нерасторжимо связанный с Голливудом. Там находятся виллы звезд первой величины. Но и об этом месте ничего интересного не скажешь — виллы спрятаны в глубине садов за густейшей растительностью. Лишь иногда распахнутся ворота, открыв на миг в глубине аллеи портик или фронтон — у разбогатевших актеров эллипские пристрастия, — и выедет бесшумный «роллс-ройс» с очаровательной блондинкой за рулем, и ты начинаешь лихорадочно соображать, кто это: Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джоан Крофорд, Мерилин Монро, и вдруг вспоминаешь, что тем из них, кто еще попирает землю подагрической ногой, по сто лет, а эта красотка тебе неведома, так же как и твоим спутникам.

Конечно, есть и сейчас любимые публикой актеры и актрисы, первых, как ни странно, больше, но таких кумиров, как

были в пору расцвета Голливуда, уже нет. Даже Марлон Брандо, Дастин Хофман и Джейн Фонда не тянут. Спектр преклонения и обожания резко сместился в сторону эстрадной музыки. Герои молодежи там. Иные телевизионные ведущие, украшенные лишь развязностью и белоснежной, в тридцать два зуба улыбкой, могут поспорить в популярности с Сазерлендом или Войхтом — самыми даровитыми из молодого голливудского поколения.

Мне было в Беверли-Хиллз напряженно и неудобно. Потом я вспомнил: на одной из таких вилл, прячущихся в густой заросли, была зверски умерщвлена золотоволосая, безвинная перед Богом и людьми Шарон Тейт вместе со своими гостями.

И все же к ветеранам экрана интерес не угас. Все газеты на первой полосе давали сообщение о повторной операции рака у Джона Уэйна, героя вестернов, где он иногда был шерифом, но чаще человеком, не умевающимся в рамках закона. И очнувшийся от наркоза Уэйн мог узнать много противоречивых соображений о своей смертельной болезни. А ведь при тех лекарствах, что не только успокаивают боль, но и создают больному эйфорию, ему необязательно было знать, что он умирает. Но он бы все равно узнал. В США больному непременно сообщают, что он обречен. Скрыть могут свишку или воспаление среднего уха, но не рак и не саркому. Человек должен знать, что умирает, дабы распорядиться имуществом и провести оставшиеся дни, как ему хочется. Сделать то, что он бесконечно откладывал, слишком надеясь на свое здоровье: мол, успеется, например, убить кого-нибудь.

Куда большее впечатление, чем агонизирующий Голливуд, произвел на меня его «филиал» — Старый Тусон. Это городок, построенный в наше время в двадцати милях от университетского Тусона, на красной земле таинственного штата Аризона, где гигантские кактусы, багровые горы, отбрасывающие фиолетовые тени, Гранд-каньон, пустыни, зо-

лото Маккены и свирепые дикие кошки, заходящие в селения.

Большинство вестернов последних лет поставлено в Старом Тусоне, в том числе лучший из всех — «Эльдорадо» с Уэйном и Митчумом, длинная серия о Циско Киде, многие фильмы с Джоном Фордом-старшим, Стюартом, МакКуином.

В городе — церковь, гостиница, салуны, магазины, парикмахерская, зубо-врачебный кабинет, «веселое» заведение, коновязь, железнодорожная станция с медным колоколом. Салунами и магазинами можно пользоваться, тут все настоящее: продукты, напитки, сувениры, музыка, продавцы и официанты; коновязью тоже можно пользоваться, если прискачешь на коне. А вот тюрьмой, зубным и просто врачевными кабинетами, равно и «веселым» заведением, пользоваться нельзя. Там обитают муляжи. В одной из тюремных камер арестанты играют в покер, в другой повесился какой-то бедолага; врач с перерезанным горлом валяется на полу своего кабинета, выронив из руки не помогший ему «кольт», а в парикмахерской испустил дух клиент под белой простыней в кровавых пятнах.

Что поделаешь, такова была жизнь на Диком Западе, где людям со слабыми нервами не место. В Старом Тусоне ты чувствуешь себя как дома; тебе знаком и тот салун с оцинкованной стойкой и маленькой эстрадой, и этот белый храм, служивший убежищем для подвергшихся нападению жителей, и эта зубчатая гора, в которую упирается главная улица, — сколько раз уносился к ней на тонконогом коне Джон Уэйн, снова создавший чужое счастье, но не выгадавший удачи себе. Конечно, и церковь, и салун, и цирюльню, и тюрьму, и все остальные уголки Старого Тусона ты без числа видел на экране. Когда приходит время съемок, посетителей удаляют, муляжи выносят, и город заселяет киногруппа. Появляется Джон Форд или Митчум с оловянной звездой шерифа

фа на груди, и огромный, но легкий Уэйш спешивается у коновязи.

Я попал в Старый Тусон в субботу, когда на улице дают короткое представление — квинтэссенцию вестернов. Из салуна выходит человек в широкополой черной шляпе, у бедра болтается «кольт» в кобуре, и со скучающим видом начинает прохаживаться по галерее. Сразу ясно, что это плохой человек. Разве хороший наденет черную шляпу? Свою дурную суть человек в черной шляпе подтверждает жестоким обращением с добродушным старым бродягой. Этот обрюзгший небритый человек, несомненно, знал лучшие дни, в нем порой вспыхивает утраченное достоинство, но сразу гаснет — алкоголь разрушил его личность, и за рюмку водки он готов терпеть любые унижения. Плохой человек в черной шляпе сбивает его с ног, вываливает в пыли и, что самое страшное, не дает на водку. Плача и бессильно потрясая кулаком, бродяга ковывается по улице. Его замечает молодой официант, а может, парикмахер, не помню, это не играет роли, он выходит к старику и пытается его утешить. Сочувствие юноши пробуждает в размякшей душе забытую гордость, старик кидается к своему обидчику и падает, сраженный пулей. Официант или парикмахер выхватывает револьвер, но и его находит меткая пуля. Кончается все ожесточенной перестрелкой между убийцей и шерифом в белой шляпе. Изрешеченный пулями, но, как полагают, живой и невредимый, блюститель закона прикалчивается негодяя, который умирает в долгих и ужасных корчах. По чести, это довольно злая пародия на фильмы, которые изготавливаются в Старом Тусоне.

А затем через город проходят «горные люди» в меховых шапках, с женами и детьми, с лошадьми, впряженными в волокуши, на которых продукты и скарб. Это, надо полагать, белые переселенцы в Аризоне. Все очень достоверно: одежда, снаряжение, длинные ружья, даже то, что у многих жены — индианки, несколько портят впечатление круглые очки на слабых глазах современных американских детей...

Я до сих пор ничего не сказал о Нью-Йорке, который принято считать символом Америки. Многие писавшие о США отождествляли этот город со всей страной, они говорили «Нью-Йорк», а подразумевали «Америка». Нью-Йорк — квинтэссенция Америки, ее экстракт, здесь сконцентрировалось до чудовищной плотности все самое дурное в американской жизни и кое-что лучшее. Но именно поэтому нельзя ставить знак равенства между Нью-Йорком и Америкой. В Нью-Йорке велика преступность. Здесь больше, чем где бы то ни было, краж, взломов, угонов машин, нападений на банки, резче всего контрасты, разительней пиццета, тут грабят и насилюют в Центральном парке, а в метро небезопасно ездить, тут особый темп и особый ритм, но тот, чей пульс выдерживает, не променяет Нью-Йорк ни на какой другой город в мире, ибо здесь каждый найдет свое: художник, поэт, мечтатель, гангстер, наркоман, борец за справедливость, изобретатель, певец, аферист, вор, артист, музыкант, ведьма и хулиган. И все-таки Нью-Йорк — это не Америка, а, скорее, жестокий шарж на нее. Таких улиц-ущелий нет нигде, даже в Чикаго высотная часть далеко не так обширна, а в остальных городах пучок небоскребов — в центре, а вокруг — россыпь одноэтажных домиков. В Нью-Йорке нет площадей, одни перекрестки, он гол, если исключить Центральный парк, куда боязно ступить. Остальные города очень зелены, их разбросанность дает простор не то что площадям, но даже пустырям, где дуются в футбол, бейсбол и кидают тарелочки. Нью-Йорк несравнимо грязней всех американских городов, среди которых немало весьма опрятных, он целиком зависит от своего ужасного, хотя и насыщенного общественного транспорта; в других городах — опять же кроме Чикаго, где и метро, и автобусы, и такси, — все обходятся собственными машинами, авто-

бусов мало, в основном для школьников и студентов — бесплатные. В Нью-Йорке есть негритянские гетто — Гарлем, есть неопрятный богемный Гринич-Виллидж, китайские и пуэрто-риканские трущобы, нищенские обиталища итальянцев; в других городах негритянская часть никак не выделена, а художественные кварталы не сплетены с грехом и наркотиками.

Но лишь в Нью-Йорке могут одновременно гастролировать балет Бежара, театр кабуки, Краснознаменный ансамбль, бразильский цирк, мадридский ансамбль «Фламенко», дирижер Кароян, теноры Паваротти и Гедда, пианист Горовиц, а блестящая дягилевская экспозиция в музее «Метрополитен» — может отбивать посетителей у огромной выставки Казимира Малевича, занимающей весь «Гугенхейм», и сто бродвейских и забродвейских театров — потрафлять любому вкусу — от самого традиционного до авангардистского.

Городу «желтого дьявола» резким контрастом является «одноэтажная Америка», спокойная, тихая, даже скучноватая под розовым жирком изобилия. Провинциальная Америка (говорю условно, здесь отсутствует понятие провинции, никто себя провинциалом не чувствует) очень ценит каждое происшествие, потому что они редки, снисходительна к гангстерам; о которых знает по газетам и телевидению, а Нью-Йорка побаивается и не стремится туда «пожуировать жизнью»...

II

И вот еще о чем следует рассказать: я был в стране мормонов. Гористый штат Юта, который они населяют, — это государство в государстве, здесь все наособицу, не так, как в остальной Америке. Мормоны есть и в Огайо, где зародилась их вера, и в Иллинойсе, Миссури, в Канаде и Мексике и даже

на других континентах. Их эклектическая религия вобрала в себя понемногу из самых разных верований: от мусульман — многоженство (официально отмененное в конце XIX века) и запрет на горячительные напитки (мормоны пошли дальше приверженцев ислама — изгнан не только алкоголь, но и все возбуждающее: чай, кофе, даже табак), от протестантизма — отсутствие церковной пышности и обрядности (богослужение сведено к проповеди), от язычества — признание, кроме христианской Троицы, других богов, от католицизма — теократическое построение (глава церкви — пророк, провидец обладает не только церковной, но и светской властью), что-то взято от иудаизма и от других вер.

Название религии идет от пророка Мормона, чью мистическую книгу нашел в лесу Дж. Смит, томимый несовершенством и злопавием всех существовавших тогда в Америке церквей. Пророк Мормон получил учение прямо из рук Христа, посетившего Америку за шестьсот лет до возникновения христианства. Естественно, что принадлежность к столь древнему и первоначально чистому учению наделяет мормонов чувством превосходства над теми, кто не сподобился света истины. Вот что раздражало меня в этом горном царстве, раскинувшимся вокруг усыхающего Соленого озера.

Когда в ресторане мне отказали в бутылке пива, я увидел на лице встречавшего меня профессора Р. (милого, с творческой жилкой человека) выражение чуть пренебрежительного сочувствия, которое в расплывшихся чертах его истомленной бесчисленными родами жены (мормоны не знают ни аборт, ни предупреждающих беременность средств — надо множить последователей правой веры) сместилось в сторону пренебрежения, а на одинаковых лицах пятилетних близнецов явило всю беспощадность детского презрения к порочной слабости чужеземца. Другой профессор, у которого я поселился в Прово, где находится мормонский университет Янга, не без высокомерия подвигал мне за завтраком — пос-

ле утренней молитвы — стакан воды из-под крана. Молока, основного напитка мормонов, мой желудок не принимает, особенно по утрам. Кстати, отсюда название русской разновидности мормонов — молокоане, они не пьют ни зелена вина, ни пива, ни чая, ни кофе, а заливают жажду коровьим или козьим молоком.

В день моего приезда, когда профессор Р. показывал мне Солт-Лейк-Сити, столицу штата, я увидел разные мормонские чудеса. Редкое архитектурное диво — молельня с феноменальной акустикой: звук разрываемой газеты или уроненной на пол иголки разносится по всему громадному, на тридцать тысяч мест, залу. В свободное от религиозных собраний время зал служит для концертов.

В главную церковь, расположенную напротив и имеющую вид обычного христианского храма, доступ рядовым мормонам закрыт, туда вхожи лишь пророк и двенадцать апостолов — церковная и гражданская верхушка. Жизнь любит посмеяться над человеческими установлениями. Мы почтительно разглядывали наглухо запертую боковую дверь церкви, откуда, по словам Р., в день второго и окончательного пришествия выйдет Иисус Христос, как вдруг дверь отворилась, оледенив нам души, из глубокого сумрака храма показалась мешковатая фигура в комбинезоне, не то монтера, не то водопроводчика, и, клянусь, в это светлое утро он пил не только молоко и воду. Немного смущенный всеобщим вниманием, простой и великий человек, сумевший раздобыть выпивку в сухом царстве мормонов, хмыкнул и, ссутулившись, заковылял по своему делу. Но и это не поколебало превосходства профессора Р.

Он дрогнул, когда мы вернулись на главную площадь, где стоит памятник пророку Янгу. Дж. Смит основал религию, за что поплатился жизнью, а Янг вывел мормонов из «тьмы египетские» в образе жестоких штатов: Огайо, Иллинойс, Миссури, и привел на берег тогда еще полноводного, хотя

такого же мертвого Соленого озера, под защиту высоких заснеженных Скалистых гор, за это он удостоился памятника. Янг стоит на высоком постаменте задом к храму, лицом к деловой части города и левой рукой патетически указывает на огромное здание банка.

— Позу надо понимать символически? — спросил я профессора.

— Вы сами заметили или вам подсказали? — произнес он недовольно.

— Сам. Для этого не требуется особой наблюдательности.

— Да... оплошность, — пробормотал он. — Нас всех это корбит.

— А нельзя его переставить? Чтобы храму — приветствие, а золоту — презрение.

Р. как-то странно посмотрел на меня и промолчал. Мне подумалось, что пренебрежение к золоту не входит в число признанных здесь добродетелей. Как я вскоре убедился, в организации мормонов гармонично уживаются бескорыстие, даже самоотверженность, с ясным сознанием важности материальной основы бытия. Профессора университета Янга отдают каждую субботу безвозмездно на богоугодные дела: занятия с молодежью, служение в церкви (здесь нет института священников), но оклады их куда выше, чем у коллег из других штатов. Впрочем, это справедливо, учитывая многодетность мормонов.

Чтобы сгладить неблагоприятное впечатление от позы Янга, Р. повез меня к красивому, сверхсовременному зданию с притемненными окнами и предложил осмотреть гинекологическую библиотеку, единственную в мире. Я вежливо отказался. Полгода, проведенные в медицинском институте на заре туманной юности, отнюдь не приростили меня к медицине. О чем я и сказал профессору. «При чем тут медицина?» — не понял он. «По-моему, гинекология — раздел медицины», — немного свысока бросил я. «Кто говорит о гине-

кологии? Ге-не-а-ло-ги-чес-ка-я библиотека! Здесь мы отыскиваем своих предков, чтобы, отслужив по ним молитвы, обратить их души в истинную веру». Мне было совестно, что я так обмшулился, и голос мой прозвучал запальчиво: «А если они не хотят?» — «Кто?» — опешил Р. «Души! Может, им там хорошо?» — «Нет. — В спокойствии Р. снова проглянуло выскомерие, смягченное жалостью к дураку. — Душам тяжело их вольное или невольное заблуждение. Они ждут, чтобы живые отмолили их у тьмы для света истины и вечного блаженства».

И мы пошли в эту действительно уникальную библиотеку, оснащенную компьютерами и скоростными лифтами. Старинные фолианты в кожаных полуистлевших переплетах хранят на своих пожелтевших сухих листах списки жителей средневековых европейских городов, метрические записи новорожденных. Есть тут книги с родословными дворянских и бюргерских семейств, с записями состояний, равно и всякая документальная литература, которая может помочь найти своего далекого или близкого предка...

Надо не только спасать души усопших, но и обращать живых в свою веру. Мормоны при кажущейся замкнутости, отдельности своего бытия, окольцованного Скалистыми горами, обладают повышенной активностью в отношении внешнего мира. В Прово, центре мормонского религиозного образования, находится семинария, готовящая проповедников «навынос» и для этого обучающая их разным иностранным языкам.

Это, так сказать, профессиональные проповедники. Но каждый молодой мормон, окончивший «хайскул», должен отслужить два года проповедником, лишь после этого он может поступить в университет, а по окончании жениться — раз и навсегда. Университет является для юных мормонов не только храмом науки, но и ярмаркой невест. Жениховство долгое — на весь университетский курс, к невесте не прикос-

нись, зато потом — перасторжимый, плодоносный брак. Так в идеале, которому стараются следовать. Но сейчас слишком подвижное и первное время, слишком обильная информация и неуправляемый людской коловорот, и, как ни защищают молодежь от дурных влияний, порнографической литературы, сексуальных фильмов и пьес, какие ни накладывают запреты на юную плоть и дух, прочные формы трескаются под напором беспокойной нечистой жизни. В бытие мормонов, хоть это старательно замалчивается, вошли добрачные интимные отношения и довременные браки, чтобы прикрыть грех, измены и разводы. И гомосексуализм проник в молодежную среду, и преступления на сексуальной почве. И тщетно напрягают высокие лбы пророк и двенадцать апостолов, пытаясь охранить свой храм от разлагающего влияния современности.

— Почему они ходят парами? — спросил я о воспитанниках семинарии профессора Р., вдосталь наглядевшись на молодых людей в строгих темных костюмах.

Его правдивое чело чуть притуманилось.

— Для присмотра друг за другом. Если один нарушит, другой сообщит.

Услышав русскую речь, возле нас остановились двое юношей. Один был мал и невзрачен, другой ростом и статью напоминал знаменитого югославского баскетболиста Чосича. «Откуда вы?» — спросил Чосич. «Из Москвы». Он присвистнул: «Дайте мне адрес, я заеду к вам». — «Охотно. Вы собираетесь в Советский Союз?» — «Нет, но я буду в ваших краях». — «Где именно?» — «В Новой Гвинее». — «Вы считаете, что это так близко?» — «А разве далеко? Тут Китай, а тут вы!» Что ж, у каждого свои представления о расстояниях. «А зачем вы туда едете?» — «Да проповедовать!» — беспечно отозвался баскетболист. «Ладно, заезжайте». — И я дал ему адрес.

Географическим кретицизмом страдает большинство человечества. Куда сильнее поразила меня неосведомленность

студентов университета Янга о том, чем живет их собственная страна. Рассказывая о дискуссии советских и американских писателей, я назвал имена Олби, Стайрона и недавно ушедшего лучшего поэта Америки Роберта Лоуэлла. Ни в одних глазах не вспыхнуло ответного огонька. «Вы что же, не знаете их? — опешил я. — Не знаете своих знаменитых писателей?» — «Они знамениты только у вас!» — с высокомерием невежества произнес какой-то юноша, и все рассмеялись. Может, это сознательная неосведомленность, нежелание знать ничего, что происходит за кольцом Скалистых гор? Подобный сверхизоляционизм крайне странен для энергичных экспортеров религиозных идей.

Конечно, каждый спасается как может. Но я никогда не понимал и не принимал стремления нести помощь туда, где в ней не нуждаются, особенно когда в собственном доме столько дел, требующих сильных добрых рук и внимательного сердца. Полезно изволять из тьмы души дальних предков: голландского суконщика XVI века, девонширского сквайра, рыцаря-храмовника, еще упоительней нести спасение всем заблудшим в этом огромном и тесном мире, где Новая Гвинея притулилась к Советскому Союзу, но куда лучше трудиться в собственном вертограде, где столько больных деревьев, усыхающих кустов, истлевающих цветов и трав. Нет в миссионерской деятельности мормонов истинной любви к ближнему и участия к окружающему. Умозрительная любовь — не любовь.

Пушкин и Дельвиг часто говорили: «Чем ближе к небу, тем холоднее». Воистину так...

Возвращение Акиры Куросавы

Литературный портрет



Некоторое время назад французский писатель Ж. Шаброль отправился в Японию по приглашению офранцузившейся японки мадам Мото писать сценарий. Почему Шаброль поверил на слово небогатой, неделовой, рассеянной и плохо заземленной художнице-любительнице, приемышу французской богемы, что по мановению ее тонкой и слабой руки распахнутся двери японских киностудий и хлынет золотой дождь, — остается неясным. Похоже, этому и нет разумного объяснения. Просто сам Шаброль той же крови, что и очаровательно-нелепая мадам Мото. В наш расчетливый, математический, слишком деловой век в этом паивном, доверчивом, романтическом авантюризме нет ничего дурного, и Шаброль, путившийся с дырявым карманом через весь земной шар за сомнительной приманкой славы и денег, не должен так уж строго судить мадам Мото, поманившую его с той же безответственностью, но совершенно бескорыстно. Ибо те надежды, что связывала с приездом известного — увы, не в Японии — французского писателя мадам Мото, принадлежат державе грез и уж никак не корысти и строгим жизненным расчетам. Но Шаброль осудил и мадам Мото, и заодно всю Японию, обманувшую его ожидания. Затея со сценарием провалилась, и

вовсе не потому, что не нашлось переводчика, как настойчиво шутил Шаброль, а потому, что времена Клондайка миновали безвозвратно. Даже самая щедрая кормушка мала для всех алчущих отвесть тучного овса, заправленного вином.

Оказывается, гнев, раздражение, «отомщевательное» чувство способны дать новую точку зрения на привычные явления, освежить восприятие действительности, одарить множеством острых наблюдений и еще более острых выводов, но не способны создать по-настоящему значительную книгу. Это не удалось даже гению Лескова, из гнева и желчи возникший роман «На ножах» — пятно на литературном имени कुдесника русской прозы. А Шаброль, при всем его несомненном таланте, не Лесков. Но книга «Миллионы, миллионы японцев» вышла повсеместно — кроме Японии, — имела громкий успех, и для многих людей, интересующихся Японией и несколько раздраженных тем, что принято считать «загадкой Японии», блестящий и неглубокий памфлет Шаброля развязал много узлов. Так вот она какая — Япония!.. Только и всего?.. А мы-то думали!.. Развенчание кумиров, развеивание мифов дружелюбно природе современного человека, утомленного подлинными и воображаемыми сложностями.

Шаброль метко ударил по установившейся и, конечно, надоевшей традиции — восхищаться всем японским, видеть даже в нескладницах и трудностях быта загадочную красоту, в утомительных пережитках — манящую тайну непостижимой японской души, во вздоре, от которого не свободно бытие любого народа, глубочайший смысл, нуждающийся в прочтении, истолковании.

Такого рода работа всегда благотворна: чем меньше идолов, тем свободнее и чище сознание. Но напяливать на всю страну, на весь великий — и числом, и долей соучастия в мировых усилиях — народ шутовской колпак — дело, недостойное художника, даже если он потерпел афронт в своих киночаяниях.

Почему я начал свои японские записки с Шаброля? Наверное, потому, что и меня поманило кино в далекое путешествие. Впрочем, ныне это путешествие для всех европейцев стало куда короче, чем в пору авантюры Шаброля, обогнувшего чуть не весь земной шар, чтобы попасть из Парижа в Токио. Сейчас воздушная трасса идет напрямик через Советский Союз. Кстати, восемь лет назад я тоже летел в Японию кружным путем со многими посадками и пересадками: Ташкент, Карачи, Рангун — здесь я ночевал, а потом опоздал на самолет, — Бангкок и Манила. Тогда Япония казалась куда дальше и таинственнее.

В отличие от французского коллеги я отправился в свое новое путешествие не по заманчивому и легкомысленному приглашению мадам Мото, неразлучной с большой растрепанной телефонной книгой, откуда она тщетно пыталась выудить для своего доверчивого бородатого протеже счастливый номер (в Японии телефон играет громадную, несравнимую с европейским уставом роль в жизни людей, особенно в делах), а по приглашению маленького, но солидного «Ателье-41». Предстояло доделать литературный сценарий «Дерсу Узала».

Когда называют трех лучших современных кинорежиссеров, обычно говорят: Чаплин — Куросава — Феллини. Или, полагая Чаплина не то чтобы в прошлом, а вне времени, как неповторимое чудо, — Куросава — Феллини — Кубрик; иногда в тройку вводят Бергмана, или Креймера, или Антониони, но имя Куросавы присутствует всегда. Конечно, всем этим обоймам — грош цена. Но сейчас повсеместно царит увлечение «десятками», «шестерками» (по олимпийскому счету), «тройками» (по ступеням почета) лучших, равно как и выбором на каждый год главного героя — самый популярный человек мира, первая красавица, лучший спортсмен, актер и т.д.

И если Куросаву до сих пор называют в тройке лучших, то быть главным героем киногода ему давно уже не приходилось. Этот самый знаменитый среди японских режиссеров — и са-

мый японский среди знаменитых — лишен возможности снимать фильмы у себя на родине. Ведь и «Дерсу Узала» не совместная японо-советская постановка, а мосфильмовская. «Ателье-41», помещающееся в двух номерах «Акасаки-Принцотеля», оказывает строго ограниченную помощь по формированию части группы, переводу сценария на японский язык и приему советского соавтора Куросавы (то есть меня) в Токио.

Было время, когда появлявшиеся один за другим страны, ни на что не похожие и буквально в каждом кадре пропизанные ярчайшим талантом фильма Акиры Куросавы гремели по всему свету, забирая высшие награды на самых представительных фестивалях, принося славу не только своему создателю, но и всей японской кинематографии. «Телохранитель», «Семь самураев», «Расёмон», «Красная борода», «Идиот», «Рай и ад» — каждый фильм открывал какую-нибудь неведомую доселе возможность кино: новый прием съемок, способ монтажа, использование музыки, не говоря уже о значительности и красоте никогда не повторяющегося образного решения в целом. Ну, скажем, сакраментальное число «семь» возникло в кино с «Семи самураев». Многошумная голливудская «Великолепная семерка» сделана по сюжету японского фильма. Из «Семи самураев» пошел и прием экспозиции характеров членов команды — в виде коротеньких новелл, рисующих ведущее свойство каждого: мужество, хладнокровие, силу, хитрость, — и перекочевал в «пятерки», «десятки», «дюжины», объединяющие солдат, командос, диверсантов, юных бунтарей, гангстеров, бандитов.

«Расёмон» открыл кинематографистам прием показа одного и того же события с разных точек зрения. «Идиот» доказал возможность переноса классического романа в обстановку другой страны, другого народа. И все приняла Рогожина — Мифуне с припухлостью узких глаз и японской окраской неистового темперамента. Куросава не подделывался

под Россию, а создал отечественный эквивалент великого русского романа.

Новаторство никогда не было для Куросавы самоцелью, оно возникало словно неведомо для него самого, из глубины материала и служило раскрытию больших идей, владевших режиссером, а не бесу режиссерской гордыни. Навязывать себя зрителю — органически чуждо натуре Куросавы, самоуглубленной, печальной, застенчивой и строгой. Его страсть — театр, где актеру приходится начисто отказываться от себя, от своей личности. Таков идеал Куросавы. Раствориться без остатка в своем творении, не отбрасывать даже малой толики происходящего с героями на экране — в этом его гордость как художника. И тут он прямая противоположность Феллини, чья своеобразная и сильная личность громко заявляет о себе в каждом кадре. Не случайно в «Риме» он появляется воочию, без особой в том необходимости. И все же фильмы Куросавы не менее индивидуальны, чем фильмы Феллини, ибо в них столь же ощутима могучая творческая воля.

Пока японская кинематография процветала — и художественно, и материально, дела Куросавы шли отлично. У него была своя студия и прочное бытовое благополучие. Но телевидение стало отбирать зрителей у большого экрана, с каждым годом пустели и пустели залы бесчисленных японских кинотеатров, все реже приносили фильмы кассовый успех, особенно отечественные. Отходила в прошлое память о кошмаре Хиросимы и Нагасаки, американские жизненные стандарты все сильнее привлекали японскую молодежь. А ведь молодежь — это самый главный потребитель кино. И молодежь голосовала иенной за вестерн или американский детектив против фильма из японской жизни, за бритоголового Юла Бришнера против Мифуне, за Форда против Куросавы, за ослепительного Джеймса Бонда против рыбаков Хоккайдо или жителей песчаных дюн, за полуголую Лиз Тейлор против скромной, наивно-чистой Юрико Асаока, за секс, за право

кулака, за стрельбу, за кровь, за бешеные скорости «мустангов» и «ягуаров» против мысли, печали, нежной любви, социальных проблем, проникновения в глубины человеческого духа — словом, против всего, чем значительно японское кино и лидер его — Куросава.

И тут прокатчики, а за ними и продюсеры смекнули, что фильмы Куросавы никогда не приносили больших барышей, а порой едва окупались. Но их моральная выгода была так велика, что не хотелось думать о грубо материальной стороне дела. Тем более что отблеск славы «Расёмона» и «Семи самураев» падал на всю японскую кинопродукцию, повышая на нее спрос. А теперь зловеще пустующие залы и первые закрывшиеся в Асакусе кинотеатры красноречиво доказывали, что время расчетливого великодушия и забот о высоком искусстве миновало. В силу вступили волчьи законы борьбы за потребителя.

Чуть растерявшийся Куросава поставил фильм «Рай и ад» по американскому детективному роману. Он перенес действие в Японию и поднял павязшую в зубах тему похищения детей на уровень психологической драмы. Куросава не любит эту свою картину, хотя смотрится она хорошо и проглядывается в ней почерк большого мастера — чаще там, где ад, реже там, где рай. И впервые Мифуне показал себя не Божьим чудом, а просто высококвалифицированным актером, который может хорошо играть «героев нашего времени» — богатых, преуспевающих дельцов. Эта неожиданная способность Мифуне была взята на заметку кинособоссами не только в Японии, но и в Голливуде и привела его в супербоевик «Большие гонки», где он играл менеджера, но кто помнит его там? Впрочем, это относится к судьбе Мифуне, а речь идет о его учителе.

Куросава не хотел больше ставить картины о киднепинге и тому подобном. По логике вещей, сделав первый шаг навстречу новым кинovieаниям, надо и дальше идти по пути

моральной капитуляции. Это было не для Куросавы. И тут нежданно-негаданно поступило предложение от американцев: поставить большой фильм о Перл-Харборе. В свое время превентивный удар Японии по Перл-Харбору вывел из строя почти весь американский флот — Америка оказалась втянутой в войну. Это была страшная и смелая мысль — сделать фильм о величайшем поражении американского оружия руками японского режиссера. Куросаву тревожило, что ему попытаются навязать неприемлемую историческую концепцию. Но его успокоили: никакого идейного пресса не будет. И худая высокая фигура Куросавы появилась на улицах Голливуда, где асфальт испещрен оттисками подошв кинозвезд — ушедших и ныне здравствующих. Да, Куросаве не навязывали никаких концепций, просто он должен сделать боевик со всем полагающимся набором: сверхгероями, свободными не только от всякой морали, но и от подозрения, что такая категория существует на свете, со сверхметкой стрельбой, кровавым мордобитием, захватывающими похождениями и тем, что Лесков в отличие от любви называл «любовой». Борьба оказалась тщетной. «Кто платит деньги, тот заказывает музыку» — на этом голливудские дельцы стояли крепко. Куросава не сдался, и все предприятие рухнуло.

И тут поступило предложение с берегов Сены: делать фильм во Франции. И, не оставив следов на голливудском тротуаре, Куросава вылетел в Париж. И здесь ему не навязывали мировоззренческих концепций и даже не требовали запозистых приключений, грома чудовищных битв и печеловеческого героизма. Требовалось одно — любовь, как можно больше любви на экране. Под любовью же подразумевалась постель. Как можно больше постели — разобранной, во весь широкоформатный экран, и, разумеется, привкус экзотики. В глазах французских кинодельцов Япония — это пышный эротический сад, где процветают уточенные пороки, способные осилить европейскую пресыщенность.

Куросава, человек редкой чистоты и целомудрия, сломя голову бежал из прекрасной Франции. Вернувшись на родину, он заложил дом и все свое имущество, нашел смельчаков, рискнувших в последний раз сделать ставку на старого призового коня, и создал один из лучших своих фильмов — горчайший «Додескаден» («Под стук трамвайных колес» — в советском прокате).

Это фильм о гибнущих и погибших, о пьяницах, наркоманах, о всякой человеческой потере, о немилостливой жизни, чуждой сострадания к слабым и сирым, и о странном, безумном мальчике, мечтающем водить трамвай. Да, всего лишь... Но для этого мальчика с печальными и одержимыми глазами даже такая жалкая мечта несбыточна. Через всю картину ведет он свой воображаемый трамвай, и лязгают незримые сцепы, гремят буфера, с железным скрежетом передвигаются рычаги управления, и печальная взвучь трамвайного сигнала отмечает остановки и отправления. Этот скрежет и звень сопровождают тебя после просмотра как наваждение, от них никуда не денешься, ими озвучена твоя явь, они проникают в сон, и ты просыпаешься с мокрым лицом.

Всего лишь шестьсот тысяч зрителей одарили вниманием горестные символы Куросавы. Для страны со стомиллионным населением, даже при всем охлаждении к кино, это страшно мало. На фильмы с вампиром Дракулой, на обновленного и малоудачного Джеймса Бонда, на вестерны «второй свежести» с тучным Уэйном ходит в десять, в двадцать раз больше зрителей. Дельцы, впрочем, и тут не прогадали — вернули свое с некоторым даже припеком. Мудро составленный договор с Куросавой защитил их от потерь. Разорился, потеряв все — студию, дом, имущество и деньги, — режиссер. Но не денежные потери были для него самым страшным, он понял, что больше уже никто на него не поставит. А жить без своего искусства он не может. И, крепко сжав в худой, первой руке нож, он располосовал горло. Жена и дочь, став-

шие сильнее от горя, сумели обезоружить проклинавшего их самоубийцу и сотворить чудо его спасения.

А потом произошло вот что: Куросаву пригласили на Московский кинофестиваль. «Додескаден» получил одну из главных премий, что мало тронуло мрачного, затворившегося в самом себе, как в келье, режиссера. Его добровольной изоляции на фестивале помогало и то, что в отличие от подавляющего большинства интеллигентных японцев он не знает ни слова по-английски, а равно не владеет и никаким другим языком, кроме японского. Так и прошел бы он безмолвной и безрадостной тенью по московскому кинопразднику, если б не один разговор с руководителями советской кинематографии.

Куросава уже обращался к русской классике, поставил «Идиота» по Достоевскому, «На дне» по Горькому, — быть может, есть еще какое-то произведение в старой русской или в советской литературе, которое ему хотелось бы перенести на экран? Крупнейшая киностудия «Мосфильм» была бы счастлива сотрудничать с Куросавой. Оказалось, у Куросавы есть давняя мечта: поставить фильм по замечательной книге русского писателя-путешественника, исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева «Дерсу Узала».

Эта книга давно захватила Куросаву своей человечностью, действенной любовью к природе, поэтическим образом чистого и мудрого героя — гольда Дерсу, и он собирался поставить фильм в Японии, взяв фоном, вернее средой, суровую природу Хоккайдо, откуда сам родом. Но не осуществил своего намерения: на Хоккайдо не было того размаха, той лесной, водной, горной беспредельности, что породила не только характер таежного пасельника Дерсу Узала, но и характер самого Арсеньева, до дна русский и, стало быть, созданный громадами российских пространств. Куросава понял, что на Хоккайдо манящая его история невольно измельчится, и с болью сердечной отступился. И вдруг забрезжила возможность осуществить мечту тридцатилетней давности.

Нельзя сказать, что он сразу поверил в эту сказочную, неправдоподобную удачу — слишком свежа была память жестоких разочарований. Да ведь и поставлена уже такая картина — случайно он захватил ее хвост по телевизору, стоявшему в номере гостиницы. Да, фильм по роману Арсеньева был снят, подтвердили собеседники, но это не фильм Куросавы. И все же мрачная туча не сплыла с высокого чела: едва ли найдется сейчас в Японии студия, согласная на кинопроизводство по бессюжетному произведению и со «скучным режиссером». А советские кинематографисты и не стремятся к кооперированию в данном случае. Постановка будет осуществлена на советские деньги студией «Мосфильм». Нужен только Куросава. Это было слишком хорошо, и вера окончательно погасла в душе режиссера. Он был несказанно удивлен, когда через некоторое время получил официальное приглашение в Москву для переговоров о постановке фильма.

Куросава приехал в Москву в сопровождении своего продюсера Иосио Мацуе, и начались переговоры. Он не был весел и поначалу, а когда дело дошло до меня — сценариста, погрузился в беспросветную мрачность. Он достаточно наслышался всяких красивых слов и в Америке, и во Франции о творческой свободе, о невмешательстве в его режиссерские замыслы и уже не верил словам. Конечно, он понимал, что не обойдется без соавтора, но, похоже, рассматривал его как консультанта по русской теме, а не как полноценную «творческую единицу». И образ неведомой угрозы отчетливо воплотился во мне.

Четыре дня провели мы вместе, встречаясь сразу после завтрака и расставаясь после ужина. У нас была замечательная переводчица Доля, полурусская-полуяпонка, равно владеющая двумя языками. Я спросил однажды, на каком языке она думает. Доля озадачилась: наверно, на том и на другом, но она сама не замечает, на каком думает в каждую дающую минуту. Шаброль относил большинство своих злоключений

в Японии за счет плохого перевода. Хотя он преувеличивает по обыкновению, какая-то правда в этом есть. Когда Куросава вновь приехал в Москву, Доля была занята на основной работе, и случилось много досадных казусов по вине неопытного толмача. Еще больше сложностей возникало в Японии во время работы над последним вариантом сценария по той же причине. Порой мне казалось, что япошцы не договорились между собой насчет языка, поэтому им так трудно понять друг друга. Простейшие мои просьбы или рабочие соображения становились предметом долгих и мучительных обсуждений между переводчиками и теми, к кому я обращался.

Потом, кажется, я понял, в чем тут загвоздка. В основе японской деловой жизни лежит точное, быстрое и неукоснительное выполнение полученного распоряжения. Помню, каким опасным желтым цветом сверкнули обычно ласковые и грустные глаза Мацуе, когда «связной» доставил меня в «Акасаки-Принс-отель» с пятиминутным опозданием. Переводчикам хотелось бы действовать с четкостью, являющейся национальным стилем в работе, но мешает плохое знание русского языка. И они невольно вносят в устный перевод то творческое начало, какое и вообще не положено японским служащим, а тут оно запутывает самый простой вопрос. Переспросить же, уточнить японский переводчик считает то ли невежливостью, то ли унижением для своей профессиональной чести. Вот и валят наобум. Я убежден, что замечательная переводчица Доля, мгновенно ухватывающая любые оттенки мысли, во многом облегчила нам с Куросавой путь навстречу друг другу.

Лед стремительно таял. Куросава благосклонно принимал почти все мои предложения. Слишком благосклонно... Затем по ходу разговора возникло опасение: не будет ли слишком сух и холоден большой двухсерийный фильм без женщины. Правда, в самом конце появляется жена Арсеньева, но беглая роль ее носит чисто служебный характер. Я пред-

ложил ввести предысторию Дерсу, ведь была же у него любимая, ставшая женой, матерью его тоже погибших от осны детей. Куросава решительно воспротивился. Почему женщина должна воплощаться непременно в любовь? А если безымянная орочонка или удэгейка несет полные ведра воды, и вставшая над лесом луна отразится в зеркале двух малых вод, и в мире станет три Лупы, три Селены, разве это не проявление прекрасного женского начала?

Я молчал, восхищенный и сбитый с толку чистотой старого режиссера. И вдруг впервые шевельнулось во мне подозрение, что наше видимое согласие окажется мнимым. Мне вспомнилось предупреждение Всеволода Овчинникова (автора превосходной книги «Ветка сакуры»): у япошцев «да» вовсе не означает согласия — лишь подтверждение того, что тебя слышат.

Тем не менее расстались мы не просто дружественно, а нежно и даже обменялись рюмками за прощальным столом, что по японским понятиям является высшим знаком доверия. Во всяком случае, влюбленный в искусство Куросавы Мацуе был потрясен жестом своего кумира, предложившего совершить этот обряд. Он хорошо сказал в последнем тосте: «Мы оставляем вам Куросаву. Он ничего не умеет в жизни, кроме одного — снимать фильмы. Будьте снисходительны и добры к нему, он беспомощен перед злом».

Прекрасные благородные слова Мацуе содержали лишь одну неточность: Куросава еще не оставался у нас, он уезжал на родину писать свой вариант сценария. Я же отправился на берега искрившейся по весне Десны подмосковной делать свой вариант.

Каждый из нас оказался точен, и в положенный срок мы обменялись сценариями, почти не имевшими точек соприкосновения. Даже странно, что по одному и тому же произведению, фабульно столь нехитрому, мыслью ясному и образно немногосложному, можно сделать два таких различных

сценария. А ведь мы не только договорились о главном, но и составили, пусть примерный, план.

У нас не совпадали взятые из книги эпизоды, а если мы даже брали одни и тот же кусок, то непременно не там его ставили, не так освещали и не к тому вели. Отсебятина — у меня се было неизмеримо больше, — конечно, совпасть не могла. И у нас появились два разных Дерсу, два разных Арсеньева. Наконец, — и это ничуть не унижает Куросаву — в его варианте густо цвела развесистая «клюква». Потому он и согласился на советского соавтора, чтобы тот правдиво и достоверно сделал все связанное с русским обиходом, но сценарист пошел значительно дальше.

Видимо, поначалу Куросава все-таки не понял размеров бедствия. Он знакомился со сценарием на слух, в дни нового Московского фестиваля, гостем которого был. Наша славная Доля читала сценарий и с ходу переводила. Но ведь и в самом прекрасном переводе разве поймешь с голоса сценарий, это же не стихи! Подействовало, наверное, и то, что сценарий в Москве дружно всем поправился, в том числе и созданной к тому времени съемочной группой. Куросава не мог заподозрить своих сотрудников в предвзятости — они пошли к нему на трудную, сложную, с мучительно долгой суровой экспедицией картину не по приказу, а из любви к его творчеству — никого не принуждали, даже не уговаривали, в том же было нужды. Мы решили, что, пережив легкое потрясение, Куросава в целом принял мой сценарий, похерив свой. Уезжал он снова в благорастворении воздушных и вдруг нежданно-негаданно прислал новый вариант, как ему казалось — «сводный». Тут настала очередь удивляться нам. Да, режиссер значительно перестроил свой сценарий, ввел ряд эпизодов из московского варианта, в том числе и отсутствующие в книге Арсеньева, да, он сделал известное движение в сторону большей занимательности, драматизма, но, как ни странно, сохранил в неприкосновенности всю «клюкву», фрагмен-

тарность, замедленность действия и неприемлемый тон расположения к непрошеным зашельцам русской тайги, что противоречит основному направлению книги. Патриот и офицер, Арсеньев считал священными границы своей Родины. В довершение всего Куросава написал, что это окончательный вариант, речь может идти только о редакции.

В нашем стане воцарилось глубокое смущение. Пошли унылые разговоры о таинственной и непостижимой японской душе...

Но душа душой, а фильм надо ставить. К тому времени уже была выбрана натура — Куросава и Мацуе с частью группы ездили в Уссурийский край, — собран огромный этнографический материал, сделаны фотопробы. Надо было срочно вылетать в Японию и на месте все улаживать. Вот я и полетел...

Все знакомые японцы допытывались: заметил ли я, как за время моего отсутствия изменился Токио. И были странно разочарованы, когда я совершенно искренне говорил, что не замечаю особых перемен. При этом японцы отнюдь не ждали от меня комплиментов своей энергично строящейся и развивающейся столице, напротив, они хотели, чтобы я ужасался и соболезиновал несчастным жителям «самого перенаселенного, бензинового, сумасшедшего города в мире». Но Токио наградил меня столь сильным впечатлением в первый мой приезд, что я стал устойчив к его обыденным чудесам. В тот раз я приземлялся под тайфун, разразившийся во всю мощь, едва я занял номер в «Принс-отеле». Боже, что творилось за окнами! Вырывало деревья из земли, сдирало с цепей урны, на открытой террасе кафе опрокидывало пальмы в кадках, взметало на воздух соломенные кресла и столики, над площадью пролетали, раскорячась, кошки и собаки, опрокидывались автомобили, словно им делали подсечку. Надсадный вой проникал сквозь кондиционер и заглушал голоса; небо стало черным с вороненым выблиском. А в пынешний кроткий пасмурный, с голубыми промельками осенний де-

нек серый и какой-то печальный город спокойно входил в душу. Я не ощутил даже, что движение на его пешеходных улицах стало напряженнее и гуще, а воздух душнее, что еще меньше неба оставили жителям камешные громады.

Токио взял свое поздно вечером, когда я вышел на Гиндзу, возле которой находился мой «Империал». Токио — почтой город. В еще большей мере, чем ультрасовременная Осака, приучен он к безумству ярких огней. Конечно, я имею в виду определенные районы города, такие, как Гиндза, Синдико, Асакузи. Остальной же неохватный город, где в крошечных и частых, как ячейки сотов, зыбких домишках ютятся более десяти миллионов человек, никак не меняется с наступлением ночи. Он просто задергивается тьмой, чуть просвечиваемой из-за штор семейной лампой.

В стране переизбыток дешевого электричества (гидростанции), которое с бесшабашной щедростью расходуется на неоновую рекламу, освещение витрин магазинов и кафе, подъездов, общественных зданий, подступов к местам веселья, создание всевозможных искусственных солнц, комет во славу великих фирм — хозяев страны. Один концерт «Мицубиси» поглощает по почтам на рекламы и световые табло больше электричества, чем город средней величины.

В Синдико — квартале веселящейся молодежи, хотя тут полно людей на возраст, знающих толк в молодых удовольствиях, где теснятся бесчисленные бары — с музыкой и без музыки, с японской, китайской, корейской и даже русской кухней, с профессиональными певцами и самодеятельностью из числа посетителей, с приторно-ласковыми бар-герлс, в Синдико, где смердящие прогорклым оливковым маслом и соей обжорки не без успеха соперничают с дорогими ресторанами и зазывалы мелких стриптизных заведений стараются перекричать зазывал турецких бань (за распахнутыми дверями мелькают голоногие мойщицы), где подозрительные фотоателье, массажные и педикюрные скрывают свое истин-

нос лицо за безобидными вывесками, — в этом Сиидико целые улицы, площади, перекрестки залиты ослепляющим, переливающимся, меркнувшим лишь с рассветом и будто звенящим золотом. Откуда звень — не знаю, может быть, то выплески музыки, пения, смеха, голосов... Неповторимое Сиидико уверенно плывет на гребне музыкально-световых волн.

Токио восхищает и ужасает в одно и то же время, но это двойственное чувство не обязательно охватывает тебя сразу — к огорчению японцев; желающих мгновенной острой реакции. Впечатления скапливаются исподволь, количество переходит в качество.

Возможно, летний Токио, каменный, бетонный, плавящийся в тридцатиградусной жаре, почти лишенный зелени и вовсе лишенный зеркала воды, задержанный маревом от выхлопных газов (на регулировщиках — противогазные маски), производит иное, мгновенное в своей убийственной завершенности впечатление, нежели пынешний, погруженный в мягкую, ясную, сухую, ласковую осень. Мне досталась благословенная пора. И все же метро и улицы в часы пик с густой, одержимой, неумолимой толпой, заторы на перекрестках и площадях и, еще хуже, на односторонних автострадах, проложенных вровень с крышами домов, когда даже человек, начисто чуждый клаустрофобии, испытывает отчаяние безвыходности, заторы, которые не рассасываются часами, а когда машины наконец двинулись, то ползут черепашьям шагом, и вдруг становится нечем дышать, и шоферы включают эйркондишн и требуют закрыть окна, — все это возводит здешнее бытие в ранг кошмара.

Из-за жары и духоты чудовищно разросся подземный Токио, дышащий с помощью кондиционеров. Переходы метро и уличные подземные переходы превратились в обширные кварталы с магазинами, киосками, кафе, барами, ателье, почтовыми и банковскими отделениями. Отсюда есть и выходы в крупнейшие магазины. Человек может жить летом, почти не появ-

ляясь на раскаленных улицах. И, постигая эту жизнь не восхищенным умом, а смущенной душой, ты обнаруживаешь, что уже начали сбываться мрачные пророчества Герберта Уэллса и еще более мрачные — Алексея Ремизова, видевшего нашего далекого потомка в виде крота-дикобраза, полуслеплого земляного жителя, с медвежьим косоступием и страшным косматым сердцем, забывшего о небе и светилах. Да, в Японии воочию видишь, каких успехов может добиться рядовой, обычный, в меру одухотворенный, трудолюбивый и дисциплинированный человек в борьбе против самого себя. И до чего же пластичен человек! Чудовищно загрязнив воздух, он уходит под землю, деловито и безропотно осваивает кротиную науку. Такие вот победы над своей сутью, ведущие к окончательному поражению, ненавистны Акире Куросаве. Всей своей страстной душой хочет он вернуть человека к достоинству жизни в природе. Вот что такое для него «Дерсу Узала»! Через облик и судьбу самого современного среди мировых городов я стал лучше понимать моего упрямого соавтора...

Через несколько токийских дней меня неудержимо потянуло к чему-то мягкому, шерстяному, из живой теплой жизни. И как только выдались безработчие часы, я помчался в зоопарк, раскинувшийся по холмам на краю города.

Великолепен обезьянник для некрупных бандарлогов, дающий большую свободу беспокойному племени. Он представляет собой искусственное нагромождение серых скал, похожему, из бетона, отделенных от борта ровиком с водой. Выбраться обезьяны из своего загона не могут, да и не пытаются. Жизненного пространства им хватает, а конструкция скал — с падами, кручами, выступами, провалами — дает не меньшую возможность для акробатики и сумасшедшего движения, нежели тропическая чаща. Впрочем, так кажется мне, а какого мнения сами обезьяны о своей неволе — сказать трудно. Во всяком случае, ведут они себя непринужденно и пеза-

висимо. Не позируют для зрителей, не попрошайничают, а носятся как угорелые, дерутся, орут, скалят зубы, ищут друг у друга блох, жадно выедают мякоть из бананов и апельсинов, брезгливо отшвыривают кожуру, валяются, дурачатся, спят и с азартом предаются любви. В вольере полно молодняка — от ползунков до юношей мятежных.

Старые вожди сидят истуканами, но порой, вспомнив, что нужно поддерживать свой авторитет, отпускают пару молниеносных и оглушительных оплеух подвернувшемуся под руку подданному. Наличие провинности вовсе не обязательно, предполагается, что каждый в чем-то подспудно виноват, ну хотя бы в мыслях.

Большие обезьяны — гориллы, шимпанзе, орангутанги — находятся в поместительных клетках с прочной решеткой. Причем у молодых горилл перед клеткой расположен небольшой вольер, где они кочевряжатся на потеху публике. Их нарочито дурашливое поведение рассчитано на получение мзды. Животных разрешено кормить, и в киосках продается различный корм. Известно, что за все время существования зоопарка в хлебцах и пончиках не оказалось ни гвоздя, ни безопасной бритвы, ни иголки, ни штопора.

Поражает обилие детей. В Японии всюду, где есть трава и хоть какая-то возможность для прогулки, видимо-невидимо детей. Здесь настоящий голод по зеленой жизни. В Токио, как уже говорилось, почти нет растительности, исключения составляют чахлый городской парк в центре и территория императорского дворца. На улицах — ни деревца, а в крошечных двориках — традиционные японские садики, созданные кустиком, несколькими цветочками, каменным фонарем на яркой нашлепке мха, двумя-тремя серыми камнями и плоской с водой. Эти трогательные, милые и жалкие садики — тоже знаки тоски о богоданном и утраченном мире.

Куда ни глянешь, всюду чернеют разогретые солнцем, будто наваксенные головенки: у клеток и вольеров, среди

кустов и деревьев, на площадках для отдыха, у киосков, в траве, на скамейках, в колясках, за спиной у матери.

Был час обеда, и все дети подкреплялись из картонных и бумажных коробок: что-то мучное и молочное, иногда рыбное и непременно рис и сладкое: крем, желе, взбитые сливки, бисквиты, кексы. Для расправы со всей этой снедью каждый обеденный набор содержит палочки, ложечку, ножичек. Прибор по использованию выбрасывается вместе с красивой шуршащей оберточной бумагой, картонкой, бумажными салфетками и пустыми бутылочками из-под коки, оранжада, лимонной шипучки в проволочные переполненные корзины — горы цветастого, живописного мусора хорошо вписываются в пейзаж.

Это банальность — говорить о том, как любят детей в Японии. День детей — самый главный японский праздник. Но о том, как умна эта любовь, стоит сказать. Никакого сюсюканья, тетешканья — серьезное, уважительное отношение, и всегда ровное — дети не должны отвечать за перепады взрослого настроения. С самого раннего возраста детей приучают к самостоятельности и ответственности за свои поступки. И живость, непосредственность, раскованность маленьких японцев никогда не переходит в ломучую перевозбужденность.

Гордость зоопарка — львятник. В самом центре зверьевого мира выделен клочок редкого леса и обнесен рвом с высокой стеной. По лесу вьется асфальтовая лента шоссе. А в лесу обитают львы — десятка полтора, не считая родившихся в зоопарке детенышей.

Львы лениво бродят по редняку, мелькая золотой шкурой в припыленной зелени; царственно развалившись на шоссе во всю длину, мешают движению автобуса. Да, по этим крошечным и редким, как расплзшийся шелк, джунглям ходит автобус с зарешеченными окошками. Получается зоопарк наыворот: львы — на воле (весьма относительной, конечно), посетители — в клетке. Примерно как в кенийских заповедниках, только в миниатюре.

На таком автобусе отправился в путешествие и я. Посадочная станция находится с края льявника и соединяется с широким миром посредством герметически закрывающихся массивных дверей, приводимых в действие током. Закончив экскурсию, автобус входит в тоннель, занимая всю его ширину, с таким малым допуском, что и плоскому фанерному льву не протиснуться. Ворота за ним задвигаются, дверцы автобуса открываются, и пассажиры выходят. А из тоннеля с другой стороны выпускают следующую партию. Все занимают свои места, и тем же порядком автобус отправляется в страну львов.

Начинается увлекательное путешествие по петлям и виражам шоссе. Львы настолько привыкли к автобусу и к ликующим за толстыми, забранными решеткой окнами наблюдателям, что не обращают внимания на шумное вторжение чужой жизни. Иной раз водитель с минуту отчаянно сигнализирует, чтобы заставить песочного, занежившегося под солнцем тривастого красавца хотя бы повернуться на другой бок и дать проезд. Котята так же равнодушны к безвредному металлическому чуду, как и умудренные опытом родители. Значит, нет, вопреки всем утверждениям Киплинга, врожденной и неодолимой ненависти и до тошноты брезгливости чистого зверя к человеку с его человеческим духом!

В траве атели шмотья свежего мяса — львов кормят досьта. В особом загончике обитала львица с поворожденными, а счастливый отец растянулся поблизости, как-то неизменно удлиненный — гордостью, что ли? — от кисточки хвоста до кончика носа.

А потом было ужасное видение. На вершине холмика лежал в классической позе каменного льва — передние лапы вытянуты вперед, задние напряженно подобраны, голова дозорно вскинута — большой лев. Его морда, то ли с сощуренными, то ли с вытекшими глазами, была вся в болячках, гнойно-кровавых струпьях. У прокаженных в последней стадии

болезни появляется «львиная морда», паверное, такая вот — распаханная, разъявленная, в запехах.

Однажды в Кении я тоже видел льва с исколотой, кровоточащей мордой. Мне сказали, что его покалечил дикобраз. Лев не может справиться с иглоутыкашным ничтожеством, но и отступить в гордой ярости тоже не может.

Но откуда в льятнике взяться дикобразу? Может, льва привезли уже пострадавшего в схватке и рапы нагноились? Но разве станут ловить увечного льва? Или это какая-то львиная болезнь? Но почему его держат с другими, здоровыми львами? Не знаю. Одно знаю: слепой беспомощный лев живет среди сильных, хищных соплеменников, в положенное время забирает свое мясо и пожирает, и никто не пытается лишить его положенной доли, никто не преследует, не обижает калеку. Эх, если б и у людей было побольше такого вот — львиного!

Работа продолжается. Точно в назначенное время за мной приезжает «связной» — скромный молодой человек в очках, не знающий ни слова по-русски, но добывающийся от меня всего, что нужно, робкой до боли, далекой улыбкой, и мы едем в «Акасаки-Принс-отель», где уже поджидает Акира Курогава со своим штабом: вторым режиссером Тэруйо Ногами с трогательно нежными девичьими ладонями и мужским упорным, решительным характером, ассистентами: бесстрастным, молчаливым Норио Микошима, похожим на индейца, бледно-смуглым Тамоцу Кавасаки, выпускником ВГИКа, он прекрасно владеет русским, но почему-то наотрез отказался от обязанностей переводчика. На столе бумага, остро очиненные карандаши, кока-кола, вода с лимоном и льдом, орешки, которые я всегда съедаю один (к сожалению, я заметил это лишь в последний день на последней орешке). В положенное время нам подают черный кофе, а к исходу рабочего дня, когда силы слабеют, холодное пиво. Меня удивляла математическая точность обстава наших встреч. В дальнейшем я убедился, что это основа основ японского стиля работы в

любой области: в офисах, на предприятиях, в журналистике, на транспорте, в сфере обслуживания. Как же не похожа эта по секундам выверенная точность на ту безалаберщину, которую Шаброль почитает сутью японской жизни!..

Мы уже достигли известных успехов: выпололи всю «кшюкву», оснастили сценарий достоверными русскими именами, песнями, поговорками, русской повадкой, что-то сократили, что-то развили, перестроили; — все это необходимо, без всякого сомнения, но мы знаем, что не тут собака зарыта, и словно оттягиваем решительный разговор. Вернее, мы заводим его, но сразу же прячемся по своим порам. Мы боимся порвать какую-то тонкую нить, ждем чего-то — знамения, огненных писем или внутреннего посыла, чтобы перейти незримую черту. А может, мы надеемся избежать кровопролития, прийти к согласию каким-то неведомым путем?..

Но и на периферии главной темы нередко возникают ожесточенные споры. То и дело переводчик объясняет: «Совещание!» — и тут же японцы склоняются друг к другу и быстрыми, птичьими голосами начинают насвистывать сердитую песню несогласия. Можно подумать, будто Куросава ни один вопрос, даже пустячный, не в силах решить без своего штаба. Но я почему-то не верю в эту коллегиальность. Для чего-то ему надо, чтобы они выговорились, но решение он принимает единолично. Несколько раз случалось, что после особенно возмущенного свиста — больше всех старалась Ногами — мне вдруг говорили: «Принято!»

Неожиданным камнем преткновения оказался юмор. Книга Арсеньева весьма им небогата. Когда-то Томас Машп сказал о Стриндберге: «Подобно многим высоким душам, он был лишен чувства юмора». Это можно отнести и к Арсеньеву, и, думается, к Акире Куросаве. Я не ахти какой шутник, но все же попытался чуть оживить улыбкой элегический пастрой нашего сценария. Как ни странно, Куросава очень доброжелательно принял все мои юмористические потуги, но

поправил так, что смешное исчезло. Вернее, юмор стал как-то уж слишком ребячлив и паивен, как в мультфильмах для малышей. Возник очередной спор, и в разгар дебатов и пересвиста «японской стороны» я случайно сел на листок с записями. Поднялась суматоха. Наконец листок был обнаружен... подо мной. Японцы смеялись до слез, до изнеможения, минут пять мы не могли вернуться к работе. Очаровательно-беззащитно, по-детски, взалхлеб смеялся суровый Куросава. И я вдруг увидел, каким он был славным мальчиком. У каждого народа свое представление о смешном, но все же я рад, что отстоял в сценарии наше, русское. Мне думается, эту уступку Куросава сделал в благодарность за наслаждение смешом, которое я ему предоставил...

На ближайший уик-энд гостеприимные хозяева запланировали нам с женой маленькое путешествие в Камакуру и Иокогаму, на берег океана.

Это недалеко, и мы поехали машиной. Часть пути пролегла по новой магистрали, проложенной на высоте пяти-шести этажей. Влево от нас, внизу, в провале, лепились сколько хватало глаз крошечные двухэтажные домики, и казалось, им так же тесно и душно, как их насельникам в метро в часы пик. И банальная, но оттого не менее приставучая мысль сверлила мозг: обитатели этого человеческого муравейника создали и это поднебесное шоссе, и мелькающую на горизонте громаду корпусов концерна «Мицубиси», и все чудеса современной жизни, весь переизбыток материальных ценностей, а себе и своей семье выгадали лишь муравьиный закус. Какое терпение, какое послушание или же какое незнание собственной силы лежит за этим?..

Замечательные дороги, отличные машины, великолепные скорости, а короткий путь до Камакуры — километров соток — превратился в долгое и мучительное путешествие. Виной тому бесчисленные пробки, которые не объедешь, не

минуешь. А по сторонам — нескончаемый город, и не поймешь, где кончился Токио и начался Кавасаки, кончился Кавасаки и началась Камакура. Лишь по йодистому запаху океана мы поняли, что уже близки к цели.

В Камакуре — дивные храмы, темный, будто прокопченный, великан Будда, внутри — винтовая лестница, позволяющая подняться в голову бога и глянуть сквозь пустые щели глаз на храм, сад, толпы людей и деревца, покрытые вместо листвы клочками бумаги с молитвами. Посетители ведут себя в теле Будды непринужденно: курят, лижут мороженое и отшвыривают обертку. Можно ли уважать бога, внутри которого допускается такая свобода?

Настоящее счастье настало, когда мы достигли берега океана, бухты с пустынным и порядком замусоренным пляжем с глянцевитым заплеском, с далью, островом на горизонте, с парусами рыбарей, с благодатью не заполненного человеком пространства.

И был еще замечательный ихтиологический музей, а при нем — дельфиний и тюлений цирк. В огромном бассейне дельфины и два тупомордых молодых кашалота демонстрируют свою невероятную прыгучесть, ловкость, прекрасный характер и симпатию к людям. Особенно эффектны прыжки сквозь горящий обруч, причем руководит зрелищем и награждает умельцев живой рыбой обезьяна-шимпанзе в красных штанах, байковой рубашке с закатанными рукавами и жокейской шапочке. Все это увлекательно, удивительно и мило — с животными прекрасно обращаются, да ведь и подчиняются дельфины только ласке, они невероятно обидчивы и сразу обрывают контакт с людьми, если встречаются с хамством, но я все время ловил себя на мысли: лучше бы этого цирка не было.

Писатель Виктор Конецкий в своих интересных штурманских дневниках «Соленый лед» сетует, что человек не вошел в контакт с обитателями морей, озер и рек, как с лесным и полевым населением, и что этим, мол, объясняется

слишком уж хладнокровное зверство человека над водными жителями. В самом деле, ни одна охота не обставляется так жестоко, беспощадно, как рыбная ловля. Простой рыболовный крючок, вонзающийся в жабры, глаза, чего стоит! Пуля и дробь куда гуманней. Мы слышим голоса страдания четвероногих и птиц и невольно подчиняемся известным правилам приличия в их убийстве. Но немых и словно бесчувственных рыб, от которых к нам не поступает никакой информации, стесняться нечего, над ними злодействуют без удержу: глушат толом, колют острогами, расстреливают из гарпуниных пушек, травят химикалиями, живьем разделявают, швыряют на раскаленную сковородку или в котелок с кипятком. Они молчат. Они не возражают. Теперь мы узнали голоса дельфинов, научились немного понимать их. Мы узнали, что и рыбы (дельфины — млекопитающие) не безмолвны. Акваланги, аппараты Кусто, бурно прогрессирующая техника позволяют нам уходить все глубже в океанскую толщу, все ближе и ближе наблюдать рыб, входить с ними в соприкосновение в их привычной среде.

Но, думается, Конечкий напрасно возлагал надежды, что близкое знакомство породит более джентльменское отношение к рыбам. В той же Камакуре я посмотрел «рыбий» хроникальный фильм и вынес удручающее впечатление. В дальнейшем я видел множество подобных лент по телевидению и с печалью убедился в типичности камакурской продукции:

Сейчас по всему миру распространилась не только подводная охота — весьма жестокая, а и некие овеянные спортивным риском игры с обитателями морских глубин. Прокатиться верхом на подводном жителе, проплыть, держась рукой за его хвост, жаберную крышку или щупальце, в то время как напарник энергично накручивает волнующие кинокадры, ну хотя бы просто дернуть за хвост проплывающую мимо акулу, отчего ее желудок вываливается наружу, так слаб в шей внутрешний сцен, — модная забава состоятельных оборотов

и их прихвостней. Появилась когорта подводных профессионалов вроде «белых охотников» на сафари, альпийских проводников или инструкторов горнолыжного спорта в Альпах. Киношники, фотографы, телевизионщики тоже прилежно взялись за «рыбный бизнес». Как были счастливы подводные очаровательные уродцы, мнимогрозные чудовища, а порой и впрямь опасные — акулы (это их святое и справедливое дело, определенное самой природой), пока человек не стремился к слишком тесному контакту с ними. Рыбы оказались явно не готовы к этому знакомству. Как жалка была огромная акула, которую красавица в акваланге (под охраной стрелка) дергала за хвост и плавники. Акула и не думала нападать и даже защищаться, она помышляла лишь о бегстве, чему мешал рельеф дна. А замученный другой настырной русалкой скат, такой страшный на вид, такой испуганный и беспомощный перед аквалангисткой! Бедные, бедные рыбы!..

Мне кажется, что на сегодняшний день человек, убедившись, что подводные обитатели куда менее страшны, чем ему казалось, еще больше разнуздал свои дурные инстинкты. И если не будут срочно приняты суровые законы и охранительные меры, то несчастные «тигры» морей и все им подобные убийцы — сущие дети перед человеком — будут истреблены под корень. Да и не просто истреблены, а с издевкой, с дурацкой усмешкой, унижающей не их, а суть человека, и без того униженную слабоумным поведением в дающей жизнь среде. Дерсу Узала, Арсеньев, боявшиеся сделать лишний выстрел в еще богатой и населенной тайге, спугнуть вольного зверя, причинить хоть малый ущерб дышащему миру, вернитесь и напомните людям о законе круговой поруки, связывающей всех населяющих землю!..

Забавны, трогательны тюлени, жонглирующие мячами с булавами, вылавливающие из воды разные брошенные туда предметы, кувыркающиеся на гладком бетонном окоеме бассейна, безошибочно ловящие рыбешку, полученную в награ-

ду за очередной фокус, умилителем гигантский морской слон с добродушной мордой, облепленной лавой носовой жидкости, когда он вытягивает за кормом свою толстенную и гибкую шею, но есть ли этический смысл в этих представлениях? Тюлени давно уже на арене, а охота на них принимает все более зверский характер, морские слоны не первый год демонстрируют свою умилительную неуклюжесть, а тем временем их извели подчистую. Может быть, стоит отказаться от всякого шутовства с животными, нашими меньшими братьями не в поэтическом, а в биологическом смысле, и воспитывать детей в настоящем уважении к ним; в сознании того, что надругательство над зверем так же аморально, как надругательство над человеком?

...Через Иокогаму, смеившуюся день на почь, пока мы ехали ее прямыми улицами мимо кварталов, сплошь занятых китайскими ресторанами, освещенных китайскими фонариками, мимо громадного порта, где дремали на рейде темные печальные грузопароходы, а у причала сверкал огнями кают, гостиных, баров и танцзалов океанский лайнер под английским флагом, мы вернулись в Токио, в свой настолько комфортабельный отель, что человек, напрочь освобожденный от телесных усилий, в самом деле может превратиться в уэллсовского марсианина, состоящего из одной головы — вместилища мозга, весь остальной телесный состав заменен техникой.

Когда оказываешься в номере, рука невольно тянется к пультику управления телевизором на ночном столике и включает ярко расцветенный экран. Черно-белые передачи крайне редки, разве лишь когда показывают старые кинофильмы. В первые дни, зная, сколько бед причинил телевизор японскому кино, я с некоторым ужасом поглядывал на большую полированную коробку с голубоватым бельмом экрана. Но затем пересилил себя и выпустил джинна из бутылки...

Здесь семь каналов, по которым с раннего утра допоздна бесперывно идут передачи. Четыре программы иссякают к

двенадцати, пачалу первого почи, а восьмая, десятая и двенадцатая работают нередко до четырех утра. Порой в глухую полночь пускают фильмы ужасов, чаще всего Хичкока.

Что можно сказать о телепродукции в целом? Сначала на ум приходят разные восторженные слова: богатство, разнообразие, яркость, выдумка! Затем восхищение начинает стремительно таять, и в конце концов остается одно: скучно. Да, знаменитое японское телевидение, наделавшее столько бед, едва не погубившее Куросаву и толкнувшее Сиидо к порнофильмам, надоедливо, примитивно, аляповато и, главное, скучно. За обманчивой нестротой скрывается пазойливое, удручающее однообразие и пустота. Конечно, бывают интересные передачи. Это прежде всего относится ко второй программе государственного телевидения, дающей интересные культурные и общеобразовательные программы. Бывают и хорошие спортивные передачи, научно-популярные фильмы, спектакли театров кабуки и НО, концерты, политические обзоры, хроника текущих событий. Но ценное, содержательное, талантливое тонет в потоке халтуры, рекламы, доводящей до безумия, скверных и безвкусных мультипликаций, идиотских фильмов для подростков о пришельцах из других миров, побеждающих картонных чудищ, и гольф, гольф, гольф — без конца и без всякой меры. Самый неувлекательный, зрелищно ленивый и снобистский вид спорта буквально полонил голубой экран. Соревнования по гольфу нередко передаются сразу по трем программам. Если же не показывают состязаний, то обучают удару — какой-то среднеарифметический человек без конца замахивается клюшкой и лупит по тугому мячу, чтобы пустить его над поляной, кустарником, буераком и лужей. Это игра для одиночек, к тому же состоятельных. Куда популярнее в Японии бейсбол, играют все — от мала до велика, играют, как бразильцы в футбол, используя лобой пустырь и самый примитивный инвентарь. Частый показ бейсбольных соревнований имеет по крайней мере осно-

ванце в его массовости. Все остальные виды спорта куда более редкие гости телевидения.

Спортивная жизнь Японии, коль уж об этом зашла речь, разительно отличается от нашей. У нас наиболее популярны футбол, хоккей, легкая атлетика, коньки, лыжи, баскетбол. В Японии — бейсбол, американский футбол, регби, травяной хоккей. Американский футбол жесток и однообразен: сговор — свалка, сговор — свалка, и так до одури, пока наконец какой-нибудь счастливец не промчится с грушей мяча до положенного места. Этот футбол долго уступал в популярности регби, хоть и похожему на него, но отличающемуся куда большим разнообразием и обилием возможностей. Американизм побеждает не только во внешних формах жизни, в манере поведения, одежде, зрелищах, но и в спорте. Даже древние и любимые народом виды японской борьбы: сумо, дзюдо, каратэ — потеснились перед омерзительным кетчем, завезенным из-за океана. А в последнее время вошел в моду новый вид бокса — с участием ног. Это какой-то сплав нормального бокса с кетчем. Дерутся в обычных боксерских перчатках по правилам и в стойке классического бокса, и вдруг один из боксеров наносит противнику удар по ребрам ногой, тот лягает его, в свою очередь, и тут первый подпрыгивает и кетчевым приемом ударяет его коленками в грудную клетку. Глубокий покаут. Такой глубокий, что происходит долгая церемония награждения победителя, он получает пышные и безвкусные призы от разных фирм, вазы, кубки, статуэтки, коробки, перевязанные лентами, а побежденный без сознания валяется на досках ринга. О нем забыли, никто не пытается ему помочь, привести в чувство. Профессиональный ринг, как известно, нежностью не отличается, но такого неуважения к спортсмену и наплевательства на человека я не видел даже в Америке. Когда сверхсчастливый победитель пролезал под канатами, чтобы попасть в объятия болельщиков, поверженный боксер очнулся, встал, хватаясь за кана-

ты, и проковылял в свой угол, где висел его халат, но почему-то не было ни тренера, ни менеджера. Неужели на нем так вот сразу поставили крест?

В Японии придумывают все новые и новые виды спорта. Самое последнее изобретение — футбол на велосипедах. Выглядит занятно, но трудно сказать — привьется ли...

Что бы вы ни смотрели по телевизору — спортивное состязание, фильм, пьесу, концерт, — в самый неподходящий момент вторгается реклама, чаще всего трех фирм: «Сони», «Сейко», «Сантори». Когда демонстрируется фильм, это еще куда ни шло. Художественное впечатление ломается, конечно, но смысл происходящего все же не пропадает. Пока на экране молодые люди с глупыми лицами наслаждаются «Сантори»-виски — «классическим виски Японии», показ фильма прекращается. Исчезла с экрана четырехгранная бутылка, пошел фильм дальше. Но ведь нельзя же остановить спортивное состязание. Идет третий раунд, судьба боя висит на волоске, и тут исчезает ринг — и во весь экран паручные часики «Сейко». Оттикала «Сейко», медовый голос — в который раз — оповестил усталое человечество о несравненных качествах этой фирмы, — вернулся ринг. Но на нем уже другая пара боксеров, и чем кончился предыдущий бой — неизвестно.

Фирмы в своем праве, они не только приобретают безумно дорогостоящие минуты для рекламы, но и субсидируют передачи: и спортивных соревнований, и концертов, и всевозможных шоу. Это косвенный вид саморекламы. Мы наслаждались зрелищем бескомпромиссной борьбы двух теннисных богов — Лейвера и Розуолла, это устроил нам старик Сантори. Спектаклем театра НО мы обязаны фирме «Сони», а детской передачей — концерну «Марубани». По существу, они хозяева четырех из семи программ телевидения. И если передачи стали однообразными, скучными, порой убогими, то это объясняется пошатнувшимися делами фирм. Даже противники телевидения вроде Куросавы говорят, что не-

сколько лет назад программы отличались несравненно большей изобретательностью, разнообразием и блеском. К созданию их привлекалось все самое талантливое и яркое в стране, денег не считали. Расцвет японского телевидения отражал невиданный расцвет японской экономики и преуспевание ведущих фирм. Но этот полупаразитарный расцвет — на мыслях, скупаемых по всему свету, так же как скупается сырье, отсутствующее в Японии, — кончился. Нынешний спад объясняется прежде всего отсутствием идей, гибкой технической мысли, способности к решительному обновлению. Япония легко расставалась со своими гениями и талантами — нередко Нобелевская премия венчала японских ученых, но работали они, как правило, в американских исследовательских центрах. Японские промышленники делали ставку не на них, а на высокую квалификацию, дисциплинированность и усердие рядовых исполнителей. Быстро, много, хорошего качества — вот что характеризовало промышленность Японии, но отнюдь не новаторство, озарение. Надо прямо сказать: во главе японской экономики стоят люди с головой, волей, размахом и громадным опытом; очевидно, они найдут выход из застоя. А как это отразится на японском телевидении — сказать не берусь.

Во что же обошлась стране борьба телевидения и кино? Закрылась самая большая и сильная киностудия «Дайэй». Ее президент, смелый и принципиальный Нозака, с донкихотской наивностью пытался удержаться на высоте искусства вопреки всему и пал под развалинами студии. Другая крупнейшая студия, «Тохо», тоже пытающаяся сохранить лицо, хотя и не так строго, как «Дайэй», еще борется за жизнь. Студия «Тоэй», первая спустившая флаг искусства и ставшая на путь откровенной халтуры — умопомрачительные приключения, чудовища, американизм, постель, — процветает. Уцелели в материальном плане, рухнув в художественном, студии «Никацу» и «Сютике». Первая славилась фильмами о чистой юношеской любви, в них блистали нежные Юрико

Асаока и Саюри Есинга, теперь отсюда льется мутный поток порнографии. Вторая специализируется на псевдоисторических картинах с бесконечной рубкой на мечях — так называемых Якуда-фильмах. Когда-то эти фильмы рисовали образ благородных разбойников вроде Робин Гуда, друга бедных; грозы богатых, но сейчас социальный и гуманный смысл исчез. Остался голый бандализм.

В настоящее время телевидение, несомненно, победило кинематографию, но это пиррова победа.

Должен со стыдом признаться — горящий кошачьей зеленью в сумраке гостиничного номера глазок телевизора обладает завораживающей, гипнотической притягательностью. Проклинаешь пазойливого и смекалистого предпринимателя Тори-сана, догадавшегося создать собственное японское «классическое» виски «Саптори» и наводнившего голубой экран молодыми красавцами, безмерно счастливыми сивушным вкусом его изобретения, а равно скверные мультипликации про банды Симидзу-икко, бодливых быков и шлемоблещущих героев из соседних галактик, смотришь, скрипя зубами, как очередной седеющий джептльмен развернулся — от плеча — клюшкой по мячу, балдеешь от стрельбы, от громкой музыки, но не можешь населить яркий квадрат блаженной и тихой тьмой. Ведь он избавляет тебя от необходимости думать, общаться с собственной усталой душой, помнить о мире со всем его неустройством, о тех, кому скоро уходить, о трудной твоей профессии, обо всем, чем обременено перетруженное сознание. Ты свободен от дум, от болей, от забот, от жалости и ответственности, от всего, ты п у с т. Безмятежные волны глупости укачивают, убаюкивают. Крути ручку: улыбающиеся мойщицы турецких бань, рукосуи и пожебон, скрут борцовых тел — игра здоровой человеческой плоти, и никаких сложностей! Пейте «Саптори»-виски! Живите по часам «Сейко»! Покупайте радиоприемники «Соли»! Все ясно и просто в этом мире. Нет слез и страданий, нет мучительных проблем,

ешьте, пейте, стирайте порошком «Таюми», ходите в турецкие бани, бейте морду, и больше гольфа, больше бейсбола. черт возьми, смерти нет, полный вперед!..

Ненависть к японскому телевидению еще больше приблизила меня к миру Акиры Куросавы.

Любопытно, что Шаброль даже не упоминает о телевидении. В померах, которые снимала ему бедная мадам Мото, не было телевизора. Но оглуленный образ японской жизни, лишенный истинных человеческих тягостей, призрачный в своей нелепости и безмятежном шутовстве, пришел в его книгу будто не из жизненных, а из телевпечатлений. И получается, что он смотрел на окружающее телеоком...

По желанию Куросавы я посмотрел «Семь самураев». И этот длинный, местами скучноватый фильм снова, как и прежде, потряс меня. И смотрел я этот фильм со всей свежестью первовидения.

Мне вспомнилась «Великолепная семерка», на которой в свое время тяжело помешались не только подростки, но и взрослые, утомленные люди. Мальчишки без устали швыряли ножи и подражали крадущейся поступи Юла Бришнера, взрослые упражнялись в шутовском обыгрывании цифр.

Успех этого фильма во всем мире был куда больше, нежели у породивших его «Семи самураев». Я имею в виду чисто зрительский успех, отношение людей искусства к двум «семеркам» было совсем иным. Наш талантливейший молодой режиссер Андрей Тарковский, начиная новую картину, непременно смотрит «Семь самураев», чтобы «зарядиться», настроиться на высокий лад.

После «Великолепной семерки» звезда Юла Бришнера, игравшего главную роль, поднялась в зенит. В чем секрет его успеха? Юл Бришнер, с круглой, как сыр, бритой головой, отнюдь не красавец, не геркулес, не образец ловкости или силы, не актер нутра, не мастер перевоплощения, и весьма сомнительно — есть ли у него хоть какой-то талант, кроме одно-

го — таланта успеха. Он везде и всегда одинаков: в стетсоне или чалме, в котелке или белой, схваченной обручем бедуинской повязке, пеший или окоп, в своем цвете или перекрашенный, современный или из прошлого — внутренне он не меняется ни на йоту. Такими неизменными не были даже корифеи немного кино, носившие постоянную маску: ни «вечно улыбающийся» Дуглас Фербенкс, ни «роковая» Пола Негри, ни предприимчивый Гарри Пиль, ни романтический Ричард Бартелмес. У них все-таки бывали отступления от стандарта раз выбранного образа, да и образ этот отличался если не глубиной, то неким порожденным временем и социальными условиями смыслом. У Юла Бриннера ничего подобного и в помине нет. А что есть? Привычный набор заурядного киногероя нашего времени: неправдоподобное хладнокровие, медлительный взгляд, преувеличенное умение владеть оружием, неуязвимость...

Чем же потрафляет Юл Бриннер современному человечеству? Может быть, тем, что он действительно никакой, а вот смотрите, как преуспел! Может, в его неодухотворенности, обыденности — надежда для миллионов, наполняющих прокуренные кинозалы?..

А какой глубокий образ создал тот пожилой актер, который играл роль предводителя самураев у Куросавы! Тоже с голой, как яйцо, головой, — может, это и патолкнуло режиссера «Великолепной семерки» на Бриннера?

Содержание двух картин идентично: крестьяне, подвергавшиеся систематическому грабежу вооруженной банды, нанимают для охраны — в одном случае «безработных» самураев, в другом — авантюристов, умеющих обращаться с оружием.

Кстати, не мешает объяснить, что такое «самурай». Это далеко не всегда закованная в железо дьявольская сила, воплощение агрессии. Самурай — кастовое понятие, попросту говоря, профессиональные военные. У нас существует странный

фетиш слов. Так, например, неплохо утоляющий жажду, бодрящий, хотя и приторный, напиток типа ситро кока-кола долгое время считался чем-то вроде опиума, каким американские империалисты одурманивают народы. «Самурай» же звучало синонимом воинственной одержимости. Но когда самурай не нападает, а защищает свой дом, он все равно самурай. Когда он побирается по рынкам в надежде получить тарелку супа или горстку риса, ибо его прогнал не нуждающийся больше в вооруженной силе феодал, он все равно самурай. Человек, носящий оружие, ратник, воин — это самурай. Все остальные свойства самураизма, что справедливо означает воинственность, могут быть, могут и не быть у посягающего оружие. Человек становится военным вовсе не из желания проливать кровь, захватывать чужое имущество и землю.

Безработные самураи Куросавы отнюдь не кровопийцы, убийство гадко и противно этим прошедшим сквозь многие битвы людям. Но им надо жить, и съесть свою миску риса, и чистить оружие, чтобы не заржавело, и прикрывать наготу, к тому же у них вызывает сочувствие горестная судьба деревни, замученной бандитами, и они идут на службу к крестьянам. А затем начинается бой, долгий, страшный, беспощадный, где каждый осуществляет себя до конца. В живых остаются трое: предводитель, его помощник и юноша новичок. Все то же самое, хотя и в социальном тумане, происходит в «Великолепной семерке».

Идентичны в картинах и образы героев, и способ предварительных характеристик, и, наконец, заключительная фраза предводителя, когда спасенные крестьяне возвращаются к своему труду, своим песням, своей привычности и разом забывают о чуждых им духом избавителях. «Мы всегда в проигрыше», — говорит Юл Бришнер. В японском фильме эта фраза звучит чуть иначе: мы всегда побежденные. Тут есть своя тонкость: в битве самураи победили, но, бездомные и неприкаянные, они ничего не получают от своей победы. Им

достаётся лишь печальная память о погибших соратниках, да и та ненадолго. Супермены «Великолепной семерки» могут говорить лишь о проигрыше, как в картах, но не о поражении. Нищие самураи Куросавы куда проще, правдивее, ближе к черствой сути жизни. Они и вообще-то знают лишь поражения, ибо плодами их победы неизменно пользуются другие, обычно феодалы, как исключение — крестьяне, но все равно наниматели. Военные люди, по существу, так же бесправны, как и не понимающие их крестьяне.

Действие «Семи самураев» происходит в пору, когда Европу потрясла Варфоломеевская ночь, то есть во второй половине шестнадцатого века. И фильм бережно воспроизводит всю обстановку того времени, всю систему социальных связей, общественных отношений. И когда бритоголовый предводитель — видите, я тоже не запомнил фамилии замечательного актёра, предшественника счастливого Бриггера, — решает помочь крестьянам, он делает это с большей сознательностью, нежели его соратники. У тех на первом плане нужда и профессия, у этого — глубокая дума о людях, растящих рис. Есть у него ученик, мальчик, тоже чуждый какой-либо корысти, но в нём бурлит юношеский романтизм и жажда огня. Рядом с этим горячим, наивным, влюбленным и доверчивым юношей до чего же туп и беден воинственно-незрячий подросток из «Великолепной семерки»!

В фильме Куросавы нет ничего случайного, все подчинено сильной и знающей свою цель художественной воле. И не случайно оставил он в живых предводителя самураев, его помощника и мальчика. Уцелел самый опытный, испытанный и мудрый воин и самый неопытный, зелёный — смерть нередко шадит таких вот растерянных новичков, уцелел и «самый средний». И это верно по правде жизни. Ведь и неярким, заурядным личностям выпадает порой счастливый помер. Конечно, зрителю куда больше хочется, чтобы смерть пощадил крестьянского парня, силком затесавшегося в от-

ряд самураев (этот чисто японский народный характер блестяще воплощен Мифуне), или старого худого самурая, «великого воина». Но вышел сухим из воды добродушный, улыбающийся средний человек, и это сделало достоверным судьбы двух других оставшихся в живых. Удельный вес этого среднего человека строго рассчитан, такие персонажи скучны на экране. А в «Великолепной семерке» на эту роль взяли знаменитого Макуина, и среднего человека стало неоправданно много. Макуину нечего играть, ему не дано материала, он только надоедно торчит в кадре. И в конце концов прискучивает так, что аж злора берет, почему он выжил, а более привлекательные люди погибли. Едва ли не главное достоинство «Семи самураев» — глубокое проникновение в крестьянскую психологию. Куросава с любовью и беспощадностью вскрывает потаенную крестьянскую суть, не позволяющую земледельцам понять и принять людей, посягающих оружие. Даже общая борьба и пролитая кровь не в силах сблизить эти чуждые миры. Трагедия непонимания. А выигрывают в результате власть имущие, феодалы. Вот такого социального заряда начисто лишена «Великолепная семерка». Но битый идейно и художественно американский фильм все же «унес кассу»...

К очередному уик-энду мои хозяева разработали для меня новый увлекательный маршрут. Расстояния в пределах Хонсю, хоть это и крупнейший из образующих Японию островов, невелики, а поезда идут со скоростью 150–200 километров в час. Это удивительные поезда, будто пассажирские на широкий и толстый рельс, с мягкими откидными, как в самолете, креслами, которые к тому же можно поворачивать по и против движения, с кондиционированным воздухом и прекрасными буфетами. На этот раз мне был предложен классический и однажды уже проделанный мной маршрут: Токио — Киото — Нара. На свой страх я решил прихватить Осаку, вознесенную всемирной выставкой в ранг лучшего из со-

временных городов Японии. Я не случайно оговариваюсь — «современных», ибо нельзя сравнивать Осаку с Нарой или даже с промышленным Киото, боящимся слишком далеко уйти от своего старинного облика.

В Наре, к слову, была сделана интересная попытка создать новый тип японской архитектуры: большие, высокие, технически оснащенные здания несут в своем рисунке, форме крыши, членении этажей что-то от древней пагоды. Уже в первый мой приезд, восемь лет назад, близ вокзала стали два великолепных дома, чудесно вписавшихся в зеленую, нерослую, населенную непугаными оленями старинную Нору. Я был уверен, что градостроители пойдут дальше по этому пути, и с разочарованием обнаружил, что домов в стиле пагоды так и осталось два. Быть может, есть что-то незаконное с точки зрения строгого вкуса в этих прививках старины современной архитектуре? Судить не берусь. А дома снова восхитили меня.

Куросава особенно настаивал на том, чтобы я побывал в «философском саду» Рюандзи в Киото. Я сказал, что был там однажды. Куросава внимательно и как-то грустно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Оказывается, можно быть — и не быть, видеть — и не видеть. Своей тогдашней неготовой душой я не высмотрел в философском саду ничего, кроме зеленого прямоугольника травы с несколькими грубыми камнями.

Поэты и путеводители немало витийствовали по поводу философского сада, пытаясь увидеть в серых камнях, торчащих из зеленой низкой травы, то вершины гор над пеленой облаков — образ, навеянный Фудзиямой, чей снежный кра-тер постоянно скрыт за густыми облаками и зрим легче всего с самолета, то океанское дно на недоступных человеку глубинах. Но ни вознесение в заоблачную высь, ни погружение на дно морское ничего не объясняют в тайне печальных камней на матово-зеленом фоне, освобождающих вмиг полегчавшую и утешившуюся душу от всех бытовых тягестей, мел-

ких изнурительных забот, возрастной омраченности. Душа становится, как звезда, — чистой, ясной и задумчивой. И ты постигаешь вдруг, что не надо бояться, есть великий покой, и он не минует тебя, и удел смертного человека не трагичен, а благостен. Присев на деревянную скамью возле зеленого прямоугольника и серых, не отбрасывающих тени камней, ты словно пригубляешь чашу последнего умиротворения.

Какой независимой, дерзкой и глубокой сутью обладал старинный мастер, какой верой в способности человека к постижению чужих слов, если он в свое сумеречное время с непревзойденным лаконизмом создал такой сложный символ. Но об этом думаешь уже позже, покинув «философский сад» и углубившись в храмовый лес, раскинувшийся по режущезеленым пышным мхам, а там ты был избавлен от суеты дум, как и от суеты чувств. Ты жил какой-то первозданной субстанцией, той, что древней и глубже души, проникновенней и мудрей сознания.

И куда ближе стал мне мой трудный соавтор. Наконец-то сумел я ступить в его тишину, не тишину безучастия, сна, отрешенности от человеческих бурь, а тишину великой сосредоточенности на главном. Я понял, как не нужно внешнее напряжение событий в нашем сценарии, хотя, должен сразу оговориться, никто не тянул Куросаву к «остерпу», если есть «вестерп», то почему бы не назвать «остерпом» приключенческий фильм на материале Дальнего Востока?

Но я нашел в других источниках (не в «Дерсу Узала») такой густой и сочный материал о странствиях Арсеньева по Уссурийскому краю, что, естественно, захотел включить его в наш сценарий. Это тем более законопно, что сам Дерсу — образ собирательный, вобравший черты трех проводников Арсеньева, хотя был и настоящий гольд Дерсу Узала. Но ведь почему-то Арсеньев пренебрег этими бурными, порой окрашенными кровью, жестокими, разбойными похождениями? Наверное, душе Арсеньева так же претил грубый, вульгар-

ный шум перенапряженной внешней жизни, как и душе Куросавы. Ему хотелось глубже, пристальнее взглянуться в тихую жизнь, хотелось зеленой малости и серых валунов, и чтоб в них отражалась вечность.

И когда я с полным внутренним правом и убежденностью, что поступаю правильно, сделал решительный шаг навстречу Куросаве, тот ответил таким же широким шагом навстречу мне. Он как-то разом признал, что мир не только солнечен или хмур, зелен, желт, багрян или бел, но и с о ц и а л е н. И этим он приблизился к той исторической правде, которую несет в себе роман Арсеньева и которая чрезвычайно важна и поучительна в наше время тревог и надежд. На агрессии, на силе не могут строиться отношения ни отдельных людей, ни тем более народов и государств.

В начале работы Куросава говорил, что сценарий должен быть как река. Он получил свою реку, по это не гоголевский Днепр, есть в ней пороги и водовороты...

Так выиграли мы наш сценарий.

...Может возникнуть справедливый вопрос: а не рано ли взялся я за перо? Ведь фильма и в помине нет, съемочная камера заработала только в апреле. И сколько еще пройдет времени, пока фильм выйдет на экран, люди посмотрят его и вынесут свое суждение. Тогда, мол, и красноречивей о вашей «творческой кухне», а до того помалкивай*. Нет, это неверное рассуждение. И дело даже не в том, что Куросава просто не может поставить плохой фильм, а в том, что во всей этой истории есть нечто более важное, чем выход хорошего и даже превосходного фильма, — возвращение к жизни и труду выдающегося художника и человека. Вот что уже состоялось, чего не отнимешь. Мир, сыном которого является выходец из самурайской (военной) среды Акира Куросава, от-

* Фильм вышел в 1976 году. Он получил золотой приз Международного Московского кинофестиваля и «Оскар» — высшую кинонаграду мира.

верг, предал его, обрек на гибель. Мир, которого он почти не знал и на чью помощь не мог рассчитывать, протянул ему свою твердую руку. И давайте порадуемся этому, как радовался сам Куросава, когда после торжественного подписания сценария мы всей гурьбой повалили в Синдико, квартал всеелящегося студенчества.

Ну а что же Япония?.. Живет, работает, задыхается от духоты городов, протестует, борется, ищет выхода, воспитывает детей, стараясь сделать их лучше и счастливее отцов, думает о завтрашнем дне и не вешает головы. Ничего смешного, Шаброль! Та же серьезность, муки, радости, то же множество нерешенных вопросов, как и на берегах Сены или Луары, а хотите, Темзы, Потомака, Ганга или Волги. Японцы — единственный народ на земле, переживший апокалипсис, справившийся с чудовищным потрясением и нашедший силы для продолжения жизни. Ему нелегко и непросто, а кому просто на нашей земле? Но Япония не отворачивается от мира и вносит свою неповторимую ноту в шум времени.

А сейчас — я получил горькое письмо от Абе-сана, нашего гида, — Япония переживает худшую с окончания войны пору. Не хватает нефти, погасли огни Гиндзы и Синдико, сделались черными токийские почвы, сбился ритм дневной жизни, защемило души страхом перед будущим...

До новой встречи, Алан!

Литературный портрет



е помню уж в каком году, но где-то в конце пятидесятых мне передали просьбу известной переводчицы с английского Риты Райт посмотреть ее перевод охотничьего рассказа австралийского писателя Алана Маршалла. Рита Райт сомневалась в охотничьей терминологии. «Вы получите удовольствие, — сказали мне, — Маршалл очень хороший писатель».

Незадолго перед тем я познакомился с приезжавшим в Советский Союз австралийским рассказчиком Джоном Моррисоном и по-человечески влюбился в этого серьезного, глубокого, доброго и мрачноватого человека, напоминавшего героев Генри Лоусона — бродяг и стригалей.

Но Джон Моррисон никогда не бродяжил и не стриг овец на фермах. Правда, ему довелось быть и докером, и рабочим, а в пору нашего знакомства для поддержания жизни, которую новеллистика в Австралии не обеспечивает, он священнодействовал в розарии какого-то мельбурнского богача. Рассказ Джона Моррисона «Тебе, Маргерит», опубликованный в «Огоньке», до сих пор представляется мне шедевром рассказовой литературы. «Лучше Моррисона?» — ревниво спросил я тогда. «Смотря на чей вкус, — последовал дипломатичный ответ, — но много популярней». Несколько обиженный за

Джона, я все же взялся посмотреть рассказ. Просьба переводчицы мне льстила. Незадолго перед этим я приобрелся к утиной мещерской охоте и опубликовал свои первые охотничьи рассказы. И вот ко мне уже обращаются как к признанному авторитету, было от чего возгордиться. Помню, в рассказе оказались две-три неточности, кроме того, я обогатил перевод словом «kozyрять». Но не тем, разумеется, значительна для меня встреча с прозой пусть и популярного в Австралии, но тогда вовсе неизвестного мне писателя. Прекрасен, высокогуманен был этот крошечный, страниц на восемь, рассказ, заставивший меня усомниться в собственных охотничьих воззрениях. В ту пору я исповедовал веру Хемингуэя: дичь создана для того, чтобы на нее охотились. Эта точка зрения соблазнительна для молодого охотника, самозабвенно отдающего себя извечной мужской страсти, она снимает моральные запреты, ограничения, всю ту рефлексию, которую современный человек привносит в каждое дело. В моих рассказах охоты были так же результативны, как и в действительности на богатых тогда Мещерских озерах, ныне печально оскудевших. В охотничьей литературе, не аксаковской давности, а современной, считается дурным тоном упоминать о добыче, надо делать вид, будто ее вовсе не было. Мол, не в трупах животных дело, а в единении с природой, самораскрытии человека в естественной среде и т. п. ...Хемингуэй открыто презирал подобное лицемерие. Не в подражание ему, а в соответствии со счастливой охотничьей практикой тех дней я живописал удачные, добычливые охоты.

Герой рассказа Маршалла — озерный егерь. В день открытия охоты он наблюдает, как в строгом соответствии с правилами городские охотники, сидя в бочках, разбивают утиную стаю. Пусть стая велика, но уток на озерах осталось куда как мало, и егерь мучается, слыша ликующие воли охотников: «Моя утка, моя!» Водит стаю, козыряющую с берега на берег, старый, матерый селезень, и егерь молится в душе, что-

бы тот осилил инстинкт и вылетел за роковой круг. Тогда не все еще пропало, восстановится утиное племя. Но вот казавшиеся обреченными птицы прорываются за огневое кольцо в тишину чистого неба, и егерь кричит торжествующе: «Мой селезень, мой!»

Уже тогда, при первочтении, почувствовал я, что правда маршалловского егеря выше, человечнее, пужнее миру, нежели мужественная прямота Хемингуэя, безоговорочно принимающего от века существующий устав: есть дичь и есть охотники. И никаких мерихлюндий — стреляй, пока крепка рука и верен глаз. А начнешь разводить подранков, зачехляй ружье.

Алан Маршалл давно понял, к чему это приведет. Ныне охота потеряла даже ту видимость спортивности, какой она обладала два десятка лет назад. Тогда еще можно было тешить себя иллюзией некоего равенства шансов: смертоносному огню птица и зверь противопоставляют свою хитрость, быстроту, навык защиты, в некоторых случаях даже силу. Охотнику надлежало быть собранным, терпеливым, выносливым, хладнокровным, мужественным — вот сколько качеств требовалось, чтобы принести с охоты утку или зайца, не говоря уже о лосе или медведе. Слишком далеко шагнула техника. На мещерской охоте, ставшей до отвращения барской, признают только скорострельные карабины с удлиненными стволами. Мой репарационный «зауэр» производит жалкое впечатление, словно кремневое ружье. Я брал дичь на сорок — пятьдесят метров, чтобы не делать подранков. «Карабинщики» лупят очередями по стаям, проходящим в восьмидесяти — ста метрах. С двух выстрелов и промахнуть немудрено, эти скорострелы после каждой очереди непременно сбивают хотя бы одну утку. Да еще скольких калечат, превращая в добычу для ондатр, лисиц, коршунов, в источник заражения водоема. А дичи мало, ох как мало!.. И ей-богу, лучше лишиться себя дивных апрельских зорь и ав-

густовских закатов, чем участвовать в убийстве, уничтожении утино́го племени. А ведь так же изводят и болотную, и боровую дичь, и лис, и зайцев, и медведей — мир природы нищенски обеднел.

Бывает, хотя и нечасто, что животных в данной местности оказывается больше, пегели может прокормиться, что изобилие их нарушает нормальную жизнь леса, водоема, вредит сельскому хозяйству, тогда охота просто необходима. Но не о такой охоте идет здесь речь.

Читатель, наверно, в недоумении — взялся рассказывать об Алане Маршалле, а завел об охоте. Что поделатъ, если разговор об этом австралийском писателе неотделим от разговора об охоте, лесе, зарослях, птицах, лошадях, детях — обо всем, что нуждается в защите, ведь Алан Маршалл прежде всего защитник всех слабых, угнетенных, будь то загнанное зверье, искалеченное дерево, плачущий ребенок или австралийский абориген с ночью в темно-влажных глазах.

Полюбив Маршалла после первого прочитанного рассказа, я мечтал познакомиться с ним, сходить на рыбалку и на охоту — нужную, справедливую охоту. Он рисовался мне под стать своему егерю — большим, сильным, добрым человеком, с могучими мышцами, светлым разумом и умным сердцем.

Прошло какое-то время, и однажды вечером в Центральном Доме литераторов переводчица Оксана Кругерская предложила мне познакомиться с Аланом Маршаллом. «Он рядом, за стойкой». Мы прошли в бар. Взгляд быстро обжег лица завсегдатаев и не задержался на единственном незнакомце в мятом сером костюме — маленьком, скрюченном, с кнопкой слухового аппарата в правом ухе. Машинальными движениями он все время хватался за прислоненные к стойке костыли. «Познакомьтесь, — сказала Кругерская, — Алан Маршалл — Юрий Нагибин». Калека быстро обернулся, поправил сползшие на кончик носа очки, оперся о стойку бара и скользнул с высокого табурета вниз, став ростом с ребенка,

левой рукой он взял костыли, правую; горячую и сильную, протянул мне.

Подошла высокая, крепкая девушка и что-то требовательно, даже резко сказала человеку на костылях — я все еще отказывался верить, что это и есть Алан Маршалл.

— Моя дочь, — сказал Маршалл и с улыбкой добавил: — Одна из двух.

Кажется, то была старшая, Гепсиба, но не отдам голову на отсечение, что я не был представлен младшей, Дженнифер.

— Пойдемте за мой столик, — предложил я, все еще пребывая в тяжкой растерянности, потому что требовалось срочно переосмыслить многие представления, а я не был готов к такому душевному и умственному усилию. — Выпьем...

Гепсиба — но, может, Дженнифер? — обрушила на меня много австралийского диалекта, из которого я понял лишь, что пить вредно.

Алан ничего не сказал, только пожал широкими плечами, бросил вперед костыли, шагнул им вслед живой левой ногой и подтянул бессильно болтающуюся, полностью парализованную правую. В поставе верхней половины туловища был приметен перекося — болезнь, называвшаяся в старину детским параличом, а сейчас полиомиелитом, затронула и позвоночник.

Историю своей болезни и преодоления ее Алан Маршалл с редкой откровенностью, простотой и достоинством описал в замечательной автобиографической трилогии: «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем». Первая повесть посвящена детству. Алан родился крепким и здоровым мальчиком, его отец, объездчик лошадей, сказал: «Я сделаю из него бегуна и паездника. Клянусь Богом, сделаю». Он не сделал из сына бегуна, а паездником тот действительно стал без чьей-либо помощи, и хорошим драчуном, и охотником, и рыболовом, и путешественником, и великим борцом за честь природы и человека, и одним из лучших австралий-

ских писателей. Но когда Алан, только что пошедший в школу, заболел детским параличом (эпидемия вспыхнула в штате Виктория в начале девятисотых годов), даже самые близкие люди считали, что резвому, любознательному, веселому мальчику предстоит отныне не жизнь, а прозябание. Иначе считал лишь сам больной. Привыкший с младенчества восхищаться лошадьми, совершеннейшим созданием Бога, любивший собак и птиц, таких стремительных и быстрых, этот прикованный к больничной койке мальчик решил одолеть недуг, вернуть способность двигаться, более того, вновь научиться прыгать через лужу. Для этого надо было справиться с непослушным телом, с болью, страхом, с расслабляющими и бестактными соблазнами взрослых людей, с неверием в его силы даже тех, кто от всего сердца желал ему добра. Он принимал помощь, только если не было другого выхода и если помогавший не вкладывал в свой поступок ни грама жалости или — того хуже — снисхождения. Это перешло в его книгу: Алан Маршалл не хочет жалости от читателя, ему противны вздохи и слезы сочувствия.

Сейчас много пишут о ритме прозы, недавно вышло очередное исследование на эту тему. Что ж, ритм весьма важен в прозаическом произведении, претендующем на звание художественного, но, по-моему, куда важнее тон. У Алана Маршалла самое чарующее, покоряющее, возвышающее дух — это спокойный, чуждый самолюбования и позы, глубокий и чистый тон его прозы. Тон умного исследователя, который не боится заглядывать в темные закоулки человеческой психики, в глубины человеческой боли, не боится говорить о скорбном, ущербном в человеке, но так, что читатель испытывает не жалость, не расслабляющее и бессильное сочувствие, а все растущее уважение к безграничной мощи человеческого духа.

Неторопливо, обстоятельно и благожелательно говорит он о своих соседях по палате, о пиянечках и медицинских сестрах, людях вполне дюжинных, не умеющих, да и не пытаю-

щихся щадить тонкую психику маленького калеки; описывает пору жестоких мучительств, проделываемых над его плотью с самыми лучшими намерениями, тщетные надежды на возвращение здоровья, затем постижение своей участи: придется жить с «хорошей» (полупарализованной) ногой, «плохой» (висящей плетью), искривленной спиной — и обушение этой повой, неудобной, утомительной и все равно прекрасной жизни. Маленький Алан никогда не плакал во время своих частых и болезненных падений при освоении костыльного передвижения. Не позволяет он рассиропиться и читателям. Он вызывает их на сопереживание, а не на слезный дым. Идешь с ним шаг за шагом по всему его крестному пути и страстно желаешь, чтобы он выполнил очередной, предписанный самому себе урок — одолеть кручу, добраться до далекой изгороди, влезть на спину брыкливого пони, проскакать на нем, — да, настанет день, и Алан промчится мимо своего отца и услышит скупую похвалу этого сдержанного человека, — прокинуть в кратер погасшего вулкана, принять участие в охоте с гончими, одолеть в драке на дубинках обидчика, лишь через лужу так и не прыгнет Алан, но это и не важно, ведь он умел прыгать через лужи, он умеет куда большее.

Если бы Маршалл писал о своей детской страде с оттенком скромной горделивости, или зажав в горле крик боли, или даже с некоторой жесточечностью, все равно никому не вспало бы бросить в него критический камень. Мы были бы признательны ему за описание беспримерной и поучительной судьбы. Но то, что он сумел говорить о себе почти со стороны, не с юмором, конечно, для этого у него слишком хороший вкус, а с легкой, чуть напрягающей уголки рта улыбкой, с полным доверием к слуху и постигающему аппарату своих слушателей и потому негромко, — создает неповторимый серебряный, завораживающий тон его книги, не просто хорошей, а исключительной.

Но тогда я еще не читал автобиографической трилогии, рассуждали же мы об охоте, рыбалке, путешествиях, а не о болезнях и литературе. Весьма смутно представляя себе картину постигшей его в детстве беды, а также характер Алана, я вел себя экзальтированно, умиленно, словом, сопливо. Но Алан отнесся на редкость снисходительно к моему бездарному поведению. Может быть, меня спасло, что он тоже выпил лишний стаканчик. В конце концов Гепсиба — или все-таки Дженшифер? — потребовала, чтобы мы кончали охотничий треп — отцу пора спать. Я высказал горячее желание отнести его на руках в такси. Алан со смехом отверг любезное предложение и помог мне добраться до машины.

Самое удивительное — я не вызвал в нем отвращения. Это подтвердилось и авторитетным свидетельством Оксаны Кругерской, и присланной им из Австралии книгой рассказов с очень доброй надписью, а через годы — встречей в Мельбурне, где Алан живет с юности. После окончания школы ему пришлось покинуть любимые заросли, кроликов, опоссумов, птиц и перебраться во второй по величине город Австралии для продолжения учебы и работы.

Но до того как мы встретились в мельбурнском доме Алана, я познакомился с его книгами — и автобиографической трилогией, и чудесными маленькими рассказами, которые читал по-русски и в подлиннике. В переводе язык Алана кажется простым, прозрачным и ясным, но читать его по-английски человеку со средней подготовкой очень трудно. Мне несравнимо легче давались многие современные авторы, обладающие значительно более усложненной и громоздкой фразой, нежели у Алана. Австралийский — это все-таки диалект, к тому же Маршалл щедро пользуется сленгом и специальной терминологией, связанной с охотой, объездкой лошадей, сельским хозяйством.

В романах «Это трава» и «В сердце моем» Алан продолжает тему, начатую в первой части трилогии. Как найти свое

место в немилостивой, порой откровенно жестокой действительности человеку с точки зрения данной общественной структуры неполноценному? Мальчик Алан научился прыгать через лужи; жестокими драками, скачкой на плохо обузженных пони, участием во всех ребяческих проделках, походах, приключениях он заслужил признание сверстников. Ему могли помочь при случае, но так, между делом, не придавая этому значения, и только немногие — глупые взрослые люди оставались при тупом убеждении, что жизнь его ущербна и он нуждается в особом отношении. Мальчишки же и девчонки из зарослей об этом вовсе не думали, они могли задрать Алана, ударить, обидеть, как и всякого другого, и в этом было признание его равным среди равных.

Нелегко завоеванное равенство кончилось, когда он перешел в другой возраст, в юность, и сделал первые попытки найти работу. Оказывается, за калекой в мире жестокой конкуренции не признают равных прав. Было мучительно трудно получить место, когда же он наконец добился своего, ему стали платить лишь половину положенного жалованья. Алан был хорошим, исполнительным клерком, потом стал высококвалифицированным бухгалтером, его ценность как работника не вызвала сомнений, но рядом с конторкой стояли костыли, а за окнами офиса маячили тени безработных — началась пора депрессии, — и хозяева не только спокойно обирали калеку, но еще почитали себя благодетелями.

И Маршалл стал вновь яростно бороться за себя, за свое скромное достоинство, за равноправие с теми, кому не нужны костыли. Иными словами — вновь учиться прыгать через лужи. Но не через веселые дождевые лужи своего детства, а через мутные, грязные лужи холодного мира взрослых, тупой предубежденности, корысти, подлости, жестокости, обмана, безграничного цинизма. Он прорубал социальную чашу столь же настойчиво, мужественно и неустанно, как в детстве одолевал непролазные заросли вокруг своего жилья.

Профессионально отлично подготовленный, исполнительный и трудолюбивый, Алан тем не менее сразу оказался среди изгоев буржуазного общества, его самостоятельная жизнь начиналась вблизи мельбурнского дна. Это было несправедливо, трудно, опасно, но каким неоценимым жизненным опытом обогатила будущего писателя причастность к мрачному быту мельбурнских трущоб, к горестной судьбе униженных и оскорбленных! Он столкнулся с человеческой протерью, заглянул в самые черные бездны, это потребовало от него громадного напряжения душевных сил, мобилизации всех скрытых ресурсов личности. Ничего не потеряв в своей внутренней свободе, доброте и деликатности, он научился при необходимости пускать в ход кулаки, локти, зубы. Вновь в синяках и ссадинах, он заставил себя уважать, добился равноправия среди сослуживцев, друзей и недругов.

Человек не исчерпывается прямой борьбой за существование, особенно когда он юн, когда в жилах его течет горячая кровь и сердце полно нежности. Юноше на костылях хотелось любить и быть любимым, а он даже не мог пригласить девушку на танец. В ту пору острого безденежья кафе и кино были недоступны начинающему клерку, лишь тапцульки давали возможность приблизиться к девушке, завести знакомство, сказать те слова, без которых человек высыхает. Маршалл ходил на танцы и даже танцевал с помощью... друга. Алан говорил, какая девушка ему приглянулась, и друг, красавец и победитель, оттащевав со своей партнершей, приглашал избранницу Маршалла. Иногда удавалось представить ей Маршалла, но главная цель «танца через друга» была в ином: сломать внутренний барьер, изжить ту вяжущую, обезволивающую робость, какой не знал Алан в своих прежних конфликтах с окружающим. Сейчас перед ним встал враг более грозный, чем заросли, норовистые пони, работодатели, хозяйки мебелирашек и населяющие эти мебелирашки воры, сутенеры, жулики всех мастей, — его собственное затрепетавшее сердце.

Если в темах детского, отроческого и юношеского преодолений Алан Маршалл показывает, как пришла к нему победа, то здесь, в теме важнейшего, наверное, преодоления, выводящего человека в зрелость, он ограничивается многоточием. Возможно, это правильно, особенно для такой деликатной души, как у Маршалла, но меня недосказанность последней части огорчает. Непонятно, почему автор, начисто отвергающий всякие литературные запреты, бесстрашный с другими и беспощадный к себе, вдруг проявляет чисто викторианскую, стародевичью стыдливость. Мне не хватает этой последней победы Маршалла, хотя ее можно вывести умозрительным путем из всего контекста.

Я спросил Гепсibu — или Дженнифер? — живет ли она в доме отца или уже отделилась, празднуя самостоятельность. «Нет, мы живем в разных городах, — ответила девушка. — Папа в Мельбурне, а мы с мамой в Сиднее. Родители давно разъехались. — И, предупреждая мой вопрос, добавила: — Трудно быть папиной женой, он слишком правится женщинам».

Вот так бы и закончить трилогию, не буквально, разумеется, а по смыслу. Пусть я прямолинеен и лишен тонкости, но уж больно хочется услышать и об этой победе Алана Маршалла, быть может, самой трудной из его побед, — укрощении строптивых...

Известный английский писатель Джек Линдсей в большом и содержательном предисловии к однотомнику избранных рассказов Алана Маршалла, вышедшему недавно в Сиднее, производит все творчество, а стало быть, и жизненную позицию автора, из недуга, воздвигавшего барьер за барьером на пути формировавшегося сознания и взятии этих барьеров, что иначе можно назвать неуклонным отстаиванием своей полноценности. Здесь, по мнению Линдсея, коренится и ненависть Маршалла к дискриминации всех видов: расовой, национальной, политической, общественной, моральной,

равно и к войне, и к насилию над природой, его стремление к социальному равенству, обостренное чувство справедливости и даже трепетное отношение к детям — малым и слабым мира сего. Отсюда же, считает Линдсей, в романах и рассказах Алана Маршалла добро так часто и счастливо торжествует над злом.

Подобное утверждение столь же справедливо, сколь и условно. Оно вполне в духе современной западной психологии, охотно выводящей весь комплекс человека из одного посыла — чаще всего преодоления внешнего или внутреннего ущерба, фобии, запрета — табу, наложенного семьей, школой, обществом, религией или личным фиаско. Надо сказать, что ключ этот вручен Джеку Линдсею самим Маршаллом. В автобиографической трилогии он прямо говорит, что болезнь, поставившая его (вернее было бы — пытавшаяся поставить) за рамки нормального детства, обострила в нем чуткость к чужой слабости, истинной или мнимой недостаточности и навсегда зарядила ненавистью к расизму, антисемитизму, милитаризму, всем образам насилия и угнетения.

Аборигенам так же отказывали в праве гражданства, как ему в месте рядом со здоровыми. Нация, ведущая начало от английских каторжников и тех, кто их сторожил, третировала белых переселенцев более поздних эпох, не говоря уже о людях с желтой и темной кожей — этим просто запретили въезд в страну. Капиталисты эксплуатируют рабочих, богачи угнетают бедняков, фермеры травят бродяг, взрослые подавляют детей, и все сообща уничтожают природу. Против этого многоликого зла восстала сильная и закаленная душа Алана Маршалла, заключенная в изуродованное болезнью тело.

Но представим себе, что детский паралич пощадил Алана и он не знал костылей. Разве стал бы он — в главном — другим? Он, выросший в зарослях, в простой, доброй, честной семье, под переступ копыт и шумное дыхание лошадей, он, с молоком матери впитавший свободолобие и независи-

мость, он, с младенчества окруженный домашними животными, ласковыми опоссумами, попугаями, за которыми преданно ухаживал? Не верю... А если взглянуть на дело с другой стороны: и калека может озлобиться, вознегодовать на мир здоровых и еще больше на увечных, видя в них свое горькое отражение, может и смириться перед роком, повесить голову, выйти из игры.

Одна и та же причина порождает разные следствия. И ничего не стоит представить иной образ страдальца, преодолевшего недуг. За науку прыгать через лужи такой человек мог расплатиться утратой важных и хрупких ценностей в себе, мог стать как из железа, себялюбом, гордецом, таким хрым суперменом и свысока третировать всех неудачников и слабаков. Король Ричард III тоже был калекой, а сумел влюбить в себя королеву Анну над гробом ее вещеносного супруга, убитого им. Вот уж кто преодолел свой ущерб, но остался в памяти потомков исчадием ада.

Алан Маршалл должен был стать тем, кем он стал, потому что у него была умная, добрая, способная вышагнуть за собственные малые пределы мать, чудесный отец, знавший про лошадей то, чего не знал никто другой, любивший народные песни и — что вовсе уж не обязательно — тонко чувствовавший литературу; потому что он, Алан, с детства узнал голоса птиц, повадки животных, жизнь травы и земли, потому что у него была счастливая рука на хороших людей, которых он угадывал под самой невзрачной оболочкой, потому что забота близких и полная внутренняя свобода гармонично формировали его личность и потому, наконец, что у него были хорошие гены тех насельников Австралии, которые создали достоинство страны: земледельцев, пастухов, объездчиков, охотников, стригалей, старателей.

Джек Линдсей говорит о некоторой сентиментальности Алана Маршалла, которая, мол, обеспечивает ему успех у русских, но снижает популярность у английских и американских

читателей, воспитанных на более жесткой, даже жестокой литературе и, добавил бы я, на более сложной по форме. Мне приятно, что крупный английский писатель высоко ставит восприимчивость к добру моих соотечественников, но дело обстоит не так просто. Конечно, Алан Маршалл признан у нас, широко известен, но что-то не помню я таких жадных читательских разговоров, восторгов, споров вокруг его произведений, какие вызвал недавно последний роман Айрис Мердок «Черный принц». Мне этот роман попался, когда я работал над очерком о Маршалле и только что с глубочайшим наслаждением перечел его трилогию, насвежо поразившую меня своей талантливостью, высотой нравственной позиции, пониманием людей, какой-то окончательной серьезностью и тем серебряным тоном, о котором говорилось выше.

И невыносимо раздражающим показался мне претенциозный, написанный вроде бы во всеоружии знания современного человека и литературной техники роман английской писательницы, заласканной свыше меры не только у себя на родине. Когда-то я спросил Святослава Рихтера, что значит хорошо играть на рояле. «Попадать в нужную клавишу, вот и все!» — спокойно ответил пианист. Мердок никогда не попадает в нужную клавишу, в лучшем случае куда-то рядом, а то и вовсе лупит по дереву. Сенсационность, пустой эпатаж, мнимая саркастичность и мнимая глубина усугубляются уродливым приемом: повествование ведется от лица мужчины, хотя мужского в этом персонаже нет ни на грош. Это плохо замаскированная истеричная дама.

А ведь зачитываются!.. И в который раз задумался я над тем, что для успеха у современников необходима известная доза шарлатанства. Бижутерия привлекает сильнее истинных ценностей. Конечно, с Аланом Маршаллом в нашей стране такого не произошло, его знают и любят.

А громкий шум вокруг писателя вовсе не обязателен, иные замечательные произведения тихо входят в душу и ос-

таются там навсегда. Но что-то обидное, досадительное тут есть. И уж совсем грустно, что английские и американские читатели предпочитают чистому роднику Алановой прозы мутные источники. Все же творчество и борьба Маршалла получили признание в Англии, к своему семидесятилетию он был награжден высоким британским орденом...

И вот я наконец в Австралии. Таможенный досмотр и паспортный контроль с непостижимой быстротой были осуществлены в Сиднее, где часовую стоянку сократили вдвое. Я смутно подозревал, что эта спешка связана с огромной черной, золотом отороченной тучей, по самому краю которой мы скользнули на посадку. Тучу видели, разумеется, все пассажиры суперлайнера «Боинг-707», но и в иллюминаторах по другую сторону было столько сине-блещущего, радостного неба, а воздушный гигант казался таким надежным, хоть его и здорово покачало перед посадкой, туча же так неправдоподобно, картишно грозна, что нельзя было всерьез поверить в опасность. Тем не менее из Сиднея мы удирали во все лопатки, забрались далеко в океан и, сделав крюк, благополучно приземлились в тихом, пасмурном Мельбурне. Там мы сразу услышали, что чудовищная буря обрушилась на Сидней.

Радио, правда, еще ничего не сообщило о размерах бедствия, разрушениях, человеческих жертвах, но мельбурнцы были хмуры и подавлены. После страшного брисбейнского наводнения тут перестали относиться с высокомерием защищенности к гримасам отнюдь не укрощенных человеком стихий.

Было еще одно обстоятельство, омрачавшее души людей, — надвигались перевыборы, и шансы лейбористов, только-только повернувших Австралию в сторону демократизации и миролюбия (эта отдаленная от всего мира скотоводческая страна участвовала во всех войнах, в том числе заведомо несправедливых), расщепивались невысоко. Телевидение, самое мощное оружие агитации, находилось в ру-

ках их противников, которые вели избирательную кампанию шумно, агрессивно, вызываяще, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями, и, как многим казалось, успешно. Прогрессивные писатели, пригласившие меня в Австралию, были, разумеется, на стороне лейбористов, уже сделавших немало и для литературы, и для всей культуры, и для связей с прогрессивными странами.

Наконец, было еще одно, чисто личное обстоятельство, набросившее тень на мое, так сказать, «явление австралийскому народу». Я прибыл сюда с безобразным опозданием. Меня ждали на писательскую неделю в рамках Аделаидского фестиваля искусств, но, пока шло оформление поездки — тридцать четвертое по счету в тридцать четвертую страну, кончилась неделя, кончился фестиваль, пробил иной исторический час, и пригласившие меня друзья, чьи жизненные планы я невольно нарушил, находились если не в смятении, то в легкой растерянности. Этим я поначалу объяснил для себя и то, что меня не торопились доставить к Алану Маршаллу.

Между тем имя его прозвучало на аэродроме сразу вслед за неизменным «Хау ду ю ду!», раскатисто произнесенным Джудой Уоттенем, талантливым писателем, видным общественным деятелем и очаровательным человеком, инициатором моего приглашения. «Вам привет от Алана Маршалла». «Алан все спрашивал о вас и удивлялся, что вы не едете», — присовокупила миссис Уоттен, большая, сильная и добрая, какой в моем представлении должна быть коренная австралийка.

Я засыпал чету Уоттенев вопросами об Алане. Они с жизнерадостным видом сообщили, что он здоров, пишет, неутомимо воюет с браконьерами и расистами, недавно отметил свое семидесятилетие, награжден орденом. И вскользь: «Вы, наверное, слышали, что он потерял ногу? Ту, которую называл «плохой». Она ему не служила, скорее, мешала. Как по-

терял? Сломал, пога больная, не срасталась, возраст опять же... Пришлось ампутировать. У него великолепное кресло на колесах, он носится по квартире, как заправский гонщик». Хорошие люди Уоттены сделали прямо-таки невозможное, дабы уверить меня, что без ноги Маршаллу куда лучше.

Я думал, что начну австралийский цикл с Алана Маршалла, но после этого известия не стал настаивать на немедленной встрече. Надо было собраться с мыслями.

Почувствовав, что я скис, миссис Уоттен принялась рассказывать, как они катались верхом с Аланом. «Он отличный наездник, хотя и немного головорез», — говорила миссис Уоттен, ловко и рискованно лавируя в потоке машин на нешироких улицах Мельбурна. «Ты сама отличная наездница...» — начал Джуда, но замолк, ибо в этот момент должно было произойти наше вселение в гигантский рефрижератор, неведомо как оказавшийся перед носом машины. Сильные руки миссис Уоттен совершили непостижимое чудо с рулем, и мы вылезли из-под серебристой железной громады. «Но тоже головорез», — закончил Джуда со вздохом облегчения.

Они еще много чего говорили, пытаясь привлечь мое внимание к старым домам Мельбурна в традиционном колониальном стиле, к памятникам и церквям, — точь-в-точь такой вот уютный, немного провинциальный и хмуроватый Мельбурн был изображен на иллюстрации к «Детям капитана Гранта» дореволюционного издания, — но голову мне сверлила мысль о странном избранничестве Алана Маршалла.

Почему Бог, творя свои символы, порой начисто утрачивает чувство художественной меры? Уж кто-кто, а Маршалл, право, заслужил хоть в старости немного покоя и физического равновесия. Зачем ему за рубежом семидесяти лет вновь учиться прыгать через лужи, теперь уже на одной ноге? Да и какой смысл проверять его на разрыв, если заранее известно, что он выдержит, кому нужно это бессмысленное мучительство?

Я так ушел в свои мысли, что проглядел Мельбурн. Когда мне отведен короткий срок для ознакомления с городом, я лучше всего схватываю его при первовидении, по дороге с вокзала или аэропорта. Последующая беготня по улицам и площадям почти ничего не добавляет. Так у меня было, к примеру, с Лондоном, где я находился всего три дня. Не могу, конечно, сказать, что я знаю Лондон, но образ великого города, четкий, как на медали, отпечатался в мозгу. А в Австралии я запомнил Сидней, Брисбейн, Канберру, но Мельбурн подернут в памяти туманной изморосью, неясен и расплывчат. Кстати, все дни, что я провел в Мельбурне, не переставая сеялся пудный осенний (май — австралийская осень) дождик. Эта серая небесная слезница была исходом сиднейской бури.

Все же кое-что я уловил. В Мельбурне нет современного величия Сиднея, широко раскинувшегося по холмам, прорезанным излучинами глубокого залива, Сиднея с его небоскребами, гигантским чугунным мостом, уникальным оперным театром в виде корабля с надутыми ветром парусами, а каждый парус — из бетона; в Мельбурне нет и женственности маленькой, изящной, пацелью построенной Канберры, и нагловатой самоуверенности быстро набирающего силу Брисбейна, он прост, добродетелен, слегка старомоден и уютен, как дедушкино вольтеровское кресло. И при этом Мельбурн вполне сегодняшшний город, ибо в нем ключом бьет научная, общественная и художественная мысль, в нем первоклассный университет, старая интеллигенция, едва ли не лучшая в стране литература.

А еще есть замечательные окрестности, куда мы вскоре поехали, как выяснилось, по прямому указанию Алана Маршалла. Кстати, не увидев его в день приезда, я все же встретился с ним, едва переступил порог своего номера в отеле. На полу, возле двери, лежал свежий номер мельбурнской газеты. Я стал проглядывать его и сразу наткнулся на статью

Маршалла в защиту природы. Он обращался к министру, в чьем ведении находятся леса и уголья страны, и от имени детей говорил, что они не желают получить в наследство голую пустыню без деревьев, кустов, травы, цветов, без рек и озер. А к этому идет дело при нынешнем хищническом обращении с зеленой жизнью. То был хорошо знакомый мне Маршалл, где касалось детей и деревьев, то был совершенно новый Маршалл, где он разделявал под орех министра. Я и не подозревал, что Алан может быть таким язвительным, острым и хлестким, это была публицистика белого накала. Он от плеча бил по чиновничьей косности, равнодушию, педальновидности, делячеству. Двести — двести пятьдесят от силы строк, но до чего же насыщенный раствор, до чего богатая интонация: от звонкого голоса боли и нежности до свифтовского сарказма. Алан по-прежнему на посту, его сильная, гневная, юношески задиристая статья убедила меня, что Уоттен не преувеличивают — он в отличной форме. Андерсеновский оловянный солдатик, как известно, обходился одной ногой, но все же был самым стойким солдатом на свете.

Потомок выходцев из Одессы, Джуда Уоттен, предавший друг и почитатель Алана Маршалла, уютно совмещает в своем крупном существе иронию, лукавство с какой-то растроганной добротой. Разрабатывая для меня программу, он доверчиво выслушивал рекомендации Маршалла, считая его великим знатоком «русского вопроса». И решено было первый день посвятить людям, второй — лесу. Позже до меня дошло: Алан нарочно оттягивал нашу встречу, чтобы я хоть прикоснулся к австралийской жизни, побывал в австралийском лесу, подружился с австралийским зверьем. И это был добрый замысел...

...До чего приятно было встретить старых знакомцев: обаятельного человека, щедрого писателя и прижимистого издателя Кристенсена и особенно — Джона Моррисона. За минувшие с нашей встречи полтора десятка лет Джон помоло-

дел на эти пятнадцать. Я даже не узнал его в первый момент. Несколько упылый, с вытянутым и желтым от хронической язвы лицом садовник-повеллист превратился в доброго, милого, элегантного джентльмена, знающего толк в яствах и тонких винах. Он отпустил опасную острую бородку, носит светлые пиджаки и яркие галстуки. Постная миша вегетарианца уступила место на его округлившемся, порозовевшем лице живой, победительной улыбочки. Джон женился по любви на довольно состоятельной русской женщине, отличной кулинарке, в два счета избавившей его от язвы.

— Ну а как работается на сытый желудок? — спросил я.

— Все о'кей! — звучит жизнерадостный ответ, и я тщетно ищу на сытой физиономии остроту черт бывшего докера.

— Лев Толстой говорил, что писатель должен всегда немного недоедать.

— Поголодал бы он с мое! — рассердился Джон. — Я на этом язву заработал. Проклятые графские причуды! — И стал точь-в-точь докер...

...Когда мы поехали к зверям, изморось сменилась мелким, но довольно хлестким, слышимым и видимым дождеком. Все стало очень свежим и зеленым, желтое не примешивалось к краскам осени, и было трудно поверить, что на дворе по-нашему ноябрь. Обитатели громадного заповедника Маккензи, за малым исключением, содержатся на воле. Австралийское зверье доверчиво и добродушно. Исключение составляет собака динго, редкий случай возвращения в дикое состояние одомашненного животного. Говорят, собак завезли сюда десять тысяч лет назад малайские рыбаки да и бросили на произвол судьбы. Сходного происхождения дикая австралийская свинья, но она пуглива и безвредна, а динго — дьявол. Дикая собака с утратой сторожевых качеств научилась лаять, но умеет выть и с противным подвизгом тявкать. Избавившись от власти и обаяния человека, собака люто возненавидела бывшее божество и весь его уклад: и жену его,

и детей его, и скот его. Между динго и фермерами непрерывающаяся война.

Есть и настоящий дьявол, правда, не с материка, а с острова Тасмания, он так и называется — «тасманский дьявол». Это небольшой, с кошку, зверек, черный, с голыми розовыми, почти человеческими ушами, с голыми розовыми лапами и храпом, с железным сцепом маленьких челюстей, которым перегрызть человеческую руку — все равно что белке орех.

Но поразительно, что самая кровавая война ведется не с хищниками, а с наикротчайшими кроликами и милыми, такими безобидными с виду кенгуру. Об этом много писалось, и все-таки трудно вообразить, что несметно расплодившиеся братцы кролики страшнее любого стихийного бедствия. Они способны уничтожить все посевы, весь зеленый покров материка, и против них ополчаются всенародно, как против вооруженных до зубов агрессоров.

Австралийский животный мир не похож ни на какой другой. Когда в незапамятные времена распался древний материк Гондвана и громадные водные пространства пролегли между Австралией и другими континентами, она вышла из мирового природного обмена. Впрочем, сказанное относится к фауне, не к флоре, ибо семена растений заносились сюда ветром, птицами, насекомыми и упавшими в воду деревьями. И не случайно из высших млекопитающих в Австралии встречаются (кроме завезенных человеком свиьи и динго) только летучие мыши, способные перелетать широкие проливы, и полевки, приплывающие сюда на стволах деревьев. Преобладают же в Австралии так называемые эндемичные — свойственные только данному месту — животные. Так, нигде больше не встречаются яйцеродные (клоачные) — ехидны и утконос. И лишь в Южной Америке имеется одно семейство сумчатых, а в Австралии мы найдем сумчатых аналогов почти всех типов млекопитающих. Хищников — сумчатый волк и сумчатая куница; насекомоядных — сумчатый

крот и сумчатый муравьед; грызунов — вомбат; летяг — сумчатая белка; копытных — кенгуру; лазающих — кузу и коала, или сумчатый медведь. Я еще вернусь к этому жалостному чуду, маленькому серому ушастому полусонному существу с большим черным кожаным посом, свиными глазками и цепкими человечьими ручонками.

Обитатели заповедника, за исключением хищников, трогательно доверчивы, легко подпускают человека, позволяют трогать себя, а те, что поменьше, брать на руки. Не вступает в общение лишь хмурый утконос. Он помещается в длинной стеклянной ванне и при виде людей приходит в состояние лихорадочного, безостановочного, челночного движения. Словно пловец в бассейне, одержимый побитием рекорда, носится он от стенки к стенке. Лишь изредка над водой возникает поугиному плоский клюв глотнуть воздуха. А гнездо для яйцеклада утконос строит на суше и делает очень узкий вход, чтобы отжималась влага со шкурки, когда он туда протискивается. Будучи один в трех лицах: рыба, птица, зверь, утконос вовсе не считает себя чем-то исключительным, повышенное внимание посетителей его возмущает. Наверное, он прав.

А вот пасущиеся на зеленых лужайках кенгуру милы и общительны. Передвигаются они сильными, упругими прыжками, у самок из сумки на животе выглядывают детеныши. Когда малышу надоедает заточение, он выскакивает наружу, резвится, наслаждается жизнью и снова забирается в тело матери.

В нашей печати мелькали удивительные сообщения о кенгуру. Например, они великолепные боксеры, и матчи между ними собирают громадную аудиторию, способствуя обогащению дельцов от спорта. Или они чудесные няньки — заботливые, аккуратные и расторопные, недаром же австралийские газеты пестрят объявлениями: «Ищу няньку-кенгуру». Столь же безукоризненны кенгуру и в качестве горничных, сочетая опрятность с честностью и хорошим поведением.

Мелькнули даже туманные намеки на заниженную оплату и жестокую эксплуатацию труда кенгуру в мире чистогана. Все это бред. Да, в цирковых представлениях — это и у нас можно увидеть — на передние лапы кенгуру натягивают кожаные перчатки, и они по знаку дрессировщика паносят друг дружке несколько сумбурных ударов, но при чем тут бокс? А кенгуру-няньки, кенгуру-горничные — вымысел настолько глупый, что мои австралийские друзья сочли это неудачной шуткой.

Самые удивительные, до слез трогательные обитатели заповедника — коала. Они живут на деревьях. Иное деревце усеяно ими, словно большими серыми грушами. Матери посят детенышей за спиной. И кажется, что все они, от мала до велика, дремлют. Изредка заметишь вялую, будто сквозь сон, челюстную работу. Ты можешь взять медвежонка на руки, он зыркнет черным глазком и ту же вцепится в тебя, как в дерево или в шкуру матери, и вновь уснет. Коала не встретишь ни в одном зоопарке мира, ибо питаются они листьями того вида эвкалиптов, который нигде, кроме Австралии, не водится. Они не пьют, получая необходимое количество влаги из этих листьев, а заодно и хорошую дозу наркотика, вот почему кажутся сонными. Коала впрямь слегка отключены, пребывая в мире зверьевых грез. И до чего же гадко, что этих очаровательных, безвредных и совершенно беззащитных зверушек безжалостно уничтожают. Их шкура не представляет ценности, мясо несъедобно, рогов и копыт у них нет, мускуса они не выделяют, их быют без расчета и корысти, просто потому, что они не могут ни бежать, ни защищаться. Сохранение коала, являющегося наряду с кенгуру символическим зверем Австралии, стало делом государственной важности...

После заповедника нам предстояло увидеть лес. По некоторой торжественности, с какой супруги Уоттен говорили об этом, я понял: изведа леса почти под корень, австралийцы

гордятся тем, что осталось. И не без оснований: лес, обставший нас, едва мы выехали за пределы заповедника, был и впрямь неплох — хоть и малорослый, но довольно густой, с маяющей глубиной. Я похвалил лес.

— Где вы видите лес? — осведомилась миссис Уоттен. — Это кустарник.

— Разве?.. — пробормотал я. — По-моему, это деревья, не кусты.

— Ну какие там деревья! — пренебрежительно дернула плечом миссис Уоттен. — Буш!..

Я остался при своем мнении. Пусть не лес — лесок, но все-таки вокруг стояли эвкалиптовые деревья, а не кустарниковая поросль. Впрочем, через некоторое время я вынужден был признать, что звание леса в Австралии даром не дается — по сторонам шоссе, погрузив его в тень, поднялись рослые, раскидистые эвкалипты и акации с толстыми стволами, густыми кронами, и я от души поздравил спутников с великолепным лесом.

— Да нет, — равнодушно сказала миссис Уоттен. — Это буш.

Я даже рассердился. И по нашим российским масштабам такой лес заслуживал уважения.

Правда, вскоре я вынужден был признать, что не только пустая спесь и желание возразить чужеземцу заставляют миссис Уоттен называть лес кустарником, вот он — зеленый богатырь, дремучий, сказочный, таинственный лес-батюшка!..

— Да нет же, — сказала миссис Уоттен. — Какой вы нетерпеливый! Это буш.

— Перестаньте смеяться! — вскричал я. — Что же, по-вашему, лес?

— А вы сами увидите, — последовал хладнокровный ответ.

И я увидел и молча склонился перед чудом. Все слова разом обесценивались. Я был ошеломлен, потрясен, подавлен. Только потом мне вспомнилось, что на иллюстрациях к незабвенным «Детям капитана Гранта», настольной книге

моего детства, видел я стволы-колонны (из арсенала более поздних воспоминаний могу извлечь уточнение: колонны Баальбекского храма), у подножия которых фигура Гленарвана казалась не больше жучка. Но тогда я считал эти деревья — их кроны не помещались на иллюстрациях — порождением художественного вымысла, чтобы страшнее было. А он есть, этот исполинский лес, есть!..

Стволы эвкалиптов неохватны, но не кажутся толстыми, так стройны они и высоки. Задираешь голову до хруста шейного позвонка, а верхушек не видать, они где-то там, в прозрачно-серебристом сиянии процедившихся сквозь хмарь солнечных лучей. Меж стволами и листьями гигантских папоротников реет зеленоватый туман, то сгущаясь, то разрежаясь до полной прозрачности, и тогда взгляду открываются сумеречные влажные глубины с оранжевыми и голубыми мхами в изножии деревьев и седыми от влаги, тяжелыми травами. Лес словно дышит. И когда он набирает в грудь воздуха, студию опаживает тело, когда выдыхает — обдает влажным теплом.

Гигантские эвкалипты не облетают до осени, как наши лиственные деревья, а меняют кору. Длинные серые, в прозелень, бороды свешиваются с обнажившихся коричневых стволов, с розовыми мазками, словно кровь на обдире. Эта сползающая ошмотьями, как кожа у змеи, кора нарушает чистоту и нарядность леса, свободного от валежника, бурелома, всякой гнили, но ведь линька — это обновление, и, вспомнив об этом, находишь особую красоту в ободранности стволов.

Послышался стук топора, затем мерный, с отзвоном, скрежет пилы. Неужели я увижу сейчас, как падает великан эвкалипт? Умирание такого дерева будет длительно и грозно, как смерть допотопного ящера в знаменитом рассказе Рэя Бредбери «И грянул гром». Помните, как долго он умирает, как медленно, постепенно, артерия за артерией, орган за органом выключается в нем жизнь? Такова мгновенная смерть

гиганта. У меня аж в лопатках похолодало. Какой сейчас поднимется ветер, какой грохот сотрясет простор, сколько сокрушит и покалечит соседей падающий гигант, сколько малых жизней унесет за собой!

Ничего этого не случилось. Рубщиком и пильщиком оказалась лирохвостая красавица, извлекавшая из своего тонкого горла и хряск топора, и надсадный зуд пилы. Птицандира, величайший пересмешник, изумительно копирует не только лесных обитателей, но и механические шумы: пилку, рубку, рокот тягачей, автомобильные гудки. Почему только роскошный хвост этой подражательницы образует на вскидке символ поэзии?..

...Как уже говорилось, мне следовало напиться Австралией, а потом уже предстать пред очи Алана Маршалла... Но истиная Австралия — это аборигены, за права и достоинство которых Маршалл дерется всю жизнь, а их в Мельбурне не было. Аборигены живут на севере, в эти пустынные, неплодородные места отгеспили их колонизаторы. До недавнего времени, когда аборигенам наконец дали право гражданства в искони принадлежавшей им стране, они размещались в особых резервациях, вроде тех, куда в Америке загнали индейцев. Там аборигены охотились с помощью бумерангов и копий, собирали плоды, ягоды, коренья. Ни земледелия, ни скотоводства они не знали. Встречаются аборигены и в некоторых других местах страны, например, на островах возле Брисбейна, где я их позже увижу, но наиболее близкое знакомство сведу в Сиднее, в аборигенском центре, включающем школу-интернат и лечебницу. В школе они получают образование в объеме восьми классов, что позволяет им вести канцелярию впервые созданных аборигенских кооперативов. Некоторые ребята продолжают учебу, и сейчас среди аборигенов есть люди с высшим образованием: юристы, учителя, бухгалтеры. Вот так рухнула грязная легенда расистов об умственной неполноцен-

ности первооткрывателей Австралии. Татуированный отец в набедренной повязке кидает бумеранг в птицу, а сын в адвокатской магии выступает в суде. Одним из самых светлых воспоминаний поездки стала для меня встреча с учащимися аборигенской школы в Сиднее. Это были красивые, воспитанные молодые люди, в меру скромные, в меру свободные, и под стать им девушки, стройные, с прекрасными волосами и глазами, мягкими движениями и легким привкусом горечи в улыбке. Ибо при всех решительных переменах, происходящих за последнее время в их жизни, чувство изолированности, неравномерности в окружающем все еще остается. Чтобы это чувство прошло, нужно время и... новая борьба. Ребята пели, играли на гитарах, угощали нас кофе, печеньем и улыбались. И как же много можно сказать улыбкой!..

Но все это было позже, в Сиднее, а в Мельбурне вместо встречи я получил историю о том, как аборигены «вознесли» Алана Маршалла.

«Мы соплеменники» с полным правом назвал Алан Маршалл свою книгу, посвященную аборигенам. Люди с бумерангами всегда считали Маршалла своим. И они были искренне огорчены, узнав, что для их друга, умеющего охотиться, ловить рыбу, метать копье, скакать на лошадях, недоступны горы. Он никогда не был в горах. Правда, мальчиком он вскарабкался однажды по заросшему папоротником склону потухшего вулкана и заполз в кратер, но то не было настоящей высотой. А в Австралии есть очень высокие горы, с вершинами, покрытыми снегом, и земля оттуда видна далеко окрест, даже с самого рослого эвкалипта не охватишь столько пространства. Аборигены решили доставить Маршалла на вершину горы. Человек доверчивый, любящий риск и приключения, он ни о чем не спрашивал.

Вышли перед рассветом. Там, где началась крутизна, Алана усадили на деревянную дощечку, подняли до уровня плеч и велели держаться за шеи носильщиков. У подножия

горы почь, уже утратившая плотность, была непроглядно-черна. «Держись!» — сказали невидимые носильщики Маршаллу и прыгнули из тьмы во тьму.

Они продвигались быстро, почти бегом, и Маршаллу подумалось, что они не рассчитали сил. Но шагов через пятьсот — шестьсот один из носильщиков коротко свистнул, ему тут же отозвались; от почи отделились два сгустка тьмы, приняла пошу и, не задерживаясь, устремились вперед и вверх. Так поднимались они без остановок: свист подстава, пробежка, хриплое дыхание — Маршалл тщетно пытался угадать, кто его несет. Прореживалась тьма, светлело небо в близости восхода, вскоре Маршалл стал различать лица своих носильщиков. Многих из них он не знал, но это и не важно, коль все они были его соплеменниками. Затем ему заложило уши — новое, незнакомое ощущение от разреженного воздуха.

Круче и круче становился подъем, чаще и чаще подмены — скорость не утрачивалась, молчаливые, коренастые, надежные люди все учли. Свист, толчок, пробежка, свист, толчок, пробежка. И вот раздался какой-то особый свист — долгий, ликующий, и не последовало очередного толчка. Носильщики стояли, тяжело дыша, от них тянуло мускусом пота, над головой, мерцая, серебрился небесный свод в гаснущих одна за другой звездах. Светлая полоса на востоке заблестала, вот-вот из-за окоема появится солнце. В опрозрачневшем сумраке обрисовывались, обретая краски, становясь плотной материей и самими собой, гряды гор, холмы, леса, купы деревьев, реки, и задрожавшим сердцем постиг Алан Маршалл земное пространство.

Вот какой подарок сделали соплеменники своему писателю, вот как они понимают дружбу...

Наше видение во многом зависит от предваряющих впечатлений. В свое время, настроенный на встречу с охотничьим богом, богатырем, пропахшим лесом и осокой, я не раз-

глядел в поставе Алапа даже тех признаков силы, которые воспитываются хождением на костылях. Но, встретив в его книгах многократные упоминания о диспропорции между его грудной клеткой, широкими плечами и «нижним этажом», я постиг ложность своего первовидения, и теперь даже инвалидная коляска не помешала мне узреть могучего Алапа. Ему за семьдесят, но крепок он, как топор, свеж гладким розовым лицом и загорелой лысиной, которая ему очень идет; у него седые, впроголубь волосы на висках и затылке и седые, припаленные желтым усы, хорошо обрамляющие крепкий рот. Одет Маршалл франтовато: стального цвета рубашка, красный в горошек шейный платок, светлые брюки и коричневая замшевая туфля. И вообще Алан Маршалл красивый мужчина, и легко понять, что домашнее гнездо не устояло под напором неистовых гарпий.

Ампутация еще более сузила для него постижимое пространство, но, подвижный, как ртуть, Маршалл отказывается принять насильственный покой. То и дело упираясь в подлокотники, он перемахивает из коляски в кресло или на диван, оттуда обратно в коляску, толкает колеса и вдруг оказывается в противоположном конце комнаты. И вовсе не от болезненной перевозбужденности, он спокойный человек, а для дела: чтобы удобнее было разговаривать, легче достать нужную книгу, газету, подать гостю прохладительное, сигареты, огня. Он сроду не любил прибегать к посторонней помощи и сейчас верен своим привычкам. Презируя новую каверзу судьбы, он планирует поездку в Европу, и в первую очередь в Советский Союз. Я ведь не сказал, что Алан Маршалл — бессменный председатель Общества австралийско-советской дружбы, громадной организации с отделениями во всех крупных городах Австралии.

Активность Алапа вызывала некоторое раздражение у его племянника, осуществляющего при нем роль «дядьки». Этот юный Савельич, преданный и ворчливый, как и все Савель-

ичи на свете, несколько преувеличивает свою обремененность причудами старого дяди, втайне гордясь его неумным темпераментом. Он покрикивает и только что не щелкает бичом, словно перед ним не инвалид в коляске, а бенгальский тигр или дикий конь. Алан относится к его выходкам с той же спокойной благожелательной иронией, как и к окрикам Гепсибы (Дженшифер) в ЦДЛ и ко всем малым нелепицам жизни. Мне племянник неожиданно понравился. Наконец-то я увидел воочию австралийца, полностью соответствующего типу бродяги-стригала из чудесных рассказов Лоусона: большой, загорелый, светловолосый, горластый, ворчливый, с размашистыми жестами, добродушный, но достаточно твердый, чтобы оградить свою внутреннюю суть от любых посягательств и, добавлю, надежно сберечь то, что ему доверено.

Мы с Аланом обрадовались друг другу, но в небольшую квартиру набилось слишком много народа, и это не располагало к углубленной, сосредоточенной беседе. Когда же мы наконец уединились, весьма относительно — поминутно кто-то заходил, — я вдруг понял, что сказать надо слишком много, и этого все равно не скажешь, даже не будь мы ограничены во времени. Но я не особенно огорчился, ибо сделал открытие: когда людям хорошо друг с другом, то нет нужды сыпать словами, можно помолчать; оказывается, молчание тоже форма общения, едва ли не самая полная. Как хорошо молчалось нам с Аланом Маршаллом! Мы молчали о литературе, о нашей работе, о работе других писателей, молчали о предстоящих выборах — почему-то я сразу понял, что в отличие от своих друзей и соратников Маршалл убежден в победе лейбористов, так оно впоследствии и оказалось, — молчали о настоящем, прошлом и будущем, о женщинах, которых любили, о надеждах, с которыми еще не расстались. Я многое понял из этого молчания и стал тверже.

Но не бывает так в жизни, чтобы люди вкусили благодать тишины и молча разошлись. Совершенная чистота приема

возможна только в литературе, а не в сутолоке быта. И мы против воли оказались втянутыми в разговор.

Конечно, я поделился с Аланом своими скудными, хотя и сильными, австралийскими впечатлениями.

— А лес? — спросил Алан и чуть привстал, опираясь о ручки коляски.

— Ого!.. — сказал я.

— Ого!.. — повторил он, радостно засмеялся и хватил стакан кока-колы.

Но, добрый человек, он тут же с большой похвалой отозвался о русском лесе и сообщил, что собирается в Советский Союз. Я пригласил его на охоту. Он медленно покачал головой:

— С охотой покончено... А вы охотитесь?

— Сейчас нет.

— И хорошо делаете. Время охоты миновало. Сохранить бы то, что еще осталось.

— Но ведь приходится уничтожать кроликов, кенгуру...

— Именно уничтожать! — с отвращением повторил Маршалл. — Это мерзкое следствие всегдашней человеческой безответственности, неспособности да и нежелания видеть хоть на шаг вперед. Зачем было доводить до массового убийства?.. Знаете, что делают фермеры? — Он подкатил свое кресло ближе ко мне, за очками у него была боль. — Они напимают стрелков — это демобилизованные солдаты корейской и вьетнамской войны, не пашедшие применения в мирной жизни. Банды этих парног бродят по стране, у них сохранилось старое оружие. Может быть, они слишком привыкли убивать и теперь не годятся ни на что другое? Они косят кенгуру из пулеметов и автоматов, забрасывают градатами.

На полях остаются сотни трупов прекрасных и добрых животных. Кончится тем, что кенгуру изведут вроде вашего волка.

— Да, теперь спохватились, что волк — санитар леса. А на севере, где выбили волков, олени вырождаются, теряют силу, выносливость, скорость бега. Волк был их тренером.

— Есть и еще одно, — чуть улыбнулся Маршалл. — Ивану-царевичу не на чем вывезти царевну из леса. Джип в чаще не пройдет. У детей украли одну из самых красивых и поэтичных сказок...

Мой друг, писатель Виктор Астафьев, рассказывал, как били глухарей у него на родине, в Красноярском крае, года два назад, когда этой редкой, почти истребленной птице как-то удалось восстановить убыль. Приезжие охотники отстреливали столько, что пришлось срочно оборудовать пункты по приемке дичи. Но вскоре эти пункты свернули: не хватало ни рабочих рук, ни транспорта. А вошедшие во вкус стрелки продолжали лупцевать глухарей просто так, из азарта и распушенности. Повсюду гнили мертвые глухари, эти редкие зашельцы в наш век из глубокой древности, биологическое чудо — у них вместо голосовых связок косточки. Измаравшиеся по маковку в крови, пусть и птичьей, охотники убили что-то важное в самих себе. Они стали бояться друг друга, прятаться по почам. «Зачем вы прячетесь?» — спросил одного из них Виктор Астафьев. «Как зачем? Убьют!» — ответил тот с жуткой простотой. «Да за что?» — «Вот те раз! Может, ружье мое приглянулось, или надувная лодка, или сапоги. А может, так, из настроения...» Это не были какие-то отщепенцы — самые обыкновенные, средние люди...

Алан Маршалл внимательно выслушал эту историю.

— Ну вот видите... Какая уж там охота! Людей слишком долго ориентировали на истребление, надо повернуть руль на сто восемьдесят градусов. Иначе черт знает до чего дойдем, уже дошли. Не охрана природы, а спасение гибнущего мира, включая и человека, — так стоит вопрос.

Я сказал, что прочел его статью.

— Это только начало. Нет страшнее браконьера, чем само государство. Тысячи нарушителей сроков и способов рыбалки не причинят того вреда, как одна бездарная плотина или стоячая лужа, гордо названная новым морем...

Я покинул Маршалла поздно ночью — племянник-стригаль шипел от гнева, как сало на сковородке, — так бесило его легкомыслие дяди, нарушившего режим.

Не помню, кто из мыслителей прошлого сказал: «Человек должен стать тем, что он есть», но мы с Маршаллом вспомнили эту формулировку и взяли на вооружение. Подписались мы еще под несколькими отнюдь не новыми истинами. Надо ежечасно, ежеминутно помнить о детях и отвечать перед ними за все свои поступки. Мы оставляем мир в неважном состоянии, надо, чтобы дети были очень хороши, добры, умны, тверды и ответственны, иначе не потребуются термоядерной войны, дабы покончить с тем, что так широко и вдохновенно было задумано Господом Богом. На кумач — изречение Блейка: «Все существующее свято». Сразу оговариваюсь для тех, кто при малейшем проявлении «отвлеченного» гуманизма хватается за оружие: гитлерообразные не включаются в понятие «существующего», это нежить. Еще не поздно спасти этот безумный, безумный, безумный, но все равно самый лучший из миров.

Мы не открыли никаких Америк, даже Австралии, — кстати, почему вовсе безвестен голландский шкипер Биллем Янц, подаривший современникам целый материк? — нам просто хотелось укрепиться в нашей вере.

А потом я поцеловал Алана в загорелое гладкое темя, мы обменялись рукопожатием, и гарцующий от нетерпения, как застоявшийся конь на ферме Маршалла-отца, домовод-племянник выпроводил меня за дверь, в теплую и влажную ночь Мельбурна...

На другой день я вылетел в Брисбейн, лишившись доброй опеки гостеприимной четы Уоттенов. Но Общество дружбы во главе со своим президентом позаботилось, чтобы я не чувствовал себя одиноким в чужой стране.

На всем немалом пути меня заботливо передавали из рук в руки, как некогда аборигены Алана Маршалла, чтобы он

увидел свою землю с самой высокой горы. И сколько чудесных людей узнал я, сколько завязал дружб!..

Мир сегодняшней Австралии пестр, как попугай розелла, и в социальном, и в политическом, и в идеологическом, и в общественном смысле слова. Правда, краски его далеки от ликующей птичьей яркости. Иммигранты, хлынувшие сюда после Второй мировой войны, несколько напоминают первопоселенцев конца восемнадцатого века, — впрочем, среди них не было ирландских бунтарей. Зато всякой протери хоть отбавляй: дезертиры войны, украинские националисты, бандеровцы, фашиствующие всех мастей пашли здесь присташице. На долю мне выпали не только спичи, тосты, рукопожатия, доверительные, душа в душу, беседы, внимание заинтересованных аудиторий, но и немало яда. Были и серьезные споры, и настоящие идеологические бои, и словесные драки, да такие, что друзья на всякий случай засучивали рукава.

Это в порядке вещей, иначе жизнь была бы слишком пресна.

Поездка не изжилась в моей душе, но Австралия слишком сложна, чтобы писать о ней напрямую после двухнедельного пребывания. Не скрою, мне случалось писать о некоторых странах после столь же краткого визита, но то были страны, а это целый материк. И наконец, разве Алан Маршалл — это не сама Австралия с ее муками и радостями, победами и поражениями, с ее мужеством, твердостью, верой в будущее и умением за это будущее бороться? Конечно, каждая страна, каждый народ многолик. Алан Маршалл — самый светлый образ породившей его земли.

Островитянин

Сон о Юхане Боргене

Литературный портрет



от никогда не думал, что Юхана Боргена, знаменитого Юхана Боргена так трудно найти. Он не только самый большой из ныне здравствующих писателей Норвегии, но и один из лучших писателей современной мировой литературы. Норвежцы любят говорить с полускрещенным смиренным, что у них «маленькая страна», хотя по европейским масштабам территория Норвегии довольно значительна — и, главное, взгляните на карту: скандинавская «собака» лакает из Северного моря, а хвост купается в Баренцевом, далеко за Полярным кругом. Однажды мне пришлось лететь из Осло в Киркенес — со всеми остановками, и это напомнило мне по тяготящей длительности сибирские перелеты. Очевидно, норвежцы имеют в виду народонаселение: четыре с половиной миллиона, конечно, немного, особенно для такого пространства. И в этом малолюдстве великий писатель затерялся, как иголка в стогу сена. Найти Боргена оказалось делом весьма и весьма непростым, хотя в Осло, как меня уверяли, живет его дочь — писательница Ане Борген, но и она куда-то запропастилась.

Я обращался к людям, близким писательской среде: переводчикам, журналистам, литературоведам, издательским

работникам, но таяли стремительно, апрельскими сосульками, мои недолгие норвежские дни, а создатель «Маленького лорда» оставался неуловим. А я-то думал, что любой прохожий, стоит мне произнести заветное имя «Борген», возьмет меня за руку и отведет к тому, кто в глазах всего света является гордостью Норвегии.

Быть может, мои знакомые шли по ложному следу, еще более вероятно, что они не столько искали, сколько выжидали с великим норвежским хладнокровием, что Юхан Борген объявится сам. Так некогда Фритьоф Нансен, впяв в лед свой корабль «Фрам», терпеливо ждал, куда его вынесет движением арктических масс. Но мой «Фрам» никуда не двигался, на этот счет вскоре отпали последние сомнения, и я забил тревогу. Второй раз Борген ускользал от меня, но тогда я сам был виноват: поделикатничал, не проявил достаточной настойчивости, а сейчас я двумя кулаками стучался в глухие двери той удивительной норвежской пассивности, основанной на каких-то неведомых остальным европейцам табу, что так затрудняет приближение к душе потомков викингов.

Норвежцы похожи на японцев — в который раз подумалось мне. Вроде бы что общего у рослых, бледнокожих, светловолосых и светлоглазых, неторопливо-задумчивых северян с низенькими, быстрыми, черноголовыми, прячущими noch в узком разрезе глаз, рассыпающими любезно-необязательные улыбки насельниками страны, видящей, как рождается в океане солнце, а сходство, глубинное сходство, несомненно и значительно. Их роднит загадочность и несоответствие общечеловеческому стереотипу. У них сходный кодекс вежливости, правил поведения: Боже упаси громко разговаривать, азартно спорить, навязывать свое мнение другому, проявлять слишком открыто свои чувства, будь то радость или горе, боль или сострадание (решительно исключаются: досада, раздражение, капризы, дурное настроение, рассеянность), с завыванием читать стихи, что-то палпевать или пасвисты-

вать про себя. И при великой внешней покладистости — неодолимое, приводящее в отчаяние упрямство, несдвигаемость с мертвой точки.

Быть может, слишком много значили в жизни этих наций стихии — на географических картах Япония кажется лестком на синей безбрежности; морские волны окатывают Норвегию с трех сторон, а море, как известно, учит терпению и мужеству, немногословию и дьявольскому упрямству. Умеют перемогать и настаивать на своем тихие бесстрашные рыбаки, умеют ждать их жены. В Норвегии душу и тело испытывают северные ветры, над Японией гуляют тайфуны.

Господи, как далеко завела меня простая мешкотность моих друзей и знакомых в отыскании местожительства Юхана Боргена! Робкое предложение позвонить в газету «Дагбладет», где Борген сотрудничает, или в издательство «Гильдендалль», где вышла его последняя книга, не то чтобы отвергалось, а пропускалось мимо ушей с далекой, едва различимой улыбкой как нечто не совсем пристойное. Тут и меня осенило: в самом деле, некрасиво, даже неприлично выставлять адрес писателя в учреждениях, с которыми он связан деловыми отношениями. В какое положение мы их ставим: а если Боргену нежелательна эта встреча, если он болен и вообще избегает людей, если он охвачен мизантропией, жаждет уединения, или углубился в новую работу, или, или, или... Член семьи, друг — словом, частное лицо еще может дать его адрес на свой страх и риск, но газета, издательство, разве им к лицу бесцеремонно распоряжаться покоем и временем своего уважаемого пожилого сотрудника? Они не имеют права брать на себя такую ответственность, ставить под удар собственную репутацию, наконец!..

Норвежский гипноз действовал: я стал думать о нехитром деле в категориях преувеличенной ветхозаветной шепетильности, стародевичьей деликатности. А может, так и надо жить? Ведь есть в этой церемонности, осторожности, бояз-

ливой бережности какая-то печальная, с горьким ароматом увядших цветов, тонкая прелесть. Отношения между людьми становятся хрупко драгоценными и... невозможными. Разве совместима подобная деликатная капитель с нашим подвижным, переменчивым, быстрым и непостоянным веком? Еще немного — и я не увидел бы Юхана Боргена, теперь уже навсегда. И не было бы этих записок, что не такая уж большая беда, но не было бы и письма Боргена, присланного после нашей встречи, а это, как убедится читатель в своем месте, беда, да и немалая. И с теплым чувством обращаюсь я к отечественной простоте. Ну в каком бы нашем издательстве, газете, журнале затруднились дать мой адрес и телефон кому угодно? И звонят, и пишут, и даже валятся как снег на голову начинающие авторы, старые графоманы, мнимые родственники и соученики, какие-то ищущие девицы, равно и поиздержавшиеся в дороге, и просто сумасшедшие. Но пусть так будет всегда ради одной невероятной возможности: вдруг мои координаты понадобятся Юхану Боргену.

И все же неделя не пропала даром: установили, что писателя нет в Осло. А там уж и не знаю, какие таинственные силы сработали, быть может, молчаливый норвежский бог? — но стал известен адрес Боргена и даже номер его далекого телефона. Загородное обиталище писателя находилось километрах в ста от Осло, на острове, почему-то в Норвегии принято говорить: на островах. Как будто островитянин переносит свое легкое, съемное жильё с острова на остров. Быть может, когда-то так и делалось: выбил кабанов и оленей, переловил кроликов и куропаток, истощил каменистую почву и переехал на другой остров, предоставив прежнему восстанавливать убыль. Борген жил на острове Асмалене, и еле слышный, текущий по тонкому проводу, все время затухающий, теряющийся в воздушном океане голос его жены прошлестел, что он рад гостям, их сын будет ждать нас в полдень с моторкой, чтобы перевезти через пролив.

Почему я так упорно рвался к Боргену? Должен признаться, знаменитости, особенно литературные, никогда не привлекали меня. Пушкин говорил: поэт весь в своих словах. То бишь нечего ждать, будто личное знакомство что-то прибавит к наслаждению его музой. Надменный Гримм писал Жан-Жаку Руссо: «Дайте мне наслаждаться Вашим прекрасным талантом и избавьте меня от Вашей неприятной личности». Требование дерзкое, но примечательное. Впрочем, немногие великие люди, которых я знал, вызывали во мне восхищение и глубокую нежность, а отнюдь не разочарование, но все равно, сам не знаю, почему знаменитости мне противопоказаны.

Роман Юхана Боргена «Маленький лорд» потряс меня, как мало что в мировой литературе. Я могу сравнить впечатление, произведенное им, лишь с открытием для себя прозы Пруста, с «Уллисом» Джойса, с романом Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел», с неистово-поэтичным бредом Маркеса «Сто лет одиночества». Каждое из этих произведений было рождением неведомого мира, с каждым я сам рождался заново, обогащенный новым знанием безмерных человеческих глубин, ошеломленный неисчерпаемостью литературных средств.

В «Маленьком лорде» нет новаторства формы, он вполне традиционен, в духе старого, привычного европейского романа, где жизненная история героя, выходца из буржуазной среды, излагается в хронологическом порядке, от дней безмятежного детства. Название, перекликающееся с известной умилительно-сопливой детской книжкой Барнетта «Маленький лорд Фаунтлерой», как бы призвано подчеркнуть добротпорядочный настрой романа. Но в этом заключена жесткая, беспощадная ирония Боргена, умеющего быть таким добрым в своих рассказах о простых людях Норвегии, а здесь вдохновенно, скрупулезно и въедливо, с поразительными озарениями проследивающего историю своего врага Вильфреда Сагена («Маленький лорд» — лишь первая часть три-

логии), врага всех нас: высокоодаренного подростка, потом юноши, ставшего в роковой час норвежской истории предателем своего народа, пособником фашистов. Самое же удивительное, что роман, хоть он и не от первого лица, написан как бы изнутри центрального образа. Проникновение автора в суть страшного мальчика с локонами до плеч — потому и зовет его Маленьким лордом любящая мать, усердно культивирующая нежный инфантилизм в быстро мужающем сыне, — столь глубоко, что он как бы сливается с ним, и нельзя отделаться от ощущения, будто это написано о самом себе. Кстати, Борген и социально близок своему герою — сын видного юриста, выласканный материальным переизбытком в сочетании с духовной утонченностью. В изображаемую Боргеном эпоху именно эта среда формировала крайних индивидуалистов, что в пору Второй мировой войны и оккупации Норвегии повернулись к фашизму. Но как сочетать это с отчетливой автобиографичностью романа?

Юхан Борген последовательный антифашист, угодивший за свои убеждения, когда гитлеровцы заняли Норвегию, в квислинговский застенок. Такова принятая у нас версия его ареста. Но в Норвегии я узнал, что вовсе не фельетоны, статьи, эссе, тонко язвившие оккупантов и коллаборационистов, привели Боргена в тюрьму Грини, — он был назначен связным между возглавившими норвежское Сопротивление коммунистами и «лондонским» правительством. Писатель может натянуть на себя любую личину, зажить в любой шкуре, но Борген не перевоплощался в Маленького лорда, он и есть Маленький лорд. Где и как расцепляется он со своим героем, когда из сообщника становится судьей, — понять это значило бы понять очень много не только в самом Боргене, но и в природе творческого акта.

«Маленький лорд» загадывает трудные загадки. Я не знаю другого романа, столь прозрачного стилистически, столь сложного для постижения. Не замечаешь, как автор,

легко и просто орудуя чисто бытовыми подробностями (при этом Борген вовсе не «бытовик», для него каждая присутствующая в мире вещь — знак некой высшей жизни), затягивает тебя в бездонные омуты, в такие грозные, темные глубины, что, даже умея плавать, ты начинаешь тонуть.

А как идиличны первые страницы! Торжественный семейный обед в богатом, нарядном норвежском доме. Любезно и важно принимает гостей трогательный хозяин, четырнадцатилетний мальчик с душистыми, до плеч локонами Вилфред Саген — Маленький лорд. Это милое прозвище нежно щекочет небо его прелестной матери, ведь оно — залог длящегося невинного детства сына и ее молодости, грустной вдовьей молодости — красивый, блестящий, даровитый муж рано покинул ее. Перед нами типично буржуазный дом благоustной, но уже истекающей, уже пронизанной тревогой поры — канун Первой мировой войны. Дом высокоинтеллектуальный, духовный, утопченный, здесь не пахнет салом денег, и даже дядя-делец (а есть еще дядя-эстет, музыкант, знаток искусств) не излучает вульгарности, лишь бодрый, свежий практицизм.

Атмосфера создана, и читатель, уже поверивший мягкой и властной, легкой и мускулистой руке автора, готов с охотой следовать за ним в поэтичный мир одаренного, милого, странного мальчика с длинными волосами. Но уже в следующей главе эта добрая рука наносит читателю прямой в челюсть, от которого взбалтываются мозги в черепной коробке. Мальчик выпрашивает у матери разрешение пропустить школу, запасается у служанки бутербродами, надевает новое элегантное пальто, опускает в шелковый карман электрический фонарик и отправляется добывать чистотел из-под талого снега для своего гербария. Да, если б так... На самом же деле он пробирается — с великими предосторожностями, достойными опытного преступника, — в квартал бедноты, где сперва провоцирует уличных мальчишек на столкновение,

потом, легко ошеломив их туповатые, доверчивые души фонариком-невидалью, приводит в покорность и подбивает на уголовщину: очистить кассу хозяина табачной лавки, жалкого старика. Мелкий и подлый грабеж удался. Сам Маленький лорд, конечно, не притронулся к деньгам, но, когда его сообщники убежали, двумя ударами поверг на пол несчастного старика, после чего спокойно покинул лавку и лишь затем до содрогания насладился воображаемой погоней, опасностью и счастливым избавлением.

Дикий поступок? Да. Но не более дикий, чем другое его деяние, тоже вроде бы ничем не вызванное. Однажды в исходеночи он взял велосипед и помчался опять же в бедный квартал, но в другой, пригородный, и там развел между домами небольшой, но опасноватый костер. А затем, оставовленный за езду без света, изо всех сил ударил коротышку-полицейского и вновь подарил себе ощущение погони, ужаса и спасения.

Что это — юный доктор Каллигари, давно в зубах навязший образ перевертня? О нет! Никакого раздвоения личности — Вилфред целен, как монета, в которой тоже две стороны, да ведь монета одна. Целен, как фальшивая монета. Но не будем забегать вперед. Что ж, читатель ныне опытный. Им немало читано-перечитано на тему такого вот ожесточенного, бессмысленного внешне, но глубоко ограниченного молодого бунта. И первое, что приходит на память, — Жюль из знаменитой эпопеи Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо». Бунт одаренного юноши против затхлой буржуазной среды, ее лжи, лицемерия, сковывающих условностей, бунт порой нелепый, даже уродливый, но внутренней сутью своей здоровый, благородный, как и бессознательная тяга к людям другого класса. И все было бы очень просто, кабы было так... Но читатель скоро начинает чувствовать, что дикие бунтарские выходки Вилфреда лишены социальной подоплеки. Он всегда помнит, что он Маленький лорд, хотя претенциозное прозвище ему ненавистно, как и локоны до плеч, — просто

вырос из атрибутов детства. Он тянется к низшим лишь для того, чтобы острее ощутить свое превосходство, свою избранность, утвердиться в презрении к тем, кто родился на теневой стороне жизни. Его бунт порожден стремлением освободиться от окружающего, создать свой собственный, замкнутый, никому не доступный мир. И это не препятствует вспышкам любви-жалости к матери, к изысканному дяде Рене и даже к примитивному дяде Мартицу — словом, к родной крови, и влюбленности в молодую тетку Кристину, и трепетной нежности к девочке Эрне, чьи губы шершавы от солнца и морской соли, и острой тяге к скрипачке Мириам, но все эти добрые чувства проявляются лишь к людям своего круга. Да, Жюлем Тибо тут и не пахнет!

Постепенно в книге нарастает тема редкой музыкальной одаренности Маленького лорда, которому по плечу — о хрупкое отроческое плечо! — все тайны Иоганна Себастьяна Баха, и меняется образный строй романа, ткань его становится легче, воздушней, поэтичней, и как легко дается Боргену это воспарение! Хоть он и не привязан к быту, его наблюдательный глаз цепко ловит все подробности жизни, обстающие человека, и будто сами собой возникают и натюрморт, и жанр, и городской пейзаж, но как же легко взлетает он по лунному лучу туда, где в хрустальной чистоте звучит лишь музыка сфер. Очарованный и несколько успокоенный читатель начинает думать, что ему предложен роман о трудном вызревании художественной натуры. В памяти оживает диковатый Юджин, герой романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел», тоже окрашенного автобиографичностью. И принимаешь крайний субъективизм Вилфреда, его острые, порой враждебные отношения с окружающими, тайный конфликт с матерью, ожесточенное стремление скрыть ото всех свое «я», и самолюбование принимаешь, и самовозвеличивание, и замыкание в раковину, и внезапный бросок к людям, и вечный поиск чего-то, и мучительные позывы созревающей пло-

ти. До чего же непросто создается художник! Талант — дар Божий, но и насмешка дьявола.

Не успев окрепнуть, сходство с вулфовским героем исчезает без следа. Пусть и не высказываемая прямо, цель индивидуалиста Юджина — в конечном счете — слиться с миром. Каждому истинному художнику необходим выход к людям, иначе зачем все, что он делает? Конечная и рано постигнутая цель Вилфреда — отделиться от мира непроницаемой стеной и тем обрести полную свободу. При этом Маленький лорд вовсе не освобождает мир от обязательств в отношении себя — ему должно получать из окружающего пищу для самоутверждения, любовь, удовольствия и удивление. Да, что-то не похоже на портрет «художника в юности»! Тем более что из патологического стремления скрыть свою внутреннюю жизнь он оборудовал рояль немой клавиатурой, и музыка из-под его пальцев звучит лишь ему одному. А вскоре он и сам онемел, заперев голос в сведенной судорогой гортани. И пусть потом голос вернулся к нему, это не меняет сути дела и роковой предопределенности пути. Вот в какую черную дыру загнал Вилфреда бес сверхиндивидуализма. Дальше, как говорится, идти некуда. Ан есть еще шаг — за край, и герой совершает его в конце романа. Но здесь так смешалось реальное с символами, грубая правда жизни с видениями, проносящимися в воспаленном воображении героя, что финал романа во всей его сложности и не перескажешь. Если идти по поверхности, то дело выглядит так: движимый всегдашним стремлением ловить рыбу в мутной воде чужой социальной среды, пьяный Вилфред попадает в компанию двух проходимцев и проститутки, которые грабят его, раздевают, избивают и голого бросают в лесу. Дело осложнено тем, что к этим полупризрачным людям подтягиваются прежние, казалось бы, давно распутовавшиеся узлы: совращение уличных мальчишек, покушение на хозяина табачной лавки — старик, представьте, умер от шока; ко всему еще скрипачка Ми-

риам оказывается племянницей убитого старика, в память его она приходит играть на скрипке беднякам квартала. Бред заворачивается круто, образы, порожденные ущербной совестью и диким страхом, переплетаются с явью, и уже не отделить правды от вымысла. Ко всему еще — и это не случайно — один из проходимцев вдруг выворачивается в социалиста... А завершается эта дьяволиада фантазмагорическим бегством голого, окровавленного, со сломанной рукой Вилфреда от преследующей его толпы (навязчивый кошмар всей его жизни) и отчаянным прыжком в море. Но тут, в море, и настигают откуда-то возникшие лодки, и чей-то голос вещает: «Теперь он от нас не уйдет». Сложный, запутанный узор раскрывается в очевидном символе краха индивидуализма и возмездия.

Не случайно голос принадлежит «человеку в рабочей блузе». Вилфред противопоставил себя всему миру, но один мир он в тайниках души любил — благоуханный, искусственный, фальшивый, порой невыносимый, но близкий всей кровью мир матери, дяди Рене и даже дяди Мартина, а другой — черный, луковый мир простонародья боялся и ненавидел. И пытался причинить этому миру зло. И попался с поличным.

Но человек в блузе все-таки ошибся: Вилфред в конце концов попал совсем в иные руки. В последней части трилогии «Теперь он в наших руках» сверхиндивидуалист и человеконенавистник приходит к фашистам. Но незатухающая мысль о возмездии толкает его к самоубийству. Все закономерно. А как же Бах, Букстехуде, ведь было же это?.. Да, было. Один из самых мерзких нацистских преступников, палач Кальтенбруннер, блестяще играл на рояле. Но это — к слову...

Казалось бы, при такой однозначности исчерпывающе точного решения не должно быть сложностей в понимании главного образа романа. Еще до войны появилось немало хороших книг, достоверно изображавших превращение обывателя в нациста. Игра там велась с открытыми картами: читатель заранее знал, куда его ведут, и хотел лишь, чтобы его

не обманывали, не подсовывали облегченных решений. Стоящие писатели, вроде Георга Борна, создавали математически точные структуры, это было полезное, обогащающее чтение. Но колдовство Боргена не чета даже самой мастеровитой, квалифицированной литературе, если она без Бога, она прядет не из льняной кудели, а из лунного света, но его нитку не оборвать.

Борген не решает заранее поставленной задачи, не строит систему доказательств, а зорко и трепетно следит за своим героем, выколупывая его из всех укромий, из всех защитных оболочек, до которых тот столь увертливо охоч. А это совсем непросто, ибо лучше всего герой хоронится в темных углах души самого писателя или еще глубже — в тайниках подсознания. Борген, об этом уже говорилось, выходец из того же круга, что и Маленький лорд, его искушали те же соблазны, дразнили те же бесы, посылаемые временем, средой, модной философией, литературой, искусством. Разумеется, он был нормальным мальчиком из теплого тела, а не литературной схемой, то плохим, то хорошим, склонным и к детской жестокости, и к добрым порывам, к дерзостям и к постижению чужой жалостной сути. Он не был запрограммирован, как и всякий живой человек, он испытывал губительные соблазны, но спасся, одолел волей к творчеству смертный грех индивидуализма. А вот столь близкий ему Маленький лорд не одолел, не пожелал одолеть, заглушил в себе чистый родник творчества и человечности ради призрачного торжества над окружающим, принял причастие дьявола и пал под обломками своей распавшейся личности. Взаимопроникновение автора и героя определило незаданность и глубину образа и вместе с тем крайне затруднило его охват. Признаюсь, я рассчитывал, что Борген поможет мне укрепиться в моем понимании романа и героя, а глядишь, приоткроет дверцу туда, куда мне не дано заглянуть по недоступности всей трилогии.

И еще мне хотелось хоть что-то понять в Норвегии. Ну хотя бы почему живые норвежцы так не похожи на свое литературное воплощение у лучших писателей, будь то Ибсен или Бьернсон, Унсет или Гамсун или современный нам Юхан Берген. А может, правильной будет сказать, что герои лучших норвежских книг мало похожи на тех норвежцев, что заполняют улицы Осло и Бергена, Драммена и Тронхейма. Так, во всяком случае, мне кажется.

Тут я должен обратиться к дням десятилетней давности. Тогда я приехал в Норвегию за материалом для сценария фильма «Красная палатка». Меня интересовала в первую очередь романтическая фигура великого путешественника Руала Амундсена. Взволнованный встречей со страной моих отроческих грез, я ожидал в каждом норвежце увидеть лейтенанта Глапа, а в каждой норвежке — Эдварду. Когда о стране не судишь по книгам, невольно попадаешь впросак. И юные богатырши, и длинноногие, спортивного напряжения спутники их, заполнявшие вечерние улицы Осло, обескураживали однозначностью простых своих устремлений к джазовой музыке, ледяному пиву, горячим сосискам, походам в горы с тяжелыми рюкзаками за спиной, спорту и кино. Их старшие соотечественники каменели в самодовольном спокойствии.

Я утешал себя тем, что Глапы, как им положено, скрываются в лесах, слушая мягкий постук еловых шишек о хвойный настил, а Эдварды несут при них службу любви, томления и неверности.

И скользили мимо, не запоминаясь, оплывшие, равнодушные, отчужденные физиономии норвежских киобоссов, не веривших в финансовый успех фильма и потому источавших арктический холод, любезно-безразличные маски ученых из Института Арктики, которым невообразимо скучно было возвращаться усталой мыслью к далеким дням Амундсена и злосчастной экспедиции Нобиле, и сонные лица каких-то полуочевидцев тех грозных, повитых туманной дымкой событий, но Глапы... Глапов не было.

А потом поиск привел меня в дом-музей Амундсена, о существовании которого под боком у столицы и слыхом не слышали мои многочисленные знакомые. Хранителем дома, пошедшего с торгов незадолго до гибели Амундсена (человек, подаривший родине Южный полюс и два великих северных пролива, разорился на своих экспедициях), был его племянник Густав, сын любимого брата.

Помню, наша машина, соскользнув с можжевельново-сосновой кручи, будто упала к крыльцу двухэтажного деревянного, незатейливой архитектуры дома. Внизу простиралась пустынная, темно-синяя, жгуче отблескивающая вода фиорда; у песчаной кромки берега переваливалась с боку на бок, тревожная набегающей волной, старенькая, разохшаяся лодка; кроны сосен упирались в небо, сгущая над собой его синеву. От служебной постройки в нашу сторону шел, на ходу подтягивая старые штаны, загорелый пожилой человек с ярко-синими — уже издали — глазами.

— Капитан Амундсен! — представился он хриплым голосом.

До чего же он похож на своего знаменитого дядю! Тот же рост, то же сухопарое сложение, то же сопряжение мускулов на худом выразительном лице, та же пронзительная, неистовая синь глаз. Лишь орлиная крутизна характерного амундсеновского носа выпрямилась в ущерб лицу, потерявшему в резкой силе. А так хорош! Особенно когда закурил, сжав краешком обветренных губ мундштук, и вдруг поглядел вдаль по-орлиному прямо на солнце.

Мы поздоровались и сказали о цели нашего приезда. Густав Амундсен издал страшный горловой звук — не то взрыднул, не то всхохотнул, а может быть, два противоречивых чувства одновременно вспыхнули в нем. Впоследствии я убедился, что страшный этот горловой звук вообще характерен для норвежских мужчин, для наиболее эмоциональных из них. Коротким всхлебом натренированная в сдержанности и слегка одеревеневшая душа высвобождается. Он извлек ключ из

глубокого кармана заношенных штанов, но стершаяся бородка проворачивалась вхолостую в замочной скважине. Амундсен что-то крикнул насквозь прокуренным, навек простуженным, но хорошим, добротным мужским голосом, и откуда-то, вся развеваясь на ветру, которого не было, юбкой, кофтой вроспуск, незаколотыми легкими волосами, улыбаясь большой улыбкой ярко-красного рта, возникла молодая женщина с громадной связкой ключей. Кем была она Густаву Амундсену? Дочерью?.. Женой?.. Подругой?.. В нем слова взрыднулось-всхотнулось — вспышка радости-боли навстречу любимому существу. И я понял, что все-таки нашел Глана на этой земле. И Эдварду.

Но как ни крути, а при множестве встреч один Глан и одна Эдварда — маловато. А где же строитель Сольнес, кинувшийся с верхушки возведенной им башни, которая мне почему-то представляется силосной, где демолическая Геда Габлер, все время помнившая о пистолетах своего отца-генерала, где бутгарка Нора, где мятущийся Пер Гюнт, где Нагель, так мощно заряженный страданием, где вообще все прекрасные и странные герои великой норвежской литературы? Должны же быть у них прообразы. Или извелись сильные и своеобразные характеры в нынешней бюргерской тишине, прочном достатке, легкой осуществимости всех доступных желаний? Но ведь есть молодежь, и ей от века свойственно беспокойство. Последний вопрос я задал уже в нынешний приезд своему знакомому, государственному служащему.

«Есть беспокойная молодежь, — сказал он, зевая. — Даже экстремисты водятся. Но не придавайте этому чересчур большого значения, из экстремистов вырастают самые добропорядочные буржуа: парусная яхта, загородный дом, рыбалка летом, лыжи зимой, заграничный туризм — в меру, счет в банке — желательно без меры, — вот на чем замыкается мир достигшего восковой спелости левака. Причудливые характеры вы встретите скорее в деревне, или среди рыбаков, или на севере, там люди не так заштамповались».

И все же правда, наверное, в том, что норвежцы разные. Есть и Тур Хейердал, и его прекрасный сын Тур-младший...

В пятницу вечером, да и в субботу утром, лучше не выезжать из Осло, будешь плестись в хвосте длиннющей вереницы машин. Норвежцы иступленно стремятся на природу: в горы, в лес, на берега фиордов, озер, рек. Кого ждет собственный дом, кого походная палатка или просто костер под открытым небом.

Но мы отправились к Юхану Боргену ранним утром обычного трудового дня, и неширокое, ровное, в меру извилистое шоссе было просторно, как и весь мир вокруг нас, и так же просторно было мыслям, то растекающимся по окружающему, то собирающимся вокруг Юхана Боргена и его удивительного романа.

Видно, я крепко задумался. Еще недавно стоило оглянуться, и был виден порт Осло, грузопассажирские пароходы, прогулочные яхты, катера ловцов креветок — улов быстро распродается прямо с борта жадным любителям даров моря, разноцветные моторки, большой, несколько устаревшего обличья пароход, подаренный жителями Осло королю Улафу, любящему море, парусные гонки (в прошлом отличный яхтсмен, чемпион), а на суше — породистых лошадей, и тот тревожный размерами и непривычностью громозд, напоминающий издали доменную печь, который сейчас докрашивают в доке: установка для добычи нефти с морских глубин, сконструированная норвежскими инженерами. В территориальных водах Норвегии обнаружены громадные запасы нефти, которые уже начали разрабатывать.

Дорога раскручивалась спиралью меж поросших то буками и кленами, то соснами и елями круч; оголенные скальные выступы омыто изумрудились плюшевым мхом. Затем мы прострелили ухоженную чистую равнину, аккуратно размеченную проволочными квадратами выпасов, купами деревьев, домиками под дымно притемнившейся красной чере-

ницей; изредка промелькивали островерхие кирпичи с непрерывной стаей ворон и галок под слабо проблескивающим утреннюю хмарь золотым крестом. Мир был юн, прохладен, росен, грудь распахнулась дыханию, но, вместо того чтобы наслаждаться живительной бодростью, износившийся организм повлекся в неурочный сон. Неодолимый, глубокий сон, которому не мешали ни толчки, ни радио, включенное водителем на полную мощность, ни неудобство позы, ни подъемы и спады, отчего ватное тело то вжималось в спинку сиденья, то клонилось вперед, ни смех и болтовня спутников. Этот стариковский сон слабости был мне легок, здоров и приятен. Я спал, как лишь в детстве спалось в согово издырявленных древоточцами, розоватых, медово пахнущих стенах акуловской дачи под шорох дождя в сиренях.

Изредка опаматываясь, я видел или зеленую, под очистившимся, заголубевшим небом равнину, или ребра и оглажда горных склонов, или лес в дымчатом выпоте, вспоминал, кто я и куда еду, и вновь радостно засыпал.

Проснулся я окончательно в городке Фредрикстаде, где мы заплутались, упустив нитку дороги. Мы стали спрашивать прохожих, где живет Юхан Борген. В Осло городок Фредрикстад казался столь приближенным к писателю и столь малым, захолустным по сравнению с его всесветной славой, что мы полагали: достаточно добраться сюда, и дело сделано.

Ничего подобного. Маленький Фредрикстад, предлагающий своим обитателям множество до отказа набитых магазинов, прекрасный парк и летнее кафе при нем, рестораны, бары, кино, бензозаправочные станции и все, что требуется для работы и быта, а завершившим земной путь — влажное, тенистое, кощунственно соблазнительное кладбище, не считал себя довеском к чужой славе и, утверждая свою независимость, упорно отказывал нам в нужной справке. Наконец мы сообразили спросить об острове Асмалене, и тут какая-то сердобольная душа снизошла к нашим мольбам. Резко кину-

ла направление загорелая рука, простуженный морской голос добавил ориентир: проехать шесть мостов.

Мы выкрутились из узких улиц и принялись отсчитывать мосты то ли через реки, то ли через щупальца фиорда. И на одном, самом широком и длинном мосту нас остановила застава — пришлось уплатить «мостовую» пошлину. Опахнутые веем средневековья, мы выложили сорок пять крон, за что получили карту местности и возможность двигаться дальше, к новым мостам, свободным от застав.

Нас было четверо: мой московский друг, правивший машиной, преподаватель Ословского университета, любезно взявший на себя роль переводчика, его сын, студент медицинского института, и я. Каждый из нас старательно отсчитывал мосты, но цифры почему-то не сходились. Километры наматывались на колеса, и неуверенность наша все возрастала, но отступить было некуда. Мы продолжали мчаться вперед, а вода то подступала широким разливом и едва не заплескивала на шоссе, то съезживалась в ослепительные пятки и ленты. И вдруг воды не стало, дорога уцепилась за обрывистое подножие каменистого кряжа в зеленых и бурых, с красной искрой лишайниках. Два-три витка, и впереди вновь простерлась вода — широкая и спокойная. Из нее выгорбились гранитными спинами острова. Хрипатый житель Фредрикстада не обманул нас, где-то тут укрылся Юхан Борген, но нам никогда не добраться до него, нельзя же верить тоненькой питочке еле слышного телефона. Я забыл, что в Норвегии, коль тебе посчастливилось о чем-либо договориться, недоразумений не бывает.

Машина остановилась на краю берегового откоса, под которым находился деревянный причал. И тут же из серповидного ботика с высокими бортами и круто задраным носом поднялся молодой человек в старой кепке, кидавшей тень на загорелое лицо, ловко прыгнул на берег, в несколько рывков одолел кручу и подошел к нам, уже издали протягивая за-

грубелую руку. С красно-загорелого, обветренного лица растерянной, беззащитной, какой-то раненой добротой глянули ярко-голубые лучащиеся глаза. Я пожал его крепкую руку, поймал свое отражение в глубине раненых глаз и что-то с болью понял.

Сойти в колеблемую волной лодку с высокой пристани было делом нелегким, но мускулистая рука Боргена-младшего помогла нам справиться с этой задачей. Взревел, играя в ярость и силу, старенький мотор, расположенный не на корме, а посреди ботика, и мы затрюхали по мелкой зеленоватой волне к ближайшему острову. Три гуся прошли над нами, вытянув шеи, будто всматриваясь в далекую маящую цель и согласно взмахивая широкими крыльями. С их мощно-плавных крыльев низошла великая тишина. Я вдруг заметил, как тих нетронутый мир: он не гудит, не скрежещет, не визжит, не вопит, в молчании свершает свою серьезную жизнь. Молчаливы вода и небо и поросшие молчащими деревьями берега. Тут и мы, суматошные, источающие столько ненужного шума людишки, включились в благостную тишину, заглушив мотор и продвигаясь к причалу — дощатому настилу на сваях — одной лишь силой разгона. И мягко прибортились...

На каменистом острове, на самом его взгорбке, стоял большой деревянный дом; худенькие ветлы и низкие, приклоненные сосенки не давали ему ни тени, ни защиты от ветра, да, похоже, дом и не нуждался в этом, привычно и легко напрягаясь против стихий своими терпеливыми ребрами. Позже мы обнаружили, что жилище Боргенов состоит из двух домов: старого, более чем столетней давности, и пристроенного к нему молодого дома, но от причала зрелся лишь старик, выбеленный ветрами и солеными заплесками, будто поседевший.

Вверх по узкой тропке, навстречу истошному лаю, пичуть не мешавшему тишине, лишь подтверждавшему ее гулкую емкость, навстречу поднявшейся с камня молодой смуглой и

черноволосой индианке в чем-то ярко-желтом. И не уловить было, как произошло ее превращение в пожилую норвежскую женщину с двухцветными волосами, рыжеватыми у корней по широкому разлому двух жестких угольных крыл, с цепким, вбирающим взглядом и спокойной складкой темных губ. То была жена Юхана Боргена Аннемарта, уроженка заполярного города Буде.

Я пожал небольшую, по-мужски твердую руку Аннемарты, в разрезе вязаной кофты, на смуглом подъеме груди покоилось украшение из бус, колечек, разноцветных камешков. «Здравствуйте, — сказала она и тут же спросила: — Так?.. — И, получив подтверждение, что именно так: — Я учила русский. В Осло. Все забыла». Ее низкий надежный голос звучал приветливо, но большое, свободное лицо сохраняло хмуроватую серьезность, не корчась в любезных улыбках. Эта женщина привыкла воспринимать жизнь как долг и заботу и не тратила себя ни на пустые условности, ни на преждевременную самозащиту. Она не приспособливалась к новизне и не боялась ее. И мне вдруг перестало пахнуть нефтью.

Только сейчас я понял, что в этот приезд в Норвегию мне все время пахло нефтью. Ею пахли разговоры и споры, в которых слово «нефть» даже не произносилось, поведение самых разных людей, не имеющих ни малейшего отношения к нефтедобыче, сместившаяся в сторону отчуждения повадка иных знакомых и даже тех, кого я считал друзьями, пахли море и суша, и сквозь плотный аромат пышных столичных сиреней едко тянуло нефтью. Утверждения, доводы, надежды, апломб — все пахло жирной переливчатой жидкостью — черной кровью современного мира.

А здесь пахло — немного морем, немного пагретым камнем и очень сильно — освобожденным от корысти достоинством человека. Аннемарта посетовала, что лето в нынешнем году безбожно опаздывает и мы не услышим запаха даже самых ранних слабых роз. В ее розарии, разбросанном вокруг

дома по всему участку, более семидесяти сортов. Розы собраны на клумбы и гряды, их кусты окружают дом с четырех сторон, образуют аллейки в саду, прячутся за деревьями и хозяйственными постройками, и все роскошество — на тонкосеньком, в несколько сантиметров, слое родящей почвы, под которой камень. Это какая-то разновидность гранита. Он — всюду, куда ни кинешь взгляд. Им сложены папирающие на участок горные склоны и круча береговой пади, он обнажается меж огородных грядок и кустов, у подножий деревьев, под дверным порогом.

Камень царит в просторе. А точнее, тут троецарствие: камень, вода, небо, совсем как на пейзажах Рокуэлла Кента, только без его резкости и контрастности. Здесь все мягче, переходчивей, слияншей. Деревца, кусты, цветы, мхи зрятся лишь в приближении, как сквозь луну, взятый же нацелью простор являет очарование чуть размытой лунной паготы.

Захлебистый лай преградил нам подход к дому. Но напрасно сдержали мы шаг: собаки исходили обороняющей яростью в загоне из железной мелкоячеистой сетки. Черные, короткая шерсть дыбом на загривке, с лисьими, только чуть более тупенькими мордами, они принадлежали к той чудесной породе, которую в Скандинавии называют «перекресток дорог». Но Аннемарта, будто разгадав мои кощунственные мысли, самолюбиво сообщила, что тут слились весьма аристократические крови. Хозяйка отпахнула дверцу: черный, визжащий, рычащий клубок выкатился из загона и распался, превратившись в трех добрячек. Маму звали Шальме, дочерей — Куре и Вире. Шумная компания скрылась в доме, а я задержался. Мне почему-то захотелось побыть одному. Тем более что Аннемарта предупредила: Борген выйдет немало позже, ему с утра недужится — сердце. Я слонялся по участку, узенько втиснувшись между горным склоном и обрывом. Каждый клочок земли среди валунов, гранитных выбросов, хрящей и камешков понужден растить что-либо:

розы, тюльпаны, весенние крошечные астры, кусты краснопотла и шповника, сосны, березки-кривулины, ивиак, какие-то овощи. Там и тут, в прислон или в лежку, — сельскохозяйственные инструменты; кирки, мотыги, лопаты свидетельствуют, как нелегко извлечь зеленую жизнь из здешней почвы. Весь отвоєванный у тверди участок в протяженности и ужине своей с трогательным тщанием обуочен. Видать, жена и сын любовно потрудились для Юхана, чтобы ему хорошо и удобно было в своем уединении. Деревянный столик со скамейкой под ветлами, диванчик и креслица в кустарниковой тени, другой диванчик на пестрашном здесь, в морской остыни, солнечном припеке, близ роз и тюльпанов; гладкий чурбачок, пригодный для передыха, с края огорода, охраняемого от птиц насаженным на шест черепом. Тут же валяется отбитая фарфоровая головка куклы — след неведомой мне жизни этой семьи. Но праздных, случайных предметов мало, все нужное: пластмассовые канистры, машина для стрижки газона, свернувшийся змеей поливальный шланг, садовые пожницы.

Таким же насыщенным до предела оказался и самый дом. Едва переступив порог, я понял, что не квартира в Осло, а эта островная хижина является главным обиталищем писателя. Борген, знать, не из тех, кто равнодушен к бытовому наполнению жизни, к предметным знакам минувшего. Дом набит старинными вещами, фотографиями, картинами, рисунками, вышивками, какими-то странными композициями из тканей (автором оказалась Аннемарта), поделками народного искусства; мебель большей частью старая, из чистого природного дерева, не униженная полировкой, а если где и лоснится, так от долгой службы. И домотканые коврики, и шкуры, и всюду книги, журналы, газеты, какие-то проспекты, каталоги, — семья не исключает себя из современного мирового круговорота, просто живет наособь.

Борген не появлялся довольно долго. Хозяйка принесла несколько больших запотелых бутылок белого вина и разлила

по бокалам. Прозвучало традиционное норвежское «Сколь!», я отпил очень холодного, чуть горчащего бордо и поймал себя на мысли, что готов уехать, вот так уехать, едва прикоснувшись к быту Боргена и даже не увидев его самого. И дело было не в том, что лишь сейчас до меня дошло, насколько обременителен наш приезд старому и, очевидно, очень больному человеку. Ну что я, в самом деле, восторженный собиратель автографов и улыбок великих людей? Что может дать этот легучий визит, этот промельк в окне мчащегося поезда, кроме печали и разочарования? Нельзя же всерьез верить, что меня «осенит свет истины». Я увидел место, где текут дни старого писателя, заглянул к нему в дом, прикоснулся к вещам, окружающим его исстари, выпил ломящего зубы вина с его женой, поймал улыбку сына, так чего же еще надо? Теперь, когда я буду перечитывать «Маленького лорда» или знакомиться с новыми произведениями Боргена, сквозь строки будут светиться и этот каменистый остров в звоне несказанной тишины, и дикие гуси с вытянутыми шеями, и Шальме-Куре-Вире, и садик на камнях под стать японскому, и оторванная головка куклы, и рыжеватый пробор в угольно-черных волосах пожилой царицы роз, и глубже станет ощущение писателя — этого довольно. Оставить ему книжку, изданную в Осло, с доброй надписью, выпить последний бокал вина с Аннемартой и — по домам! Не надо вторгаться в тишину того, кто избрал уединение. Но было поздно. На пороге комнаты стоял Юхан Борген. Боже, как он ветх и худ, как обобран возрастом и болезнью!

Я осторожно пожал его теплую, сухую, почти невесомую руку. О, как грозно хрупка оболочка, приютившая такой могучий дар! Он довольно высок, но плоск и тонок, как травинка. Ему нельзя выходить на ветер, особенно когда злой порд пластает деревья на его участке. Если за ушами от старости глубокие провалы, в народе это называют «лошадиной головой». А чело высокое и чистое, и сквозь толстые стекла очков

лучатся небольшие светлые застенчиво-проницательные глаза. Уши с четкой лепкой раковин не прижаты к почти голому черепу, а жадновато сориентированы на собеседника. Глаза и уши писателя — соглядатая-слухача. Худая крупная кисть то и дело произвольно тянется к сердцу, пашаривая тревожащую боль под вязанным жилетом. Его неимоверную художбу облегают жилет и шерстяная кофта, старые брюки и клетчатая рубашка с широким воротом, застегнутым на пуговицу под слабым кадыком.

Часто улыбаясь запавшим ртом, Борген говорит, что рад нашему приезду. Очень рад и благодарен от души. Все идет по протоколу. Но с каким-то растерянным выражением он продолжает: его тронуло, смутило, обрадовало, но еще больше удивило, что писатель чужой страны захотел увидеть его и не поленился проделать такой длинный путь. Конечно, он не дипломат и несколько пересаливает, вернее, переслащивает. Я возражаю: нет ничего удивительного в том, что стремишься увидеть своего любимого писателя. «Но вот это меня и удивляет!» — засмеялся Борген и вытер очки. И тут пришел мой черед удивляться: Борген вовсе не платил дань вежливости, он на самом деле искренне и смущенно недоумевал, с чего вдруг кому-то понадобился. Подобная скромность, хоть и обескураживает, все же неизмеримо приятнее елейной спеси мэтра, списходительности старого мудреца и прочих ипостасей живого классика национальной литературы, с которыми я вполне мог столкнуться. Благодарный, я сказал, что вовсе не являюсь белой вороной среди моих соотечественников: на «Маленького лорда» в библиотеках всегда очередь. Борген шатнулся к книжной полке и безошибочно извлек том в черном переплете — «Маленький лорд» в издании «Прогресса». Большая полка была забита иностранными изданиями Боргена.

Он повертел в руках бедно изданный том, уважительно пошевелил изжелта-серые страницы.

— Значит, есть еще место, где меня читают. — И опять засмеялся.

Этот искренний, смущенный, какой-то детский смех включал литературное кокетство, и уж подавно не было в Боргене той сосущей неудовлетворенности, что отравляет дни и ночи причастных к непосильному делу литературы, даже самых взысканных славой, почестями, деньгами. Почти каждому писателю кажется, что ему недодали, ах как недодали по заслугам!

— А разве вас мало читают? — спросил я.

— В Норвегии?.. — Он посмеивается и гладит сердце, успокаивая, чтобы не рванулось прочь из грудной клетки. — Книги выходят — значит, раскупаются. Несколько тысяч экземпляров всегда разойдутся, хотя бы для того, чтобы занять место на полках. И потом — старики, пенсионеры, у них уйма свободного времени. Но ведь главный читатель — молодежь. Там другие кумиры.

— Какие?

Он посмеивается.

— Не знаю... другие.

— Кумиры на час?

Снова смешок. Борген слишком норвежец, чтобы злословить, кого-то осуждать.

Я знаю за собой свойство — выдумывать наперед человека, вместо того чтобы постигать трудным, долгим усилием, и иметь дело с таким вот выдуманным человеком, отменяя прочь все, что не сживается с заранее сочиненным образом. Но Боргена я не хотел придумывать и не стал этого делать, а зримый, он как-то не давался мне. Он говорил, посмеивался, смущался, лучился из-за толстых стекол искренней добротой, даже пил вино, поднося дрожащей рукой бокал к моему бокалу — стеклянные выпуклости соприкасались без звона, — и пригублял поплескивающую золотистую жидкость — словом, не только присутствовал, но и находился с окружающими.

ми в живом обмене и все же безнадежно ускользал от меня. И недобрый словом поминал я пресловутую норвежскую сдержанность, доведенное до абсурда чувство такта: только не навязывать себя, своих мнений, чувств, не быть в тягость, не подавлять избытком индивидуальности, а смазаться, раствориться в облачке неопределенной благожелательности, дающей полную свободу другому, другим. А мне не хотелось этой свободы, мне хотелось зависимости от Юхана Боргена. Видит Бог, я уже любил его — не за «Маленького лорда» и не за старую Лиз из дивного рассказа об одиночестве, а просто любил — его старое лицо, благородную округлость черепа, его бледные руки, милую худобу, улыбку, очки, застенчивый смешок. А он упорно не хотел уловить чужую душу, в нем не было ничего от проповедника, пророка, учителя, провидца, носителя истины, ничего толстовского.

...Почему-то заговорили о путешествиях. Я спросил Боргена: много ли он путешествовал?

— О нет! Куда меньше, чем хотелось бы. Когда были силы, не было денег. Теперь есть деньги, но нет сил. Конечно, я кое-что повидал... И в Старом, и в Новом Свете, даже в Африку забрался. Это были скорее странствия, нежели путешествия.

— А похожи норвежцы на японцев? — спросил я, усугубляя дурь вопроса скверным английским произношением.

— Я как-то не думал над этим. Наверное, похожи.

— В самом деле?

— Норвежцы немножко похожи на шведов, датчан, исландцев, финнов, немножко на русских, немножко на американцев и англичан... Мне кажется, они немножко похожи на всех людей в мире. Так зачем же исключать японцев?

Ответ оказался умен не по вопросу.

— А ездить и видеть мир — счастье, — сказал Борген, чуть приоткрывая створку раковины. — Особенно если можешь любить города, как людей. Вы можете?

— Кажется, могу.

— Ах, как я люблю Париж, Лондон, Копенгаген, Рим, Афины, Лос-Анджелес, Каир!.. — Он боялся пропустить хоть один любимый город. — Но сейчас они кажутся мне призрачными, как будто я придумал, что бывал там... Как будто я вообще придумал их.

А ты, видать, не так уж счастлив на своем острове! — вдруг понял я. Видимо, порой мне удавалось настраиваться на его волну. Вот и сейчас я знал, что он ускользнул из настоящего, затерялся где-нибудь в Копенгагене или Лос-Анджелесе своей молодости, и мой вопрос грубо втащил его в действительность, но он подавил в себе чувство жалости: нагретится вдовсталь, когда я уеду.

— «Маленький лорд»... это о себе?

— Конечно, — сказал он как о чем-то само собой разумеющемся.

— Но в конце... вы же ненавидите своего героя?

— Это в порядке вещей. Только себя человек умеет по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть.

— А как надо понимать, когда он голый, окровавленный бежит от разъяренной толпы? Как метафору, как истинное, хотя и не укладываемое в трезвом сознании происшествие, как сон, как кошмар дошедшего до абсурда страха перед расплатой, не столько даже за содеянное, сколько за предстоящее?..

— Но ведь все это одно и то же, — сказал Борген рассеянно, — поскольку безразлично по сути дела. И потом, так ли четка грань между тем, что случилось, и тем, что могло случиться? Адам в яви или адом в душе? Важно, что он это пережил: голый и беззащитный перед толпой, голый трус, голый беглец, он, считавший себя неуязвимым.

— А его приход к фашизму?..

— Это предостережение среде, порождающей людей с гипертрофированным «я». Но вообще... тут сложнее. Нельзя считать, что он стал убежденным фашистом. Он предает свой народ, но предает и гитлеровцев. Понимаете, в какой-то мо-

мент человек обязан сделать окончательный выбор, решить для себя, с кем он. А Вилфред с его ненавистью к людям и страхом перед ними этого выбора так и не сделал. И погиб.

— Нелегко, наверное, писать такой роман!..

Взгляд Боргена за очками напрягся.

— Когда я его кончил, у меня дергалась голова, дрожали руки, пропали сон и аппетит. Знакомый невропатолог сказал, что это от перенапряжения, что я слишком сильно пережил свою книгу... — И вдруг от глаз к вискам разбежались лучики, он беззвучно рассмеялся. — Но другой невропатолог авторитетно заявил, что все дело в белом сухом вине, которым я злоупотреблял. Ваше здоровье!..

Я понял, что он больше не хочет говорить о своем романе. И тут, весьма кстати, нас позвали к столу. За завтраком, состоявшим из омлета, черной, сухой, рассыпчатой, как дробь, норвежской икры, окорока, салата, масла и хлеба, под то же холодное бордо, разговор, как и обычно в застолье, двигался скачками — от одного предмета к другому вроде бы без всякой связи, но какая-то внутренняя логика в нем все же была. И не случайно подвернулся нам Кнут Гамсун, оказавший большое влияние на всех норвежских писателей, в том числе и на Юхана Боргена.

Б о р г е н. Я видел Гамсуна лишь однажды. Мы куда-то шли. Разговаривали, молчали. Что-то промелькнуло, не помню что. Я выпнул блокнот и сделал заметку. И тут же Гамсун принялся мне выговаривать: мол, это все равно забудется, только завершенной, отделанной фразой можно сохранить образ явления, вещи. Если вы не доверяете своему воображению, его способности создавать что-то из пустоты, остановитесь и постройте фразу. Фраза — сачок, а ваша закорючка ничего не удержит.

Тут было над чем подумать...

Вспомнили о великом норвежском художнике Эдварде Мунке, чьи полотна украшают стены дома. Борген хорошо знал художника, дожившего до глубокой старости.

Б о р г е н. Мунк никогда не был сумасшедшим, сколько бы ни утверждали обратное.

К т о - т о и з с о б е с е д н и к о в. У него есть автопортреты, написанные в сумасшедшем доме.

Б о р г е н. В сумасшедшем доме он скрывался от сумасшествия так называемого нормального мира, отдыхал среди корректных профессионалов от раздерганых дилетантов безумия.

...Чувствовалось, что Боргену все труднее становится поддерживать беседу. Короткий завод кончился. Он что-то клевал, как птица, с тарелки, подносил бокальчик к губам, но куда чаще тянулся левой рукой к сердцу.

И, ловя последние мгновения, я спросил:

— Что вы сейчас пишете?

— Ничего. Если не считать коротких рецензий для газеты.

— Но почему?

— Устал... Болен. Да и кому это надо? — Он улыбнулся, затем спросил: — Как вы относитесь к радиотеатру?

Я пожал плечами:

— Сам не знаю... Хорошо, наверное.

— Стоит писать радиопьесы. Их слушают в деревне. Телевидение не совсем еще подавило радио. Его слушают в сельских местностях, особенно на севере, в рыбацких поселках.

Приверженность Боргена к радио я понял, когда, встав из-за стола, мы обменялись книгами. Его последний сборник, который он мне подарил, включает наряду с рассказами радиопьесу. Он сетовал — если только это слово подходит к покорно-иронической печали, звучащей в его словах, — на охлаждение к нему современного читателя, радио дало ему новую связь с простыми людьми Норвегии, которые не покупают книг, но в своей глуши жадно ловят радиопередачи.

— Юхану надо немного полежать, — сказала Аннемарта. — И он снова выйдет. А мы пока пошьем вино во дворе.

И, подавая пример, с полным бокалом направилась к дверям. Борген улыбался, румянец сплел паутинку на бледных щеках, он как бы просил извинения за свою слабость. Потом повернулся и, прижимая к впалому животу мою пестро одетую норвежскую книгу, зашаркал в глубь дома.

Провожая Боргена взглядом, я чуть задержался, и, когда вышел, во дворе уже составились прочные группы: переводчик чокался с Аннемартой, его сын разговаривал с мастеровившим что-то у сараюшки Боргеном-младшим, мой друг дразнил Шальме, Куре и Вире, вновь загнанных в свое проволочное псовище. Я выбрал пару: фру Борген — переводчик и присоединился к ним.

— ...да, на мотоцикле, — говорила Аннемарта, прихлебывая вино. — Его склеили буквально из кусков. Но то рука, то голова... Десятки операций, даже в Англию возили, ничего не помогало. С учебой, конечно, было покончено. Это длилось годы. А потом как-то выправился, только стал очень добрым, слишком добрым, невозможно добрым, как Христос. Готов все с себя отдать. Он не может владеть тем, чего нет у другого. Вот и живет при нас.

Она говорила о сыне. В своей драпешной тужурке, запыленных брюках и насунутой на нос кепчонке он усиливался против какой-то хозяйственной железяки, которую требовалось согнуть, в тени наклонившегося над ним рослого, красивого сына переводчика. Улыбка безмерной, безысходной доброты искажала его черты почти что гримасой страдания — ему печего было отдать собеседнику. Хорошо же устроен мир, если человека, единственный изъян которого — доброта, нельзя отпустить с отчего порога. Но ведь так было всегда. Боргены сделали правильный вывод из скорбного примера плотника Йосифа и жены его Марии, не удержавших сына возле пахучих стружек и теплого хлеба.

Внезапно появился Борген с моей книгой в руке.

— Ты уже встал? — удивилась жена.

— Нет, еще не ложился... Я прочел предисловие. — Он многозначительно посмотрел на меня, покивал головой, улыбнулся — у сына была отцовская улыбка, только доведенная до критической черты, — повернулся и побрел прочь.

Утих даже тот слабый ветерок, который мышью шуршал в кустах, траве, каменистой пыли. Совершенная, хрустальная тишина повисла над всем оглядем: водой, скалами, грядой островов. Бесшумно палетели чайки, покружились над домом и сгнули, как растворились в пустом воздухе. Потом в бесконечной выси два коршуна стали низать олимпийские кольца, и вдруг один из них, что-то высмотрев, косо, через крыло заскользил вниз.

И заскользили мои мысли вкось всего, что уже думалось и соображалось в последние дни. Борген мало сказал о своем романе и почти ничего о своей стране. Но неужели я всерьез рассчитывал постичь в коротком разговоре чужую древнюю страну? Да знаю ли я свою собственную страну, с которой мучаюсь общей мукой вот уже скоро шесть десятков лет? Ну а узнал ли я что-нибудь о самом Боргене? Может быть, что-то и узнал, сразу не понять. Да и надо ли понимать? Разве очарование человека не важнее всех головных построений?..

Так утешал я себя, предчувствуя то горькое ощущение упущенных возможностей, какое наверняка заточит мне душу, как только мы расстанемся с Боргеном.

А он опять появился, цепляя землю ногами. Усталость высосала лицо. Наш приезд выбил его из привычного режима, разволновал, лишил необходимого отдыха.

— Я прочел первый рассказ, — сказал он мне приглушенно-значительным тоном заговорщика.

Но нам не удалось развить наш маленький заговор против тех, кто не пишет рассказов и не читает их т а к. В голосе фру Борген пророкотала надвигающаяся гроза.

— Иди отдыхать, Юхан!

— А вы не уедете? — спросил он жалобно.

Но теперь мы поняли, что должны уехать сразу, иначе они не угомонятся.

— Нам пора. Спасибо за встречу.

— Это я должен вас благодарить.

Его легкие руки в моих руках. В Норвегии не целуются с посторонними, не знаю, целуются ли с близкими. Я просто держу в своих ладонях эти невесомые, худые, милые руки, просвечивающие розовым, как фарфор, меж тонких пальцев. Его рот слегка шевелится, будто разминает какие-то слова, которые все равно не будут произнесены вслух: ведь маленького Юхана, как и всякого норвежского ребенка, научили не выдавать своих чувств. Мне было грустно, разве мог я предполагать, что в недалеком будущем узнаю, о чем молчал тогда Юхан Борген.

И он уходит. И вот уже скрылся в доме. И какая настала тишина!..

Никому из нас не выпало вульгарной участи первому нарушить эту великую тишину. Произительный свист рассек мироздание, вслед за тем низвергнулся чудовищный, сминающий душу грохот, и все вокруг, и мы сами превратились в безобразный, отвратительный грохот, несовместимый с достоинством места: тихими водами и немым камнем. Три сверхзвуковых истребителя с расположенного поблизости натовского аэродрома стали выписывать тренировочные круги, нагоняя собственный, сильно отстающий грохот. Не было тишины и у этого затерянного уголка земли, не было тишины у Боргена.

И прощались мы с Аннемартой под ломивший уши, высасывающий сердце и обеззвучивающий речь, с ума сводящий шум. Борген-младший звал нас улыбкой в путь. Аннемарта величаво опустила на пригретый солнцем камень с палитой всклепьюшкой в руке, и не успели мы достичь причала, как вновь обернулась черной, смуглой, недвижимой, будто изваяние, индианкой, колдуньей — хранительницей мало-

го, истребленного племени, противопоставив грозному шуму тишину каменной неподвижности и порядка в себе самой. Мы махали ей, но разве отзовется изваяние?

При расставании на том берегу молодой Борген мучился, чем бы нас одарить. Но ничего не было, и он сказал прощально:

— Приезжайте на будущий год, уже отменяют мостовую пошлицу.

Все-таки он исхитрился подарить нам сорок пять кроун...

Я еще оставался в Осло, когда пришло письмо от Боргена на имя переводчика, но адресованное всем нам. Письмо удивительно трогательное и грустное. Я все-таки не понимал до конца, как искренен Юхан в каждом слове и как он одинок. «Я испытываю страшное чувство, когда находятся люди, рассматривающие меня как лицо, имеющее какое-то значение, — признается всемирно известный писатель. — Поэтому мои ответы на задаваемые вопросы бывают так бессодержательны». И он корит себя за «неуклюжесть и недостаток умственной гибкости» — это Борген-то, один из умнейших и образованнейших прозаиков века! Если б за этим была лишь преувеличенная скромность деликатной и стыдливой души! Но все куда печальней. Ледяной ветер одиночества... нет среды, нет единомышленников, нет веры, что твое дело кому-то еще нужно. И прошлое, которое было таким наполненным, живым, гулким, представляется сном. «Я объездил много стран, выступал с чтением своих рассказов, играл на сцене и даже читал лекции, сейчас все это кажется не бывшим или принадлежащим совсем другому человеку».

Почему современники так неблагодарны, так жестоки к своим певцам? Почему торопятся воздать холодом, равнодушием или подчеркнутым пренебрежением за бывшее поклонение, славословия, упоенность? Не спешите, старые песни нередко оживают и опять ширят душу и ведут в бой, в то время как новые, что пьянят сейчас, оборачиваются немотой.

Будьте же, люди, добрее и терпеливей к тем, чьими сердцами вымощены дороги веков.

«Я сам удалился от всего того, что называют литературными кругами. Но в действительности изоляция совершилась задолго до того, как мы покинули Осло и весь свет. Издавна любимые мной города кажутся призрачными. И вдруг все это оживает, становится близким благодаря короткой двухчасовой беседе. Какой благодатный толчок». И еще Борген называет нашу встречу «стимулирующей», ведь он узнал, что его читают и любят.

Почему-то я рассматривал свидание с ним лишь со своей точки зрения: что даст оно мне. Я заранее исключал, что и для Юхана Боргена это может что-то значить. Наверное, я тоже скромный человек. И то, что получилось из этой встречи, куда больше и важнее моих бедных расчетов.

И особенно радостно: Борген ощутил прирост энергии, ему захотелось действовать, бороться. «Пора уже сделать что-то с нашими чересчур скромными знаниями о русской, точнее, советской литературе... У меня часто бывает такое ощущение, что там (имеется в виду газета «Дагбладет», где сотрудничает Борген. — Ю. Н.) ко мне вежливы просто как к ветерану. Тем не менее я постараюсь сделать все в этой области, насколько позволит мне остаток моих сил».

Прекрасное намерение, но еще лучше — пробудившееся в нем желание писать. Ради этого стоило платить пошлину не на одном, а на всех шести мостах, что сцепляют дорогу, ведущую из норвежской столицы к месту его добровольного изгнания.

Голландия Боба ден Ойла

Литературный портрет



Недавно я обнаружил миновавший меня каким-то образом номер «Иностранной литературы» за 1975 год. Я получаю журнал по подписке и всегда внимательно просматриваю, а этот номер не был на глазах. Потом я вспомнил, что в пору его выхода находился на БАМе, журнал, верно, куда-то запропастился, а в нужный срок сам пришел в руки. Так нередко бывает с пропавшими вещами. Схоронившись невесть где в обжитом, лишенном укромий доме, они сами выбирают момент для возвращения.

Листая журнал, я наткнулся на фотографию человека средних лет с вытянутым лицом, большим, тяжелым носом, слабым ртом, изломанными бровями и длинными баками. Рядом крупным шрифтом его имя, звонкое, как цокот копыт по мостовой: Боб ден Ойл. Писатель был представлен циклом рассказов, первый назывался «Крабы в консервной банке». Название мне понравилось.

Я не принадлежу к всеядным читателям, которые, словно осы на варенье, пабрасываются на каждую журнальную публикацию, на каждое новое имя. У меня первое движение — отгородиться, защититься от неподготовленных, необязательных впечатлений, которые чаще всего по-пустому отни-

мают время и душевные силы. А и того и другого осталось не так много. За прожитую жизнь скопилось немало книг, которые хочется вновь и вновь перечитывать.

Мне кажется, что у определенной возрастной черты, если книги для тебя не просто заполнение досуга, не развлечение вроде телевизора, надо ставить дверь на запор и новых посетителей либо вовсе не впускать, либо — по самому строгому отбору. В одном Пушкине таятся такие глубины, что не хватит жизни добраться до дна. И все же трудно писателю решиться на это справедливое дело, ведь надо знать, что делается в литературе, и не из праздного любопытства и самолюбивого беспокойства, а ради профессиональной ориентировки: как и какими средствами отражается миг сегодняшнего бытия в искусстве, чьим материалом является слово.

Где взять на все время? И поневоле задумаешься: не лучше ли еще раз перечитать «Смерть Ивана Ильича», «Лику», «В сторону Свана», чем тешить беса любопытства новым романом модного автора или рассказами таинственного незнакомца.

Вот почему я колебался: открывать ли консервы Боба ден Ойла или перемочь пробудившийся интерес. И тут я впервые задумался над тем, что почти не знаю голландской литературы. Ну, в отрочестве мне попадались романы популярного в двадцатые годы Мультатули, после войны я читал «Рыжеволосую девушку» и «Рембрандта» Тонна де Фриса, а что еще? Потрясающий дневник Анны Франк — больше чем литература. Тиль Уленшпигель изъят из тьмы веков пером бельгийца Шарля де Костера, хотя исторически он принадлежит Голландии в такой же мере, как и Бельгии.

Были еще «Серебряные копытки», на которых воспитывалось мое поколение, но написана эта книжка канадской писательницей. И слабо светит в памяти хрестоматийный голландский мальчик, который заткнул пальцем прохудившуюся плотину и тем спас свой край от затопления. Небогато!

Мое представление о Голландии создано не книгами, а великой живописью Иеронима Босха, Брейгеля, Вермеера Дельфтского, Франса Хальса, чудесных жанристов во главе с Остаде и Терборхом, мастеров натюрморта во главе с печально-изысканным Хедой. Я сознательно не назвал здесь Рембрандта. Несравненный, он не идет в строку, не ложится в перечень. Уверен, творец довольно потирал ладони и поздравлял себя с удачной мыслью завести хозяйство: небо и землю, твердь и воды, растения и животных — и увенчать творческий взлет сотворением по образу и подобию своему Человека, когда зажатая в твердой руке кисть Рембрандта вдохновенно билась в тугое натяжение холста.

Чувство вины перед голландской литературой решило дело: я стал читать Боба ден Ойла, и это оказалось превосходным чтением. Признаться, от человека, каким он выглядел на фотографии, я ожидал благопристойного реалистического, весьма заземленного письма. Я попал в полупризрачный мир не голландской даже, а общечеловеческой обыденности, которая вдруг взрывается вторжением некоего малого обстоятельства, настолько невероятного, необъяснимого и произвольного, что мысленно пасуешь перед ним и принимаешь безропотно. В данном случае такой вот малостью оказалось внезапно изменившееся выражение лица мелкого служащего очень большой и важной компании, производящей консервы из крабов, Яхека — имя какое-то неупругое, дряблкое — произносишь, и будто вата под языком.

Этот Яхек брился перед уходом на работу и уже стирал остатки пены со щек, как вдруг с ужасом обнаружил, что его безвольный, неправильной формы рот скривился, от чего лицо стало жестоким, безжалостным и решительным. И что бы ни делал бедный Яхек, он не мог вернуть своим чертам прежнее выражение бессильной доброты, столь соответствующее его внутренней сути.

И начинается фантасмагория. Кроткого Яхека вовсе не радует гримаса силы, исказившая его черты. Ему, чуждому

всякого честолюбия, и в голову не приходит, какие преимущества можно извлечь из угрожающе и презрительно опустившегося уголка рта. Но окружающие не остаются слепы к перемене, происшедшей в облике конторского мышонка. Наглые и бесцеремонные, они склоняются перед знаком грубой, ни с чем не считающейся силы. В мире мнимых ценностей, в мире, где все измерено ложной мерой, взвешено на врущих весах, легко проходит любая подделка (в данном случае вовсе не преднамеренная). Люди вокруг Яхека так слабы, так не уверены в настоящем, а пуще того — в будущем, так непрочны, не защищены, так не соответствуют — в большинстве своем — занимаемому положению, что готовы склониться перед каждым, в ком видят в л а с т ь. Язвительно-волевой рот Яхека обманывает и приводит к покорности не только сварливую хозяйку мебелишек мефру Камер или склочного соседа, но и служебных боссов: от заведующего отделом рекламы Фоогта до менеера Таке, одного из зачинателей дела. Последний давно спился, выжил из ума, но с ним считаются, ибо Таке владеет значительным пакетом акций. В деловом отношении этот старец такая же мнимость, как Яхек в роли руководителя отстающего филиала компании, а именно на этот высокий пост прочат «волевого человека». И быть бы Яхеку полномочным представителем компании в той африканской дыре, где «обленившиеся негры» не хотят набивать крабами консервные жестянки, не вмешайся случай, абсурд — главная движущая сила мира героев ден Ойла.

Очарованный Яхеком, менеер Таке, явный маразматик и тайный алкоголик, напивается с ним в своем кабинете, на верхнем этаже небоскреба. Он приобщает нового друга к любимейшей ему забаве: кидать из окна окурки на головы прохожих. Яхек, непривычный к вину, к тому же почуявший в себе властелина чужих судеб — отравы проникла в жидкую кровь маленького человека, — охотно включается в дурацкую игру. В какой-то момент, слишком увлекшись и забыв об ос-

торожности, оба вываливаются из окна и «вместе начинают свой последний бросок в глубину, вслед за окурками».

Так плачевно заканчивается история неудачника, на миг приблизившегося к власти и успеху. Не по плечу это яхекам — пылинкам больших городов.

Меня всегда интересует элемент личного в произведениях писателя. Не примеривал ли к себе, пусть безотчетно, подсознательно, Боб ден Ойл судьбу Яхека, не мечтал ли о малом чуде, способном сделать сильным в этом жестком мире человека с добрым, слабым ртом и ранимой душой художника? Трудно судить всего лишь по трем рассказам и анкетно суховатым сведениям, которые приводятся в конце журнала, в справке об авторе. В скупых строках возникает образ завидного литературного благополучия: первый же сборник рассказов Боба ден Ойла отмечен премией Амстердама как лучшее прозаическое произведение года, следующий сборник — премией Анны Пальмен, гордости голландской литературы. Ох уж эти литературные премии — как часто флером ложного преуспеяния обволакивают они образ и судьбу писателя!

А мне не верилось, что Боб ден Ойл благополучный человек, и даже утверждение — в справке — о повышенном и лестном внимании к нему голландских критиков не могло меня переубедить. Почему-то казалось, что этот лауреат и любимец критиков не раз мечтал проснуться с чужим лицом. Но неизменно видел в зеркальце для бритья лишь грустный расплыв мягкого рта, скорбный взлом бровей, и, верно, тогда, чтобы освободиться от смешных надежд, он создал мелкого служащего Яхека, завершившего головокружительным сальто-мортале невольную попытку зажить в чужой шкуре. В этом абсурдном на первый взгляд рассказе очень мало абсурдного, ведь опустившийся уголок рта — лишь символ многих и разных возможностей, равно безнадежных, пробиться в сильные мира сего. Но тому, кто не принял причастия дьявола, путь во власть имущие заказан.

Здесь использован очень распространенный сегодня прием в западной литературе: всего лишь маленькое смещение в сторону от реальности, одна-единственная невероятность, вторгающаяся в нормальное буржуазное бытие, — и сразу обнаруживается тщательно убранный с поверхности абсурдность этого бытия, чудовищность как будто бы вполне обыденных характеров, шаткость, непрочность мнимо незыблемых устоев и общепринятых норм.

Мне думается, приемы условно-фантастического, абсурдного, невероятного в литературе особенно хороши, когда надо оживить выдохшихся героев и замученные многими писательскими поколениями темы. Слабовольный, забитый маленький чиновник Яхек — это все тот же бессмертный Башмачкин, притащившийся — не за своей ли шинелью? — из старого Петербурга в современную Голландию. Из гоголевской «Шинели», принято считать, вышла вся русская литература девятнадцатого века. Рассказать о Башмачкине сегодняшнем, не перепевая Гоголя, не вгоняя читателя в зевоту, можно лучше всего с помощью фокуса, резкого острашения темы и образа. Бобу ден Ойлу этот фокус подсказало зеркало, ежеутренне отражающее невыносимую деликатность черт тихого, небойцового человека.

Отлично придуман и отлично выполнен другой рассказ Боба ден Ойла — «Человек без стадного инстинкта». Пассажирский самолет компании «Эр Франс» совершил вынужденную посадку во льдах Гренландии. Рассказчик, человек без стадного инстинкта, уверяет, что иначе и быть не могло, потому что «французские самолеты никуда не годятся», да и чего можно ждать от пилота «с внешностью киногероя тридцатых годов»? Радист погиб, радиоаппаратура вышла из строя, но взгляды потерпевших — покорного человеческого стада — по-прежнему с надеждой обращены к портачу пилоту, который без тени вины или смущения заявляет, что берет на себя ответственность за их целостность и сохранность. Рас-

сказчик с нетерпением ждет, когда командир изложит свой план, чтобы поступить наоборот. Пилот осрамился, проявил полную несостоятельность; очевидно, столь же бездарным и губительным будет он и в роли спасителя. Отсюда — сделай прямо противоположное тому, что хочет он, и ты уцелеешь. Логично? Да. Абсурдно? Да. Пилот решает, надо пробираться пешком через ледяную пустыню. Значит, надо остаться у разбитого самолета и никуда не двигаться. Этот смелый вывод кажется настолько убедительным очаровательной Джейн, секретарше богатого старика американца мистера Лейна, что она остается с человеком, лишенным стадного чувства.

Очень и очень нелегко противостоять тому, кто наделен хотя бы призрачной властью, и покорно-агрессивному человеку стаду, превращающему мнимую власть в истинную, но рассказчик отважился и получил не только относительный комфорт самолетной кабины вместо ледяного ветра пустыни, но и доверчивое тепло милой девушки Джейн. «Чтобы не замерзнуть, мы все теснее прижимались друг к другу, и наконец я почувствовал, что мы обратились в единое целое». Похоже, он получил нечто большее, чем угрев.

А утром прилетел американский военный вертолет, и они были спасены. Но спаслась и та группа, которая послушно ковыляла вслед за пилотом по снежным увалам, — ее заметили с воздуха. Люди измучились, мистер Лейн был без сознания и не пришел в себя, когда его грузили в вертолет. Парадокс заключается в том, что спастись можно по-разному: и покорно следуя за стадом, и противопоставив себя ему. В данном случае второй способ кажется привлекательнее. Что касается Джейн, то, очнувшись, старый мистер Лейн простил очаровательной секретарше ее предательство.

Он лишь покончил навсегда с путешествиями. Джейн написала об этом приятном событии своему товарищу по несчастью, с которым провела тревожно-упоительную ночь.

Больше она не писала. Отсутствие стадного чувства — счастливое свойство, но его мало, чтобы привлечь к себе современную американскую девушку, нужны еще и деньги. Их-то у человека без стадного чувства как раз и не было. А у ничтожного старикашки Лейна были...

В ипой тональности выдержан рассказ «Убийца». Начинается он с того, что пожилой, усталый человек, выпивая у стойки неуютного кафе на неуютной, вечно захламленной Ионнхерестраат, вынул из кармана и положил на стойку револьвер вороненой стали. Поступок, согласитесь, требующий некоторых объяснений. И Серейн, так звали владельца револьвера, охотно дал их и встревоженному трактирщику (правильнее — бармену), и угрюмо всполошившимся посетителям.

Оказывается, он — профессиональный убийца. Занялся этим делом в Америке, куда эмигрировал в пору великого кризиса. Но в Америке тоже оказался кризис, и Серейну, любившему «хлеб с маслом», не оставалось ничего другого, как пойти в убийцы. Работал он на гангстерские шайки, устраивал неугодных. «Интересная, живая работа, — рассудительно говорит Серейн, — много свободного времени».

Его рассказ производит большое и чрезвычайно благоприятное впечатление на слушателей. Эти маленькие невзрачные людишки чувствуют себя приобщенными к таинственному, романтическому миру, не подчиненному обычным законам и правилам. Нравственное чувство онемело в добропорядочных обывателях, все с душевным сочувствием внимают отпощь не покающейся исповеди душегуба.

Заработав достаточно денег, Серейн вернулся на родину и после войны, которую скоротал почным сторожем в бюро выдачи продовольственных карточек, оказался перед выбором: как жить дальше. Военная дороговизна, инфляция съели весь его нажиток. И тут он вспомнил о своей старой профессии — делать труны за приличное вознаграждение, благо

в Голландии появился спрос на метких и решительных людей. К сожалению, тут нет гангстерских шаяк, располагающих деньгами и адвокатами, бедный убийца предоставлен самому себе и незащищен перед законом. Серейн нашел выход: он стал брать половину договоренной суммы вперед, а работу делать не до конца. Он выслеживал жертву, устраивал засаду, все честь честью, старательно прицеливался, спускал курок, но револьвер не был заряжен. От клиентов не стало отбоя, ибо каждый обманутый, изнемогая от злобы, снесил порекомендовать его другому нуждающемуся в услугах наемного убийцы, а тот, в свою очередь, — следующему. Оказывается, в тихой Голландии полно людей, которым необходимо избавиться от своих ближних. Вот и сейчас Серейн подстерегает престарелую чету. Волнение и восторг присутствующих достигают высшей точки — не каждый день выпадает удача наблюдать убийцу за работой. До чего же тонок моральный пласт в душах безобидных с виду городских обывателей! Все эти люди, грядущие за спиной Серейна, дышащие ему в затылок пивом и можжевелевой водкой, являются, по существу, сообщниками убийцы, ибо молчаливо желают ему удачи. Но они забыли, что револьвер не заряжен. И когда курок щелкает вхолостую, люди разочарованно расходятся по местам. Они ждали большего.

А Серейн мрачно смотрит на скучную, грязную улицу и тоскует по Америке.

Это страшный рассказ. И, дочитав его, я дал себе слово: коль мне придется быть в Голландии, обязательно разыщу Боба деп Ойла. Очень заинтересовал меня писатель, умеющий облекать жутковатые свои видения в строгую, изящную форму. А попасть в Голландию у меня была возможность с фильмом «Дерсу Узала».

И сбылись мои надежды: я в Голландии. Миновала премьера «Дерсу», и можно целиком посвятить себя Бобу деп Ойлу. А что мне придется его искать и, быть может, столь же

мучительно, сколь совсем недавно Юхана Боргена в Норвегии, для меня было ясно с самого начала. Голландские писатели, как оказалось, плохо знают друг друга.

— Боб ден Ойл? — чуть в нос проговорила маленькая Пенкала, автор содержательных книг о фарфоре, китайском искусстве и менее содержательных, хотя пользующихся спросом романов: о переселении души умершего Гитлера в попугая, о походе загадочной княгини Клептоманской. — Впервые слышу!

В свой черед, наконец-то извлеченный на свет Божий, Боб ден Ойл скажет:

— Как, как?.. Пенкала? Понятия не имею!..

А ведь не так уж необъятна современная голландская литература. Но нет интереса друг к другу. Каждый обвел себя невидимым кругом, куда допускаются лишь немногие. Нашей широты, чуть неразборчивой (и благословенной), нет и в помине. Никак не могу я привыкнуть к этой разобщенности западных людей.

Правда, все без исключения знают Гуго Клауса, автора скабрезных романов, недавно увенчавшего свою блистательную деятельность на пиве порнографии бракосочетанием с Сильвией Кристель, исполнительницей роли Эммануэль — героини серии одноименных секс-фильмов.

Кроме Гуго Клауса, на слуху еще три-четыре имени, но о литературе говорят мало, даже те, кто ее делает, о голландской тем паче.

К тому же Боб ден Ойл оказался жителем Роттердама, а между столицей, где я вел поиски, и крупнейшим портом Голландии (ныне, пожалуй, и всего мира) существует извечное соперничество, особенно усилившееся за последнее время, когда Роттердам так вырос, окреп и мощно погнал тоннели метро во все свои концы. Каково было слышать амстердамцам, что я разыскиваю роттердамского писачу!

Юные стажеры нашего посольства, будущие дипломаты, которые, как положено русским, всё читали и всё знали про голландскую литературу, в два счета нашли автора «Крабов в консервной банке» и доставили в мою «ставку» в Гааге.

Признаться, я ждал Боба ден Ойла с некоторым волнением. Одна фамилия чего стоит! Ойл — это сова, сестра ночи, с изжелта-зелеными прозрачными, слепыми днем и всевидящими во тьме круглыми глазами. Хищница с железными когтями, она избирает своим обиталищем старые заброшенные кладбища. Абсурдная птица!..

И прилетел Боб Сова в мой временный голландский дом, и обернулся человеком, таким высоким, что казалось, под брюками у него ходули, и таким худым, что в моей далеко не сентиментальной душе сразу поселился испуг — не унес бы его влажный ветер, обдувающий голландскую площадь, возникло желание защитить его, прикрыть, сберечь в мире, опасном, как передний край в час сражения. Ощущение непрочности Боба усугублялось быстрой, какой-то неуправляемой улыбкой, скорее гримасой слабости и доброты, возникавшей из его глубин вопреки отчетливо взятой установке на твердость, мужество и независимость. Он, конечно, очень добрый и наивный человек, что не мешает ни уму, ни проницательности, ни стойкости знающего свою цель таланта. Но это все отдается бумаге, а жизни — первая сторожкость оленя, растерянная улыбка и великое терпение бедняка.

Он беден в прямом, житейском, смысле слова, этот отличный писатель, беден посреди распухшей от изобилия страны. Литературный труд очень низко оплачивается в Голландии, он почти бездоходен, если ты не Гуго Клаус — этакий Санта-Клаус XX века с мешком, набитым непристойностями, не автор фантазмагорических романов о княгине Клептоманской, не старый, заслуженный бард, сподобившийся многих переводов на иностранные языки, но последних — раз-два и обчелся. Боб ден Ойл за свою литературную жизнь

издал всего шесть книг, а тиражи, естественно, невелики. И если б не работала жена Боба (а это в Голландии считается малопочтенным), то семья просто не сводила бы концы с концами.

Но сейчас обстоятельства изменились: государство наконец-то оценило заслуги талаптливейшего повеллиста и назначило ему ежемесячное пособие в размере жалованья школьного учителя. Теперь он может заниматься литературным трудом без тревоги за завтрашний день.

Боб ден Ойл — настоящий мужчина, он напрягается всем своим долгим телом, всей своей гордой душой для самозащиты от сочувствия, упаси Боже, от жалости и даже от ничем не обидной симпатии, он готов дать решительный отпор любой бесцеремонной попытке толкнуться в его храм. А ведь он знал, для чего ехал в Гаагу, знал, что ему будет задавать вопросы человек, намеревающийся о нем писать. Но Боб ден Ойл начисто лишен опыта газетной или журнальной работы, он никогда не «собирал материал» в нашем понимании, и такая вот неравная форма общения, когда один спрашивает чуть ли не в манере следователя, а другой отвечает, кажется ему оскорбительной. Он дергается при каждом моем вопросе, в серых глазах проблескивает если и не возмущение, то резкий протест свободного гражданина, не желающего давать кому-либо отчет в своих поступках, тем более в мыслях, потом спохватывается, добрая, слабая улыбка косит рот, и он выфыркивает ответ, сплетает длиннющие пальцы на худом, остром колене, хрустит суставами, сводит узкие плечи, словно собираясь пролезть в угольное ушко, и вдруг откидывается в кресле и устремляет взор мучимого на кресте Себастьяна к потолку, как к небу. А порой он огрызается. Он не дает спуску пастырному допросчику и, похоже, очень доволен прочностью своей обороны.

Я и сам отлично сознаю, сколь несовершенен, убог мой метод. Старая пословица гласит: чтобы человека узнать, надо

с ним пуд соли съесть. И это о простом, бытовом, открытом, ничуть не зашифрованном человеке. А чтобы узнать художника, натуру сложную, противоречивую, не желающую раскрываться, все время скрадывающую себя в защитный панцирь, сколько надо съесть соли? А мне нельзя, у меня гипертония и бессолевая диета. Ну, предположим, я пошел бы на преступление перед своим организмом, но разве дано мне время, чтобы терпеливо выследить этого пугливого оленя. Потому и вынужден я ломиться напролом, хотя прекрасно знаю, что это наихудший способ. Да ведь я и не замахваюсь на портрет, мне бы хоть эскиз, набросок сделать. А там видно будет: может, я еще побываю в Голландии, может, Боб придет к нам — он собирается в Москву, и новые переводы его рассказов появятся, — отчего бы не вернуться к этим запискам? А пока продолжаю «допрос»:

— Сколько у вас комнат, Боб?

— Три. — И, подскочив, как на пружинке: — У вас что — больше?

Успокаиваю, что у меня тоже три. Слава Богу, с бытовой стороной дела покончено. Принимаюсь за новую тему: его литературные корни. Но у Боба утомительная манера или ускользать от прямого ответа в деликатные околичности (смысл их: ну разве это так важно? Стоит ли тратить время на подобную чепуху?), или ограничиваться телеграфной краткостью. Приходится настаивать, дробить вопросы, отчего возрастает неприятно-следовательское. Наконец удается установить, что своими учителями он считает Кафку, любит Джойса, Музиля, равнодушен к Прусту. И вот что любопытно: другим своим учителем он считает Чехова, особенно восхищается «открытостью» — недоговоренностью его концовок. А кто родствен ему из современников? Он знает Беккета, Ионеско, но многие другие известные имена вызывают у него подозрительное удивление.

Видимо, и мне не удалось скрыть удивления.

— Подумаешь! — Боб коброй взвился над столом. — Я могу назвать сто имен, которых вы не знаете!

— Несомненно, — согласился я. — Только это не относится к делу.

— Ну да, когда я не знаю — это относится, а когда вы..

— Так ведь это я буду о вас писать, а не вы обо мне.

— А-а!.. Угу!.. — пробурчал он с таким ошарашенным видом, словно только сейчас поверил, что о нем действительно собираются писать, — и кобра свернула кольца.

— Боб, ваш основной литературный прием — абсурд, почему вы избрали его?

— А вы оглянитесь вокруг. Каким еще способом можно изображать эту действительность?

Довольно страшное, казалось бы, заявление для писателя одной из самых преуспевающих стран Европы. Наряду с ФРГ и Швейцарией Голландия сравнительно мало пострадала от экономического кризиса, охватившего Запад. Безработица невелика, а пособия безработным значительны. Цены, как и всюду, очень высоки, особенно на жилплощадь, но высока и заработная плата. От нефтяного «потрясения» осталось лишь здоровое пристрастие к велосипеду, колеса крутят и стар и млад, матери возят младенцев в корытцах, притороченных к багажнику. Города, довольно однообразные (исключение — Роттердам, но о нем особо) и смывающиеся в памяти в один общий город с невысокими, крепкими домами под красной черепицей, с непременными стеклянными башнями и кубами офисов, банков и отелей «Хилтон», с каналами, отражающими космы плакучих ив, — дикие утки, лебеди и водяные курочки сплываются в стаи у мостов в надежде на подачку, — с величественным готическим собором и церквями самых разных эпох и стилей — от романского до модерна, со старой ратушей и живописной площадью перед ней, усеянной голубями, с широкими тротуарами, сложенными плитняком, — рисунок скорчившейся по нужде соба-

ки и ящика возле нее тщетно напоминает любителям четвероногих друзей о правилах гигиены; с замечательными музееми, с богатейшими магазинами, набитыми всем, что делает современную жизнь такой удобной, легкой, нарядной, — так вот, эти основательные, благоустроенные, красивые города, все расширяющиеся и будто стремящиеся сомкнуть свои границы, слиться, подобно тому как они сливаются в памяти, кажутся воплощением незыблемого порядка, уверенности, спокойствия и какого-то оцепенелого довольства. И пока ты не проник хоть сколько-то за плотную пленку обманной видимости, тебе представляется абсурдной мысль, что «прием абсурда» годится для изображения этой ладной жизни. Да нет же, тут нужен добрый старый голландский жанр, слегка, правда, омещанившийся у Метсю, ну и натюр-морт, конечно: Брейгель-Бархатный, так любивший цветы, Хеда, так любивший устало-матовое серебро.

Но загляните поглубже в глаза обитателей крепких домов под красной, слегка потемневшей от времени черепицей — сколько неуверенности, сколько страха перед будущим прочтете вы там. Разговоры — сплошные жалобы, пытье. Налоги... налоги... налоги... Дороговизна... дороговизна... дороговизна... Куда мы идем?.. Куда мы идем?.. Да идем ли вообще?.. Скорее нас влечет куда-то, как спичечные коробки, окурки, всякий мусор бурливыми весенними ручьями, неудержимо и стремительно несет в сточную канаву. Да, вера в завтрашний день неизмеримо важнее людям сиюминутного благополучия, а если ее нет, если человек то и дело спрашивает себя, что будет завтра со мной, с моей семьей, с моими детьми, то черная тень простерлась над его изобильным столом, красивым жилищем, теплой постелью, егосны беспокойны, вино отравлено, горек хлеб, и мед не сладок, и в каждой радости отстой печали.

Общий климат Европы нездоров, а Голландия слишком маленькая и слишком плоская страна, чтобы ее не продува-

ло пашквозь большими ветрами, зарождающимися далеко от ее равнин...

Но вернемся к Бобу ден Ойлу. Иные писатели ломаются, «интересничают под абсурд», проницательный взгляд легко обнаружит подделку, но этот способ литературного изображения мира может быть естествен, как дыхание, ограничен, как почерк и, как почерк, связан со всей сутью человека. Бобу было девять, когда немецкие бомбовозы растерзали Роттердам.

Он жил в старой части города, приземистой, замшелой, уютной, скопившей множество ценностей, в которых взрослые ни черта не понимали и считали просто хламом: ржавые якоря (среди них один с «Летучего голландца!»), обрывки якорных цепей, увесистые пушечные ядра (их изрыгали пушки Вильгельма Оранского!), уломки чугунных оград, куски черного и белого (кладбищенского!) мрамора, обитая железом дверь в завалившемся, заброшенном доме, которую никак не удавалось открыть, но все мальчишки знали: если уж удастся!.. Вдоль канала, немного отступя от него, заживали чужой век вросшие в землю домишки, одурманенные старостью и непосильным грузом воспоминаний, в них ютились чудаки, бродяги, матросы с разбитого корабля, всякая человечья протерь, что была куда интересней и живописней так называемой чистой публики; там же изгнивали лавчонки, торговавшие всем на свете: от липучих конфет до зубов дракона. За каналом, над ярусами домов, дымились трубы старой фабрички и укладывали слои сажи на крыши и мостовые, на зелень, пробивающуюся сквозь камни, и на листья деревьев — после дождя пониклые ивы роняли тягучие дегтярные слезы. У причалов толкались бортами парусники, моторные лодки, катера, и несметные стаи голубей заливали, как гипсом, белесым, мгновенно застывавшим пометом карнизы и парапеты, тумбы и памятники, флагштоки и мачты, а за этим близким миром уходил к небу другой, исполинский, из стек-

ла и железобетона, мир знаменитых банков, компаний, фирм и роскошных магазинов, переполненных всякой всячиной, объединенной словом «недоступно». А еще был порт, и корабли под флагами разных стран, и веселые матросы с качающейся походкой, держащие путь к веселым и страшным кварталам, где их ждали девушки, выпивка и поножовщина.

И все оглядь, и то, что за ним, невидимое, но как бы и видимое, настолько привычно глазам, исчезло, превратилось в ничто, в щебень, труху, пыль за какие-то минуты. Бомбежка началась внезапно, и мальчик видел, как опрокидывались в воздухе тела идущих в пике бомбардировщиков и отделялись от них продолговатые темные бомбы; высасывающий душу свист разряжался оглушительным взрывом, что-то принадлежащее земле вместе с черным дымом вздымалось на воздух, тут он глух и слеп, и сердце стучало в горле, и как он очутился в подвале, он и сам не знал.

Содрогались ослизлые стены, что-то осыпалось, крошилось, сорило в глаза, люди причитали, молились, стонали, выли, и он вдруг почувствовал, что на свете нет ни одного близкого ему существа, потому что никто, даже мама, не может защитить его, он один, совсем один, навсегда один, и это было самое страшное.

А потом?.. Что было потом? В том-то и дело, что ничего не было. Ни домов, ни лавочек, ни пристани, ни набережной, ни фабричных труб, ни деревьев, ни голубей (они потом вернулись и были почему-то черные, как галки). Были развалины, воронки, горы мусора, дым и мертвецы. Его удивило, почему среди убитых столько голых. Людей вышибало из одежды взрывной волной.

Надо ли говорить о том, какое впечатление произвело это на душу девятилетнего мальчика, тонкую душу художника, хотя он, разумеется, и не подозревал, что он художник? Но, как ни велико было потрясение, на молодом хорошо заживает, и Боб, наверное, выкрутился бы, но через пять лет, в исхо-

де войны, немцы повторили удар. Потом они вразумительно объясняли палет желанием устранить Роттердам как конкурента Гамбургу. Они метили по порту и верфям, но сильный ветер с моря сносил бомбы, и мертвый город убили еще раз. В пятнадцать лет Боб ден Ойл утратил доверие к небу, к его предательской голубизне.

Он уже не верил ни зримой прочности вещей, ни в охраняющую силу и мудрость отцов, ни в доброту пленивших в детстве сказок, ни в то, что есть некто, наблюдающий земной порядок, ни в ответственность человека, ни в смысл и цели бытия. Непрочный, картонный, хлипкий и свирепый мир был безумен и беспощаден к себе самому.

Но надо было жить дальше в этом мире, какой он есть, другого не дано, и Боб жил, и постепенно, не скоро какие-то утраченные ценности возвращались, каким-то нашлась замена, с чем-то пришлось смириться, сжиться, как сживает человек с осколком, лежащим под сердцем и годами не напоминающим о себе, чтобы вдруг вопзиться иглой в средоточие жизни. Но это все в будущем...

Время после войны наступило очень деловое, энергичное и коммерческое, и Боб чувствовал себя в нем одиноко. Ему казалось, что люди не потрудились даже оглянуться вокруг, проститься с мертвыми, подумать тихо и скорбно, почему обратилось в руины и прах их прошлое, хотя бы просто глубоко, глубоко вздохнуть. Нет, они сразу принялись действовать, суетиться, обогащаться — корысть захлестнула даже юных, — наверстывать упущенное за войну. Конечно, это говорит о неистребимой жизнестойкости и жизнелюбии человека, но Бобу с того не легче, он не находил себе места в безоглядно ломающемся вперед, сметающем все на своем пути бурном потоке. Он кое-как закончил школьное учение и, не задаваясь мыслью о высшем образовании — и не только по недостатку средств, а и потому, что не видел в нем смысла, — пошел работать в контору пароходной компании. Он

стал мелким служащим, вроде Яхека, одним из тех, о ком так интересно писать, но кем так неинтересно быть.

После скучной, не утомляющей, а отупляющей работы он медленно и бесцельно тащил по улицам свою длинную вечернюю тень. Город стремительно отстраивался, но из развалин вставал не его Роттердам, а какой-то новый, могучий, поражающий воображение чужой город. Своим стал страшный памятник «Май 1940», поставленный знаменитым Цадкиным на бомбовом пустыре, который еще не скоро станет площадью. Трагедия дважды уничтоженного города влита в скрученного мукой, с пробитой, разорванной грудью и дико вывернутыми суставами бронзового гиганта. Он неопишимо страшен, чудовищен, как горячечный бред, но он и до стопа прекрасен, ибо, уже убитый, длит миг, отобранный у вечности, чтобы, обратившись к небу запрокинутым лицом и взброшенными вверх руками, послать туда не мольбу, не вопль жалобы и боли, не проклятие, а то, что куда сильнее: счет крови. Его лица не видно, оно всегда, где бы ни стояло солнце, скрыто тенью рук, лицо как бы уничтожилось в муке. Ночами, в снах Боба, бронзовый страдалец обретал лицо — его лицо...

Бытовое одиночество нарушилось женитьбой и рождением сына. К этому времени он уже пробовал писать. В 1958 году появился в печати его первый рассказ «Завтра, если будет светить солнце». К слову, одна из самых горьких утрат Боба — потеря уверенности в том, что и завтра солнечный свет озарит землю. Наконец-то он почувствовал, что порвал тенью одиночества в главном для себя смысле и его растерзанная войной суть еще может срастись. Рассказ остался почти незамеченным, как то обычно и бывает с первым рассказом, но не беда — важна сама возможность быть услышанным, уже это дает надежду, силу и веру, что ты больше не один. Ну хоть в чем-то сердце отозвалось твое слово?..

Оно отозвалось в сердце его собственной жены, внимательно и непазойливо следившей за литературными опытами мужа. Она сказала: «Плюнь на свою контору. Пиши. На жизнь я заработаю». И Боб ден Ойл принял жертву. Через два года после этого разговора вышел его первый сборник рассказов «Птицы смотрят», в котором было заложено все то, развиваясь и обогащаясь жизненным и литературным опытом, сделало его одним из лучших рассказчиков в голландской литературе.

Рассказ, давший название книге, был посвящен теме, наиболее близкой Бобу ден Ойлу с юношеских лет: одиночеству и его преодолению. Жил одинокий человек и любил только птиц. Он был так одинок, что решил уехать в Португалию, потому что дальше ехать некуда. Но там, в полнейшей изоляции, его любовь к птицам вспыхнула с удвоенной силой. В городе птиц не было, он поехал на окраину и убедился, что птицы исчезли. У человека появилась в жизни цель: сделать так, чтобы птицы опять были. И он стал счастлив и уж не чувствовал себя одиноким.

Был ли счастлив Боб ден Ойл, осознав литературу как единственную цель в жизни, — не знаю. Да и бывают ли вообще счастливые писатели? Я имею в виду не тех, кто, поллевывая, заполняет бумагу словами, а тех, для кого непосильное занятие литературой — рок. Счастливому человеку — рай на земле. А в раю литература не нужна, это уж точно. Но известное удовлетворение Боб, несомненно, чувствовал: премия Амстердама была признанием его профессиональности. Жена надсаживалась недаром.

Вновь мы встретились с Бобом через несколько дней в Роттердаме. Я уже успел расшибиться в кровь о монумент Цадкина и усиленно врачевал себя роттердамскими видами, чуть подпорченными строящимся метро, перепахавшим город на военный лад, когда в конце улицы появилась длинная фигура Боба. Высокие люди кажутся особенно высокими в

помещении, расшибая лоб о притолоку, но Боб нарушил это правило: между двумя рядами домов он казался еще выше, чем при первой встрече в домашних условиях. Он медленно плыл над уличной толпой, принадлежа ей нижней половиной туловища, а вокруг его головы парили голуби. И улыбка уже не казалась случайной, не туда забредшей гостьей, готовой мгновенно слипнуть в самолюбивый нахмур, ее прочно держали сухие, обветренные губы, и в глазах было что-то такое, от чего у меня потеплело на душе.

Боб сводил нас в «свой» Роттердам, вернее, туда, где некогда был его Роттердам. Все-таки кое-что тут осталось и от тех домишек, и от тех лавчонок, и от того замечательного хлама, хотя, быть может, и домишки, и лавчонки восстановили себя из остатков бывшего, а хлам скопился в войну. Но мне стало легче представить себе мир маленького Боба.

К сожалению, разговора не получилось, Боб, очевидно, переоценил свою стойкость и непробиваемость, он притемнился, замкнулся, а там и вовсе уполз в раковину, и вытащить его оттуда не было никакой возможности.

Он сам вылез на свет Божий в Торговом центре — гордости Роттердама, шедевре современной ансамблевой архитектуры, совершенном и целесообразном, как космическая ракета. Он постарался возместить потери в общении, какие мы понесли у осколков его детства. К тому же в нем проснулся здоровый практицизм, и он решил показать, что тоже не лыком шит и не витает в облаках, а прочно вколачивает подошвы в землю, ушлый роттердамец, один из тех расторопных голландцев, что от века умели и зашибать, и считать деньги.

— Тут все бесконечно дорого, — рассуждал Боб, пока мы медленно и оторопело брели вдоль витрин, вдыхая миндальный запах гвоздик в каменных вазонах. — У меня есть гоночар в Советском Союзе. Я думаю там одеться. У вас наверняка все дешевле.

— Разумеется! — И я вспомнил фразу одного остроумного писателя: «Манекенам было стыдно, что они так плохо одеты». — Боюсь, не окажется вашего размера. Мы народ крепкий и не особо рослый.

— Досадно! — поморщился великий практик и островитель. — Я так на это рассчитывал. А машину?.. — сказал он неуверенно.

— Вы хотите на гонорар за три рассказа купить машину?

— А что — не хватит?

— Знаете что, — осенило меня, — купите лучше русскую матрешку.

— Это одна в другой? — улыбнулся Боб. — Я давно мечтал о такой матрешке. А мне хватит денег?

— Хватит!.. — уверенно сказал я.

Боб жил недалеко от центра, но словно бы и далеко: здесь было тихо, довольно пустынно и сумеречно, улица сама себя погружала в тень. Удивительно, как сумел он выкроить посреди щедро озвученного движением и строительством милого голливудного города такой укромный уголок? Напротив его дома соборно высилось торжественное здание банка.

— Здесь я держу свои сбережения, — с усмешкой заметил Боб.

Нижний этаж дома, где жил Боб, занимал обширный магазин; темнота еще не наступила, а уже фосфоресцировали двухметровые буквы его названия: Климакс. На витринах множество изделий из нержавеющей стали и алюминия, кожи и гипса, различное электрооборудование, сложные аппараты с пультами управления, что-то вроде космического скафандра и шлемофона, катапультирующее устройство и водолазный костюм. Я подозрительно глянул на Боба: не приехала ли к трезвым голландским будням какая-то гофманиана в современном оформлении, порожденная силовым полем его неукротимой фантазии? Но безмятежное, простодушное и отрешенное лицо Боба рассеяло подозрения.

Мы поднялись по узкой лестнице на пятый этаж — лифта не было — и вступили в жилище Боба, которое он с некоторой дозой самодовольства назвал при первой нашей встрече «типично голландским интерьером». Тут не было ничего от жирного голландского быта: ни мягкой мебели, ни дельфтских ваз, ни горок с фарфором и хрусталем, ни картин и картинок в багетных рамах, ни тех бесчисленных безделушек, которые якобы украшают жизнь, на деле же засоряют. Спартагская простота, ничего лишнего, человеческий дух может спокойно витать по всем трем комнатам — общей и двум спальням — и ни за что не зацепиться. Мозговой центр дома — маленький кухонный столик, за которым Боб работает, у него нет кабинета.

Мы познакомились с женой Боба: сильная проседа в коротко стриженных волосах, мальчишеская худоба, синие застиранные джинсы, крепкое рабочее рукопожатие узкой руки — и с сыном: метр девяносто пять, длинные волосы, синие застиранные джинсы, босые ноги пугающего размера и подобающая юношескому возрасту чуть надменная хмурость. Есть еще два члена семьи, притворившиеся кошками. Охолощенный дымчатый кот пошел в тело: велик, раскормлен, ленив, густая шуба делает его еще толще, ласково-безразличный сибарит, он нежится, потягивается, выбрасывая палками лапы на холщовых подушках, лежащих прямо на полу. Кошка, белая с черными пятнами и тоже насильственно лишенная способности к деторождению, еще больше и увесистей кота; исполненная скептического, недоброго интереса к окружающему, она все время просидела на старом проигрывателе, презирая нас от всей кошачьей души. Черное пятно загибалось с шеи на скошенный подбородочек, образуя там нечто вроде бороды, под розовой кнопкой носа помещался черный чаплинский квадратик. Человечье лицо развязно выглядывало из кулачка круглой морды.

У кошек была жутковатая манера вдруг уставиться тебе в лицо и неотрывно смотреть, упруго сужая прорезь зрачка,

пока он вовсе не исчезал в слившемся в сплошное круглое пятно аквамариновом райке. Но кошки продолжали видеть этими слепыми кружками, их уши и шерсть на загривке отвечали каждому вашему движению, и мороз по коже подирал от всевидящей слепоты. Даже шерри, которым Боб как-то пугливо угощал нас, не могло разогнать густого мистического тумана. Неуютно было за журнальным столиком, заменявшим обеденный. Ден Ойлы совсем не бытовые люди, все трое. Сильная творческая воля внешне самого слабого и непрочного из них пронизывает дом почти мучительным напряжением.

А разговор шел, разумеется, о литературе. Листая свой новый сборник, Боб коротко излагал содержание рассказов, о которых мне хотелось знать как можно больше. И будто заморозило меня, таким я стал покладистым, все принимающим, даже заведомо чуждое, и ничего не мог поделать со вселившимся в меня соглашателем.

— Один молодой человек прочел в газете, что продается орган, и сразу пошел туда. (И правильно сделал. Любой разумный человек поступил бы так же на его месте... Легко ли в наше время купить орган?) Он пришел, а там вовсе не орган продается, а коптора по ограблениям. (Надо было это предвидеть. Ну кто, скажите на милость, будет продавать орган частному лицу?) Он сумел вырваться и при этом покалечил кого-то... (Парень, видать, не промах! Умеет за себя постоять. Так им и надо, будут знать другой раз!) Он ушел, а совесть точит. Из-за того, покалеченного. Как жить дальше? (Действительно, проблема: вроде бы и не виноват, а поди ж ты!.. Вот куда заводит человека желание купить орган...)

Мерещится мне или на самом деле кошка насмешливо фыркает и оглаживает лапой черную бороду?

— Молодой человек страдал умственным расстройством. Он решил обратиться к врачу...

Очень предусмотрительно, одобряю я про себя. И тут мне начинает казаться, что и у меня неладно с головой — не выдерживает старый праведный реалист напора абсурда. А запедуживший мозгами молодой человек так и не попал к врачу — он старался держаться знакомых улиц, а они к врачу не вели.

...Мы шумно и сердечно прощаемся в прихожей. Боб ден Ойл галантно подает моей жене пальто, она любезно благодарит, и мы выходим. В машине обнаруживается, что на жене пальто Боба. Он перепутал. Но как не заметила жена, что пальто ей неимоверно велико, как не заметили мы: наш друг — дипломатический стажер — и я, что полы волочатся по земле, — это необъяснимо. Жене хочется вместе с Бобом посмеяться над забавной путаницей, и она отправляется сама для обмена. Возвращается в своем, мы трогаемся, и тут стажер с ужасом замечает, что оставил у Боба черный плоский чемоданчик-«дипломат». Он не расстается с этим чемоданчиком, придающим ему солидность и вес. Там нет ничего секретного: книжки Боба, сегодняшние газеты, земляничная жвачка, баночка паштета и сухие хлебцы, но будущий Чичерин в отчаянии. Он усиленно тренирует свою память, внимательность и, разумеется, бдительность, и вдруг такой афронт. А что, если б там оказался договор о ненападении с княжеством Лихтенштейн? В расстроенных чувствах отправился он за чемоданчиком.

Наконец мы тронулись. Но страшные чары не развеялись. Мы проехали всего лишь два-три квартала, и жена радостно воскликнула:

— Вот здорово, уже Гаага!

— С чего ты взяла?

— А вот Дворец конгрессов. — Она показала на залитое оранжевым светом величественное здание.

— Господь с вами! — разбитым голосом сказал стажер. — Это клуб гомосексуалистов «Ганимед»...

...Я не люблю категорические утверждения там, где дело касается искусства. Например, писатель не может без питательной среды, подразумевая под этим в равной мере круг людей, ценящих, понимающих его, и собратьев по перу, близких мировоззрением, отношением к жизни и литературному делу. Почему не может? Может, коли так складываются обстоятельства. Безмерно одинокий Франц Кафка, а из новых — Сэлинджер, избравший добровольное затворничество. Я думал, что Боб ден Ойл принадлежит к таким одиночкам и ему надо черпать мужество в себе самом и в любви-жалости родных людей, но ошибся.

Я не сказал, что во время нашей экскурсии по Роттердаму Боб завел нас в новый, знаменитый на всю Европу концертный зал. Не стану расписывать архитектурные и прочие достоинства выдающегося сооружения, скажу лишь, что это не только помещение для концертов, но и культурный центр Роттердама. Здесь устраиваются самые разные выставки: от картин до лыж, проводятся дискуссии, обсуждения новых явлений в музыке, литературе, живописи, здесь же «имеют место», пользуясь языком официального велеречия, ежегодные поэтические форумы.

Боб ден Ойл познакомил меня с главой поэтического штаба, организатором международных сходов стихотворцев, бескорыстным энтузиастом, работающим не покладая рук на общественных началах ради великого дела сближения людей. Этот славный человек предложил устроить мой литературный вечер в одной из народных библиотек города. Вечер состоялся. О нем было объявлено в газетах, и небольшой зал, которым располагает библиотека, не вместил всех любителей российской словесности. Сюда съехались слависты из Амстердама, Утрехта, Лейдена, пришли местные литераторы, среди них один, самостоятельно изучивший русский язык, учителя и просто люди, которым это почему-то

было интересно. Явился сияющий Боб ден Ойл со всем семейством.

До того как вечер начался, мы долго томились в битком набитом помещении библиотеки среди стеллажей, шкафов и полок с книгами, где было не присесть и нечем дышать, до одурения накачиваясь черным кофе — огромный кофейник не сходил с электрической плитки. И тут я увидел на столике, возле деревянного ящичка с карточками абонентов, фотографию Боба, очень похожую на ту, что помещена в «Иностранной литературе», и очень непохожую на живого Боба, рядом лежали газетные вырезки опять-таки с портретом Боба и небольшая книжка, изданная в 1975 году, в обложке цвета голубиного крыла, на которой было написано крупно: «Боб ден Ойл. Люди» — и помельче: «Пятнадцать портретов». Он не дарил мне этой книжки и даже не упоминал о ней в разговоре.

— Любите вы его? — спросил я библиотечарш.

Их было две: одна пожилая, но очень моложавая, розовая, бодрая, другая молодая, но старообразная, бледная и пониклая, как без времени увядшая лилия.

— Он — наш! — ответили в голос, но первая вскинула голову и засияла глазами, а вторая потупилась.

«Наш»... Хорошо это прозвучало. Вот здесь, в этой неприлегированной, общедоступной народной библиотеке, где не только берут книги для чтения, но сходятся люди, любящие литературу: и работающие профессионально, и лишь пробующие свои силы в пизании слов, а также группирующиеся вокруг рабочего журнала «Век», здесь Боба любят и считают своим.

— А что это за книга? — На обороте супера Боб, в рубашке и белых брюках, очки на носу, играл в какие-то супершахматы на гигантской доске, уложенной посреди лесной поляны.

П е р в а я (*радостно*). Это новая книга Боба!

В т о р а я (*жалобно*). Это совсем новый Боб.

Я (*нахально*). Подарите мне эту книгу. Я собираюсь писать о нем.

Первая (*доверчиво*). А вы его любите?

Вторая (*умоляюще*). Вы хорошо о нем напишете?

Я (*безответственно*). Еще бы!

Друзья-стажеры перевели мне рассказы, вернее сказать, те почти стенографически записанные подлинные жизненные истории, которые составили эту книгу. До того бесхитростны по исполнению эти истории, до того свободны от вмешательства авторской фантазии, направляющей воли, вообще от всякого творчества, что иные превосходят в своем невероятном простодушии самый беззащитный абсурд. Мне даже подумалось поначалу, что такова внутренняя установка Боба: дать окружающей его действительности самой доказать свою абсурдность. Мельтешия, жалкие потуги разных малопримечательных, случайных людишек, выхваченных Бобом наугад из мировой суеты, растворяются без следа в океане бесцельности, в котором они барахтаются от рождения.

Но когда знакомишься со всей книжкой, то обнаруживается, что дискредитация бытия вовсе не входила в намерения Боба ден Ойла. В его книге встречаются люди, которые находят свое место в жизни, обретают веру в себя, хотя бредут почти вслепую, спотыкаясь, падая, набивая шишки, но это к делу не относится. Смысл непохожей на все написанное Бобом прежде книжки в освоении новой манеры. Он начисто отказывается от условности, ото всех привычных приемов, которыми владеет мастерски, стремится к предельной простоте, краткости, доходчивости и чтоб ничто не стояло между ним и действительностью. Это какой-то аскетический реализм.

И хотя победы он тут — увы! — не одерживает, сама попытка его заслуживает внимания и уважения.

Почти каждого, даже самого сложного писателя с возрастом, если постарению сопутствует не угасание творческих сил, а накопление души и разума, заворачивает к простоте.

Ему хочется быть понятым, хочется все свое, узнанное, выношенное, выбеленное, излить в других, в мир, который переживет его. Это и есть бессмертие, а не памятники и мемориальные доски. Надменной и упоенной юности во власти вдохновенного и темного бормота наплевать на доходчивость, на отзыв в чужом сердце, она слышит лишь собственное переполненное, сильно и гулко бьющееся сердце. Как непрогляден был ранний Пастернак и как прозрачен, родниково прозрачен стал он в последних песнях.

Но вообще-то разговор о простоте в искусстве совсем не так прост. Поздние стихи Манделштама куда труднее для восприятия, нежели эллинский ясный «Камень» его начала. Но сам Манделштам, без сомнения, воспринимал их иначе: как предельное сближение своей сути с сутью мироздания, как высшую, бесхитростную простоту, свободную от котурнов, от книжных, исторических и мифологических связей. Но не будем углубляться в дебри, ибо в нашем случае мы имеем дело с прямым и четким движением писателя к простоте.

К сожалению, Боб ден Ойл слишком заторопился в простоту, в обыденность, запрыгал длинными ногами даже не через две-три ступеньки, а через целые лестничные пролеты, но в этом нет большой беды, если иметь в виду судьбу писателя, а не мелочь частной неудачи.

Лев Толстой говорил когда-то о популярнейшем в ту пору И. Дружинине, авторе модного романа «Полинька Сакс», что не верит в него, поскольку Дружинин не способен отказаться от всего ранее написанного и начать сначала. Уж он-то, Толстой, знал о себе, что способен на это, хотя за плечами у него было нечто посерьезней «Полиньки Сакс». Вот эта столь ценимая Толстым способность писателя к обновлению при-суца Бобу ден Ойлу. За маленькой книжечкой «Портреты» — смелый широкий духовный жест. Трудно сказать, по какому пути пойдет Боб ден Ойл, но он идет, а не стоит на месте — вот что важно.

Я пишу это и вспоминаю идущего Боба, идущего в прямом, физическом смысле, по темной, секомой мелким, по капористым дождиком улице, сперва вровень, потом следом за машиной, увозящей меня с того роттердамского вечера. Машина то и дело притормаживает, лавируя среди людей, дружно окуполившихся черными глянцевыми зонтиками. У Боба нет зонтика, голова не покрыта, но он не обращает на это внимания. Он держит глазами машину, улыбается и слабо машет рукой. И я, опустив стекло, машу ему и улыбаюсь, но мне грустно. Грустно, что он сейчас станет воспоминанием, этот чистый, бескорыстный человек, ничего не выгадывающий у жизни, кроме литературы, кроме права теплить свою свечку, отдавать, ничего не ожидая взамен: ни денег, ни почестей, ни власти, ни славы. И я вспоминаю, что апостолы тоже не были ни гениями, ни тайными советниками, ни правителями, ни кавалерами орденов, а простыми людьми, рыбаками, и нравственная сила их — от Бога.

Мы уже далеко, но долгая тень Боба, раскатанная по влажной мостовой фонарем, бежит за нами, бесконечно удлиняясь, слабея, редая, но не угасая совсем; пренебрегая углами и поворотами, она простирается за улицу, за Роттердам и, прозрачная, еле угадываемая, втягивается в мой сегодняшний день.

Счастливицк Хейли

Литературный портрет



писатели по-разному входят в жизнь людей своего поколения (я говорю о тех, кто действительно входит и становится частью этой жизни, а не о тех, кто остается обочью дороги); иные как-то медленно всачиваются от книги к книге, и читатели сами не знают порой, когда и как данный автор стал им необходим; в иных современники довольно быстро распознают наипужнейшего спутника: мы еще мало знакомы, но ты наш, из нашего времени, нашей боли, надежд, борьбы, сомнений, упований, мы верим тебе и готовы следовать за тобой на всех твоих путях (это очень счастливые писатели!); а бывает, что новый автор не входит даже, а врывается в тишину бытия, опережаемый легендой, в грохоте и сверкании ошеломляющего успеха. Так явился советским читателям Артур Хейли. Подчеркиваю «советским», ибо его путь к западному читателю, о чем мы узнали много позже, был сложнее, извилистей, хотя и там дело решилось в один счастливый момент, но об этом в своем месте.

Мы еще толком не разобрали фамилии Хейли, а уже знали, что «Аэропорт» бестселлер из бестселлеров, что им зачитывается весь мир и что американский автор, дабы написать свой роман, прошел всю аэродромную службу: от носильщи-

ка до начальника аэропорта, отдав годы и годы даже не скажешь — изучению материала, а вживанию в плоть и кровь своих героев. Когда же мы прочли, вернее, проглотили этот на редкость увлекательный роман, исполненный поразительной достоверности в каждой мелочи, профессионального знания, нутряного понимания характеров тех, кто составляет «службу воздуха», то окончательно уверились: такое по плечу лишь человеку, который сам побывал в шкуре и аэропортовского техника, и механика, и диспетчера, и управляющего, не говоря уже о том, что он, несомненно, летал стюардом и хотя бы вторым пилотом. Читателей, я имею в виду простых читателей, роман захватил. Что думали знатоки — не знаю. Я не знаток. Занимаясь литературой профессионально, с двадцатилетнего возраста, с перерывом на год армейской службы в пору войны (после контузии — военный корреспондент, а это тоже литература), я не утратил способности читать книги бесхитростно, с полной разоруженностью и лопушьим доверием к тексту, за что благодарю небо. Это не значит, что я вообще не способен критически относиться к прочитанному, проверять, анализировать свои впечатления — но это уже по прочтении и вовсе не обязательно. В числе других простых душ я так же упоенно, взахлеб прочел новый роман Хейли «Отель» (потом оказалось, что он написан раньше «Аэропорта»); было доподлинно известно, что создан этот роман тем же безжалостным к себе методом: многолетней службой в гостинице от лифтера до старшего администратора. Затем с убывающим интересом прочел «Окончательный диагноз» и «Колеса», но Хейли тут неповиновен — романы безжалостно сокращены и адаптированы, чем сведены почти до уровня комиксов, укладывающихся «Анну Каренину» в один печатный лист.

Последнее надуумило меня, что Хейли интересен и убедителен, когда предстает в своем виде, со всем тем пристальным вниманием к подробностям изображаемой жизни, что и

является его отличительной чертой. Раздевание его прозы до тощей голизны сюжета не только убивает художественное своеобразие Хейли, но и резко подчеркивает то, о чем сразу не догадаешься: он пишет всегда один и тот же роман. Звучит страшно, словно приговор к высшей мере, но ведь многие известные авторы повинны в том же грехе, если это грех. Превосходный писатель Ремарк после первых двух книг: «На Западном фронте без перемен» и «Возвращение» — всю последующую жизнь варьировал под разными названиями один и тот же роман. А на редкость скромная и бесстрашная леди Кристи незадолго перед смертью призналась: «Я поняла вдруг, что всю свою долгую жизнь писала один и тот же роман». Важное признание, ведь, по мнению критики, в своих примерно ста романах Агата Кристи ни разу не повторилась. Но писатель знает себя и свое хозяйство лучше, нежели самые мудрые ценители со стороны, и если серьезно вдуматься, то, конечно же, знаменитая романистка сказала святую правду.

Я предвижу насмешливую ухмылку: нашел на кого ссылаться, да разве это литература — романы Агаты Кристи? Но если забраковать все написанное плодовитейшей романисткой века, человечеству ничего не останется, как признаться в своем полном идиотизме. Никого не читали так много и упоенно, как эту загадочную, склонную к уединению старую даму, никого не издавали такими ошеломляющими тиражами.

Ах, как легко меня подловить! Значит, и все бесчисленные дореволюционные «Наты Пинкертоны», «Ники Картеры», равно и всевозможные «Сюркуфы» и прочая приключенческая лабуда — тоже литература, коли их зачитывали до дыр миллионы людей? Нет, то не литература. Недаром же вся эта книжная макулатура безымянна, кто знает «создателей» Пинкертопов и Сюркуфов, да знают ли они себя сами? А истории про Эркую Пуаро и мисс Марпл окрашены неповторимой авторской интонацией, за ними отчетливо ощущается оригинальная личность их творца, стыдливо прячу-

щаяся от читателя и оттого еще более интригующая. Агата Кристи интересовала всех, мало кого из знаменитостей так осаждали журналисты, интервьюеры и просто любопытные; как эту ненавидевшую шумиху скромную пожилую даму, затворницу и преданную жену. И если зря не запутывать вопрос, то, ей-богу же, в оценке тех или иных явлений литературы и вообще искусства народное признание ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. А то ведь нередко получается, что всеобщий восторг словно бы обесценивает творение; снижая соответственно репутацию автора. Это испытал на себе Александр Дюма-отец, которого провалили во Французскую академию. Это отравляло жизнь великого Верди, ему не прощалось, что любой уличный мальчишка насвистывал «Сердце красавицы», а любой гондольер распевал арии из «Трубадура». Но вот такой обновитель музыкального языка, как Игорь Стравинский, мог позволить себе восторгаться мелодическим гением Верди.

Недоброжелатели, а они зароились мгновенно в первых лучах молодой славы Хейли, дружно предсказывали оглушительный провал каждому его новому роману. Но после шумевшего «Рейса поль восемь», написанного в соавторстве с Джоном Кастлем, увидели свет «В высших сферах», «Окончательный диагноз», «Отель», и все оказались бестселлерами, и, наконец, «Аэропорт», побивший мировой рекорд успеха. Недавно вышел новый роман — «Меняла» (о финансистах), и читатели, равнодушные к гримасам снобов, жадно набросились на очередное блюдо, изготовленное умелым багамским поваром по обычному рецепту, и вновь утолили какой-то свой голод. Путь Хейли — неуклоное движение вверх по лестнице славы, и не надо шутить, что эта лестница ведет вниз. Хейли читают повсюду, он «повсеместно обэкрашен», пользуясь элегантным выражением Игоря Северянина, равно и «обэстрадаен», и «отеатрен», и «отелевизионен», и «орадионен» — ну и словечко!

Миновавшим летом в Союзе писателей состоялась встреча советских и американских литераторов. Обе страны были представлены небольшими, но авторитетными делегациями. С американской стороны присутствовали: издатель и публицист К. — глава делегации, известный прозаик С., бесспорно, лучший сейчас в Америке поэт, маститый Л., молодой, но знаменитый драматург О., а также трое не знаменитых, но почтенных профессоров литературы. Разговор поначалу воспарил в сияющую высь маниловской мечтательности, поскольку взявшая слово первой тучная, с мясистым смуглым лицом старой индианки ученая американская дама предложила создать не мешкая институт по изучению друг друга — о великий мост дружбы между Маниловым и Чичиковым! — но вскоре спустился на твердую землю и сам стал тверже, серьезней, набрал полемической остроты, без ожесточения и злобы. Попутно выяснилось некоторое неравенство сторон: мы куда лучше знали — литературно — наших собеседников, нежели они нас, хотя большая часть писателей, составивших советскую делегацию, издавалась в США. Так что у американских коллег были все возможности иметь дело не с таинственными духами, а с литераторами во плоти слова. Но куда серьезнее была другая наша претензия, касавшаяся издательских дел. Как много переведено и издано американских книг в Советском Союзе, как ничтожно мало наших в Соединенных Штатах. Реакция гостей явилась для нас полной неожиданностью. Их несколько не умилила щедрость наших издательств в отношении американской литературы.

— Охота же вам издавать столько чепухи, — заметил кроткий с виду прозаик С. — А еще жалуетесь на бумажный кризис.

Возможно, в нем говорила обида: единственный его роман, переведенный на русский, превосходный во всех отношениях, был напечатан (почему-то петитом) в «Иностранной литературе» и не вышел отдельным изданием.

Его мысль подхватил издатель К.:

— В Советском Союзе порой открывают таких американских писателей, о которых мы не слышали у себя на родине. Помню, в один из первых моих приездов в Москву тут зачитывались каким-то Митчелом Уоллесом. Я говорю: такого писателя нет. Неправда, возражают, есть, его у нас даже в институтах проходят. Вернулся домой и попросил найти мне этого Уоллеса. Прочел — ей-богу, неплохо!

— Речь идет не о каком-то безвестном Уоллесе, — не принял шутливо-примирительной интонации своего коллеги прозаик С. — Я имею в виду писателей весьма даже известных, слишком и напрасно известных. Тут прозвучали ошеломляющие цифры тиражей — сколько же сотен тысяч приходится на пустого Артура Хейли?

И началось!..

Драматург О., человек угловатый, колючий, с острой речью, тоже считал, что нельзя тратить дефицитную бумагу на издание таких пикчменных авторов, как обветшалый Джек Лондон или примитивный Хейли.

И даже отвлеченный, не от мира сего, старый поэт Л. покинул хвороста в костер, на котором сжигали репутацию автора «Аэропорта». Л. — человек страшный: в сером помятом костюме, сбившемся набок галстук-веревочке; седые волосы почти покинули темя, свисая сальными косицами на затылок; блестящий, чуждый окружающему взгляд как бы обращен в себя. Я не знаю, что с ним, как и чем исключает он себя из действительности, но несомненно одно: Л. имеет дело с миром воображаемым. Так, он пытался выйти из обеденной комнаты Дома литераторов сквозь настенное зеркало, и, возможно, преуспел бы в этом, не помешай ему в последнее мгновение взвенеть (а может, такое совершается бесшумно?) в зеркальную гладь его друг и переводчик. И этот отвлеченный, возвышенный человек сошел на грешную землю, чтобы крепко, с нескрываемым раздражением «приложить» Артура Хейли, а заодно и тех, кто способствует распространению низкопробных сочинений.

И почти сразу вслед за этой ядовитой филиппикой вставшего в житейщину поэта на местах для гостей появился Артур Хейли. Драматургам такие совпадения не прощают, а неподсудная жизнь весьма часто пользуется приемами, которые в драматургии считаются искусственными и дешевыми.

Не знаю, успело ли дойти до Хейли, как аттестуют его земляки, но его молодежавое, свежее, загорелое лицо оставалось безмятежным, и радостно обнажались в обаятельной улыбке все тридцать два белейших искусственных зуба, вращенных в десны.

Разумеется, его представили собранию. Американцы отозвались ледяным молчанием и коротким напряжением лицевых мускулов, что можно было счесть за намерение приветствия. Вопиющая невежливость этих воспитанных людей меня поразила. Нужно очень сильное, неодолимое, неуправляемое чувство, чтобы так явно пренебречь правилами человеческого общежития.

В отличие от них наша делегация — само радушие и доброе любопытство. Будем говорить прямо: от Хейли так и несло богатством и успехом. Он был превосходно и смело одет. Впрочем, нынешняя мода допускает в летнее время яркую пестроту: полосатый пиджак из какой-то гладкой, чуть лоснящейся ткани, темно-бордовые брюки, шейный платок, включающий в расцветку один из оттенков красного, рябенькая рубашка. Его седые, слегка волнистые волосы, уже сильно отступившие от лба, были тщательно причесаны, худые щеки выбриты «до кости», и он, несомненно, исповедовал пушкинское: «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», с его появлением ароматный ток пронизал прокуренную комнату.

Красное доминирует в спектре зримого образа Артура Хейли. Ко всему еще он очень легко краснеет — вовсе не от смущения или неуверенности в себе, просто кровеносные сосуды залегают близко к поверхности кожи. Алый бог удачи скромно сидел на гостевом месте, но, надо полагать, чув-

ствовал себя хозяином положения. Не на литературном форуме, а в той широкой жизни, которая включает в себя как некую малость и этот форум. Он ни от кого не зависел, никогда не боялся и не играл ни в какие игры. Он путешествовал по нашей стране на гонорары от советских изданий своих романов в сопровождении жены и молодой преподавательской пары из колледжа, где учиться его младшая дочь, сюда забрел из вежливости и мог в любую минуту встать и уйти. Он наверняка чувствовал злобу американцев, но это его не трогало. Он ничего ни у кого не отнял, и совесть его была спокойна. Да так ли это? Не исключено, что он таки отнял какое-то количество читателей у С. и Л. и какое-то количество зрителей у О. Не будь Хейли, читателям и зрителям волей-неволей пришлось бы подняться до уровня сложной прозы С., изысканных стихов Л., страшных пьес О. Но Хейли перехватывает массового читателя где-то в нижних этажах сознания, и С., Л., О. остаются авторами для тонких цепителей литературного слова, для знатоков, элиты.

Вроде бы не очень серьезное рассуждение? Пожалуй. Но в качестве неформулированной мысли, полусознанного чувства это может быть в основе смутной и злой претензии. Иначе за что же так не любить Хейли? Неужели только за то, что у него большой счет в банке, что он может жить на вечнозеленых Багамских островах (сбежав туда, к слову, от непомерных американских налогов), ездить по белу свету в сопровождении целой свиты, ни в чем себе не отказывать?..

Хейли отсидел на своей гостевой скамейке до перерыва, живо отзываясь на происходящее жемчужными высверками улыбок, румянцем, заливавшим его ухоженное лицо, а затем, погарцевав недолго в кулуарах, отбыл со своей свитой для продолжения своей таинственной жизни.

А мы продолжали заседать, и на следующий день американская делегация произвела новый залп по движущейся — уже где-то в Прибалтике — мишени.

У меня есть все основания считать, что недобротство коллег дошло до Хейли (возможно, в чуть ослабленном виде), но это не помешало ему присутствовать на прощальном обеде в честь участников совещания. И здесь, в тепличной атмосфере полуофициального приема, в размягчении, наступившем после жарких дебатов, в лиризме предстоящей разлуки — часть американской делегации в ту же ночь улетала на родину, другая отправлялась в путешествие по Сибири — заокеанские литераторы продолжали подчеркнуто игнорировать Хейли.

Существует театральное выражение «играть царя». Самому играть царя на сцене невозможно, разве что в комедии, фарсе. Там ты можешь ныжить, раздуться от величия и власти, ну а если всерьез? Так вот, всерьез царя играют окружающие, изображая почтительность, трепет, восхищение, страх, угодливость — в зависимости от характера властелина.

Американские писатели играли «невидимку». Они просто не видели элегантного, в безукоризненном вечернем костюме человека: они смотрели сквозь его суховатое спортивное тело, они умудрились так построить всю сложную систему своего поведения в многолюдном обществе, в броуновском движении человеческих фигур, чтоб не коснуться его ни словом, ни жестом, не дать ему примкнуть к разговору, вступить с ними хоть в поверхностное общение.

Как ловко можно изолировать человека посреди такой тесноты!..

И мне вдруг стало ужасно жалко парядного, счастливого, знаменитого Хейли. В самом деле, чем он так провинился перед литературой, перед Богом и людьми? Тем, что заставил весь мир в течение дней или недель — кто как быстро читает, а к Хейли тянутся и малограмотные, — с замиранием сердца следить за судьбой пассажиров сверхмощного лайнера «Боинг-707», терпящего бедствие. Спасутся или не спасутся эти никогда не существовавшие в действительности,

вымышленные люди — вот что волновало и томило и скромного лондонского клерка в полосатых брючках, и араба в прохладной джеллабе, и датскую прачку с выбеленными щелочью руками, и французского рабочего в замасленной кепке, и советского колхозника с патруженными лопатками, и австралийского стригая, и американского банкира, и немецкого спортсмена, да разве перечислишь всех, кого захватил, вырвал из равнодушной повседневности и заставил жить сердцем «бестселлер» Артура Хейли. Бескорыстный страх за ближнего в человечестве собрал в себе, как в фокусе, самых разных людей, которым вроде бы не на чем соединиться. Но страдающие одному и тому же перестают быть совсем чужими друг другу. Разве этого недостаточно, чтобы амнистировать некоторые художественные слабости романа, психологическую прямолинейность, словесную незамысловатость?..

Правомочны ли вообще отвлеченные рассуждения о художественности, психологизме и т.п., когда речь идет о прозе Хейли, об авторе, сознательно и целеустремленно создающем литературу прямого действия? Можно ли было требовать углубленного психологизма, скажем, от Дюма? Конечно, нет. Тогда его скорый па поступки и тем обаятельный д'Артаньян превратился бы в какого-нибудь Ивана Карамазова под мушкетерским плащом. Рефлектирующий д'Артаньян никому не нужен, а в своем виде смелый гасконец чарует не счесть какое поколение. Если б можно было взвесить принесенную им пользу — воспитание в юных душах мужества, благородства, верности в дружбе и любви, чувства долга, независимости перед сильными мира сего — это ли не высшая польза? — его создатель по справедливости заслужил бы прозвище «Благодетеля человечества». А ведь сколько раз Дюма отказывали в звании не то что великого, просто писателя, считая его многочисленные романы развлекательным чтивом, а никак не художественной литературой. Нет, не зря д'Артаньяну поставили памятник, его образ принадлежит к вечным художественным достижениям.

В литературе и искусстве может на короткое время взволновать современников злободневностью, совпадением с их душевным настроением, с запросами времени, но в поколениях не живет. Выдыхается злободневность, съезживается, умяется образ. А бессмертный д'Артаньян в исходе двадцатого века одерживает победы едва ли не более блистательные, чем при жизни своего создателя, он покорило кино, театр, оперу, оперетту, балет, и по-прежнему хорошие мальчишки, обещающие стать настоящими мужчинами, берут в руки шпагу д'Артаньяна.

Да есть ли большее счастье для писателя, чем создать образ такой живучести!

Время и мода вкладывают свое содержание в понятие «художественность». Когда-то непременным признаком художественности считались ясность и чистота стиля, а ныне в чести предельная усложненность и густотища слов. Писать короткой фразой — какая бедность! — читатель должен увязать в непрвороте словесного переизбытка; настоящей прозой признается сейчас проза густая, как тот солдатский суп, в котором ложка стояла торчмя. Передовой и чуткий читатель даже обижаются на автора, если ему все понятно, он рассматривает лапидарность и ясность как скоропись, почти как каллиграфию. В этом смысле проза Хейли не заслуживает чина художественной. Где метафоры, нагромождения образов, фразы длиною в страницу, где внутренние монологи (желательно без знаков препинания), временные сдвиги, смещения аспектов реального и воображаемого, когда не понять: наяву, во сне, в мечтах или горячечном бреде пережил герой случившееся, где изображенные события под несколькими углами зрения, где второй, третий и ...надцатый планы, где фрейдовская жвачка и выход в мифологию, где, наконец, подтекст? Нет, нет, нет, даже подтекста нет, один голый текст. Никаких айсбергов, когда громадная масса льда скрыта под водой, а наружу торчит заснеженный островершек. Все на виду, все папоказ.

«Неглубоко копает», — прочел я где-то о Хейли. Возможно. Но это не большой грех, чем копать всегда слишком глубоко. Не все корни уходят в глубь почвы, иные залегают совсем близко к поверхности и даже торчат наружу.

Совершенно необязательно отыскивать в основе человеческого поведения Эдипов комплекс, младенческие фобии, детские табу, приводящие в зрелом возрасте к болезненным торжествам. Любовь, инстинкт самосохранения, чувство долга, профессиональная честь, желание самоутвердиться — эти, быть может, поверхностные психологические импульсы кажутся убедительными и достаточными в структурах Артура Хейли. И если б вдруг оказалось, что управляющий аэропортом Мэл Бакерсфельд в раннем детстве воцарился к собственной сестре, это ничего не прибавило бы ни к образу главного героя, ни к трагедии, разыгравшейся в воздухе и на земле, когда злоумышленник попытался взорвать «Боинг-707», — даже скорее отняло бы.

В чем в чем, а в крепком профессионализме Артура Хейли не откажет и злейший враг. Он человек умный, сведущий в своем ремесле, дотошный, очень современный, великолепно ориентирующийся в нашем перегруженном вещами и ображениями веке. И, как опытный мастеровой литературного цеха, умеет точно рассчитать силу воздействия каждого образа, каждой сцены, у него нет пустот, как нет и лишнего, все служит главной цели — не назойливо, не искусственно, а так, словно рождается из самого себя. И будь ему нужно, он сумел бы ввести глубже скальпель анализа, это вовсе не так трудно в наше просвещенное время. Вместе с тем в прозе Артура Хейли не тесно и не душно, как то бывает в слишком расчисленном и плотно обставленном литературном пространстве, он всегда сохраняет некий люфт, а это немалое искусство.

Хейли строит свой мир, подчиняясь им же самим установленным законам, строит умело, расчетливо, крепко, хотя и не-

сколько шаблонно. Его ничуть не смущает, что почти в каждом романе должна быть очаровательная девушка, которую непременно постигнет беда, наносящая тяжкий ущерб главному ее достоянию — красоте. Так, в «Аэропорте» единственным человеком, изуродованным взрывом, оказывается красавица стюардесса Гвен; в «Отеле» страшную черепную рану получает в сорвавшемся лифте прелестная Додо, а в «Окончательном диагнозе» ампутируют пораженную саркомой ногу невесте героя. Конечно, такое однообразие — слабость писателя, но Артура Хейли это ничуть не заботит. Читая его романы, мы не замечаем повторов, охваченные состраданием и жалостью; а то, что нас поймали вроде бы на старую приманку, обнаруживаем лишь при последующем анализе. Но Хейли пишет свои романы, чтобы их читали, а не анализировали.

Повторяется из романа в роман и главный герой. Нет сомнения, что это один и тот же человек, исполненный мужественного рвения, желания сломать привычную рутину в порученном ему деле (по-нашему — новатор), ему все мешают, но он не утрачивает бодрой веры в окончательную победу, хотя и знает минуты усталости, разочарования. Он лишь меняет строгий пиджак гостиничного администратора на белый халат хирурга или форму аэродромного служащего.

Нет, Хейли не дарит нас ни множественностью образов главных героев, ни многообразием психологических ситуаций. Меняется обстановка действия, внешний антураж, но внутреннее наполнение сцен, эпизодов, как и суть не слишком затейливых поворотов, не меняется. Нельзя сказать, что он великий мастер закручивать сюжет, куда ему до Эллери Куина! Да, его вещи хорошо и прочно выстроены, но любой средней руки сценарист владеет этим пужным, но незатейливым конструкторским навыком. Есть несколько четких линий, которые все пересекутся в конце; эпизоды, образующие эти линии, строго чередуются, обрываясь неизменно на самом интересном месте. Нехитрую эту науку Хейли знает

пазубок. Поэтому его романы так легко поддаются экранизации. Собственно говоря, в каждом из них лежит законченный сценарий, который просто надо извлечь наружу, убрав лишнее литературное мясо.

Любопытно, что появившийся после знаменитого фильма «Аэропорт» — экранизации одноименного романа «Аэропорт-75», сделанный по обычным рецептам Хейли и тоже прошедший на экранах всего мира с громадным успехом, не имеет к писателю никакого отношения. Сценарий сработали профессиональные голливудские кинодраматурги, а Хейли получил круглую сумму за право использовать в названии слово «Аэропорт»; как бы гарантирующее в глазах зрителей высокое качество, да несколько фамилий его героев. Хейли сам рассказал мне об этом с милой улыбкой, добавив: «Наверное, будет и «Аэропорт-76», и 77, и 78...» Можно понять, почему иные литераторы бледнеют от гнева при одном упоминании о счастливчике Хейли. Но в мире капитала никто денег на ветер не бросает, и если кинокомпания идет на уплату автору громадной суммы лишь за название и несколько имен, то какой же могучей притягательностью обладают романы Хейли!

Но это к слову. Так в чем же сила Хейли? Конечно, он умеет создавать в своих романах острые, напряженные, полные драматизма ситуации, но есть и по сильнее сюжетчики, однако им не спилась его популярность. Ему даются женские образы, исполненные очарования, причем не поймешь, чем он этого достигает. Вот две молодые женщины из «Аэропорта»: Таня Ливингстон, администратор, и Гвен Мейген — стюардесса, обе прелестны, каждая на свой лад, а ситуации, в которых они показаны автором, банальны, и поведение их незамысловато, почти плоско. Исключение составляет эпизод со взрывом, где Гвен подымается до героизма, но к этому критическому моменту образ уже слеплен. Как?.. Точно подмеченное женственное движение, жест добра и грации,

милое словечко, но главное — и это уже принадлежит магии искусства — какая-то удивительно хорошая, верная авторская интонация.

Думается, самая большая удача Хейли — глупенькая с виду Додо, любовница гостиничного магната О'Кифа. Люди, встречающиеся с Додо на страницах романа, испытывают к ней необъяснимое чувство благодарности, удивляющее грубого и властного О'Кифа. Ведь молчаливая Додо открывает рот лишь для того (исключения редки), чтобы сказать какую-нибудь глупость или чепуху, но самое присутствие этой молодой, прелестной и доброй женщины облагораживает окружающее свойственным ей от природы аристократизмом души. Читатель тоже испытывает благодарность к Додо за то, что она есть, и к автору, познакомившему ее с нами. И снова трудно понять, чем достигается такой художественный эффект. Додо с самого начала отведена роль очередной жертвы: неисправный лифт должен развязать много узлов, помочь автору избавиться от дурных, преступных персонажей (Хейли претит отдавать своих героев в руки правосудия), а весь эмоциональный заряд придется на долю Додо. Но, странное дело, образ не становится функциональным, ничего не теряет в своей жизненности и очаровании. Ты любишь эту славную женщину, ловишь ее тихое дыхание, улыбку, наивную радость от малых подарков жизни, ты смертно сострадаешь ей и преисполняешься великой признательности к автору, не только сохранившему Додо жизнь, но и обручившему с прозревшим миллионером-самодуром О'Кифом, в котором она, мягкая, слабая, недалекая и прекрасная, пробудила сердце. Но было бы глупо утверждать, что романы Хейли замечательны женскими образами. Додо — милое и странное чудо, остальные женские образы, даже самые удачные, играют служебную роль.

Некоторые читатели уверяют, что ценят Хейли лишь за обилие информации. Это культурные читатели, проведавшие,

что склонность к Хейли — признак не очень взыскательного вкуса, а любить надо Апдайка или Чивера. Нет сомнения, что Апдайк и Чивер куда более глубокие писатели, нежели Артур Хейли, но, мне думается, человеческое сердце так просторно, что в нем может найтись свободный уголок и для Хейли, если не отказывать ему предвзято в праве на постой. Однажды я разговорился с двумя немолодыми, умными, начитанными врачами. Они утверждали, что Хейли — единственный писатель без медицинского образования, который не врет в материале и даже врачам открывает что-то новое в их профессии. «Вот почему мы накинулись на «Окончательный диагноз». Обилие информации — это так важно в наше время».

Эскулапы лукавили, как лукавят и все остальные читатели, уверяющие, будто Артур Хейли привлекает их лишь скрупулезным знанием того дела, которое описывает, то есть обилием информации. Что и говорить — информация — великая вещь, особенно в исходе нашего века, задавленного переизбытком фальшивых ценностей, демагогии, безответственных утверждений, ложных чувств, интеллектуальных и нравственных ломаний. Что может быть лучше, чище и миротворней правдивой и щедрой информации? Это дает точку опоры, помогает ориентироваться в чудовищно усложнившейся действительности, более того — повышает шанс уцелеть.

Кстати, обильная информация всегда привлекала людей, этим объясняется широкая известность в начале века такого сухого писателя, как Пьер Амп, которого не без оснований считают создателем «производственного романа». Но, очарованный буржуазным прогрессом, Амп начисто потерял человека в нагромождении техники. Равнодушное, а там и презрительное отношение к простому человеку — «придатку машины» — неизбежно привело Ампа к моральной деградации — в пору войны он стоял за сотрудничество с гитлеровцами.

Так почему же все-таки я не верю тем, кто утверждает, что в романах Хейли их привлекает лишь обилие информации?

Есть профессии, которые интересны всем (оставим в стороне романтические профессии художника, писателя, композитора, космонавта и водолаза). В тот или иной период нашей жизни грозная фигура врача вытесняет милые и жалостные образы наших близких. Нам интересно все про авиацию не потому, что в каждом из нас дремлет Икар, но время от времени мы вверяем жизнь непрочной и ненадежной серебряной птице. Но даже люди, часто бывающие в командировках и зависящие от временного пристанища, в подавляющем большинстве ничуть не интересуются гостиничным делом, что не мешало «Отелло» стать одним из самых знаменитых романов Хейли. Оказывается, и врачи читают взахлеб этот роман, хотя едва ли открывают там что-либо интересное для своей профессии. Не надо так уж преувеличивать тягу людей к самодовлеющей информации. Литературная репутация на Западе острого, а порой ядовитого Орвела куда выше, нежели репутация Хейли, но его книга о французских ресторанах, наполненная исчерпывающей информацией — он годы проработал на кухнях больших и малых парижских кабаков, книга, отлично написанная, но скудно населенная, безлюдная, имела скромный успех и довольно скоро была забыта...

Но почему все-таки такой успех выпал Артуру Хейли, а не другому американскому или европейскому писателю, знающему жизнь не хуже автора «Аэропорта», не уступающему ему в обилии информации и превосходящему художественным даром?

Мне вспоминается разговор Анатоля Франса с английским литературоведом, записанный Сенором. Добросовестный, хотя и несколько туповатый англичанин во что бы то ни стало хотел узнать у мэтра, что же является главным критерием великой литературы. Насмешливо, но и заинтересованно Анатоль Франс начинает разбирать те мерилы, которые обычно прикладывают к литературным произведениям, претендующим на совершенство. Он поочередно рассматривает искус-

ство композиции, чистоту и ясность стиля, наличие крупных и ярких характеров, богатство идей... И вот оказывается, что произведения таких гигантов, как Рабле, Вольтер, Расин, Корнель, Руссо, Мильтон, Шекспир, да и многих других, не подходят под эти мерки: где хромает композиция, где темен и непроворотен язык, где герои на разные лады варьируют характер самого автора, где скудна и бапальная мысль. Прямо бери метлу и гоги всех этих корифеев с литературного Олимпа. Не пугайтесь, успокоил Франс оторопевшего англичанина, они все останутся там, куда вознесло их человеческое поклонение. Ибо есть лишь один критерий, и творения ему отвечают. Этот критерий — любовь к людям.

Понятие «великий» весьма условно, а вот мерило литературной ценности, предложенное Франсом, превосходно. Приложите его к Хейли, и вы поймете тайну поставщика бестселлеров. Любовь к нему читателей — это ответное чувство на его любовь к ним. Хейли искренне и горячо любит людей, он не заносится и не форсит перед ними. И потому он им так близок и дорог. Простые люди узнают в нем своего, не учителя, не проповедника, не пророка, а живого, теплого, доброго человека, радующегося тем же радостям, что и они, болеющего теми же болями, верящего в те же ценности, подверженного тем же слабостям.

Да, он счастливо наделен бесценным даром любви к людям, ко всем людям без различия чипов, званий, цвета кожи, жизненного положения. Это проявляется во множестве трогательных мелочей: он любит хорошо угостить своих героев, дать им вовремя чашечку горячего кофе, сигарету, глоток холодного виски. Даже к плохим, грешным, он мягок и снисходителен, ибо понимает изнутри их беду, их слабости, их заглапность и не встает в позу обличителя порока. Даже для злоумышленника Герреро, пытавшегося взорвать самолет, нет у него гневных слов, он видит в нем горького неудачника, жертву беспощадных жизненных обстоятельств. Он про-

щает гостиничному вору по кличке Ключник Мили все прегрешения и дает скрыться с добычей лишь за то, что в разбитом лифте тот забыл на миг о себе, о своей безопасности и стал помогать тяжело пострадавшей Додо. Даже в невольном убийце герцоге Кройдоне он обнаруживает несчастного, погубленного неудачной любовью человека, ибо в этом алкоголике и вырожденце сохранилась способность к раскаянию. Вообще заслужить прощение у Артура Хейли довольно легко, ему не занимать человечности.

Свой самый высокий праздник Хейли празднует, когда в неважнецком человеке, вроде самовлюбленного, спесивого пилота Димиреста или ханжи и самодура О'Кифа, пробуждается свет добра.

Казалось бы, Хейли подчеркнуто внимателен к материальному обставу жизни, на самом же деле он прежде всего внимателен к людям, населяющим его романы, даже к третьестепенным персонажам, возникающим на краткий миг. И непременно подметит в них что-нибудь хорошее. Беглая реплика, почти обмолвка, случайный жест, а на вас мимолетно дохнуло прелестью человека. Возник на мгновение из бурана, тяжело нарушившего привычную жизнь аэропорта, водитель снегоуборочной машины, и хотя мы больше не встретимся с ним, да и сейчас не успеваем взглянуть в его черты, Хейли находит нужным намекнуть, что этот работник бухгалтерии, севший в трудный час за баранку, поступил так не ради сверхурочных, в чем сам себя уверяет, а из благородных побуждений. Золотое человечье сверкнуло сквозь снежную пелену и вновь скрылось в ней, но у читателя стало теплее на сердце.

Мне вспоминается один давний разговор с А.Т. Твардовским. Общеизвестно: когда в рассказе или повести появляется проходной персонаж, нуждающийся в обозначении, самое простое и верное для закрепления в памяти читателя — надеть его каким-нибудь изъяном: косоглазием, хромотой, заиканием, гнилым зубом, подловатым прищуром. Я уже не по-

мню, какую пакость «подарил» я своему персонажу, но Твардовский возмутился: «Откуда такая недоброта? Взял да и обхамил ни с того ни с сего незнакомого и, может быть, хорошего человека!» Вот оно как: писатель должен верить, что его герои — живые люди, а не глиняные фигурки, которые он сам слепил и сам сломал. Артур Хейли верит в это и сознает свою ответственность перед теми, кого извлек из небытия.

Особенно примечателен образ безбилетной пассажирки миссис Квопсет. Как легко было бы сделать из нее эдакую зловредную старушонку; жуликоватую, настырную, склеротически упрямую. Но Хейли, мучимый тем, что представил пожилую женщину, мать взрослой дочери, в непрезентабельном виде, быстро обнаруживает в ней житейскую мудрость, доброе сердце, незаурядное мужество, спокойный ум и даже готовность к самопожертвованию. И создает едва ли не самый неожиданный и живой образ в романе.

Хейли очень трудно быть жестоким, даже когда вся логика повествования заставляет его быть таким. Гвен изуродована взрывом, красота ее погибла, и все же случившийся в самолете врач бросает вскользь, что пышешняя хирургия творит буквально чудеса и пластическая операция, возможно, сохранит девушке привлекательность. Это очень характерно для Артура Хейли. Западные читатели натренированы в жестокости, они как-нибудь переживут и несчастье, обрушившееся на Гвен, но сам Хейли не переживет. Это он себя утешил словами врача.

Я мог бы без конца приводить примеры писательской доброты Артура Хейли, но, полагаю, сказанного достаточно.дыхание хороших людей создает удивительно теплую атмосферу в его романах. Как холоден, страшен, колюч и неприютен мир почти у всех видных американских писателей — от замолкшего Сэлинджера до говорливого Трумэна Капоте! А мир Хейли, что бы там ни происходило, согрет человеческим теплом, согрет надеждой.

Конечно, у него встречаются персонажи, на которых не распространяется авторская доброта, ну хотя бы жулик-юрист Фримантль. Фальшивый пафос лжеборца за гражданские права оттеняет трагическую серьезность происходящего на борту поврежденного взрывом «боинга». Так и должно быть, иначе доброта Хейли не представляла бы никакой ценности. Он вовсе не буколический писатель, не певец золотого века и отнюдь не заблуждается в существовании той цивилизации, которой принадлежит.

Но другим носителям отрицательного начала Хейли охотно позволяет спастись прозрением любви, жалости, сострадания, чем-то забыто человеческим, что вдруг поднялось со дна души. Подобное случилось с миллионером О'Кифом, когда сорвавшийся лифт изуродовал бедную Додо. Бездушный воротила, уже подыскавший замену прискучившей любовнице, вдруг понимает, как дорога ему тихая, покорная Додо, и что все отели, которые он купил и еще купит, все его чековые книжки, акции, хитроумные коммерческие планы, расчетливая любовь голливудских див не стоят и полушки перед комком родной страдающей плоти. И в то высшее мгновение своей алчной, холодной жизни О'Киф обретает прощение.

Доброта Хейли ввела кое-кого в заблуждение. Его поспешили обвинить в «асоциальности». Страшный жупел — убивает писателя наповал. Но разве не социален «Отель», где так прямо, сильно и бескомпромиссно поставлены темы расовой сегрегации, борьбы с картелями и убивающей всякую индивидуальность стандартизацией американской жизни? Конечно, его критика американских порядков никогда не подымается до разоблачительного пафоса Вулфа, Фолкнера, Стриндберга, но и в грехе социального безразличия он тоже неповинен.

Не стану утверждать, что все эти соображения промелькнули во мне «с быстротой молнии» на прощальном приеме. Мне

просто по-человечески стало жаль Хейли и захотелось что-нибудь для него сделать. Я сказал об этом его переводчице.

— Ох ты, ух ты, пожалел бедняжку Хейли! — насмешливо сказала она. — Ничего, он справится. Допускаю, что он и вообще не так уж сильно страдает, как нам с вами кажется. — В последних словах пробилося ехидство. — Но если вы действительно хотите что-то сделать для несчастенького Артура — пригласите его в гости.

Так далеко мое сострадание не заходило, и я спросил неискренне:

— А зачем ему это нужно?

— Бросьте! Вы же прекрасно знаете, что самое интересное за границей — это ходить в частные дома. Только так и можно хоть что-то увидеть.

— «Быт и нравы туземцев Подмоскovie» — глава из путевого дневника Артура Хейли. Не светит!..

— Вы сказали наугад, но попали в точку. Шейла, его жена, написала книгу «Я замужем за бестселлером». Книга находится в производстве, но Шейла решила задержать ее, чтобы пополнить впечатлениями об этой поездке.

— Совсем хорошо!..

— Возьмите и сами напишите об Артуре, — нашла переводчица. — Вроде того, что вы публиковали в «Иностранной литературе».

— Но тогда я брал зверя в его логове.

— А теперь пустите зверя в свое логово. Для разнообразия.

Не откладывая в долгий ящик, я тут же пригласил супругов Хейли и молодую учительскую чету. Переводчица взялась обеспечить доставку гостей на тихий берег Десны подмосковной.

Не стану утомлять читателей описанием встречи и долгого русского застолья — Хейли и его спутники, уже натрепированные щедрым грузинским гостеприимством, с честью выдержали наше тяжеловатое хлебосольство, — скажу лишь

о том, что несколько нарушило и углубило образ литературного супермена.

Едва мы сели за стол, он совершил ребяческий промах, обнаруживший и недостаток наблюдательности, и странную наивность, и неумение уловить дух окружающего. Попросив слова, он разразился таким трескучим, «высокоидейным» и тривиальным спичем-тостом, который еще мог кое-как сойти на торжественном приеме, но в частном доме был вовсе неуместен. Гости оторопели. Но я сразу понял страшное заблуждение Хейли. Он решил, что присутствует на замаскированном официальном мероприятии.

Мы все же выпили его отрезвляющий тост, а затем я сказал:

— Артур, здесь не загородный филиал Союза писателей или Дома дружбы. И никто не указывал мне принять вас. Тем, что вы находитесь здесь, вы обязаны лишь моему литературному и человеческому любопытству. Говорю это единственно для того, чтобы вы расслабились, спокойно ели и пили и не томили себя «междуусобными», как шутил один наш классик, соображениями.

— Это правда? — проговорил он, растерянно хлопая ресницами.

Интересно, что его жена и оба преподавателя не впали в эту ошибку, сразу уловив атмосферу дома, а он, знаменитый наблюдатель и человекознатец, еще долго пребывал в сомнениях.

Лишь возле суточных щей с грибами и кашей, убежденный их сытой неофициальной духовитостью в домашнем характере встречи, Хейли окончательно оттаял. Но глубокое недоумение, зачем понадобилось советскому литератору гордиться весь этот огород ради незнакомого человека, слегка туманило ему чело.

Артуру Хейли не так-то просто раствориться в поверхностном застольном общении, он человек совсем непьющий. За весь долгий обед он выпил лишь рюмку водки и полбокала красного вина. Он, как настоящий спортсмен, неизменно

в режиме и не позволяет себе никаких излишеств. Натренированный, прекрасно сохранившийся человек, всегда нацеленный на работу и серьезную жизнь, он не нуждается даже в коротком забвении, ему достаточно хорошо в дневной ясности мыслей и чувств.

Хейли живет по четкому расписанию: год собирает материал, два года пишет. Он очень смеялся, когда я сказал ему о бытующем у нас представлении, будто он влезает в кожу каждого из своих героев.

— Что за чушь? Тогда бы я написал от силы два-три романа за всю мою жизнь, ведь для того, чтобы изучить только профессию врача, требуется около десяти лет. А я как-никак написал уже семь романов и надеюсь удвоить это число. Я собираю материал, как и все писатели: хожу, смотрю, разговариваю с людьми, стараюсь понять их человеческую и профессиональную суть.

Имя Хейли окружено легендами. И я не знаю, подлинную историю первого успеха своего мужа рассказала нам Шейла или фольклорный вариант:

— Он был безвестен, когда канадское телевидение поставило его пьесу. Возможно, пьеса прошла бы, как и другие подобные пьесы, ничего не изменив в судьбе автора, если б не счастливый случай. Неожиданно отменили трансляцию выдающегося хоккейного матча, собравшего у экранов телевизоров всю Канаду, и вместо этого дали пьесу мужа. Не оправившиеся от шока болельщики посмотрели пьесу, и на другой день Хейли проснулся знаменитостью.

Ни сам Хейли, ни его жена не скупилась на сведения о его жизни, они привыкли к любопытству окружающих и журналистской ненасытности. Делали они это хорошо: без ломания и скрытого самодовольства, но и без фальшивого, лицемерного скромничания; они понимали законность интереса к необычной судьбе хронического бестселлера и работали на совесть. Я понял, как хорошо быть издателем Хей-

ли, членом его семьи, дорожным спутником, вообще любым человеком, находящимся с ним в деловых, родственных или дружеских связях. Он так же точен и ответствен в своем поведении, как и в своей литературе. Он не создает искусственных трудностей, чтобы потом их мучительно преодолевать, он идет прямым, кратчайшим путем и в творчестве, и в быту, выгадывая для себя душевную свободу, внутренний порядок и время для внешней жизни, которую охотнее всего отдает путешествиям.

Хейли говорит о себе спокойно и просто, ничего не скрывает, да ему и нечего скрывать. Он родился в Англии, в бедной семье, и в четырнадцать лет «положился предел учености», как витиевато говаривал наш Лесков. Мечтал стать репортером, не вышло, пошел на военную службу, в годы войны служил в авиации, затем переехал в Канаду, работал, писал рассказы, телепьесы. Роман «Рейс поль восемь» (в соавторстве с Д. Кастлем) стал первым его бестселлером. Заодно выяснилось, почему уроженец доброй старой Англии, канадский гражданин и житель вечнозеленых Багамских островов считается американским писателем. Действие почти всех романов Хейли происходит в США, «поскольку эта страна дает богатый материал для наблюдений». Не скрыл Хейли и свою рабочую норму, две страницы в день. Я думал — больше, но сила Хейли в том, что эти две страницы он «выдает» регулярно, а не спорадически — в пору рабочего запоя, на смену которому приходит затяжное безделье.

В целом же его разговор в точности соответствует тем интервью, которые он охотно дает представителям печати, радио, телевидения. Он не приоткрывает тайных дверей, — может быть, их просто нет. Он говорит именно то, чего от него ждут, не желая ни разрушать, ни усложнять сложившийся у людей образ, лишь уточняет детали. Его вполне устраивает репутация писателя, изучающего взаимоотношения техники и человека. Тем более что в подобном определении есть истина, но не вся. Хей-

ли это мало волнует. Он и вообще не любит литературных разговоров. Литературу надо делать, зачем о ней говорить? «Специально литературой я никогда не занимался», — утверждает Хейли. У некоторой части западных писателей, особенно тех, кого отвергает эстетствующая критика, появилась в последнее время тенденция отрешиваться от литературы. Известный датский поэт и романист Шариберг бросил мне гневно: «Мне нет дела до литературы, я — агитатор!»

Отношение Хейли к литературе я понял так: это ремесло (не в нынешнем уничижительном, но и не в средневековом, цеховом — возвышенном смысле, а где-то посередине), серьезное, важное, полезное и прибыльное ремесло, которое требует всего человека, а болтать о нем — пустая трата времени. Пусть этим занимаются неудачники.

Артур Хейли не посягает и на вашу душевную жизнь, не стремится к установлению тесного контакта, до чего так охочи русские люди, с него достаточно внешнего, прохладно-уважительного общения.

К концу очень затянувшегося, хотя и не принесшего никаких открытий вечера мы все выдохлись. Бодр, свеж и юн оставался один Хейли. Он хорошо, но в меру поел, почти ничего не выпил и был готов хоть сейчас на ринг. Спортсмен, фаворит, победитель...

О последнем, завершающем штрихе в цельном портрете Артура Хейли стало известно от водителя, отвозившего гостей домой. Выехав с нашей поселковой дороги на Калужское шоссе в свет встречных фар, водитель заметил, что Хейли тщетно пытается пристегнуть ремень. Надо сказать, что ремни на «Волгах» не прижились, и тот ремень, с которым возился Хейли, давно уже болтался без дела, размочалился, съезжился, вроде бы сел, как после стирки. Замок тоже был испорчен, и все попытки дисциплинированного и осторожного Хейли, воспитанного большими американскими скоростями, пристегнуться ни к чему не привели.

Водитель сроду не видел такой растерянности, вскоре смеившейся яростной борьбой за жизнь. Хейли что было силы тянул ремень, подбирал живот к хребту, вертелся, сгибался, вжимался в кресло, боролся за себя так же цепко, как люди на поврежденном взрывом «Боинге-707». Думается, тут он по-настоящему узнал, что чувствовали его герои. Все было тщетно. Ох как не хотелось ему расставаться со своей прекрасной жизнью на темной чужой дороге, под темным чужим небом, окупотившим случайный, ненужный ему простор, столь далекий от милых вечнозеленых Багамских островов! У него хватило мужества и воли не пересадить на свое гибельное место кого-то из спутников, он остался до конца джентльменом и до последнего сражался с куском грязноватой твердой ткани. Лишь в городе он понял, что ему не одолеть ремня, и принял смелое решение катапультироваться без парашюта. Он поднял дверную кнопку, сжал ручку дверцы и левой ногой нащупал упор. Машина быстро продвигалась пустынными почными улицами, многие светофоры были уже выключены, оставшиеся торопились зажечь зеленый свет. Впереди возникло массивное здание аэро... гостиницы, еще немного удачи, терпения, выдержки — и вот колеса коснулись посадочной полосы. Спасен!.. Ему снова сказочно повезло. Будет завтрашний день, и много других радостных дней, и вечнозеленые Багамские острова...

Каким же счастливым человеком надо быть, чтобы так бояться смерти!

Простим ему, что он так счастлив, удачлив и богат. Он хороший и честный труженик в литературном цехе и доставляет людям много радости. Он помогает нам ориентироваться в этом сложном мире, придает твердости, веры в себя и в жизнь, а это дорого стоит на нашей изнуренной планете.

В поисках Лассила

Рассказ

I



е знаю, кому первому пришла в голову мысль создать книгу «Москва — Хельсинки» — счастливая добрая мысль, особенно в нынешнее тревожное, исполненное розни, недоверия, опасных намерений и термоядерной демагогии время, когда вновь потянуло дурным ветром «холодной войны». Правда, все это не отразилось на добрососедстве Советского Союза и Финляндии, дающем отрадный пример того, как могут строиться и развиваться отношения двух стран с различной социально-экономической системой. Но всякий добрый огонь, зажженный в печи для тепла и света, должен иметь пищу, чтобы не задохнуться, это касается и личных, и межгосударственных отношений. Для этого мало даже самых тесных торговых и экономических контактов: финские рабочие, техники и инженеры трудятся на новостройках Советской Карелии, строят нам дома и корабли, мы помогаем финнам с энергетикой, идет широкий обмен специалистами и учеными, но нужны связи, идущие от человеческого сердца, и тут слово имеют искусство и литература.

Без малого четверть века назад в составе большой туристской группы я объездил Финляндию и навсегда полюбил эту страну. Тогда в Хельсинки завязалось нечто такое, к чему мне

очень хотелось вернуться. Я думал написать о моем финском друге и коллеге по второй профессии (несколько сходной с первой, древнейшей — по кино). В рассказе «Вечер в Хельсинки», написанном сразу после первой поездки в Финляндию, этот друг, известный кинорежиссер, назван Николаем Лейно, пусть уж он останется под этим псевдонимом и в моих теперешних записках, так же как актриса — мадам Тейя и ее муж — инженер Костанен, самые близкие Николаю люди, которыми он щедро поделился со мной.

Лейно, работавший с помощью советских операторов над первой цветной финской картиной, узнал обо мне от них. Мы познакомились, и в ближайший вечер Лейно пригласил нас в ресторан, где мы встретили мадам Тейя и ее мужа, инженера по лесу. Вначале я принял их за молодоженов, такими влюбленными, горячими глазами смотрел Костанен на жену — милую, приветливую, артистичную в каждом слове и жесте, но уже прочно вступившую в нежно-грустную пору бабьего лета. Оказалось, они женаты больше восьми лет. Правда, по мнению Костанена, они и года не были вместе; он работает далеко на севере, она была занята на съемках, в киноэкспедициях (пока снималась), затем — в театральной школе, где преподает актерское мастерство. Он и сейчас вырвался всего на сутки: утром ему гнать на север свой «понтиак», сперва по мокрой, а там и по обледенелой дороге. Зато у него будет счастливая ночь, сказал он мне доверительно.

Я только открывал для себя «Науку дальних странствий» и был поражен такой откровенностью незнакомого человека, к тому же финна — об этом сдержанном, не терпящем пустой болтовни народе недаром говорят, что «финны молчат на двух языках». Но Костанен вскоре удивил меня поступком поистине самоотверженным.

Хорошо мы сидели. И главное — официант не говорил нам роковой, порожденной финским полусухим законом фразы, которой он уже осадил нескольких гуляк: «Вы доста-

точно приняла», — мы заказывали дорогой французский коньяк, а не водку, и соображения барыша преобладали над заботой о национальном здоровье. Но тогда я не слишком обременял себя социологическими изысканиями, заинтересованный тем, как расточительно губит Костанен в кабаке столь краткое время, отведенное ему на свидание с женой. И понял, что это высшее проявление любви. Жена без него никуда не ходит, а ей радостно застолье, музыка, киношный треск, это напоминает ей молодость, пору блеска и успеха. И Костанен, которому не терпится остаться с ней вдвоем, настолько живет ее чувствами, что даже не слишком мучается. Ей хорошо — больше ничего не надо! Уж не помню, каким образом нам подвернулся на язык «рошиколь» — замечательное и редкое лекарство от эндартериита, которым страдал мой отчим. На другой день ни свет ни заря меня разбудил померной портье. Меня спрашивают внизу. Спустившись, я увидел Костанена, в черном клеенчатом плаще, блестящем от дождя, с полей фетровой шляпы стекали струйки. Он жертвовал утренним теплом любимой, чтобы раздобыть лекарство в почной аптеке для едва знакомого человека. Он знал, лекарство нелегко достать, особенно приезжому, знал, что оно дорого, не по карману туристу, и совершил поступок, который в житейском смысле равен подвигу. Я мог отплатить ему только литературно — рассказом, исполненным признательной нежности.

Этот рассказ — «Вечер в Хельсинки» — много раз издавался, в том числе в Петрозаводске, на финском языке. Приезжавший в Москву на премьеры своих фильмов и кинофестивали Лейно говорил мне, что рассказ и ему, и его друзьям понравился. Мне никогда не удавалось угодить прообразами героев своих рассказов и фильмов. Люди, оказывается, неизмеримо более высокого мнения о себе, чем они дают почувствовать это окружающим. Прототипы, как правило, ненавидят своих «певцов», хотя редко признаются в этом откры-

то. А тут вдруг я угодил, если только Лейно не обманывал меня, жалеючи. Но последнее маловероятно — это легко было проверить. Финляндия не за горами, и ничем иным, кроме случайности, нельзя объяснить, что попал я туда лишь через четверть века. А когда попал — в надежде вернуться к старым героям, изобразить их сегодняшний мир — пусть будет там печаль старости, но старость таких людей достойна и поучительна, мудра и нежна, — режиссера Николая Лейно уже не было на свете. Он скончался незадолго до моего приезда, а я не знал этого. Лейно был далеко не молод, он родился еще до Первой мировой войны, но был крепок, вынослив, темноглаз, с тугой кожей и белыми зубами, к тому же его творческая жизнь в кино началась довольно поздно, это усиливало во мне ощущение ровесничества, а нам еще рано уходить. Где сейчас мадам Тейя, никто сказать не мог. Да, как же... была, была такая... талантливая актриса вроде бы, но ведь она так давно не играет... На Западе удивительно быстро забывают своих кумиров, а Запад начинается с Финляндии. Никто не брался найти мою актрису, ну а разыскивать инженера по лесу, вышедшего, очевидно, на пенсию, — дело вовсе безнадежное. К тому же их наверняка не было в Хельсинки. Такие люди, уйдя на покой, стремятся ближе к природе, в которую им вскоре предстоит возвратиться...

2

Так и остался я без своих героев и без своей темы. Мне было грустно, но то не было литературной грустью, я понял, что всегда жил надеждой на встречу с Николаем Лейно и его друзьями. Еще одно доброе намерение не осуществилось. Но когда я смирился с уходом Лейно, то почувствовал, что у меня есть еще дело в Хельсинки, и очень скоро это «дело» обрело

название. Мне давно не давала покоя горестная судьба одного из моих любимых писателей, автора гомерически смешного романа «За спичками», переведенного на русский язык другим остроумнейшим писателем, Михаилом Зощенко.

Я познакомился с Зощенко в последние годы его жизни. И познакомил нас красивый, милый, совсем еще молодой тогда человек, Дима Поляновский. И его уже нет. Он был редактором милицейского литературного альманаха в Ленинграде, и когда умер, гуд и треск сопровождавших похоронную машину мотоциклов поглотил все остальные шумы города, — обыватели думали, что хоронят важного генерала. Мой очерк становится сродни поминальнику: почти все, о ком я пишу, уже покойники, дай Бог, чтобы Костанены пользовались добрым здоровьем. А ведь не так давно покинувшие мир люди были живы, они разговаривали, смеялись, сердились, пили вино, радовались и грустили — как дивно полон был мир и как не умели мы ценить эту полноту: почему были так рассеянны, безразличны, ленивы к их близости, к свету их глаз? Но ведь столь же неприметливы и ленивы к нашему пребыванию в мире и те, кому дано нас пережить. Люди, будьте пристальней друг к другу! Это неверно, будто мир не скудеет, он явно не возмещает убыли, не в количественном, а в качественном смысле. Нет Михаила Михайловича Зощенко и не будет. А тогда он был, и мы пили коньяк у него в доме на капале Грибоедова.

— Я вспоминаю, какой вы были красавец! — со странным выражением печали сказал Зощенко Поляновскому, едва мы перешли в гостиную из полутемного вестибюля.

— Вы хотите сказать, что я сильно подурнел? — улыбнулся тот своим прекрасно очерченным ртом. — Это неприятно, но я не дама, как-нибудь переживу.

— Нет, вы все еще красивы, — совершенно серьезно, без тени улыбки, с той же непонятной печалью продолжал Зощенко. — Но вы были чудо как хороши! Вы были похожи на юношу Возрождения.

— Старею, — опять улынулся Поляповский, являя завидное самообладание, и я понял, почему он преуспел в мужественном деле милицейской литературы.

— Пьете? — сочувственно-брезгливо спросил Зоценко.

— Что вы, Михаил Михайлович! Я никогда не служил Лиэю, как выражался Аполлон Григорьев, а сейчас мне и во все нельзя. Сердце, легкие — я очень часто болею.

— Вы должны с этим справиться, — тепло и серьезно сказал Зоценко. — Вы же совсем молодой человек... И такой красивый... — Он посмотрел на бутылку коньяка, которую я поставил на стол. — Мы должны это пить?

— Конечно, — сказал Поляповский. — Даже я вас поддержу.

— Не помню, когда я в последний раз пил коньяк... Правда, водочки, кофьячки, закуськи никогда не были по моей части... Найдутся ли подходящие рюмки?.. — Зоценко беспомощно огляделся.

Квартира с мебелью в белых полотняных чехлах, наглухо закрытым буфетом красного дерева, зашторенными окнами, вся какая-то «пераспакованная», казалась нежилой. Можно было подумать, что ее только что получили со всей обстановкой и не успели наделить собственным уютом. Конечно, дело было в другом: стоял июль, и семья Михаила Михайловича уехала на дачу, а он остался в городе, среди захлепной, копящей пыль в складках белых балахонов мебели и всего враждебного его малой житейской приспособленности тяжеловесного быта, в который он так и не сумел вписаться.

Подергав дверцы буфета и, к своему удивлению, открыв их, Михаил Михайлович достал три разнокалиберных бокальчика, долго, задумчиво их разглядывал, потом вернул на место, погрузил руку в темное нутро, нашел три маленькие рюмки и поставил на стол.

Постепенно Зоценко обретал смелость в обращении с материальным миром. Он довольно уверенно извлек из буфета половинку засохшего лимона, сахарницу, маленькую серебря-

ную ложечку и такой же пожичек. Немного подумав, пашарил в ящике старый ржавый штопор с деревянной ручкой, похожий на столярный инструмент. Поляновский изящно — не по навыку, а по ухватистой ловкости пальцев первоклассного бильярдиста — ввинтил штопор в гнилую пробку и с чмоком извлек ее, не дав раскрошиться. Опасливо и отчужденно следивший за его действиями, Михаил Михайлович успокоился: бутылка не взорвалась, не разлетелась на тысячу осколков, золотистый напиток потек в рюмки, затем — после молчаливого, взглядом, тоста — приятно ожег пищевод.

С приметным облегчением поставив рюмку на стол, Зощенко вернул к теме здоровья, которая всегда занимала его. Он говорил, что человек может в очень широких пределах управлять своим здоровьем, если будет относиться к нему сознательно и ответственно. Для этого мало не причинять ему зла пьянством, курением, обжорством и прочими излишествами, надо уметь анализировать свое состояние — физическое и душевное, что, кстати, неправомерно разделять. Человек должен отчетливо, без самообмана знать, что в нем происходит, тогда он сможет управлять своим здоровьем. В сущности говоря, он развивал свои давнишние излюбленные мысли, известные еще по «Возвращенной молодости» и первой части «Перед восходом солнца», — со второй частью этой книги мы познакомились куда позже. Он говорил, конечно, для Поляновского, повторяя то, что годы и годы внушал самому себе. Он прошел трудную школу самовоспитания и научился смотреть правде в глаза, как бы жестока она ни была.

— Это все не пустые слова, — говорил он. — Я тот человек, который растянул свою жизнь. Она должна была кончиться куда раньше.

— Ну что вы, Михаил Михайлович! — взметнулся Поляновский. — Вы едва шагнули за шестьдесят!

— Это немало. А для меня — так и очень много. Я живу сейчас чужую жизнь. Ведь я вроде той пробки, которую вы

каким-то чудом извлекли. У меня большие легкие, ни к черту не годные сердце и сосуды. В мировую войну я был отравлен газами, в гражданскую — навсегда испортил пищеварение. Я тяжелый невропат. У меня была нелегкая жизнь. Я никогда не думал, что доживу до старости, хотя очень хотел дожить. Мне казалось интересным побывать во всех возрастах. Я поставил себе такую цель и добился ее. Старость очень интересная пора, я испытал ее и могу спокойно уходить. Поверьте, это не рисовка. Вот сидит старик, пьет коньяк, как гусар, в компании молодых людей, и старик этот — я. Разве можно было вообразить такое четверть века назад? Я был полутрупом. Но я взялся за ум, сознательным и твердым усилием продлил свою жизнь. Теперь я спокоен.

— «Как мне на сердце легко и спокойно!..» — очень музыкально пропел Поляповский.

Зощенко прислушался.

— Чье это?

— Шуберт.

— До чего хорошо... и до чего понятно... — Тонкой смуглой рукой Зощенко сам разлил коньяк по рюмкам. — В разное время разное может помочь человеку выжить... — Он говорил тихо, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри него, к слабой работе изнемогающего организма. — Но всему есть предел.

— А правда, что смех такая здоровая штука? — Поляповскому явно хотелось изменить настрой встречи.

— Понятия не имею, — пожал плечами Зощенко.

— Я был однажды на вашем авторском вечере в Политехническом музее. — Две рюмки коньяка вернули мне дар речи. — Избранная публика сидела на сцене, среди других — Ильф и Петров. Оба изнемогали от смеха. Петров буквально падал со стула. И я подумал тогда, что он очень здоровый и счастливый человек.

— Я помню этот вечер, — сказал Зощенко. — Ильф тоже хорошо смеялся, просто у него был другой смех — в себя. К сожалению, это не прибавило ему здоровья.

— А сами вы ни разу не улыбнулись. Удивительно, как вам это удается?

— А я отсмеиваюсь, пока пишу. Хохочу буквально до упаду, до слез. И потом мне уже не смешно. У меня где-то есть об этом.

— Да, — вспомнил я и вдруг перестал верить искренности его признания.

Уж слишком серьезным, до печали серьезным было его лицо, оно не годилось для смеха. Ну, для улыбки — куда ни шло, морщинки в углах тонкогубого рта были следами улыбок его шестидесятилетней жизни, но представить себе его хохочущим невозможно.

— Вы как-то сказали мне по телефону, что Майю Лассила помог вам уцелеть, — вспомнил Поляповский. — Это ваши буквальные слова. Я думал, что вы имели в виду его юмор.

— Нет, свою переводческую работу...

— В первом издании не было указано фамилии переводчика.

— Какое это имеет значение? — пожал плечами Зощенко. — В тех жизненных обстоятельствах важно было что-то делать, зарабатывать на жизнь. Я взялся бы за что попало, но мне достались вещи на редкость талантливые. Радостно талантливые и бодрые... Нет, конечно, Лассила помог мне больше, чем я сейчас говорю. Страшное животное человек: у меня недавно вышел однотомник, и я сразу стал неблагодарным.

— А ведь все догадались, что это ваш перевод, — заметил я, — там было клеймо мастера: портной Кеннонен, мотающийся по избе в одних подшташиках. Это типичный Зощенко.

— А я уже не помню. — Намек на улыбку тронул уголки губ.

Я сказал Михаилу Михайловичу, что иные его рассказы знаю наизусть, как стихи. Он принял это признание не то чтобы холодно, но равнодушно, как любезное и ненужное преувеличение. Затем, переварив то, что представлялось ему неуклюжим комплиментом, сказал чуть неуверенно:

— Но вы сами-то пишете по-другому? — И тут же, что-то вспомнив, твердо добавил: — Вы многословны.

Покорно, со вздохом, я подтвердил его правоту.

— Зачем вам это надо? — поморщился Зощенко. — Ведь есть пушкинская проза. Ничего лишнего, каждое слово на месте. Это ли не образец?

Я сказал, что читал его опыт в пушкинском роде. Там была зловещая шутка про старого патриота времен первой Отечественной войны, придумавшего страшную месть Бонапарту. Злодея надлежало изловить, посадить в клетку и лишить пищи — от голода он постепенно съест самого себя. Стилистически то был чистейший Пушкин «Капитанской дочки».

— Вот и пишите так... Если вам действительно знаком этот рассказ.

— Мне бы хотелось вернуться к Лассила, — вмешался Поляновский, которому показалось, что разговор становится для меня опасен.

— А что Лассила? — откликнулся Михаил Михайлович. — Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет. Я сужу, правда, лишь по двум романам, которые переводил, остальное мне неизвестно. Он обожает путаницу, неразбериху, я — тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в «Воскрешшем из мертвых» или «За спичками». Был у меня, правда, рассказ про парусиновый портфель, да Бог с ним... В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора. Интересно, чему это соответствовало в нем самом? Случайным такое не бывает. Суворов любил вздор, это заме-

тил Тынянов, но там все понятно, а вот Лассила... Я не в силах читать предисловий, но, насколько мне известно, в жизни он был человеком серьезным, трудным, ищущим, с радикальными политическими взглядами, за что поплатился жизнью. Если не ошибаюсь, его расстреляли в тюрьме в Свеаборге. Как-то не подходит юмористу? — Уголки губ чуть дрогнули улыбкой. — А может, наоборот, подходит? Мне хотелось больше узнать о Лассила, но не перешагнуть пропасти, именуемой финским языком.

Мы еще поговорили о Лассила, и у меня создалось впечатление, что у Михаила Михайловича просто не хватило душевных сил углубиться в сложную судьбу писателя, сыгравшего столь значительную роль в его собственной жизни. Слишком сильно ощущая драматизм своего положения и творя то высокое спокойствие, с каким он хотел встретить кончину, в близости которой не сомневался, видя себя насквозь, он не мог собраться для постижения чужой сути. Так, во всяком случае, мне кажется. То не было старческим эгоцентризмом в обычном смысле слова, но, умевший так органично сочетать глубокую погруженность в себя с живым любопытством к внешнему миру, редкой приметливостью к подробностям окружающего, Зоценко сейчас был целиком обращен внутрь.

3

Но мой рассказ не о Зоценко, а о том, на кого он меня невольно «вывел». В мартовском студенем Хельсинки, под непостоянным небом, то сочившимся дождем, то распахивавшим бледную голубизну над еще замерзшей бухтой, которую бороздили, с треском ломая истончившийся лед, огромные паромы, ходящие в Швецию и ГДР, и небольшие буксиры, и рыбацьи катерки, я думал о Лассила как о своем полузабы-

том долге. Кому? Уж не Зощенко ли? Но с чего бы числить мне за собой такой долг? Написать же хотелось прямо-таки маниакально. И все-таки страшное веление это связано с Михаилом Михайловичем... Каждый нормальный человек на моем месте пошел бы простым и естественным путем: отыскал бы финского литературоведа, посвятившего себя Лассила, и узнал бы все необходимое. Признаться, и у меня мелькнула такая мысль в разговоре с одним местным критиком, которого я заподозрил совершенно напрасно в пристрастии к творчеству Майю Лассила. Но критик этот заговорил вдруг об авторе «За спичками» с такой отчужденностью, что паразитарное намерение мое сразу испарилось.

Я и вообще в своем литературном деле избегаю специалистов. Я имею в виду работу над вещами биографического плана, будь то повесть, рассказ, очерк или литературный портрет. Я боюсь оказаться во власти чужих представлений, чужой тщательно выношенной концепции. Мне необходима внутренняя свобода, возможность дойти до сути своим умом, тогда возникает творческий импульс, мне будет радостно и горячо писать о захватившей меня судьбе.

Но есть существенная разница между беллетристическим изображением реально существовавших в прошлом фигур и очерками о современниках. На мертвых можно валить, как на мертвых, и чем дальше от них во времени, тем смелее: живые далеко не столь покладисты. С Майю Лассила возникли особые сложности. Я собирался написать о нем не рассказ, не повесть, где мог быть относительно свободен, и не статью о его творчестве с привлечением биографических сведений, а произведение смешанного жанра, исключаящего фантазию, но не домысел, без которого не обойтись. И знакомство с его творчеством было у меня односторонним. Я знал лишь его смешные деревенские романы — неоконченная петербургская эпопея «Хархама», равно как и другие романы, пьесы и бесчисленные статьи никогда на русский не перево-

дились. Была и другая загвоздка: Майю Лассила нет на свете, а вместе с тем он продолжает активно жить не только в литературе, но и в идеологической, общественной, интеллектуальной борьбе. Он сам сложен, противоречив, и столь же сложно, противоречиво не остуженное годами отношение к нему соплеменников. Все это крайне затрудняло мою задачу. Надо было проделать некую поисковую работу, обернуться чем-то средним между комиссаром Мегрэ, полагавшимся более на счастливый случай и слабость человеческой психики, не выдерживающей даже слепого давления извне, чем на свои способности ищейки, и усатым Эркулем Пуаро, чей мозг под яйцевидным голым черепом умел анализировать разрозненные факты и слагать из них целую безошибочную картину.

Что же знал я о Лассила, с чем пускался в розыски? И много, и мало. Да почти ничего не знал. Есть ли тут противоречие? Нет, раз речь идет о писателе, чьи лучшие произведения я читал; знать такие романы, как «За спичками», «Воскресший из мертвых», «Пирттипохья и ее обитатели», «Сверхумный», — это значит хорошо знать Лассила — крестьянина и поэта (в прозе) финской деревни. Все же наши почтенные «деревенщики», образовавшие в отечественной словесности могучий монолит, не приняли бы его в свою компанию.

Майю Лассила, плоть от плоти, кость от кости финского крестьянства, конечно, любил деревенских людей, восхищался их грубой живописностью, служил им, боролся за их права (и не только пером), но ничуть не идеализировал. У него не найдешь елейных старушек, в которых якобы сосредоточено все нравственное добро времени, вся мораль и душевная красота мироздания, мудрых и бесхитростных сердцем старцев, видящих приголубью водянистых глаз куда дальше городских очкариков, он не считает города вертепом, а деревню святилищем; ему противно народолоубческое умиление. Считая себя ничуть не лучше своих деревенских героев, Лассила изображал их без прикрас, по-брейгелевски ядрено,

порой жутковато, но всегда с уважением к их силе, терпению (последнее его порой и раздражало), к их умению при всех временных отклонениях и страшноватых превращениях оставаться людьми. Он не призывает ни учиться у них, ни следовать их примеру, напротив, в его чуждых всякому правочению, смешных деревенских романах вычитывается между строк: вот до какого безобразия, забвения правил человеческого общежития может довести «идиотизм деревенской жизни», сознательно поддерживаемый системой экономического и социального подавления.

Одни и те же задачи можно решать противоположными способами: многие скандинавские писатели приукрашивали крестьянский уклад, чтобы прийти к той же цели, что и Лассила: доказать право деревенских людей на равную жизнь с теми, кто, родившись на солнечной стороне, выжимает из них все соки. Лассила вовсе не безобидный юморист — остро и ядовито его саркастическое жало: высмеивая своих героев, таких, как Юмппанен из Пирттипохьи, как Ихалайнен и Ватанен («За спичками»), Ионни Лумпури («Воскресший из мертвых»), он бьет прежде всего по жестокой действительности, порождающей подобные характеры, а жертвам дает окунуться в очистительную купель. Вот типичный пример «очищения» лассиловского героя. Жутковат в дремучести своей мужичонка Юмппанен: он и склочник, и скупердяй, и юбочник, и пьяница, и рукосуй, и враль, полон предрассудков и суеверий — докучно перечислять все его пороки, но вот, напившись в долг, который, конечно, вовсе не собирается отдавать, и пощупав жену хозяина, он так говорит о своей Пирттипохье, местечке далеко не райском, где жизнь скудна, почти нища, часто голодна, где природа щедро дарит крестьянам лишь смолье, годное на продажу: «Взгляни-ка на нашу Пирттипохью! Месяц плывет по водам Вахваярви и Терваллампя и улыбается Медведице, а на берегах такая чертовски мягкая хвоя, что в пору на ней хоть с невестой спать». И даль-

ше: «Когда на этой земле расцветают летом цветы и в березняке кукует кукушка, а в бору насвистывает медведь, точно на дудочке играет, то на душе становится, как у невесты, которую под венец ведут...» Да ведь он поэт, настоящий поэт своей земли, подобно иным героям замечательного современного скандинавского писателя Халдора Лакснеса. Но в Исландии каждый четвертый житель — поэт, чего о Финляндии не скажешь...

И вся чудовищная неразбериха, создавать которую такой мастер Лассила (об этом говорил с легкой завистью М. Зощенко), весь бред, заверченный в «Пирттипохье и ее обитателях», где два мужика, Юмппанен и Пирхонен, написали друг на друга лживые доносы, замешав в свою дурацкую, по недоразумению возникшую тяжбу чуть не всю округу, создав множество побочных недоразумений, того прекрасного вздора, что составляет серую и трудную жизнь переливаться многоцветной россыпью дивных чудачеств, игрой причудливых характеров, разрешаются новым гимном суровой родине, исторгающимся из широкой груди Юмппанена, благо знахарка Кайса Оборванка выпустила ему в бане с помощью коровьих рогов дурную кровь, изгнав беса склоки...

Драчливый, взбалмошный Ихалайнен, герой романа «За спичками», отлучившийся из дома по пустейшему поводу и пропадавший так долго, что его сочли умершим, чем воспользовался пустозвон-портной Кеннонен, окрутивший его жену и разоривший дом, спасается своей глубоко запрятанной в дремучей душе преданностью омороченной жене. Свет человека оказывается почти на каждом мужике, затевающем или участвующем в очередной терпкой лассиловской путанице. А кто не путается в этой жизни, такой несовершенной и непостижимой, и где над простым человеком столько хозяев: от ленсмана до верховных правителей и самого главного из них — Господа Бога? Наверное, прав бродяга Йошси Лумпури («Воскресший из мертвых»), потративший жизнь на то,

чтобы освободиться от всего, чем владеет человек, вплоть до своего тела, проданного в медицинский институт, и собственного имени, уступленного по сходной цене другому люмпену, прельщенному сверхчуждачествами легендарного Ионни. Ведь Лумпури умудрился даже побывать в шкуре миллионера, изведать почет и славу, даруемые богатством, вдохнуть фимиам лести и сохранить из всех мнимых богатств лишь дубовый гроб, которого он тоже лишился, протаскав немало на собственной спине. В конце концов у Ионни осталась лишь медаль «За спасение», но спас он — верх путаницы — самого себя...

«За спичками» — добрый и смешной роман. «Воскресший из мертвых» произвел на меня при новом чтении совсем невестное впечатление, ибо средствами как будто легкой, даже поверхностной юмористики доказывается призрачность жизни, условность человеческих обличий, желаний, надежд, обретенных; мнимая густота бытия оказывается пустой, населенной призраками, и не разобрать тут, кто живой, кто мертвый, в царстве теней все взаимозаменяемы и все фиктивны. Если же попытаться поглубже заглянуть в темный колодец лассиловского романа, то обнаруживается, что призрачность жизни такого крайнего бедняка, как Ионни Лумпури, оборачивается странным бессмертием, ибо, как уже говорилось, его имя, образ жизни, повадки и привычки перешли к другому оборванцу. И полицейский Наутинен, столько раз таскавший на спине в участок мертвецки пьяного Ионни и вздохнувший свободно после его смерти, вновь сгибается под тяжестью пьяного бродяги, носящего то же имя. Наутинен не сомневается, что это настоящий Ионни, вновь, в который раз воскресший из мертвых. Этим окончательно ниспровергается привычная система ценностей. Богача, оставляющего этот свет, навсегда утягивает на дно небытия груз собственности, бродяга всплывает, как бы награжденный жизнью вечной. Анекдотическая история обретает философский смысл и далеко

вышагивает за пределы того городка и той страны, где обитал бессмертный бродяга Иошси, да и того времени, когда происходили описанные события.

Но один смешной деревенский роман Лассила по-настоящему страшен, это — «Сверхумный». Какая горечь должна была скопиться в душе писателя, как омерзели ему все институты тогдашней Финляндии — от богоугодных заведений до церкви, — чтобы возникла эта жестокая, горячая вещь; в которой «ум у глупости в плену», сумасшествие носит видимость великого ума, высокопарная чушь — пророческой силы, магия величия притворяется смирением, тихая сельская местность превращается в бедлам, а жители как с цепи сорвались, причем происходит все это не в апокалипсическом бреду, а самым бытовым образом, ибо слишком тонка пленка, отделяющая реальность от бреда, и невозможно угадать, кто в этом мире нормален, кто безумен, а кто настолько поумшел, что стал круглым дураком.

И как таинственно перекликается с этим романом один из ранних, широко известных рассказов М. Зощенко, написанных в ту пору, когда имя Лассила было у нас вовсе неведомо. Рассказ этот — «Приятная встреча».

Рассказчик едет в дачном поезде с довольно странными попутчиками: безруким парнем, которого сердобольный сосед кормит с ножичка дольками яблока, и неким желчным, фыркающим господином, утверждающим, что революция сохранила за ним все его поместья и угодья. Он зовет опешившего рассказчика к себе в гости, и тот охотно принимает приглашение. Но, оказывается, желчный господин вовсе не последний помещик, а психопат, маньяк, равно как и безрукий парень никакой не инвалид, а буйнопомешанный в смиренной рубашке, и санитары везут обоих в близлежащий сумасшедший дом. Дальше происходит путаница, достойная Лассила: рассказчик кидается на потянувшегося за пожом бородатого пассажира, приняв его за сумасшедшего, на него

набрасывается санитар, решивший, что имеет дело с ненормальным, а проводник допускает, что все участники этой катавасии душевнобольные. Эту точку зрения склонен разделить и читатель...

Конечно, сходство рассказа Зоценко с романом Лассила лишь в общности приема: моделирование ситуации, где стерты грани меж разумом и безумием. М. Зоценко не ставит себе тех социальных задач, которые решал финский писатель. Рассказ Зоценко весел, жутковат, психологичен и локален. Роман Лассила остросоциален, историчен, с широким и беспощадным обобщением и совсем невесел, — сухой, дерущий глотку смех продирается сквозь ледяные слезы. «Сверхумный» приближается к гротеску, абсурду, не порывая при этом связи с той почвой, на которой разворачивается бредовое действие. А начинается все с того, что зажиточный крестьянин Сакари Колистая открывает в себе избыток ума, являющегося источником всех творящихся в мире бед. Его бредовое открытие совпадает с теми религиозно-правственными положениями, которые развивает с церковной кафедры молодой честолюбивый пастор Пендинен. С этого закручивается чисто лассиловский кавардак, когда дурак оказывается пророком, учителем новой веры, а умный — дураком; сумасшедшего ставят во главе богоугодного заведения, ну а к чему это приводит, вообразить нетрудно.

Похоже, в эту пору жизни Майю Лассила крепко обиделся на свой народ, на его долготерпение, покорность безумию властей и церковному мракобесию, на темную его готовность к оболваниванию и создал самую злую свою сатиру на соотечественников.

И вот чем еще примечателен этот роман. Его сатирическое жало раздвоено: один отросток обращен к «национальной вере» финнов в свою «сверхумность», означавшую на деле самодовольное нежелание видеть вещи и явления такими, как они есть, подмену реальности мифами, а другой — к

философскому учению, заложенному знаменитым датчанином Сёренсом Киркегором и ставшему экзистенциализмом. «Едиственная твердая истина, которую внушал разум, заключалась в том, что все в мире, включая великую сущность ума человеческого, можно правильно представить, понять, объяснить и увидеть только с помощью веры, слепой веры», — издевается Лассила; но, исключенное из саркастического контекста романа, это утверждение можно принять за цитату из Льва Шестова — пламенного апологета Киркегора. То, что для Шестова является непреложной истиной и единственным путем спасения заблудившегося в пустыне рационализма человека, ненавистно и презренно материалисту, безбожнику и революционеру Лассила.

Он проделал огромный путь, этот выходец из крестьянской семьи, сельский учитель, пезадачливый коммерсант, член консервативной «финской» партии, затем эсер, участник террористической организации в Петербурге, подготовившей и осуществившей убийство царского министра Плеве, наконец, социал-демократ самого левого толка, фактический редактор и главный сотрудник газеты «Рабочий». Прежние друзья и соратники Лассила, оставшиеся на правых позициях, так и не простили ему смены убеждений. Он навсегда стал для них «ренегатом», «перебежчиком». Свои новые убеждения Лассила оплатил смертью: он один остался на посту в опустевшей редакции «Рабочего», когда в Хельсинки вошли немецкие войска и стали расправляться с участниками финской революции.

Но я забежал вперед. Ведь мне хотелось выяснить, какими знаниями о Лассила я располагаю. Оказывается, мне кое-что известно, поскольку лучше всего писатель раскрывается в своих произведениях. Но ведь все вышесказанное относится только к Майю Лассила, а были еще Ирмар Раитмала, И.И. Ватанен, был деревенский мальчик Альгот Тиетивийнен, позже принявший фамилию Унтола, и о них мне почти

ничего не известно, а ведь это все тот же Лассила, разделивший себя на несколько самостоятельных образов. В одном он был учителем, коммерсантом, в другом — городским писателем, драматургом, в третьем — певцом финской деревни, в четвертом — публицистом. Конечно, все эти образы находили некий сноп в личности носителя многочисленных псевдонимов, но сама личность и связанные с ней обстоятельства жизни были темны для меня...

4

Диккенс говорит, что маленький Оливер Твист, служивший у гробовщика, «начал жизнь с конца». С конца начал и я свое узнавание Лассила. От Михаила Михайловича Зощенко я слышал, что Лассила расстреляли на острове Свеаборг, где якобы находилась политическая тюрьма. Когда я спросил об этом тех милых людей, что призваны были помогать моей финской поездке, они пробормотали неуверенно: мол, да, кончина Лассила вроде бы связана со Свеаборгом. Я уже не раз попадал впросак с моей верой, что привлечший меня писатель той или иной страны столь же горячо интересуется своих соотечественников. Это идет, несомненно, от того особого положения, какое всегда занимал писатель на Руси. У нас писатель в глазах народа не просто поставщик чтения — серьезного или легкого, он учитель, наставник, доверенный совести, у него спрашивают, как жить, во что верить, ему и исповедуются, словно попу. Наверное, никому на свете не приходилось так лихо, как русским писателям, и вместе с тем нигде звание писателя не было окружено таким народным почитанием, как на русской земле, сама жестокость властей свидетельствовала о том, насколько считаются с литературой, как велика ее роль в жизни общества. Но я уже не раз

убеждался, что в западных странах, отнюдь не обладающих такой россыпью литературных талантов, отношение к ним куда равнодушнее, рассеянее, что ли, не скупаются лишь на мемориальные знаки.

И финны живут, работают, любят, рожают детей, катаются на лыжах, коньках и санках, бегают на длинные дистанции, ловят рыбу, рубят лес, строят дома, делают мебель, смотрят телевизор, орут на стадионах, пьют водку, вовсе не томя себя размышлениями о горестной судьбе своего прославленного земляка, хотя и перечитывают его произведения, ходят на пьесы, смотрят фильмы по его романам, а иные из интеллектуалов до сих пор пребывают во внутреннем с ним борении. Лассила не стал омертвелым классиком, он живет почти всех других ушедших писателей и многих ныне здравствующих, но того любопытства, с каким мы до сих пор копаемся в жизни Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и меньших их собратьев, нет и в помине.

Лед вокруг Свеаборга был еще крепок, и на остров по раскисшей ледовой дороге ходили экскурсионные автобусы. Мы с переводчицей Раей Рюмиш (при русском звучании имени и фамилии она финка) взяли машину и отправились на остров. Здесь я познакомился с обаятельным человеком — художником (писателем-очеркистом), которого жена оставила за... медлительность. Думаю, что в многообразных играх человеческих страстей это единственный в своем роде случай. У него чудесное жилье-мастерская, которое он выкроил в полуразрушенном старинном доме. Свеаборг восстает, но работы еще много. На стенах студии — фотографии птиц, птичьих гнезд и птичьих яиц, разных зверей, рыб. Бессловесные существа — главные герои его картин. Он довольно редко обращается к кисти или карандашу, его инструмент — ножницы. Он вырезает из кусков материи фигуры зверей, птиц и рыб, равно деревья, цветы, травы, водоросли, об-лака — все, что необходимо для его лаконичных, скупых на

подробности картин. Особенно удаются ему сиги, которые, словно торпеды, проносятся над водорослями, наклоненными их стремительным движением. Художник устраивает выставки обычно у себя дома, а всю выручку от продажи картин тратит на угощение друзей. Конечно, при такой тороватости он не может кормиться от своего искусства. Помогают очерковые книжки, но главным образом старшие братья, один из которых богатый коммерсант. Я спросил его о Лассила: действительно ли он содержался в свеаборгской тюрьме и был здесь расстрелян? Художник сказал, что должен подумать. Но кончился осмотр студии, всех больших и малых тряпичных картин, а он все думал, и поступок его жены перестал мне казаться уж столь диким.

Мы покинули студию, а он так ничего не подумал, небось до сих пор думает, Бог ему в помощь.

По дороге к молодому архитектору, восстанавливающему Свеаборг — он-то уж должен был знать все про Лассила, поскольку остров-крепость его хобби, — мы прошли мимо тюрьмы, где ныне содержат самых мелких правонарушителей — водителей, настигнутых полицией в нетрезвом виде, но при этом не совершивших отягчающих поступков — аварий, наездов на пешеходов. С некоторым удивлением и вроде бы радостью моя спутница узнала в дородном, холеном человеке с тачкой министра. Конечно, он не был прикован к тачке, как каторжник, просто работал. Он трудился на Свеаборг, отбывая положенный срок: шесть месяцев во славу финской демократии, не делающей различия между министром и рядовым гражданином.

— В настоящее время там находятся два министра, — сообщил нам архитектор, которого и друзья, и сослуживцы, и соседи наделили прозвищем Верзила. Он и впрямь великан с огромными руками и ножищами, добродушный бородатый великан, при этом быстрый, все успевающий, смекалистый и памятный, и ему, конечно, не грозит беда, постигшая ху-

дожника. Милая его жена ежедневно покидает дом и едет в Хельсинки — там у нее лавка с бумажными цветами собственного изготовления, но всякий раз к вечеру возвращается к своему великану.

— Лассила никогда не сидел тут. Его взяли на расстрел из столичной тюрьмы. И везли вовсе не на Свеаборг, хотя и в эту сторону, а на остров Саптахампи. Возможно, вы заметили водонапорную башню, это как раз там. Похоронили его в братской могиле, расстреляли же на катере.

Верзила взял с полки альбом, открыл и показал пожелтевшую вырезку из старой газеты.

— Здесь все написано, хотя и не сказано, почему Лассила в отличие от других узников застрелили по пути к месту казни. А вот в более поздней заметке приводятся три версии его гибели: попытка к бегству, провокация конвойных — они оскорбили одну из узниц, Лассила вступился — и, наконец, безотчетный, панический порыв осужденного, позволивший конвойным открыть огонь.

Архитектор подробно рассмотрел каждую версию. Первую он решительно отверг. Соратники Лассила по социал-демократической партии и газете оставили Хельсинки, как только стало ясно, что не сегодня-завтра немцы войдут в город. Следовательно, не было реальных сил, способных организовать побег. К тому же дело происходило весной, температура воды в заливе не превышала шести-семи градусов, разве доплыть по такой воде до далекого берега? Это ясно каждому здешнему жителю. А панический жест, когда человек не думает о последствиях, просто рвется к свободе, не вяжется со всем предшествующим поведением Лассила: тем бесстрашием, с каким он остался на посту, мужеством при аресте, хладнокровием на допросах. Его больше всего заботило в тюрьме, как бы передать сохранившуюся у него картошку своим друзьям Пупаненам — время было голодное. Говорят, узнав о приговоре, он плакал в камере. Что ж, воз-

можно, он рассчитывал отделаться длительным тюремным заключением, и первы не выдержали. Но по пути на казнь он вел себя безукоризненно, поддерживал своих спутников, улыбался. Остается рыцарский вариант с заступничеством. Выглядит красиво, уж больно красиво, и тем сомнительно. Маловероятно, чтобы конвойные стали оскорблять приговоренных к смерти женщин, думая этим спровоцировать Лассила. Зачем такие сложности? Известно, что на пароходе прозвучал выстрел, после чего Лассила оказался в воде, где его и доби́ли. Неуклюжая инсценировка попытки к бегству. Но формально не придерешься. На борту находился сенатор Освальд Кайрамо, следивший, чтобы все происходило по закону. «При попытке к бегству» — освященная веками формулировка. Мертвое тело баграми вытащили на палубу... «А почему каратели не расстреляли Лассила на берегу, как всех?» Верзила помолчал, затем сказал тихим, мягким голосом: «Наверное, потому, что он не был как все». Неожиданностей можно было ждать только от него. Лассила не нрави́ли и боялись... Боялись, что он воскреснет из мертвых, как его герой Лумпури. Карателям хотелось быть до конца уверенными в его смерти. Его расстреляли трижды: на борту, в воде и на берегу — давно мертвого, для верности. Мокрый, холодный, начиненный свинцом труп бросили в общую могилу возле водокачки, насыпали высокий холм. Звучит мелодраматично? Но что вы скажете о следующем? Сенатора сопровождали Эйно Райло — издатель Лассила и писатель Кюёсти Вилкуна — его бывший друг. По окончании экзекуции они пошли в близлежащий рыбный ресторан, он и сейчас сохранился, чтобы изысканным обедом отметить конец «красного агитатора», как они называли Лассила. Его пребывание в мире причиняло им много беспокойства, даже Эйно Райло, хотя его издательство «Кирия» наживалось на Лассила, а ему платило гроши. Они пили холодную аква-виту, заедая бледно-розовой лососиной, потом разделались с блюдом жареной форели — в горо-

де голодали, но в дорогом ресторане было все, что угодно не- насытному чреву. И тут они не скупилась: издатель, сделав- ший на Лассила хорошие деньги, и писатель, мечтавший о той премии, от которой брезгливо отказался автор «За спич- ками». Представляете себе, как ненавидели его реакционе- ры, если так разпуздались перед вечностью. Впрочем, они твердо верили, что с демократией покончено раз и навсегда. А все-таки случилось то самое, чего опасались палачи, когда тело Лассила прошивали пулями, топили и забрасывали зем- лей, — он воскрес и предъявил им счет. И два негодяя, об- мывших в ресторане его гибель, стали навек презренны в сво- ем народе. Финны не любят громких слов, но презирать уме- ют и молча...

Мы оставляем Свеаборг, пыне Суоменлинну, с укрепле- ниями Кустамиека и Королевскими воротами, комендатурой и старыми пушками, с могилой Августина Эренсверда, увен- чанной гигантским шлемом, с высокопоставленными и ря- довыми арестантами, с патриотами и обывателями, худож- никами, литераторами, архитекторами, строителями и пус- каемся в дальнейший путь за маленьким загадочным челове- ком, о котором, похоже, никак не сговорятся и насельники сегодняшнего мира. Слишком много назагадал он загадок...

5

Я хотел съездить на ту печальную землю, где закопали око- ченелое, изрешеченное пулями тело, но мне сказали, что Лас- сила перехоронили на главное городское кладбище. «Перехо- ронили» в данном случае понятие условное. Просто изъяли из общей смертной ямы чьи-то кости и назвали их останками Лассила. Тут нет кощунства — жертвы палачей финской ре- волюции были спаяны величайшим родством идей, мужества

и трагического конца. И я отправился на городское кладбище.

Оно удивило меня обилием распространенных шведских фамилий; впечатление такое, что здесь похоронена «Тре крунур» последних лет. Нарядные могилы, отделанные дерном, украшены гранитными памятниками, и всюду — свежие цветы, наверное, от болельщиков. До того как Финляндия стала провинцией царской России, она столетиями принадлежала Швеции (Октябрьская революция вернула финскому народу самостоятельность, изведенную им лишь в легендарные времена Калевалы), а шведские хоккеисты носят распространенные у них на родине фамилии. Не исключено, что тут действительно можно отыскать предков тех, кто ныне сражается на горячем льду зимних стадионов. Но мне упорно ломился в сознание гибнущий самолет, пабитый парнями с клюшками, доверчиво летящими за своим обычным третьим местом. Все чаще уходят спортсмены целыми командами на крыльях сереброблещущих лайнеров туда, где нет ни побед, ни поражений, штрафных минут и штрафных очков, буллитов и пенальти, нокаутов и дисквалификации. Есть сведения, что Вседержитель серьезно подумывает об учреждении небесной Олимпиады. Но нет, спорт — дело земное, да будет судьба милостива к «Тре крунур», ко всем сборным мира и клубным командам, ко всем землянам, доверяющим свою хрупкую жизнь ненадежной воздушной стихии. От грустных мыслей меня отвлекли мраморные и бронзовые обнаженные женские фигуры прекрасных форм, белеющие или золотящиеся в волгллом весеннем воздухе, застывшем над тихим кладбищем. Эти вроде бы неуместные в близости небытия изваяния, свидетельствуя о вкусах и пристрастиях ушедших, как бы напоминают живым: торопитесь пить земную радость, продлевайте свое короткое существование милостью прекрасных, добрых, ждущих вас женщин — мир должен быть населен!

Над могилой Лассила не высилась обнаженная красавица, была лишь небольшая гранитная плита с его профилем, облиственной веткой и перечнем фамилий покойного. Можно было подумать, что это братская могила целой команды, но уже финской.

Лассила обмолвился некогда странной загадочной фразой: невозможно прожить жизнь в одном образе, под одним именем.

С кладбища, мимо мемориала Сибелиуса в виде органичных труб, будто повисших в воздухе меж ветвями клена и бурым каменистым громоздом, мы поехали в другой конец города, чтобы взглянуть на земное жилище Майю Лассила, то последнее жилище, откуда он вышел на свою роковую прогулку.

Он жил на улице Рушпенберга. В большом многоквартирном доме занимал крошечную компатенку на первом этаже с окошком, выходящим в каменный колодец двора. Привратница, чей пост находился в соседнем подъезде, отнеслась с должным пониманием к нашему появлению и сама предложила впустить нас в бывшее жилье писателя.

— Там молодая пара живет, они сейчас на работе. Ничего с ними не делается, если вы заглянете на минутку.

На опухших больных ногах она враскачку двинулась через двор.

— Я помню господина Лассила, — говорила она. — Он был такой тихий. И ужасно бедный. Он обрабатывал картофельную делянку тут неподалеку. Только картофелем и питался. Но всегда держал в запасе несколько карамелек для дворовых ребят. Он очень любил детей, а своих почему-то не имел, хотя, я слышала, он был женат, и даже не один раз. Кажется, его ребенок умер. Он был беден как церковная мышь, но всегда чисто и даже модно одет. Следил за своим платьем, по утрам чистил щеткой, а брюки клал на ночь под матрац. — Она тяжело дышала, каждый шаг давался с трудом ее боль-

ным ногам. Но лицо у нее — сильное и красивое, несмотря на глубокую старость: смуглое, кареглазое, черты не расплылись, а ей за восемьдесят. — Вам надо зайти к ответственной съемщице. Она из того же подъезда, что и господин Лассила, Может быть, что-нибудь расскажет. Она старше меня, но лучше сохранилась, я из простых, а она богатая дама, очень образованная и начитанная.

Ключ тяжело повернулся в замке, дверь сама отлетела внутрь. Перед нами открылся шести-восьмиметровый интерьер эпохи расцвета итальянского неореализма. Две неубранные постели, одна на козлах, другая прямо на полу, что-то вроде туалетного столика, заваленного косметикой и бритвенными принадлежностями; еще были два стула, столик на одной ноге, допотопный проигрыватель, несколько литографий на стенах, какая-то одежда на гвоздях, засохшие цветы в стеклянной вазочке без воды на подокошнике и рукомошник, вроде наших деревенских, с медным носиком.

— Уборной, как видите, нет, — сказала привратница. — И при господине Лассила не было, он бегал в соседний подъезд, в прачечную. Куда бегают теперешние жильцы, не знаю, прачечную давно закрыли. Уберите отсюда все, кроме лежака, стула, тумбочки и лампы, и вы поймете, как жил господин Лассила. Правда, у него еще были книги и всюду набросаны газеты... Эта пара только начинает жить, у них еще есть надежды, — добавила она задумчиво. — А господин Лассила так ее кончал. Вы видели на доме доску: «Здесь жил Майю Лассила» — разве это можно назвать жизнью?

— Но он жил вовсе не здесь, — возразила Рая Рюмин. — Его жизнью была редакция «Рабочего», там он встречался с людьми, писал. Здесь же только ночевал.

Женщина ничего не ответила и вздохнула, для нее это было слишком мудрено. На работе человек зарабатывает себе на хлеб, а живет дома. Она подождала, пока мы выйдем, заперла дверь и показала, как пройти к ответственной съем-

щице. Последнее надо понимать не в нашем смысле, эта самостоятельная дама была как бы посредницей между квартиросъемщиками и домовладельцем.

Высокие двери, ведущие в покои ответственной дамы, не были заперты, в квартире шла генеральная уборка, которую производили две осапистые работницы бюро добрых услуг в зеленых форменных платьях, несколько коротковатых для их возраста. Они казались вырезанными из дерева — крепкие, угловатые, широкозадые, с грубо точными красноватыми лицами. На нас они не обратили внимания, продолжая заниматься своим делом, которое требовало весьма смелых поз, не гарантированных должной длиной подолов. Но хозяйка, поняв с некоторым усилием причину нашего вторжения, пригласила непрошенных гостей в комнаты. Здесь ампиризм соседствовал с модерном, создавая тот прочный уют начала века, в котором никак не проглядывается грядущая дьяволиада. Среди бесчисленных гравюр, литографий, акварелей, гуашей, картин маслом выделялись исполненные в разной технике изображения Наполеона. Тут были большие репродукции с Давида и других придворных художников, писавших императора с натуры, копии позднейших известных портретов: Наполеон на поле боя и в мирной жизни, на коне и на троне, на фоне пирамид и горящего Московского Кремля, Наполеон-триумфатор и Наполеон-изгнанник, Наполеон в гробу. Пока я рассматривал всех этих Наполеонов, хозяйка рассказывала Рае, что Лассила всегда кормил конфетами дворовых ребятшек — это было чем-то вроде местной легенды.

— Мы уже слышали, — жестковато сказала Рая, утомленная сбивчивым лепетом старой дамы. — Может быть, вы нам еще что-нибудь расскажете?

Подумав, дама сказала, что ей принадлежат в доме две квартиры.

— А почему столько Наполеонов? — спросил я.

— Вы заметили? — Ее увядшее лицо чуть порозовело. — В гимназии я успевала больше всего по истории. Остальные

предметы мало меня интересовали, а по истории я неизменно была первой. У меня хорошая память на даты и на числа вообще. Каждый семестр мне вручали премию: портрет Наполеона. Вначале я радовалась, потом стала злиться, но, конечно, втайне, и все считали, что для меня нет лучшего подарка. Вскоре со всех стен, из всех углов на меня смотрели Наполеоны, и что-то случилось со мной. Я влюбилась в императора на всю жизнь.

Возможно, этим и объяснялось ее равнодушие к единственной знаменитости в подопечном доме. Она ничего не помнила о Лассила. Но когда мы уходили, протискиваясь между двумя раскорячившимися в коридоре уборщицами в коротких зеленых платьях, старая дама вдруг сказала:

— Господин Лассила был маленького роста, как Наполеон. И тоже очень храбрый... — Она хотела еще что-то добавить, но запомнила и беспомощно закивала головой.

На обратном пути мы проехали по бывшей Цирковой улице, где в доме № 3 помещалась редакция газеты «Рабочий». Здесь 12 апреля 1918 года Майю Лассила в одиночестве сделал и выпустил последний номер...

6

Вечером по совету Раи Рюмин мы отправились в артистическое кафе, посещаемое не только актерами, но и кинематографистами, писателями, журналистами, художниками, скульпторами, музыкантами, а также серьезными людьми, тянущимися к богеме. Мы надеялись встретить кого-нибудь из киногруппы, снимавшей в 100 километрах от Хельсинки фильм о Лассила. Наши надежды не сбылись: из-за относительно хорошей погоды и голубизны небес, довольно редкой для ранней финской весны, группа работала без передышки.

и ни ногой в столицу. Другое сообщение было еще печальнее: покончив со здешней натурой, группа немедленно перебазируется в Турку, куда мне не попасть.

К нам часто подходили разные люди, Раю Рюмин тут хорошо знали, я то и дело пожимал мужские и женские руки: сильные кисти скульпторов, длиннющие пальцы музыкантов, вялые руки поэтов и поэтесс, раз моя рука утонула в огромной теплой, сухой пятерне известного юриста, другой раз ее долго тряс подвыпивший актер, громко крича мне свое прославленное имя, в ответ я орал свое, но поскольку мы сроду друг о друге не слыхали, а шум стоял изрядный, то каждый сохранил инкогнито.

Я пользовался всяким удобным случаем и заводил разговор о Лассила. Редко кто не делился хоть какими-то соображениями о нем, и до чего же противоречивы были высказывания! Это касалось и его личной и общественной жизни, участия в петербургской террористической организации, учительства, коммерческой деятельности, отношений с женщинами, свойств характера, газетной работы, взглядов и места в литературе...

Мастер создавать запутанные ситуации в романах, Лассила сумел так же запутать свою биографию и личностную суть. Рассказывают, что, обручившись с дочерью коммерсанта, он покинул жену после первой же брачной ночи. Правда, развода он добился лишь через семь лет. Одни утверждают, что бракосочетание прикрыло грех — было заранее оговорено, что Лассила дадут свободу, но его обманули. Другие точно знали: у новобрачной оказался скрытый физический недостаток, делавший невозможной супружескую жизнь, и это явилось страшным психическим ударом для Лассила. Но ни один не мог сказать, откуда почерпнул свои сведения, похоже, все это отголоски старых сплетен и пересудов, оказавшихся на редкость жизнестойкими. Таким образом, и эта тайна Лассила осталась неразгаданной, как и многие другие, охватывающие как целые периоды его жизни, так и его исход.

Еще загадочнее то, что произошло со второй женой, Ольгой. Я видел в архиве ее фотографии, она была крупной, статной, ярко красивой. Девичья фамилия у нее была шведская, по мужу — польская, но принимали ее почему-то за русскую. Последнее ошибочно; хотя толика славянской крови в ней как будто была. Она приехала в Россию за наследством, познакомилась с молодым чахоточным поляком Ясипским, вышла за него замуж, но вскоре овдовела. Вела странную, двусмысленную жизнь, и тут на пути ее возник замкнутый, первый, застенчивый и доверчивый Лассила. Началась любовь. Он был захвачен по-настоящему, о склонной к мистификации женщине ничего нельзя сказать с уверенностью. Плодом этой любви явился ребенок, вскоре умерший. А затем последовал разрыв и дикий поступок необузданной в дурных страстях дамы: она попыталась навек лишит Лассила мужской силы, плеснув в него серной кислотой. Лассила долго и мучительно лечился от тяжелого ожога, но сделал все возможное, чтобы выгородить мстительницу, в чем и преуспел. Злой рок как будто преследовал его: на каждом шагу — либо трагикомическая неудача; либо разочарование и боль. И непонятно, как сохранил он в себе столько юмора!..

Один из приземлившихся за нашим столиком журналистов долго и серьезно рассказывал о деятельности Лассила-террориста.

- Он был участником убийства Плеве!
- Но ведь Плеве убила бомба Сазонова.
- Да. Но если б Сазонов промахнулся, это сделал бы Лассила. Многие забыли, что Плеве был три года министром Финляндии. Лассила вручил бы ему счет.

Когда журналист отошел, видный юрист, пожилой молчаливый человек с мрачновато-ироническим прищуром близоруких глаз, сказал:

- Ну уж от бомбы нашего Лассила Плеве погибнуть не мог.
- Почему?

— Лассила действительно входил в боевую организацию и не расставался с бомбой, которую таскал в брючном кармане. Некоторые думали, что у него грыжа. Раз в людном кафе, увлекшись спором, он вынул ее из кармана вместо носового платка. Другой раз уронил посреди Невского, расплачиваясь с извозчиком. Террористы давно поняли, с кем имеют дело, это были очень серьезные люди. Писатель, поэт не годится для конспиративной работы. Они не сомневались в его искренности, его убеждениях и мужестве, в готовности пойти на смерть, но знали также, что витающему в облаках, рассеянному и эмоциональному художнику нельзя доверять до конца, и начинили бомбу гостиничными счетами. Попадись Лассила со своей бомбой полицейским, те увидели бы, что это просто игрушка.

Мне вспомнилось, что с бомбой стоял на углу одной из улиц Сараева в роковой день лета 1914 года будущий лауреат Нобелевской премии, классик сербской литературы Иво Андрич, но убил эрцгерцога Фердинанда все-таки не он, а студент Гаврило Принцип. Я склонен думать, что отважного Андрича поставили не на самое главное место по той же причине, о которой говорилось выше.

Сам Лассила с предельной серьезностью относился к своему терроризму. Он так до конца и не узнал, сколь безобидное оружие вложили ему в руки. Хоть это разочарование его миновало.

Слушая юриста, я чувствовал, что многие люди так и не завершили своего спора с Лассила — юристу доставляла удовольствие фарсовость лассиловского терроризма. Он не любил Лассила, этот преуспевающий человек, в отличие от журналиста, которому наверняка известны фокусы с бомбой, но тот судил о Лассила как бы изнутри, и тогда все смешное отпадало, как шелуха, и оставалась жертвенная готовность к подвигу. Фишляндию населяют люди с разными убеждениями, и можно не сомневаться, что нашлись бы и такие, что охот-

но составили компанию Эйно Райло и Кюёсти Вилкуна, — буржуа так и не простили Лассила и его революционных убеждений. Сказанное относится и к буржуазному литературоведению, отнюдь не спешащему разогнать окутывающую его творчество и личность мглу. Он по-прежнему персона пон грата для очень и очень многих. Вот что я прежде всего вынес из шумного артистического кабака, где просидел до глубокой ночи...

7

На другой день мы пошли к режиссеру, недавно поставившему пьесу Лассила. Меня долго, хотя и неавязчиво, исподволь подготавливали к встрече с ним, но я упорно отказывался понимать иносказания, недомолвки и тончайшие намеки... Никогда не был я силен в околичностях, люблю определенность, четкость и прямоту, а со мной разговаривали в духе Ихалайнена, пришедшего сватать дочь старика Хювяринена за своего овдовевшего друга Юсси Ватанена («За спичками»). Жители Ликери, как и все их соотечественники, сильны в иносказаниях, и сообщение о том, что королю Юсси хорошо доятся, сразу подсказало и самой избраннице вдовца, и всей семье Хювяринена, куда ветер дует. Ныне ситуация была несколько иная: сваты хотели мне дать понять, что невеста-режиссер с каким-то брачком, но я никак не понимал окольных слов, глубоких вздохов, проникновенных взглядов, грустно-насмешливых улыбок — не дано мне финской догадливости.

— Он что, чудакват?.. С приветом?.. — гадал я.

— Он очень своеобразный человек... Надо делать серьезные поправки ко всему, что вы от него услышите. — Наконец-то мелькнуло что-то определенное.

В небогатом жилище режиссера — щуплого еще молодого человека, с голым черепом и лицом до того небритым, что многодневная щетина начала оформляться в бороду и усы, привлекали внимание высокие стеллажи с книгами. На самом видном и почетном месте стояли труды Зигмунда Фрейда, его верных учеников и тех последователей, что впоследствии, как нередко бывает, превратились в противников, а также его блестяще талантливой дочери, развившей и во многом скорректировавшей учение отца, и я сразу понял, фанатиком какой веры является хозяин дома и что означали застенчивые намеки моих доброжелательных вожей.

Нервный, горящий сильным, но чужим, необжигающим пламенем, режиссер чувствовал себя поначалу мучительно скованным, но, убедившись в моем знакомстве не только с лексикой, но и всем кругом идей его кумира, взбодрился и стал подробно излагать свою точку зрения на Майю Лассила с напором, в котором проглядывала даже некоторая агрессивность, характерная для всех исповедующих древнее фрейдистское благочестие. Те, кто не закрыл слуха к доводам Адлера, Юнга и особенно дочери Фрейда, не столь категоричны, нетерпимы и глухи к иным возможностям объяснения сути человека, и в частности художника.

Первоначально формировали Лассила, по мнению режиссера, тяжелое детство и, разумеется, Эдипов комплекс. Он не захотел носить фамилию своего отца, что, несомненно, свидетельствует о подавленном желании прикончить родителя и занять его место возле матери. Эдипов комплекс и неразрывное с ним чувство непреходящей вины переносились Лассила на весь финский народ, который он втайне не любил. И чем сильнее эта нелюбовь, тем острее чувство вины и желание ее искупить. Поскольку в каждой женщине проглядывал тщетно вытесняемый образ матери, решающим свойством его отношений со слабым полом стала несостоятельность. Этим объясняются и оба его конфликта с женами. Тут фрейдист совсем

зарапортовался, поскольку во втором случае причина несчастья была явно в обратном, но он не брал этого во внимание, как и умершего в младенчестве ребенка, — слепая вера тем и сильна, что не нуждается в поддержке фактами. Участие в убийстве Плеве, по мнению режиссера, как нельзя лучше подтверждает комплекс вины, отягощающий Лассила, а отказ от государственной премии означает открытое признание: да, виноват, господа присяжные заседатели, виноват перед родителями, перед финской родиной, перед всем трудящимся народом, перед мужчинами и особенно женщинами и потому не могу принять награды. Осознав всю меру своей вины — в чем только? — он решил искупить ее той роковой весной, когда немцы заняли Хельсинки. Люди, не знавшие комплекса вины, благополучно убрались из города, а Лассила остался на посту до конца. Не надо только обольщаться чистотой раскаяния Лассила, строго предупредил меня режиссер, все его поступки имели оборотную сторону: возвышение через самоуничижение. Возьмите хотя бы отказ от премии, когда он так нуждался, — да, он наказал себя, но одновременно своим бескорыстием унизил других писателей.

— А может, ему противно было брать премию у людей, которых он презирал?

— Деньги не пахнут, — весьма рассудительно заметил фрейдист, но поспешил добавить: — Будь он полноценным человеком, он бы взял эти деньги, а потом распорядился ими по-своему. Мог помочь беднякам или закупить оружие для революционеров, мало ли открывалось возможностей, но ему лишь бы свою гордыню потешить через самоуничижение, да и унижить других.

— Лассила всегда помогал людям, хотя сам нуждался...

Режиссер не слушал, его несло дальше:

— Лассила слишком рано стал жить среди взрослых людей, взрослых, сильных мужчин. Они давили его своим пре-

восходством — умственным, душевным и, главное, физическим, сексуальным. Да, да, тут корень! И вся его последующая жизнь — это попытка компенсации. Отсюда и все метания, и терроризм, и петербургские приключения, и постоянная смена имен, и политическая деятельность...

— И литература, надо полагать?

Режиссер посмотрел будто сквозь меня, вздохнул и придвинул мне стакан анемичного чая — я и не заметил, как он появился на столе, и вазочку с сахаром.

— Литература не была для него органичным занятием. Просто в этой области ему легче всего оказалось заниматься самоутверждением. С таким же успехом он мог бы рисовать, лепить, играть на органе, если б умел, разумеется.

— Значит, умение мы ему все-таки оставим? Может быть, и талант?

Шпилька отскочила от непроницаемой оболочки иступленного фрейдиста, как от шкуры носорога.

— Допустим, — сказал он, — но разве это возражение? Посмотрите, сколько он делал лишнего. Разве это пужно настоящему, Божьей милостью писателю? Художник погружен в свой мир, а Лассила?..

— Лев Толстой делал много лишнего. Например, пахал. Или создавал школы для крестьянских детей. Защищал дубоборов. А Достоевский участвовал в кружке Петрашевского. Иво Андрич стоял с бомбой, предназначенной наследнику австрийского престола.

У режиссера стало далекое и скучное лицо.

— Каждый из приведенных вами примеров требует особого анализа. Неизвестно еще, какие там обнаружатся комплексы. Сейчас речь идет о Лассила. Я не брался объяснять вам психологию Толстого, Достоевского и Андрича. А Майю Лассила я занимался, ставил его пьесу, думал о нем, изучал, анализировал. И я поймал его за хвост, можете не сомневаться.

ся. Имейте в виду еще следующее: он был женственной натурой, осознавал, куда это может привести, и потому чурался мужской компании, не имел друзей-мужчин, стремился к уединению...

— Для чего вступил в тайное общество...

— Ну да, симулируя мужское начало.

— Последняя его мысль перед расстрелом — чтобы друг забрал оставшуюся у него картошку.

— Понятно! — торжествующе воскликнул режиссер. — Перед смертью подавленные инстинкты обнаруживаются.

— Он сказал об этом жене друга, добившейся свидания с ним: пусть Пунанен заберет картошку. Но он не ставил условием, чтобы тот сожрал картошку один. Он вспомнил перед смертью о своем единственном жалком достоянии и хотел, чтобы оно досталось его друзьям — мужчине и женщине. Как это выглядит с точки зрения психоанализа?

Он промолчал, потягивая свой жидкий чай. Не то чтобы ему нечего было сказать, метод, которым он владел, легко справляется с любыми затруднениями, просто ему стало смертельно скучно. Он полагал, что откроет мне новые просторы мысли, введет в светлое царство истины, а я развожу свое тупое занудство. Но занудничал я вовсе не по невежеству. Я преклоняюсь перед гением Зигмунда Фрейда, бесконечно углубившего наше знание о человеке, распахнувшего двери в безграничную державу подсознательного, объяснившего важность детской сексуальности в формировании личности и давшего медицине новое сильное оружие в борьбе за человеческое здоровье — психоанализ. Но я знаю также, как вульгаризировали иные адепты фрейдизма это учение, чудовищно и уродливо усугубляя его однобокость.

Жаль, что мне не привелось увидеть пьесы Лассила, поставленной этим режиссером, она не шла во время моего пребывания в Хельсинки. Интересно, как выглядит на сцене Майю Лассила, препарированный по Фрейду?..

...Утром, проснувшись в своем номере, глядевшем на залив, палево-розовый от встающего солнца, я с ужасом и восторгом увидел, что оттуда, из озаренного пространства, из растворившего в себе нежный свет тающего марева, прямо на отель, на мои окна, на меня надвигается громадное судно. И сладко обмершим сердцем я понял: сейчас случится то, чего я давно ждал (и все же оказался застигнутым врасплох), — вот каков будет мой конец, невероятный и величественный, для него потребовалось, чтобы огромное судно, паром, плавающее к берегам Швеции, вломилось в номер приморского отеля.

Сон окончательно отпустил меня, вернув пространству трехмерность с тусклой реальностью расстояний: паром двигался из глубины закоушного пейзажа, в миле от берега, давя и раздвигая слабые льды, и не всплыть ему в отель, отделенный от залива широкой улицей и узкоколейной дорогой, огибающей бухту и порт с его кранами, причалами, пакгаузами, мастерскими, рыбным базаром. В рассеянном свете зари громадина казалась еще больше, и это усиливало ее грозную близость. Что значило утреннее видение во фрейдовской символике? — подумал я, вспомнив о вчерашнем разговоре. Небритому фрейдисту этот полусон дал бы богатейший материал для безошибочных выводов о моей патологической психике.

Паром еще появится в моем рассказе о том, как я шел за Лассила. И хорошо, что он уже представлен читателям.

День я провел в библиотеках и архивах, просматривая разные материалы: письма, фотографии, вырезки из газет, подшивки пожелтевших от времени номеров «Рабочего», среди них и тот последний, который Лассила выпустил в одиночку; подержал в руках и его книги, как вышедшие при жиз-

ни писателя, так и после смерти, последних было, естественно, неизмеримо больше. Видел я и его иностранные издания — Лассила много печатают в социалистических странах, вышли его книги в Канаде, еще где-то, но все же у меня сохранилось впечатление, что на Западе его мало переводят и он еще «не открыт» миром. А зря!..

Увидел я и фотографии его жен: той, первой, однопочной, с невыразительным лицом, чуждым тайне; и неистовой шведки, с сильной плотью и пастораживающим взглядом спелых глаз — от нее шли тревожные токи. Мелькнули передо мной и многочисленные изображения самого Лассила: при усах, но безбородого, с усами и бородкой, с «бритым актерским лицом», как выражались в старину. Видимо, собственная внешность не удовлетворяла его, как и те имена, что он носил в разные годы жизни. Он искал свой облик, примерял всевозможные личины в надежде, что одна из них приживется. И я в который раз задумался над тем, чем объясняется тяга Лассила к таинственности, к затуманиванию своего «я», дроблению его как бы на несколько отдельных существований. В период конспиративной деятельности маскировка естественна, но нельзя сказать, что как раз тогда Лассила особенно осторожничал. Нет, он менял внешность и имя независимо от условий жизни, подчиняясь каким-то внутренним посылам.

Нет ничего удивительного, когда писатель, актер, певец, музыкант берет псевдоним. Отказ от собственного, тяжело, смешно, плохо звучащего имени свидетельствует об уважении к публике, читателям и о скромности художника, не придающего себе чрезмерного значения. Скорее удивляет другое — когда человек играет на сцене или публикует стихи под смехотворной фамилией. По-моему, это от самоопьяненности. Когда же человек хладнокровно отбрасывает уже прогневшее имя и берет другое, малоизвестное или вовсе не-

известное, это трудно объяснить. Альгот Тиетивяйнен-Унттола знал цену Лассила и все же не раздумывая отказался от этого имени, когда брался за публицистику, политические статьи. Быть может, ему мешала маска простовато-насмешливого певца Пирттинохьи и Липери? Раптамала — автор «Хархамы» и других социальных романов — казался более подходящим? Но и от Раптамала, чья беллетристика была повита мистическим туманом, он отказался, написав чисто социальный роман «Беспомощные», так появился И.И. Ватанен. Он жил, боролся, творил, но не строил кропотливо и расчетливо писательской биографии, не наживал литературной славы, и в этом проявилось самое привлекательное и высшее его свойство — бескорыстие.

Покидая архив, я еще раз глянул на старую газету — номер «Рабочего» от 12 апреля 1918 года. Вроде бы гроша не стоит этот пожелтевший листок, а как много стоил он в те черные дни, когда его брали патруженные руки людей, которым дорога была свобода и самостоятельность Финляндии. Он был им как последний луч света перед полярной ночью, как замирающая нота рожка, поющего о свободе, как призыв к терпению, мужеству и надежде, что еще не все погибло. Вот ради этого и остался в обреченном городе маленький, полуголодный, отважный человек, который не был никому должен, ибо всегда давал куда больше, нежели получал от других, ни перед кем не был виноват, хотя перед ним были виноваты многие, отчаянный солдат, заткнувший своим телом амбразуру.

Он сделал работу, переделался в бедной комнатенке перед зеркальцем для бритья и, выйдя на Эспланаду, запруженную воспрянувшей духом «чистой публикой», швырнул себя, как кость, немецкой военщине, стремящейся унести с собой как можно больше жертв, и финским мстительным реакционерам, получившим, быть может, самую желанную добычу...

Мне все охотно идут навстречу в моих поисках, я чувствую, как приближаюсь к Лассила и все же остаюсь далек от него. Противоречивые мнения путают меня, я теряю след, образ туманится, зыбится, растворяясь в прохладном, влажном воздухе, тревожном от близкого пробуждения. Но мои трудности не только в этом, дело в самом Лассила, в том, что он, вероятно, и сам себя не знал до конца. Он ушел сорокадевятилетним — это немного, хотя и не так уж мало. Но Лассила был художник, а художник созревает иногда много быстрее, иногда куда медленнее петворческой личности. Лассила находился в зрелом возрасте, но писал всего девять лет, а это писательская молодость, и можно лишь удивляться, что он так много успел. У писателя личное и творческое созревание идут параллельно, почти пятидесятилетний Лассила еще не установился, он был в движении, развитии, еще искал свою окончательную форму. Так мне думается, во всяком случае...

Продолжаю идти за Лассила. Сегодня у меня встреча с известным писателем, сделавшим инсценировку одного из романов Лассила. Его суждения об авторе «За спичками» решительно отличались от концепции режиссера. Он считает, что Лассила был полноценный во всех смыслах человек. Никакой болезненности, никаких отклонений в психике, во всем жизненном поведении. И органичен был путь его политического развития: крестьянский сын, батрак, сельский учитель, он верил в финскую партию, считая, что она поможет земледельцам. Петербург, принадлежность к боевой террористической организации заставили его по-новому взглянуть на вещи. Он понял реакционную сущность финской партии и перешел в ряды социал-демократов, заслужив у бывших сподвижников кличку Ренегат. Он — писатель, нашедший себя в крестьянской теме, закономерную

левешный, и можно утверждать, что в конце концов он пришел бы к коммунистам.

— Странно, — заметил я, когда он замолчал, — все, что вы говорите, справедливо, трезво, доброжелательно к Лассила, это особенно приятно после тех откровений, что обрушились на меня вчера. Только я почему-то не вижу живого Лассила. Вы говорите о ком-то, очень на него похожем, но этого человека не ошпаривали кислотой, он не бежал из брачной постели, не менял имен и внешности, не отказывался от премии, не писал обиженных писем редакторам на пятидесяти страницах, оскорбленный чепуховыми замечаниями и позволяя при этом беззащитно себя грабить. Он не бросал учительства ради коммерции, не имея к тому ни малейшей склонности...

— Я понял вас, — остановил меня писатель. — Можете не перечислять дальше, чего бы не сделал мой Лассила. Что вы думаете о вчерашнем собеседнике?

Почему-то я оказался готов к этому неожиданному вопросу:

— Он был вполне искренен и не понимал лишь одного, что рисует вовсе не Майю Лассила, а собственный портрет.

Писатель вышиб сигарету из пачки «Мальборо», долго разминал в пальцах, щелкал зажигалкой, ловил длинное голубое пламя газового «ронсона», раскуривал, пока не отвалился на брюки цилиндрик легкого пепла.

— Наверное, все мы, говоря о Лассила, в какой-то мере говорим о себе, — наконец отверз он уста. — Мы пытаемся рассуждать о человеке, чей путь был искусственно оборван, он не поставил точки ни в литературе, ни в личной судьбе. Даже мне, при неодолимой склонности к синтезу, порой кажется, что Уптола, Рангамала, Ватапен и Лассила — разные люди, которых легенда соединила в одного. Лассила, путающийся в коммерческих сделках, Лассила диких любовных приключений никак не вяжется с обитателем пищенской ком-

наты на улице Руинеберга, с бесстрашным борцом; трудно представить, что одна и та же рука написала «Хархаму» и «Сверхумного». И слишком много навверчено сплетен, недостоверных и недоброкачественных свидетельств, слухов, догадок, мифов. Невольно каждый выбирает наиболее для себя подходящее и по-своему строит образ ушедшего писателя. По тому, что выстраивается, можно скорее судить о нем самом, нежели о Лассила. Мне всегда хотелось упорядочить свою жизнь, быть единым, цельным в своих писаниях, и я невольно упорядочил Лассила — до полной безликости. Ветвистое дерево превратил в телеграфный столб. Можно ли вообще разобраться в хаотичном, со множеством белых пятен, пейзаже душевной жизни Лассила? Мы все время, говоря о нем, врем с искренней верой в собственную правдивость. А знал ли себя сам Лассила? Сплавились ли в нем самом его разноликие образы? Не думаю... Ищущий, вечно неудовлетворенный собой, он всю жизнь разрывался на куски, чтобы прийти к окончательной цельности, где бы слились воедино все его образы, человек не мешал бы писателю, публицист — беллетристу, а твердая идея управляла бы всем. Он к этому приближался, но все же не подписал ни одной статьи в «Рабочем» знаменитой фамилией Лассила. Что-то ему мешало: не произошло еще взаимопроникновения Лассила и Рантамала. И все-таки мне кажется, что к Лассила надо идти не через усложнение, а через упрощение, чтобы вычертить главную линию, хотя бы для начала.

— Положа руку на сердце, вас ничего в его личности не озадачивает, не смущает? — спросил я.

— Нет, — быстро ответил писатель. — Да! — добавил он на одном дыхании. — Его душевный мазохизм. Он хотел быть несчастным, бедным, бесславным, сгнуться в многочисленных псевдонимах.

— А может, это обостренная совестливость? Деяние важнее того, кто его совершает. И в жизни, и в искусстве. Тут

Лассила не одинок. «Быть знаменитым некрасиво», — писал наш великий поэт.

— Наверное, он был много лучше нас всех, — тихо сказал писатель. — Мы просто до него не дотягиваем...

10

...В канун своего возвращения в Москву ранним утром я поехал к тюрьме Серняйнен, куда был брошен Майю Лассила после ареста на Эспланаде и откуда он пошел на казнь. Высокое мрачное кирпичное здание за кирпичной же оградой сохранилось до сего времени, не изменив своему назначению. Шестьдесят два года назад такой же вот студеной весной к тюрьме подкатила «Черная Мария», куда с пенужной, но почему-то обязательной в таких случаях грубостью запыливали несколько мужчин и женщин, приговоренных судом скорым и несправедливым к смертной казни. Все делалось в такой спешке, что ни обвинительное заключение, ни приговор не были зафиксированы на бумаге.

Машина тронулась. Сквозь зарешеченное окошко приговоренные видели грустные рельсы товарной железной дороги, влажный шлак меж пропитанных варом шпал, платформы, вагоны, цистерны, задыхающийся паровичок с высокой трубой, складские помещения, деревья, водокачку, кирпичные трубы. Они видели и скучные, однообразные дома рабочего района Серняйнена, по которому названа старая тюрьма, но не казались им скучными чуждыми жилища, а до слез милыми, полными теплой, дивной жизни, которая уходит от них с каждым оборотом колес «Черной Марии», с каждым толчком на щербатой мостовой. И наверное, маленький аккуратный господин с темными усами и бородкой видел больше союзников, хотя они смотрели во все глаза, жадно впитыва-

вая последние впечатления от пробуждающегося города. Но маленький господин видел и то, что ускользало от их жадного внимания, так уж был устроен у него хрусталик глаза; он видел желтые клювы грачей, еще не испачкавшиеся о землю, видел трясогузку, пьющую воду из лужи, и как откидывала она головку с каждым глоточком, видел чирка, стремительно несущегося над самыми крышами и резким зигзагом обгибающего печные трубы, видел облако с розовым исподом и старуху, держащую в руке загнутый на конце железный прут, чтобы исследовать мусорные кучи, помойки, свалки в поисках съедобных огрызков. И слышал этот господин не только тоскливые высокие паровые гудки, всхлипы поршней, лязг сцепов, но и далекий детский смех, постук женских каблучков по тротуару, голубиное нутряное воркование — такое было у него устройство ушного аппарата, и запахи пробирали его сильнее, чем его спутников, которые обоняли лишь запахи железной дороги, гари, вара, конского навоза, бензина и юфтевых сапог охранников, а ему тянуло свежей землей из-за окраины, набухшими почками, молодой травой. Господин был писателем, ему окружающий мир был горяч, как скорородка, и покидать этот горячий, острый, пахучий, певучий, цветной, многоликий мир особенно тяжело.

Мы можем лишь гадать, о чем думал тогда Лассила, но, возможно, вспоминал о свидании с женой Пупанена: сумеет ли Сасу забрать его картошку, которую он так здорово научился выращивать, ведь последние впечатления память удерживает прочнее. Но конечно, он думал не только о картошке, нельзя думать о ней весь долгий путь, тем более что машина приближалась к центру, мелькали знакомые красивые дома — в иных ему доводилось бывать, и он вспоминал людей, приглашавших его в гости, их глаза, голоса, улыбки, разговоры за дымящимся кофе или стаканом вина, и все сильнее в душной машине ощущалась морская свежесть. И вдруг

ошеломляюще сильно, прекрасно и мучительно шибануло дивным смрадом рыбного рынка. Вот куда их привезли, вот откуда начнется их самый последний путь.

Он любил этот рынок и часто гулял здесь. Он никогда, даже в лучшие дни, не был ни гурманом, ни чревоугодником, ел мало и кое-как, но любил щедрость земли и щедрость вод, любил их дары, и не было для него большего удовольствия, чем пройти мимо лотков с обрызганными водой овощами: розовой картошкой, пахучей петрушкой, красной морковью с курчавой ботвой, пучками зеленоперого лука, вступить в свежайшую рыбную вонь, в блеск и сверк серебрястых рыбьих тел, глянуть на бледную розовость здоровенных распластанных лососей, на треску и морских окуней, на плоских камбал, на пятнистую форель из быстрых прозрачных речек, на шевелящих перламутровыми жабрами щук с пилами в длинных пастях, на ракушки, чью пахучую мякоть так и не научился есть; он видел рыбацкие баркасы, доставляющие прямо к рынку только что наловленную, еще живую рыбу в садках и чанах, крепких мужиков в зюйдвестках, золотоглазых чаек, диких уток, бесстрашно плавающих у самой пристани и даже выбирающихся на берег полакомиться отбросами, мохноногого каюка в бледном небе, высматривающего жертву, и воду, качающую солнечные зеркальца, и тяжелые камни родины, которыми были укреплены берега в гавани, и лодки — весельные, моторные, парусные с убранными парусами. Случалось, морщинистый загорелый старик, похожий на кондора носом-клювом и облезлой макушкой, ладил парус, собираясь в море, он так и не узнал, кем был этот ранний путешественник. А зачем?.. Ну, чтобы назвать его про себя сейчас. Старому кондору открыто пространство во все четыре стороны света, но он не уйдет далеко, потому что слишком привязан к этому берегу, к этой бедной земле. А вот мы уплывем куда дальше, в ту

страну, что зовется Вечностью, хотя истинное название ей — Ничто. Ага, пришел проводить нас в эту страну сенатор Освальд Кайрамо, он должен присутствовать при казни, чтобы все было по закону; почему так заботится о букве закона власть, до глубины души презирающая его суть? И мой приятель Эйно Райло тут как тут, и коллега Вилкуна, — неуклонно правая, бедняга пишет все хуже и хуже. Неужели они пришли проститься со мной — «ренегатом»? Ах, как трогательно! Нет, они пришли убедиться, что со мной покончено — раз и навсегда. Каким же грузом вишу я на их крепких шеях! Они, кажется, кланяются мне — тонкая ирония! Что ж, ответим им тем же — и он кивнул им, поскупившись от презрения даже на беглую насмешливую улыбку. Он не задержался на них ни взглядом, ни сознанием, слишком серьезно было то, что ему предстояло.

Хриплый голос скомандовал грузиться на катер.

Не замечая, сколь двусмысленна его вежливость, Лассила пропустил вперед женщин и вслед за ними поднялся по трапу...

Никто не знает, что произошло на борту тюремного катера, на остров вынесли мертвеца и для верности еще раз расстреляли. Потом прикончили остальных и сбросили в общую могилу. Катер ушел назад, увозя охранников, тюремного врача Арне Лийтинена, внесшего свою долю путаницы в легенду об исходе Лассила, сенатора Кайрамо, так хорошо справившегося с ролью блюстителя законности, а два литературных подопка поднялись к ресторану, чтобы добрым глотком аква-виты и тонким обедом отпраздновать свое освобождение от человека, не дававшего покоя их нечистой совести. Так разошлись дороги тех, кто ранним весенним утром 1918 года отплыл на тюремном катере от Рыбной пристани к Сантахамину. Но тогда никто не предполагал, как далеко разойдутся их пути: одни шагнули в небытие, другие — в бессмертие.

...Моя трезвая, серьезная, трудовая жизнь в финской столице осточертела окружающим. Не так рисовалась тороватым хозяевам и уже начинала воплощаться работа над совместной книгой. Они ждали большей легкости, большей радости, в их просветленных душах звучала вакхическая, а не элегическая, хуже — похоронная песнь. Я же упорно покидал все празднества, едва дионисийское начало брало верх над суровой парадностью торжественной части. От меня явно ждали другого, рассказ «Вечер в Хельсинки» и добрые слухи, предварившие мой приезд, отнюдь не настраивали на встречу с таким угрюмцем.

В номере у меня пылились две бутылки «Пшеничной» с завинчивающимися пробками и пузатая бутылка марочного коньяка. Я пригласил к себе небольшую компанию, заказав в буфете легкую закуску, кофе, фрукты, тоник. Каюсь, мною двигала не только благодарность за гостеприимство, а ощущение, что Майю Лассила не сказал еще своего последнего слова. Часть гостей, покрутившись, вскоре ушла, остались врачиха, пописывающая стихи, журналист — его первное, тонко очерченное лицо напоминало мне Лассила безусого и безбородого периода, да и сублильным, деликатным сложением он был похож на финского классика, и художница, в чью мастерскую мы заезжали, возвращаясь с озера Туусула, столь любимого финскими живописцами, километрах в тридцати от столицы. Художница подарила мне на память небольшое полотно, изображавшее плевок; по-моему, оно и было написано слюной, как-то закрепленной на холсте; можно сказать, что картина выплюнута в мгновенном творческом озарении. Мне очень понравились и эта работа, и сама художница — крупная, большерукая, большеротая, с огромными зелеными шальными глазами. Потом обнаружилось еще одно ее достоинство: не-

иссякаемый завод, как у старинных английских напольных часов.

Мы уже долго кутили, когда за окном прогудел пароход, и я вспомнил о своем видении — пароме, вливающем в помер. Это дало повод для разговора, достойного героев Лассила.

— Что ты песешь? — сказала художница. — Разве он влезет в окно?

— Сроду не влезет, — согласился журналист. — Пароход — вот какой, а окно — вот какое.

— Да это ему почудилось, — вмешалась поэтесса.

— Мало ли что ему чудится, — сказала художница. — А мы должны верить?

— Ладно вам! — попытался я прекратить спор. — Мне спросонья показалось. Был туман и странный, рассеянный свет. Он приближал и увеличивал предметы...

— Пить надо меньше, — посоветовала художница и опрокинула в рот рюмку.

— А катер сюда вошел бы, — глубокомысленно изрек прикинувший что-то в уме журналист.

— Труба не пройдет, — возразила художница.

— Я имею в виду — без трубы.

Все согласились, что без трубы катер войдет в мой помер, и очень развеселились. Поэтесса спросила журналиста, едет ли он в Швецию, как собирался.

— Мы отплываем завтра, в шесть утра. — На тонком занятии у него болтались невиданных размеров часы со множеством стрелок. — Странная делегация... я и пять баб.

— Не завидую им, — сказала художница и стала звонить мужу, что немного задерживается. Она заверила его, что все идет хорошо и даже лучше, чем ожидалось, пусть не беспокоится, она вызовет такси. Муж в свою очередь уверил ее, что ничуть не беспокоится и ложится спать. Ключ оставит под порогом — они жили за городом. Потом журналист позвонил своей жене — тут нам приказано было соблюдать пол-

ную тишину — и на одном дыхании сообщил, что заработался с Анти, домой уже не вернется, сразу пойдет на паром.

— Встретимся после Швеции! — крикнул он и сразу положил трубку, захлебнувшуюся пулеметной очередью, и вытер вспотевший бледный лоб.

— Худо ли, хорошо ли, а дело сделано, — сказал он и осушил налитую всклень рюмку, чтобы восстановить душевное равновесие.

— У него ужасная жена, — доверительно сообщила мне художница, не понизив голоса. — Двухметровая деревенская бабища, скандальная и горластая. По-моему, она его бьет.

— Ну уж и бьет! — вяло запротестовал журналист. — У нее привычка размахивать руками, когда ругается. Может задеть случайно, но бить себя я не позволю.

— Побежишь в полицию? — спросила художница.

— Я сумею за себя постоять, — похвастался журналист и тут побледнел еще мертвее, чем при разговоре с женой. — Неужели все выпито?

— Поищи в чемодане, — посоветовала мне художница. — Может, завалилась бутылка.

— Это все, — сказал я. — Если хотите, закажу.

— Ишь какой миллионер! Тут наценка триста процентов.

— Разве что за счет мэрни... — неуверенно предложил журналист.

— Неудобно...

— Но кто же пьет на свои в гостинице такого класса? — печально сказал журналист. — Это безнравственно.

— Знаете что, — предложила поэтесса, — пошли ко мне. У меня есть и водка, и пиво, и вермут.

— А хорошо бы сейчас холоденького пивца, — облизнулся журналист.

Я от приглашения отказался, но никто меня особо и не уговаривал. Расстались мы душевно, я так и не сумел оттереть воротник рубашки от помады художницы.

А утром, у дверей ресторана, где мне давали прощальный завтрак, я столкнулся с поэтессой. На ней лица не было.

— Что случилось? — спросил я.

Она махнула рукой.

— Кошмар!..

— Но все живы?

— Не знаю, — траурно прозвучало в ответ.

— Художница?..

— Ее мы погрузили в такси и отправили домой.

— Журналист?..

Вместо ответа она вынула из сумочки необыкновенные, поразившие меня накануне паручные часы с секундомером, календарем, шагомером, барометром, манометром и счетчиком Гейгера.

— Они очень тяжелые. Мешали ему подносить рюмку ко рту. Он их снял и забыл на ночном столике.

— Подумаешь, беда! Обойдется в Швеции без часов. Или купит штамповку за три доллара.

Она посмотрела на меня долгим взглядом.

— Он никуда не уехал. Вы разве не слышали: объявлена всеобщая забастовка финского пароходства. Ни одно судно не вышло из порта. Вы представляете, в каком виде он явится домой, да еще без часов?

Я вспомнил пулеметную очередь в трубке и то, что рассказала художница о воинственной жене журналиста, и лишь раз убедился, до чего правдиво, национально-жизненно и созвучно нашим дням искусство Майю Лассила, истинно народного писателя прекрасной озерной страны, что мирно и дружелюбно соседствует с моей родиной.

ОГНЕПОКЛОННИКИ

Рассказ



Калькутте, на маленькой киностудии, я познакомился с Раджем. Эта студия делает фильмы о простых людях для простых людей. Но вот беда — простые люди почему-то любят фильмы про богатых, а про бедных, то есть про самих себя, не жалуют. И студия, стремящаяся создать народное кино, едва сводит концы с концами.

Я так и не понял, кем является Радж на студии. Прежде всего он сценарист. Кроме того, он отыскивает годные для экранизации произведения, заказывает сценарии, помогает не слишком опытным авторам, редактирует, правит диалоги. Но это далеко не все, Радж выступает и в качестве режиссера, администратора, играет эпизодические роли, а коли надо, становится к осветительным приборам, монтирует декорации; если же в фильме оказывается опасная погоня, рассеянный, погруженный в свой мир, близорукий Радж берет в руки баранку, ведь настоящий каскадер так дорог! Раджу хочется, чтобы фильм был снят, и ради этого он станет кем угодно. Энтузиазм Раджа приносит ему много хлопот и забот, много шишек и сипяков — физических и душевных — и совсем мало денег. Он очень бедный человек. Конечно, Радж не спит на улице, как многие его сограждане, у него есть ком-

патушка, в кармане бренчит несколько грошей, чтобы угостить приятеля пивом, сам Радж пьет только чай, его впуганней раскаленности противопоказан алкоголь, хватает ему и на порцию рыбы с красным перечным соусом в закускойной, и на чашку риса встояка на улице, и на темные вонючие сигареты — в изумляющем количестве. Никотин почему-то щадит его большие, ровные, белые как кинень зубы. На худом лице Раджа не хватает кожи, при самой легкой улыбке кожа мгновенно оттягивается к ушам, и великолепные зубы его обнажаются в опасноватом оскале. Ему трудно упрятать их назад под тонкие губы, людоедская улыбка подолгу гостит на лице этого добрейшего человека. У Раджа блестящие, словно набриолиненные, волосы, черные и тоже блестящие глаза, сухая смуглая кожа, он высок, костляв, длинные руки далеко высовываются из рукавов чесучового пиджака, некогда белого, а сейчас расцветенного всеми красками жизни своего беспокойного хозяина: здесь земля и песок, зелень травы, радужные разводы смазочных масел, чернильные пятна, ржа перечного соуса, глубоко въевшийся пепел сигарет, так же расцветены и узкие, национального кроя штаны, ниспадающие на разношенные сандалеты, из которых доверчиво и трогательно торчат изящные пальцы с удлиненными ногтями. Если б Радж хоть сколько-то следил за собой, за одеждой, выражением лица, жестами, он был бы хоть куда. Но в своем не слишком презентабельном образе, к тому же осложненном легкой сумасшедшинкой, проглядывающей в затяжных улыбках, ломаных страшных жестах, лицевых тиках, внезапных приступах рассеянности, он привлекал к себе внимание женщин, что его ничуть не занимало. У Раджа была подружка, такая же чокнутая, как и он, но только не на кино, а на живописи (Радж называл ее мрачноватые видения «индийским неореализмом»). Она то и дело возникала на нашем пути: в павильоне, в кино, в кафе, на базаре, просто в уличном потоке возле такси, безразличная к чудовищному дви-

жению, как священная корова, но отнюдь не столь защищенная, и так же внезапно исчезала, не обменявшись с Раджем и двумя словами. Казалось, ей пужно лишь убедиться, что Радж еще существует, да и ему показать, что она тоже жива. Я не улавливал ни мига ее появления, ни мига исчезновения, не мог понять, как высчитывала она наше местонахождение, и меня это первиоровало, но Радж оставался невозмутим.

Он заставил меня посмотреть несколько фильмов, сделанных на его студии, один из них, про сельского таксиста, мне определенно понравился, остальные показались скучноватыми при всей добротельности замыслов.

— Вот видишь — и тебе скучно! — Радж в отчаянии ударил себя по костлявым коленям. — Но ведь это настоящая жизнь. Неужели тебе правится слащавая галиматья, которой кормит зрителя коммерческое кино?

Я сказал, что совсем не правится. Но чем объяснить громадный успех этих фильмов у индийских зрителей? Ведь их должны раздражать, оскорблять дворцы, их сусальная роскошь, белые лимузины, подобострастные слуги, томные красавицы и поющие молодые люди — наследники богатых отцов, весь этот бредовый пир во время чумы, который выдается за современную индийскую действительность.

— Да что ты! — вскричал Радж. — Не только не раздражает и не оскорбляет, а чарует, манит, кружит голову. Бедняки отказывают себе в лепешке и чашке риса, чтобы пойти в кино и погрузиться в сладостный сон паяву. Никто не завидует, не возмущается, и никто не соотносит эти видения с жизнью. Обездоленные, лишенные крова, пищи, одежды люди погружаются в дивную сказку. Этот уже не уличный попрошайка, а наследник миллионера, которого похитили в детстве бродяги, а та не посудомойка, а возлюбленная младшего Капура, горбатый карлик не рыночный шут, а живущий во дворце прокурор, наделенный прозорливостью и властью бога Вишну. Больные, калечные, нищие, изломанные жиз-

нию чувствуют себя героями, красавцами, богачами, победителями, и это дает силу толкать дальше свою тачку. Отними у них сказку, что останется?..

Я сказал Раджу, что удивлен и несколько подавлен этим гимном воинствующей пошлости. Радж болезненно поморщился. Высокие души часто обделены чувством юмора.

— Ты меня не понял. Я ненавижу коммерческое кино, но признаю его силу. Все филиппики в его адрес ничего не стоят. Зрелище можно побить только другим зрелищем, лучшим. Вот мы и пытаемся это сделать. И сделаем, можешь не сомневаться. Ведь коммерческое кино при всей своей очевидной глупости вовсе не безвредно. Это усыпляющее, расслабляющее, деморализующее...

— Демобилизующее, — подсказал я, потому что всегда любил перечисления, недаром же «Гаргантюа и Пантагрюэль» с детства моя настольная книга.

— Совершенно верно: демобилизующее, затуманивающее мозги и душу, лишаящее воли к борьбе, уводящее из действительного мира в обманный чертог псевдоискусства — своего рода наркотик. Так же разрушающий личность, как опиум, хотя несколько медленней. А мы хотим создать кино, которое будило бы, тревожило, заставляло вглядываться в себя самого и окружающее, рождало бы в людях неведомые им силы. Мы не собираемся ни развлекать, ни радовать зрителей, пусть они мучаются, страдают, тоскуют, плачут...

— Но не скучают, — вставил я.

— Да, — чуть упавшим голосом согласился Радж, — скука — это смерть. Но как же не просто ее избежать, когда говоришь о серьезном! В фильме о таксисте это удалось. На него ходили, и студия поправила свои дела. Может быть, причина в том, что он не до конца серьезен? Как ты думаешь? Фильм грустный, как грустна наша жизнь, но герой улыбается даже в самые тяжелые минуты, он не верит в окончательность зла. Наверное, это и привлекает. Людям

пужен хоть крошечный просвет, хоть лучик надежды. Кинокоммерсанты все мажут золотом, а мы — серой краской печали. В этом наша ошибка. И потом — мы снимаем очень дешевые фильмы. А сейчас время дорогого кино. Даже фильм о бедняках должен дорого стоить, ты понимаешь меня? Совершенная достоверность в кино достигается путем затрат. А мы стараемся снимать подешевле. Зрителя не проведешь. Дешевое зрелище унижает зрителей, особенно таких требовательных, как бедняки. Коммерсантам не откажешь в знании человеческой психологии...

...Я вспомнил об этом разговоре через неделю в Бомбее, когда перед поездкой на остров Элефант, где находится знаменитый храм Шивы, заглянул в приморский отель попить кофе. Вызывающая пышность громадного караван-сарая оказалась мне странно знакомой. А потом я увидел надписи над высокими резными раззолоченными дверями, выходившими в широкий сумеречный коридор: «Золотой зал», «Серебряный зал», «Алмазный зал». Поочередно заглянув во все эти залы, я узнал интерьеры душераздирающих мелодрам «из жизни» индийских судей, врачей, инженеров, перед которыми, если верить бомбейским фильмам, ассирийские цари и американские миллиардеры — оборвыши. Конечно же, пужны сильные средства, чтобы вытянуть из цепкой ручонки маленькой нищенки последний грош. Золотые, серебряные, алмазные покои воюют с плотью бедняка, с его урчащим от голода желудком, с его сбитыми в кровь босыми ногами, тоскующими по мягким чувякам, с его заматыми на асфальте ребрами, мечтающими о подстилке, с его нёбом, алчущим сладкого холодка мороженого, и неизменно побеждают. Вместо горсти риса, чувяк, тряпки, стаканчика с ядовито-красной благодатью бедняк получает полтора часа золотой, серебряной, алмазной грезы. Радж и его друзья хотят отнять у бедных людей их игрушку, короткую пирвану, чтобы всегда бодрствовало, томилось, искало по-

ступка сознание, чтобы старая, отнюдь не волшебная сказка о безволии нации не обернулась былью.

На Элефант мы плыли на стареньком колесном катере; настолько перегруженном туристами, что плицы лишь пахали воду, но не рождали движения. Если смотреть с палубы вниз, то вода вроде бы обтекала дряхлый облупившийся корпус, но берег за кормой не отдалялся, а поросший высокими, тонкими пальмами островок впереди не становился ближе.

Я задремал, не теряя ощущения катера со всем его мощно озвученным старческим бессилием, с пенужно-хлопотливой жизнью пассажиров, а когда меня растолкали, сперва отозвался гусиной кожей на прохладную тень, а затем лишь обнаружил прямо на носу ее источник — зеленое двухолмие, разделенное узкой долиной, — Элефант, Слоновий остров. Катер не прибавил хода, плицы колес с такой же яростной тщетой взбивали воду, а долгий путь остался позади, похоже, я проспал чудо, сотворить которое мог только могучий джиш.

Мангровая растительность покрывала изножие холмов до песчаной, с намывами грязи береговой кромки. У деревянных сходней толпились туристы, возвращающиеся на «большую» землю.

До этого мой рассказ шел от «я», сейчас появится «мы». Это «мы» — маленькая киноделегация, состоящая из двух известных актрис и двух куда менее известных сценаристов. Поскольку спрос на нас в индийской кинодержаве был велик, мы часто действовали поврозь, а потом снова соединялись для какого-нибудь важного мероприятия или развлекательной поездки, на что не скупились наши тароватые хозяева. Вот и сюда мы приплыли всей четверкой.

На берегу нас поджидала статная, ярко и уверенно красивая женщина лет под сорок, в розовом сари и серебряных туфельках, ее унизапные кольцами пальцы придерживали на

груди края долгого бледно-сиреневого платка, накинутого на плечи. Небольшая аристократическая голова, горделиво сидевшая на высокой, необыкновенно стройной шее, и подчеркнутая прямизна стана придавали ей обескураживающую величавость. Мы смутились и слегка пали духом, узнав, что эта торжественная женщина прикомандирована к нам гидом на весь день. Нам бы чего-нибудь попроще. Несоответствие значительного облика скромной профессии неизбежно толкает на мысль ко всяким печальным догадкам. Прекрасная женщина чутко уловила наше смущение и сочла нужным сообщить, что она не профессиональный гид, а преподаватель и администратор балетной школы, где учится ее дочь, и сотрудница отдела искусств в одном из бомбейских журналов, кроме того, связана с кинокомпанией, построившей новую студию на окраине Бомбея, где нас ждут сегодня к вечеру. И хотя все сказанное ею звучало более чем скромно, мы догадались, что получить такого вожа — немалая честь. Тревога была снята, но некоторый палет загадочности остался.

Вслед за гидом мы стали подниматься по очень крутой и высокой лестнице, ведущей к пещерам, где находилось святилище Шивы. В обгон нас дочерна пронеченные носильщики в набедренных повязках возносили наверх в открытых портшезах состоятельных туристов, не желавших утруждать себя подъемом. Я провожал их завистливым взглядом. Как ни тощ был мой кошелек, на портшез хватило бы. Но не хотелось расписываться в своей немогущности перед богиней, притворившейся гидом. И, чувствуя сердце у самого горла, я карабкался по крутой лестнице, закрыв глаза, чтобы не видеть бесконечных, уходящих в перспективу ступеней. А достигнув вершины и не умерев, возблагодарил небо и собственное упрямство. Громадные скульптуры, высеченные с дивным искусством в каменных пещерах, о которых так сладко поет Индийский гость, ошеломили, смяли и вознесли душу,

и на какое-то время я стал видеть в нашей прекрасной спутнице только гида, обратив к ней не жадный взор, а правое, еще слышащее ухо.

Раннее средневековье создало этот храм, запечатлевший превращения загадочного Шивы, чья страстная и трогательная любовь к дочери Гималая, застенчивой, пленительной, пугливой, порой кокетливо-капризной Парвати, придает грозному многорукому богу неожиданную человечность: Хотя в пещерах есть изображение триликого Шивы: разрушителя, созидателя, охранителя, первый и главный образ неистового бога в остальных скульптурах не воплощен, так же как и страшный, зловещий образ жены Шивы, когда она — Дурга, кровожадная, мстительная, отвратительная ведьма. Бог и богиня представлены здесь, по терминологии нашего гида, в «благожелательном аспекте».

Поразительный символ — Шива как Натараджа, король танцев. Неистовым танцем Шива раскручивает Вселенную. Скульптура сильно пострадала от времени: отбиты по колени ноги, обе правые руки — по локоть, одна из левых — до кисти, но это лишь усиливает ощущение бешеного вихревого движения, подобно той смазанности, что бывает на фотографиях, изображающих народные пляски. Невозмутимо погруженное в свою тайну лицо танцора с сомкнутыми веками.

История Шивы не просто чувственна, как и все легенды древней Индии, она пронизана безудержным эротизмом. Этот бог, чьим самым распространенным символом является каменная лигма, не мог остаться внешней силой в отношении женского начала, должен был узнать его изнутри, заключив в собственную суть. Шива как Арджанаришвара — это полумужчина-полуженщина; справа он, Шива, — воин, слева — полногрудая Парвати. Так узнал Шива высшую чувственность — двойное вожделение к самому себе.

Наша прекрасная и стыдливая гидесса, рассказавшая легенду с благородной простотой и сдержанностью, мягким, серьезным взглядом положила предел нашей любознательности.

Но индуизм так тесно повязан с необузданной эротикой, что суровой матроне все же трудно было сохранить эвнищовую невозмутимость. Защитная оболочка плавилась на глазах. Стараясь сохранить ее, гидесса палегла на цифровые данные: глубина пещер, высота скульптур, параметры постаментов...

Но и сквозь сухую цифирь пробивалась чувственность древних, этих далеких предков гидессы. И она на глазах становилась земным воплощением Парвати: нежность и строгость, сознание долга и напор сильной жизни, напрягающий плоть, цветение глаз и рта и волнующейся под сари груди. Лишь громадная внутренняя дисциплина позволяла ей сохранять расстояние между собой и окружающими. И было в этом что-то странно печальное.

— Не на меня надо смотреть, а на скульптуры, — тихо сказала женщина, когда мы переходили из одной пещеры в другую. — Это чудо неповторимо.

— Ваше тоже, — сказал я.

Ответ напрашивался сам собой, и можно было пропустить его мимо ушей, но ей зачем-то понадобилась гримаса оскорбленного достоинства: профиль натянулся, и в сужившихся по-кошачьи зрачках расплусилось мое отражение.

...Вернувшись на «большую» землю, мы отправились на двух машинах — у гидессы был маленький «фиат» — через весь дивный, сверкающий, сияющий, пальмовый, цветочный, фонтанный Бомбей к знаменитым «висячим садам».

К нашему разочарованию, оказалось, что «висячие сады» вовсе не висят, как некогда, а прочно стоят на земле и под ними находится городское водохранилище. Не знаю почему; я ожидал увидеть что-то весьма экзотическое и таинствен-

ное — густой, влажный, душно-благоуханный рай, а попал в индийский Сап-Суси, в расчисленное, строго организованное в чопорном французском стиле парковое пространство. Вдоль прямых, посыпанных красным песком дорожек выстроились кусты, превращенные искусством садовников-скульпторов в фигуры зверей: слона, буйвола, тигра, дикой свиньи, тапира. На круглых клумбах и длинных грядках цветут огненно-красные цветы, высоченные ухоженные пальмы держат небосвод на своих сильных кронах. И страшным контрастом в левом углу парка поднимаются темные бетонные здания без окон, над которыми кружат грифы на широких подвижных крыльях. Птицы парят очень высоко, порой вовсе исчезают в блистании неба, затем вновь обнаруживаются лезвистым прорезом в лазурном тугом шелке. И человек уж так устроен: когда слишком много красоты вокруг, он тянется к уродливому. Среди диковиных зверей, огненных цветов, стройных пальм нас больше всего заинтересовали бетонные, тюремного обличья здания.

— Это башни молчания, — своим глубоким, спокойным голосом сказала гидесса. — Вы, наверно, слышали о них?

Мы и впрямь что-то слышали, но ни один из нас не мог вспомнить, что именно.

— Вы что-нибудь знаете о зороастризме, или парсизме, проще — об огнепоклонниках?

Вроде бы что-то знали, но, убей Бог, не вспомнить.

— Пойдемте туда, по дороге я расскажу вам об этой религии.

И она рассказала. Подавленные индуизмом, мы не были настроены на восприятие нового головоломного способа самоспасения несчастнейшего из всех творений природы — человека, которому лишь одному дано знать, что он смертен. Нас поразила обряд исхода огнепоклонников. Впрочем, возможно, что так принято лишь в парсизме — индийском варианте зороастризма. Огнепоклонники считают, что все оста-

ющееся от человека после смерти должно служить покинутому миру. Свои глаза они завещают медицинскому институту, равно и те внутренности, которые могут быть использованы в научных или лечебных целях; тело идет на корм грифам. Обнаженных покойников укладывают на открытых площадках башен молчания: отдельно мужчин, отдельно женщин, отдельно детей. Получив сигнал густым черным дымом, грифы камнем падают вниз и в несколько минут расклевывают покойника, оставляя чистый белый скелет, который сжигают в печи. Из белых спекшихся комочков готовят костную муку, идущую на удобрение полей. Таким образом, утилизируется весь состав человека, не пропадает ни одного волоконца. Мудро поделенное меж наукой, фауной и флорой, мертвое тело служит добру жизни. Вот и подъемная сила крыльев парящих в бездонной синеве грифов — из отслужившей человеку оболочки, а из человеческого остова прорастают рис, просо, ячмень.

Все разумно и правильно, так почему мороз по коже? Чем крылатые могильщики хуже могильных червей? Вроде бы предпочтительней стать посмертной добычей птиц, чем пустых страшных трубок, кишачих в земле. Так почему же мороз по коже?..

Может, отвращает наглядность этого обряда? В земле все скрыто, а здесь на виду. Хищные птицы, расклевывающие труп, — образ, непосильный для человеческого сознания. И образ этот надо нести в себе всю жизнь. Обычно человек отдает распоряжения о своих похоронах перед кончиной, и то далеко не всегда, а тут, едва осознав свое нахождение в мире, ты уже знаешь, что тебя сперва распотрошат, затем истерзуют кривыми клювами, а остаток пустят на удобрение. Надо обладать на редкость крепкими нервами и несмятенным духом, чтобы знать все это и спокойно жить.

— Много в Индии огнепоклонников? — спросили мы гидессу.

— Много. В одном Бомбее более ста тысяч.
— А у вас есть среди них знакомые?
— Разумеется. Ведь и я сама, и мой муж, и дочь, мы все — парсы.

В моей не бедной впечатлениями жизни ничто так меня не потрясло, как это сообщение. Ну, будь на ее месте престарелый дервиш, пустынный-аскет, изведший свое тело почти до полного уничтожения, — куда ни шло, но представить, что прекрасную, жаркую, радостную плоть раскроют омерзительные гарпии, — этого не принимала душа.

А ведь с самого начала я чувствовал исходящие от этой женщины волны странной тревоги, пространство напрягалось вокруг нее. Это не было явлением воли. Она жила иным законом, нежели все мы, не осиявшие той верой, что позволяет бесстрашно и безжалостно распорядиться своей земной оболочкой...

Когда, покинув «висячие сады», мы сели в машину, на белом спортивном «мерседесе» подъехал элегантный человек в больших темных очках. Он вышел, упитанный, лысоватый, но легкий, с ловкими движениями, любезно поклонился нам и о чем-то спросил гидессу.

— Мой муж, — представила она его.

Порывшись в сумочке, она достала записную книжку в перламутровом переплетке и стала диктовать мужу какие-то сведения, которые он тут же заносил в блокнот. Он что-то сказал жене, улыбнулся, и супруги расстались.

«И этого раскроют грифы», — меланхолически думал я, глядя в хвост быстро удаляющемуся «мерседесу»...

По дороге на студию мы два раза останавливались, и огнепоклонница звонила куда-то по телефону. Мне казалось странным, что она может заниматься бытовой чепухой, когда грифы несут дозорную службу над башнями молчания. Но ей это было в привычку, и в своей медлительной, величественной манере она предельно нагружала быстротекущее. Так, мы

еще раз встретились с ее мужем, пуждавшимся в повой информации, а затем и с дочерью, которую куда-то завезли, сделав маленький крюк.

Студия со всеми угожьями оседлала двухолмие, господствующее над обширным пространством, отсюда видны заливы, невысокие горушки, поросшие то густым кустарниковым лесом, то редкими тонкими пальмами со слабой кроной, у горизонта обрисовываются хребты, но иногда хребтами притворяются причудливо громоздящиеся облака. Огромное небо не узнать — дневная синева лишь проглядывает из тяжелых кучевых облаков, слоисто заполнивших небесный свод. Потускневший солнечный диск порой влывает в промоины, отдавая усталый свет площадке студии, остальному простору достаются оранжевые пятна, а к заливам протягиваются долгие лучи, серебрящие водную рябь.

Будь моя воля, я так бы и стоял на холме, не в силах насытиться поминутно меняющимся пространством, но суэта жизни не терпит остановок. Зовут осматривать павильоны, тоцстудию, административный центр, складские и прочие подсобные помещения...

Студия построена по высшим мировым стандартам, великоленно технически оснащена и богата землей, на ее огромной территории, включающей лес, воду, холмы и пади, будут производиться натурные съемки. Джунгли, саванну, сцены на воде и под водой — все можно снять, не выходя за ворота. Директор студии, дававший пояснения, с гордостью сказал, что неподалеку от главного павильона обитает в зарослях тигр, чей рык слышен по почам. «Он уже зачислен в штат студии», — пошутил рослый, вальяжный директор, которого то и дело отвлекали какие-то озабоченные люди с большими портфелями, — среди них мелькнул и знакомый нам огнепоклонник. Мелькнул и похитил свою жену до встречи на вечернем приеме у какого-то фирмача. Она простилась с нами благословляющим движением узкой руки в золотых

кольцах и плавным, неспешным, почти неощутимым под сари шагом повлеклась к костру. Конечно, то были шутки моего раненого воображения. От бредовых мыслей отвлекло странное цоканье, назойливо долбившее мне барабанную перепонку. Обернувшись, я уткнулся взглядом в длинную фигуру Раджа. Он-то как сюда попал?..

Радж сунул мне горячую, сухую руку, ослабилась, и по обыкновению зубастая улыбка задержалась на его страшно отсутствующем лице. Радж видел меня и не видел, замороженный расстилающимся перед нами кипораем. Язык его упруго бился о нёбо, рождая птичий звук безграничного восхищения. Радж не сделал уступки месту: на нем все так же истлевали его национальные штаны и чесучовый грязный пиджак. Путешествуя, люди всегда меняются. Одни надевают дорожное платье, другие, наоборот, модничают, иные обзаводятся сумкой через плечо, палкой, зонтиком, темными очками, фото- или киноаппаратом, какой-нибудь немислимой шапчонкой, фляжкой в шерстяном чехольчике. За тысячу верст от родного порога Радж сумел сохранить свой домашний облик, как будто выбежал на угол за сигаретами.

Оказывается, он прилетел в Бомбей специально для того, чтобы посмотреть новую студию в горделивой мечте воспользоваться когда-нибудь здешним опытом. За минувшие дни народное кино в Калькутте одержало большую победу: прокатчики купили вторую серию фильма о таксиде, и Раджу как одному из сценаристов, сорежиссеру и администратору перепала толика денег — как раз на авиационный билет в Бомбей и обратно. Он был уверен, что нашел капиталу наилучшее применение, а же придерживался другого мнения: лучше бы купил новые штаны. Но тогда он не был бы Раджем.

Какие чувства бушевали сейчас в тощей груди Раджа, работника студии, где режиссеры дрались из-за одного-единственного павильона, а операторы — из-за одной-единствен-

ной старой, но надежной кодаковской камеры? Эта новая студия была как невеста, которой еще не коснулись нетерпеливые руки жениха, прекрасная, ждущая, трепещущая.

Но Радж-то знал, какой любви откроется эта невеста, и страдал.

Мы еще находились в павильоне, когда явился жених. Знаменитый актер, кинозвезда первой величины. Он был далеко не молод — картинно просоленная грива, белые нити в черни усов и бороды, — но актеру на характерные роли возраст не помеха. Громадный, в светлых развевающихся одеждах, с толстыми волосатыми пальцами, униженными перстнями, с драгоценным ожерельем на шее, а на груди в золотой рамке — фотография, величиной с блюдце, любимой жены — шумный, размашистый, самоуверенный, избалованный бог киноудачи. Как-то сразу стало известно, что он снимается одновременно в тридцати пяти картинах, что со старшего брата — продюсера — он сорвал миллион за участие в его фильме, свою обычную сверхставку, не поддавшись родственной слабости, что здесь он будет впервые сам ставить и субсидировать двухсерийный боевик.

Появление великого человека заставило директора свернуть экскурсию, что нас втайне обрадовало — мы не чувствовали под собой ног, а предстоял еще вечерний прием. Директор и актер удалились для переговоров, и я с удивлением обнаружил в деловой свите знатного гостя мужа гидессы-огнепоклонницы. Этот человек не терял времени даром.

— Представляешь, — сказал Радж с ужасной и потерянной улыбкой людоеда-вегетарианца, — через неделю вспыхнут софиты, помощник режиссера объявит первый дубль; прогремит из рупора: «Мотор!», и вся эта красота, это техническое чудо падут жертвой очередной пошлости. Огромный, волосатый, ничего не стесняющийся человек будет произносить глупые слова, делать глупые жесты, лить глицериновые слезы ради не просто пустого, но вредного зрелища. И ведь

он вовсе не бездарен, в нем есть талант и темперамент, он мог бы будить спящих. Но для этого надо пойти на риск. А разве он решится? Ведь можно потерять сколько-то денег. Отчего такая сила в душно пахнущих бумажках? Ему же не истратить своих денег, хоть убейся, но загребущие руки все чешутся, как бы еще урвать. А какие фильмы можно поставить в этой студии!.. Что бы мне найти клад, находят же другие. В фильмах этого волосана найти клад — раз плюнуть. Или наследство получить! В коммерческих фильмах чем беднее человек, тем проще ему схватить миллион. На моей стороне все шансы. Да не схвачу я ни черта! А может, жениться на богатой? На принцессе или дочери нефтяного магната. Это самое реальное. Если немного подкормиться, я буду хоть куда! Жаль, конечно, мою подружку, но искусство требует жертв. Кароян говорил: ради искусства я не щадил ни близких, ни любимых, ни самого себя. Кино для меня, что для Карояна оркестр. Дам объявление в брачной газете: срочно требуется дочь миллионера. Самое грустное, что я не шучу, почти не шучу. Я попал под гипноз коммерческих фильмов и все время прикидываю к себе их варианты скромного и верного обогащения. Я вижу, понимаешь, вижу кино, которое нужно, но у меня связаны руки. Слушай, у тебя нет знакомой миллионерши?

Никогда не был он таким говорливым. И мне подумалось, что у Раджа голодное возбуждение. Все деньги он ухлопал на авиационные билеты и питается в Бомбее дымом своих черных сигарет.

— Радж, — сказал я, — пойдём куда-нибудь перекусим. Я с утра на одном кофе.

— Боюсь, что не смогу тебя угостить...

— Ладно. Радж, найдешь клад и закатаешь пир в «Алмазном зале» приморского отеля. А на китайский ресторанчик у меня хватит.

И мы поехали в город.

По тому, как накинулся Радж на крепкий суп из плавника акулы, я понял, что не ошибся в своем предположении. Но то ли у него усох желудок, то ли он просто не в состоянии долго жить велениями плоти, — вкуснейшую «лакированную» утку, которую подают в два приема: сперва золотисто прожаренную кожицу, затем снятое с костей мясо, он лишь поковырял, опять унесся выпры. Я слушал его чуть рассеянно, отвлеченный семьей огнепоклонников, обедавшей через два столика от нас.

Семья насыщалась основательно и неспешно, они знали толк в еде. Видимо, знакомый с их привычками метрдотель приставил к ним специального официанта, старенького юркого китайца с траченым оспой личиком. Глава семьи колдовал над соусами и подливами, переделывая их на свой вкус. Он то и дело требовал у официанта то сою, то уксус, то горчицу, то красный перец, то оливковое масло, то едкое табаско, и требования его выполнялись с завидной быстротой. Жена полностью доверяла гастрономическим познаниям мужа и брала пищу лишь после его обработки. Послушная дочка следовала примеру матери. Они не ели, а священнодействовали, изгнав всякую память об окружающем мире. Умели эти люди наполнять каждую минуту или делом, или наслаждением жизни. Они не разговаривали друг с другом, не глазели по сторонам, они питали свою плоть, будет работа грифам, когда пробьет их час. Но до этого еще далеко, а они, несомненно, принадлежали к тем деревьям, о которых поэт сказал: «И мысль о смерти неизбежной не свет с древа ни листа».

Радж при всей своей рассеянности к внешним обстоятельствам и одержимости «главной» темой остро, как настоящая художественная натура, чувствовал настроение собеседника. Он замолчал на полуслове, произвел несложный расчет — исходными были моя невнимательность и смещение взгляда, и сразу в точном повороте нашел семью.

— А-а, эти дельцы!.. — сказал он без всякого интереса.
— Ты их знаешь?
— Кто их не знает!
— Тебе известно, что они огнепоклонники?
— Нет, — сказал он равнодушно. — Ну что ж, раз совесть спокойна, можно все силы бросить на обслуживание самих себя.

— Ты так это понимаешь?

— А как же еще? Их религия возводит материальное благосостояние в цель жизни. В Бомбее все ростовщики — парсы.

— Вот тебе раз!.. Слушай, Радж, а ты сам какой веры?

— Я?.. — Вопрос словно застал Раджа врасплох. — Индуистской, конечно. Но честно — я никудашный верующий.

Нет, Радж, ты-то как раз верующий. Ты не откупился от мучительной ответственности посмертным даром, а горишь живьем. Чистым и светлым пламенем. Ты настоящий огнепоклонник...

Два старика

Рассказ



перва о памятниках. Каждый памятник призван увековечить и возвысить в сознании потомков то или иное историческое лицо и дела его. Естественно, что в памятнике дается обобщенный, идеализированный (в большей или меньшей степени) образ ушедшего. Но существуют исключения.

Первый памятник-кариатура появился в царской России. Как это ни дико, его поставил своему отцу, покойному императору Александру III, последний Романов, редкостно несчастливый во всех начинаниях. Трудно вообразить более злую сатиру не только на царя Александра, но и на все самодержавие, чем эта скульптура, созданная живой и своеобразной фантазией ваятеля-самоучки Паоло Трубецкого. Чудовищного всадника и сейчас можно увидеть во дворе Михайловского дворца, где расположен Русский музей. Глумился ли талантливый скульптор над своей моделью, или — человек взбалмошный, неуправляемый, страшный — не ведал, что творил, — не знаю. Но трудно поверить, чтобы такой откровенный гротеск создавался помимо замысла и намерений, нельзя так преувеличивать роль бессознательного в творческом акте.

Граф Витте пишет в своих мемуарах о том потрясении, какое испытали приближенные покойного императора на торжестве открытия памятника, когда сдернули покрывало и ошеломленному взору саповников предстал страшный истукан — не то великан-городовой, не то разжиревший казачий сотник верхом на бегемоте. Царь и лошадь стоили друг друга. Вся косность, тягостность и безнадежность отжившего режима чугушно (хоть памятник бронзовый) застыли в этом зловещем символе. А это и в самом деле был символ, могучее и страшное обобщение, ибо живой царь Александр при внешности гостиничного швейцара из бывших героев русско-турецкой войны был умнее и значительнее всех остальных Романовых, вместе взятых. Он единственный из них понимал обреченность русского самодержавия и близкий конец царствующей три столетия династии. Он подумал, и это была сложная по тому времени и уровню русской государственности мысль, что спасение России (от революции) только в мужике. Следствием его идеи, покорно и тупо усвоенной наследником, возник при дворе сибирский ямщик Новых, он же Старец, он же Гришка Распутин...

Еще один памятник-карикатура установлен в Осло, на площади «7 июня 1905 года» — с этого дня отсчитывается норвежская самостоятельность — в честь короля Гокона. То был первый норвежский король, взошедший на престол воспетого Ибсеном Гокон Гоконсена, когда Норвегия расторгла унию со Швецией и стала независимым государством. Он был родом из Дании, но норвежцы быстро признали его своим. Король Гокон, проживший очень долгую жизнь, — больше чем эпоха в жизни Норвегии, это вся ее новая история: при нем были совершены Великие географические открытия, блистали имена Напсена, Амундсена, Свердрупов, при нем Норвегия подверглась гитлеровской оккупации (король нашел приют в Англии), его голос прозвучал в рудничной штольне Киркенеса, где скрывалось от немцев все население

городка и окрестностей, когда Советская Армия разгромила войска генерала Рапдулича и начала освобождение Финмарка и всей Норвегии, при нем залечивались раны войны.

Гокоп был очень худ и высок — под два метра. Скульптор беспощадно обыграл эти две характерные особенности облика норвежского короля. Норвежцы в массе своей крайне демократичны; в начале прошлого века они упразднили дворянское сословие, им ненавистны пышность, торжественность, этикет, всякий намек на привилегии, что неизбежно при королевской власти, даже урезанной парламентом до чистого представительства. Для жителя Осло нет большего удовольствия, чем, встретив нынешнего короля Улафа в вагоне метро-трамвая, подымающегося на Холмен-коллен, где монарх прогуливает своих собачек, осведомиться ворчливо, сколько он вчера «прииял». При этом обращаются на ты. Гокоп не допускал такой фамильярности, вот и стоит пугалом на площади, названной в честь гордой даты.

Третий памятник-кариатура находится в Лондоне, неподалеку от Вестминстера. Он изображает тучного человека, чуть посунувшего вперед голую, лысую голову с мощным сводом лба и темени, словно приглядывающегося и прислушивающегося к жизни, к тому, что творится вокруг. На нем плотно обтягивающее пальто с поднятым воротником, со спины он похож на ласточку. И это невероятно, ибо в облике человека, которому он посвящен, не было ничего от птицы: приземистый, коренастый, грузный, он был так прочно прикован к земле, что и Гераклу не оторвать. С других точек памятник дает представление о привычной сути знаменитого Уинстона Черчилля.

Похоронен бывший премьер в Чартвелле на фамильном кладбище Черчиллей-Мальборо. Могильная памятная плита с его именем находится сразу за порогом Вестминстерского собора, на самом почетном месте, этим как бы утверждается, что не было, нет и не будет в Англии государственного

деятеля значительнее Уинстона Черчилля. Морской министр в Первую мировую войну, немало сделавший для уничтожения подводного и надводного флота кайзера Вильгельма, он стал премьером во Вторую мировую войну, в самые страшные за всю историю Англии дни, с его именем связана в сознании соотечественников одержанная победа. Популярный на Западе Шарль де Голль — фигура романтическая, Черчилль — олицетворение трезвой буржуазной государственности. И все-таки Сталин обвел его вокруг пальца. Не могли Черчиллю ни пресловутый ум, ни опытность, ни проциательность, помноженная на ненависть, — новую карту Европы он дал скроить Сталину в близорукой надежде на вечные очаги напряжения, которые якобы свяжут по рукам и ногам Советский Союз. Крупнейший политик старого мира ничего не понял в тех новых формациях и отношениях, какие неминуемо должны были возникнуть в послевоенной Европе. Он, правда, быстро, хотя и запоздало, спохватился и уже через год после окончания войны произнес свою знаменитую поджигательскую речь в Фултоне.

Вот что значит слишком задержаться во времени, которое тебе уже не принадлежит. В личном плане Черчилль — фигура трагическая. Нет ни малейшего сомнения, что он любил Англию с ее особняками, коттеджами, парками и садами, старинными замками, фамильными кладбищами, туманами и горьковато-ясными осенними днями, дымящими каминами, грелками, пудингом, традициями, старомодностью, независимостью, с ее Вестминстером и Тауэром, где старые злые вороны состоят на государственной службе, с мешком шерсти под задницей лорда-канцлера в палате лордов, с ее Хоггартом, Констеблем, Рейнпольдсом, Гейнсборо, Тернером (он и сам был отличным художником), с Шекспиром, Теккереем, Диккенсом, Маколеем, Карлейлем (он сам был превосходным историческим и политическим писателем), с

ее бурной историей и предприимчивыми героями, с ее ретроградностью, упрямством и стойкостью, столь бесспорно доказанной в войне с Гитлером, с ее институтами и учреждениями, с ее консервативностью, в которой был уверен, даже когда верх взяли лейбористы (он свысока называл их лидера Эттли «овцой в овечьей шкуре»); он любил Великобританию с ее колониями и прежде всего с Индией, сокровищницей английской короны, с большими и малыми владениями во всех частях света, с ее гордым (некогда) морским флотом, готовым орудийным огнем подавить любое педовольство замордованных туземцев, со всей беспощадностью грабительской колониальной политики (в молодости сам усмирлял восставшие индийские племена), видя в ней доблесть и верность заветам отцов. Такой, и только такой хотел он видеть Англию.

Ему дважды довелось быть на авансцене истории в ключевые, поворотные моменты мировой судьбы. Правда, когда сокрушали кайзеровскую Германию, первая роль принадлежала не ему, а Ллойд Джорджу, но политическое влияние Черчилля уже тогда было очень велико. В войне с гитлеровцами он стоял у штурвала своей страны. Ни в первый, ни во второй раз его нисколько не интересовала такая условность, как «человечество», он служил лишь Великобритании, воплощенной для него, конечно же, не в миллионах рядовых граждан, полуграждан, слуг и рабов чудовищно расплзшейся империи, а в классе господ, к которому он и сам принадлежал по рождению, воспитанию и убеждениям. И когда он увидел, что эта империя начала стремительно развиваться, что могучая Британия, «владычица морей», стягивается в малый остров на западе Европы, что моральный распад поразил метрополию, где все разом загнило: идеи, учреждения, министры, — то, не желая быть могильщиком британской славы, как он ее понимал, добровольно сошел с мировой аре-

ны. Правда, и в своем отдалении он еще пытался играть льва, но за хрипло осевшим от старости рыком не было силы, лишь страх и ненависть.

Когда-то многих людей в нашей стране поразил кадр кинохроники: прибывший в Москву (то ли перед концом войны, то ли уже после победы — не помню) Уинстон Черчилль обходит в аэропорту почетный караул. Он шел медленно, задерживался возле солдат, несущих службу почета, странно, почти впритык приближал к ним свое бульдожье лицо и сверлил злым, пронизывающим взглядом. Казалось, он хочет разгадать какую-то важную для него тайну. Было что-то жутковатое и трагическое в неприличной настойчивости старого человека, который, пользуясь своей безнаказанностью, пытался проникнуть под черешную крышку молодых людей псевдомой ему формации. В замыкающего строй он буквально вклеился злыми бледными глазами. Ему, под чьим взглядом потуплялись люди класса Рузвельта, хотелось смутить мальчишку в солдатской каске, заставить его отвести, опустить глаза. Но солдат с чеканным лицом, непреклонно и жестко застывшим к концу долгого взаимного разглядывания, и не думал подчиняться чужой враждебной воле.

Черчилль вынужден был проследовать дальше, его лоб под козырьком морской фуражки покрылся испариной. Видать, он что-то понял...

У бронзового Черчилля такое же пытливое, напряженное и мучительное выражение лица, как тогда, перед строем почетного караула. Он словно пытается вычитать в изменившихся чертах мелькающей мимо него жизни, что же случилось и что еще станет с Англией.

Странный памятник! С разных точек он смотрится по-разному.

В одном ракурсе вас приковывает некрасивое, умное, значительное и несчастное лицо, и вы видите только его; в дру-

гом — перед вами старый, усталый, но бодрящийся клерк; в третьем — вас поразит громадная энергия, сконцентрированная в целепой, почти пародийной фигуре; наконец, издали, со спины, вы вдруг обнаружите ласточку с характерным скосом острых сложенных крыльев. Похоже, у скульптора был непростой счет с Уинстоном Черчиллем, если он в таком веском человеке углядел невесомость птичьей мелюзги.

Того, другого старика, из живой, хоть очень дряхлой человеческой плоти, я встретил возле памятника Черчиллю, когда в сопровождении переводчика шел осматривать Вестминстер. В старом человеке не было особой примечательности, чтобы выделить его в толпе пешеходов, он запомнился мне лишь сходством с одним из персонажей пьесы Сомерсета Моэма «Всегда в пять». Спектакль по этой сильной и печальной пьесе я смотрел в давние времена в театре-студии Симонова. Название пьесы Моэма — от традиционного английского чаепития: файф-о-клок.

Насколько я помню, это что-то вроде чеховских «Трех сестер», перенесенных из русской провинции в Англию после Первой мировой войны: скука, безысходность, ни женихов, ни денег, ни надежд, остались лишь выхолощенные традиции, мнимая верность семейному началу и до поры — хорошие манеры. У томившихся одиночеством сестер имелся брат-слепец, жертва миновавшей войны, образцовый англичанин: сдержанный, корректный, всегда в чистом воротничке. Этот брат был слеп вдвойне, он заставлял себя не знать того, что не могло укрыться от внутреннего взора чуткого человека: краха домашних устоев, искомого образа жизни добропорядочной английской семьи. Он убеждает себя: ничего не изменилось с тех дней, когда он был юн и зряч, дом его все так же крепок, уютен и чист, а близкие счастливы своей скромной участью, и не напрасны были все жертвы, не напрасно стал он калеккой, оплатив вечной почью драгоценные устои

семьи и родины. В конце спектакля к нему приходит страшное, беспощадное прозрение. Несчастный близок к самоубийству, но... бьют напольные часы, время пить чай.

Он навсегда врезался мне в душу, высокий, немного деревянный, с палочкой, в черных очках, трогательный, тупой и жалкий. На нем были брюки для гольфа, шерстяные клетчатые чулки, спортивный твидовый пиджак. Точно так был одет старый англичанин, остановившийся возле памятника Черчиллю с прижатой к сердцу огромной, как лопата, пятнистой рукой: пиджак с накладными карманами и хлястиком, короткие брюки, застегнутые на пуговицы под коленями, шерстяные чулки, ботинки на толстой подошве. Все это было порядком запылено, истерто, замучено бесконечными чистками, но опрятно — ни пятнышка. И крупной статью, и квадратным, с сильными челюстями, добротным английским лицом он был родственно похож на мозовского слепца; лишь много, много старше, да за темными стеклами очков скривились от солнца живые глаза.

Когда после осмотра Вестминстера мы шли назад, то вновь обнаружили возле памятника этого старика. Он сидел на ярко-зеленом газоне, не мнущемся ни под ногой путника, ни под копытом коня, несравненном английском газоне, воспитанном многовековой заботой, возле пустой скамейки в неловкой, неудобной и напряженной позе человека, вовсе не считающего свое местоположение во Вселенной наилучшим. Большими руками он опирался в землю, но нелепо подогнутые ноги отказывались принять груз тяжелого тела. Крупное лицо, иссеченное склеротическими сосудиками, налилось грозным багрецом.

Видимо, жестокий сердечный приступ стащил его со скамейки на траву, а сейчас боль немного отпустила, и он пытался вернуться на скамейку. Мимо него то и дело проходили люди: мужчины, женщины, девушки с такими длинными и стройными ногами, какие увидишь только в Англии, юно-

ши в срамно обтяжных джиинсах, крепкие спортивные дети, но никому не вспало на ум помочь несчастному старику или хотя бы сдержать шаг. Самые щедрые из них позволяли себе беглый, равнодушный взгляд. Солнце стояло так, что тени прохожих проскальзывали по беспомощной фигуре на газоне, тени теней — не бесплотных, но вполне бездушных.

Когда мы приблизились, стало видно, как крупен, даже громаден поверженный на траву человек, правофланговый любого воинского строя. Он вполне мог быть по своему типу лондонским полицейским в дни войны, когда в полицию отбирали самых рослых, сильных и телом, и духом людей. Храбрость и самоотверженность лондонских полицейских, хладнокровно несших уличную службу во время самых ожесточенных бомбежек столицы, известны всему миру. Годился он и в морскую пехоту, куда тоже не брали слабаков. А в мирной жизни ему пристало быть рудокопом или шахтером — руки выдавали человека, привычного к тяжелому физическому труду. Но сейчас ему не помогла былая сила. Да и что стоят все мускулы человека, если отказал главный, тот, что в грудной клетке?..

По усиливающемуся встать гиганту скользнула тень быстрого клерка в черном котелке, медленно проползла тень священника в сутане — где же милосердный наклон Учителя к страждущему? — чуть задержались, колышась, тени влюбленных или просто юных блудодеев, решивших поцеловаться прямо против загибающегося человека, прокатилась, по-чеховски, колесом тень собаки, а потом долго влачила тень коляски с младенцем и толкающей эту коляску молодой женщины, и снова тень клерка, тень матроса, несущая тень уличного ротозея, тень солдата, тени, тени, тени. И наконец, мы с переводчиком накрыли старика нашей общей тенью, чтобы помочь ему подняться.

Он странно принял нашу попытку: с легким ироническим любопытством и словно бы с легкой досадой: мол, за-

нимайтесь-ка лучше своими делами, едва ли они у вас в таком блестящем порядке, чтобы тратить время на посторонних. Чувствовалось, что старик сердится на себя — развалился не к месту! — но не имеет никаких претензий к равнодушным соотечественникам. Он был тяжеленек и неуклюж от слабости, я же и сам сердечник, мне запрещено подымать тяжести, а толмач хоть молод и здоров, но в весе блохи. Нам пришлось изрядно повозиться, прежде чем мы перебазировали центнер с гаком на скамейку. Старик все приговаривал: «Да ладно... ладно уж... Идите своей дорогой!» А оказавшись на скамейке, оглядел нас с насмешливой симпатией и произнес тоном утверждения, не вопроса: «Иностранцы, конечно».

Мы вроде бы ничем себя не выдали. Одежда? На нас лондонские костюмы. Произношение? Я помалкивал, а переводчик владел языком так: в Ист-Сайде говорил как заправский кокни, в Вест-Сайде — как лондонский аристократ, в Америке его принимали за потомка первых переселенцев, а в Кении — за белого негра. Внешне же он — вылитый лондонский клерк, только без котелка. Я спросил: «Как вы догадались?» — «Ну, это нетрудно. Англичанин никогда бы не стал помогать». Тяжелая кровь медленно отливала от его лица, оставляя обычную лиловую сетку. «Неужели англичане такие жестокие?» — «Ничуть. Стариков слишком много, всем не поможешь. Ну, подняли вы меня, а через десять шагов я опять свалюсь. Люди стали слишком долго жить. Единственное спасение от таких, как я, — не замечать».

Он говорил спокойно, без осуждения, как о чем-то само собой разумеющемся в предназначенном ему бытии. Так можно говорить о тумане или смоге. Конечно, ясная погода лучше, но что поделаешь, такой уж климат. Столь же непреложным казался ему и нравственный климат его родины. «Люди слишком трудно живут, — повторял он. — Нельзя ни с кого требовать». Тут не было и следа религиозного смирения, юродства во Христе, нет, — тяжелый жизненный опыт,

приучивший точно знать свои возможности, знать, на что можно рассчитывать среди себе подобных. «О стариках много пишут в газетах», — заметил переводчик, тщательно следивший за лондонской прессой. «Пустое, — сказал старик. — Не заставишь любить стариков, когда у всех одна забота: как бы уцелеть». — «Где же выход?» — спросил я. «А почему должен быть выход? — Старик тихо засмеялся. — Лучше всего дело поставлено у гренландских эскимосов: дряхлых родителей оставляют в снежной хижине. Это хоть без дураков! Нам тоже дают подышать, но под газетную вонь. Гренландский способ самый чистый, но у нас не пройдет, нет снега, климат гнилой...»

Слышал ли, что говорил этот бедный старик, другой старик, стоящий рядом на пьедестале? А если слышал, то как ему там, в трех посмертных обиталищах: на тихом фамильном кладбище, под мраморной плитой Вестминстера, в бронзовой фигуре посреди Лондона? Если бы мертвые видели последствия дел своих! Не кто иной, как Черчилль, швырнул этого старика со скамейки на траву, и он же научил лондонцев проходить не оглядываясь мимо затухающей жизни, научил безразличию друг к другу, оставив в опустелых душах одно — страх за себя единственного...

Англия открывалась мне в разных образах: впервые я попал в Лондон во время негласного всемирного съезда хиппи. Они забили Пиккадилли-серкл своими живописными фигурами, как голуби — площади итальянских городов. Сколько бород, усов, огненных грив, загорелого тела, изношенных джинсов, гитар и песен! На них яростно нападали блюстители нравственности, но они были куда безвредней и симпатичней пынешних потребителей марихуаны, озверелых мотоциклистов или тех, в черных кожаных пиджаках, от которых разит фашизмом.

Я широко, охватно видел Англию в пору погожей ранней осени, в золоте и ржави густой, необлетевшей листвы, под

сишим промытым, упруго выгнутом небом, Англию маленьких городов: исторических, университетских и просто провинциальных; видел Ковентри с ошеломляющей спайкой двух соборов: старого, растерзанного бомбежкой, и прильнувшего к нему нового — дива дивного современной архитектуры; видел Англию феодальных замков, заросших влажных парков, брошенных кладбищ, которые все же не были так мертвы, как нынешний Сохо, некогда звенящий квартал блистательного лондонского разгула; видел и деловую Англию Сити и заводских районов Бирмингема, и все же самым сильным образом Англии осталось для меня двуединство стариков: бронзового, которому уже ничего не страшно, и другого, которому тоже ничего не страшно, хотя он состоит из слабого умирающего тела, но ему не страшно, ибо нечего жалеть о мире, созданном первым стариком.

Еще раз о бое быков

Рассказ



то только не писал о корриде: Проспер Мериме, Бласко Ибањес, Эрнест Хемингуэй — имена самых прославленных, имя всем остальным — легион. И художники не обходили вниманием бой быков: Гойя создал знаменитую графическую серию «Тавромахия», ряд живописных полотен, Пикассо всю жизнь рисовал тореадоров и быков. Первый вопрос человеку, побывавшему в Испании: «На бой быков ходили?» Уже потом могут спросить о Гойе, Веласкесе, Эль Греко, национальном танце фламенко, о Толедо, Севилье и серенадах. И я не избежал общей участи, вернувшись из страны Сервантеса: ну как, видел живых тореадоров? Видел, видел! Чуть не целое представление высидел в Мадридском цирке: четыре боя из шести положенных, но больше меня на корриду не заманишь. Почему? Вот об этом и поговорим.

В 1830 году Проспер Мериме писал из Мадрида: «Бой быков в с е е щ е (разрядка моя. — Ю. Н.) пользуется фавором в Испании, но среди представителей высших классов редко кто не испытывает некоторого стыда, признаваясь в пристрастии к подобного рода зрелищу». Из приведенных слов видно, что Мериме предвидел скорое угасание корриды: средние классы, как всегда, потянутся из духа подража-

ния за высшими и бой быков или выродится в зрелище для бедных, или вообще прекратится. Но минуло полтора года лет с письма Мериме, а коррида не думает спускать флаг, все так же гремит и сверкает ежегодный праздник Памплоны, так же полны до отказа цирки, а среди зрителей и министры, и генералы, и крупные чиновники, богачи и знать, профессора, деятели искусств. Если зрелище демократизировалось, то лишь в той степени, что и само общество. Неизмеримо расширилась география корриды, охватив всю Латинскую Америку. Обоюдоострая шпага матадоров сверкает в Италии и Франции. И все же бой быков в этих странах не очень привился вопреки всем усилиям блистательного матадора и очень волевого человека Луиса Мигеля Домингина, который был одержим идеей распространить корриду по всему миру. Он предлагал устроить показательные выступления и в нашей стране, не помню уже, почему эта затея сорвалась.

Любопытно, что коррида имеет настоящий успех там, где звучит испанская речь. В землях, где сделана прививка испанской крови, что, естественно, сказывается на обычаях и нравах, на пристрастиях и всем стиле жизни. Будь дело только в огненном испанском темпераменте, Италия непременно стала бы второй родиной корриды. Но даже женитьба лучшего матадора Испании Домингина на первой итальянской красавице Лючии Бозе не превратила итальянцев в рьяных поклонников боя быков.

Футбол, родившийся в Англии, давно забыл о своих корнях и стал интернациональным, всемирным безумием. Коррида осталась испанской. Надо полагать, это жестокое, острое зрелище чему-то соответствует в психологии народа.

Суровые горы, нашествия завоевателей и беспощадная борьба с ними формировали характер нации. Средние века, которые ныне так превозносят на Западе над языческим возрождением за силу и чистоту христианской идеи, подчинившей себе мировоззрение, культуру, искусство, быт, не отли-

чались нежностью — религиозное рвение воплощалось в пытках, казнях, кострах, на которых сжигали заподозренных в ереси. Но нигде так ярко не пылало очистительное пламя, нигде так естественно не вписывалась виселица в пейзаж, как в Испании, нигде так не изошрялись пыточных дел мастера — дробящий кости ног железный сапог недаром получил название «испанского». Костры, виселицы и застенки усилиями святой инквизиции перенесли в другую эпоху, в век Мурильо и Веласкеса. При такой закалке трудно было прогнать испанца буколическими развлечениями. Он хотел страсти, огня, крови, игры со смертью. Он получил фламенко и хоту, петушиные бои и деревенские схватки на пожах, где зрители делают ставки, он получил корриду. Смерть дружелюбна душевной жизни испанца. Его любовь — это песни и кровь. Серенада под балконом красавицы, стук мечей, распростертое тело в бледном свете равнодушной луны. «Много крови, много песен для прелестных льется дам...» Кровь не отпугивала, а притягивала. И уж если где-то должна была возникнуть коррида, то, конечно, в Испании.

Меняются времена, но не меняются нравы. И в монархической, и в республиканской, и в аристократической и вновь монархической Испании бесчисленные толпы с неиссякаемым энтузиазмом устремляются на корриду. И хотя мне показалось, что пыл вроде бы пригас, не чувствовалось того накала страстей в Мадридском цирке, который обещают Мериме, Ибањес и Хемингуэй, не стоит доверять этому впечатлению. Ничего не изменилось и никогда не изменится. Дело просто в том, что сейчас на арене нет великих героев, старые сошли, а новые еще не нарастили мускулов. Смена поколений, как в спорте. Есть одаренные и умелые мастера, есть обещающая молодежь, есть любимцы, но нет кумиров, таких, как Домингин или Ордоньес, не говоря уже о Манолете. Да и коррида, на которую я попал, была вроде оперы с третьим составом.

В своей обычной хладнокровной манере Мериме восхищался корридой, признавая и оправдывая ее жестокость... «Ни одна трагедия на свете не затрагивала меня до такой степени. За время моего пребывания в Испании я не пропустил ни одного боя и со стыдом признаюсь, что бои со смертельным исходом я предпочитал тем, где быков только раздразнивают...» Бласко Ибаньес основательно живописал жестокость зрелища в чуть устаревшем и все-таки очень хорошем, честном романе «Кровь и песок». Хемингуэй, очарованный эстетикой корриды, не скрывал грубую и тягостную физиологичность творящегося на арене. Но сейчас на Западе о корриде принято писать с какой-то противной усмешечкой, подчеркивающей несерьезность зрелища и незатронутость автора.

Откуда это идет? После Хемингуэя писать о бое быков всерьез неоригинально. Куда удобнее поза эдакой усмешливой спнисходительности, мол, на такие «ужасы» нас не возьмешь. Конечно, после Второй мировой войны, освенцимов, майданеков, после двух атомных бомб, разорвавшихся над Хиросимой и Нагасаки, после Вьетнама, после тех чудовищных содроганий, которыми природа напомнила о себе распоясавшемуся человеку, не говоря уже о всех прочих менее масштабных зверствах людей и стихий, наверное, как-то неловко ужасаться тем, что убивают на арене быка, которого иначе забили бы на бойне. Но вот какое дело: смерть никчемного Ивана Ильича потрясает больше, чем газетное сообщение о массовом уничтожении. Тут нет ничего удивительного и ничего позорного для человека. Ивана Ильича мы знаем, о жертвах же массового уничтожения нам известно только число. Мы не видели их лиц, их глаз, их мук, как видели лицо, глаза и муку Ивана Ильича, в нас потрясено и возмущено гражданское чувство, но оно далеко от слезного мешка. Есть и более убедительный пример. Мы не знаем тех миллионов быков, которых ежедневно забивают на всех бойнях мира, и

тех милых телят с девичьими глазами, и тех ягнят и поросят, и нам нет до них дела. Не всем, правда, Толстому было дело, вегетарианцам есть дело. Да ведь подавляющее большинство человечества принадлежит не к травоядным, а к хищникам. Но быка, которого выгоняют на арену, мы знаем, он мгновенно выделяется для нас из мирового бычьего стада и обретает индивидуальные черты. Вот он стоит перед нами, ошеломленный громадной чашей цирка, многолюдством и шумом, не бык вообще, а отдельная живая особь, со своей, только ему принадлежащей статью и окраской, со своими рогами, копытами, хвостом с кистью, своим взглядом и выражением, своим характером, повадками, единственный на свете, копий не существует. Уже в первые секунды становится ясно: этот — литой, как из одного куска сложенный, смельчак, а этот — робковатый увалень. Один ошарашен, другой гневно удивлен, третий взбешен, четвертому кажется, что он не туда попал, лучше вернуться в темный тесный закут. А потом эти быки начинают жить перед нами, жить совсем коротенькой, но много вмещающей в себя жизнью, бороться, нападать, отступать, выжидать, кидаться, являть героизм, робость, смятение, испытывать жгучую боль, возмущение, ненависть, усталость, смирение, последний гнев, смертную оторопь. Иной бык дерется до последнего, весь скользкий от крови, утыканный бандерильями, исколотый пикой, измученный мулетой, он гибнет, но не сдается. А иной, горячий поначалу, вдруг поникает, словно угадав свою обреченность и позорные правила игры без выигрыша, в которую его заставили играть.

Все так, но чувствительный этот лепет не имеет никакого отношения к сидящим на каменных ступенях цирка. Ни малейшего сочувствия к животному тут нет. Хорошему быку от души желают эффектной кончины, быка, не склонного подыгрывать своему убийце, презирают и ненавидят. Хемингуэй совпадал во мнении с цирковой толпой: хороший матадор показывает быку, чего тот стоит. Когда же быка при-

канчивают по высшему классу: красиво, чисто, с одного удара, — он разделяет славу матадора и, полный благодарности, отправляется в зверьев элизиум. При этом для Хемингуэя каждый бой был душевным событием. А нынешние заказные писаки посмеиваются: любопытно, занятно, ну какая там жестокость — чепуха!..

От корриды мысль невольно обращается к охоте. Страстная и добычливая охота (тогда еще была дичь) окрасила целый период моей жизни и литературной работы. Я считал: раз есть дичь, должен быть и охотник. Любя природу и все населяющее ее, я спокойно укладывал из своего великолепного «зауэра» изготовившихся к любви селезней, томительно хоркающих вальдшнепов в смеркающейся просеке, токующих на рассвете тетеревов и прочую лесную, озерную и болотную дичь, не испытывая угрызений совести и даже мимолетного сожаления.

Все же охотника из меня не вышло. Я так и не смог выстрелить по зверю, давал уйти взятому на цель зайцу, упустил — сознательно, — к великой ярости друзей-охотников, вышедшего прямо на мой номер лося, столь же бесславно охотился на лисиц. Конечно, это едино, что убить глухаря, тетерева, крякву или лося, лисицу, зайца, но, видать, в четвероногих я сильнее ощущал родную кровь и не мог переступить какой-то внутренний запрет. А потом я вовсе прекратил охоту, раз и навсегда поняв, что это атавистическое занятие вредно для души. К тому же при нынешнем оскудении природы человек должен быть сориентирован в сторону, прямо противоположную истреблению.

Мои отнюдь не новые и не претендующие на повизну рассуждения ничего не стоит оспорить, безнадежно запутав вопрос. Вот самый простой путь. Вы что — вегетарианец? Нет. Значит, вы спокойно едите трупы животных, убитых для вас другими? Да. Выходит, все дело в том, чтобы убивали эти другие? Если хотите — да. Нравственное чувство натренирован-

ных в своем деле профессионалов не испытывает ущерба и потерь, им не грозит соскользнуть в преступление. Вы думаете, это убедительно? Не знаю. Возможны и такие возражения: нельзя огулом защищать всех животных, есть вредители полей и садов, хищные волки и ядовитые змеи, таежный гнус, комары, паразиты. Но коль священна всякая жизнь, то и эти жизни священны? Оставим в стороне соображение о том, что понятие вредности той или иной особи относительно и динамично. Вредное сегодня может оказаться полезным завтра. Остаемся в державе нравственности и на заданный вопрос ответим твердо: да! Значит, нельзя убить комара, клопа, муху?.. Можно. В доказательство приведу пример из жизни Льва Николаевича Толстого, которого никак не обвинишь в легкомысленном отношении к символу его веры: не убий.

Однажды за вечерним чаем в Ясной Поляне Толстой прихлопнул комара на лбу своего гостя, друга и последователя, знаменитого Черткова. Несвойственный воспитанному и сдержанному хозяину жест разозлил самолюбивого Черткова и крепко озадачил. Он решил проучить графа. «Боже мой, что вы наделали! Что вы наделали, Лев Николаевич! — произнес он с таким страдальческим выражением, что Толстой не на шутку смутился. — Вы пролили кровь, отняли жизнь у Божьей твари! Разве дано нам право распоряжаться чужим существованием, как бы мало и незначительно оно ни было?» Очень ловко, убедительно и безжалостно Чертков обратил против Льва Николаевича его же собственное учение. Толстой зажалел погубленного комара и тяжело омрачился. Чертков почувствовал себя отомщенным. Каково же было его разочарование, когда неотходчивый Толстой на удивление быстро повеселел. Поймав его недоуменный взгляд, Толстой с лукавой улыбкой пояснил: «Все, что вы говорили, святая правда. Но нельзя так подробно жить».

То-то и оно: нельзя так «подробно жить» и так педантично, крючкотворно мыслить. Надо доверяться живому, широ-

кому и непосредственному чувству, которое само произведет выбор...

Бой быков еще безнравственной охоты. Дичь имеет шанс спастись, у быка такого шанса нет. Он не может выиграть ни жизни, ни даже отсрочки. Как бы ни был он могуч, отважен, удачлив, он обречен. Он может победить матадора, пронзить насквозь рогами, даже прикончить, все равно с арены живым он не уйдет, его уволочут крючьями.

В той единственной корриде, на которой я побывал, произошел случай, когда по всем законам Божеским и человеческим быка следовало отпустить в жизнь. То был четвертый бой программы и второй бой Рамона, лучшего из молодых матадоров, работавших в этот день на арене. Юноши только начинали свой путь — невысокие, стройные, с медальными оливковыми лицами, черными как смоль волосами, они казались издали на одно лицо. Но Рамон был восходящей звездой корриды, а его товарищи ничем не блистали. Бесталанность сводила на нет их отвагу. Они пытались работать близко к быку — в духе Ордоньеса, но бык обращал их в бегство. И убить с одного удара, как это сделал в первом своем бою Рамон, они не умели. Три шпаги понадобились Пепе, чтобы бык наконец рухнул. У быка Лопеса кровь пошла горлом, что означает неверный удар — грубейшая ошибка матадора, которую не прощают зрители. Но расскажем все по порядку.

Итак, корриду открыл Рамон с хорошим, не слишком крупным, но воинственным и резвым быком, которого не приходилось разуживать на поединок. Бык сразу пошел в атаку, едва мулета затрепыхалась перед его глазами, и дал возможность гибкому и смелому матадору исполнить все положенные пассы. Смысл всего, что проделывается на арене: предельно утомить быка, «подготовить» к последнему, завершающему удару шпагой. Этой реальной задаче подчинена вся эстетика зрелища. Быка «доводят» прежде всего

мулетой, чье пазойливое мелькание перед глазами заставляет разъярившееся животное кидаться очертя голову на верткого человека, делающего из него дурака. Рамон не боялся в какие-то моменты поворачиваться к быку спиной и делать несколько шагов в верхке от острых рогов. За мулетой следуют бандерильи — палки с шипами, которые матадор с разной степенью ловкости втыкает в загривок быка, потом появляется пикадор верхом на тощей кляче. Он вопзает пику в спину быка и, навалившись на древко всей тяжестью, удерживает быка на расстоянии, не давая кинуться. Обычно бык все же преодолевает упор, достигает всадника и бьет рогами в толстый кожаный фартук, защищающий лошадь, и в железные сапоги пикадора. Сплошь да рядом и лошадь, и всадник оказываются на земле. Раньше лошадь не была прикрыта, и бык вспарывал ей живот, кишки вываливались наружу. Вся тройка матадоров спешит на помощь поверженному и, размахивая плащами, уводит быка. Обычно тут ярость быка достигает высшего накала. И Пепе, и Лопес, спасаясь от рогов, переваливались через невысокую ограду арены под улюлюканье зрителей. Пикадора поднимают вместе с лошадью, и он опять принимается за свое. Скользкого от крови, истыканного бандерильями, измученного быка снова дразнит матадор, вконец раздоргивая зверьевую душу, после чего закалывает. Есть только одна точка на загривке быка, куда должна войти двулезвая шпага, чтобы, пронзив твердые мышцы, достигнуть тяжело стучащего бычьего сердца. Хорошие матадоры чаще всего попадают в эту точку. Попал и юный Рамон. Бык глянул удивленно, встряхнул головой и вдруг замер, прислушиваясь к чему-то свершающемуся внутри его, со странным, будто сторонним и наивным выражением, — а внутри его свершалась смерть, которой требовалось время, чтобы прекратить все жизненные процессы в такой огромной массе, — вдруг колени его подломились, и он медленно, как в рапидной съемке, повалился через голову и откинул

ноги. И в то же мгновение сидевшая рядом со мной женщина, средних лет туристка, увешанная фото- и киноаппаратами, вскрикнула и потеряла сознание. Сразу подскочили служители и унесли ее. С той же патренированной быстротой другие служители уволокли крючьями и мертвого быка, его темное тело прочертило широкий след на песке.

Счастливый, улыбающийся Рамон вышел раскланиваться. Трибуны неистовствовали. Я тоже изо всех сил хлопал в ладоши, не потому, что зрелище мне понравилось, но я был благодарен матадору, что он избавил быка и меня от лишних мук. Один мастерский удар — и дело сделано. Бык вроде не очень мучился, я ожидал неизмеримо худшего. И сейчас вместе со всеми громко возмущался скарденостью президента корриды, отказавшего Рамону вопреки нашим требованиям в ухе убитого быка. Иные знатоки утверждали, что юный матадор заслужил оба уха, но президент разрешил лишь триумф. Рамон обошел трибуны, потрясая в воздухе рукой и ловя летевшие к нему шляпы. Зря пожадничал президент, больше поводов для награждения не было. И, усугубляемая бездарностью исполнителей, жестокость зрелища стала невыносимой.

Утром, уже с билетом на корриду в кармане, я по туристской пенасытности заскочил в кино. После обычных реклам и киножурнала на экране появился очаровательный молочный теленок и заскакал по заросшему травами и цветами весеннему лугу. Палевая шелковая шкурка золотилась под солнцем. Его позвала мать, белая, прекрасная, как обращенная в корову Ио, возлюбленная Юпитера. Подскакивая сразу всеми четырьмя ножками, он помчался на зов. Повернув голову, корова принялась облизывать сына огромным травяным языком. Весь влажный от ласки, он сунулся ей под брюхо и чавкая, сопя, стал пить молоко из тяжелых сосцов. А счастливая мать прикрыла глаза белыми жесткими ресницами.

Я сразу почувствовал недоброе, и не ошибся. Это был трехчастный документальный фильм о ферме, где выращивают бое-

вых быков. Оказывается, это целая наука — выходить, выкормить и воспитать быка для нескольких минут на цирковой арене. Золотистый теленочек становится бычком, шкурка его темнеет, крошечные вздутия над плоским лбом превращаются в острые, как пожи, рога, накапливается мускулатура, крепнут кости, и вот уже матадор-тренер хлопает перед его носом мулетой, пробуждая первую злость. А затем — кульминация и одновременно финал короткой жизни: огромный, мощный, литой бык выбегает на арену навстречу стройному, худому человеку с печальным смуглым лицом; которого Пикассо умел изображать одним росчерком карандаша. И все — залитый кровью, он падает на песок, сраженный твердой рукой Домингина, и перед его заволакивающимся взором возникает солнечная лужайка, высокая трава, цветы и нежный травяной язык матери, вылизывающей ему нос, темя, глаза..

Волнение, испытанное во время первого боя, помешало мне вспомнить о фильме, но когда появился бык Пепе, я сразу представил себе его палевым теленочком. Я уже говорил о том, как плохо работал Пепе. Трижды наносил он удар, шпага проникала глубоко в плоть животного, но острие не находило сердца. И на это горестное зрелище, где бездарность оборачивалась ненужной жестокостью, в моем мозгу наплывала лужайка в цветах и безмятежная радость малютки бычка.

Две шпаги остались в теле быка, как бандерильи, а немело всажённые бандерильи он брезгливо стряхнул прочь. Я ждал, что публика освищет безрукого убийцу, прогонит с арены и другой матадор прекратит мучения животного, но торсида, хоть и охала обважно при очередном промахе, почему-то щадила неудачника. Плоские вошочие кожаные подушки, защищающие зад от стылости каменных седалищ, не летели на арену. А Пепе все шел и шел на быка с нарочитой бодростью, но не было в нем ни бодрости, ни уверенности,

как не было стыда и отчаяния, овладевавших матадорами Хемингуэя, когда они не могли поразить быка. Я сидел довольно близко к арене и хорошо все видел: на смуглом, залитом потом лице была лишь тупая непреклонность человека, который обязан довести дело до конца. Это его профессия, другой нет и не будет, и он не может отступить. Лоск матадора сползал с Пепе с каждой новой неудачей, он все более становился похожим на крестьянина, у которого крепко не залядилось какое-то хозяйственное дело. Быка он добил кинжалом.

Лопесу достался самый большой и безрассудно смелый бык странной свищовой масти. Эта зловещая масть и чудовищные рога радостно возбудили торсиду. Но я-то видел его палевым теленочком, влажным от материнского облиза. Этот бык поистине показал матадору, чего тот стоит — три копейки в базарный день. Он вырвал рогом мулету из рук Лопеса и прогнал его с арены. Он не дал воткнуть ни одной бандерильи и в довершение всего дважды опрокинул пикадора вместе с лошадью. Но все его подвиги были тщетны. Лопес проколол ему легкое, и он долго, изнемогая, захлебывался кровью, прежде чем рухнул.

Но самое безотрадное произошло с четвертым быком, когда снова вышел на арену любимец публики Рамон. Его бык был не так громаден и тяжел, как бык Лопеса, но по бойцовым качествам еще выше. Тот не управлял своей яростью, а этот вышел драться и победить. Ему невдомек было, что и победителя все равно венчает смерть.

Бык Рамона не тратил себя даром, он выжидал, приглядывался и вдруг кидался вперед, заставляя матадора врасплах. Рамон был юноша гордый и уже избалованный успехом, он не хотел ни отступить, ни уступить быку. Острый рог порвал ему куртку, распорол рукав, задев и окровавив предплечье. Раз он споткнулся, упал, но, оттолкнувшись ногами от бычьей морды, сумел избежать удара и вскочить на ноги.

Толпе все это правилось. Но что-то утратилось в действиях Рамона — лёгкость, очарование. Бык измотал его. Рамон был талантливый матадор, но бык оказался талантливей. И хотя в отличие от Рамона он дрался впервые, казалось, что у него больше опыта, расчёта и целенаправленной ярости. Я глядел на этого мощного бойца, и образ палевого теленочка не тревожил мне душу.

Бык со странным спокойствием принял бандерильи, он словно не хотел расходовать себя по пустякам, а пикадора опрокинул раньше, чем тот воизил в него пику. Пикадор, видимо, ошибся. Он лежал раскорячившись, как краб в коже и железе, и над ним хлопотали служители. Неуклюжая возня кончилась тем, что пикадора унесли на руках, а лошадь увели. За быка взялся другой пикадор, но то ли он трусил, то ли был неопытен в своем деле. Ему не удалось подготовить быка для Рамона, который совсем выдохся.

По-моему, все сидящие на трибунах знали, что удар у Рамона не получится. Так и было, шпага встретила кость лопатки и сломалась. Рамону подали другую шпагу. Бык ждал его, понурился лобастую голову. Но, когда Рамон ударил, бык косо посунул плечом и выбил оружие из руки матадора. Шпага отлетела метров на десять. Нет ничего унижительнее для тореро, когда шпага валяется на песке. Но Рамону пришлось испытать это унижение еще дважды. На трибунах послышался смех, грозный смех презрения.

Рамон медленно приближался к быку. Пот заливал его смуглое лицо, стекал на глаза, он резко смаргивал капли. Полуслепленный, с ушами, залепленными, как грязью, насмешливым гулом толпы, он нанес удар, и шпага вошла чуть не по рукоятку. Бык постоял и медленно, спокойно пошел прочь с торчащей из тела шпагой, схлестывая бока тугим хвостом. И тут Рамон заплакал. Он плакал на глазах огромной, разозленной, мстительной толпы и по-деревенски утирался рваным рукавом.

Мне вдруг показалось, что столь полный и очевидный провал человека обернется спасением животному. Ведь бык победил по всем статьям. Израпешный, окровавленный, со сталью в теле, он выстоял, явив поразительную силу жизни. Пусть он уйдет в те же ворота, из которых выбежал на арену. Пусть залечит раны, придет на пастбище, вспомнит вкус свежей, сладкой травы, покроет корову, пусть в темной для нас душе своей испытает уважение к человеческой справедливости. Давайте считать, что он может это испытать, ведь мы ничего не знаем всерьез не только о тех жизнях, которые нас окружают, но даже о себе самих. Одно мы все же знаем, что и мудрейшие научные теории объясняют ничтожно мало в той великой тайне, которую являет собой носитель жизни. Может быть, справедливость, явленная быку, всего нужнее нам самим. Какое там!.. Уже получив смертельный удар, шатнувшись и валко переступив погами, бык остался стоять, обводя глазами цирк, словно хотел запомнить каждого и покарать непощением. Он был мертв, но отказывался упасть на колени перед теми, кого презирал всем своим огромным мужественным сердцем...

Вечером я видел Рамона, Пепе и Лопеса в нашем отеле, где каждый из них занимал по крошечному номеру на последнем этаже. Такие номера сдаются обычно на ночь или на несколько часов. Бедные мальчишки! Без своих расшитых курток и поясов просто уличные продавцы газет...

Моментальные фотографии

Мадемуазель



се произошло до головокружения быстро. Только что Амстердам метнул под брюхо нашему ТУ-104 сухо-красные черепичные крыши своих домов и остро блещущие шпильки своих колоколен, и мы, чуть не задев по касательной всю эту — сверху, с высоты — игрушечную готику, приземлились прямо за городской околицей. И костей не размяли и до здания аэропорта не добежали — снова в самолет. Подъем, снижение, словно гигантский прыжок под незатухающую надпись: «No smoking, fasten seat belts», и под колесами самолета — темная от недавнего дождика лента Брюссельского аэродрома. Еще во власти глухоты — не выдуть тампонов из ушей, — полные вибрации и какого-то внутреннего шума, в полубреду совершив таможенные и паспортные обряды, мы оказались на мягких сиденьях вместительного автобуса с веселым именем «Балерина», металлическими буквами нанесенным на борту возле передней дверцы, и помчались в сторону Брюсселя. Как-то краем, не задев центра, мы пронизали бельгийскую столицу и оказались опять за городом на широком, свободном шоссе, и большая желтая стрела поставила нам цель Намюр. Но до того как мы сломя голову устремились к Намюру, словно у нас и впрямь были

там дела, автобус взял на борт пожилую даму с наруганными щечками и губками, с легкими всклокоченными волосами, куцую, толстую и неловкую, оказавшуюся нашим гидом на всю поездку.

— Зовите меня просто «мадемуазель», — были первые ее слова, произнесенные сильным носовым голосом.

Она опустила на переднее сиденье, справа от водителя, уронив поочередно сумочку, туристский проспект, пенсне, подобрала все это; тяжело сопя, стукнувшись головой о голову галантного туриста, пришедшего ей на помощь, мускулом языка поправила сдвинувшуюся с места вставную челюсть и обратила к нам тускло-зеленый, выпуклый от толстых стекол, неподвижный рыбий взгляд.

Каждый образ человека почтенен, но Бельгия — «сияющая птица с глазами принцессы Мален» — могла бы подарить нам иное воплощение девственности.

Вокруг разворачивались зеленые свежие поля, поделенные проволокой на квадраты, в каждом квадрате паслись без привязи две-три коровы с телятами; нарядно алела черепица деревень, потонувших в яблоневых садах; поля сменялись перелесками, кустарниковой порослью, но все вокруг было чужим, неназванным, почти нереальным, впрочем, так и всегда бывает поначалу в чужой стране. Наше зрение, наша любознательность еще не были направлены, сориентированы, мы еще не знали алфавита окружающего мира, не научились подмечать его характеристики, своеобразия, угадывать закономерности, пейзаж был сам по себе, мы сами по себе, но, опытные путешественники, мы не сомневались, что это временно и не сегодня-завтра мы научимся читать новую для нас страну. Пока же весь интерес сосредоточился на мадемуазель. Она была живой плотью незнакомой страны, ее прислали нам заложницей зеленые разлинованные проволокой поля, коровы, медленно жующие жвачку, по-сорочьи пест-

рые телята, кудрявые перелески, кустарники, белые домики под черепичными крышами в глубине яблоневых садов. Мы понимали, что доброе вторжение наших душ в эту страну свершится через мадемуазель, и обратили на нее все свое праздное и алчное любопытство.

В такие минуты неоценима женская помощь. Мы, мужчины, безнадежно топтались у предела, отделяющего условную, ничего не значащую любезность от живого обращения, а наши спутницы уже знали, почему дряхлая переводчица осталась пожизненно «мадемуазель». Ее жених погиб под Верденом в Первую мировую войну, и мадемуазель сохранила верность его памяти. Она говорила о себе без увлечения, но и без самолюбивого ломания и таинственных недомолвок. Видимо, мадемуазель не гордилась ни собой, ни своей биографией и, словно со стороны, беспристрастно излагала интересующие нас факты. Всю жизнь, кроме военных лет, проработав в бюро путешествий, мадемуазель недавно вышла на пенсию, но не выдержала одиночества — у нее нет ни родных, ни близких — и попросилась назад. Ее не хотели брать, считают — стара, бестолкова, но тут подвернулась наша группа, и хозяева бюро были вынуждены прибегнуть к ее услугам — русских переводчиков всегда не хватает. Правда, специальность мадемуазель — романские языки, русскую речь она усвоила кое-как, на слух, муж ее младшей сестры был из русской эмигрантской семьи.

— А где он сейчас?

— Его нет, погиб во время бомбежки Брюсселя вместе с женой и дочерью, — спокойно и обстоятельно пояснила мадемуазель.

— А где же все другие родственники мадемуазель?

В ответ загремели выстрелы, запылали печи лагерей смерти... Вой снарядов, сосущий свист осколков, звон разбитых стекол, грохот рушащихся зданий, и в тишине топот солдат-

ских сапог, лающая офицерская речь, падо всем неумолкающий женский крик — вот что звучало в медлительном, затрудненном, носовом голосе мадемуазель. В ее житейски тусклом, не притязающем на яркость рассказе гибели Льеж и Брюгге, Гент и Брюссель, тюрьмы сменялись лагерями, бедные попытки сопротивления пресекались свинцом, огнем и петлей. От простоты и будничности этих речей духота становилась непереносимой, хотелось крикнуть: «Остановитесь, мадемуазель, быть не может, чтобы все эти смерти, аресты, тюрьмы, лагеря, муки разлук, пытки страхом и ожиданием пришлись на долю одного человека!..» Но не поворачивался язык прервать ее, и неторопливо струился носовой голос...

Я вдруг заметил, какие широкие, сильные плечи у старой мадемуазель, прямо-таки плечи грузчика! Но едва ли какому грузчику довелось таскать такие тяжести...

Вокруг разворачивались мирные ландшафты, все так зелено и кудрявенько, а где надо, подстрижено; организованный человеком пейзаж уютен, мил и нетревожен. Но как же неуютен, горестен, гибелен в рассказе мадемуазель этот угревшийся под майским солнцем мир, эта малая земля посреди Европы! Но может быть, мадемуазель как-то особенно не повезло? О нет, ей на редкость повезло по сравнению с другими ее соотечественницами, миллионами европейских женщин. Она не вела к газовым камерам своих детей, не проводила мужа в циклоновую смерть, да и сама уцелела вопреки всему. Чуть обожженная, чуть поцарапанная, раз-другой засыпанная землей и кирпичным прахом, недолго, под конец войны, побывавшая в тюрьме, мадемуазель являла собой чудо живучести и удачи.

— Я на редкость везучая женщина! — смеется мадемуазель.

Смеется так, что вынуждена снять пенсне и протереть запотевшие стекла. И мы видим не защищенные стеклами го-

лые глаза мадемуазель: чуть выкаченны́е, блекло-зеленые, не участвующие в смехе губ, гортани, разбежавшихся морщин. Глаза, нагнадевши́еся на ужасы этого мира, на взрывы, истребление, гибель близких существ и разучивши́еся смеяться. Мы благодарны мадемуазель, когда она водворяет пенсне на место.

— Намюр! — громко, раскатисто, с волнующим прононсом вскричала мадемуазель.

Да, это был стари́ший город Намюр. Чтоб мы могли вдосталь налюбоваться им, нас привезли на какую-то горушку, и город красиво открылся оттуда, живописный и загадочный, как и все города мира, когда глядишь на них сверху. А потом нас отвезли на другую гору, где раскинулся великолепный парк, набитый ярким солнцем в каждой щели между деревьями, кустами и в прозорах густой листвы. В глубине парка высился стари́нный замок, увитый плющом, проточенный черным бархатным мхом по трещинам холодных кирпичных стен, и нам полагалось этот замок осмотреть. Мы облазали его и снаружи, и внутри, а когда вышли из плесенного полумрака, с чистого, в синеве и солнечном золоте, неба хлынул теплый ливень и, прошумев по листьям деревьев, сразу весь, без остатка, превратился в блестящие капли и серебристый пот на листве, траве, карнизах замка, наших прозрачных плащах, и крепчайший медовый запах насытил воздух. Оставаясь единой, группа наша распалась — каждый в своей глубине переживал миг редкого блаженного бытия...

К замку вела аллея буков вперемежку с каштанами. Не аллея даже, а тошнель — деревья смыкали ветви в вышине, образуя глухой тенистый свод. Деревья были равны по росту, лишь один каштан возносился над зеленой ратью. Высоченный — вблизи не окинешь взглядом, закутаный в тень от собственной листвы, отчего зеленое убранство казалось почти черным, — он простер над песчаной дорожкой огромную, усыпанную белым цветом ветвь. Казалось, отягощен-

ная листьями, цветами и влагой, ветвь висит так низко, что можно достать рукой, и, проходя под нею на пути к замку, все мужчины нашей группы, вопреки обычной «зарубежной» чопорности, слегка подпрыгивали, пытаясь сорвать нежный белый цветок. Но даже самым высоким не удалось коснуться ветви. И вот сейчас, чуть отойдя от замка, я оказался свидетелем удивительного зрелища. Полагая, что мы заняты осмотром замка и не будем за ней подглядывать, мадемуазель резвилась под каштаном. Она разбегалась, старательно работая локтями, и подпрыгивала, тцась дотянуться до ветви. При каждом прыжке пенсне срывалось у нее с носа, волосы дыбом вздувались над головой, кофточка выскакивала из юбки, сваливались бескаблучные туфли, и вся дряхлая плоть приходила в грозное волнообразное движение. Видать, сильно застоялась мадемуазель, и сейчас, ощущая свою сопричастность людям и деятельной жизни, возликовала старым сердцем. Лишь на краткий миг виденное явилось мне в образе смешном и чуточку стыдном, сразу возникло другое. Не престарелая переводчица, служащая бюро путешествий, — сама Европа, дряхлая и вечно юная, горевшая на всех кострах, казненная на всех плахах, распятая на всех крестах, без счету убитая и всегда живая, подпрыгивала, пригретая солнцем, опьяненная весной и благодатью сущего, за белым цветом каштана на тяжко-влажной ветке.

И я понял, что не та светловолосая, матово-белая, длинноногая юная норвежка, и не та фарфоровая, хрупкая, словно только что извлеченная из ваты, с тонкими щиколотками и запястьями англичанка, и не та бронзовая, большеботая и большеглазая, навек удивленная собственной красотой итальянка поистине достойны звания «мисс Европа», а наша толстая, неуклюжая, подслеповатая, старенькая и прекрасная мадемуазель...

Намюр

ХУДОЖНИК

В широкополой черной шляпе с высокой тульей и обвисшими полями, в черном драповом потертом в швах пальто, накинутом на костлявые плечи, в белых подвернутых брюках, в огромных, разношенных штиблетах, с седой всклокоченной бородой, седыми до плеч волосами и темными бровями, нависшими над золотисто-карими, устремленными в далекую пустоту глазами, он косо пронесется от городских ваши к колонаде, будто не сознавая своего приправленного безумием своеобразием. На самом деле он остро ловит взгляды прохожих, огорчается, если не подмечает на их лицах чуть испуганного удивления. Местный старожил, он удивляет лишь повичков, для всех остальных он неотъемлемая часть городского пейзажа. В руках у него блокнот, карманы набиты карандашами-негро, рисовальными угольками, цветным мелком. На самом разлете он вдруг сдерживает шаг, привлеченный — в который раз — красотой какого-нибудь шпиля, башенки, фонаря, дерева. Он становится в парадном или в подворотне, чтобы не мешали досужие зеваки, и быстрыми, короткими движениями делает набросок. При этом он что-то бормочет, вскрикивает, яростно потрясая седой кудлатой головой. Художник сердится на себя, на ограниченность своего дара: жизнь несравненно прекраснее любого изображения, и это причиняет ему жестокую боль. Ни один другой художник не знает таких мучений. Бальзаковский творец неведомого шедевра в результате многолетних трудов, выливших его душу и мозг, изобразил в хаосе мазков божественную женскую руку, но он хоть покрывал холст красками в мучительной погоне за совершенной красотой. Этот бедняга не рискует притронуться к бумаге. Он колдует карандашом или угольком над чистым листком, прикидывает штрих так и этак, порой кажется, что он наконец-то одолеет свою перешителюность, но его никогда не хватает на грубость несовершенного

творческого акта. Листки его блокнота хранят девственную белизну. Лишь внизу каждой странички стоят дата и подпись.

А может, он испытывает не только страдания, но и радость, бродя по краю искусства и надеясь, что оно вот-вот откроется ему?..

Заключив воображаемый набросок, он крепким, бережным жестом сует блокнот в глубокий карман пальто и спешит к источнику. Он словно таранит улицу напором своей поступи, и улица расступается перед ним. Кружки у него нет, он пьет целебную воду из маленькой фарфоровой чашки, неотъемлемой принадлежности акварелиста. Он долго моет чашечку сперва под струей, потом в натеке воды у подножия фонтанчика...

Жадно и энергично использует он все лечебные процедуры курорта. Трижды в день пьет воду минерального источника, принимает кислородные ванны, делает подводный массаж и кишечное промывание. Врачи говорят, что это, несомненно, самый здоровый безумец в мире. У него младенческое сердце, коровий желудок, великолепные легкие, печень, почки, желчный пузырь. Он стар, но крепок, словно кленовый свиль, и еще много-много лет будет смерчем проноситься по улицам городка — печальный символ творческой добросовестности, доведенной до бесплодия...

Спа

Среди хищников

Антверпенский зоопарк расположен в самой шумной части города, возле вокзала. Его неприметные ворота глядят на людную, суматошную, пыльную площадь, забитую автобусами, трамваями, такси и першеронами, впряженными в

громоздкие платформы, напоенную истошными криками газетчиков, отчаянием опоздавших на поезд, обалдением вновь прибывших, горем разлук и ликованием встреч. Здесь то грохот, то щемяще звучат паровозные гудки и сильные, тонкие, хватающие за душу свистки паровозов, сюда залетают белым облаком спущенные пары и косые черные дымы из паровозных труб. Трудно представить себе менее подходящее место для зоопарка, требующего тишины, покоя, уединенности, некоей зачарованности, напоминающей о девственной земле. Но попадаешь в зоопарк — и происходит чудо, подобное тому, что выпало уэллсовскому герою, когда за ним захлопнулась зеленая калитка, — ты переносишься в колдовской мир, никак не сопричастный тому, что остался за воротами. Впрочем, быть может, так кажется посетителю, а чуткие звери томятся духотой, гомоном, запахом паровозной гари?

Я попал в зоопарк в час кормежки. Служители начали обход с хищных птиц. Толкая перед собой тележку, они двигались от клетки к клетке и швыряли орлам, грифам и кондорам куски мяса, а чаще тушки дохлых крыс. Орел сохранял ледяное спокойствие и даже не поворачивал головы в сторону служителей. Когда же тележка, повизгивая несмазанными колесами, удалялась, орел приподымал крылья, делал один только взмах, плавно опускался возле тушки и вмиг растерзывал ее клювом. Кондоры и грифы не обладали такой выдержкой, они топтались на толстой жерди или на вершине искусственной горушки, вытягивали из рыхлоперистого жабо голые, страшные, стариковские шеи, мертво и жутко блестя круглыми глазами и громко хлопая крыльями.

Волнение разлилось по всему зоопарку. Быстрей и развалистей заходили в своих клетках громадные бурые медведи. Достигнув стены, медведь приподымался на задние лапы, передними отпихивался от стены, круто поворачивался и мчался назад. Он перекачивался в собственной шубе, как в мешке. От его низкого грозного рыка душа уходила в пятки.

Когда служитель вывалил на пол клетки груды хлебных огрызков, медведь перво-наперво страшно обрычал свою подругу, отогнав ее в дальний угол, а потом принялся с остервенением пожирать хлеб.

Тигры, леопарды и ягуары в молчаливой ярости мерили клетку бесшумными шагами. Когда им швыряли мясо, в глупине их тел закипало глухое ворчание, подобно далекому грому, оно выражало не жадность к пище, а тоску по настоящей добыче, которую надо выследить, нагнать, загрызть и сожрать теплую, кровяную, дымящуюся, и, похоже, тоска эта была обращена на близкую плоть служителя. Подобно орлу среди пернатых, здесь лев оставался царственно спокоен и даже не расширял ни глубоко вырезанных, редко и тихо дышащих ноздрей, ни полуприкрытых дремотой желто-фосфорических глаз.

А затем я прошел в обезьянник, где еще не наступило время кормежки, и долго стоял возле клетки с гориллами. Клетка была забрана крепкой решеткой по стенке из толстого небьющегося стекла. Старый самец сидел на корточках, плоско раздавив матово-черное кожаное лицо о стекло, и, не мигая, глядел на волю. Порой он зевал, показывая острые белые клыки, и странно было, что столь мощный хищно выстроенный аппарат принадлежит вегетарианцу. Иногда он захватывал скрюченными пальцами песок и сор с пола клетки и жестом безысходного отчаяния посыпал голову и грудь в редком сухом пальмовом волосе. А потом опять застывал, и лишь один крокодил способен на еще большую неподвижность.

Молоденькая самка вела себя куда живее и общительнее. Она то подымалась на толстый сук под самым потолком и ложилась навзничь, задрав кверху ноги и мастерски соблюдая равновесие, то принималась раскачиваться на канате, охватив его рукой и кокетливо поглядывая на посетителей. Раз она даже улыбнулась кому-то с воли, не рассчитав при этом опасной близости от супруга. Тот, не меня застыломрачного выражения, с молниеносной быстротой отвесил ей

затрещину, способную опрокинуть железнодорожный состав. Жалобно и сердито воня, самка вознеслась на сук...

Когда я покинул обезьянник, весь зоопарк был напоен лязгающей и скрежещущей работой крепких челюстей, долбежкой железных клювов, мощным жеванием под аккомпанемент шумных вдохов и выдохов, довольным урчанием, жадными взревами и клацаьем. Кровь кропила настилы клеток, стекала с усов, капала из клювов, и невольно пробуждалась благодарность к надежным решеткам, толстым прутьям, высоким оградкам и глубоким рвам с водой, защищающим нас, слабосильных властелинов вселенной, от мести четвероногих и крылатых плешников.

А потом страшная тревога, словно рябь, предваряющая бурю, прокатилась по зоопарку. И зародилась эта тревога не среди животных, а среди людей. Как будто в толпах посетителей, окруживших клетки и вольеры, бродящих по песчаным дорожкам, штурмующих киоски с кока-колой и оранжедом, возник некий перемещающийся центр, неотрывно привлекающий к себе внимание и любопытство, восхищенные взгляды мужчин, ревнивые — женщины, потрясенные, порой насмешливые — детворы. Это диво-дивное отвлекало посетителей от зверей, птиц и гадов ползучих, и, заинтригованный, я поймал очередной очажок возбуждения, устремился туда и увидел трех юных красавиц, оформленных по высшим голливудским канонам. Их стройные, тонкие, лушноудлиненные тела плыли в огнистом облаке распахнутых леопардовых манто, отделанные мехом платья были стянуты по талии кожаными кушачками с черепаховыми пряжками, красиво переливалась жемчужно-голубоватая змеиная кожа их туфель и сумочек, маленькие шапочки с розовыми страусовыми перьями гордо сидели на бледно-лиловых волосах.

Тревога передалась зверям. Так бывает во время затмения и перед землетрясением, которое звери предчувствуют много загодя. Хищники отвлеклись от пищи, они подымали головы,

приносивались и начинали рычать, не грозно, скорей жалобно, испуганно. Они слышали запах своих умерщвленных собратьев, ведь каждая красотка под стать зверьевому кладбищу. В подробностях изящного наряда, в украшениях и безделушках похоронены леопарды и крокодилы, страусы и колибри, пятнистые питоны и черепахи, нерпы и кашалоты, соболя и куницы.

На тонких стеклянных шпильках шли красотки по зоопарку. Такие хрупкие, беспомощные в своей на грани бестелесности худобе, так нуждающиеся в защите нежных своих сокровищ: растушеванных чернью и серебром фиалковых глаз, стрелами заведенных на виски, бледных губ и лиловых волос, деликатных ключиц, девичьих слабых плеч и женски округлых грудей, такие страшные, неразборчивые и беспощадные, как чума, ко всему живому, если это живое может послужить их украшению. Слабым самкам человеческим ничего не стоило истребить гордое колено леопардово, красивых, сильных, смелых зверей только из-за того, что им приглянулся для шубок яркий, пестрый мех. Общество по охране диких животных тщетно взывало к милосердию: ничего не стоит заменить натуральный мех не отличимой от него по всем статьям пластиковой подделкой. Куда там! Эфирным созданиям подавай настоящую шкуру, содранную с дымящегося кровью, испарением жизненной влаги тела убитого зверя! Им мало тех животных, которых специально разводят ради красивого теплого меха. Им нужны редкие экземпляры зверьевого мира, неспособные восстановить свою убыль. Чем ближе зверь к полному исчезновению, тем он заманчивее.

Эти беспомощные, соломинкой перебеешь, создания всевластны над жизнями четвероногих и крылатых обитателей пустынь, джунглей, пампасов, лесов и гор. Тут не спасут ни зубы, ни когти, ни бивни, ни мощный хвост, способный ударом повалить дерево, ни острые рога, ни тяжкие копыта, не спасет умение бегать быстрее ветра, летать выше облака, скры-

ваться в глубь земли, в расщелинах скал, в тину рек, в топь болот, в плетение лиан. Из любого укромья, любого тайника выгашат, выкурят, выгонят и убьют.

Есть такие птицы на Галапагосских островах, они любят лакомиться глазами гигантских морских черепах. И сотни, тысячи огромных, великолепных приспособленных животных изгибают по берегам лагун в собственных панцирях, как в гробах, из-за того, что комочки студенистого вещества, которыми они видят мир, — лакомство для пернатых. Но ведь то перазумные птицы, а здесь люди, которым доверен мир со всем, что его населяет!

Их нельзя оправдать даже борьбой за существование, извечной борьбой за самца — мужчины не видят, как одета женщина, они воспринимают лишь самый общий, расплывчатый рисунок, начисто не замечая деталей. Но самолюбие заставляет мужчин верить, что все это изуверство творится в их честь, дабы угодить их вкусу, и они поощряют ненужное смертоубийство в бедном мире природы...

Хищницы шествуют по зоопарку, и бедные звери, поджав хвосты, уползают в глубину клеток...

Антверпен

Чайки умирают в гавани

Мы встретили ее в маленьком летнем кафе. Она ела мороженое, осторожно снимая его губами с серебряной ложечки, а у ее ног, затянутых в белесые ажурные чулки, сидел пудель и, ворочая головой, оглядывал посетителей. Он каждого провожал своими круглыми прозрачными, цвета смолы глазами. Это был карликовый пудель черной масти. Его постригли под машинку по спине, шее и щекам, и здесь его ат-

ласно отливающий мех напоминал каракульчу. Ноги, живот, храп оставались в густой курчавой шерсти, лишь тропутой пожницами, и на макушке задорно торчал щегольской помпон. Его тонкую шею перехватывал парадный ошейник из мягкой замши, расшитый пияным узором.

Хозяйку мы запомнили по собаке и радостно узнали, встретив спустя несколько часов в пассаже; на мизинце у нее висела легкая покупка в вошеной розовой бумаге. Когда город так нов, незнаком, холоден и чуж, как был для нас сначала Льеж, радуешься даже такому малому узнаванию. Пес выступал рядом, изящно и остро ставил он крошечные лапки, будто струны перебирал, и с прежним доброжелательным любопытством озирал и обнюхивал прохожих, отыскивал среди них знакомцев.

Сейчас мы лучше рассмотрели хозяйку пуделя. В рост, в движении, она выигрывала — высокая, длинноногая, с упругой, сильной походкой. Ее двухцветные модные волосы, сверху желтые, снизу черные, красиво облегли нежное смуглое лицо, а большие глаза казались усталыми. Но усталость этих подведенных, с помятыми веками глаз лишь подчеркивала юность хозяйки пуделя, резко контрастируя с нетронутой свежестью щек, чистотой лба, ясностью овала.

К вечеру мы снова натолкнулись на «даму с собачкой», как окрестили мы ее. Странно, в таком большом городе, как Льеж, щедро населенном красивыми молодыми женщинами и пуделям, нам все время попадалась эта пара. Мы застали их в скверике, неподалеку от кафедрального собора, она сидела на скамейке, а пудель стоял на задних лапах, передними упиравшись ей в колени, и вдвоем они ели сливочный торт. Они кусали поочередно, только с разных сторон, от одного большого куска, пудель пытался ухватить лишнее, и хозяйка сердито выговаривала ему за жадность. Оба вымазались в желтом креме, но не замечали этого.

— Да какая она дама, просто девчонка! — заметил кто-то из туристов.

Это правда, она казалась молодой холодноватой дамой в кафе; девушкой, слишком рано прикоснувшейся к взрослой жизни, в пассаже и девчонкой-сластеной в скверике...

На другой день мы осматривали город, его промышленные и припортовые районы, богатый, грязный, воняющий рыбой базар и населенный беднотой итальянский квартал с прямо-смердными trattoriaми, черноголовой горластой ребятней и кривоносими, смуглыми, яростно жестикулирующими футбольными болельщиками в дешевых ярких рубашках. Мы решили не смешивать впечатлений и осмотр дворца князей-епископов и собора Св. Павла оставили на завтра.

Мы возвращались домой с набережной Мааса, мутно-желтого, отблескивающего нездоровой зеленцой, и неожиданно очутились на тихой улочке, которая в «доброе старое» время озарялась красными фонарями. Сейчас фонари смешались темно-алыми неоновыми, под стать рекламным, трубками, а сами заведения существуют под видом крошечных, на одно лицо, баров. В Льеже, как и в других крупных портовых городах Бельгии и Голландии, нет узаконенной проституции, нет публичных домов. В больших окнах низеньких опрятных домиков сидят прилично одетые женщины и ждут посетителей. Когда появляется клиент, ему предлагают бутылку шампанского втридорога. Такова пристойная форма оплаты. Шторы задергиваются, и зажигается красный свет, служащий стоп-сигналом для других любителей дорогого шампанского, и полицейский имеет право ничего не знать. Некоторые женщины с печальным юмором вешают на своих дверях макетики светофоров, где в соответствии с обстановкой зажигается один из трех светофорных цветов. Желтый означает, что хозяйка отлучилась по делам и скоро будет. Но попробуй обительница этого квартала заговорить на улице с мужчиной, даже просто подмигнуть ему, ее тут же схватит полиция. Это называется оберегать нравственность.

В этот воскресный полдень квартал «любви» жил трудовой жизнью. Стоп-сигналы горели в немногих еще домах, но

почти во всех окнах сидели женщины. Были среди них совсем молодые, и средних лет, и почти старухи. Были милотвидные и кое-как слеplенные из крема, густо-синей туши; золотистой пудры, розово-мертвенной помады, хны и шпильонов, и просто страшилища, разуверившиеся даже в спасительной силе косметики, но, верно, и они находили спрос, иначе не сидели бы в окнах на фоне уютной свежей мебели и таинственно посверкивающих из голубизны бра. Когда портовому человеку требуется глоток шампанского, он не слишком разборчив.

С журналом в опущенной руке, с кшигой, словно забытой на коленях, с сигаретой в тонких пальцах или в уголке покрашенного рта, терпеливо, словно изваяния, недвижимо сидели женщины. От их лиц, таких разных, то округлых и мягких, то сухих и жестких, как у хищных птиц, то обыденных, как заутреня, то замерших на грани совершенной человеческой красоты, веяло луговой валлонской свежестью и пряным смрадом итальянского квартала, духотой индустриальных трущоб и портом с его тяжким трудом, пьянством, драками, бессемейщиной, веяло угасшими и тлеющими надеждами, покорностью и затаенной болью, веяло болезнями и здоровьем, страхом жизни и страхом смерти, усталостью, равнодушием, беззаботностью, презрением, но больше всего одиночеством.

Я вспомнил, что этих женщин называют «чайками», быть может, потому, что, подобно своим крылатым тезкам, они кормятся и умирают в гавани.

Жизнь шла своим чередом. Старуха опустошала в водосток ночную посудину, ее большое, загорелое, морщинистое лицо было мудрым и терпеливым, как у крестьянки в час утренней дойки. Тоненькая девушка в ночных туфлях без задников несла в напрягшейся синими жилками руке сумку с провизией, торчали зеленые вялые стрелы лука, кудрявые завитки брюссельской капусты. Она увидела полицейского, раскуривающего трубочку, и скорчила ему рожу. Хромой, одно-

рукий инвалид упрямо и негромко стучался в дверь, в его ти-хости было что-то жутковатое, казалось, он решился на пре-ступление. Но дверь распахнулась на ширину цепочки, и об-наженная женская рука сунула инвалиду мелочь в карманы засаленного офицерского френча. Постукивая каблуками, как кастаньетами, шли два молодых счастливых матроса в белых брюках. Волоча правую ногу, словно бальзаковский Вотрен, медленно брел, приглядываясь к окнам, пожилой тучный че-ловек в заношенной фуражке водника. Черный, будто нала-кированный, пуделек деловито обнюхал тумбу, затем поднял ножку, обежал тумбу, понюхал ее с другой стороны и опять поднял ножку.

Вотрен поравнялся с тумбой. Пуделек подскочил к нему, обнюхал его здоровенные башмаки из вонючей юфти, брезг-ливо фыркнул и тут же прыгнул в сторону, спасаясь от пиц-ка. Дверь ближайшего дома распахнулась, на порог выско-чила девушка в длинной юбке и шелковой кофточке, остав-ляющей открытыми руки, шею, спину и нежную тень между грудями, обругала Вотрена и свистнула пудельку. Вотрен вскинул глаза на девушку — нашу вчерашнюю знакомую, — взял ее за подбородок, поглядел сверху вниз на ее чистое, нежное лицо, убрал пальцы и что-то коротко сказал. Она кив-нула головой, и Вотрен вошел в дом.

— Рокки!.. Рокки!.. — закричала хозяйка. — Домой, ма-ленький!..

Но пуделю, видимо, пришлось не по праву владелец юф-тевой обуви, и он сердито твякнул и отбежал прочь.

Вотрен высунулся из дверей:

— Какого черта?..

— Иду, иду!.. — Она попыталась поймать пуделька, но тот метнулся прочь, через улицу, прямо под колеса грузовика.

Небольшой фиатовский грузовик слегка подкинуло, шо-фер высунул из кабины чернявое белозубое итальянское лицо и отпустил какую-то шутку, он даже не заметил, что пере-

ехал собаку. Пудель лежал на боку, его задние ноги конвульсивно дергались, из оскалившейся пасти выпал розовый язык.

Девушка страшно закричала. Помню, так кричал заяц, которому выстрелом перебило ноги. Очень тяжело, когда на твоих глазах погибает твоя собака, а ведь девушка потеряла не просто собаку.

Полицейский заметил: что-то неладно. Он вынул изо рта трубку, смял пальцем огонек и медленно двинулся к месту происшествия.

— Идешь ты или нет? — орал Вотрен, он или не знал здешних правил, или плевал на них. — Нечего было голову морочить!

Из всех дверей посыпали женщины. Странно выглядели они в своих ярких нарядах на пыльной, пустынной, сродни деревенской улице.

Полицейский приближался, в нем появилась сосредоточенность.

Женщины дружно накинулись на хозяйку пуделя — она подводила не только себя, но и весь квартал. Они кричали, хватали ее за плечи, тянули прочь от мертвой собаки.

— Не волнуйтесь, мосье, — успокаивали они Вотрена, — все будет в порядке.

Они знали, что девушка подчинится, не может не подчиниться. Так оно и случилось: плачущая девушка позволила отвести себя в дом, куда уже втокнули Вотрена. Оставалось убрать труп собаки. Это взяла на себя старуха, опорожнявшая ночной горшок, добрая бабушка квартала, она завернула черное тельце в тряпку и унесла, прижимая к себе, как ребенка.

— Что тут происходит? — спросил полицейский.

— Ничего, мосье, собачку задавило...

В сравнении с Антверпеном или Роттердамом квартал красных светильников в Льеже невелик, но ведь то морские порты с огромным грузооборотом, а Льеж всего-навсего внутренний порт, хотя и связанный с Антверпеном каналом Альберта.

Льеж

И всюду страсти роковые...

Не хочу говорить плохого, но странный это город Люксембург, столица Великого герцогства того же названия. Так вроде ничего особенного, обычный европейский город средней руки, с широкой и прямой главной улицей, выходящей к вокзальной площади, с улицами поуже и совсем узкими; двум машинам не разъехаться, с множеством магазинов, кафе и кондитерских, с витринами, где в напряженно-изящных позах толпятся серебро- и черполикые манекены, с модно подстриженными карликовыми пуделями, с малочисленными кино и церквями, с единственным в поле зрения почтым кабаком, чьи матово-стеклянные двери скрывают вполне благопристойные вольности. Так в чем же странность Люксембурга?

Он поразил нас с самого начала, как только мы въехали в его пределы, своей неправдоподобной пустышностью. Мы двигались к центру по нарядным улицам, обставленным уютными особняками, топящими в цветах, увитыми плющом, вьюнком, диким виноградом, и город казался вымершим. В его безлюдье было что-то устрашающее, в духе рассказов Брэдбери. Городской пейзаж, лишенный людей, приводил на ум нашествие марсиан, опустошительные эпидемии, термоядерную войну. Есть все, что надо для городской жизни: красивые дома, комфортабельные машины вдоль тротуаров, афиши и рекламы (особенно часто громадный щит с изображением смуглой темноглазой женщины в кружевном лифчике, сжимающем маленькую стройную грудь), киоски с пестрыми журнальными обложками, лотки зеленщиков с крупной клубникой в плетеных корзиночках, мясистыми артишоками, бледной спаржей; светофоры в местах переходов, поочередно зажигающие в своих глазках то зеленого, то красного человечка; не было лишь живых человечков ни на переходах, ни на тротуарах, ни за рулем машин, ни у лотков, ни в киосках.

— Тут нет ничего удивительного. — пояснила наша переводчица, старенькая мадемуазель, — сейчас рабочие часы. А дети? В школах. А домашние хозяйки? У электроплит, готовят обед. А зеленщики, киоскеры? Сидят за кружкой пива и сосисками в задних тенистых двориках кафе. А подметальщики, поливальщики улиц, мусорщики и расклейщики афиш? Они давно сделали свою работу. А полицейские? Их почти нет в столице Великого герцогства. А романтические бродяги, нищие, цыгане, школяры-прогульщики, влюбленные, поэты, просто бездельники, фланеры? Их в Люксембурге еще меньше, чем полицейских. Все жители при деле...

Ближе к центру стали попадаться одинокие фигуры прохожих, как на открытках с видами старинных городов, появились и визжащие тормозами машины, и мотоциклисты, ошалело мчащиеся в смерть.

Увидеть люксембургскую толпу нам не удалось и вечером. Семьи сидели у телевизоров, школьники и студенты зубрили, старики торчали в кафе, влюбленные в пустынном кинозале смотрели вестерн с неизбежным гладко выбритым Уэйном. А вот в воскресный день на улицах, даже центральных, и вовсе не встретишь ни одного человека — все на природе, или, как тут принято говорить, «у воды». В Люксембурге почти нет озер, мало рек, тихий, светлый Мозель, по берегам которого цветет золотое вино, служит границей с Западной Германией. И потому по воскресеньям вдоль каждого пересохшего ручейка выстраиваются вереницы машин; каждый лесной выпот, каждое увлажнение почвы на лугу привлекают тысячи людей, вокруг каждой лужи разбит кемпинг. Обнаженные — только бикини — молодые люди играют в бадминтон и волейбол, загорают, купаются, погружаясь по щиколотку в прохладные струи, а пожилые сражаются в карты, собирают полевые цветы, готовят сэндвичи, достойно и для здоровья полезно отмечая уик-энд.

Городскую толпу в столице Люксембурга можно увидеть лишь в часы пик по обычным дням и вечером в субботу, но не слишком поздно.

И еще одна необычность нарушает совершенную обыденность этого стерильно бюргерского города: словно ударом меча, он рассечен надвое глубокой щелью. Зеленая свежая рана зияет на теле города, дымясь в рассветный и закатный час белесым туманом.

По дну щели стремит узкий, заключенный в каменное руслице поток, вдоль него протянулась аллея старых, высоких деревьев, собравших под собой густую тень и прохладу. Отвесы, образующие щель, густо поросли кленами, елями, пихтами, буками, аромат их крепок, как в девственном лесу.

Гигантский ров, обеспечивающий неприступность Верхнему городу, напоминает о том, что тихий бюргерский Люксембург — крепость, о которую не раз тупились мечи завоевателей. Из века в век малая земля посреди Европы становилась ареной жестоких битв, плацдармом, где решались честолюбивые притязания великих держав. Быть может, оттого и привержены люксембуржцы к тишине, уюту, укромности своих жилищ — уж больно осточертели им ветры истории, насквозь продувавшие их маленькую страну.

Но — и это еще одна страшность — провинциальный Люксембург чьими-то усиленными потугами вновь обрекается на «мировую» жизнь с несколько мистическим оттенком. Возле нашего отеля находилось серое, строгое здание какого-то «Всеевропейского парламента». Швейцар с золотым позументом благоговейно охраняет это абстрактное учреждение.

Но мой рассказ не о парламенте, а как раз об отеле, где наша туристская группа пользовалась столом и ночлегом.

Отель принадлежал высокой костлявой блондинке с резким скипидарным запахом изо рта. Она была не только владелицей четырехэтажного узкого, об одну лестничную клеть, дома, зажатого между двумя такими же узкими домами, но и

главной служительницей расположенного в первом этаже ресторана и гостиницы, занимавшей остальное помещение. Она сама подметала и прибирала номера, меняла постельное белье, цветы на окнах и воду в графине. Молоденькая служанка с испуганным деревенским лицом мыла полы в ваннных комнатах, а днем выполняла обязанности коридорной.

В ресторане хозяйка принимала заказы и обслуживала посетителей. Ей помогала шестнадцатилетняя дочь, очень на нее похожая, но прелестная неуклюжим еще телом, длинными руками и ногами, а также сестра в лимбе зачерствелого одиночества, метавшаяся между кассой, баром и столиками. В кухне правил румяный, пшеничный повар-француз, великий мастер своего дела, под его началом ходил повараенок с дерзкими глазами гамена.

Единственно безучастным, до пелености ненужным в этом деятельном мире был муж хозяйки, кудрявый красавец, дендешской подпиравший двери ресторана, в мятых фланелевых брюках, сетке, под которой курчавилась рыжая шерсть, и шлепанцах на босу ногу. Он рассеянно и дружелюбно улыбался посетителям, иногда покрикивал на водителя рефрижератора, подвозившего к ресторану провизию, лениво шутил с дочерью, порой решительно прыгал в свой роскошный «меркурий», стоявший против дверей, и куда-то сломя голову мчался. Назад он возвращался до удивления быстро и снова занимал обычный пост. Но я чрезмерно сгустил редкие проявления его активности. Для мужа хозяйки характерны не эти действительные вспышки, а нирвана, полудрема с неясной, заблудившейся улыбкой на полных, хорошо очерченных губах.

Понятно, что при бездельнике-муже и малом штате служащих хозяйке приходилось работать за десятерых. Только что она была наверху и тащила в каптерку ворох грязного белья и вот уже, причесанная и намазанная, в белой наколке, принимает заказ на завтрак у престарелой английской четы, следя одновременно за тем, чтобы дочь и сестра без задерж-

ки обслужили наш длинный туристский стол. Она успевает дать заказ повару, сбить в баре коктейль, показать дочери, как ловчее нести тесно заставленный поднос, угостить косточкой пуделя седовласой дамы, пошутить с молодым офицером, открыть сельтерскую, и все это без суеты и спешки, с чуть небрежной улыбкой, словно бы даже спсиходельно: пусть не забывают, что она не простая кельнерша, а владетельная принцесса этих мест.

Но порой она вдруг сжимает пальцами виски, подходит к бару и коротким движением опрокидывает в рот рюмку с чем-то зеленоватым: тогда кровь приливает к ее щекам, взблескивают глаза, она вновь полна огня, как заряженная зажигалка.

Полусонный супруг ловит эти мгновения, чтобы тоже пропустить рюмочку или высосать прямо из горлышка холодное, со льда, пиво. Я думал, это подлаживание под жену — черта приживала, но, как вскоре выяснилось, он был человеком независимым. Кто-то из туристов подарил ему значок с видом Кремля. Растроганный, он тут же заказал на всю нашу компанию коньяк, вино, шоколад. Хозяйка бровью не поведла, с обычной расторопностью выполнила не сулящий прибыли заказ. Чувствовалось, что муж в своем праве, и если в чем-то ограничивает себя, ну хотя бы в выпивке, то лишь по собственной воле.

При свете дня от этой семьи веяло устоявшейся в веках тривиальностью. Состоятельная, энергичная, не первой молодости женщина, купившая себе курчавого шалопаю-мужа, дочь-подросток, чуточку нечисто, как и обычно в этом возрасте, влюбленная в красавца отца, одинокая старая дева, втайне завидующая сестре, — это почти маски в трагикомедии буржуазной жизни. Но подобно тому как некоторые странности, тревожные необычности нарушают тусклую банальность Люксембурга, диковатые почные русалии освежили и оосложнили заурядный образ этой семьи.

Хозяева занимали мансарду как раз над моим номером. И вот на вторую ночь, разбив мой сон, донеслись истошные крики:

— Негодяй!.. Боже мой, какой негодяй!..

Я сразу узнал хриловатый голос хозяйки. Первым моим движением было кинуться ей на помощь, но тут послышалось на удивление близко бархатистое ворчание ее мужа. Дела семейные, сами разберутся.

Вопли не прекращались, потом было падение какого-то тяжелого предмета: не то кресла, не то серванта, новые крики, полные муки, терзания и ненависти, что-то треснуло, разбилось, и опять надсадные вопли:

— Ты бьешь женщину, мерзавец?.. Ах так!.. Ну что ж, причиняй мне боль, причиняй мне адскую боль, изверг, распутник, кудрявый негодяй!..

Был тонкий, заходящийся детский взрыд, внезапный провал тишины, и в жутковатой этой тишине старушечий голос отчетливо зашептал молитвы...

Утром хозяйка была, как всегда, деловита и энергична, только на побледневшее лицо наплывала порой сонная одурь, но к полудню, наведавшись раз-другой в бар, она полностью восстановила форму. По хозяйцу не догадаться было о бурной ночи: все такой же красивый, кудрявый и опустившийся, стоял он в дверях, переругивался с шофершей, отпускал шлепки дочери и вдруг куда-то уносился на машине, незаметно возвращаясь назад. Старая дева курсировала между кассой и столиками, с достоинством неся свой бюст, литой и девственный, как у кассового аппарата. Словом, жизнь текла своим чередом, значит, и ночная свара входила в привычный ее лад, что вскоре подтвердилось. Крики, упреки в измене, вялые оправдания, падение тяжелой мебели, звон стекла, детские всхлипы и горестные молитвы повторялись регулярно через день. Я пытался проникнуть в существо этих неистовых ночных ссор, не отбрасывающих теги на дневное су-

ществование семьи. Судя по пынешнему образу жизни хозяина, жена могла упрекать его лишь в давних грехах. Нельзя же предположить, что он изменяет ей во время своих молниеносных отсутствий. Вернее всего, эти измены существуют лишь в раздраженном воображении стареющей женщины. И все-таки противно, что он ее бьет. Грубость, беспощадность к женщине характерны для самого низкопробного сорта мужчин. Я стал избегать этого люксембургского Бюбю. Мне казалось, он замечает мою брезгливую отчужденность и отвечает на нее горькой ухмылкой. Но в канун нашего отъезда из Люксембурга мне не удалось его избежать, и сейчас я несколько о том не жалею. В вестибюле ресторана мы совещались с друзьями, как провести последний вечер. Решили сходиться в ночное кабаре.

— Давайте я вас отвезу, — сказал хозяин и, не дожидаясь ответа, распахнул дверцу своей роскошной машины.

Пришлось последовать любезному приглашению. Мы все довольно нагладелись на местную езду, и мои товарищи предусмотрительно сели сзади, я же замешкался и был вынужден занять место рядом с водителем. Взревел мотор, и в тот же миг мы оказались на углу улицы, а как удалось нам избежать столкновения с пикапом, не знаю, я закрыл глаза. Мы снова рванулись вперед, машина набирала скорость, как гоночная. На повороте мы почти легли на бок. Тут все ездят с отчаянной лихостью, но этот адский водитель побил все рекорды безумия. Я поглядел на хозяина. Его полное миловидное лицо изображало спокойствие и скуку. Я что-то понял в нем, он постоянно томился скукой, и бешеная езда давала ему разрядку.

— Классный автомобиль, — сказал я.

— «Меркурий-комета» 1964 года, — заученным голосом отозвался хозяин и с заездом на тротуар обогнал у обочины трехколесную инвалидную коляску. Мы очутились на одной из главных улиц, но он не снизил скорости.

Мы влетели на мост, нависший над гигантской щелью, разломившей город надвое. Дул сильный ветер, и глубоко внизу деревья раскачивали кронами. В темноте, просквоженной светом фонарей, казалось, что перекатываются зеленоватые волны, парк представлялся потоком. В самом конце моста мы чуть не врезались в автобус. От резкого торможения кузов кинуло вперед, было такое впечатление, что мы расстались с колесами.

— Вы слишком быстро ездите, это добром не кончится, — сказал я хозяину.

— Быстро? — проговорил он пренебрежительно. — Чтобы развить скорость, нужно расстояние. А в Люксембурге нет расстояний. Чуть нажал на газ — и сразу уперся в границу с Германией, Францией или Бельгией. Конечно, с моим паспортом я могу пересечь границу, но не в таком виде! — он показал на свою сетку, затем задрал ногу в разношенном шлепанце. — Ненавижу крахмальные воротнички, галстуки и тесную обувь. Я читал про ваши поразительные целинные степи, вот где можно гнать! — он восхищенно щелкнул языком.

— У нас на всех дорогах скорость ограничена, — заметил я, — а по бездорожью особенно не разгонишься.

— Да ведь не в скорости дело. Мы посимся как угорелые только потому, что нам некуда ехать. Скорость должна служить расстоянию, иначе грош ей цена. Я-то знаю, я был гонщиком, пустое занятие, хотя деньги можно заработать.

Он уже не закрывал рта. Конечно, неспроста затеял он эту поездку, ему не терпелось выговориться. Человек наблюдательный, он заметил нашу отчужденность, и его самолюбие было уязвлено. До того как мы подъехали к кабаре, он посвятил меня во многие обстоятельства своей пестрой жизни. Подростком он участвовал в Сопротивлении, потом был гонщиком, профессиональным боксером, и это привлекло к нему внимание мадам, только что получившей в наследство гостиницу. Ему не везло на ринге, и мадам предложила ему

работать у нее вышибалой. Он отказался, но тут между ними началась любовь, и в результате он все равно занял место в дверях отеля, правда в ранге законного мужа.

— Кроме того, мосье, я исполняю работу коммерческого директора. Вы, наверное, заметили мои частые отъезды, это связано с делами отеля. Я стараюсь не отлучаться надолго. В нашем тихом Люксембурге хватает мошенников, а мадам при всей практичности в иных вопросах хуже ребенка. Она ничего не понимает в бумагах и законах, тут ее можно в два счета обвести вокруг пальца. А мне достаточно просто стоять в дверях, чтобы сюда не сунулся ни пьяница, ни дебошир, ни проходимец, пытающийся всучить подмоченный товар, просроченный вексель, обесцененные акции...

Конец этой звонкой тирады был отмечен лязгом тормозов, крутым вывертом руля и противно-хрустким ударом, словно яичную скорлупу раздавили, — наконец-то случилось неизбежное: мы столкнулись с вылетевшей наперерез из-за угла машиной. Надо отдать должное мастерству хозяина, он проделал молниеносный маневр, благодаря которому смог принять удар не боком, а бампером. Наша машина была много больше и тяжелее серенького «ситроена», и своим клыкастым бампером мы смяли ему крыло, сами не получив царапины. Сидевшие в «ситроене» молодые люди принялись осыпать нас бранью. Хозяин распахнул дверцу и двинулся на них, выставив плечо и чуть волоча правую ногу, значит, дрался он в левосторонней стойке.

— Жако!.. О, Жако!.. — залепетали в «ситроене».

Хозяин властно махнул рукой, мол, проезжайте, вернулся в машину, небрежно захлопнул дверцу и подъехал к освещенным дверям кабака. При виде полураздетых тучных девиц на рекламном стенде и тускло подвыпивших юнцов у окошка кассы нам вдруг расхотелось идти в кабака.

— Ей-богу, туда не стоит ходить! — стал уговаривать нас хозяин. — Разве это стриптиз? Школьный праздник для уча-

щихся начальных классов. Вы будете в Брюсселе. Пойдите к мосье Годо, я дам вам адрес, скажите, что вы от Жака Люксембургского, он вам покажет настоящий стриптиз! А сейчас покатаемся лучше по городу...

Предложение было принято. Растроганный Жак сказал мне с чувством:

— Спасибо, мосье! Я бывший партизан, бывший гонщик, бывший боксер, ныне важнейший винт в деловой машине мадам, громадное Ничто, если говорить всерьез, но я не альфонс и не паразит.

И все-таки с этим парнем творилось что-то неладное. То ли у него была сорвана нервная система, то ли, как сейчас любят говорить на Западе, он был во власти комплексов... Столкновение не отрезвило его. Мы взлетали на какие-то холмы, рушились вниз, в перемиг железнодорожных огней, и, обдутые горьким теплом паровоза, уносились снова вверх, в прохладу, к слабым звездам и тощему месяцу. Внезапно мы попадали в царство колючей проволоки, сторожевых будок, приземистых, барачного типа строений — казармы войск НАТО — и сразу, почти без перехода, оказывались в загородной свежести, запахе росного сена, а затем из темноты надвигалась темная спящая громада: очередное военное учреждение. Ежеминутно нас резали, ослепляя, лучи фар встречных и поперечных машин; мы почти наезжали на опущенный полосатый шлагбаум, скользили задними колесами по стенке кювета, и автомобильный этот шабаш уже не пугал, а утомлял душу. Так же, как непрекращающиеся разговоры нашего водителя о себе. Кто он — самодовольный хвостун или калека с перебитым жизнью хребтом?

— Я тихий люксембуржец, мосье, — ломилось мне в барабанные перепонки. До того я уже слышал, что «простой», «нетребовательный», «покладистый», «легкий», и сейчас меня взорвало.

— Да, особенно ночью, — сказал я.

— Но, мосье! — вскричал он с болью. — Поверьте, тут нет моей вины. Такова жизнь. Днем я изображаю пугало у входа в ресторан, ночью мне отводится роль изверга. Я многих бил в своей жизни, и меня много били, но я так и не научился поднимать руку на женщин.

— А эти крики?..

— Какой стыд! — он прикрыл лицо руками, и мы некоторое время мчались, словно на автопилоте. — Но я не могу обвинять жену. Она так устает, так выматывается, бедняжка, что, очевидно, ей необходим допинг. Чтобы угодить ей, я опрокидываю стулья, кресла, иногда сервант, но я не могу тронуть ее пальцем.

Все это было неожиданно смешно и настроило меня на веселый лад.

— А знаете, в старой России считалось: если муж не бьет жену, значит, не любит.

— Правда? — он почему-то обрадовался. — Стало быть, есть такое в природе женщин. И это вовсе не болезнь!.. А как вели себя русские мужчины?.. Шли они навстречу своим дамам?..

— Еще бы!..

Он тихо засмеялся. От моей недоброежелательности не осталось и следа, он был мне жалок и симпатичен, этот мягкий человек, не преуспевший на семейном ринге так же, как и на спортивном.

— Слушайте, — сказал я, — а почему бы вам не переменить обстановку? Вы застоялись. Наденьте рубашку и поезжайте куда-нибудь на простор.

Он присвистнул, и лицо его стало серьезным, озабоченным.

— Что вы!.. Жена не позволит.

— Поступите хоть раз в жизни по-своему.

— Какой там!.. — В голосе его появились жесткие нотки. — Наш Люксембург выходит на большую арену. У нас никогда не было столько приезжих. Если дела и дальше так пойдут... Знаете, я всегда любил классные машины. Жена

обещала мне «роллс-ройс» последнего выпуска, шоколадный кабриолет... На худой конец, я возьму полугоночный «понтиак». А за совет спасибо...

Признаться, смысл последней его фразы дошел до меня много позже. Когда ночью начались привычные вопли, не было грохота тяжелой мебели, лишь один короткий резкий звук отчетливо заполнил паузу между двумя вскриками. Затем тишина. И каким-то совсем иным, жалобным, удивленным, женственным голосом хозяйка сказала:

— Ой, ты что, с ума сошел?..

Утром она не вышла нас провожать, у нее болели зубы. Она прислала с дочерью всем нашим туристкам по чайной розе, а туристам — по гаванской сигаре в латунном футляре. Провожал нас искрящимся мозельским вином ласково и грустно улыбающийся хозяин: ради торжественного случая на нем была белая рубашка.

Люксембург

Александр I

Странное мной владело ощущение: только что был самолет, венский аэропорт в звенящем реве «боингов» и «каравелл», бесшумный «мерседес» продюсера Ройтера, оборудованный радиотелеграфом, по которому Ройтер заказал режиссеру Калатозову и мне номера в отеле, отдал какие-то распоряжения своему помощнику и переговорил с Мюнхеном, где находится главная контора студии МЦС, и вот уже без перехода, будто сработала машина времени, перед нами ишой, минувший век, резиденция Габсбургов, Шенбрунн в разгар Венского конгресса. По широким ступеням дворцовой лестницы рассеяны парящие фигуры празднично взвол-

пованных дам и ловких кавалеров. Внизу, за маленькими столиками, также расположились дамы и кавалеры, каждая пара на свой лад трактует фигуру галаantinой тайны, любовного сговора. Чуть поодаль очаровательные амазонки в атласных юбках горячат тонконогих коней. Взгляд привыкает к нежной, неброской пестроте и многолюдству и вдруг обнаруживает Талейрана во всем черном, как и подобает представителю побежденной страны, об руку с прелестно-хищной княгиней Меттерних в великолепном, сверкающе-белом, каком-то торжествующем платье. Они идут медленно, Талейран прихрамывает, и княгиня обуздывает в угоду спутнику свой порывистый шаг.

Толпа скрывает кинокамеру, и кажется, что все вокруг наяву дарованное тебе прошлое. Но когда, наконец, находишь могучую камеру МЦС-70, иллюзия подлинности не исчезает, ибо так пространственно огромна погруженная в девятнадцатый век панорама Шенбрунна, что не верится, будто ее может охватить глаз объектива. Но вот я узнал в Талейране Поля Мориса, исполняющего главную роль в фильме «Мари-Октябрь», а в княгине Меттерних — актрису Пальма, и сказка тихо отлетела...

Фильм называется «Конгресс развлекается», это будет чисто венское блюдо: музыкальная комедия. В свое время венцы окрестили высокое собрание, призванное решить судьбу Европы, «Конгрессом любви». Ликующие победители, наконец-то избавившиеся от гнета беспокойного гения Наполеона, превратили конгресс в любовный праздник.

На скамейке, возле ледника с кока-колой, сидела молодая беловолосая женщина с большим розовым ртом, тонкими запястьями и щиколотками, странно и нежно несовременная в своей задумчивой отрешенности. Казалось, она случайно отбилась от шенбруннского сборища. Ройтер подвел нас к ней и представил. В ответ, словно из рейпских легенд, из лесного обиталища Рюбецаля, тихо донеслось: «Ханшелора». Это была вдова создателя знаменитой съемочной камеры су-

перпанорамных фильмов и нынешняя глава студии МЦС — г-жа Травничек. Чтобы пожать нам руки, Ханнелора Травничек отложила в сторону тетрадь в грубой, покоробившейся, грязно-желтой мосфильмовской обложке. Я понял, что это наше либретто, для обсуждения которого мы и прикатили в Вену...

Во второй половине дня Георг Ройтер, душа и заводила будущей совместной постановки, повез нас на павильонные съемки.

Павильон был оснащен первоклассной осветительной аппаратурой, наисовременнейшей съемочной техникой. Удивляла его населенность: участники съемки, корреспонденты газет и радио, просто любопытные; многие курили, но воздух оставался свеж и чист, никто никому не мешал, а под ногами не путались бесконечные провода и бесчисленные пожарники, как это принято на наших студиях.

Насколько радовала организация съемок — порядок, четкость, высокий профессионализм всех работников, настолько печалила — меня во всяком случае — художественная суть творящегося в прекрасных декорациях кабинета русского императора Александра I. Кабинет был обставлен с тонким вкусом, беспокойство взору причинял лишь большой графин с водкой, стоявший обок с вместительным стаканом на ампирном столике. Император то и дело взбадривал себя добрым глотком отечественного напитка. Стакан водки был перелит императором и в маленькую розовую пасть пришедшей к нему субретки, которую смертельно испугал раздавшийся под окнами взрыв. То ли субретка, втайне влюбленная в русского царя, пришла, чтобы предупредить его о готовящемся покушении, то ли она просто явилась на свидание, а взрыв прогремел сам по себе, — ошеломленный обликом и поведением русского венценосца, я не разобрался в случившемся. Знаменитый актер Гурт Юрген много старше Александра не только поры Венского конгресса, но и тех последних дней, когда, преждевременно уставший от жизни, окружающих и себя самого, император ушел в Тагапрог, как в смерть. Все

же и ростом, и статью, и даже чертами лица актер подходит к роли. Беда не в этом. Изящнейший участник конгресса щеголял в шелковой косоворотке вроспуск, зеленых полгалифе и гусарских сапогах — ни дать ни взять курский мелкаш, собирающийся кутнуть с друзьями после удачной псовой охоты. Под стать одежде манеры. Грубо толкнув девушку на кушетку, император развалился рядом с ней, а когда ему понадобилось встать, он быстрым и непристойным движением перекинул ноги через ее голову.

Я никогда не принадлежал к поклонникам этого самодержца, травившего Пушкина и возвеличившего Аракчеева, одарившего русский народ военными поселениями и все же достаточно прозорливого, чтобы не мешать Кутузову спасти Россию. Но, помимо симпатий и антипатий, существует историческая правда. Александр, любя, как и все Романовы, фронт, вовсе не был солдафоном. Лукавый, изменчивый, непроницаемый, тонкого ума, легкого очарования и большого упрямства человек, он умел заставить считаться с собой даже Наполеона, который ни с кем не считался. В дни конгресса Александр, победитель и красавец, был кумиром Вены, чаруя и женщин, и мужчин изяществом, покоряющей вежливостью, тонкой смесью веселости, галантности и меланхолии.

И когда Георг Ройтер спросил меня: «Ну как?», горделиво кивнув на Курта Юргена в косоворотке и галифе, я чистосердечно ответил, что Александр не был ни так стар, ни так мужиковат, он не носил косовороток, не глушил водку стаканами и пуще того — не заливал ее в дам. Ройтер удивился, притуманился, но затем быстро воспрянул духом, видимо не слишком-то поверив мне. Его окликнули. Едва он отошел, М. Калатозов принялся отчитывать меня: «Разве можно говорить под руку такие вещи!» Наверное, он был прав, но интересно, стал бы он так рассуждать, если б вместо Александра тут снималась благословенная Тамара в рязанском кокошнике и сарафане?..

Ройтер вернулся, подкрепленный новыми аргументами.

— Мы ставим комедию, а не исторический фильм, какую роль играет правдоподобие?

— Почему же вы стремились к правдоподобию в Талейране и княгине Меттерних?.. Разве проиграл бы ваш фильм, если б Александр был похож на себя, а не на опустившегося отставного гусара?

— Ну и не выиграл бы!..

— Как знать! Быть может, сцена, которую мы видели, стала бы тоньше, лукавей и даже смешней.

Ройтера снова отозвали, а в разговор вмешался человек с лемурийми подглазьями на маленьком желтом личике.

— Ему вас не понять! — сказал он с непонятной горечью. — Дорогие актеры — как дорогие женщины, их любят не за красоту и душу, а за те деньги, что в них вложены. Разве признается продюсер, что звезда, да еще такая — на вес золота, — не светит?

— Курт Юрген не светит?

— Конечно! Наши знаменитости так привыкли к суррогату искусства, что уже не способны вжиться в образ. Его пытались натаскать — пустое... Какой из него Александр!.. — И человечек пренебрежительно махнул худенькой ручкой, едва не обронив с нее часы.

...Эта часть старой Вены — сплошь кабачки и «дома Бетховена». Иные кабачки выходят уютно освещенными окнами и льющейся из дверей музыкой прямо на улицу, иные хоронятся в глубине мощенных лобастым булыжником дворишков, иные в садах, под сенью старых лип, буков, кленов.

«Дома Бетховена» неисчислимы. Правда, так называют их венцы для простоты: ни одно из этих зданий с мемориальной доской не принадлежало великому композитору и, более того, ни одно из них не давало ему надолго приюта под своей черепичной крышей. Как только приходил срок платы за жилье, Бетховен, не ожидая, когда его выгонят, хватывал ворох нот, потертый саквояж и перебирался в другой дом. Этот столь невыгодный при жизни жилец ныне превратился в неиссяка-

емый источник дохода для легконогих гидов, водящих сюда туристов со всего света. «Домов Бетховена» столько, что от них кормится целый рой молодых людей в коричневых припыленных замшевых туфлях и коротких муарово отблескивающих плащах. Ни гидов, ни туристов не смущает, что самая краткость пребывания Бетховена во всех этих домах не давала ему возможности оставить отпечаток своей личности на вещах и обстановке.

Кабачки, перемешанные с домами Бетховена, а нередко занимающие в них первый этаж, тоже своеобразная дань великой тени, ведь все они музыкально озвучены. Квартал насыщен пиликаньем скрипок, контрабасными вздохами, переливами аккордеонов, грудными руладами роялей в честь бывшего злостного квартиронеплательщика. Конечно, Бетховена не отваживаются играть крошечные, из двух-трех инструментов, оркестрики. Они играют штраусовские вальсы и народные австрийские мелодии, играют здорово! А посетители кабачков подыгрывают на губных гармониках, гребенках, а то и просто ножом по стенке бокала, или свистом, или щелчками пальцев. И тоже здорово — на редкость ритмично, музыкально.

Оркестранты не сидят на месте, они ходят среди столиков и за несколько монет, за кружку пенистого пива, за стакан вина могут сыграть по вашему желанию, причем делают это без утраты достоинства, охотливо, душевно, гостеприимно. Посетители — народ простой, печванливый. Принц Лобковиц развлекается в других местах...

Георга Ройтера, конечно, знали в этом кабачке — не успели мы втиснуться за шаткий столик, как перед нами возникли стаканы с темно-красным вином и старый скрипач с пластроновой припачканной табакеркой и пеплом грудью. Склонив голову к темно-коричневому телу скрипки и горестно скривив топкогубый рот, скрипач заиграл с усердием, почти равным вдохновению, цыганскую венгерку, но вскоре я перестал следить за его игрой.

У дверей кабачка остановился широкобокий, шоколадный, последнего выпуска «роллс-ройс», с характерным плоским радиатором, оставшимся неизменным от первых моделей до наших дней.

Из машины выпорхнула, придерживая на груди меховую накидку, тоненькая девушка с бледно-сиреневыми от неопового света волосами, а с другой стороны, небрежно кинув дверцу, вышел рослый пожилой мужчина. Он, видно, не желал привлекать к себе внимания, и оттого в его взгляде исподлобья, в неуверенной, лукаво-затаенной и вместе чарующей улыбке, в особой, ускользающей грации было что-то двусмысленное, неискреннее, почти слабое, но прочно защищенное стоящим на страже достоинством; его воспитанное, тренированное тело двигалось легко и сильно, рука коснулась створки двери, одновременно убрав с пути девушки какого-то пьянчужку, с привычной властью. Ни дать ни взять Александр I, ускользнувший с блестящего раута, чтобы доставить себе рискованное и пряное удовольствие народного гулянья.

Пара приблизилась. Человек этот был несколько староват для Александра: мешки под глазами, гусиные лапки на висках, но в остальном — какое поразительное, прямо-таки дурманное сходство с загадочным русским царем. Мы поздоровались, это был Гурт Юрген.

Вена

Несчастный случай

На пути в Карловы Вары я сделал короткий привал в Праге. Мой друг, фотокорреспондент Вацлав Зимны обещал подкинуть меня завтра на машине до самого санатория. У него там поблизости отдыхала жена. Она вообще всегда отдыхала там и сям.

Прослонявшись весь день как отпускные солдаты, мы остаток вечера провели в большой пустынной квартире Вацлава, начавшей припахивать холостяцким жильем. Вацлав гордился тем, как опрятно содержит дом в отсутствие жены: ни грязной посуды, ни пустых бутылок, полы подметены, коврики обработаны пылесосом. И все же какой-то подозрительный тленец пронохивался в воздухе: от увядших гладиолусов в зацветшей воде, от пепельниц, полных окурков, от нечищенных сковородок да и просто оттого, что тут не пахло женщиной.

День был жаркий, и вечер не принес прохлады. Пользуясь нашей мужской свободой, мы остались в одних трусиках и сумерничали в таком непринужденном виде. Вацлав жил в незнакомом мне районе Праги. Балкон глядел в темные купы парка, справа тянулась широкая спокойная улица, обсаженная молодыми липками и озаренная светом высоких фонарей. Над ней стояла низкая круглая оранжевая луна, казавшаяся такой же обязательной приметой здешних мест, как рослые деревья парка, молодые липки, высокие фонари.

Мы включили телевизор посреди какого-то приключенческого фильма, но оставили его немым, а вместо этого поймали по радио хорал Баха. Мы глядели, как на голубом экране крепкоскулые герои обмениваются беззвучными выстрелами и зуботычинами, слушали глубокие вздохи Бахова многоголосья, и нам было хорошо. Мы дружили, по счастью не настолько, чтобы докучать друг другу неудачами, бедами, сомнениями. По безмолвному уговору, наша дружеская близость остановилась на той грани, где вежливость обязывает не усложнять свой образ страданием. И так приятно было, забыв обо всем, что обременяет душу, пожить хоть вечер простыми радостями: холодным пивом с квадратиками льда из морозильника, горячими сосисками с нежной горчицей, разговорами о футболе, космосе, снежном человеке или о чем другом; столь же необязательном.

Рассуждая, Вацлав то выходил на балкон, то возвращался назад, таская по стене свою голую атлетическую тень. В жизни он выглядел пожиже, а тенью настоящий Геракл. Тень укорачивала ему длинную и тонкую шею, крепче сажала голову на широкие покатые плечи да и в талии хорошо уплотняла. Размышляя над тенью Вацлава, я все удобнее пристраивался на тахте, переходя из сидячего положения в полулежащее, затем в лежащее, и, когда стало совсем удобно, задремал, сам того не заметив.

Раздался высокий жалобный вопль. Невыносимый вопль смертельно раненного оленя, обычно сопутствующий автомобильной аварии. Это взрыд тормозов, бессильных удерживать стремящееся в гибель тело машины. Драма сразу слетела с меня, я вскочил и сел на тахте. Похоже, наша умиротворенность не способствовала мировой тишине, никого не выручила, не защитила...

Промелькнул Вацлав с маленьким перекошенным ртом и выскочил за дверь. Послышался шум лифта. Звук был такой, будто спускают воду в уборной. Я хотел бежать следом за Вацлавом, но что позволено хозяину, заказано гостю, надо одеться. Как назло, куда-то запропастились носки, потом исчез ботинок. В голову лезли какие-то берклианские мысли: пока я тут копаюсь в полном неведении о случившемся, можно ли считать, что ничего еще не произошло, или в самом деле уже есть пострадавшие, раненые, даже убитые?.. Видимо, я не совсем проснулся, если такое творилось в мозгах.

Я глянул с балкона. Под высоким фонарем, уткнувшись серебряным носом в железный столб, даже слегка вобрав его в себя, стоял серый «мерседес», рядом на тротуаре лежала сшибленная липка. Яркая и свежая в свете фонаря, листва тихо шевелилась, деревце словно продолжало жить. Улица была по-прежнему пустынной, мирно спящей, а машина сверху казалась невредимой. Если б не поверженная

липка и не безутешный вопль тормозов, все еще звучащий в ушах, я подумал бы, что авария мне приснилась.

Выйдя в коридор, я обнаружил, что забыл зашнуровать ботинок. Нагнувшись, стал завязывать шелковые, ускользающие шнурки, и тут кто-то вошел. Сперва я увидел две пары ног: голые, сильные, чуть кривоватые ноги моего друга и стройные, длинные, молодые ноги женщины. На коленях чулки были порваны, в две круглые дырки глядели ободранные в кровь колени, словно у сорванца. Но это детское не вышло с женственной прелестью нейлона, обрезанного попереху прохладным краем юбки.

Распрямясь, я будто шел по следам преступления. Светлое платье и легкая, тоже светлая кофточка были замараны кровью, где черно-засохшей, где свежей. Кровь была и на смуглых ключицах, и на шее, и на подбородке, заливала щеку, сочась из глубокого разрыва, идущего наискось от основания носа к ушной мочке. Над кровавой полосой съжившийся, будто измятый глаз тонул в желто-синем патеке. А другой глаз, исчерна-карий, блестящий от боли, был огромен и полон, как у спаниеля.

— Вот, привел... — сказал Вацлав.

— Вы извините, пожалуйста, — тоже по-русски, почти без акцента сказала девушка и улыбнулась.

Странно она улыбалась: одним глазом, одной щекой, краешком губ. Отбитая и кровоточащая половина лица утратила подвижность.

— Не я тут хозяин! — услышал я свой голос.

Зачем я это сказал? Что имел в виду? Мол, будь я хозяином, так бы вас и впустили?.. Просто я растерялся.

— Вот ванна, — говорил Вацлав. — Держите полотенце, йод, вату. Сейчас я вернусь.

Квартирный телефон не работал, позвонить в «неотложку» можно было только снизу.

— Надо же!.. — все еще продолжая замаскированно извиняться, сказала девушка. — Такое невезение!..

Она вошла в вашу комнату, оставив дверь открытой. Над умывальником висело зеркало. Девушка стояла перед ним, не смея поднять головы. Она еще на что-то надеялась. Затем резко вскинула голову — несколько капель крови сорвались со щеки на белизну умывальника — и поглядела прямо себе в лицо. Из здорового красивого глаза выкатилась маленькая быстрая слеза. В следующее мгновение девушка уже прижигала йодом мелкие ранки. Затем, раскрутив кран с холодной водой, она смыла кровь и стала мочить рассеченную щеку. Ей, видимо, не на кого рассчитывать в жизни, кроме самой себя, и потому без плача и жалких слов она деловито принялась спасать свое лицо.

— Ну, надо же!.. — Она оттяла голову от струи и снова улыбнулась половинкой лица. — А как другой? — спросила она, ощупывая пальцами вздутие виска и глазницу.

Я не понял, о ком идет речь.

— Он ведь не ушибся, правда? — допытывалась девушка.

— Он в порядке! — резко сказал за моей спиной Вацлав.

Снова пол-улыбки вспыхнуло на разбитом лице.

— Мне тоже так показалось. А вдруг он притворялся... ради меня?

— Ничего он не притворялся, — нетерпеливым, почти грубым голосом сказал Вацлав.

— Не сердитесь, — сказала девушка, — я вам тут напачкала...

— Бросьте! — буркнул Вацлав.

— Завтра я приду и все вымою.

— Хватит, а?..

— Нельзя ли... — девушка замялась. — Он, наверное, страшно беспокоится...

— Чепуха! — все с той же непонятной резкостью перебил Вацлав. — Он знает, где вы.

— Он такой деликатный... — Девушка намочила носовой платок под краном и сильно прижала к ране. — Знаете, — она

таинственно понизила голос, — он итальянский граф. Правда, правда, он мне документы показывал. Настоящий граф, а держится совсем просто... — Платок пропитался кровью, девушка выжала его и опять подставила лицо под струю.

— Может, и граф, — пожал плечами Вацлав в ответ на мой недоуменный взгляд. — Итальянец — точно... Машина обита красной кожей, паверное, граф... В галстуке булавка вот с таким брильянтом, конечно, граф. Их там в Италии хоть завались!.. — Что-то с Вацлавом происходило, он заводился с пол-оборота.

— А вы давно его знаете? — спросил я девушку.

— Мы вчера познакомились, в кино. — Она подняла голову, из здорового глаза излучалось доброе товарищеское доверие. — А сегодня он вдруг заехал за мной на работу. Хотел домой отвезти. Надо же!.. Я далеко живу, за городом. — Ей и сейчас было радостно говорить об этом.

Кровь медленно и неумолимо заполняла рану, так наливаются водой след на болоте.

— Я пойду, — сказала девушка. — Спасибо за все.

— Погодите, — сказал Вацлав. — Сейчас придет «скорая помощь».

— А еще раньше милиция!

— Милиция уже здесь.

— Тогда мне надо исчезнуть.

— С какой стати?

— А мой вид?.. Это может повредить...

— Графу?

Она кивнула.

— Он был сильно пьян?

— Ну, почему обязательно пьян? Просто устал человек...

— Так устал, что заснул за рулем?

Девушка промолчала. Она не знала, что хуже: разбить машину во сне или наяву, и боялась подвести своего спутника.

Донесся тревожный подвыв «скорой помощи», словно горластый младенец зашелся в плаче-икоте.

— Пошли, — сказал Вацлав. — А то они притащатся с носилками.

— Это еще зачем? — Девушка почти испуганно устремилась к двери, ее шатнуло, прижало к стене.

— Что со мной?.. Ноги не держат..

Вацлав крепко взял ее под руку. Мы спустились на лифте. Вокруг «мерседеса» уже успела собраться толпа. Жизнь, как плохой режиссер, обставила место происшествия нарочитыми фигурами, призванными демонстрировать, что несчастный случай произошел ночью: полосатые пижамы, болтающиеся подтяжки, кое-как запахнутые халаты, бигуди, папильотки. Времени не было одеться!.. Все немного бравировали своим неприличным видом, все, кроме Вацлава, который не замечал, что до сих пор ходит в одних трусиках.

Девушка вставала на носки, вытягивала шею, прикрывая ладонью разбитую половицу лица, она искала своего графа. Но его не было видно, то ли затерялся в толпе, то ли уже стал узником.

На другой стороне улицы, нос к носу, стояли милицейский «козел» и машина «скорой помощи». И оттуда навстречу нам сразу двинулась группа людей: трое милиционеров во главе с лейтенантом, долговязый врач «Скорой помощи», санитары с носилками. Впрочем, санитары сразу поняли, что их помощи не требуется, и вернулись к машине. Толпа развалилась, заядлые автомобилисты остались у разбитого «мерседеса», все остальные окружили нас.

— Вы пострадавшая? — сказал лейтенант, рослый, красивый, сияющий белизной краг, португеи, чехла фуражки. — Кто владелец машины?

— Разве вы сами не знаете? — осторожно спросила девушка, она по-прежнему закрывала рану рукой.

— А я хочу от вас услышать! — значительно произнес лейтенант.

Девушка колебалась, ей было стыдно перед нами, что придется врать, но боязнь за «другого» перевесила.

- Понятия не имею.
- Случайное знакомство? — особым голосом сказал лейтенант.
- Да!
- Предъявите документы.
- ... — Пусть ей сперва помогут! — крикнул Вацлав.
- Может, вы не будете меня учить? — Лейтенант насмешливо уставился на голого человека.
- Он прав, — вмешался долговязый, с красными, усталыми глазами врач «Скорой помощи». — Не валяйте дурака, лейтенант! — и девушке: — Идите!
- Пусть мне вернут мою сумочку, — сказала она. — Там, кстати, мой служебный пропуск.
- Вы где работаете? — не удержался лейтенант, сникший после отповеди врача.
- На фабрике детских игрушек, цех елочных украшений.
- Не дурачьтесь! Ваша сумочка осталась в машине.
- Знаю. Верните мне ее.
- Рады бы, да как это сделать? Ваш случайный знакомый запер машину.
- А где он? — беспомощно спросила девушка.
- Она шагнула к машине, отпугнув ротозеев, и глянула сквозь толстое чистое стекло в кроваво-красное ее путро. Маленькая кожаная сумочка лежала на переднем сиденье.
- Мы думали, вы нам подскажете, — по-доброму вздохнул лейтенант. — Он удрал.
- Хорош гусь! — с презрением сказал врач.
- Ты знал? — спросил я Вацлава.
- Я видел... когда мы с ней входили в подъезд.
- Девушка убрала руку, прикрывавшую рану. До этого деревце еще трепетало, сейчас все листья поникли. Она терпела физическую боль, смирялась с изуродованным лицом ради своего спутника, ради красивого приключения, которое он ей подарил. Они мчались вдвоем на красных сиденьях бес-

шумной машины, распарывая ночь лезвиями фар, а потом их постигла беда, что ж, бывает, это так же принадлежит жизни, как и удача. Все имело смысл и оправдание, все можно было принять почти с благодарностью: и боль, и кровь, и шрам навсегда, если бы не это низкое предательство. Он бежал, напроць забыв о ней, но, позаботившись о машине, которую завтра, трезвый, во всеоружии лжи, без труда получит назад.

Она заговорила незнакомым, уличным голосом:

— Плевать я на все хотела, мне чтоб сумка была!

Кто-то из автолюбителей раздобыл проволочную петельку. Он просунул петельку в щель между рамкой ветрового стекла и резиновой прокладкой и освободил защелку. Теперь ничего не стоило дотянуться до дверной ручки.

Девушка взяла сумочку и заглянула в нее.

— Спасибо хоть деньги целы!.. Пошли, док!..

Она снова боролась за себя, маленький, стойкий солдатик! Но раньше она спасала лицо, а сейчас душу. Лучше уйти отчаянной, циничной, пропащей, только не жалкой.

...Мы опять одни в большой, пустынной квартире. Что-то прихлынуло и отступило, не оставив по себе следа, лишь два-три пятнышка крови на умывальнике и кафельном полу ванной да тающий, чуть различимый запах духов.

— Давай выпьем сливовицы, — предложил Вацлав, — у меня, кажется, осталась бутылочка...

В четвертом часу ночи, когда мы бросили в мусоропровод пустую бутылку и она покатилась по этажам, грохоча как горный обвал, Вацлав вдруг заговорил:

— Черт, пенявижу, когда в человеке убивают праздник!.. Ты видел ее спину?.. Черт!.. Веришь, мне хотелось броситься к ее бедным, разбитым ногам и орать: «Постойте!.. Не все пропало. Я, конечно, не граф, я репортер, но вы мне прекрасны!»

Сливовица тут была ни при чем — я это сразу понял, — просто он впервые перешагнул запретную грань.

Прага

Историческая тумба

В воскресенье нас повезли на экскурсию в Злату Прагу. В большой, комфортабельный автобус набились празднично разодетые, взволнованные, напряженно острящие язвешники, почечники, больные нарушением жирового обмена и воспалением желчного пузыря. Радовало и предстоящее знакомство с чешской столицей и то, что в этот необычный день нам будут прощены болезни, как грехи на исповеди. Мы пообедаем в ресторане, и каждый закажет себе что хочет: хоть жирное, хоть мучное, хоть жареное под острым соусом да еще сдобренное вином или пивом. В нашем разгоряченном воображении возникали шипящие бифштексы и отбивные, антрекоты и шницели, зло наперченный гуляш и сытнейший суп с клецками, пирожное с невесомым желтым заварным кремом и пломбир с рассыпчатым печеньем, терпковатое, типа мозельского, белое вино и тринадцатиградусное, горькое, ледяное смиховское пиво. Но друг перед другом мы, конечно, делали вид, что интересуемся лишь Национальным музеем, собором Святого Стефана, Пантеоном, Карловым мостом и, чтоб не выглядеть совсем лицемерами, милой экзотикой пражских улиц в виде горячих шпикачек — их жарят прямо на ваших глазах и, густо смазав сладковатой горчицей, закладывают в белую булку с хрустящей корочкой.

Быстро промелькнула дорога, перелистав, словно альбом с открытками, аккуратные чешские ландшафты. Увитые нежно-зеленым хмелем столбы успокоительно напомнили, что от чешского пива так не толстеешь, как от баварского, которое варится на солоде.

В Прагу мы приехали к обеденному часу. Немного побродив по центру города и полюбовавшись монументальным зданием Национального музея, мы отправились в ресторан. Ни фагтасмагория лукулловых пиров, ни раблезианское об-

жорство, ни чревоугодие Ламме Гудзака, ни безумие масляной, жирно воспетое Яном Саксом, не могли сравниться в гастрономическом неистовстве с нашим бессильным рвением...

А затем была экскурсия по городу. Сперва мы бродили по центральным улицам, сплошь заставленным строительными лесами. Мы проходили под навесами, предохраняющими головы пешеходов от незапланированного падения кирпича или гранитной плиты. Иногда нам удавалось сделать несколько шагов по тротуару, но чаще мы шли по мостовой или деревянным настилам, ибо тротуары были завалены досками, кирпичами, ящиками с известкой и мелом, пакетами с краской. Едко пахло и чуть пощипывало в носу, как в квартире во время ремонта. На редкость дружно подновлялась чешская столица! Кто-то пошутил: «Как же красив был этот город до землетрясения».

Затем мы отделились от центра и попали в красивый сквер, уступами взбирающийся вверх. Здесь на каждой скамейке целовались парочки, рядом играли дети и судачили старые женщины. И чем выше, тем жарче объятие, и задумчивей лица детей, и острее косые взгляды старух, и гид круто повернул назад, так и не доведя нас до вершины.

Мы соскользнули вниз и, покрутившись по горбатым, бульжным улочкам, оказались возле реки. И был Карлов мост с каменными, будто вымазанными сажей, величавыми статуями на перилах, и прозрачная, раздольная Влтава под ним, и челноки рыболовов, удвоенные своим отражением, причем казалось, что настоящий челнок плавает кверху дном в спокойной — ни шелоха — чистой, светлой воде, а его отражение струится в мареве горячего воздуха.

И была складская, чуть плесневелая прохлада собора Св. Стефана, хотя его никогда не превращали в картофелехранилище, — высокий сумрак, обнесенный ярко-алым, иссиня-синим, червонно-золотым глухим сверканием витражей. И была нежная церковь Св. Лоретты, где, погруженное

в собственный нестерпимый блеск, покоится «золотое солнце» — гордость пражан. И была восхитительная крутизна и кривизна Градчан, вдруг разом, за каким-то поворотом, выдающих тебя в ту самую улочку средневекового городка, где некогда исходил мощью и паром чешский Голем и пекарь посрамил короля.

Ждали нас и другие чудеса, но мы начали стремительно скисать, как молоко, которое забыли вынести в погреб. Изобильный обед тяжело лег на желудок, и усыпленные святой карловарской водичкой недуги угрожающе пробудились...

Все развилось, расстроилось в наших бедных организмах. Так разваливаются старые, давно не обновлявшиеся спектакли: актеры утрачивают связь друг с другом, невпопад бросают реплики, перевирают текст, фальшивят в каждом слове и жесте. Жара усугубляла наше скверное самочувствие. Солнце давило на плечи, пекло затылки, выгоняло из всех пор выпитое за обедом. Бледные, мокрые, тяжело дышащие, мы уже не способны были радоваться Градчанам. Недомогание заставляло нас уходить внутрь себя, как уходит улитка в свой домик. Что нам до этого собора со всеми его башнями и шпилями, благородным ажуром стен, опирающих свою грандиозную бесплотность о стройные контрфорсы, и до этого барочного дворца с грудастыми кариатидами в мраморных венках, и до этого плоского, без оконных проемов, терпко пахнущего стариной домика под черной, как конь, черепицей, когда в каждом из нас зреют грозные тайны недугов!..

Наш гид, полный, рано обрюзгший молодой человек, с бледно-розовым лицом, обильно потеющим в глубоких морщинах лба и под очками, у основания носа, почувствовал, что мы исчезаем, оставаясь телесно возле него. Великий любитель светлого пива и жареной хрустящей картошки, он не пропускал ни одного пивного ларька и не расставался с целлофановым кулечком, распространившим запах чуть прогорк-

лого масла. В начале маршрута мы досаждали ему настыр-ной любознательностью: что да как, да кто, да когда, да поче-му?.. О каждом здании его допрашивали так придирчиво, будто хотели это здание приобрести. Гид не понимал, зачем нам все это нужно. Больных людей выпустили порезвиться, ну, и пользуйтесь жизнью, ходите, любуйтесь, пропуска-кая мимо ушей торопливые пояснения, — гид охотней про-сто помолчал бы, да ведь не за молчание ему деньги платят, — угощайтесь пивком и тонкими лепестками жареной карто-шечки, словом, отдыхайте, ничем себя не заботя. Так нет же! Кто построил? Когда построил? Зачем построил? Голова шла кругом!.. Гид знал, что в группе равно не было ни строите-лей, ни служителей культа, так какого ж черта приходиться в раж при виде каждой церквушки!..

Но теперешнее равнодушие тоже не устраивало гида. Как-никак он был добрый пражанин, и, встречая в ответ на свои разглагольствования тусклый, рыбий взгляд недавних ревнителю старины, он страдал. Гид попробовал разжечь потухший костер. Он прокашлялся, налил голос металлом, а пояснения — вдохновенной выдумкой. Все здания дружно постарели и обрели особую архитектурную ценность, у каж-дого оказалась необыкновенная историческая судьба, со мно-гими связались загадочные истории — «можно рассказать, если группа настаивает». Но никто не настаивал.

В конце концов он выдохся, иссяк и замолчал. Выпив в огорченной рассеянности темного пива, он вконец пал духом и безнадежно остановился на углу какого-то перекрестка. Вокруг был прекрасный отвергнутый город, в тусклом, слов-но придымленном небе неистовствовало солнце, тяжелым жаром дышал поплывший асфальт, и полному молодому че-ловеку стало смертельно жаль себя, усталого, мокрого, обре-ченного ломиться в глухое равнодушие озабоченных лишь своим недомоганием людей. Он сказал, насмехаясь не над нами, а над собой, над собственным бессилием: «А вои к той

тумбе Швейк водил собак на прогулку», и вялым жестом показал через дорогу.

Не успел он оглянуться, как полумертвая аморфная человечья масса за его спиной обрела жизнь и движение. В обгон друг друга ринулись через дорогу язвенники, желудочники, «каменосцы», толстяки и дистрофики. Сейчас никто из нас не помнил о своих изъянах. Впивались в асфальт протекторами шин, круто тормозя, машины и мотоциклы, осадил першерона краснолицый возчик, смачно выругался вожатый трамвая, а мы оголтело мчались к заветной тумбе. И вот она перед нами, трогай, гладь ладонями шершавое каменное тело, любуйся исцербленными гранями в темных потеках от недавних собачьих визитов и нежно вспоминай румяную рожу бравого солдата, быть может стоявшего на том же самом месте, где сейчас стоишь ты.

Вот теперь нашему gidу не на что было жаловаться, он даже как-то сник перед бурей, которую непароком вызвал.

А у меня ком застрял в гортле. Никогда еще не гордился я так своим цехом. Ведь не было никакого Швейка — пусть ныне и отыскался далекий его прототип, — значит, и тумба — мнимость. Но даже будь все это правдой, несть числа солдатам-балагурам, как несть числа тумбам — собачьим станциям, кого это волнует? Но стоило людям услышать, что к этой вот ничем не примечательной тумбе водил собак придуманный Гашеком бравый солдат Швейк, как их овеяло сопричастностью к чуду. Воображение самого грустного весельчака наделило вымысел столь полной и сильной жизнью, что он стал весомей, реальней, зримей прекрасных зданий, старинных храмов, искусных творений человеческих рук из гранита, мрамора, бронзы. Поистине «ёмче органа и звонче бубна» слово, крепче, выносливей металла и камня слово, да и творцу всего сущего предшествовало слово!..

Прага

Зачем мне такая жена?..

Она резко отличалась от всех официанток санаторной столовой: маленькая, чернявая, по-цыгански смуглая, на крепких, коротких ножках. Все остальные отражали вкус нового метр-дотеля, борцового сложения, зафраченного молодца с гулкой пластроновой грудью и зеркально набриолиненной головой: девушки, как на подбор, были высокими длинноногими блондинками с долгим телом и осиной талией. Некоторые из них работали прежде в маленьких барах, раскиданных по кручам окружающих городок зеленых гор. Большинство же пришло сюда прямо со школьной скамьи, они не обладали ни опытом, ни умением, зато цветущий вид, гладкий золотистый загар и персиковые щеки должны были, по мнению метр-дотеля, способствовать бурному выделению желудочного сока даже у больных с нулевой кислотностью. И не беда, если иная что-то прольет, уронит, окунет перламутровый ноготь в суп, перепутает блюда. В последнем зафраченный красавец заблуждался: больные были очень чувствительны ко всему, что касалось диеты. И, съев бифштекс по-гамбургски или наперченое харчо, какой-нибудь язвенник, приписанный к «восьмому столу»: только вареное, ничего острого, — возмущенно жаловался сестре-хозяйке, что его накормили не по правилам и теперь ему будет худо. Случалось, правда, больной сразу указывал официантке на ошибку, но обычно он закатывал скандал, уже разделавшись с запретным блюдом. Сестра-хозяйка призывала провинившуюся к ответу, бранила, стыдила, иногда штрафовала.

В огромном помещении столовой то и дело вспыхивали очажки раздора — больные и сестра-хозяйка воевали с рассеянными и неловкими красавицами. Девушки сохраняли место лишь благодаря стойкой вере метр-дотеля в спасительное воздействие красоты.

Даже официантки, некогда работавшие в барах, здесь не справлялись. Одно дело подать кружку пива, кинув под донце картошный кружок с надписью «Пльзень», другое — таскать огромные подносы со всевозможными блюдами да еще помнить, кому что положено.

В бурном море столовой приметно и страшно выглядел затишек, где хозяйничала маленькая Милена. Колобком каталась она на своих коротких, крепких ножках и, не заглядывая в листки персональных меню, подавала каждому, что он заказывал. И никогда она ничего не уронила, не пролила, не разбила! Возможно, потому и мирился скрепя сердце зафроченный властелин столовой, что в стаю его лебедей затесался галчонок. Лебеди были менее снисходительны, они свирепо злились на свою ловкую, памятьливую подругу.

Простая и легкая душа, Милена пыталась им помочь. Она показывала, как надо размещать тарелки и судки на подносе, в какой последовательности снимать, удерживая равновесие, как балансировать подносом, чтобы не утратить центр тяжести.

— Как почуяла перевес, наклони кисть в ту же сторону, а поднос чуть опусти, затем — плавно вверх, — объясняла Милена.

Она подымала на ладони тесно заставленный разнокалиберной посудой поднос и скользила между пустыми столиками, слегка приседая при поворотах. Поднос то взлетал ввысь на ее согнутой в локте руке, то плавно опускался, оставаясь параллельным полу. Она снимала с него тарелки, словно не заботясь о смещении центра тяжести, на самом же деле меняя наклон ладони и тем сохраняя равновесие.

Девушки пробовали ей подражать, и тарелки с грохотом летели на пол. И все же эти предметные уроки приносили какую-то пользу, куда хуже обстояло с другим: почему Милена никогда не путает, кому что подавать?

— А как же можно спутать? — удивлялась Милена. — Это ж во вред больным!

— Неужто мы хотим навредить? — обиженно говорили девушки. — Да разве всех запомнишь?

— А то нет? — еще сильнее удивлялась Милена. — На каждую из нас приходится всего по шесть-семь столиков, чего ж тут запоминать?

Девушкам стало казаться, что Милена их обманывает, она знает какие-то секреты, но держит их про себя. Они пожаловались ее мужу Франтишеку, который каждый день приезжал за Миленой после работы на мотоцикле. Крупной кости, весь закованный в черную кожу, на тарахтящей, стреляющей голубым вонючим дымом «Яве», Франтишек производил грозное впечатление. Под кожаной курткой, чуть пониже грудобрюшной преграды, у Франтишека намечалось приметное утолщение, так называемое пивное брюхо, которое к старости становится что твоя бочка. Франтишек выпивал в будний день от пятнадцати до двадцати кружек светлого пива, по воскресеньям — до тридцати. Он был человеком порядка и уважал свои привычки. Он уже начал уважать и свое все растущее брюшко, хотя оно портило его статную фигуру да и работать мешало, Франтишек трудился на руднике. Он уважал свою жизнь: рудник, товарищей, стадион, где он метал молот, свой дом и маленькую жену, зная, что многим она кажется невзрачной, ему не под пару. Это был простой, цельный, справедливый человек, с которым так приятно и надежно иметь дело в жизни и так скучно встречаться на страницах книг и экранах кино.

Когда официантка пожаловалась на Милену, Франтишек сильно огорчился, хотя и не подал виду. «Разберемся!» — буркнул он коротко. Работяга, передовик, любимец товарищей, Франтишек, полагал, что и у жены его безупречная репутация на работе. И вот: подруги ею недовольны, она выставляется!..

Вышла Милена в черной вязаной кофте и черной короткой юбке. Перекинув через седло ногу, уселась позади мужа,

крепко взяв его за куртку маленькими сильными руками. Мотоцикл рванулся с места, юбка задралась, высоко открыв смуглые ноги Милены с круглыми, гладкими, перламутрово отблескивающими коленями. На ветру отлетели со лба темные волосы, движение натянуло ей профиль, обозначив его чистой, тугой линией...

Выехав за городскую черту — их дом стоял на полпути между городом и рудником, — Франтишек остановил мотоцикл и повел с женой внушительный, хотя и спокойный разговор. Она ничего не могла ему объяснить. «Может, у тебя стаж больше?» — допытывался Франтишек. «Подумаешь, месяца на два!» — «Все-таки!.. Так поделись с ними опытом», — рассудительно говорил Франтишек. «Пробовала, что-то он не делится!» — «Девчата говорят, ты выступаешься», — Франтишек с трудом произнес оскорбительное слово. «Ей-богу, Франта, я не выступаюсь, работаю, и все... Может, просто чуть повнимательней», — добавила она задумчиво, словно ей впервые пришло на ум, почему в самом деле у нее получается лучше, чем у других. «Ты подумай о себе, — посоветовал Франтишек. — Ведь коллектив не бывает не прав». Высказав эту общую и бесспорную в своей банальности мысль, он решил, что выполнил долг главы семьи, и они вновь понеслись в прохладный сумрак ущелья...

Конечно, разговор ничего не изменил ни в поведении Милены, ни в отношении к ней подруг. Не могла же она в угоду им ронять тарелки или подавать генералу с холециститом баранью отбивную, а певице с нарушенным жировым обменом — кнедлики. Франтишек понимал, что разговор оказался без толка, и молча страдал.

Но вскоре Милена почувствовала приближение материнства и, оставив столовую, перешла на легкую работу при колоннаде. Здесь, неподалеку от самого популярного «Мельничного» источника, находилось хранилище кружек, из которых большие пили целебную воду. Пронумерованные кружки сто-

яли на полках, похожих на книжные стеллажи. Большой протягивал в окошко круглый жетон с номером и получал свою кружку. Выпив воды, возвращал кружку и получал назад жетон. Выдать, принять да еще ополоснуть кружки в часы полуденного затишья — вот и вся забота Милены. После тяжелого, утомительного труда в столовой это казалось игрой. Даже совестно было брать зарплату, почти равную той, какую получает официантка.

Теперь Франтишек пригонял своего бензинового конька к колоннаде. Ему здесь нравилось: гуляли красиво одетые, веселые и беспечные, несмотря на свои хвори, люди; было много девушек с двухцветными модными волосами, в коротких, выше колен, юбочках; по субботам и воскресеньям играла музыка, оркестр помещался в раковине под сводом колоннады, а дирижер — в окне дома напротив. Очередь возникала и таяла у продолговатого открытого окна, где мелькали смуглые руки Милены и полные, розовые, в веснушках руки ее напарницы. Другая очередь двумя ручейками стекалась к «Мельничному» источнику, девушки в белых косыпках наполняли кружки из двух кранов. Франтишека радовал порядок, тихая благопристойность этого зрелища.

Он был жестоко огорчен, когда в один недобрый день услышал жалобы на Милену. Жаловалась напарница жены, а девушки из второй смены ее поддерживали.

— Уйми свою жену, Франтишек, чего она выставляется? Ордена ей все равно не дадут.

— Чего она набедокурила?

— Мы кружки по номеркам выдаем, а она глянет на клиента и сразу сует ему кружку.

— Нехорошо! — укорил жену Франтишек. — Ты же можешь спутать кружку.

— Да не путает она, чтоб ей пусто было! Пока мы с одним возимся, она пятерых обслужит. Конечно, нас все ругают!..

Франтишек оглядел бесконечные стеллажи, уставленные носатыми фарфоровыми кружками: сплошь белые и белые с

рисунком, синие с золотом, желтые с орнаментом и красные с гербом города, большие и маленькие, плоские и пузатые, и ему стало как-то не по себе.

— Сколько их у вас? — спросил он.

— Тысяча четыреста шестьдесят две.

— Выходит, — страшным, напряженным голосом обратился Франтишек к жене, — ты помнишь по номерам полторы тысячи кружек?

— Н-нет... — растерянное выражение появилось в темпокарих глазах Милены. — Я людей помню... Ну да!.. — обрадовалась она, видимо поняв про себя что-то. — Раз-другой выдашь кружку и уже помнишь: у этого синия с ободочком, у того — белая с отбитым носиком...

— Но есть же одинаковые кружки!..

— Совсем одинаковых не бывает, а потом я помню, куда их ставлю. — Снова на лице ее мелькнула растерянность. — Да чего ты пристал ко мне? — рассердилась она. — Работаю как могу, никто не жалуется!

— Зато на них жалуются! — молочное лицо Франтишека пошло клюквенным румянцем. — Опять ты выставляешься!

И тут ему вспомнились малые странности, уже случавшиеся в их жизни, о которых он то ли забыл, то ли постарался забыть. Он разлюбил шашки и бросил играть в карты, потому что неизменно проигрывал Милене во все игры. И когда только успела она научиться шашкам и покеру, кун-куну и бриджу? Просто смотрела, как он играет с товарищами. А потом в недобрый час он предложил ей сразиться и в два счета оказался на лопатках. Он пробовал отыгаться, не тут-то было. С рассеянным, отсутствующим видом, то и дело отлучаясь в кухню по домашним нуждам, она обыгрывала его раз за разом. Доведенный до отчаяния, он стал жульничать. Она приходила с кухни и, ничего не замечая, выигрывала очередную партию. И сейчас Франтишек понял, что при странном устройстве своей головы Милена не могла не замечать его

жульнических проделок, но не считалась с этим, уверяющая, что все равно выиграет. Он был унижен. Ему захотелось вскочить на мотоцикл и умчаться навсегда. Но она ждала ребенка. Ответственность за будущую жизнь заставила Франтишека подавить чувство стыда. Он поступил наилучшим образом: добился у начальства жены, чтобы ее перевели к источнику; здесь уж, как ни выставляйся, кружка быстрее не наполнится.

Жизнь Франтишека и Милены вошла в берега. В положенный срок Милена ушла в отпуск и родила отличного сына; а Франтишек, не оставляя работы, поступил в вечернюю школу. Он хотел, чтоб у его сына отец был с высшим образованием! Имя Франтишека попало на страницы газеты: ведь это не просто, черт возьми, так крепко работать, метать молот дальше всех в области и еще учиться! Франтишек тихо блаженствовал. Он не посягал на владения Милены: никогда не лез, как другие мужчины, в кухню, не совал носа в холодильник или духовку, не вмешивался в хозяйственные распоряжения жены. Но он по праву считал себя главой семьи, кормильцем и поильцем, поскольку зарабатывал всегда много больше Милены, и хотел в семейном согласии выступать на полшага впереди. Так оно и бывало обычно, пока Милена не начинала выставляться. Но сейчас, похоже, с этим было покончено.

Лишь однажды на безмятежные небеса набежало темное облачко. К этому времени Милена уже работала продавщицей в магазине «Тузекс», где торговля идет на валюту и боны. Заехав вечером за женой, Франтишек услышал, как, обслуживая двух угольно-черных, баскетбольного роста, преувеличенно элегантных негритянских юношей, Милена лопочет на каком-то непонятном языке. Негры улыбались, обнажая белые зубы за толстыми чернильными губами. Франтишек, как и полагается жителю международного курорта, знал звучание многих языков, он сразу понял, что лепет Милены не имеет отношения ни к немецкому, ни к английскому, ни к

одному из романских или славянских языков. Сомнений не было, Милена притворялась, будто болтает по-африкански, а негры смеялись над ней. У Франтишека налились кулаки. Пусть в груди у него билось сердце интернационалиста, пусть Милена сама виновата, не надо так глупо выставляться, никому не позволено смеяться над его женой. Он уже шагнул к прилавку, но тут один из негров что-то сказал Милене, она ответила с таким неприпущенным, самоуверенным видом, что плюнуть захотелось, и вручила неграм большой пакет. Они благодарно поцеловали ей руку своими толстыми черпильными губами и вышли.

— Что за тарабарщину ты несла? — спросил Франтишек.

— Никакая не «тарабарщина», это суахили, — спокойно пояснила Милена.

— Что-о?!

— Суахили, язык черной Африки.

— Ты хочешь сказать, что владеешь суахили?

— Немного.

— Откуда ты знаешь язык? Вас что — обучают суахили?

И опять растерянное, почти жалкое выражение появилось в глазах Милены.

— Нет... Сюда часто заходят негры... видно, на слух...

— Ты, наверное, плохо говоришь, лучше тебе не срамиться, — посоветовал Франтишек.

Милена покорно наклонила голову.

Все же Франтишек решил посоветоваться с врачом насчет Милениных странностей. Врач успокоил его: природа в необъяснимой щедрости порой наделяет самого заурядного человека феноменальной бессознательной памятью, никак не соотносящейся с другими способностями...

Франтишек успокоился. Теперь он слегка подшучивал над курьезным свойством жены запоминать все без разбору. Он хорошо сдал экзамены за девятый класс, далеко метнул молот, и о нем снова написали в газетах. Словом, он уверенно шел в семейном согласии на полшага впереди...

Последний раз я виделся с Франтишекком нынешним летом в пивном зале «Орион». Я зашел туда тягостно жарким днем выпить лимонного сока и сразу наткнулся на него. Он раздобрел, и пивное брюхо его стало куда законченней по рисунку, а белое, молочное лицо застыло в безысходной мрачности. На столике перед ним стояла недопитая кружка и высилась горка картошных кружочков, Франтишек явно распространил воскресные обычаи на будние дни. Он, конечно, узнал меня, но не выразил даже той чисто вежливой радости, какая полагалась по нашему многолетнему знакомству. Разговор не клеился. Лишь когда я согласился выпить с ним пива — местное пиво считается полезным для желудочных больных, ибо варится на целебной воде шпруделя, — Франтишек чуть отмяк. Вскоре, увлекшись, я перешел ту норму, что считается полезной, и Франтишек вернул мне свое былое доверие. У него неблагополучно в семейной жизни, треть его дня он застал жену... за учебниками.

— Хорошо ли это?.. — бормотал он, окуная губы в пиво и не стирая с них пену. — Сидит себе и задачки решает, а?..

Я сказал, что не вижу тут ничего плохого.

— Вот и она так говорит, — нудил Франтишек. — Муж работает, молот кидает, в вечернюю школу ходит, смертельно устает... А для чего, а?.. Для семьи все, для семьи старается, бедняга, для жены и ребенка!.. Пойми, друг, я алгебру учу... А плюс В... голова трещит, всякие сны снятся... Обо мне в газетах пишут... — Он порылся в кармане спецовки и сунул мне смятую, захватанную газетную вырезку. — А она вон говорит, что от нечего делать задачки решала. Меня, мол, все нет и нет, а ей скучно!..

— Да что ж тут плохого, Господи?! — вскричал я.

— Знаешь, какие она задачки решала? — понизил голос Франтишек и затравленно огляделся. — Она решала задачки на ин... — голос его споткнулся. — На инте... — спазма пе-

рехватила ему горло. Он потер его рукой, отпил из кружки, достал носовой платок и крепко высморкался. Затем, словно боясь, что ему опять прервет дыхание, выпалил: — На интегралы, чтоб я сдох!..

Я молчал. Да и чем можно помочь простому, дюжинному человеку, обреченному жить с гением?..

Карловы Вары

Дети не должны знать

О, как трудно застать кого-нибудь в Риме! Уже давно кончились летние кашикулы и погас бархатный сезон на побережье, а древний город никак не соберет своих птенцов под крыло. Кому ни позвонишь: в Калабрии... в Падуе... где-то под Туринном... в Сицилии... Наконец, я наткнулся на молодых супругов-журналистов, с которыми подружился еще в Москве. Они назначили мне свидание в «Сапожке» — так называли мои друзья пивной бар близ виа Корсо. Здесь пиво подают в стеклянных сапожках: большом и маленьком. Прелесть питья из стеклянного сапожка состоит в том, что пиво смачно, аппетитно булькает, возвращаясь после доброго глотка из голенища в головку. Над повичком принято было подшучивать: ему говорили, что сапожок следует держать носком от себя. В этом случае, когда сапожок отымался от губ, жидкость возвращалась в носок с таким мощным, звучным всплеском, что новичок вздрагивал и проливал пиво на брюки. Поскольку я уже уплатил дань первопосещения «Сапожка», мы перешли сразу к делу. Оказалось, сын Чечиони не просто обитает в горах, а скрывается там от мирского шума и суеты. Он нечто вроде отшельника, к тому же из секты молчунов. Чечиони-младший почти не раскрывает рта, он давно

уже объявил, что никогда, ни под каким видом не будет высказываться об экспедициях, в которых участвовал отец.

Я так огорчился, что повернул сапожок носком вперед, и, звонко екнув, пиво рванулось из голенища на мраморную крышку стола, а оттуда мне на колени...

Мои друзья еще пережевывали неудачу с сыном легендарного механика, а я, весь в пене, как Афродита, возникающая из пучины морской, вытирался салфеткой, когда мимо нас, впритирку к столикам, вынесенным на тротуар, пропущенная встречный грузовичок, прополз черный «мерседес». Он держал путь в сторону площади Венеции. Рядом с шофером, откинув прекрасную седую голову на спинку сиденья и прикрыв глаза, дремал мой любимый киноактер В. Красный сафьян обивки хорошо оттенял чистую седину густых, мягких, слегка волнистых волос, окрашивал румянцем прикипшую к нему щеку, а другая щека удивляла своей неживой бледностью. И таким вдруг бедным, смертельно, безысходно-усталым показалось мне это прославленное, излюбленное миллионами поклонниц лицо!..

Лишь когда машина прошла, я каким-то обратным зрением обнаружил, что В. был в пижаме, в полосатой байковой пижаме на людной улице в центре города.

Я с недоумением посмотрел на моих друзей. Да, да, это действительно знаменитый актер В., подтвердили они, в байковой пижаме, середь бела дня, все правильно, у тебя нет галлюцинаций. И они поведали мне горестную, истинно итальянскую и отнюдь не редкую историю. Они говорили все вместе, взапуски, бесцеремонно перебивая друг друга, уснащая свой рассказ многочисленными подробностями, подлинными и мнимыми, изобретенными тут же на месте, и все более пряными, броскими, по мере того как перед нами рос стеклянных сапожков ряд. Я передаю эту историю в очищенном, что ли, суммированном виде...

— Проспись! Ну, проспись же! — Молодая женщина что есть силы колотит кулаками мужа по большой спящей спине.

Каждый день повторяется одно и то же: он так и не научился рано вставать. Сын пьемонтского крестьянина, он взял от своего успеха, славы, от всего завоеванного яростным усилием щедро одаренной натуры лишь одну выгоду: поздно вставать. Он говорил, что мальчиком всегда недосыпал. Добившись признания, он стал выдвигать продюсерам неременное условие: никаких ранних съемок.

Молодая женщина с нежностью и состраданием смотрит на спящего человека. Он нечеловечески много работает: снимается, ставит пьесы в театре, ведет детскую телевизионную передачу, заседает в различных комитетах и все время против чего-то протестует. Он заслужил эту малую награду — спокойный, долгий утренний сон до пробуждения, которое придет само, возникнет в нем как радостное возвращение к яви, к желанному напряжению дневной жизни. Но ничего не поделаешь, надо будить. Она молотит его по спине, крепкой, загорелой, присыпанной темными веснушками в стыке с шеей, трясет его за плечо, звучно бьет открытой ладонью, но все тщетно, и она начинает щипаться. Она защемляет его кожу кончиками узких пальцев и делает короткое ввищивающее движение. Боль проникает в бездонную глубину его сна. Вначале он лишь вздрагивает, постанывает, потом начинает ругаться. Вежливый каждым волокном своего мягкого, деликатного существа, он ругается как матрос. Он скрежет зубами: «Дрянь!.. Мразь!.. Шлюха!..»

Но это еще не пробуждение, он может в любой миг юркнуть назад в сон, и она продолжает свою жестокую экзекуцию. «Проклятая тварь! Дерьмо!..» В нем кричит не боль, а мучительное желание сохранить сон, но она знает, что в какое-то мгновение он проснется, услышит себя и будет жестоко казнить своей грубостью. Но она должна быть непреклонной.

Воспитанный в строжайших правилах домостроя, он не простит ей своего опоздания, до последнего дня не простит, если откроется столь долго и тщательно хранимая тайна...

На этот раз он выдерживает даже щипки, и лишь стакан ледяной воды, вылитый на согревшееся во сне тело, заставляет его вскочить. Мольба о прощении выливается из последнего сердито-беспомощного ругательства.

Едва взглянув на часы, он понял, что опаздывает. Нечего и думать о том, чтобы сделать гимнастику, принять душ, он даже одеться не успеет. И, чувствуя несвежесть рта, вялость суставов и мышц, влажное, слабое, вяжущее ночное тепло в непроснувшемся теле, он, как был, в пижаме, устремился к двери. Он сбежал по лестнице, мимо удивленного швейцара выскочил на улицу, тихую, пустынную, накрытую густой тенью буков, и упал на сафьяновое сиденье машины. Задохнувшись от бега, он лишь молча махнул рукой шоферу: гони!.. Да тот и сам понимал, что времени в обрез, и рванул с места, словно сидел за рулем гоночной машины, а не добропорядочного «мерседеса».

Привычно мелькали улицы, «мерседес» с ходу врезался в толпу пешеходов на мостовой, но, как и обычно, все оборачивалось лишь чьим-то испуганным вскриком, проклятьем, шорохом одежды и щелчком пуговиц по лакированному борту, и впереди возникал просвет, и машина алчно пожирала его, чтобы вновь, на перекрестке, ворваться в мельтешащее человечье месиво. Промелькнула, как всегда оскорбив зрение, гигантская белая пишущая машинка — огромный, до слез челепый и неуместный в Риме памятник королю Виктору-Эммануилу, и вот уже они на виа Кавура, и «мерседес», взрыдав тормозами, прочно стал у знакомого подъезда с кариатидами.

Он вихрем взлетел по лестнице, отпер своим старым ключом входную дверь, в два скачка перемахнул прихожую, ворвался в спальню и юркнул в постель под бок темноволосой,

черноглазой женщине. Анна накинулась на него с упреками: неужели пельзя приходите хоть на десять минут раньше? Она вконец изолгалась, чтобы скрыть его отсутствие. Он не успел ответить, дверь распахнулась, и стройное, смуглое, длинноногое, неуклюже-грациозное, застенчивое и ликующее чудо кинулось к нему с криком: «Сошная тетеря!.. Сошная тетеря!»

Как мило и странно слились в ней строгая черная красота матери и его губастая светлоглазая мягкость! Еще щенок, увалень, скорее мальчик, чем девочка, она уже несла в себе тайну женского очарования, до сих пор не погасшего в ее матери. Преисполненный благодарности к Анне, сотворившей это прелестное, радостное существо, он поцеловал ее в плечо. И, смутившись, тут же попросил прощения у своей бывшей, но навсегда единственно законной жены. Она ласково, понимающе улыбнулась ему...

А потом был веселый завтрак втроем и рассказы дочери о школе — она талантливо копировала учителей, а он показывал, как читал бы стихотворение о козленке поэт-битник, сошный монах, крестьянин с флюсом и солдат-новобранец из глубокой провинции. Спать ему уже не хотелось, он от души наслаждался вкусным кофе и гречками, легким смехом дочери, всей милой, заурядной добропорядочностью семейного ритуала и не мог понять, почему Анна все время толкает его ногой под стол. И так же не мог понять, почему девочку поспешно, не обращая внимания на ее протестующие вопли, извлекли из-за стола и отправили в школу, хотя по болезни учителя занятия в этот день начинались на полтора часа позже.

Едва за дочерью захлопнулась дверь, Анна принялась кричать:

— Ты совсем отупел!.. Я отбила пальцы о твою костлявую ногу!..

— О чем ты?..

— Ты безбожно опаздываешь!.. Хочешь, чтоб Лиззи устроила мне скандал?..

— Да... да... — пробормотал он благодарно и смущенно и уже через минуту мчался домой на виа Корсо.

Им не везло со светофорами, и, когда он ворвался в спальню, глаза у Лиззи были большими, черными, блестящими от ярости.

— Черт знает что!.. Неужели Анна не могла прогнать тебя раньше?

— Я сам виноват, заговорился с дочерью, — смиренно ответил он, вытягиваясь под одеялом и погружаясь в привычную стихию запахов, прикосновений и тепла.

И сразу распахнулась дверь, и на руках няньки вплыла в чем-то красном, воздушном, кружевном его маленькая дочь и, рванувшись из мускулистых, загорелых рук красавицы сицилианки, с самозабвенным смехом нырнула в постель между отцом и матерью, словно между двумя рифами. Малышке было всего два с половиной года, но она уже все понимала, и попробуй отец не оказаться на положенном месте!..

— Мы видели его на перегоне от нынешней семьи к бывшей, — так закончился коллективный рассказ, — и он по обыкновению опаздывал...

— Что ж, — сказал я бывалым тоном практического мудреца, — это обременительно, но все же не смертельно.

Конечно, согласились друзья. Смертельно другое. Измученный этой двойной жизнью и вечными недосыпами, спешкой и риском в какой-то миг слабости разрушить хрупкое здание из лжи, любви и ханжеской благопристойности, он выплакался на груди милой, скромной статисточки, снимавшейся в массовке. Она напомнила ему пьемонтских подруг его юности: та же свежесть, чистота, запах скошенного луга и парного молока. Сейчас она ждет ребенка и ко всему еще обитает в предместье Рима...

Рим

Улыбка Джоконды

Степдаль утверждал, что Рим можно осматривать двумя способами: «1) можно изучать все, что есть интересного в одном квартале, и затем переходить к другому; 2) или же каждое утро искать тот род красоты, к которому чувствуешь влечение, вставая поутру». Я нашел третий способ ознакомления с Вечным городом, недоступный Степдалю. Я ориентировался по большим желтым стрелам с надписью: «Унико». По какому-то страшному заблуждению ума я отождествлял слово «унико» со словом «антико», причем сыграло роль не только созвучие этих слов, но и то понятие «уникальный», которое я вычитал в слове «унико», отсюда рукой подать до «особой ценности», а что может быть ценнее античных развалин? Я шел по стрелам, перебегая с опасностью для жизни улицы и площади, пронизанные ужасающим по быстроте и хаотичности, каким-то «клиническим» движением автомобилей, и выходил то к Колизею, то к термам Каракаллы, то к арке Траяна, то к Форуму, то к остаткам жилья древних римлян, где еще велись раскопки.

Меня немного сбивало с толку, что частенько эти стрелы приводили меня не к античным развалинам, а к дворцам и соборам эпохи Ренессанса. Так я оказался у Санта-Мария Маджоре и у палаццо Фарнезе, так я набрел на Моисея в глупине сумрачного храма Сан-Пьетро ин Винколи. Лишь когда в Риме проездом из Испании, где он читал лекции в Мадридском университете, оказался литературовед Николай Т., «профессоре Колиа», как называли его итальянские друзья, мне открылось, что желтые толстые стрелы служат указателями не памятников старины, а одностороннего движения.

Профессоре Колиа много смеялся по этому поводу, а я думал: «Смейся на здоровье, а все-таки эти стрелы помогли мне узнать Рим».

До его приезда я был очень одинок в Риме. Еще не кончились кашкулы, и все мои немногочисленные знакомые литераторы не вернулись с морского побережья или из путешествий; кинематографисты находились в Венеции на фестивале, а единственный человек, подаривший меня ощущением того радостного доверия, что предшествует дружбе, бывший радист дирижабля «Италия» Джузеппе Биаджи умер от рака в военном госпитале. За все пребывание здесь я лишь дважды прикоснулся к домашней жизни римлян: в первый раз я побывал в семье умирающего Биаджи, в беднейшем квартале Рима, сплошь завешенном бельем на просушку, другой раз — в доме бывшего капитана флагмана русского флота «Андрея Первозванного» близ виллы Боргезе. Хозяина дома, нежно-хрупкого от лет и недугов, утонченно-вежливого старца, я сразу узнал по фильму «Сладкая жизнь», где он играл официанта. Снимался бывший командир прославленного корабля и в грустной комедии про ослика, премированной на фестивале, но так и не увидевшей света, ибо прокатчики не поверили в коммерческий успех фильма. В семью капитана-артиста я попал по приглашению его жены, учительницы русского языка, активной деятельницы Общества итало-советской дружбы. Но конечно, пребывание в этом доме, где звучала старинная, сладкая бушинская речь и подавались сибирские пельмени с горошиной на счастье, не могло особенно приблизить меня к познанию итальянского быта и нравов. Да, чуть не забыл, еще был краткий, деловой визит к режиссеру Антониони, творцу «Затмения» и «Красной пустыни». Наша встреча состоялась в его огромной новой квартире, увешанной ультрасовременными полотнами известных и неизвестных, но остро одаренных итальянских художников. Перешагнув порог жилья Антониони, я не перешагнул порога его души — предмет разговора не занимал Антониони, он ограничивался минимальным количеством слов, даже не приоткрылся к виски, был скупен и уныл, как похилившийся

крест на заброшенном сельском кладбище. Лишь раз он взорвался, да так, что мне привиделся грозный атомный гриб, когда я сказал, что у меня есть подлинники Татлина. Этот талантливейший художник, почитаемый всюду, только не на родине, поразил, потряс Антониони во время его пребывания в Москве на кинофестивале. «Я завтра же лечу в Москву!» — вскричал он, и его лицо, будто скрывавшееся в тени, вспыхнуло от внутреннего света: худое, первное, опаленное лицо, и я понял, что медленные, малодейственные, горькие до отчаяния фильмы Антониони рождаются из таких вот реактивных вспышек, а не из кладбищенской тишины.

Профессоре Колиа, глубокий знаток романских языков и литературы, блестящий лектор, жизнелюб и бражник, сказал, что берется искупить вину Италии передо мной: он покажет мне Рим и римлян по-своему, даст мне увидеть лицо и изнанку здешней жизни, попохат быт и насвежо воспринять все культурные ценности. Мне казалось, что для осуществления такой программы необходимы месяцы, а не оставшиеся мне немногие дни, но профессор лишь усмехнулся с выражением самодовольного превосходства.

Для начала он повел меня в музей восковых фигур, приткнувшийся под боком терм Диоклетиана. «Я знаю, что делаю», — сказал он в ответ на мои робкие сомнения в справедливости такого выбора.

Этот воскресный день выдался на редкость синим, солнечным, но не жарким, все время падал освежающий морской ветерок, и дышалось легко. Ветерок задирает короткие юбки проституток, лакомившихся арбузами возле летнего кафе на площади Республики. Большие куски красного, сочного арбуза с черными, как тараканы, косточками им приходилось держать двумя руками, что мешало одергивать юбки; они предоставляли ветру высоко открывать их загорелые ноги, платя дань приличию холодно-испуганными вскриками притворного смущения. Их час еще не пришел, и, обхо-

дьясь без профессиональных взглядов, улыбок, жестов, они напоминали школьниц-лакомок на большой перемене.

— Я вижу по твоему живому и глубокому взгляду, что теперь ты с легкой душой напишешь неизбежную для всех путевых очерков банальность: «больше всего в Риме мне понравились люди», — заметил профессор...

Маленькое, из трех клетушек, тесное, убогое помещение, набитое безобразными восковыми манекенами, не было сопричастно колдовству и тайне, сопутствующим в нашем воображении дерзостному, почти кощунственному скопищу человеческих чучел. Музей восковых фигур дарит посетителей близостью к великим и грозным мира сего, возможностью глядеть в глаза тем, перед кем все потупляли взор, разглядывать порой с усмешкой черты, повергавшие в трепет народы... Но все эти сложные и волнующие переживания не имеют никакого отношения к римскому восковому заведению. Если верить экспозиции под боком Диоклетиановых терм, то ее великие люди страдали водянкой, их отличала диспропорция между огромной котлообразной головой и тщедушным, полудетским тельцем. Говорят: всё в мире на что-нибудь похоже; всё, кроме здешних восковых фигур, они ни на что не похожи и меньше всего на тех, кого должны изображать.

Когда мы выбрались на свежий воздух, я спросил профессора, зачем он повел меня в это убогое место.

— Для точки отсчета, — хладнокровно пояснил он. — Всё, что ты теперь увидишь или видел раньше в Риме, пойдет со знаком плюс. Самый безрадостный, сухой и традиционный из примитивов покажется полным жизни и огня. Самый нелепый из модернистов — талантливым и самобытным, даже гигантский «Ундервуд», памятник Виктору-Эммануилу, оскверняющий прекрасную площадь Венеции, предстанет облагороженным, почти величественным. Все люди, даже подонки, заиграют красотой человека, все неудачи и разочаро-

вания покажутся терпимыми. В сравнении с этим хамьим бесстыдством всё прекрасно и ценно в мире...

К собору Св. Петра мы успели как раз в тот момент, когда у ворот Ватикана происходила смена караула. Конечно, нам помог случай, но профессоре напускал на себя столь смиренно-лукавый вид, что можно было подумать: он специально так подгадал — минута в минуту. Необыкновенно стройные, матово-смуглые юноши в красивой, нежнейших тонов старинной одежде и больших, с грациозной лихостью заломленных беретах, упорно не попадая в ногу, проделали несложный маневр.

— Надо же! — сказал профессоре. — Два столетия назад путешественников удивляло неумение папской гвардии шагать в ногу. Можно подумать, что строю их обучают прелаты, а не офицеры. Зато как красивы!.. Ведь их одел Микеланджело. Вот что значит прикосновение гения! В отличие от Рафаэля он был совершенно равнодушен к земным благам: пище, вину, одежде. Всю жизнь ходил чуть не в рубище. Но папа поручил ему одеть дворцовую стражу, и Микеланджело оказался феноменальным модельером. Надо время от времени запускать гения в быт, как кошку в амбар. Жизнь станет неизмеримо красивее...

Когда мы пришли на площадь, охваченную двумя клешнями колоннады Бернини, меня охватило знакомое томительное чувство. Сейчас профессоре обязательно скажет что-нибудь про купол Св. Петра. Этот купол, созданный Микеланджело, был главным чудом среди чудес величайшего и совершеннейшего из всех христианских храмов. С детства была мне знакома долгая, трудная история строительства собора, начатого Браманте, продолженного Микеланджело, Сан-Галло, Рафаэлем... Самые волнующие страницы этой летописи — создание купола, который должен был превзойти красотой и величием знаменитый купол Флорентийского собора, созданный Брунеллеско и казавшийся современ-

никам пределом совершенства. Решил эту задачу, конечно, Микеланджело, для него не существовало неразрешимых задач. Он создал купол, которому не было и нет равных на земле. Не счесть, сколько изображений этого купола довелось мне видеть: на рисунках, литографиях, офортах, фотоснимках. Не говоря уже о том, что его умаленным подобием я много раз наслаждался, любуясь куполом Казанского собора. Но каково же было мое ошеломление, когда, подъехав впервые к собору и выйдя из машины, я никакого купола не обнаружил! Фасад с портиком и всем, что полагается, вздымался ввысь и, плоско обрезанный сверху, являл вид какого-нибудь римского палаццо. А купола, величайшего, прекраснейшего, неповторимого, в помине не было. Без него же испанский храм казался не храмом вовсе, а светской постройкой. Я ничего не понимал, сердце сжалось ужасом: уж не сошел ли я с ума?.. Тут еще мой спутник режиссер К. возьми да и скажи:

— Грандиозно?.. А купол?..

И я с малодушием андерсеновской толпы, восхищавшейся новым платьем короля, голого, как Адам до грехопадения, пробормотал:

— Да, поразительно!..

Конечно, потом я десятки раз видел купол, наделявший храм привычными очертаниями, но всегда издали, а чаще всего еще и сверху, например из парка советской колонии. Я пытался уговорить себя, что так и надо, но меня не оставляло смутное ощущение художественной несправедливости. Потревожить кого-либо своими сомнениями я не решался из боязни показаться смешным. Но вот час настал — профессор сам вызвался открывать мне тайны Рима.

— А купол где? — спросил я грубо.

— Как — где? — не понял профессор.

— Купола-то нету! — нажимал я, словно он был виноват в исчезновении купола.

Профессоре озадачился, смутился, и стало ясно, что он не замечал отсутствия купола, бессознательно населяя им верх здания.

Он протер очки, задрал голову и уставился вверх с таким видом, будто требовал у кого-то незримого немедленно вернуть главу храма.

— Надо же! — произнес он с горечью. — Святой Петр без купола! Это так же невероятно, как неполноценность Париса, правдолюбие Мюнхгаузена или смирение протопопа Аввакума... Недаром же я где-то читал, что преемники Микеланджело, отступив от его плана, испортили собор по фасаду. До чего же предвзято человеческое зрение! Я мог бы до потери сознания спорить, что купол виден во всей красе от колониады Бернини.

— Прими это открытие в благодарность за музей восковых фигур.

— Ладно, ладно, — проворчал профессор, — еще не вечер. Пошли!..

Когда мы подымались по ступеням храма в толпе туристов, студентов, крестьян и монахов, он спросил:

— Ты, конечно, уже был в Сикстинской капелле?

— Несколько раз.

— Фрески Боттичелли видел?

Я замялся.

— Видеть-то видел, но не вглядывался.

— Понятно. Это происходит почти со всеми... первые сто раз, — Микеланджело так захватывает, что на остальное не хватает душевных сил. Если не ошибаюсь, ты с юных лет поклоняешься Одетте Сваи в девичестве де Кресси? Когда приезжал Карло Леви, ты так долго распространялся о своей влюбленности, что все заснуло за столом.

Это правда. С того июньского жаркого дня, когда на песчаном волжском островке под Ярославлем я впервые раскрыл маленький томик издания Академии, случайно обнаружен-

ный мною на книжной полке наших дачных хозяев, вошла в мою жизнь едва ли не сильнейшая влюбленность. На сероголубом переплете было изображение молодого женского лица: «закатившиеся за приспущенные веки блестящие глаза ее, большие и тонко очерченные, как глаза боттичеллиевых флорентиянок, казалось, готовы были оторваться и упасть, словно две крупные слезы».

На страницу села бабочка с оранжевыми, в мраморных прожилках крылышками; она медленно, чуть оскальзываясь, ползла по гляцевому листу вместе со своей изящной тенью, то слепляя крылышки и становясь сухим листочком, то распластывая их в доверчивой гордости своей нарядной красотой. Порой она закрывала текст, но я не прогонял ее, терпеливо ожидая, пока она сама покинет меня, а потом я стал фантазировать, что это душа Одетты де Кресси, и мне стало нежно и радостно, что-то новое, неизвестное, хотя и смутно ожидаемое творилось со мной. Сухо шелестел обгоревшими на солнце листочками колючий куст с темно-красными, будто полированными ветками, шевелился песок, патекая меж страниц книги, вдалеке, на высоком берегу, за темными деревьями проблескивали меловой белизной стены каких-то зданий: то ли дворцов, то ли храмов, бездонное синее небо опрокидывалось в изморщиленную ветром гладь реки, и как же сладко мечталось мне над страницами книги в мои неполные семнадцать лет! С тех пор я много раз отправлялся в сторону Свана, но уже не было той до боли сладкой печали, пережитой на волжском острове под сухим колючим кустом, когда во мне впервые проснулось сердце.

— Одетта казалась Свану копией Сепфоры, дочери Иофора, — толкался в ухо голос профессора, и мне впервые подумалось, что он не вовсе чужд легкого научного педантизма. — Ты можешь ее увидеть на фреске Боттичелли «Жизнь Моисея», она расположена довольно высоко и плохо освещена, вот бинокль. — Он протянул мне маленький, но, как я потом

убедился, довольно сильный бинокль. — Помнишь, что погубило славного философа Хому Брута? Он не послушался тайного голоса и взглянул на Вия, тут ему и пришел конец. Микеланджело пострашнее Вия. Может быть, ты закроешь глаза, и я проведу тебя к фреске, как слепца? Ты уставишься на дочь Иофора, и все будет в порядке.

Я отклонил это любезное предложение и вошел в капеллу без поводыря, слегка потупив голову. Одолев искушение, стоявшее жизни не только Хоме Бруту, но и жене Лота, приложил бинокль к глазам и в ошеломляющей близости увидел длинные пряди незаплетенных волос, усталый наклон головы и большие хмурые глаза, готовые «оторваться и упасть, словно две крупные слезы». И тут во мне кто-то чужой, а быть может, я сам прежний, не до конца истратившийся в обветшалой оболочке, вдруг коротко и странно взрыднул...

Этого человека я заметил еще в галерее Дориа, куда мы пришли после Ватикана и виллы Боргезе. У нас с профессо́ре возник спор по поводу портрета молодой женщины в красном, приписываемого Леонардо да Винчи. Портрет этот, заключенный в массивную золоченую раму, в одиночестве висел посреди обширной стены, не терпя возле себя никакого соседства. Подобная честь была оказана лишь знаменитому портрету папы Иннокентия X. Но это произведение кисти Веласкеса спокон веку почиталось главным сокровищем галереи Дориа, а вот о портрете Леонардо я не встречал упоминания ни у Стендаля, ни у других авторов. А в каталоге галереи имя Леонардо стояло без знака вопроса, как это принято в тех случаях, когда авторство того или иного мастера подвергается сомнению. Вопреки очевидности я отказывался верить, что этот сухой, жесткий, грубо заверченный по живописи портрет принадлежит Леонардо. Где поэтичность, лунность, благородное изящество и мягкость творца Джоконды и святой Анны, где Леонардова улыбка? Не помню возражений профессо́ре, да это уже и не важно — он вскоре поки-

нет мой рассказ, а его место займет бродяга, обнаруживший себя впервые во время нашего спора и вновь оказавшийся возле нас, когда мы вышли на улицу. К этому времени я отчетливо чувствовал, что профессоре стремительно скисает. Это трудно было объяснить физической усталостью: худой, мускулистый, двуязыльный профессоре был куда выносливее меня. Но может быть, он утомился душевно?

Бродяга что-то сказал по-итальянски, и на рассеянно-утомленном лице моего друга переменяющимися зарницами вспыхнули заинтересованность, надежда, сомнение и вновь надежда.

— Он предлагает за стакан вина открыть великую тайну: чему же в конце концов улыбалась Джоконда! — сказал со смехом профессоре. — Как ты к этому относишься?

Я пожал плечами.

— А ведь, пожалуй, его предложение соответствует нашей программе ознакомления с Римом. Во-первых, тут палица тайна; во-вторых, тебе необходимо пообщаться с представителем улицы. Ступайте в trattoria, я к вам через часок присоединюсь.

— Ты уходишь?

После краткого колебания он ответил честно:

— Только сегодня я понял, как мучительно быть гидом. Впрочем, у них, наверное, вырабатывается профессиональный иммунитет. Но для любителя это смертельно. Знаешь, до Ватикана я еще держался, но потом почувствовал, что начисто теряю способность радоваться искусству, городу, самой жизни. Необходимость показывать и объяснять убивает восприятие. Я как будто навеки терял Рим. Когда я разглагольствовал в парке Боргезе, сколько деревьев погибло во время зимних заморозков, я с ужасом обнаружил, что любимый парк потерял для меня всякую прелесть, то же произошло и возле любимых моих картин. Я стал нищим. Этот добрый человек послан мне небом. Пока он будет пороть свою

ахинию, я прикоснусь к чему-то живому, теплому, не требующему пояснений и вновь обрету способность видеть, радоваться, жить. И еще запасусь выносливостью, которой мне хватит для Капитолия, Форума, Аппиевой дороги.

— Но как же я буду с ним общаться?

— Я говорю по-русски, — очень чисто произнес бродяга.

Узкое серповидное лицо его с темно-обрякшими, будто заплаканными, глазами и небольшими, аккуратными усиками, повторяющими изгиб верхней губы, его подбористая зяблая фигурка казались мне почти родственно знакомыми. Узкий пиджачок, обтрепанные понизу брюки, ветхое кашне, небрежно обмотанное вокруг дряблой шеи, фетровая шляпа с засаленной лентой, манера поеживаться и горбить плечи, словно его пропизывал озноб, все эти подробности одежды и поведения были явно рассчитаны на то, чтобы подчеркнуть его похожесть на кого-то, не дать окружающим удовольствоваться смутной полудогадкой. И тут меня осенило: он утрировал свое природное сходство со знаменитым комиком Тото. Возможно, он находил в этом развлечение, а скорее всего выгоду. Так нужно для его малого промысла среди иностранцев: близость к знакомому и привлекательному образу повышает его достоверность, располагает к доверию.

Мы вошли в тратторию.

Это была обычная дешевая харчевня, тесно уставленная столиками под бумажными скатертями; между входной дверью и баром торжественно высилась ваза с фруктами: сочные персики, прозрачный виноград, неправдоподобно громадные апельсины. Мы прошли на террасу, увитую диким виноградом, меж пожухлых лоз виднелся грязноватый, захламленный дворик, там пили пиво за маленькими непокрытыми столиками люди в комбинезонах.

Подошел официант в белом, засаленном на животе кителе; над карманом с торчащей шариковой ручкой алело, словно орден, большое винное пятно. Он вынул ручку, под кол-

пачком в прозрачной жидкости плавала русалка с большими грудями и зеленым хвостом.

— Спагетти?.. Сыр?.. — обратился я к бродяге.

— Только кианти, — сказал он нетерпеливо и что-то добавил по-итальянски.

Официант наклонил голову с белым, широким, припорошенным перхотью пробором в черных грубых волосах, сунил ручку в карман, отчего русалка опрокинулась кверху хвостом, и нырком удалился от нашего столика.

— Вы очень хорошо говорите по-русски, — сказал я.

— Нет, прононс хороший, а слов мало. Мой русский — почти пустой бокал.

— Странно...

— У меня такой талант. Я схватываю прононс. Музыкальное ухо. У меня отличный русский прононс, а также эфиопский, сербский и, конечно, французский, английский.

— Вы изучали все эти языки?

— Что вы!.. Откуда римские солдаты знали греческий, арабский, галльский? Они не учились, они завоевывали чужие страны и получали новый язык в придачу.

— Я что-то не припомню за последние десятилетия победоносных итальянских войн.

— Нас отовсюду выгнали. Но я был в Абиссинии, в Югославии и в вашем Донбассе. Скажу честно: у меня не было другой добычи, кроме прононса, ну, и немногих слов. Вы не сердитесь, что я присвоил ваши слова?

— Нисколько.

— Мне кажется, это вас раздражает. Давайте перейдем на английский. Вы согласны? Прекрасно! — Он заговорил по-английски. — Этот язык достался мне, когда из вечного, хотя и незадачливого, оккупанта я превратился в оккупированного. Кстати, это куда приятнее...

— Почему вы все время воевали?

Официант поставил перед нами двухлитровый кувшин с красным вином и два глиняных стакана. Бродяга взял кувшин одной рукой за толстое горло, другой — под днище и, проливая — так дрожали у него руки, — наполнил стаканы. Только теперь увидел я, насколько он разрушен. Он поднес стакан к губам, вино плескалось, словно в стакане разыгралась буря, прицелился и встречным движением — головы к стакану — поймал жидкость ртом, совсем немного пролив на подбородок и рубашку.

— Я был еще студентом и что-то ляпнул в компании. На меня донесли, я оказался за решеткой. Тогда с этим было просто. Узник из меня явно не получался, я страдал боязнью замкнутого пространства. Как раз в это время обнаружилось, что Муссолини не Помпей Великий, мы безнадежно завязли в Абиссинии. При некоторых связях, которые у меня имелись, можно было обменять камеру на просторы пустыни. После нашей позорной победы я служил в Аддис-Абебе, потом вернулся в Рим. Но я уже стал незаменим как воин: чуть что, меня немедленно призывали под знамена. Я человек нежный, люблю искусство, книги, ненавижу барабан, трубу, шагистику, выстрелы и особенно лай команды. Мне стало скучно, я начал пить и опустился. Потом мировая война. Я мечтал о плече, но брали всех, кроме меня. Я вернулся домой ни на что не годным и, как ни страшно, старым. Меня это потрясло. Всю жизнь я был недоучившимся студентом, и вот без молодости, созревания и зрелости сразу стал стариком. — Он вдруг схватил кувшин за ручку и рывком наклонил над стаканом. Выпив, он спокойно палил из polegавшего кувшина в оба стакана. — Придется раскошелиться еще на кувшин, — сказал он, — вы получаете две истории вместо одной.

— Согласен. Но пока что я выслушал лишь вашу историю, да и то не до конца.

— До конца. Все остальное здесь, — он щелкнул погтем по стакану. — В «кубке забвения Рипа ван Винкля», если вы помните Вашингтона Ирвинга.

— Неужели это слабенькое вино дает забвение?

— Еще как!..

— Сколько же его надо?..

— С каждым годом все меньше. Но к сожалению, еще порядочно. Беда в том, что алкоголь не действует на меня усыпляюще. Завидую иным пьяницам: выпил два больших коньяка или литр киапти и дрыхнет чуть не целые сутки.

Подошел официант с новым кувшином. Я и не заметил, когда бродяга успел подать ему знак. Официант разлил оставшееся у нас вино по стаканам, промокнул грязной тряпкой бумажную скатерть, вздохнул, как всегда вздыхают итальянские официанты, когда им приходится делать это лишнее, по их мнению, движение, и унес пустой кувшин.

— Знаете, я вовсе не преувеличиваю своей беды, — почти горделиво сказал бродяга, теперь он уже не опорожнял стакан духом, а тянул вино маленькими глотками. — И так слишком много народу занимается искусством. Ну, было бы на одного пустомелю больше. Хороший пьяница полезнее для общества, чем любой искусствовед. Он поддерживает виноделие и торговлю — два древнейших и почтеннейших занятия на земле, он не переводит бумагу, не вклинивается между художником и публикой, не задуряет слабым людям мозги, он безвреден. То, чем я с вами поделюсь, отнюдь не искусствоведение, а догадка, прозрение, называйте как хотите, умозаключение точное, как в быту. Когда вы долго подглядываете за своими соседями, вы начинаете что-то понимать в их жизни... Я долго подглядывал за Леонардо да Винчи, что-то в нем меня не устраивало. Вы что-нибудь читали о Леонардо?

— Читал, и довольно много.

— Вазари, конечно, читали?

— Да.

— Он бывает иногда точен. Помните, как он описывает сеанс с Джокондой? «...Так как мадонна Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал людей, которые играли на лире или пели, и тут постоянны были шуты, поддерживающие в ней веселость и умалявшие меланхолию, которую обычно сообщает живопись выполняемым портретам. У Леонардо же в этом произведении улыбка дана столь приятной, что кажется, будто ты созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо...» Теперь немного доверия и воображения. Вы, конечно, были в Ватикане и видели станцы Рафаэля. И вам, полагаю, известно, что Платону на фреске «Афинская школа» он придал черты Леонардо да Винчи? Поистине «дивным и божественным», как говорил Вазари, был Леонардо, сын Пьетро из Винчи. В ту пору творцы прекрасного были сильны, как молотобойцы или портовые грузчики. Я не говорю о громиле Бенвенуто, но изнеженный Рафаэль был сильным, выносливым и поразительно трудоспособным человеком. Силён как бык был маленький, сутулый, жильный Микеланджело. Но сильнее всех был Леонардо. О его мощи ходили легенды. Он гнул подковы, ломал в пальцах дублоны, забавы ради завязывал узлом кочергу. Он был воплощением величавой мужественности, первый во всем: в творчестве, образованности, всеохватности дарований, доброте, царственном обаянии, и мадонна Лиза влюбилась в него, да и не могла не влюбиться. Она была женщиной нежной, затаенной и страстной, а мессир, ее муж, одним из скучнейших флорентийских обывателей. Она являлась в дом Леонардо, он шел ей навстречу в длинной одежде, отороченной мехом, на груди золотая цепь. Он кланялся ей низко и чуть растерянно, приветствуя чудо человека, заключенное в ней, и вел в мастерскую. То и дело перед Джокондой склонялись в глубоком поклоне красивые молодые люди в бархатных беретах. Это были художники из свиты Леонардо, которых современники непоч-

тительно прозвали «леонардесками». Можно учиться у Рафаэля, подражать ему и все же быть Джулио Романо, можно благоговеть перед Микеланджело и стать Челлини, но нельзя было безнаказанно подражать Леонардо, как впоследствии Рембрандту, губительное, словно кислота, обаяние учителя съело ученика. Эти красивые, немного жеманственные и вовсе не лишённые дара молодые люди оказались в вечном расслабляющем плену Леонардовой улыбки, Леонардовых лунных слов. Лишь один из учеников, не принадлежавший, правда, к Леонардовому подворью, отмеченный современниками многозначительным прозвищем Содома, встал вровень с большими мастерами Ренессанса. Леонардо говорил молодым людям какие-то ласковые слова, называя их: «Джованни, Марко, Андреа, Чезаре», — и молодые люди, напоминавшие послушников, смущаясь под внимательным и чуть насмешливым взглядом монны Лизы, исчезали.

Они переступали порог мастерской, и Леонардо говорил:
— Вы опять печальны, мадонна?

Он делал знак рукой, и скрытые за ширмой музыканты начинали играть, легкая, радостная, чуть жеманная мелодия касалась слуха Джоконды. Она смотрела на художника, сверхчеловека, божественного Леонардо, и на губах ее начинала зарождаться улыбка. Этот могучий ум, опередивший на сотни лет свое время, этот высокий дух, вместивший в себя все мироздание, не мог постигнуть простого и близкого явления женщины, находящейся перед ним. Улыбка Джоконды начиналась легким подрагиванием в уголках губ, и ей легче было стать плачем. Леонардо не ведал своей сути, своего рода, он был девственником в окружении девственников, идеально влюбленных в учителя.

Монна Лиза занимала свое обычное место, складывала руки покорным жестом. Леонардо в задумчивости брал золотой — деньги, которых ему вечно не хватало, валялись где попало, — и коротким движением сгибал пополам, словно ле-

песток розы, пальцы у него были длинные, тонкие, едва ли не тоньше, чем у монны Лизы, с миндалевидными ногтями.

— Вы несчастливы, мадонна? — говорил он с пронизательно наивным видом и хлопал в ладоши.

Тотчас из маленькой двери выбежал отвратительный горбатый карлик в двухцветном костюме, в колпаке с ослиными ушами, с множеством бубенчиков и пачинал кривляться перед Джокондой. Довольный Леонардо чуть щурил золотые, как мед, глаза. И тут на губах монны Лизы появлялась усмешка, именно усмешка, а не улыбка, над мужчиной, который таким жалким образом думает осчастливить женщину. Вспомните ее улыбку, луврскую, а не воспроизведенную на этикетках парфюмерных изделий, не расслащенную его учениками и не его же, совсем другую, светло-печальную улыбку склонившихся над младенцем Христом мадонн. Вы увидите в улыбке Джоконды горечь, насмешку, жалость на грани прощения, но самого прощения нет. Это улыбка разочарования глубоко порядочной женщины, готовой всей душой, всем естеством, всем внутренним сознанием справедливости преступить запретный порог, но обнаружившей, что за порогом этим пустота.

В какое-то мгновение в голосе моего собеседника пробилился усталый пафос, но кончил он без всякого воодушевления и осушил стакан.

— Это звучит особенно правдоподобно, если подтвердится догадка исследователей Леонардо, что на знаменитом портрете изображена вовсе не почтенная матрона, а известная куртизанка.

Впервые бродяга разозлился.

— Я слышал об этом! Тухлая чепуха, бред оригинальничавших недоумков! От монны Лизы за версту несет порядочностью. Куртизанкой может быть, если хотите, леонардовский Иоанн Креститель, женственное существо, у которого единственный мужской признак — посох!..

— Мне больше по душе иное объяснение тайны Джоконды, — сказал я. — Каждому смотрящему на нее она улыбается по-своему. Поэтому люди и не могут сговориться, что же выражает ее улыбка.

— Как хотите, — сухо сказал бродяга. — Но вино я все-таки допью...

ЛУКОВЫЙ СУП

Я немного знал Глушкова по Москве. Мы иногда встречались в Доме кино. Я знал, что у него большое смуглое лицо и что он чуточку сродни Собакевичу: здороваясь, непременно отдаст тебе погу. Но я не знал, что у него есть свояченица, живущая в Париже, и что она готова сопровождать нас в прогулке по ночному городу.

Он рассказал мне о Нине Ивановне, так звали свояченицу, пока мы ждали ее на улице Монмартр, неподалеку от нашего отеля. Сложные пути судьбы привели ее в Париж и сделали французской гражданкой. Молодой военный врач, Нина Ивановна вместе с полевым госпиталем попала в руки немцев в самом начале войны. В лагере Дахау она познакомилась с французским коммунистом, сотрудником «Юманите» Жаком П. За год до окончания войны им удалось бежать, перейти французскую границу и присоединиться к маки. Они стали мужем и женой. После войны Жак вернулся в «Юманите», а Нина Ивановна получила место хирурга в маленькой больнице, в рабочем пригороде Ранси. Несколько месяцев назад она овдовела...

Я ждал продолжения истории, но тут витрина с радиоточками намертво приковала внимание Глушкова.

— Вася, — послышался вдруг женский голос, и вслед за тем к тротуару причалил мышастый «ситроен». Из него, он-

равляя клетчатую юбку, вышла пожилая, лет под пятьдесят, женщина с бледным худощавым лицом и крашеными желтыми волосами. За толстыми стеклами очков ее зеленые глаза казались выпуклыми, как у рыбы телескопа. Они поцеловались, и Глушков представил меня Нише Ивановне.

— Поехали скорее, — сказала Ниша Ивановна, — у меня что-то неладно с мотором.

Мы втиснулись в жестяную коробочку «ситроена», Ниша Ивановна потянула на себя рычажок стартера и вырвала его из щитка вместе с куском тонкой проволоки.

— Всё! — проговорила она потеряннм голосом. — Придется заводить ручкой.

Беда была не столь уж велика, и меня удивила перемена, мгновенно происшедшая с Нишой Ивановной. И то, как лихо она подкатила, и как энергично выбралась из машины, и как по-мужски ответила на рукопожатие, — все производило впечатление большой душевной собранности. А сейчас она разом сникла, жалко растерялась, даже плечи ее устало опустились. Когда же Глушков, раз-другой крутнув ручку, завел машину, она снова приободрилась, но что-то было ею утеряно.

Мы мчались по залитому огнями ночному Парижу, а когда оказались на Елисейских полях, то словно вышли в открытое море; буйство огней стало грандиозным, огни уходили высоко в небо, ярчайший свет заливал глубину вытянувшихся вдоль тротуаров кафе, и улица не имела границ. Но, как и утром, при первом знакомстве с городом, все это было равно ожиданию, равно готовому представлению и оттого радовало, не поражая, не лишая спокойствия.

Мы долго колесили по Парижу, и бесконечный город взял свое. Он ударял в душу то затихшей набережной Сены с запертыми, грустными ящиками букинистов; то улицей «Кошки, удающей рыбу», такой узенькой, что жильцы могли здороваться через улицу за руку из окна в окно; то смутной громадой собора Парижской Богоматери, не освещенного сегодня

прожекторами, не литературного, не исторического, а просто большого и печального; то крошечным быстро с двумя столиками и старым усталым человеком над кружкой пива; то фонарем в глянцевои зелени платана; то желтыми просветами спущенных жалюзи на длинной темной Амстердамской улице; то одинокой скамейкой, на которой двое...

Позже Нина Ивановна предложила нам полюбоваться рынком, знаменитым «чревом Парижа», благо время уже перевалило за полночь. Весь завоз осуществляется в ночные часы, днем на рынке смотреть нечего, тут нет розничной продажи, владельцы продуктовых лавок, ресторанов и бистро покупают продукты оптом.

— Я знаю там один кабачок, где замечательно готовят луковый суп, — сказала Нина Ивановна.

Но пробраться к кабачку оказалось делом нелегким. Мы метались по нешироким темноватым улицам и всякий раз наткнулись на препятствие либо в виде полицейского в белых перчатках с крагами, либо в виде дорожного знака, запрещающего въезд, либо в виде огромного рефрижератора или десятитонного грузовика, перегородившего дорогу. Квартал, занятый рынком, странно выпадал из остального города. Хоть бы он находился на окраине, так нет, в самом центре, в окружении залитых огнями, сверкающих, по-ночному беспечных бульваров. Погруженный в полумрак, битком набитый громадными, похожими на фронтовые машинами, напоенный напряженной работой, с отверстыми зевами подвалов, лабазов, погребов, в крепких, перемежающихся запахах всевозможной снеди, он жил ни на что не похожей, таинственной жизнью. И вскоре стало казаться, что полицейские, дорожные знаки и грузовики, мешающие нам проехать, — лишь бедные символы какой-то высшей, мистической силы, не желающей пускать нас в средоточие своей тайны.

Нина Ивановна разволновалась. Она все испуганнее шаркалась от очередного препятствия и гнала машину по од-

ной из свободных улиц прочь из квартала рышка. Окупувшись в свет и словно почерпнув в нем бодрость, она вновь заехала во владения рышка, но уже с другой стороны, и вновь наткнулась на преграду и, не пытаясь отыскать лазейку, шла на новый заход.

— Будь с нами Жак, мы бы давно сидели в кабачке, — сказала она жалобно. — Он завораживал полицейских и мог проехать где угодно.

Мне кажется, не только для нас, но и для нее явилось полной неожиданностью, когда после очередного заезда мы вдруг оказались у дверей кабачка.

Сразу напротив двери находилась стойка бара, вокруг которой толпились мясники в белых халатах, так черно и так ало, так густо перемазанных кровью, словно они не просто перегружали из машин в холодильники привезенные с бойни туши быков, телят, свиней и баранов, а сами убивали их тут же на улице в яростной борьбе. Иные сжимали в руке длинные острые ножи, похожие на пики, с запекшейся в желобах кровью. Они непринужденно подставляли острия ножей глазам других посетителей, тянувшихся из-за их спинок к стойке. И хотя порой такому неосторожному копыеносцу доставался веский тумак, делалось это без злобы. Все немножко играли. Я еще днем обратил внимание на эту особенность Парижа. Все тут немножко играют самих себя. Художники Монмартра играют богему; влюбленные в скверах и парках играют влюбленных, сила и теснота их объятий порождены не только страстью, но и некоторым расчетом на внешний эффект; даже проститутки, при всей серьезности своего ремесла, немножко играют проституток, отсюда их подчеркнутая фотогеничность; ну а полицейские, кондукторы, бармены и официанты — те играют в открытую, играют свою расторопность, ладность, чисто галльскую веселость. Привычка быть на виду у всего мира, привычка вечно находиться под обстрелом жадно любопытных глаз бесчисленных туристов

выработала в парижанах эту легкую утрированность поведения, которую они и сами не замечают и которая обеспечивает им внутреннюю свободу. Иначе их жизнь была бы очень тяжела. Куда легче идти навстречу ожидаемому и давать полную волю своей живописности, чем напряженно хранить скромную важность экспонатив. А впрочем, как знать, может, это тоже утомительно.

Мясники играли в добрых и беспощадных парней, опьяненных кровью и коньяком. Панибратствуя со смертью, вовсе не ими причиненной, они распространяли свою отчаянную бесцеремонность на всех окружающих: на толстого, усталого и ловкого бармена, на его подручную, рыжеватую блондинку с челкой, — она играла девушку за стойкой Манэ; на хозяина ресторана, седоволосого, молодежавшего, статного, — он подражал одному актеру, всегда играющему рестораторов, и оттого несколько не робел перед мясниками; не извиняясь, даже не оборачиваясь, задевали окровавленными полами халатов красивую одежду и меха роскошных дам в жемчугах и черные костюмы их изысканных спутников. Это, кстати, тоже входило в игру: в ресторане смешивались в страшном и демократическом единстве окровавленные парни и элегантные завсегдатаи ночных клубов, приезжающие сюда глубокой ночью освежиться устрицами и луковым супом. Богатую публику волновало соприкосновение с дном, мясники наслаждались коротким обманом республиканского равенства. Дамы уносили на платьях следы крови, делая вид, будто и впрямь подвергались опасности, а мясники упивались своей мнимой грозностью. Никто не фальшивил в этой игре, и все были довольны.

Между тем у нашего столика, ближнего к выходу, давно уже переминался нетерпеливый от избытка расторопности молодой официант.

— Ну, что мы закажем? — спросила Нина Ивановна.

— Луковый суп, — проговорил я неуверенно.

— Это понятно. А еще что? — Зеленые глаза беспомощно смотрели из-за стекол очков.

Но откуда мы знали, что принято здесь заказывать!

— Ладно! — сказала она храбро. — Вижу, что сегодня мне придется быть мужчиной. Что бы заказал Жак? Устриц, белого вина, луковый суп, сыр камамбер и салат из апельсина. Пойдет?

Официант спросил, сколько подать устриц.

— Три дюжины! — выпалила она хриловатым голосом гуляки и доброго малого. — Вина? Три бутылки «Кларета». Не забудь содовой, приятель!.. Эй, гарсон! — Она щелкнула пальцами, и метнувшийся было прочь официант мгновенно вырос перед нами... — Сигареты «Частерфильд». И поживей, мой мальчик!..

За окнами ресторана почная улица жила громадной, тесной, не вмещающей в своих пределах жизнью. Рвались хриплые сигналы машин, звенели предостерегающие, повелевающие, бранящиеся голоса; то и дело на витрину кабака угрожающе надвигалась темная масса грузовика, разворачивающегося в тесноте улиц, казалось, сейчас зазвенят стекла и, сминая толпу, грузовик подкатит к стойке и хрипло спросит пива. Дверь поминутно хлопала. Окровавленные, будто с переднего края, входили все новые мясники, а те, что уже промочили горло, с пиками наперевес устремлялись на позиции. Порой появлялись дамы в мехах, сопровождаемые пепельно-серыми от неведомой усталости мужчинами, и носился челноком мальчишка, открывающий устриц перед входом в кабачок. Он вбегал с блюдом, выложенным водорослями, распахнутыми устрицами, кусочками льда и половинками лимонов, обдавая посетителей свежим морским запахом. Назад он мчался с блюдом, отблескивающим перламутровой наготой опустошенных раковин. Но вот мальчишка оборвал свой бег возле нашего столика, и море объяло нас крепким йодистым запахом, холодом и свежестью, блю-

до тяжело скользнуло на шаткий столик. Тут же появился официант с вином, хлебом, содовой водой и вмиг разлил вино по бокалам.

Я никогда не видел таких больших устриц: продолговатые, они напоминали восьмерку, стенки раковин, до краев палитые морем, толсты и морщинисты. Когда выжмешь в устрицу лимон, немного морской воды проливается на тарелку.

— Я боялась, что спутаю, — сказала Нина Ивановна, — но это как раз тот сорт, который любил Жак.

Двумя гребками ложки она выскребла устрицу и выпила из раковины, как из чашки, морской воды с лимонным соком. Мы с Глушковым тоже взяли за устриц, их было так много, что казалось, нам с ними никогда не справиться.

— Жак удивительно знал толк в еде. Когда мы ужинали дома, он готовил сам, провизию выбирал тоже сам. Но последнее время он все водил меня по ресторанам и требовал, чтобы я заказывала.

— Пищит!.. — смешливо сказал Глушков, глотая устрицу.

Мы выпили вина. Нина Ивановна стала расспрашивать о Москве. Энергично выскребая ложечкой устриц, Глушков поведал ей о своих успехах: он получил новую квартиру, приобрел «Москвич», его жена — сестра Нины Ивановны — работает в «Детском календаре» художником.

— У Ленки открылись художественные способности? — воскликнула Нина Ивановна. — Молодец! Выпьем за нее.

Мы выпили за художественные способности жены Глушкова.

— Приезжай к нам летом, — сказал Глушков, — мы укажем на юг и оставим тебе ключи от квартиры.

— Я думаю о том, чтобы совсем вернуться в Союз, — тихо сказала Нина Ивановна. — Меня многое связывает с Францией, но когда я называла ее второй родиной, то обманывала

себя: моей родиной был Жак, его не стало, и я оказалась без родины.

— «Человек без родины — соловей без песни!» — с полным ртом продекламировал Глушков.

— Гарсон! — хрипловатым мальчишеским голосом крикнула Нина Ивановна. Теперь я понимал, кого она копирует, вступая в переговоры с внешним миром, и уже не удивлялся превращению грустно-рассеянной пожилой женщины в доброго малого. — Вы забыли сигареты.

Официант мгновенно выложил на столик жемчужно-белую пачку.

— Прошу вас, — сказала Нина Ивановна. — Жак курил только эти сигареты.

Она говорила на чисто русском языке, но слово «сигареты» произносила с французским прононсом.

Огромное блюдо, еще недавно такое нарядное, праздничное, сейчас стало безобразной мусорной свалкой: на нем высились гора пустых раковин вперемешку с кожурой выжатых лимонов. Нина Ивановна рассеянным движением воткнула в вершину устричной горы дымящийся окурок сигареты. Она вздрогнула, как вздрагивает внезапно разбуженный человек.

— Нелепая привычка! — и добавила со слабой улыбкой: — Жак называл это оживлением вулкана.

Подскользнул официант и убрал действующий вулкан. Затем, двумя взмахами салфетки освежив стол, он с некоторой торжественностью поставил перед каждым из нас обгорелый глиняный горшочек, затянутый поверху твердой розовато-желтой коркой. Это и был знаменитый луковый суп.

Пробив сырно-мучную корку, ложка ушла в таинственную глубину горшка. Я извлек ее назад, полную густой золотистой жидкости, горячей, крепкой, острой...

Я посмотрел на Глушкова, он улыбнулся мне понимающей, красивой улыбкой. Наслаждение от вкусной пищи, ко-

торое он сейчас испытывал, перейдя из области грубоматериальной в эстетическую, одухотворило его тяжелые черты.

— Как хорошо, по-мужски вы едите, — сказала нам обоим Нина Ивановна. — За ваше здоровье!

Мы выпили, и в ход пошла вторая бутылка.

— Скажите, — робко, доверчиво и как-то жалковато спросила меня Нина Ивановна, — у меня покраснел кончик носа?

Я поглядел на ее топкий, довольно длинный нос с голубым, отполированным дужкой очков переносом: под крупитчатой, неумело наложенной пудрой проступала легкая краснота, но я не посмел подтвердить этого.

— Ну вот! — сказала она огорченно. — А Жак всегда утверждал, что после третьей рюмки у меня краснеет кончик носа. Его это почему-то трогало... Как странно, умер Жак, а мне кажется, что умерли все мужчины, — быстрым движением она поднесла рюмку к губам и выпила. — Это, наверно, потому, что я уже ни для кого не женщина... Иногда мне кажется, будто я заново родилась, старый, безобразный, усталый младенец. Знаете, иногда ребенок рождается с зубами, но это не значит, что он сразу примется есть мясо, нет, он все равно сосет материнское молоко. Вот и я поворожденный с зубами: откуда-то у меня умение оперировать, водить машину, варить кофе, читать. Но я не знаю тысячи обычных вещей: сколько стоит билет в кино и палочка «эскимо», где и как платить за холодильник, купленный в рассрочку, что делать, если глохнет мотор, сколько давать на чай... Все это знал Жак, я только сейчас поняла, как бесконечно много он знал. Жак боялся, что Франция будет для меня трудна, он все взял на себя. Уже смертельно больной, он знал, что умирает, но сумел скрыть это даже от меня, врача, он хотел приучить меня к жизни, но было поздно... Фу, какой крепкий суп... — Она резко выхватила из сумочки носовой платок и прижала к глазам.

— Крепкий? — повторил Глушков и с сожалением отодвинул пустой горшочек. — А я и не почувствовал.

За сыром и десертом мы обсуждали последние парижские события: демонстрацию государственных служащих на Гревской площади, требовавших прибавки жалованья; самоубийство молоденькой работницы, бросившейся с площадки Эйфелевой башни; арест похитителей Эрика Пежо, маленького сына главы знаменитой автомобильной фирмы. Запах камамбера придавал нашим приблизительным разговорам — Нина Ивановна имела такое же смутное представление о всех этих новостях, как и мы, — особый аромат парижской жизни.

Когда мы вышли из ресторана, в узких улицах, так тесно забитых грузовиками и фурами, как переправа на Березине повозками и пушками отступающих наполеоновских войск, еще держался сумрак, бледно просквоженный усталыми фонарями, а небо было по-рассветному белесым, с легкой голубизной.

Нина Ивановна с трудом вывела свой «ситроен» из зажима двух роскошных, будто расплющенных машин, и мы двинулись прочь из «чрева Парижа», давя устилающие асфальт листья цветной и кочанной капусты, сухую луковичную шелуху, пучки латука, просыпавшегося из корзины при переноске; порой нас подбрасывало вверх — когда под колесо попадала золотая голова апельсина, или яблоко, или грейпфрутовая бомба. Снова мы пронизали спектр запахов от пещерно-фруктовых до душистых, рыбных, и вырвались в чистую каштановую свежесть набережной Сены.

У подъезда отеля мы попрощались.

— Мы так и не поговорили о Жаке, — сказал Глушков, задерживая руку Нины Ивановны в своей. — Но ничего, через две недели мы вернемся из Марокко, и ты мне все хорошенько расскажешь.

— Да... — странным голосом произнесла Нина Ивановна. — А я хотела извиниться перед тобой и твоим другом, что весь вечер надоедала вам Жаком.

— Что? — выкатил глаза Глушков, — Я даже не знаю, отчего он умер и когда. Что я расскажу Лене?

— Расскажи, что он умер от рака легких двадцать седьмого января... — И «ситроен» сорвался с места.

Париж

Неостывший пепел

Недавно я ездил в Освенцим, и он напомнил мне о Бухенвальде, где я был ровно десять лет назад. Тогда я написал рассказ о бывшем узнике лагеря, оставшемся там работать экскурсоводом. Он не мог расстаться с лагерем, где сгнили лучшие годы его жизни, где погибло столько товарищей. Он сам себя приговорил быть бессрочным узником Бухенвальда, его живой памятью. Я рад, что написал о нем. Но я жалею, что не написал о человеке совсем другого рода, о бывшем служащем эсэсовского городка, расположенного через дорогу от лагеря. Тогда мне было противно о нем писать, а сейчас мне кажется, что я словно провинился перед Бухенвальдом.

Об Освенциме писали много, но, по-моему, и сейчас каждый приезжающий туда должен о нем написать. Не для того, чтобы множились в человечестве рознь и ненависть, а чтобы стучал пепел в сердце. А то вот один молодой турист из Мюнхена стоял, стоял возле горы детских башмачков, — а дальше высилась гора протезов: руки, ноги, корсеты, поддерживающие позвоночники, а еще дальше — гора ржавых ночных горшков, затем оправы от очков — гора, кисточки для бритья — гора, мягкие женские волосы — гора, — так вот этот турист вдруг раздулся, как гофманский король дождевых червей, побагровел и громко заявил: чушь, вранье, социалистическая пропаганда!..

Названием Освенцим объединяют два лагеря: собственно Освенцим и лежащую поблизости Бжезинку. Первый являлся показательным лагерем, над ним осуществлял наблюдение Международный Красный Крест. Там была всего одна печь, считавшаяся столь же невинной, как печь любого добропорядочного крематория; расстреливали узников тайно, перед рассветом, за глухой стеной; камеры отапливались, спали заключенные на парах. В лабораториях Освенцима на заключенных испытывали новые ядовитые вещества, но это было строго засекречено, так же как и страшные опыты над близнецами, как стерилизация, как производство сувениров из татуированной человеческой кожи. Красный Крест не знал о «научной» работе эсэсовских врачей, как и не знал, что в нескольких километрах от Освенцима на поле с чахлой растительностью раскинулась Бжезинка — гигантская фабрика смерти; бараки строгими рядами, газовые камеры, печи. День и ночь циклон душил людей, печи пожирали трупы, пепел уходил в землю Бжезинки. Но до того как комендант и создатель лагеря Рудольф Гесс обеспечил Бжезинку достаточным количеством печей, останки задушенных циклоном зарывали в землю, десятки гектаров бесплодной земли до сих пор набиты человеческими костями.

В Бжезинке не делали опытов над заключенными, их не пытали, не расстреливали, тут не существовало личной судьбы, не было и заключенного как такового, здесь было человеческое месиво. Месиво копошилось на грязном полу барачков, месиво корчилось в газовых камерах, месиво поступало в печи.

В «показательном» Освенциме в заключенном разумеелся человек, этого человека унижали, мучали, терзали, а иногда поощряли, томили в карцерах и в конце концов уничтожали.

Бжезинка отрицала самое понятие «человек» как некой отдельной особи. Здесь счет велся на тысячи. За время су-

ществования лагеря он «переварил» в своих газовых печах свыше четырех миллионов человек. Комендант Гесс «признал» убитыми лишь два с половиной миллиона. Он поднялся на эшафот с видом человека, над которым совершили несправедливость. Он ни в чем не раскаивался — он «честно» служил своему фюреру, — на суде не хитрил, не запыртался, не заметал следов, но и не скрывал, что разочарован судьями, приписавшими ему лишние жертвы. Виселица, на которой закачался этот серьезный, исполнительный человек, до сих пор как символ возмездия стоит на границе освещимского лагеря.

Миниатюрный Бухенвальд — прообраз остальных гитлеровских лагерей. Он возник до Второй мировой войны, его первыми обитателями были немецкие коммунисты и все недовольные нацистским режимом, а также евреи вне зависимости от их политических взглядов. С началом войны лагерь стал интернациональным. Комендант Кох по праву может считаться отцом многих лагерных обычаев и установлений. Это он изобрел сизифов труд для заключенных, доводящий людей в короткий срок до безумия или самоубийства; это он придумал утилизировать тела убитых: вырывать золотые зубы и коронки, вытапливать жир, перемалывать кости на муку для удобрений. Его жена, зеленоглазая Ильза, довела открытие мужа до совершенства: она начала набивать матрасы женскими волосами, производить изящные бювары, абажуры и книжные закладки из татуированной кожи и настольные безделушки из засушенных в песке до размеров яблока человеческих голов. Страшные медицинские опыты над заключенными тоже начались в Бухенвальде. Гесс лишь повторил их в неизмеримо большем масштабе в Освенциме.

Это не умаляет Коха как палача: Бухенвальд, расположенный вплотную к Веймару, не имел пространства для расширения. Кох был первым, Гесс и другие шли по его стопам.

В гиммлеровском ведомстве считали: Кох даровит, но сорвиголово. Он был дважды приговорен к расстрелу своими

же собратьями. В первый раз за то, что присвоил полтора миллиона золотых марок, конфискованных у богатых евреев, брошенных в Бухенвальд. Коху дали возможность искупить свою вину чужой кровью и направили в Люблин, где он сперва учинил резню, затем создал образцовый лагерь смерти. Его реабилитировали и вскоре наградили Железным крестом. Затем Коха командировали в Норвегию, где он расстрелял многих видных норвежских офицеров и заразился сифилисом. Болезнь он обнаружил, вернувшись в Бухенвальд, и стал лечиться у двух доморощенных врачей-заключенных. Они его вылечили и в благодарность были вывезены из Бухенвальда и расстреляны.

Но пока шло лечение, Кох наряду со всеми эсэсовцами-тыловиками сдавал кровь для фронтовых госпиталей. Он делал это, боясь, как бы начальство не проведало о его болезни. Фюрер был беспощадно строг в вопросах нравственности, когда дело касалось высших офицеров. В СС берут людей с одинаковой группой крови, и зараженная кровь бухенвальдского коменданта поступала в госпитали для эсэсовцев. Заболели сотни раненых. Не представляло особого труда установить, откуда поступает зараженная кровь. В Бухенвальд прибыла следственная комиссия. Врачи-самоучки, расстрелянные Кохом, успели доверить тайну двум-трем товарищам, и в один прекрасный, действительно прекрасный, день Кох был расстрелян в родном Бухенвальде и сожжен в печи.

Ильза Кох, судя по фотографиям, могла бы занять место в ряду психопатологических типов, иллюстрирующих известную книгу Кречмера: асимметричное, плоское лицо, тяжелый подбородок, слишком маленький нос. Но говорят, что густые, огромные неистово-рыжие волосы при изумрудном цвете глаз делали ее почти привлекательной. Она любила скакать на лошади — седло усеяно драгоценными камнями, в мундштук вделаны бриллианты, уздечка с золотой насечкой. Бывший служитель эсэсовского городка при Бухенвальде

сказал мне любовно и гордо, что скачущая Кох была «прекрасна, как цирковая наездница».

С этим добрым человеком я познакомился после осмотра лагеря. Я вышел за ворота и закурил папиросу. Тут он ко мне и подошел, невзрачный человечек лет пятидесяти, в заношенном, некогда зеленом, а теперь буром военном кителе без погон и знаков различия, хотя легкая зеленца на менее выгоревших местах указывала, что погоны и знаки когда-то были, в грязных фланелевых брюках и стоптанных замшевых туфлях. И еще на нем была почему-то наша солдатская пилотка, конечно, без звездочки. Он подошел, втянул ноздрями папиросный дым и, кашлянув, сказал: «Разрешите закурить». Я протянул ему пачку. Он как-то особенно деликатно тонкими нечистыми пальцами взял папиросу и попросил огонька. Я стал нащупывать коробок по карманам. Вежливо похохатывая, он попросил не тратить на него спичку, а позволить ему прикурить от папиросы. Я исполнил его просьбу.

Во власти впечатлений, произведенных на меня лагерем, я несколько рассеянно воспринял окружающее. За моей спиной тянулась колючая проволока, по которой прежде шел ток высокого напряжения; передо мной было шоссе, ведущее в Веймар, чуть слева, по другую сторону шоссе белели сквозь густую зелень какие-то домики, виднелся за поваленной оградой край неухоженной клумбы, заросшей сорняком.

— Теперь здесь не на что смотреть, — тихо и грустно произнес человечек в заношенном кителе. — А какое это было чудесное местечко!

Я вздрогнул, мне почему-то показалось, что, прикурив, он ушел. Человечек по-своему понял мое движение.

— Я говорю, разумеется, не о лагере. Людям плохо за колючей проволокой. Но вот городок!.. Может быть, я преувеличиваю, это простительно для старожилы.

Он работал здесь с самого основания лагеря, сперва на строительстве, затем короткое время в охране, после сторо-

жем в эсэсовском городке, что через дорогу. Ему приходилось быть не только сторожем, но и подметальщиком, и садовником, и конюшим — городок рос, и служащих постоянно не хватало. Он же на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. В человечке проснулась гордость. Он перестал искалечно улыбаться, что-то холодноватое от самоуважения появилось в его стертом, сером лице, и голос зазвучал на пизах пивным хриповатым достоинством. Конечно, сейчас трудно поверить, а ведь ему доводилось прислуживать самой госпоже Кох. Он держал ей стремя. Да, да, тяжелое стремя из литого золота, он клянется в том Господом Богом! — и человечек ударил себя кулаком в грудь. А как хороша была госпожа Кох в седле: черный сюртук, белые рейтузы, лакированные сапожки. Когда она давала шпоры коню, ее красные волосы разлетались по ветру и госпожа Кох была прекрасна, как цирковая наездница!..

— К нам сюда приезжали цирковые артисты, мы неплохо жили... У нас был даже собственный зверинец с медведями, волками, лисицами, зайцами, оленями, орлами, попугайчиками, то-то радости детворе! Нет, Бухенвальд сейчас не узпать, все разрушено, сожжено, изгажено. Вам приехать бы сюда раньше, как здесь было красиво!

Я сказал, что едва ли смог бы насладиться красотами городка — с той стороны колючей проволоки его плохо видно.

Человечек не понял, смутился и разом растерял свою жалкую спесь.

— Простите, вы не знаете, что случилось с госпожой Кох? — спросил он прежним, вкрадчивым голосом.

— Она в тюрьме, в американской зоне...

После окончания войны ее предали суду как военную преступницу. Ожидая решения своей участи, она сошлась с комдантом тюрьмы, американским майором, забеременела, и смертный приговор, который ей вынесли, нельзя было привести в исполнение. Вскоре она родила и стала матерью аме-

риканского гражданина. Хотя у майора и была жена в Штатах, он не отрицал своего отцовства. Генерал Клей распорядился немедленно выпустить Ильзу Кох. Это вызвало такой взрыв общественного негодования, что Клею пришлось вернуть ее за решетку. Ильзу Кох снова судили и дали ей пожизненное заключение. Но недавно в газетах появилось сообщение, будто она была выпущена и вместе с подростком сыном уехала в Австралию. Но мне не хотелось радовать бухенвальдского старожила, и я уверенно сказал:

— Отбывает пожизненное...

Он притуманился. Не то чтоб он так был предан Илзе Кох, но блеск ее золотого стремени озарял его судьбу. Я представил себе, как вышла из тюрьмы несколько поплывшая от лет и сидячей жизни немолодая женщина с бледным плоским лицом и поблекшими, некогда изумрудными, а теперь кошачье-зелеными глазами и огненно-рыжей копной волос. К ней подвели ее мальчика, это была их первая встреча на воле, и, растроганная, она обняла худые плечи сына теми же руками, которыми некогда в лагере обнимала пленного шведа, добровольца английских военно-воздушных сил, рослого красавца с гладкой кожей, испещренной татуировкой. Тогда ей впервые пришлось в голову, на что может пригодиться такая вот чистая, гладкая кожа, разрисованная кораблями и якорями, русалками и троллями; и когда швед ей надоел, она велела содрать с него красивую кожу и своими собственными руками, равно умелыми в любви и в работе, сделала бювар в подарок Гиммлеру... А мальчик прижимался к родному, надежному телу матери и плакал от неизведанного счастья защищенности. Потом они шли по солнечной, мягко затененной каштанами улице, их ждал пароход, синее долгое море, далекий австралийский берег, новая жизнь...

Подошел мой автобус, и я бросил недокуренную папиросу. Бухенвальдский старожил задумчиво поглядел на тлевший в пыли окурок, поднял его, обтер и сунул в рот...

И вот по прошествии стольких лет у бжезинских печей я вспомнил об этом человечешке. Наверное, это покажется странным: в громадности фабрики смерти, рядом с виселицей Гесса, спорившего с судьями, сколько миллионов жизней он истребил, думать о каком-то ничтожестве, собирателе окурков, настолько малом вишнике гитлеровского рейха, что его и к уголовной ответственности не привлекли. Но мне этот подонок представляется серьезной опасностью. Он и ему подобные — это та почва, та плесень, на которой произрастали гитлеры и гессы. В своей готовности принять любое зло только потому, что оно есть, обожествить любой кровавый режим только потому, что у него сила, видеть лишь золото стремени и не замечать печной сажки, воняющей человечинной, они поистине страшны. Страшнее тех новоявленных фюреров, которые тонкими голосами возвещают в разных концах света о своем пришествии. Ибо только собиратели окурков, стремяшые Ильзы Кох могут сделать крикунов носителями рока.

Эти холопы сильной власти, шептуны-сказители, повествующие о зверушках и цветочках, о сволочном уюте на краю смертного рва, глядишь, и впрямь заставят поверить новых жителей земли, что в концентрационных лагерях сидели преступники, что век Ильзы Кох блистательней наших скромных будней. Не из подобного ли источника черпает свое знание о минувшем молодой мюнхенец, объявивший Освенцим социалистической пропагандой?..

О Лескове



авно и преданно любя Лескова, ревнуя к славе тех, кто больше его признан и читаем, я силился понять меру и характер известности этого удивительного, ни с кем не сравнимого русского писателя. Лесков?.. Ну как же, кто не знает Лёскова! Но копни чуть глубже, и ты убедишься, что на слуху у людей или просто имя классика — не из первых — русской литературы, или три-четыре его произведения: «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», иногда этот список обогащается «Тупейным художником» или «Железной волей». Но «Очарованного странника» знают больше по театру «Ромэн», где инсценировка И. Штока около четырех десятков лет не сходит с подмостков, «Леди Макбет Мценского уезда» — по знаменитой опере Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова», запечатленной и на киноплёнке, сказ о Левше — опять же по сценическим воплощениям и прелестному мультфильму, а «Железную волю» и «Тупейного художника» часто читают по радио.

Конечно, среди отечественных книголюбцев найдутся и такие, что читали и перечитывали с наслаждением как названные вещи, так и другие шедевры Лескова, скажем, «Соборян», «Захудалый род», «Совместителей», «На краю света», «Во-

ительницу», «Несмертельного Голована», «Человека на часах», «Мелочи архиерейской жизни». Но это народ особый — любители и знатоки литературы, а я имею в виду рядовых квалифицированных читателей. Для них названия многих произведений Лескова — звук пустой. И в библиотеках мне говорили с грустью, что спрос на Лескова совсем не велик и лишь немногим превышает спрос — на почти — и несправедливо — забытых Григоровича, Писемского, Глеба Успенского, Эртеля.

О великая, избыточная, неприметливая и расточительная от богатств своих безмерных Русь! Ведь каждый из названных писателей в литературе любой другой страны явился бы предметом поклонения, всенародного культа. И дом, где он увидел свет, и любое приютившее его жилье, и школа, где он учился, стали бы местом паломничества, а у подножия памятника, возведенного благодарным потомством, не переводились бы свежие цветы и венки из бессмертников*.

Но «наплевать на бронзы многопудья», лучший памятник писателю — его творения. И тут с Николаем Семеновичем Лесковым дело обстоит весьма непросто. Предположим; что какой-нибудь любознательный и доверчивый читатель, поверив моим заветам, кинется в библиотеку и возьмет, скажем, «Запечатленного ангела», или «Левшу», или «Очарованного страшика» — шедевры зрелого Лескова. Я вовсе не убежден, что он дочитает эти небольшие вещи до конца. Его может отпугнуть и непривычная, вычурная форма сказа, — русский классический рассказ тяготеет к объективному способу изображения, — и цветистая странность речевой манеры, обилие пезнакомых, порой непонятных словечек, то ли истинно народных, то ли, что куда вероятнее, придуманных игристым воображением автора (Лесков и в самом деле был неутомимым изобретателем слов, зачастую пародирую-

* Нынче несправедливость в отношении Лескова устранена: в Орле ему воздвигнут великолепный мемориал.

щих народное словотворчество, что одновременно восхищало и раздражало таких его современников, как Достоевский и Лев Толстой). Непривычно, трудно читать, спотыкаешься чуть ли не на каждой фразе, то и дело в комментарии заглядываешь, а ведь жизнь так коротка, и до чего же обильную информацию можно получить за время, потраченное на лесковский рассказ, с голубого экрана телевизора! Да, все это, несомненно, так, но если читатель сумеет побороть внутреннюю суету, сосредоточиться в душевной тишине и по глотку осушить пряный кубок лесковской прозы, он откроет для себя целый мир невиданной красоты, неповторимых образов, сверкающей фантазии, расписной, причудливый мир, где русский дух, безмерный и в радости, и в печали, где Русью пахнет — и сладко, и горько, и нежно, и дымно, так крепко, забористо пахнет, как ни у одного другого писателя нашей земли, разве что у мятежного протопопа Аввакума.

Да, не просто все с Лесковым, не знаешь даже, с какой стороны подступиться к этому уникальному в своей противоречивости и неохватности явлению великой русской литературы. Столько всего в нем сплелось, скрутилось, смешалось, казалось бы, вовсе несоединимого в одной личности. Столько загадок нагадал о себе этот реакционер, нарисовавший нежнейший образ гарибальдийца Артура Бенши, ненавистника нигилизма, создавший Лизу Бахареву, Помаду и Вансок и боровшийся, по его собственным словам, лишь с теми, кто принизил чистый тип Базарова, этот певец божедомов, апологет русского православия, издевавшийся над официальной церковью и ее архиереями, последователь Льва Толстого, высмеявший и толстовцев и толстовство, этот пловец, умевший плыть только против течения, не поладивший ни с кем из современников и никем не понятый до конца, этот насмешник и зловредник, постигший, как никто другой, духовную силу и красоту русского человека, за что и был вознесен посмертно другим великим народолобом — Горьким...

На известном портрете В. Серова Лесков стар, желт, изможден, болен. Только в темных, ночных глазах — «по зигнице в зенице» — мечут молнии из все еще раскаленных педр грозные очи крутохвата-бурепосца. Он тяжело умирал — с дикими болями в сердце, с мучительными удушьями, но перед исходом закончил «Заячий ремиз», комическую и горестную историю Оноприя Перегуда из Перегудова, заурядного обывателя, загнанного неотвязным страхом перед российской действительностью в желтый дом, где он, защищенный тихим безумием, толстыми стенами и решетками на окнах, умиротворенно вяжет шерстяные чулки для своих братьев-умалишенных.

А на фотографиях, обычно сопровождающих издания Лескова с дореволюционных до наших дней, он взят в пору жизненного расцвета: соколя грудь, крутые плечи, тяжелая красивая голова на сильной короткой шее и пламень в темном, опасном, как у васнецовского Ивана IV, взоре. Это сходство с Грозным — не в чертах и уж подавно не в стати, и в в ы р а ж е н и и — подмечали многие современники Лескова. Он тяжело жил, в вечном противоборстве со всеми и вся: с родными и близкими, даже с собственным прекрасным, умным сыном, с передовыми людьми своего времени и реакционными властями, с Бога не приемлющими и церковниками, с правыми и с левыми, с писателями и критиками, издателями и даже с безмерно любимым Львом Толстым, чью веру исповедовал, а в «Зимнем дне», одном из последних своих рассказов, так ударил по толстовцам и самому учению великого иересиарха, что Софья Андреевна отказала ему от дома.

Поистине нет более сложной и противоречивой фигуры в русской литературе, нежели Николай Семенович Лесков! Когда-то он просто и мудро сказал, что писатель должен «всегда быть около крупных вопросов», и сам неизменно следовал этому правилу. Но оказывается, мало быть около крупных вопросов, чтобы «привлечь к себе любовь пространства,

услышать будущего зов», заслужить добрую славу у современников и чистую, благодарную память в потомстве, важно еще, с какой стороны ты к этим вопросам подходишь, как берешься за них и как решаешь.

Но прежде о том поистине роковом обстоятельстве, что случилось в пору журналистской молодости Лескова и отбросило черную тень на всю его последующую литературную жизнь, исковеркав образ писателя в глазах современников, особенно же в глазах передовых людей русского общества.

Дело было в 1862 году. Петербургским майским днем запылали Апраксины и Щукины дворы. Огонь и до того частенько посещал русскую столицу, и в народе забродили темные слухи, что то не Божий гнев или людская неосмотрительность, а сознательный злой умысел шайки поджигателей. О поджигателях толковали разное, но все сильнее овладело смятенными умами гостинодворское мнение, что виной тому студенты, поляки да всякого рода бунтари против законной власти. Есть все основания утверждать, что и сами пожары, и порожденные ими слухи имели один источник — полицию. Это была крепко задуманная и с размахом осуществленная провокация, которой правительство решило ответить на студенческие волнения и знаменитую прокламацию «Молодая Россия», выражающую уверенность, что России вышло на долю первой осуществить великое дело социализма.

Трещало и билось пламя, пожирая лавки со всеми товарами, захватывая соседние дома и строения, жаркие отсветы плясали на искаженных ужасом и злобой лицах обывателей, и вместе с чадным, смрадным дурманом укоренялось в душах услужливо и к месту подсказанное: студенты подожгли, от них вся смута и непорядки на Руси. И горячая от пожарного огня толпа кинулась бить студентов. В этот мрачнейший час русской жизни раздался молодой, но уже самоуверенный басок начинающего — и весьма счастливо — сотруд-

ника «Северной пчелы» Лескова, непредумышленно намекнувшего на связь пожаров с прокламацией.

Кроме того, Лесков в пренебрежительнейшей манере сверхлояльного гражданина призывал петербургское начальство, сиречь полицию, к решительным действиям.

Будем справедливы: многие прославленные современники Лескова (Тютчев, Тургенев, Аппенков и другие) допускали причастность левых сил к пожарам, но они делились своими тревожными мыслями в письмах, в домашних беседах; понизив голос...

Размашисто подписывая пожарную корреспонденцию, Лесков никак не думал, что ломает хребет своей литературной карьере. И срстется перелом ох как не скоро!

От Лескова отвернулись передовые люди, сам Герцен ударил в колокол...

Трагический пассаж случился с Лесковым не случайно. С молодых лет до седых волос, до самой гробовой доски крутой человек безоглядно спешил предать бумаге, а с тем и широкой гласности любую мелькнувшую у него мысль, любое забравшее его чувство. Я не знаю другого писателя, столь одержимого потребностью мгновенного литературного самовыражения. Но чтоб до конца понять неизбежность его провала, надо разобраться, из какого материала строилась необыкновенная, во всем чрезмерная личность Николая Семеновича Лескова.

Его породила урожайная на первоклассные таланты орловская земля. Будущий писатель увидел свет в 1831 году, в семье небогатой, незнатной и нечиновной. Две горячие крови слились, чтобы подарить миру это грозное чудо. Отец писателя Семен Дмитриевич, попович, сызмала предназначенный к рясе, как положено в сельском духовенстве, восстал против векового порядка и отказался от духовного сана. За что и был изгнан суровым родителем (тип могучего русского человека, которому не то что развернуться, а повернуться

пегде) «без куска хлеба за пазухой халата». Перепробовав ряд служб и в Петербурге, и на Кавказе (здесь он подвизался в управлении питейными сборами), Семен Дмитриевич уволился из казенной палаты, вернулся на родную Орловщину, где вскоре и женился на девице дворянского рода Марии Петровне Алферьевой.

Николай Семенович Лесков, заплативший щедрую дань многим человеческим заблуждениям, был склонен в молодости преувеличивать аристократизм материнского рода, выводя его от знаменитого итальянского драматурга Альфieri. Но, изжив в себе дворянские претензии, как и многое другое, он сам впоследствии смеялся над этой тщеславной выдумкой, доказательно производя фамилию матери от простого русского имени Алфер. И все же не в обычае было, чтобы русская, пусть незнатная, дворянка выходила замуж за человека худородного и бедного. Видать, пезаурядной личностью был поповский сын, если гордая и правная девушка пошла против сословного устава. Мария Петровна и вообще мало походила на обычную уездную девицу, то была натура страстная, глубокая, властолюбивая. Первенец ее унаследовал суровый характер матери, правда расцвеченный живыми красками отцовского начала.

Жили Лесковы без особого достатка, хотя вернувшийся на службу Семен Дмитриевич преуспевал в качестве уголовного следователя Орловской судебной палаты. Недовольный своим положением, он вдруг «забрелил полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать». Приобретая сельцо Панино на Кромском тракте, Семен Дмитриевич руководствовался соображениями экономическими, но истинная и великая выгода этого поступка сказалась совсем в ином, что дало себя знать, разумеется, много позже: маленький Лесков попал в гущу народную, и его самые впечатлительные годы прошли в тесном общении с деревенским людом, с теми, кто кормит Русь. Узнал он густой быт и причудливые нравы мел-

копоместного и среднепоместного дворянства. В сельской заброшенности расцветали весьма замысловатые характеры; к чудачкам, столь любимым писателем Лесковым, принадлежал и его одаренный, томящийся в глухомани отец. Да, не вышло сельского хозяина из Семена Дмитриевича, к тому же частые неурожай, падежи, потравы, грозы и прочие стихийные бедствия не давали ему выбиться из нужды.

Он терял жизненную энергию, слабел душой и телом, утешаясь в неудачах переводом римских поэтов, и в 1848 году скончался, так и не получив грамоты о возведении в дворянское звание по заслуженному им ранее чину коллежского асессора — «невздорному», как тогда шутили, чину, дающему потомственное дворянство. Эту грамоту досталось получать уже Лескову-сыну, что он тоже никак не удосуживался сделать, видимо не слишком ценя свое новоявленное дворянство.

Но все это случилось много позже, а в 1841 году маленького Николая отвезли в орловскую гимназию. Время, проведенное им в Орле, значительно не теми скудными знаниями, какие вдалбливала в головы учеников николаевская гимназия, а запасом новых пестрых жизненных наблюдений. Каким разнообразием типов провинциальной жизни наградила будущего писателя Орел! Младой Лесков, конечно, еще не ведал своей сути, но его великолепный воспринимающий аппарат бессознательно работал на будущего художника, насыщая кладовую памяти множеством наблюдений, колоритными образами губернских пасельников: от безумного губернатора князя Трубецкого до наглых орловских подлетов — почных воров; недаром же говорила пословица, что Орел да Кромь — первые воры. Драгоценной россыпью неповторимых русских характеров наградила Орел Лескова: дворян и мещан, чиновников и священнослужителей, праведников и мошенников, юродивых и хитрецов, буянов и тихих созерцателей, доморощенных талантов и придурков, злодеев и народных печальников. Как цельно, крепко и подробно запо-

нил их всех Лесков, сам еще не зная, для чего ему эта память, запомнил со всеми их словечками, ухватками, ужимками и вывертами, с их смехом и слезами, радостью и отчаянием, высотой и низостью. Потому и занимают Орел и Орловщина так много места в его творчестве...

Со смертью отца оборвалась гимназическая учеба Лескова, а с ней и вообще «положился предел и правильному продолжению учености, — как писал он впоследствии. — Затем — самоучка».

Около трех лет прослужил он в Орловском уголовном суде, а потом уехал на Украину к дяде по матери, известному киевскому профессору терапии С.П. Алферьеву. О гостеприимстве дяди, поселившего племянника во флигеле своего поместительного дома, но забывавшего приглашать к обеду, Лесков сохранил благодарное и недоброе воспоминание, зато вся киевская пора жизни светилась в его памяти особым, певчим и радостным, светом. Древняя столица Руси стала его «духовной родиной». Он прикоснулся тут к университетской учености, прослушав, пусть отрывочно, курсы по криминалистике, сельскому хозяйству и русской словесности, свел близкое знакомство в доме дяди со многими талантливыми учеными, сблизился с университетской молодежью, приобщился к древнему русскому искусству в Киево-Печерской лавре и навсегда прикипел сердцем к иконописи, стал вхож в художественные мастерские, овладел украинским и польским, что впоследствии так обогатило цветистую лексику его сказов, а кроме того, просто жил — по-молодому бурно, расточительно, весело, страстно, бился грудью в грудь с саперными юнкерами на Подоле, любил чернобровых малороссиянок, и все это было прекрасно, ибо не дает осенью плодов то дерево, что весной не цвело.

В Киеве же Лесков женился. Семейная жизнь, не одарив радостью, принесла материальную отягощенность, и Лескову пришлось расстаться с удачно начавшейся, но скупой ка-

зенной службой и взять место у обрусевшего англичанина Шкотта, мужа его тетки по материнской линии, управляющего громадными имениями Нарышкиных и Перовских в Пензенской губернии.

В жизнь Лескова входил новый пейзаж — Поволжье, новый человеческий типаж, новые, сложные отношения с окружающим. Его деятельность была крайне многообразна и требовала постоянных разъездов по стране — вдоль всей волжской магистрали: от Каспийского моря до Рыбинска и дальше, по Мариинской системе, до Петербурга. Он знакомится с бытом башкир, татар и других народностей, населяющих Поволжье, нередко бывает в Москве, сопровождает баржи с переселенцами, ездит на Нижегородскую ярмарку*, заставляющую гореть его жадные, пронзительные глаза, трепетать чуткие поздри, встречается и сходится накоротке со множеством любопытнейших людей из самых разных слоев русского общества. Лесков сам необычайно высоко оценивает тот жизненный запас, каким снабдила его служба у Шкотта: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучал его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но корешиком был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта».

Лесков имел полное право на подобное горделивое утверждение, хотя эта рваная жизнь, отсутствие систематического образования имели свою теневую сторону, не позволив ему выработать четкого мировоззрения, что и сказалось столь болезненно на его литературном начале.

В 1861 году в «Отечественных записках» появилась его публицистика, посвященная «питейным бунтам». Называ-

* До 1917 г. ярмарки проводились в уездном городе Макарьеве, который славился также собором Св. Макария. Вот почему мы читаем у Лескова в одном из его очерков: «Ехали мы к Макарию на ярмарку». Впоследствии ежегодные ярмарки были перенесены из Макарьева в Нижний Новгород.

лась статья весьма сухо: «Очерк винокуренной промышленности (Пензенская губерния)». То не было первой публикацией, еще в киевский период Лесков помещал в местных изданиях заметки и статейки по разным злободневным вопросам, но именно этот серьезный и примечательный опыт принято считать началом литературной деятельности Николая Семеновича Лескова.

В хорошей книге Леонида Гроссмана о Лескове содержится четкая и емкая характеристика начального, журналистского периода его литературной деятельности: «Лесков искренне увлекся оживлением общественных интересов конца 50-х и начала 60-х годов; он и позже считал это время “теплыми весенними днями людей нашей поры”»*. Только с дифференциацией течений и групп, с выступлением деятелей крестьянской демократии, нигилистов, с появлением революционных прокламаций, а затем и с наступлением политических покушений Лесков резко меняет свое отношение к передовой современности. Но пора его литературных дебютов проходила в полном соответствии с общественным оживлением начала 60-х годов, хотя и в строгих границах законности.

В основном направление Лескова можно характеризовать как «легальный» либерализм. Он ратует, в сущности, за проведение в жизнь прокламированной сверху реформы. Никаких уклонов в сторону революционной тактики, никаких отклонений от почтительной лояльности к правительству. Он против «крепостников», но нисколько не за «крестьянские восстания». Он принадлежит к промежуточному слою «благомыслящих людей»**.

Находясь в этом «промежуточном слое», очень легко остушиться преимущественно вправо. Лескову очень не повез-

* Гроссман Л.Н. С. Лесков. Жизнь. — Творчество. — Поэтика. — М., Гослитиздат, 1945, с. 50—51.

** См. там же.

ло, что литературным воспреемником его был довольно известный в ту пору публицист С.С. Громека, сочетавший умеренный либерализм с чрезвычайно успешной государственной службой — от жандармского офицера до губернатора. Трудно было начинающему литератору пайти худшего наставника, прятавшего за либеральной фразой вполне реакционную суть, сочетавшего сочувствие к крестьянской реформе с зоологической ненавистью к пигилистам. Громека крепко попутал Лескова, и дорого стоило ему преодоление тлетворного влияния либеральничающего жандарма. Но придет время, и он по-лесковски хлестко, смачно и убийственно разочтется с Громекой. Впрочем, до этого времени еще далеко, а сейчас, исполненный бодрой веры и надежды, он с пером в твердой и не ведающей устали руке завоевывает журнальный Петербург, куда перебрался в январе 1861 года.

Пишет он много и ненасытно, на самые разные темы, отдавая предпочтение экономике, к чему хорошо подготовлен службой контрагентом у Шкотта. Его выступления по вопросам заселения пустопорожных земель и экономически выгодного способа освобождения крестьян привлекают внимание людей серьезных и компетентных. Молодой журналист быстро приобретает имя.

Его статьи, очерки, даже репортерская хроника — он не брезговал и черным хлебом журналистики, — уже несут отпечаток того страстного волевого напора, что отличает все вышедшее из-под раскаленного лесковского пера. Влиятельный критик Апполон Григорьев проициательно усматривает в первых опытах начинающего журналиста незаурядный беллетристический талант. Сильная и колоритная личность Лескова притягивает к нему людей выдающихся, он дружит со старым Тарасом Шевченко, сближается с Артуром Бенши, будущим гарибальдийцем. Горизонт ясен, дали прозрачны, ничто, казалось бы, не предвещает «пожарной» катастрофы 1862 года. Однако она уже неотвратимо заложена в ячейку времени.

Классовая сущность Лескова была весьма расплывчата, он и сам не придавал серьезного значения своему дворянскому происхождению. В детстве он испытал глубокое влияние русского мелкопоместного быта с налетом известной патриархальности и русского православия, позже, в юности, — поверхностное увлечение разночинным свободомыслием. Он мог пойти и в одну и в другую сторону, но, естественно, подчинился более сильной воле, той, что была заинтересована обратить его в свою веру, то есть Громеке, чей опасливый либерализм рассеялся без следа с ростом революционных начал в русском обществе. И когда наставник резко завернул вправо, туда же повело Лескова, воспитанного в косном быте и густой религиозности. В этот период своей жизни Лесков неотвратимо должен был попасть в душные объятия Каткова. Что и случилось.

Когда немного рассеялся пожарный дым, Лесков понял, что ему уготовано нечто вроде гражданской смерти, и поспешил уехать за границу. «Северная пчела» предоставила своему незадачливому корреспонденту длительную командировку по странам Восточной, Центральной и Западной Европы. Не будем расписывать это путешествие, давшее очень много Лескову в смысле дальнейшего накопления жизненного материала, развития его взглядов на славянство и западный мир, укрепления веры в самобытность и великую созидательную, хоть и таящуюся под спудом, силу русской народности, скажем лишь, что вдалеке от родины, в Париже, Лесков написал — или закончил — свой первый рассказ, вошедший в золотой фонд его творчества, — «Овцебык». Этот рассказ, в котором уже был весь Лесков, в 1863 году появился в «Отечественных записках». Выйди такой рассказ из-под пера другого молодого автора, он наделал бы шуму в литературе, — уж больно выпирал словесно-образным замесом из привычной русской новеллистики. Но рассказ принадлежал Лескову и встретил ледяной прием. Впрочем, этому способ-

ствовала не только дурная репутация автора, но и концовка, где герой рассказа, семинарист-агитатор Овцебык, презревший ризу ради пропаганды народных идей, кончает самоубийством, ибо радикальному реформатору «некуда идти». Тут впервые прозвучало ядовитое словечко, давшее название первому из обличительных романов Лескова. Но до того как появилось «Некуда», Лесков опубликовал горестный крестьянский роман «Житие одной бабы», позже неудачно переименованный — «Амур в лапоточках», и «Леди Макбет Мценского уезда», жемчужину русской рассказовой прозы. И снова народ — литературный — безмолвствовал, один лишь Ф.М. Достоевский, напечатавший рассказ в своем журнале «Эпоха», осмеливался вслух восхищаться этим мастерским и жестоким произведением, исполненным редкостной зловещей красоты. Он был поражен и верностью изображения каторжных типов и сцен — ведь в отличие от автора «Записок из Мертвого дома» Лесков не был на каторге.

Чехов говорил, что писатель должен садиться к рабочему столу с холодным разумом и сердцем. Конечно, он не имел в виду, что художественное произведение рождается из равнодушия, безразличия, что автора не должно трогать происходящее с его героями. Тогда зачем вообще братья за перо? Он подразумевал другое: писатель должен отбросить все эгоистическое, мелкое, не тянуть на бумагу свое раздражение, житейскую неустроенность, обиды, неприятности, несварение желудка, ссору с женой, не сводить личных счетов, не выгадывать чего-либо, кроме самой литературы, надо брать читателя объективной силой и правдой слова, а не провоцировать эмоциональной необузданностью или сплетническими намеками на гнев, ожесточение или хотя бы растроганность. Писатель должен быть чист, бескорыстен, свободен от грубых житейских тяжестей. Вот уж чего вовсе не умел Лесков, особенно в первый период своей литературной деятельности. Он перенес на страницы романа «Некуда» все свои

обиды, личные счеты, семейные неурядицы, идейные разногласия; задыхаясь от спешки, выложил все, что стеснилось в груди. Знакомые узнавали себя на желчью облитых страницах, читатели угадывали за прозрачными псевдонимами известных деятелей, литераторов, в карикатурном смещении — реальные события, происшествия, драмы.

Пренебрегая бурей, поднявшейся вокруг «Некуда», Лесков торопится опубликовать художественно ущербный роман «Обойденные», а затем и вовсе скандальный — «На ножах».

Надо сказать, что даже Достоевский, благоволивший к Лескову, резко отмахнулся от этого романа: «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества». Трудно поверить, но к этому времени уже писались «Чающие движение воды», переименованные потом в «Божедомов» и наконец в «Соборян», под каковым названием они и появились всего через год после «На пожах». И столь же трудно поверить, что много раньше была опубликована смешная и грустная, пряная и задорная, отливающая всеми цветами радуги, истинно лесковская — в нашем нынешнем понимании — бессмертная «Воительница».

Но не следует особо удивляться, что «Воительница» прошла незамеченной, что и великолепные (горьковское слово) «Соборяне» не обезоружили противников Лескова. Он и сам-то еще не знал, что выздоравливает, что пережитый им кризис на исходе, подавно не ведали о том другие, тем более что ненужные вставные образы Варнавки Препотенского, Термососова и Бизюкиной («Соборяне») являли собой все те же знакомые и докучные карикатуры. Тяжело читать тогдашние отзывы на «Соборян» и другие произведения Лескова, прочно вошедшие в сокровищницу русской и мировой литературы, но нельзя обвинять современников Лескова в слепоте и несправедливости. Легко нам все видеть из отступающей дали лет и благодумствовать на покое. Но в ту пору,

когда торжествовала реакция, когда подвергнутый гражданской казни Чернышевский томился в сибирской ссылке, когда казематы Петропавловки уже не вмещали узников и захлебнулось в крови польское восстание, когда лучшие люди настойчиво и мучительно искали новые пути и способы борьбы и разгорался жертвенный пламень в груди самых нетерпеливых и отважных, — писатель, «поигравший» с либеральными идеями и резко отвернувшийся от них, сотрудничающий с ненавистным и презренным Катковым, не мог быть прощен и принят в душу за несколько, пусть и первоклассных, рассказов и высокоталантливый роман, восхваляющий не борцов за идею, а служителей церкви. Вблизи не так-то просто было разглядеть, что протопоп Туберозов — белая ворона среди церковников, недаром же становится он жертвой консистории, и автор возносит его не во славу, а в укор официальной церкви. Но пожалуй, довольно на тему о непризнании, хотя в течение двадцати (!) лет это было трагедией Лескова, его адом.

Важно, что процесс внутреннего оздоровления, начавшийся в глубине кризиса, с «Соборянами» обрел зримую очевидность. В последующее пятилетие, когда были созданы «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Железная воля», «Захудалый род», завершился отход Лескова от реакции, он резко порвал с Катковым и мощно двинулся той столбовой дорогой, что привела его к бессмертию.

Так что же спасло Лескова? Позволю себе снова прибегнуть к длинной цитате. Лесков писал о себе: «Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, на гостомельском выгоне*, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теп-

* Гостомля — узкая речка в южной части Орловщины, откуда пошел род Лесковых.

лым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно в Гостомле, где живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, в опые былые времена отмаливал своими детскими слезами от палок и розог. Я был этим людям ближе всех поповичей нашей поповки, ловивших у крестьян кур и поросят во время хождения по приходу. Я стоял между мужиком и связанными на него розгами... Я не верю, чтоб попович знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика»*.

Народным духом, любовью и близостью к народу и был спасен Лесков. Он увидел в русском национальном характере то, что оставалось скрытым от других крупных художников его поры и более поздних лет: одухотворенную красоту, великую телесную и душевную силу, верность нравственному идеалу. От протопопа Туберозова пошла галерея лесковских праведников, включающая и трогательных инженеров-бессребреников, и эпического Несмертельного Голована, и мужика-страстотерпца, по кличке Пугало, и того солдатика, что покинул пост, дабы спасти утопающего, и смешного бедолагу тульского Левшу, который на жалком своем смертном одре помнил лишь о пользе государства и народа русского.

От дьякона Ахилки из тех же «Соборян» пошли чудесные, чистые сердцем лесковские богатыри, чья сила иной раз расходуетя впустую, но может, коли надо, и горы передвинуть, землю и небо поменять местами, величайшие дела совершить для человечьей пользы, бедаром же Северьянычу «за народ очень помереть хочется».

Все большие русские писатели горячо любили народ, кровавыми слезами обливались над его муками. Но они видели

* Гроссман Л.Н. С. Лесков. Жизнь. — Творчество. — Поэтика, с. 22.

в пароде прежде всего страдательное начало. И это неудивительно — такова была российская действительность. Герои русской литературы, взятые из народа, всегда несчастливы, загнаны, обречены, порой они так и светятся добротой и благородством, но до чего же жалка, беспомощна, бессильна их доброта! Прекрасен и мудр толстовский Платон Каратаев, да ведь мудрость его лишь в смирении, покорности, в особом таланте безропотно и легко подчиняться неумолимому ходу жизни. И у писателей более поздних, нежели Лесков, у зрелого Чехова, Куприна, Бунина простые русские люди, особенно деревенские, изображались только в мученическом венце. Наблюдая российский человеческий пейзаж, Чехов «оптимистично» полагал, что русским людям звезды засветят лет через двести. А чего он мог ждать от своих чиновников, дряблых интеллигентов, сонных мещан и темных мужиков? Единственный огневой человек простого звания у Чехова — это вор и поджигатель Мерик. На какие поступки способны обитатели Растеряевой улицы, так горько и беспощадно нарисованные Глебом Успенским? Новые герои, люди сильные, красивые, страстные, жертвенные, бунтари и борцы, появятся лишь у Горького. Но и сам Горький с великим литературным беспристрастием считал, что не он первый высмотрел таких людей в российских сумерках, а Николай Семенович Лесков. Отсюда и преданная любовь Горького к Лескову, отсюда их прочная, хотя и трудно уловимая рассеянным взглядом, связь. Оба крепко верили в измученный, замордованный, испытанный холодом и голодом, произволом помещиков и чиновников, всех властей предержавших, великий и бессмертный русский народ, в его прочный, охватистый ум, приемчивую, выносливую душу, моральную силу и готовность к подвигу. Такие великаны духа, как протоиерей Туберозов из Аввакумовой породы мучеников, как очарованный Северьяныч, готовый в любой миг скинуть рясу и амуничку надеть, как праведный Голован или угрюмый мужик Пугало с детски чистым серд-

цем, как гениальный Левша, чудаки-искусники и русский патриот, как артельный глава Лука Кириллов, рискнувший жизнью ради веры, — способны на бесподобные и невиданные дела в свой звездный час. И когда смотришь на этих людей, любишь их удалю и силой, верностью нравственному долгу, чистотой и несокрушимостью, понимаешь, почему забитая, нищая, отсталая Россия, как и было предсказано в знаменитой прокламации, первой осуществила великое дело социализма.

Не следует думать, будто обновленному Лескову под ноги стелились только мягкие душистые травы или толстые персидские ковры. Да нет, так в жизни не бывает. Путь его продолжал оставаться жёсток и ухабист. Критики выискивали у него дурные намерения, скрытые подвохи. Показателен пример «Запечатленного ангела», одной из вершин лесковского творчества и сказовой литературы всего мира. Это история о том, как корыстные чиновники «запечатлели» — припечатали казенной сургучной печатью — и конфисковали у раскольничьей артели, строящей мост через Днепр, старинную икону с изображением ангела в древнем Строгановском пошибе и как глава артели Лука Кириллов перешел по цепям недостроенный мост, чтобы эту икону вернуть и «распечатлеть». Рассказ о чуде, вернее, о чудесах, но с тонкой лесковской иронией, ускользнувшей от современников. Чудо, явленное раскольничьим богом, перекрывается в финале рассказа чудом Бога православного, из-за чего все раскольники отказываются от старой веры. Это осудил даже Достоевский, которому рассказ в целом очень понравился, остальные же критики били, по обыкновению, сплеча. И не заметили, что никакого второго чуда не произошло — просто ловкий человеческий обман. Таким образом, раскольников привело к новой вере мошенничество. Злым ядом окропил Лесков мнимо умильную развязку своего сказа, а его бранили за выслушивание перед официальной церковью!

В этом произведении Лесков предстает глубоким знатком иконописи, каким и был в действительности. Увлечение иконописью началось у Лескова еще в Киеве и прошло через всю жизнь. В Петербурге его наставником был художный муж, изрядный живописец, реставратор и знаток «черных досок» Никита Севастьянович Рачейсков, или Рачейский; под его приглядом Лесков и сам собрал порядочную коллекцию икон, хотя широко распространенное мнение о высокой ценности его собрания сильно преувеличено.

Русская религиозная живопись — явление уникальное. Как могло появиться во мраке удельной Руси такое тонкое чудо, где-то предвосхитившее, а где-то и обошедшее европейский Ренессанс, — остается непостижимым. В иконах северного письма читаются ракурсы Эль Греко, их зелено-фиолетовые тона заставляют вспомнить Тинторетто, а изящество, изысканность крылатых гениев Рублева лишь через век с лишним явятся вновь в женских образах гениального Рафаэля. Лесков был первым из больших русских писателей, кто понял несравненную художественную ценность старинной русской иконописи.

Безмерно трудно средствами одного искусства передать красоту и силу другого искусства, но Лескову в «Запечатленном ангеле» удалось так описать иконы, что ты их видишь, пьешь глазами дивную красоту мелкого (то есть подробно) письма «Строганова дела». Громадная изобразительная сила Лескова в полной мере сказалась в «Запечатленном ангеле», здесь же заиграла всеми переливами драгоценная россыпь лесковской речи.

Прием сказа, ведущий в новеллистике Лескова, применен здесь во всем блеске. Повествование поручено каменщику-староверу Марку, смекалистому, сердцем умильному, но несколько робковатому и боязливому. Этот живой, чувствительный, приметливый и неглупый человек, которому, при всей его искренней религиозности, ничто человеческое не чуждо, как нельзя лучше подходит для изложения невероят-

ной, на грани фантастики — хотя разрешается все весьма реалистически, — многомысленной и прехитрой истории. Его речь красочна, временами причудлива, но всегда точна, в смиренном, чуть елейном строе ее сквозит легкая ирония, отчего интонация углубляется. Трудно представить себе, чтобы эту историю рассказал кто-нибудь другой, а не Марк с его страстием к профессиональным, старинным и редким, звучным оборотам речи: «леторосль», «невеглас», «отрясовица»; «взаимоверца», с его «опасливым островидением».

Обычно, когда автор уступает свое место другому, придуманному рассказчику, возникает известная монотонность. Ведь этот условный рассказчик должен пребывать в своем образе, а не подменять писателя. У Лескова такого не случается. Прежде всего потому, что он доверяет рассказ лишь одаренным натурам, благо что ими так богат русский народ в любом роде-племени, чине-звании. Марк такой, как он есть, может быть и размашистым, эпическим — спасение запечатленного ангела; и подробным, «мелким», как строгановская школа, — сцены с юным Левонтием или старцем Памвой — дивный образ, в котором умиление и ирония образуют небывалый, чисто лесковский сплав; и реалистичным в духе «натурального направления» — сцены с англичанами.

К сожалению, критики не поняли и почти не заметили «Очарованного странника». Те же, кто отозвался на эту вещь, за фабульной занимательностью проглядели главное: эпический образ Ивана Северьяновича Флягина, что долгие годы, подщетиженный, просидел сиднем в Рысь-песках, как былинный Илья Муромец на печи, прежде чем принялся богатырствовать. Но сходства никто не заметил, и образ оказался слишком нов, непривычен в державе критического реализма, и многомудрые литературные доки слепо прошли мимо в е л и к о г о. Но читатели, а их у Лескова с каждым годом становилось все больше и больше, с восторгом встретили «Очарованного странника».

Читатели и вообще признали Лескова гораздо раньше, нежели коллеги по литературному труду. Его уже читали и во дворцах и в хижинах, в молодой и старой столице, в губернских городах и уездной глуши, читали по всей России и за границей, а критики еще прикидывали, каким тоном позволительно говорить о грешном Лескове. Не случайно в лучшей и единственно серьезной прижизненной статье о творчестве Лескова автор назвал его «большим талантом», а он и тому был рад. Но стареющий Лесков мог с полным правом сказать, что с читателями его уже не поссорить.

Рядом с «Очарованным странником» по зрелому, уверенному мастерству стоит «Левша» — сказ о том, как тульские мастера англицкую блоху подковали.

Тут что ни строка — фейерверк, что ни образ — открытие. Гениальный Левша с выдранными волосьями, в тощей груди которого бьется чистое и верное сердце русского патриота, «мужественный старик» атаман Платов, растерявший на дворцовом паркете гордость бесстрашного воина, царь Николай — самовлюбленная дубина — и главные, и второстепенные персонажи поражают искусством словесной лепки. А каким дивным языком поведена эта история, сколько тут замечательных словечек, изобретенных неисчерпаемой фантазией автора! Как освежен, взбодрен русский язык, недаром же многое из «Левши» перешло в живую разговорную речь. Насколько были бы мы беднее без «клеветона», «нимфозории», «буреметра», «потной спирали», «долбицы умножения», «мелкоскопа», «тугамента», «Аболона Полведерского», «графа Кисельвроде» и «морской свишки», приключившейся с Левшой от корабельной качки!

Сам Лесков особенно ценил концовку сказа, где умирающий Левша — его пьяненького «на парат уронили» — просит сообщить государю, чтоб ружья не чистили толченым кирпичом, а чистили бы по англицкому способу, подсмотренному им в Лондоне. Но военный министр, граф Чернышев,

скрыл завещание умирающего, и от этого в Крымской войне большой конфуз вышел.

В своем с поверхности развеселом сказе Лесков беспощадно издевается над тупостью, жестокостью, непросвещенностью николаевского режима и с огромной любовью изображает простого человека, самородка Левшу.

И до конца своих дней останется Лесков певцом народной русской красоты и непримиримым врагом всех, кто эту красоту унижает, будь то недостойные пастыри, мздоимцы-чиновники, мещане, охранители беззакония.

Конечно, Лесков не примкнул к революционным демократам, но фронт врагов его переменился. Теперь на него кидались сподвижники Победоносцева, церковные мракобесы, реакционеры всех рангов, это мешало жить, но душу не ранило.

Пусть не сетует читатель, что я оборвал рассказ о земном пути Лескова на половине. Но событийная ткань его жизни после возвращения из-за границы представляет интерес лишь для специалистов-литературоведов. Ибо ничто уже в его внешнем существовании не играло сколько-нибудь важной роли в формировании личности, как некогда Орловщина, или киевская пора, служба у Шкотта, или начальный Петербург со страшным фиаско, или первая поездка за границу. Он будет еще наезжать в Киев и в Москву, проводить лето в Оренбурге и в Мерекюле, на Балтийском море и петербургских дачах, совершит новые поездки за границу, будет служить по министерству народного просвещения и с громким, им же самим вызванным скандалом расстанется со службой, будет встречаться со множеством людей, до конца дней предпочитая конфликтный характер отношений, будет рвать последние связи с родными, расходиться с женой, сдавать сына в солдаты, удочерять богоданную сиротку, драться с остзейскими немцами в порыве национальной гордости, по все это, найдя то или иное отражение в литературе, нейтрально к

внутренней работе, которая вывела его из душевного и литературного кризиса и определила дальнейшую жизнь духа.

Было лишь одно великое событие в жизни Лескова поздней поры — знакомство с Львом Толстым, личностью и учением которого он увлекся со свойственной ему необузданностью. Лесков ездил в Ясную Поляну, переписывался с Толстым, участвовал в его народных изданиях. В оздоровлении его мятущегося духа нравственная проповедь Толстого сыграла значительную роль. Лесков так и не научился себя обуздывать, но стал думать о необходимости обуздания, стал шире и беспристрастнее относиться к окружающим и строже к себе самому, даже чуть было не заделался вегетарианцем. Но и в отношениях с Толстым Лесков остался Лесковым, органически не способным плыть по течению, подчиняться избранной догме.

Так, до конца, в великом борении пребывал его неукротимый дух. Лишь перед лицом смерти осадил он себя, словно бешеного скакуна, и в просветленном смирении завещал: «На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал». Лесков скончался 21 февраля 1895 года, в Петербурге. Воля покойного была выполнена...

Лесков стал знаменит еще при жизни. И все-таки лишь золотое слово А.М. Горького отвело Лескову подобающее место на Олимпе русской литературы. «Как художник слова Н.С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров...»

Лесков бесконечно расширил возможности рассказового жанра. Мы найдем у него и объективную манеру изложения, ведущую в русской повеллистике, когда автор-рассказчик как бы самоустранен, что характерно для Тургенева, Че-

хова, Эртеля, Куприна. Но особенно успешно применял он с к а з, где решающее значение приобретает личность человека-рассказчика. Иногда им может быть и сам автор, сбрасывающий личину беспристрастия и предстающий в своей подвижной, заинтересованной, сомневающейся и сопереживающей, словом, живой человеческой сути. Но чаще эта роль отводится какому-либо иному лицу: или главному герою, или второстепенному участнику событий, лишь бы человек был оригинальный. Выбор сказителя очень важен, он дает окраску всему содержанию, и тут Лесков никогда не ошибался. История Очарованного странника очень много проиграла бы, поведай нам ее не сам Северьяныч в своей неторопливой, простодушной и рассудительной манере, чудесно оттеняющей невероятность происходящего. И конечно, никто, кроме самой воительницы Домны Платоновны, не смог бы так образно и смачно поведать о смешных и горьких злоключениях петербургской сводницы.

Лесков поднял на высоту серьезной литературы «святочный» рассказ, ютившийся до него на задворках прозы. Считалось, что единственная цель святочного рассказа — сперва испугать, а потом обрадовать благополучной концовкой малого и большого простодушного читателя в канун веселого и таинственного праздника Рождества. Лесков подчинил святочный рассказ серьезным нравственным целям, ничуть не лишив его занимательности. Достаточно сказать, что «Пугало», с дивным описанием мелкопоместного быта и величественной фигурой хозяина постоялого двора, взявшего за себя дочь палача, — святочный рассказ, как и другой шедевр Лескова — «Зверь».

Лесков насытил мощным драматизмом очерковый рассказ («Леди Макбет Мценского уезда»), возвысил рассказ-анекдот («Голос природы»), рассказ-фельетон («Совместители», «Дама и фефела») и рассказ-притчу («Скоморох Памфалон», «Прекрасная Аза»). Юмористический рассказ в рус-

ской литературе до Чехова считался вторым, даже третьим сортом, полагаю, что страшноватую юмористику Достоевского не стоит рассматривать в этом ряду, — но Лесков написал «Железную волю», очень смешной рассказ о некоем бодром чужеземце, приехавшем завоевать Русь, да подавившемся блином, — и ввел Золушку во дворец.

Он вдохнул новую жизнь в роман-хронику, показав, каким увлекательным, драматичным, игристым может быть этот вроде бы по самой природе вялый жанр: «Соборяне», «Захудалый род», «Старые годы в селе Плодомасове»...

Но конечно, главная заслуга Лескова в том, что на Растеряеву улицу российской словесности он привел таких героев, как Туберозов, Ахилла, Флягин, Голован, Левша, как Тупейный художник или Доримедонт Рогожин — русский Дон-Кихот, — праведников и богатырей. Не видны были до Лескова эти русские самоцветы, а без них, как говаривал писатель лесковского подобию Андрей Платонов, «народ не полон...».

«...Так хорошо и страшно»



бумагах моего покойного отчима писателя Я.С. Рыкачева я нашел любопытную записку, посвященную Льву Толстому. Однажды за вечерним чаем в Ясной Поляне Толстой прихлопнул комара на лбу своего гостя, друга и последователя, знаменитого Черткова. Громкий шлепок заставил Черткова вздрогнуть не только от неожиданности: алое пятнышко крови из раздавленного комара испачкало гладь многомудрого чела. Несвойственный воспитанному и сдержанному хозяину жест и разозлил самолюбивого Черткова, и крепко озадачил. Он догадался, что Толстой бес­сознательно дал выход какому-то тайному и, видать, давно назревшему раздражению против своего ревностного при­верженца, и решил проучить графа. «Боже мой, что вы на­делали! Что вы наделали, Лев Николаевич! — произнес он с таким страдальческим выражением, что Толстой не на шутку смутился. — Вы отняли жизнь у божьей твари! Разве дано нам право распоряжаться чужим существованием, как бы мало и незначительно оно ни было?» Словом, Чертков весьма ловко, убедительно и безжалостно обратил против Льва Николаевича его же собственное учение. Толстой за­жалел погубленного комара и тяжело омрачился. Чертков

почувствовал себя отомщенным. Каково же было его разочарование, когда неотходчивый Толстой на удивление быстро повеселел. Поймав его недоуменный взгляд, Толстой с лукавой улыбкой пояснил: «Все, что вы говорили, святая правда. Но нельзя так подробно жить»...

Запись не содержит никаких ссылок, и я не знаю, насколько достоверна эта история, но глубинная ее правда несомненна. Это так великолепно и так по-толстовски, что душу распирает от восторга. С кем вздумал тягаться Чертков! Неужели он не понимал, насколько Толстой больше толстовства? В этой маленькой истории отразилась великая душевная свобода Толстого, которого не загнать было ни в какие ловушки.

Страшным голодным летом 1865 года Толстой писал Фету, что у него на столе розовая редиска, желтое масло, поджаренный мягкий хлеб на чистой скатерти, а в саду солнце и тень, на молодых дамах кисейные платья, а кругом голод глушит поля лебедой, порошит землю, обдирает пятки мужиков и рвет копыта у скотины... «Так страшно и даже хорошо и страшно», — признавался Толстой. Никто в целом мире не посмел бы сказать такого о голоде, а Толстой посмел. Его «хорошо» полно бездонного смысла: хорошо, потому что это библейское, Апокалипсис, а не повседневная пошлость с газетками, силетнями, политикой, мелкими страстишками и крупными подлостями, хорошо, потому что может привести к гибели и к рождению чего-то не бывшего, хорошо, потому что тут дышит судьба, и еще по многому, чего не выразишь словами, ибо всякое слово неполно.

Необъятна душа Толстого. Нет ничего ни в человеческом, ни в Божовом владении, на что бы он боялся посягнуть. К чему угодно он спокойно протянет свою жилистую мужицкую руку, возьмет и поднесет к страшным всевидящим глазам. Породить такую громаду могли лишь неохватные просторства русской земли, где льды и тропики, тундра и пус-

тыня, заоблачные горы и не ведающие об истоках реки и где встающее на востоке солнце видит на западе свой затухающий след.

Эрнест Хемингуэй, которого не заподозришь в недостатке смелости, говорил своему другу Хотчеру, что «выходил на ринг» против Тургенева и против Стендаля и не испытал горечи поражения. «Но против Толстого, — добавил он, — я не выйду. Не выйду, — повторил он с каким-то странным восторгом, — ни за что не выйду против Старика!»

Да, против «Старика» никому не продержаться и раунда.

Андрей Платонов в театре



Андрея Платонова хоронили в начале января 1951 года на Ваганьковском кладбище в сыроватый, какой-то не январский, а скорее мартовский, с редкими пробоями синевы и света день. У рыжей отверстой могилы, над гробом, где лежало обобранное болезнью, неправдоподобно узенькое, худое тело — крупен и мощен оставался лишь высокий чистый свод лба и темени, — писатель Вячеслав Ковалевский, с темными, выплаканными глазами и детским затылком, говорил ясным, твердым от скорби голосом:

— Андрей Платонович!.. Андрей Платонович!.. — это звучало, как зов, который может быть услышан, да и был, верно, услышан — кто знает? — Андрей Платонович, прощай. Простое русское слово «прощай», «прости» я говорю в прямом смысле. Прости нас, твоих друзей, любивших тебя сильно, но не так, как надо было любить, прости, что мы не помогли тебе, не взяли на себя хоть часть твоей ноши. Андрей Платонович, прости!..

Мне вспомнились похороны Андрея Платонова, когда мартовским, звенящим капелью вечером, в канун Международного женского дня, я возвращался с премьеры «Волшебного существа» — пьесы А. Платонова и Р. Фраермана, по-

ставленной в Филиале Малого театра, что на Большой Ордынке.

Волшебное существо — это мужчина и женщина, дитя и старец, офицер и солдат, это пивная фея, это сержант в юбке, это девушка-партизан, которую немецкие приспешники много били по голове, это женщина, истомившаяся до ранней старости во вражеской неволе, это генеральская пиявка — до старости лейтенант, это смертельно страдающий и гибнущий в любви к погибшей жене боевой генерал, словом, это каждый, в ком раскрылось чудо человека.

«Волшебное существо» — сказка, если подходить к произведению с обычными житейскими мерками, но для Платонова это чистейший реализм. Тут я должен отвлечься для пространной оговорки. Да, пьесе отдавали труд разума и сердца два автора: Платонов и чудесный писатель Р. Фраерман, создатель тонкой и пезной «Дикой собаки Динго». Но если говорить о словесных одеждах пьесы, то остается один Платонов, другой автор почти не ощутим, говорю это со всей ответственностью, ибо сужу о пьесе не на слух, а по внимательному, неоднократному чтению глазами. В царской водке едкой платоновской речи растворилось золото фраермановского слова. А ведь слово не есть что-то внешнее к содержанию, оно само содержание, и потому пьеса принадлежит образному, а стало быть, и философскому миру Платонова. Смертельно, безысходно страдающий от любви генерал не раз появлялся в прежних произведениях Платонова, только тогда он был или инженером, или мастеровым, или сельским человеком; пивница Любовь Кирилловна возникла из той же пены, что и Афродита, героиня одноименного рассказа; почти по всем военным рассказам Платонова прошагал мудрый солдат Иван и прибрел в эту пьесу вместе со старой крестьянкой Никитичной, и с рассуждающим адъютантом Ростопчуком, и с Наташей, которая сродни платоновским, старым от страдания детям, особенно же девушке Розе в рассказе того же названия,

да она и есть Роза, из которой «скорый Гаис» делал «полудурку», и так же, как Роза, бежит она от немцев через мишное поле, но не гибнет. Даже наиболее «общий» генерал-лейтенант медицинской службы Череватов, этот страшный доктор, отвергающий все микстуры, порошки и пилюли, и лечебный режим, и всяческое воздержание, мудрый, душевный знахарь, оказывается в полном подчинении у Платонова, когда говорит свое самое заветное: человека можно исцелить только другим человеком, а человечество не в дали неопределенной множественности, а всегда рядом с тобой, у твоего локтя.

И потому, испытывая глубочайшее почтение к творцу «Повести о первой любви», умиление перед долгой и чистой жизнью его таланта, я должен буду чаще называть имя лишь одного из авторов пьесы, ибо так следует по справедливости.

Объединились же эти два художника и два добрых друга в литературном деле, им обоим близком и важном. Во время войны вошла в творчество Андрея Платонова тема солдата, обязанного умереть за всех малых и слабых на земле: за детей, стариков, женщин, а также за других солдат, которым еще не подошел срок заслонить своей жизнью добро от зла. И Фраерману близка тема высшего подвига. Он написал повесть о сапёре, Герое Советского Союза Сергее Шершавине, который в немецком тылу взорвал самого себя вместе с железнодорожным мостом. По закону невероятности — если такой закон существует — он телесно уцелел, попав в мертвую точку взрывной волны; слепой, глухой и безгласный, он сквозь мишное поле и вражеские позиции приполз к своим...

О чем же пьеса «Волшебное существо»? О том, как военные и гражданские пленные бежали из немецкой неволи и во время бегства погибла Мария Петровна Климчицкая, жена генерала, воюющего на этом участке фронта; она, конечно, не погибла, не совсем погибла, но так представилось солдату Ивану и пивной женщине Любове Кирилловне; эта пьеса о том, как безмерно страдал, утрачивая личность в обессиле-

вающей муке, ее муж, и как он начал исцеляться с помощью другого человека — девушки Наташи с большой от немецких побоев головой, и как он снова встретится с женой, и как, благодарный Наташе за ее кроткую, чистую любовь, сильный своей очнувшейся любовью к чудом спасшейся и никогда не умиравшей в нем жене, он идет дальше уничтожать фашизм; и о том, что человек — волшебное существо, а человечество способно исцелить себя от всех зол, если будет сознавать себя человечеством.

Даже в таком беглом пересказе ощущается известная условность и нарочитость происходящего. Если б я изложил содержание пьесы подробнее, это ощущение еще усилилось бы. Кстати, не подготовленного знанием Платонова зрителя сбивает с толку то, что представляется одним наивностью, другим — небрежностью, третьим — сказочной условностью.

Узел сюжета: генерал рвется на фронт после госпиталя не только ради боя и уничтожения врага, но и ради того, чтобы предать земле тело своей жены, погибшей в ничьей земле во время бегства из немецкой неволи. То, что она осталась непогребенной, томит генерала такой же великой скорбью, как и сама ее гибель. Это не дает покоя и матерому солдату Ивану Аникееву, религиозному человеку не в суеверном, а в нравственном смысле слова. Это не дает покоя и пожилому адъютанту, цинику в речах и добряку в поступках. В эту заботу вовлекается и девушка Наташа, невеста генерала. Достается старенькое, но еще нарядное платье покойной, и солдат Иван, а потом Наташа гладят его утюгом, приобретаются у соседа туфли-лодочки по размерам ноги покойной. Но что собираются они обрывать для могильной постели? Ведь со дня гибели Марии прошло много времени: генерал и в госпитале от ран лечился, и душой переболел, а события не зимой происходят, когда мороз и снег могут сохранить тело в неприкосновенности, а в летнюю пору. Авторы вроде бы не пытаются придать своей истории даже оттенка достовернос-

ти. Что ж, можно и так: в сказке мертвая царевна в целости и сохранности годы дожидается живительного поцелуя принца. А. Платонов писал сказки, вернее, обрабатывал прекрасные творения русского фольклора о Финисте Ясном Соколе. Но здесь нет и намека на сказку. В одном из романов Платонова девочка просит отдать ей кости давно умершей матери, просит с нежностью и болью, как просила бы о свидании с матерью живой, она хочет обнять материнские кости, прижать к себе и спать с ними, ощущая родную, сладкую близость. Те, кто внимательно читал Платонова, знают, что для него нет ничего противного, непривлекательного или неаппетитного в человеке, никакие отходы жизни организма не вызывают в нем отвращения. Он не язычески, не эллиски любит человека, а как химик. Он любит и уважает изначальные элементы, из которых построен человек: фосфор, кальций, H_2O , разные соли, кислоты. Безмерное уважение к органической жизни заставляло Платонова любовно принимать все, на чем есть знак человека. Что-то осталось от умершей, пусть вперемешку с глиной и травой, и это «что-то» должно быть обряжено, хоть завернуто, в красивое платье и предано земле с гражданской и воинской почестью, ибо для Платонова настоящий человек всегда воин.

Так же не сказочна, а реальна в платоновском смысле и необыкновенная способность героев пьесы в нужный момент оказываться в сборе под одной кровлей. Мелочи внешних обстоятельств, неестественные на трезво-близорукий взгляд, так ничтожны, незначащи, что им просто не следует придавать значения. Их надо принимать как данность, как условия высокой игры, чтобы отдать все силы поискам главной тайны. По той же причине генерал-лейтенант медицинской службы не знает, что его племянница, пусть одна из семи, была в партизанском отряде, затем в фашистском застенке, подвергалась пыткам и бежала из неволи в сумраке полузабытья. Не пытаются авторы и объяснить, как уцелела Мария

Петровна, что с ней было все месяцы со дня ее мнимой гибели, почему она так долго шла к избе, неподалеку от которой ее сразило вражеским огнем. Для Платонова спасение человека силой чужой любви, чужого томления и ожидания — не что само собой разумеющееся, не требующее объяснений; если бы Мария Петровна, которую так ждали и любили, погибла — это было бы для Платонова нарушением элементарной жизненной правды, грубым отступлением от реализма.

Помню, еще на вечере, посвященном Андрею Платонову, в подмосковном городе Жуковском я убедился, насколько точно и глубоко понимает режиссер А.Б. Шатрин существо пьесы. Он ухватил самую суть платоновского диалога, где реплика героя как бы заключает работу раздумья. В подавляющем большинстве современных отечественных пьес диалог представляет собой или имитацию размышления, или набор готовых «за» и «против», которые, как клишированные названия газетных разделов, достаточно взять с полки и уложить куда следует. Понятно, что диалог «Волшебного существа» требовал от актеров отказа от привычности, переосмысления приемов, навыков, интонаций. И тут А. Шатрин, режиссер милостью Божьей, потерпел поражение, он столкнулся с такой косностью, которую, за редким исключением, побороть не смог.

Поначалу актеры ведут «странный», непривычный диалог так пугливо, робко и приглушенно, словно опасаются, что их освищут или, хуже того, закидают гнилой картошкой. Затем, постепенно уверовав, что расправы не будет, они начинают вести себя свободнее, смелее, но это лишь кажущаяся смелость. Это смелость человека, сломя голову кидающегося в укрытие. Они пытаются уйти под защиту привычных штампов, от музыки сфер — к исконному бытовизму. Одаренная актриса О. Хорькова прямо из кожи лезет вон, чтобы подчеркнуть житейщину в мистической пивнице Любове Кирилловне, она словно пытается убедить зрителя: да ниче-

го страшного, вы не раз видели такую вот вульгарноватую, крикливую, развязную служительницу торговой точки. Но вот как Любовь Кирилловна раскрывает себя генералу: «...я не знаю, как надо жить, я отвыкла в рабстве... Я прошу вас, я прошу вас, Александр Иванович... *(Все более растроганно.)* Я так хочу теперь жить на свете! У вас здесь так хорошо! *(Осматривается в блиндаже.)* И странно мне, и страшно, как будто я рождаюсь снова и боюсь чего-то, и хочется мне жить; но я боюсь опять печально умереть, как я долго умирала у немцев. Как я похудела там, у меня ноги стали, как палочки. Аникеев правду сказал, что я тошкопожка — я никуда не го-жусь. И мне так стыдно, что я такая стала, что я позволила себя замучить. Сердце мое тоже слабое стало, оно скучало и долго болело... Простите меня, Александр Иванович...»

И как же не соответствуют этому тексту бытовые интонации О. Хорьковой!

Даже замечательный артист П. Константинов с бедным упорством форсирует комическое в солдате Иване Аникееве. А между тем старый солдат — человек не только глубокой серьезности, мудрости, но и высшей совестливости. Он наделен прочным достоинством, которое не дано умалить ни лейтенанту, ни генералу, ни самому архистратигу. У П. Константинова Иван — смесь престарелого Теркиша с Шельменко-денщиком, в нем то и дело мелькает что-то шутовское, развязно-денщицкое. А все потому, что большой актер тоже заигрывает со зрителями, чтоб они узнали знакомое, петревозное, привычное и помиловали его, грешного.

Не по силам Г. Куликову оказался пожилой адъютант Ростопчук, посетитель большого и горького жизненного опыта, наполнившего его сердце смесью тихого отчаяния и самоотверженной доброты. Ограничусь одним примером. Когда в доме выздоравливающего от ран, но большого духом Климицкого затевают танцы, следуя предписаниям генерала-знахаря, Ростопчук, охваченный тоской по женщине, говорит:

«Я тоже хочу сейчас чего-нибудь конкретного в форме туловища», кричит «Иван!»... — и, усадив солдата на свое место за роялем, чтобы тот играл вальс, кидается к Любове Кирилловне. Если б Куликов проникся духом пьесы, он понял бы, что для Платонова, с его обычаем видеть вещи и явления в их изначальности, реплика Ростопчука не содержит ничего шуточного. Недаром же произносит он ее спокойным, обычным голосом, а потом кричит: «Иван!» Для Ростопчука, затомившегося в мужском одиночестве, желанно женское туловище со всем населяющим его наслаждением, с его осязаемой формой, блаженной тяжелой материальностью. Но Г. Куликову стыдно это говорить всерьез, и он почти истерически прокрикивает всю фразу, вызывая невеселый смешок в зрительном зале и задыхаясь от нехватки воздуха на зове: «Иван!»...

Не стесняются своих ролей артистки Г. Кирюшина — Мария Петровна и Ю. Бурьгина, играющая сержанта ПВО, молодую, радостную, красивую Варвару, оказавшуюся все же не тем человеком, которым можно исцелить большое сердце.

Генерал-лейтенант медицинской службы Череватов не стал завершенным образом в пьесе, он остался в стадии сырья. В нем приметна авторская разноголосица. Попытка бытового объяснения небытовых свойств характера противоречит строю пьесы. Но задуман образ интересно и проникновенно. С непосредственностью гениев авторы походя открывают лечебный метод в психиатрии, о котором стало известно много позже из книги Поля де Крайва. Один американский врач додумался лечить не большие души безумцев, а их поведение. Он исходил из такой мысли: если душевнобольные станут вести себя как нормальные люди, их не нужно изолировать, они смогут жить в обществе. На меня эта теория и удачливая практика производят жутковатое впечатление: внутри черепной коробки свирепствует огонь безумия, а система внешних проявлений, как у порядочного обывателя. Конечно, окружающие от этого в выигрыше, ну а большой?

Быть может, скрытые муки страшнее?.. Медицинский генерал предлагает для Климчицкого нечто подобное: танцуйте, развлекайтесь, испытывайте малые бытовые неудобства, сытно ешьте, пейте побольше пива, живите, как самый обычный бытовой человек. Надо сказать, Климчицкий вскоре отвергает это лечение и даже прогоняет Череватова, хоть тот и старше по званию. Но, к чести Череватова, у него есть в запасе другое, мудрое, о чем я уже говорил: врачевать страждущего человека другим, прекрасным человеком.

Вообще же генерал Череватов с его странными провалами сознания, клинической неприметливостью к близким существам, похоже, сам нуждается в срочной медицинской помощи, но виноваты в этом авторы, не давшие ему цельной души, единой сути. Облучив аморфный образ своим редким актерским обаянием, В. Хохряков спас его для спектакля, хотя полностью снять ощущения, скажем мягко, непрозрачности и ему не удалось.

Молодая артистка Н. Корниенко в роли племянницы Череватова показала, как надо играть в пьесе «Волшебное существо». Свежая, не покореженная рутинной, способная просто и доверчиво отдаться новым впечатлениям, артистка вошла в девушку Наташу и стала ею. Когда она рассказывает свою страшную историю, как в фашистском застенке ее били по голове, чтобы сделать не живой и не мертвой, а так, полудуркой, тенью человека, наводящей ужас на оккупированный народ, с ней творится то, что в медицине называют — «нервная буря». Эта буря — в голосе, во взгляде, в жалкой и прекрасной улыбке, в неустанном движении бледных рук. То, что делает здесь артистка, точно, как наука. Вся же роль в целом — настоящее и новое искусство.

К великому сожалению, этого никак не скажешь о главном герое пьесы — генерале Климчицком в исполнении артиста В. Телегина. Я помню В. Телегина худым, юным, он играл яростного, огневого Басманова в пьесе А. Толстого

«Великий государь». Прошли годы, В. Телегин набрал много тела и стал, как говорится, фактурным актером. Насколько я понимаю, это значит — актером крупной стати, с лицом выразительной лепки. «Фактуре» обычно соответствует голос: баритон с глубиной и бархатом. Сыграв умирающего писателя в пьесе С. Алешина «Палата», Телегин приобрел многочисленных поклонников и еще больше поклонниц. Этот интересный и обреченный герой, храня завидное присутствие духа вблизи своей условной смерти, изрекает общие места, чуть смещенные банальности житейской мудрости, и, узнавая под туманом общеизвестные нехитрые истины, зрители ликовали, поскольку герой не обременял их сложными, тревожными загадками. Браться с таким арсеналом средств за роль Климчицкого — все равно что идти на мамонта с дробовиком. Естественно, актер свел Климчицкого к знакомым штампам. Это тот же алешинский интересный мужчина, фатоватый страдалец, кумир женщин, до боли неуместный в пьесе «Волшебное существо», враждебный всему ее словесному и образному строю. И неудивительно, что с Телегиным — Климчицким происходит страшное. Когда в конце он говорит свои главные слова, объясняющие, почему он, столь преданный жене, все же назвал невестой девушку Наташу: «Я любил ее, чтобы не умереть от тоски по тебе», зал отзывается дружным хохотом, понимая эту фразу, как ловкую увертку опытного бабника. Да и как поверить зрителям в подлинность страданий генерала, когда он так завидно «фактурен». А ведь в горе люди худеют, перегорают плотью. «Тоска изгрызла», «кручина извела», — говорят в пароде. Да и не интересничают так страдающие люди, даже в генеральском звании, не бросают победно-томных взглядов на женщин, не носят столь щеголеватого тонкого сукна шинель.

И еще раз пережил я на спектакле боль и ужас. Когда генерал говорит своей недавней невесте, вновь уходящей в туман собственной отдельной судьбы: «Вы своим сердцем при-

крыли меня», сидящий за мной мордастый паренёк прислул в ухо своей даме, которую держал пятерней за теплоту подмышки: «Телой прикрыла!» — и по залу из нашего сектора растекся дурной смешок. Зрители вновь не поверили актеру.

Я не спимаю вины с В. Телегина. Воспитанный на безликом языке многих наших пьес, он не знал, как произносятся такие слова. И все же его вина вторична. Первый грех на нас, литераторах, работающих в драматургии. Мы виноваты и перед артистом Телегиным, и перед зрителями, отвадив их от высоких, пежных и страшных слов. Актеров мы не научили произносить такие слова, зрителей — слышать и понимать. Как писал Станислав Ежи Лец: «Там, где все поют в унисон, слова не имеют значения». «Волшебное существо» застало артистов и зрителей врасплох, не подготовленными, не настроенными на встречу с большим, необычным современным искусством. На «Гамлета» или «Бесприданницу» зрители идут, подкрутив колки душевных струн, сюда же явились в доверчивом разброде. Их можно было победить только мощью совершенства. А этого не случилось.

А.Б. Шатрин говорил: я не жду аплодисментов, шумного успеха, да и не нужны они. Пусть каждый зритель в тишине сердца переживет увиденное. Если люди просто задумаются, выходя из театра, наша задача выполнена. Положа руку на сердце, надо признать, что пока достигнута лишь первая часть задания: отсутствие шумного успеха.

Честь и хвала театру, взявшему на себя нелегкий труд стать первооткрывателем Платонова-драматурга, честь и хвала мужеству режиссера и растерянной отваге артистов — все-таки «они были первыми», а это немало. Если же они во многом еще не преуспели, то это скорее их беда, нежели вина. И потому я, работник цеха драматургии, кончаю тем же, с чего начал:

— Андрей Платонович, прости...

Ничто не кончилось



Весной 1979 года я ездил с литературными лекциями по американским университетам. В воскресный день в университетском городке Лафайете (штат Индиана), в доме профессора-слависта, где я останавливался, после раннего утреннего завтрака хозяин развернул многостраничное приложение к одной из столичных газет и с алчным видом погрузился в статью, занимавшую целую газетную полосу. Через стол я не мог разобрать ни названия статьи, ни тем паче убористого текста, но большой шаржевый портрет посреди статьи показался мне знакомым — по американской газетной традиции, весьма серьезные, вдумчивые статьи, посвященные знаменитым писателям, ученым, общественным деятелям, принято сопровождать не фотографией, а шаржем, карикатурой, будь это хоть сам Эйпштейн, хоть Томас Манн или Дайсану Икеда. Наверное, это делается для того, чтобы рядовой читатель не чувствовал себя приниженным чужим величием. Хочу поточнее выразить свое впечатление от еще не угаданного портрета: как только я увидел его издали, что-то нежное случилось с моим сердцем — толчок, легкое сжатие, и теплота разлилась в левой части грудной клетки. Этот огромный, преувеличенный

карикатуристом сократовский свод черепа, а под ним небольшое терпеливое крестьянское лицо и пронизательный прищур цепких, серьезных глаз, смотрящих в самую глубину, конечно же — Андрей Платонов!

Популярное воскресное приложение газеты выходит в миллионах экземпляров. В миллионах американских домов самые разные люди: профессора, ученые, студенты, служащие, рабочие, фермеры, домашние хозяйки, жители северных и южных штатов сказочной Калифорнии, суровой Юты, скалистого Колорадо, равниной Оклахомы, степного Техаса, багрово-лиловой, пустышной и таинственной Аризоны, на Миссисипи, Потомаке, Гудзоне — вглядываются в простое и прекрасное лицо Андрея Платонова, чью значительность и силу ничуть не приизил карандаш художника, и читают о нем слова, исполненные удивления, восхищения и напряженной мысли, ибо непросто постигнуть такое диво дивное, как Андрей Платонов.

И мне вспомнился далекий печальный январский день 1951 года, когда на Ваганьковском кладбище мы хоронили Андрея Платонова. Казалось тогда, что все кончено для Платонова и ничего уж больше не будет.

Нет, не кончилось, все только начиналось — признание, слава, больше — бессмертье. Платонова издают, переводят на все языки мира — среди множества изданий выделяется и совершенством оформления, и качеством перевода (а своеобразнейшего стилиста Платонова так трудно переводить!) двухтомник, недавно выпущенный в ГДР; ему посвящаются научные сессии; о нем вышла хорошая книга В. Чалмаева, написано множество работ и у нас, и за рубежом (в США по автору повести «Происхождение мастера» защищено более десятка диссертаций), телевизионная передача, сделанная в помощь изучающим его творчество, покинула третью программу и прочно обосновалась в остальных — для неспециалистов; его экранизируют, инсценируют; ему усиленно под-

ражают молодые и даже не слишком молодые писатели. Все это радует, за исключением последнего.

Подражание Чехову, или Бунину, или любому другому русскому классику не так опасно, как подражание Андрею Платонову. Крепкая кислота его фразы выжжет дотла робкие возможности новичка. Он и сам это понимал: «Мне нельзя подражать. Как стал на меня похожим, так и сгинул». В свое время я по достоинству оценил это предупреждение.

Мне не хотелось бы повторять то, что общеизвестно об Андрее Платоновиче, касаться читаного-перечитаного, для этого у меня к нему слишком личное, не остуженное годами отношение. Я позволю себе поговорить об одном из его произведений — повести «Ювенильное море». Не знаю, считал ли А. Платонов эту небольшую повесть законченной или же только свел концы с концами, думая когда-нибудь вернуться к ней и прописать хорошенько, да так и не сделал этого, захваченный другими творческими планами. Вещь, начатая с эпическим размахом, как-то странно утороплена в конце, широкое и глубокое дыхание автора вдруг сбилось, как у бегуна, не рассчитавшего сил, и он доконспектировал свой великолепный замысел.

Но не только замыслом значительно «Ювенильное море»: сокровенный, чисто платоновский человек Николай Вермо, инженер, музыкант, практический и безудержный мечтатель, хочет извлечь на поверхность залегающее в древней толще земли море и заставить служить социализму — поить поля и создавать электричество. Повесть поражает щемяще-прекрасными образами сельских энтузиастов начала 30-х годов, мучительно трудной поры, самоотверженных, одухотворенных людей, чья суть подчинена высокой и яростной мечте.

В каком-то смысле Вермо — это двойник Платонова, тоже инженера, мелиоратора и художника. У обоих горение технической мысли естественно, без перехода превращалось в

музыку, только у Вермо эту музыку несла гармонь, а у Платонова — слово. Все силы природы, все стихии, мощный свет солнца и слабый — луны, ветер, скрывшиеся в глубинах земного шара воды, самое вращение Земли и бег ее по орбите хочет превратить Вермо в источник двигательной энергии для пользы строящегося нового общества. Любопытно, что иные утопии Платонова — Вермо становятся ныне реальностью. Уже не только мельницы ловят ветер в свои крылья, но и сложные современные устройства, превращающие его в электричество. Топливный кризис заставляет искать новое горючее, его находят в солнечных лучах, в морских приливах и отливах. Глядишь, из грезы станет явью и Ювенильное море — бездонная поилка для скота, вечный источник энергии и орошения земель.

Нет ничего удивительного, что А. Платонов предугадал направление технической мысли на много лет вперед. Вот какой документ выдан ему Воронежским губернским земельным управлением в 1931 году:

«Дано предъявителю сего, Платонову Андрею Платоновичу, в том, что он состоял на службе в Воронежском Губземуправлении в должности Губернского мелиоратора (с 10 мая 1923 г. по 15 мая 1926 г.) и Заведующего работами по электрификации с. х. (с 12 сентября 1923 г. по 15 мая 1926 г.).

В это время под его непосредственным административно-техническим руководством исполнены в Воронежской губернии следующие работы:

построено 763 пруда, из них 22% с каменными и деревянными водоспусками;

построено 315 шахтных колодцев (бетонных, каменных и деревянных);

построено 16 трубчатых колодцев;

осушено 7600 десятин.

...Под непосредственным же его руководством проведена организация 240 мелиоративных товариществ.

...А. П. Платонов как общественник и организатор проявил себя с лучшей стороны».

В ранних произведениях Андрея Платонова техническая одержимость порой съедала душу героев, их захваченность механизмами, вера в металлического бога, способного разрешить все наболевшие вопросы, сотворить всеобщее счастье, лишала их человеческой теплоты и привлекательности. В «Ювенильном море» к такому растворению в возвышенной, но холодноватой технической утопии был близок Николай Вермо, но автор спасает его любовью к прекрасной, доверчивой женщине Босталоевой с ее «излучающей силой».

Андрея Платонова сейчас много читают, но этого необыкновенного, не имеющего прямых предшественников и ни с кем не состоящего в близком родстве писателя надо уметь читать. Фраза Платонова потрясающе емкая и столь же проста — простая для Андрея Платонова. Нередко у него одна фраза — целая новелла, с завязкой, кульминацией и развязкой, нечто такое же цельное, полное и совершенное по форме и сути, как яблоко.

«Вермо почувствовал эту излучающую силу Босталоевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народнохозяйственной целью; он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд, даже ночной сумрак, есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого воображения».

Каждый чувствующий литературу изнутри сразу поймет, что эта фраза создана лишь из желания сказать ясно и полно и вовсе не вычурно, а по-научному точно. Когда Платонов говорит о «лице жука» («Железная старуха»), он вовсе не оригинальничает. В этом его философия — безмерное уважение ко всем существам, населяющим мир, как бы малы они ни были. И черная капелька с точечками глаз на конце рого-

вого тела насекомого не может быть им названа иначе как уважительным словом: **лицо**. И так всегда у Платонова.

Андрей Платонов больше всего хотел быть нужным людям, и он был нужен своей воронежской стороне, когда осушал земли и давал свет в избы. Но ему выпало куда большее счастье — стать нужным всему народу. Глубока в русском поле платоновская борозда.

Сейчас это сознают все: и у нас на родине, и за рубежом. Тот, кого далеким январским днем 1951 года опустили в рыжую землю Вагальковского кладбища, стал всемирным человеком и останется таким навсегда.

Перечитывая друга...



читал эти «взрослые» повести Виктора Драгунского в рукописях, читал в журнальных публикациях, читал, когда они стали книгами, и сейчас вновь прочел в небольшом однотомнике, вышедшем в издательстве «Современник», с таким чувством, будто я их никогда не читал, до того свежо, чисто, «наперво» звучало каждое слово. Мне казалось, Драгунский вернулся из таинственной тьмы — где-то там по-няли: нельзя забирать до срока человека, столь мощно заряженного жизнью, умеющего жить так расточительно и жадно, так широко и сосредоточенно, так безмятежно и целеустремленно. До чего же скудный век был отмерен этой нестареющей душе — пятьдесят восемь...

Но если представить, сколько успел сделать Драгунский в короткий срок, сколько лихих троек загнать, то кажется, что он прожил несколько жизней: в одной жизни он был шорником, лодочником, токарем, в другой — цирковым клоуном, актером кино и театра, руководителем замечательного сатирического ансамбля «Синяя птичка», в третьей — фельетонистом «Крокодила», одним из лучших детских писателей, автором известных «Денискиных рассказов», превосходным — нежным, добрым и грустным — писателем для взрослых. Конечно, все это

так и не так: Драгунский прожил одну на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь, и во всех своих ипостасях оставался радостно и ярко талантлив.

И мне думается, закономерно пиком его пестрой, бурной жизни оказалось писательское творчество. Возможно, Виктор Драгунский и сам не до конца понимал это. Каждому делу, которое его захватывало, он отдавался до конца и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий. Похоже, с речным делом он малость недобрал, и в анкете «Пионерской правды» на вопрос, кем бы вы хотели быть, если бы не были писателем, искренне ответил: бакенщиком. Несомненно, он был бы превосходным бакенщиком, все-таки я уверен, что, загляни Драгунский в себя поглубже, его ответ звучал бы иначе: «Если б я не был писателем, то хотел бы им быть». Ибо только литературное творчество могло вобрать в себя весь его громадный жизненный опыт, знание и понимание людей, суммировать все виденное, пережитое и поделить жизнью вечной. Да так оно и случилось.

Меня не оставляет впечатление, что взрослые повести В. Драгунского автобиографичны. На самом же деле, хотя многое тут взято из жизни автора, вымысел преобладает над автобиографией. Но что делать, если душой я отказываюсь этому верить? Мне думается, причина в авторской интонации, в той особой, доверительной интонации, что делает прозу Драгунского правдивой, как исповедь. Драгунский будто говорит с тобой с глазу на глаз, искренне, душевно, часто взволнованно, а иногда патетически — он и этого не боится, ибо слова его из сердца. Он считает тебя умным, добрым, все понимающим собеседником, ему не страшно показаться сентиментальным, наивным, растроганным до беспомощности. И эта интонация завораживает.

Среди литературоведческих работ последнего времени, исследующих отдельные компоненты прозы, мне особенно приглянулась одна, посвященная ритму прозы. Но как ни важен

ритм, авторская интонация куда важнее. Мне кажется, она сродни тембру. Бывают сильные голоса с большим диапазоном, с отличными верхами и низами, но бестембровые. А вот об иных голосах говорят: окрашенные. Пример окрашенного голоса — неповторимое меццо-сопрано Обуховой, ее узнаешь с первой же ноты. У покойного Лемешева был не такой уж большой голос, но дивный тембр придавал ему ни с чем не сравнимое очарование. И никто во всем мире не заменит Лемешева. Интонацию в прозе точно так же нельзя приобрести искусственно, как и тембр. Ее можно лишь имитировать, но чуткий читатель сразу угадает подделку. Надо думать, интонация как-то связана с природой человека, с его глубинной сутью. Драгунский очень добрый человек, он любит жизнь, людей, пуще всего малых и слабых. Он не преминет пощипать голову спящего ребенка, так чудесно пахнущую воробьями. И, придя к любимой, почти потерянной женщине, позабудет на миг о своей боли, склонившись над кроваткой ее маленького сына.

Ловлю себя на том, что вновь отождествляю Виктора Драгунского с его героями, ведь воробьиный запах учуял Митя Королев, а склонялся над спящим малышом грустный клоун Ветров...

Любопытно, что эта добрая, глубоко человеческая интонация не пропадает и когда Драгунский пишет о чем-то глубоко ему отвратительном (в книгу помимо двух повестей входит несколько рассказов): о низкой, убивающей все живое корысти («Брезент»), о бездушии тех, кто забыл войну («Для памяти»), о душевном хамстве («Страшное пятно на потолке» и «Далекая Шура»). В одном случае сохранить эту интонацию помогает Драгунскому присутствие в рассказе хороших обиженных людей, которых он любит и за честь которых борется оружием насмешки и сарказма, в другом — сама правда жизни, которую попирают дурные, низкие люди.

В рассказах Драгунского никогда не бывает высмеяно все, ибо в них присутствует некий не поддающийся порче идеал, и на него опирает свой голос Драгунский. Даже в безумно

смешном рассказе «Письмо» — о ревнивом начальнике охраны большого санатория Булыгине, строчащем донос на любовника жены, есть неразвормимый в кислоте сарказма кристаллик: глупая, жалкая, но искренняя влюбленность старого дурня в свою красавицу жену. И есть слезы...

Как многообразен был Драгуникий и до чего же он цельный человек! Я помню его на театральной сцене и просто в жизни, всюду он был равен себе: добрый и насмешливый, растроганный и негодующий, непримиримый к пошлости, фразерству, сервизизму, жизнелюбивый до какой-то даже алчности, как человек Возрождения, не знавший удержу в пирах духа и пирах плоти. Он умел получать радость от весеннего солнечного дня, от хрусткого яблока, от рюмки холодной водки, от присутствия красивой женщины, от дружеского разговора — кто еще умел так ценить золото человеческого общения, как Драгуникий! — от работы, которую делал легко, бодро, без тяжелого пота тугодумия. И главное — он был во всем артистичен. Он не актерствовал, Боже избави. Он и на сцене был до предела естествен. Этот тучный человек легко, изящно двигался, он бурлил и рокотал, как горный поток, радостно отзываясь на все творящееся вокруг, не терпел пустых, незаполненных минут, охотнее всего создавал праздник; если же тебе было грустно, больно, становился нежным, внимательным, бесконечно терпеливым. Но при малейшей возможности старался вызвать улыбку...

В Первоградской больнице до сих пор с почтительным удивлением вспоминают, как звучал смех в одиночной палате смертника, — это Драгуникий сидел у постели умирающего от рака Михаила Светлова. Оба острились напропалую, и оба хотели: Светлов, отсчитывающий последние дни, и его друг, чье внутреннее лицо плакало. Оба были сильными людьми.

Уход Михаила Светлова породил много воспоминаний, и, хотя мемуаристы из кожи лезли вон, чтобы передать грустное обаяние одного из самых одаренных и остроумных наших современников, что-то пищенское было в их потугах. Светлов

неизменно выскальзывал из-под дружеских перьев. В повести «Сегодня и ежедневно», в одной из главок, в людном кабаке, сквозь табачную пелену полупризрачно реет образ дремлющего за столиком поэта. Мы догадываемся, что это Светлов, но вот Драгунский напрягается всей своей любовью к ушедшему другу, и живой Светлов встает в рост, тот Светлов, которого мы знали, любили и от которого вечно чего-то ждали.

Как жаль, что Драгунский не успел написать воспоминаний. Он умел быстро и накоротко сходить с людьми, и люди охотно ему открывались. У него было множество друзей: именитых и безымянных, глубокомысленных и дивно беспечных, созидателей и бродяг, гамлетов и дожуанов. Общим в них было одно: оригинальность, самобытность, умение сохранять свою личность при всех испытаниях и переменах. Таким был и сам Драгунский.

Но зачем жалеть о том, что не сделано, когда сделано так много!

Внешне рисунок «взрослых» повестей Драгунского прост и незамысловат. Вот — «Он упал на траву...». Первое лето войны. Немцы наступают. Девятнадцатилетний театралный художник Королев, а вернее, малевальщик задников, хромой и потому негодный к воинской службе, уходит с отрядом ополченцев копать противотанковые рвы на подступах к Москве. Казалось бы, что может прибавить бесхитростная история слабосильной ополченческой команды (где хромой и радикулитчик, грыжевик и язвенник) к летописи великих подвигов, созданной нашей богатейшей военной литературой? Но оказывается, не масштабы боевых действий определяют ценность литературного произведения, и нестроевики Драгунского отнюдь не тускнеют в блистательном соседстве сверхгероев батальных романов и повестей.

Итак, отправился в сторону фронта хромой маляр Королев, и не проводила его женщина, которую он любил всем пылом первого чувства, театральная премьерша, холодная и расчетливая Валя, сбил в кровь ноги, пока добрался до места на-

значения, и стал долбать лопатой каменистую землю. Он сдружился с чудесным рабочим пареньком Лешей, пел вместе со всеми песню о буденновском разведчике, который упал на траву, познакомился с милой деревенской девушкой Дуней и «не сделал ее своей женой», потому что все еще любил Валю, а тут немецкие танки беспрепятственно обошли «неодолимые» оборонительные сооружения и, сея вокруг смерть, устремились к Москве. Туда же стали пробираться из окружения ополченцы разбитого строительного отряда. Немецкая пуля настигла чудесного Лешу, и он упал на землю, как молодой буденновский разведчик. Давясь слезами, Королев в последний раз спел над ним их любимую песню и, зарыв друга в шар земной, ушел дальше, чтобы жить и воевать. Постигнув науку ненависти, он уже твердо знал, что никому не уступит своего места на войне. В конце повести, как и в начале, он получает на складе новый ватник, но теперь эта добрая солдатская одежда будет согревать его не на московских рубежах, а в партизанском крае. Перед тем как покинуть Москву, он окончательно убедился, что холодная, чувственная Валя не любит его и никогда не любила. Прежде такой удар свалил бы Королева, но его пылкая душа устояла. Она стала сильна и упруга от ненависти к врагам родной земли, от любви к однополчанам-строителям, к упавшему на траву Леше, к богатырю духа, маленькому казаку Байсеитову, к колхозной девушке Дуне и к другой девушке, погибшей от немецкой бомбы, — ко всем людям, которых он должен защищать. Противотанковый ров, отрытый с такой мукой и тщанием, не сработал на войну, но, расставаясь с героями Драгунского, мы знаем, что в те горестные дни на московских подступах возникла иная крепость, о которую и разбилась громада гитлеровских войск. Она была в сердцах тех, кто, кровеня ладони, вгрызался лопатой и ломом в твердую землю, в сердцах, теперь непобедимых...

Еще проще сюжет повести «Сегодня и ежедневно». Известный потомственный клоун Ветров приезжает на гастроли в Московский цирк, где он не выступал уже три года. У

него есть женщина, которую он любит, — буфетчица цирка Таия. Но, приехав, он узнает, что Таия не сохранила ему верности, и решил порвать с ней.

Быть может, он и передумал бы, ведь Таия не так уж виновата: ей сказали, что у него другая женщина, но тут во время репетиции страшно и бессмысленно гибнет юная, редко-одно одаренная воздушная гимнастка, и Ветрову все окружающее становится невыносимым, он бежит из Москвы. Эту довольно нехитрую схему Драгунский наполнил значительным человеческим содержанием. Нужна безмерная бережность друг к другу, ни в чем нельзя полагаться на авось — ни в личных отношениях, ни в профессиональной жизни. У Ветрова все сломалось с Таней, потому что она слишком легко поверила навету и совершила непоправимый шаг. Гимнастка Ирина погибла, потому что ее муж-партнер и цирковая администрация допустили в номере одну миллионную степень риска. «Не должно быть этой миллионной!» — кричит из пересохшего горла клоуна Ветрова писатель Виктор Драгунский. И вспоминаются бессмертные слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» Бдительны не только на роковых поворотах, там, где решаются народные судьбы, но и в обычной жизни, в быту, в повседневности, ибо от малого недогляда происходят непоправимые беды. От рассеянности, близорукости, легковерия, от безобидных вроде бы слабостей, которые мы охотно прощаем друг другу, гибнут люди, разбиваются сердца, ломаются судьбы. Люди, будьте бдительны, берегите друг друга, люди!..

Я уже говорил о том, как любил Драгунский детей. И тут он не боялся патетики. Клоун Ветров исповедует веру, возносящую его профессию в ранг высокого служения самым гуманным целям времени. Он посвятил свое искусство детям и страстно хочет, чтобы они жили в добром, спокойном и веселом мире: «Я не знаю, что мне сделать, чтобы спасти детей. Я не могу положить их с собой всех, обнять их и закрыть своим телом. Потому что дети должны жить, они должны радоваться»

ся. У них есть враги, это чудовищно, но это так. Но у них есть и друзья, и я один из них. И я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунических штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник, я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости, это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может — заслоните детей. Спешите приносить радость детям, друзья мои...»

Но Драгуискому — Ветрову этого мало. И вновь, с еще большей силой произносит он свой символ веры, звучащий как заклятье:

«Сегодня и Ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий! Дети любят смеяться, и мы должны защитить Детей! Пусть Сегодня и Ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости труда и счастья жизни, мы идем впереди со своими хлопучками и свистульками, мы паяцы и увеселители. Но тревога все еще живет в нашем сердце, и сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова:

— Защищайте детей! Защищайте детей!

Сегодня и Ежедневно!»

Я пишу вслед за Драгуиским эти прекрасные слова, и слезы закипают в горле. Какой же он был высокий человек, этот неуемный весельчак, как серьезно и ответственно жил!..

Друг мой милый, вот и завершилось наше короткое свидание. Но мы не расстанемся. Сколько бы мне ни оставалось жить, я всегда буду помнить тебя, плакать по тебе и смеяться по тебе — прости за этот чудовищный оборот, но не знаю, как сказать иначе. Буду плакать, потому что превосходные твои повести и рассказы, такие талантливые и наполненные тобой, твоей интонацией, твоим умом, твоим теплом, все-таки не могут заменить тебя живого. Буду смеяться, потому что ты был всегда радостью, даже в самом тусклом дне находил голубой и солнечный просвет, и подаренная тобой радость всегда со мной.

Сегодня и Ежедневно!

Хранитель лукоморья



Успенском соборе Святогорского монастыря стоял такой холод, какой может быть лишь в неотапливаемом русском храме студеной вьюжной февральской ночью. Казалось, вьюга проникла вместе с нами внутрь собора: пламя тонких свечек в заочелневших руках то начинало метаться, то вытягивалось длинным языком, гоня кверху тени, то пригибалось долу. Пар от дыхания оседал инеем на воротниках наших шуб, на стенах и потолке соборного придела, где сто тридцать четыре года назад, хоть и не день в день, стоял гроб с телом Пушкина, доставленный сюда попечением Александра Тургенева и дядьки поэта Никиты Козлова, в присутствии жандармского капитана Ракеева.

К изножию воображаемого гроба широко шагнул высокий, худой, с резко высеченным лицом Семен Степанович Гейченко, хранитель Пушкинского заповедника, — как-то не идет к нему сухое, официальное «директор» — и, взмахнув, как крылом, пустым левым рукавом шубейки, заговорил доверительно, огорченно и убеждающе:

— Прости, Бога ради, Александр Сергеевич, что не спи- му я нынче шапку. Каждый год страшнейше простужаюсь в этом холоде. Старое корыто — ничего не поделаешь!..

Вокруг стояли разные люди: пушкинисты, писатели, художники — давние гости заповедника и сердечные друзья самого Гейченко, а еще — молодые ленинградские артисты, участники торжественного вечера, и просто случайные зашельцы. Никто не улыбнулся, не сделал больших глаз, не перемигнулся с соседом: мол, чудит старик! Даже люди, сроду не бывавшие здесь, не осведомленные о своеобразной повадке Гейченко, восприняли его слова как нечто вполне естественное. Он был так серьезен и прост, так по-домашнему огорчен тем малым непочтением, какое оказывал сегодня Пушкину, не сняв с головы попошенной меховой шапки, что каждая живая душа в этом промозглом, озаряемом слабыми свечками храме поняла его веру в незримое присутствие Пушкина.

А затем Гейченко стал рассказывать, как внесли сюда тяжелый холодный гроб с маленьким, каменю зачочевшим в долгом пути из Петербурга телом Пушкина, как горели и оплавливались свечки в руках Михайловских дворовых, и в который раз меня пронизало чувство, будто слышу голос очевидца. Право же, Гейченко был в Михайловском во времена Пушкина, делил печали и утехи ссыльного поэта, толкался с ним по базарам, слушал песни цыган, ездил в Тригорское к Осиповым-Вульф, потешался над попом-шкодой, внимал плавным речам Арины Родионовны, томился его тоской по друзьям и свету, радовался сроднению с негромкой сельской жизнью, а в час расставания в мерзлом храме коснулся губами ледяного чела поэта...

Друзья прозвали Семена Степановича Михайловским домовым. Тут нет и тени насмешки. Он это знает и, приняв дружеское прозвище, нередко так и подписывается в письмах. Мне думается, прозвище даже немного льстит хранителю лукоморья — ведь с какой доверительной нежностью обращался Пушкин к своему домовому:

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовый,
Храпи селенье, лес, и дикий садик мой,
И скромную семью моей обитель.

Поручая заботе и призору домового зеленый мир Михайловского, столь дружественный музе, поэт трогательно напоминал, что эти холмы, луга, прохладные липы и шумные клены «знакомы вдохновенью».

Не в укор старому домовому — да и кто отважится на подобную вольность с доброй нежитью, воспетой Пушкиным? — скажу, что нынешний Михайловский радатель не пуждается в поэтическом заклинании беречь «зеленый скат холмов». Он всегда, неусыпно на страже...

Мы, друзья Гейченко, завсегдатаи пушкинских мест, слушая живые, то нежные, то забористые, рассказы Семена Степановича о разных разностях и нынешней, и минувшей жизни, нередко принимались упрашивать его взяться за перо. Он так полон сведений о Пушкине, о людях, деливших и усугублявших сельское одиночество поэта, об окружавших его вещах, он принял разрушенное, сожженное, взорванное фашистами пушкинское гнездо и, собрав его по щепке, по камешку, восстановил первоначальный образ, — кому же, как не ему, рассказать обо всем этом читателям! Потом оказалось, что Гейченко давно уже в секрете от друзей поверяет свои думы и воспоминания бумаге. Для своих записей он избрал форму маленьких новелл, порой приближающихся к стихотворениям в прозе, только без тургеневской напевности. Это строгая, мужественная проза, не заигрывающая с поэзией, но насыщенная лиризмом.

Мне посчастливилось в свое время с голоса Гейченко услышать два или три коротеньких рассказа, они меня обрадовали и насторожили... Хватит ли у автора душевного и физического времени на целую книгу подобных, тонкого словесного отбора, новелл? Гейченко — человек почти непрерывного активного действия. Покой чужд ему по самой его

природе. Он вечно спует по усадьбе и окрестностям, что-то выискивает, вышухивает и обычно находит, он спорит, ругается и проповедует, выдумывает, изобретает, он обуян идеей превратить Михайловское в пекуую поэтическую Мекку и немало преуспел в этом, он ведет громадную переписку, участвует во всевозможных Пушкинских чтениях и ученых заседаниях, много и страстно читает. Сможет ли такой человек выделить те часы полной тишины, остановки, забвения всех забот, какие необходимы для творчества? И я испытывал сложное чувство, взяв впервые в руки книгу «У лукоморья», — к радости, что закончился долгий, укромный труд, к надежде на душевное, кровное сроднение с миром значительного и близкого человека примешивались крупницы боязни: а сохранилась ли неповторимая доверительная интонация, чаровавшая меня в часы Михайловского сумерничанья, этот интимный голос будто бы соучастника, сообщника пушкинских Михайловских дней, не пересечется ли потой научно-музейного бесстрастия та песнь и тот плач о Пушкине, чем были все его речи? Короче, останется ли Гейченко самим собой в державе чужого ремесла?

Видимо, я не понимал Семена Степановича. Он не просто одаренная, артистическая натура, щедро озвученная сочной, ароматной русской речью, он — настоящий литератор, писание для него не препятствие, а кратчайший путь к самовыражению.

В повеллах слышится его голос, они полны трепета, доброты, гнева, жалости, иронии, всей игры таинственной человечьей суги. До этого о Михайловском писались очень добропорядочные, обстоятельные, содержательные книги. Можно подумать, что авторы этих книг были призваны искупить своей добропорядочностью сверкающий дерзостный гений великого Михайловского насельника. Но вот лукоморье дождалось своего певца и многоцветно, многозвучно ожило. С Орфеевых времен ведомо, что песня обладает животворной силой.

В своих коротеньких повеллах С. Гейченко пишет о том, о чем другие авторы не писали, он тщательно избегает повторений. Видимо, поэтому он обходит вниманием родовитых друзей, знакомцев, соседей Пушкина, делая единственное исключение для доброго и верного Александра Ивановича Тургенева, проводившего поэта в последний путь. Да ведь о людях, принадлежавших к одному с Пушкиным кругу, написано так много! Куда меньше известно о тех простых и безродных, что составляли скромное окружение поэта в годы Михайловской ссылки или же случайно мелькнули на его пути, но оставили свой мазок на полотне его бытия. И справедливо заслуживают внимания — помимо Арины Родионовны, и так щедро взысканной русской литературой, — преданный дядька Никита Козлов, несчастный староста Михайло Калашников, отец пушкинской деревенской любви, шальной поп-шкода, купеческий сын Жан Лапин, смешной и трогательный поклонник поэта, дворовые люди сельца Михайловского, а равно и те обитатели Святых гор, что хранили изустные предания о поэте.

Иногда отправной точкой для Гейченко служат слова пушкинского стихотворения, или выдержка из дневника игумена Святогорского монастыря, или список ревизских душ, или строчка из тайного донесения служителя «святого дела сыска», или какой-нибудь предмет домашнего обихода, чудом уцелевший во всех жестоких испытаниях, вынавших на долю Михайловского. Не то чтобы Гейченко стремится возродить некие поэтические постройки на зыбком фундаменте случайных фактов и домыслов. Нет, как настоящий исследователь, он пытается дойти до самой сути, отыскать конечный смысл в малости частного наблюдения. Гейченко до дна души уверовал в совершенную конкретность пушкинской музыки. Поэт не ткал из призрачных нитей мечты, он изображал подлинную, наблюденную действительность. Он словно принял присягу: говорить правду,

только правду, ничего, кроме правды. Уверенность в неслучайности и полной достоверности каждого пушкинского образа привела Гейченко к нескольким любопытным открытиям, причем не только литературного ряда. Так, упоминание в «Евгении Онегине» о «часовне ветхой» заставило Гейченко настойчиво и неутомимо отыскивать на территории усадьбы эту часовню, хотя и не было никаких материальных свидетельств ее бывшего существования. Гейченко «высчитал» эту часовню, как астроном высчитывает звезду. И действительно в конце концов обнаружил в должном месте, глубоко под землей, остатки фундамента. Он восстановил часовню и написал об этом прелестный рассказ.

Музейный работник, Гейченко знает цену вещам, знает, как много могут сказать вещи о душевных свойствах человека, его привычках, образе жизни. Скромный дубовый ларец с отделкой из вишневого дерева, сработанный деревенским умельцем по заказу Арины Родионовны в подарок поэту Языкову, позволил Гейченко набросать нежный тонкий эскиз трогательных отношений юного пылкого дерптского студента с «дряхлой голубкой» Пушкина.

Поистине «к груди прикипает слеза», когда читаешь рассказы о чудовищном по старательности, скрупулезности — на грани злодейского подвига — уничтожении фашистами Пушкинского заповедника. В разгар боевых действий, готовясь к отступлению, гитлеровские специалисты с научной тщательностью распределяли взрывчатку, мины, снаряды по объектам заповедника: столько-то Михайловскому, столько-то Тригорскому, столько-то Святогорскому монастырю и отдельно — для могилы поэта. А другие «литературоведы» столь же старательно упаковывали для отправки в Германию пушкинскую мебель, картины, книги, архивы, курительные трубки и дуэльные пистолеты.

И бесконечно трогают страницы, посвященные освобождению заповедника нашими воинами, спасению замиширо-

вашей могилы Пушкина и всего святого места, — с какой сознательной, опекающей любовью к поэту совершали артиллеристы, пехотинцы, саперы свой нелегкий труд!

В Михайловском повторилась история феникса, только дивная птица сама воссоздавала себя из пепла, а сожженную усадьбу возрождала великой любовью, самоотвержением, беззаветным трудом кучка энтузиастов, возглавляемая инвалидом Отечественной войны Гейченко, и конечно же, им помогали окрестные люди, эти пушкинисты милостью Божьей. Возводились постройки по старым планам и рисункам, залечивались глубокие раны парковых елей, берез, дубов, лип и сосен, разбивались сады, отыскивались — в пеметчине тож — мебель и утварь, если и не из самого пушкинского дома, то из того же дворянско-усадебного обихода первой четверти прошлого века, собирались по окресту колокола, чтобы вновь распахнуть грудь Святогорского монастыря, и над Воропичем, и над Маленцом и Соротью, над Савкиной горкой, над Михайловским и Тригорским полетели древние звоны, бывшие на слуху еще Стефана Батория.

Гейченко поставил себе целью вернуть заповеднику и всю живность пушкинских дней. Он подкармливает семечками, зернами и свежим мясом соек, силиц, поползней, чечеток, снегирей, оберегает ласточкины гнезда; в развилке старой липы у входа в усадьбу пристроил тележное колесо, на котором каждый год свивает гнездо красноклювый аист; многочисленные скворечники старинной архитектуры, разбросанные по всему Михайловскому, служат приютом в летнюю пору скворцам, в зимнюю — белкам. А еще обитают в Михайловском цапли на верхушках старых сосен возле озера Маленец, мудрый ворон, делающий вид, будто помнит первых Ганнибалов, и вороны, занимающиеся подледным ловом на озере Куган. Это не шутка, Гейченко не раз наблюдал, как они вытягивали клювами из лунок живцов, когда рыболовы, закинув удочки, уходят на почевку.

Не ради шутки и красного словца обмолвился я выражением «пушкинисты милостью Божьей». Не побывав в Святых горах, невозможно вообразить, насколько пропитано Пушкиным бытие тамошних людей, их повседневное самочувствие, их память. Рассказы о странном барине, спознавшемся и разлученном с крестьянской девушкой, любившем сказки своей няни и песни таборных цыган, мельтешню базаров, где он появлялся в кумачовой рубашке с пояском, молодецкую потеху кулачных боев, бешеную скачку по полям и прицельную стрельбу из пистолетов, о кудрявом барине, забавнике и шутнике, делавшем дурака из попа Лариона и беззлобно получавшем сдачи, любимце тригорских барышень, самой хозяйки и ее красавиц гостей, о смуглолицем блондине с толстыми губами (чужакам его облик казался куда причудливее, нежели местным, приглядевшимся к гашибаловой породе), бесконечные рассказы о нем передавались из уст в уста, из поколения в поколение, помогая сохранить тот живой, незастывающий образ, что делает Пушкина, столь далекого от нас, самым близким из всех великих русских писателей.

Не случайно Гейченко целый раздел книги уделил «Рассказам деда Прохи» из деревни Савкино, что против пушкинской усадьбы.

«Был дед Проха живой историей пушкинских мест. Родился еще при крепостном праве, пережил трех царей, три революции, войну четырнадцатого года, Гражданскую войну и Великую Отечественную. Память его хранила рассказы про недавнее и далекое, в особенности про далекое прошлое Воропичанщины — про войны, богатырей, клады, разбойников, дива дивные, чертей, леших и домовых».

Но дальше Гейченко передает рассказы деда Прохи лишь про одно диво дивное, про одного богатыря отечества, стоящего многих других. Дед рассказывает и о детских шалостях поэта, и о милой ему кулачной забаве, и о том, как строился

барский дом в Михайловском, и как он, Проха, «байно» уважает (с намеком: мол, Пушкин тоже попариться горазд был), и, наконец, о том, что можно считать настоящим открытием, достойным внимания Пушкинского дома: «Есть у Александра Сергеевича стишок о Михайловских соснах, что росли тогда на границе земли Пушкиных. Только в книгах пишут неправильно. Пишут «на границе владений дедовских», а нужно «владений дедовцев». Ведь рядом-то с Михайловским была земля деревни Дедовцы, а не чья другая. Дедовские мужики как-то даже жалобу в земство писали, чтобы исправили ученые эту ошибку. Только земский никакого движения этой бумаге и не дал. Так и заглохло все. А теперь писать неудобно. Теперь все люди грамотные стали и во всем сомневаться перестали. Верят в книгу, как в Библию, а разговорам не верят», — жаловался Семёну Степановичу дед Проха.

Но пожалуй, ни в чем так не проявилась влюбленность местных людей в Пушкина, как в одном негромком событии, с доброй улыбкой поведанном Семёном Гейченко.

В деревушке, под боком Тригорского, покои веку жили шишошь Егоровы. Конечно, это вызывало множество неудобств и всякой путаницы, тем более что мужики именовались по большей части Егорами Егоровичами Егоровыми. И во время паспортизации им предложили поменять фамилии. Ну естественно, все захотели в... Пушкины. Кое-кому удалось, но тут паспортисты спохватились и стали усовещивать людей, мол, что же вы опять под одну фамилию стремитесь? Сами же жаловались, что житья нет от досадных недоразумений! И тогда появились на свет новые Рылевы, Пуцины, Назимовы и прочие однофамильцы близких друзей поэта. Лишь один петоропливый дед, пропустив вперед себя всех односельчан, остался Егоровым. Зато супруга его, явив яркую силу воображения, «взяла фамилию хоть и не совсем пушкинскую, но весьма выразительную и благозвучную — Дуэльская»...

Не могу не поделиться и одним личным переживанием. Как-то раз, подымаясь на крутой холм городища Воронич, я нагнал рослую грузную старуху на распухших, в темных венах, ногах. Она тоже карабкалась наверх. «Тяжело мне, а каждый день тащусь, — сказала она со вздохом. — Коли не огляну окрестность, так мне и день будет не в день». А окрестность эта — весь пушкинский мир с Михайловским, Тригорским, Святогорским монастырем, Савкиной горкой, Соротью, Маленцом...

И когда мы одолели подъем и стали на обдуваемой теплым ветром высоте, старуха заговорила тусклым, без выражения голосом, то ли адресуясь ко мне, то ли не помня о моем присутствии. Она вспомнила о своей бабке, о том, как та дружила с горькой дочерью старосты Калашникова, что являлась Пушкину «ранней звездочки светлее». Она говорила о любви Пушкина, начавшейся так свежо, доверчиво, безоглядно и завершившейся так печально, тягостно, по крепостному уставу. Все звучало знакомо и обычно, как застывшее предание. Поразило меня другое: где-то в монотонном бормоте бабушка этой старухи слилась с Ольгой Калашниковой, стала героиней былины о разлученных силой любовниках, затухала же история на бескровных губах и вовсе удивительно: «Гладил он меня по голове, по косам теплыми и все умолял простить ему, не со зла, а по любви беду на меня навлек»... На одутловатом лице исцветшие голубые глаза слезились влагой неизбывного горя, будто старуха и впрямь сама пережила то короткое счастье и долгое страдание. И в этом не было омраченности запутавшейся в яви, снах и грезах дряхлой души, заблуждения истратившегося мозга. Но легко ли прожить без малого век в соседстве с т а к о й тенью и сохранить бедную трезвость здравомыслия!..

В личности Пушкина есть нечто покоряющее, чарующее, колдовское, и за слишком тесное сближение с ним люди иной раз расплачиваются не только утратой собственной сущности, но

и сужением чувства всего остального мира. Я знал среди пушкинистов таких вот фанатиков чужой великой судьбы.

Семена Степановича Гейченко, как говорится, Бог уберег, он обладает отменным духовным здоровьем, внутренне свободен, открыт всем краскам, звукам, впечатлениям жизни, труду широкого размышления, радости внезапных наитий, порой вовсе и не связанных с Пушкиным. Да, он влюблен в Пушкина, но вовсе не порабощен поэтом. Для него Пушкин немислим вне всей культуры, истории, духовной жизни народа. К тому же он любит шум сиюминутного бытия, солнце, свежесть грозы, морозный воздух, дружескую беседу, спор, крепкий сон и раннее пробуждение, любит живых несовершенных людей и пользуется ответной любовью.

Гейченко по образованию и по профессии музейный работник, но это не значит, что ему близка лишь область материальной культуры. Он широко осведомлен в искусствах, великолепно знает литературу, особенно XIX век; чувствует себя как дома в русской истории. Гейченко прекрасно владеет речью, но он не говорит в застольном смысле слова. В каждой его шутке — соль мудрости, жизненного опыта. А главное, он творческая личность, что превосходно доказал своими радостно талантливыми рассказами. Его книга «У лукоморья» дышит Пушкиным, дышит древней псковской землей, изведавшей и горе лютое, и радость светлую, дышит озерной и речной свежестью, дышит мудреными загадками русского характера...

Неуловимый Базен



отите встретиться с Эрве Базеном? — спросила меня известная переводчица во время одного из съездов Союза писателей.

— Хочу, конечно. А он хочет?

— Мечтает, — хладнокровно ответила переводчица.

Я ни на мгновение не поверил ей. Но незамутненная бирюза ее глаз помогла мне сыграть с самим собой в безобидную игру: меня переводили на французский, что-то попалось Эрве Базену, он прочел, восхитился, пожалел о даром прожитых годах и со слезами умолил переводчицу помочь ему встретиться со мной.

Усмехнувшись — переводчица не поняла моей усмешки, но на всякий случай напустила в бирюзу радужек еще больше света и прозрачности, — я спросил:

— А за город он поедет?

— Именно этого он хочет.

Я понял, что этого хотела переводчица. Ей нужно было как-то развлекать знатного гостя, доверенного ее попечению, а Центральный Дом литераторов со всеми масонскими легендами, стилем Тюдор, однообразной едой и одними и теми же лицами ему осточертел, равно как и соблазны гостиницы

«Россия», где он останавливается в каждый приезд, все стоящие театры на гастролях, в «Арагви» и «Узбекистан» его не затащишь — город изнемогает от зноя, восточная же кухня с ее пряными ароматами и вкусно-тяжелой едой в жару труднопереносима, а на берегу Десны подмосковной — благодать, свежий, пахнущий хвойным воском и пагретым березовым листом воздух, цветы, шелковая трава, тишина, нарушаемая лишь подвывом реактивных самолетов с Внуковского аэродрома, но это как бы соединилось с жизнью природы, подобно рокоту далекой грозы или шмелиному гуду. Она сумела внушить Базену, что ему хочется ко мне поехать. Впрочем, по собственному опыту знаю, насколько интересно, находясь за границей, бывать в частных домах. Это единственный способ приблизиться к жизни туземцев, что-то понять в их быте и нравах. Рестораны, гостиницы, банкетные залы, хоромы симпозиумов, комнаты совещаний — все публичное и официальное не только не помогает ощутить страну, напротив, удаляет от нее. А Эрве Базен не просто путешественник, а писатель-человек, которому хочется все знать, к тому же писатель, приверженный к быту.

Я понимал также, что для чужеземца самое неинтересное, даже докучное во время таких визитов — это хозяева. Какое-нибудь кресло, предмет старины, техническая новинка, охотничье ружье на стене, гравюра, фотография, напольные часы, пепельница или же вид из окна неизмеримо больше привлекают путника, нежели гостеприимные фигуры, оживляющие пейзаж и интерьер. Я знал все это и тем не менее искренне радовался приезду Базена; ведь я тоже писатель, и автор «Семьи Резо» привлекал меня независимо от того, питает ли он ко мне ответный интерес. Я часто подмечал у знакомых литераторов одну общую черту: человек становится им интересен и мил, если он их читал, мне же это почти, чтобы не сказать совсем, безразлично, — новый человек притягивает меня тем, что он сам производит, будь то

литература, искусство, мысли или очарование хорошей души.

— Привозите Базена, — сказал я.

— А вы — готовьте кавиар, — отозвалась переводчица.

Я заготовил кавиар, много кавиара, но Базен не приехал. Неожиданно, еще до конца съезда, ему пришлось вернуться в Париж по каким-то домашним обстоятельствам.

Я мужественно пережил разочарование, тем более что кавиар пригодился для другого члена Гонкуровской академии (президентом которой является Эрве Базен), известного и много печатавшегося у нас писателя Бернара Клавеля. Влюбившись в фильм «Дерсу Узала», он обратился ко мне с лестным предложением — экранизировать его роман о французских речниках. Я сказал, что никогда не пишу сценариев по чужим произведениям, этнографический роман Арсеньева — исключение, мне хотелось поработать с великим режиссером Курасовой (если только кинорежиссер может быть великим). Помимо того, роман о речниках у нас не переводился. Да и не верится, что наше киноруководство пойдет на совместную постановку картины чисто французской, не имеющей ни малейшего касательства ни к российской, ни к советской действительности.

Мне было тяжело отказать Бернару Клавелю в его просьбе не только потому, что он хороший писатель, но ведь на нем лежал отсвет его соотечественника, друга и коллеги по академии — Эрве Базена! Я спросил Клавеля, где сейчас Базен.

— В своем замке, наверное.

— У него есть замок?

— Конечно! Каждый французский буржуа мечтает о замке. И как только оказываются средства, приобретает замок. И даже живет там. В отличие от старой французской знати, предпочитающей сырости и затхлости родовых обиталищ кондиционированный воздух современных квартир.

Трудно было представить Базена, столь современного каждой строкой, в образе феодала. Наверное, замок окружен ровом с тухлой водой и опускается с ржавым скрежетом подъемный мост, когда закованный в латы Эрве Базен на тяжелом, тоже в железах, коне возвращается из похода в издательство или Гонкуровскую академию.

Я интересовал Бернара Клавеля лишь как сценарист, у меня не было и такой малой корысти. Я знал, что не буду о нем писать, хотя в ту пору упоенно строчил литературные портреты прославленных современников, но я выбирал лишь тех, чье творчество мне близко и дорого, а этих чувств я не испытывал к очень добросовестным, прогрессивным, гуманным и скучным романам Бернара Клавеля. Большого разговора у нас не получилось. Едок и питух Клавель никакой, застолье — не его стихия. Мы потратили время в основном на фотографирование — нас обшелкал со всех сторон сын Клавеля — начинающий и очень одаренный фотограф, и на подписывание книжек друг другу — «с искренним уважением и признью».

Прошло сколько-то времени, и вновь, покинув свой замок, сменив панцирь на элегантный парижский костюм и оперенный шлем на фетровую шляпу, Эрве Базен прибыл в Москву. Уж не помню, какое тогда происходило торжество, но хорошо помню, как, лучась бирюзовым взглядом, переводчица сообщила, что Базен вспомнил о давнем приглашении и рвется в мою загородную «резиденцию». Видно, опять с развлечениями пресыщенного академика обстояло неважно, если моя халупа стала «резиденцией». Но снова визит не состоялся. То ли какой-то официальный прием пал на этот день, то ли экскурсия в Ясную Поляну или Суздаль, словом, Базен был занят. У меня нет никаких оснований подозревать переводчицу в беспочвенных выдумках. Мы старые друзья, и наша дружба проверена испытаниями.

Когда «Иностранная литература» предложила мне написать по собственному выбору о ком-либо из современных за-

падных писателей то смутное по жанру, что называют красивым и отвратительным словом «эссе», я не колеблясь остановил выбор на Базене. Вот это маленькое сочинение.

Немного о Базене

Эрве Базен — один из самых взыскавших признанием и почестями писателей современной Франции. Он президент академии Гонкуров, лауреат многих литературных премий: Аполлинера, Романской прессы и прочая, прочая. Но, по чести, для меня куда больше значит, что он превосходный ремесленник литературного цеха. Слово «ремесленник» применено здесь в его средневековом — высшем и гордом, а не нынешнем — уничижительном смысле. Мне не привелось встретиться с Эрве Базеном, хотя он не раз бывал в нашей стране, а немногочисленные, и плохие к тому же, фотографии ничуть не помогают представить его образ, кажущийся мне сложным, противоречивым при пастойчивом и каком-то насильственном стремлении к порядку, простоте, основательности, что с годами все сильнее проступает в романном творчестве Базена. Я не верю, что внешность человека выдающегося может быть до конца нейтральна к его сути. Мне доводилось читать и слышать о заурядности, буржуазности, тусклой добропорядочности облика ряда крупных писателей наших дней и недалекого прошлого. Я жадно вглядывался в их портреты и фотографии и рано или поздно то в зрачках, то в улыбке, то в складках рта, то в морщинах, избороздивших плоскость лба, то в печальных тенях подглазий обнаруживал нечто такое, что возносило лицо, делало его драгоценным. И нельзя поверить в спокойного и очень довольного собой Базена его привычных изображений. Такой Базен еще мог бы создать «Супружескую жизнь», но никогда не создал

бы трилогии «Семья Резо» и уж подавно — «Встань и иди». Убежден, что еще прочитаю в его чертах тайный знак того воодушевления, которым рождено «Встань и иди», — не звучало в западной литературе последних десятилетий столь щемящей ноты.

В этом небольшом романе, по-нашему повести, сверкают крупницы — страшно произнести слово «гениальность», но нет иного понятия для обозначения той высшей одухотворенности художника, когда на творении его — свет божий. В истории обезножившей и медленно умирающей девушки, сумевшей из бедных останков собственной тающей жизни построить счастье других людей, заложена такая прекрасная, такая гуманная, да что там — святая мысль, что хочется снять шляпу перед писателем, чья душа выносила столь чистый, светлый, высокий образ добра.

Подобно многим моим соотечественникам, я узнал и полюбил Эрве Базена по его романам, составившим трилогию «Семья Резо». Но как ни хороши эти романы с поистине эпическим образом Грозной Матери, меня не оставляло подозрение, что Эрве Базен пахал тут по пару Мориака и что обостренность чувства, пронизывающего эти романы, порождена скорее литературной традицией, нежели мировосприятием автора, ведь во всех других произведениях (оставим в стороне «Встань и иди») Базен куда спокойнее, рассудительнее, объективнее. Но наверно, я ошибаюсь, и острота трилогии — от едкой памяти детства, сохранившей боль и жгучую обиду оскорбленной юной души.

В последующих произведениях, также посвященных семейным проблемам, — видимо, это область главных интересов Эрве Базена, — он все более и более становится хладнокровным аналитиком: ни пристрастия, ни гнев, ни чрезмерная любовь, ни художественный каприз, ни своеволие раскованной творческой личности не нарушают размеренного, последовательного, продуманного и точного, как урок анатомии,

исследования того или иного аспекта семейной жизни, будь то чужой ребенок, супружеская измена, развод и т. п.

Базен так убежден в серьезности, доброкачественности, равно и в нужности людям своей почти научной работы, что не старается быть занимательным, ярким, обаятельным, изящным, искрящимся — все те эпитеты, которые обычно прилагаются к талантливой французской прозе, включая прозу самого Базена более раннего периода, отпадают, когда речь идет о его последних романах. Тут уместны другие слова, более употребительные в науке: скрупулезность, выверенность, добросовестность, исчерпанность. Базен ничуть не стремится увлечь читателя. «Супружеская жизнь» откровенно, даже вызывающе скучна, не блещет занимательностью, и последний из опубликованных у нас романов — «Анатомия одного развода». И все-таки это настоящая литература (особенно второй роман), которая останется, в то время как многие произведения, вызвавшие шумный восторг современников, не пережили своих создателей. Попробуйте перечитать некогда скандально знаменитые романы Андре Жида «Имморалист» и «Фальшивомонетки» — до чего же наивно, до чего пусто и ненужно!

Эрве Базен, конечно, очень привязан к миру, который изображает: для него поэтична и значительна тут каждая малость, он не скупится на подробности и никуда не спешит, подвергая жестокому испытанию долготерпения читателя. Читаешь «Анатомию одного развода» и думаешь: Господи, жизнь так коротка, а Эрве Базен так длинен! — и если не бросаешь чтения, так лишь из доверия и пиетета к создателю семейной хроники Резо и образа волшебной калечки. И терпение твое вознаграждается, ибо в замедленном повествовании с тьмой одуряющих подробностей обрисовывается постепенно и наконец предстает жгучей явью удивительнейшая фигура брошенной жены Алины Давермель, в девичестве Ребюсто.

Конечно, лишь окончательная зрелость души и таланта способна создать такой сложный и сильный образ. Внешне да и внутренне непривлекательная, раздражающая до зубовного скрежета, Алина в конце концов растопляет ваше сердце каким-то последним прозрением о горестной и милой человеческой сути. Спокойно и неумолимо ведет Эрве Базен свою жалкую героиню по всем кругам житейского ада, заставляет ее пройти все виды унижения, совершить все допустимые и недопустимые глупости, оплошности, нелепости, потерять все, что только можно потерять, стать полукалекой и безжалостно лишает ее даже малого реванша. Но реванш этот неожиданно происходит в сердце читателя. Нет, ты не берешь ее сторону, но вдруг открываешь в ней свою бедную сестру в человечестве. И она становится ближе тебе, чем ее корректный, преуспевающий и вроде бы во всем правый муж. Ее незащищенность — это твоя незащищенность, ее слабость — твоя слабость, ее неравная борьба — твоя борьба.

Не знаю, рассчитывал ли Эрве Базен заранее на тот страшный эффект, которого достигает роман в изображении долгой и мучительной тяжбы между супругами Давермель. Поначалу удивляешься с оттенком почтительности все предусматривающей — до изощренности — законодательной и процессуальной системе «развода по-французски». Здесь оговорен каждый шаг, учтены все варианты поведения сторон, малейшие отклонения от буквы закона. Разведенные супруги и дети их стиснуты железными обручами устоявшихся во времени, всепроникающих, не оставляющих никаких щелей, точных и ясных предписаний закона. Но не восхищение, а какой-то душный ужас охватывает тебя под конец романа перед чудовищной, бессердечной, уничтожающей человеческое в человеке машиной буржуазного правосудия. Закон вынуждает участников семейной драмы жертвовать теми хрупкими, но бесконечно важными душевными и нравственными ценностями, которые уже никогда не восстановятся. И проиграв-

шие, и выигравшие несут почти равный моральный ущерб. В этой горькой правде — сила романа Эрве Базена. И в жалко-гадко-величественном образе мадам Давермель-Ребюсто, павшей в безнадежной борьбе за то высшее, не сформулированное в сводах законов и не гарантированное ими женское право, куда более важное, нежели сохранение семьи и неверного мужа. Вот что подымает «Анатомию одного развода» над традиционным французским семейным романом.

«Эссе» было перепечатано журналом «Lettres Soviétiques», я получил авторские экземпляры и по счастливому стечению обстоятельств почти тут же отправился на три месяца в Париж — частное приглашение. Глядишь, в замок пригласят — загремят ржавые цепи, медленно опустится мост из толстых бревен, сбитых железными скобами, и я ступлю во владения рыцаря Базена!..

В Париж я попал в интересное, острое и крайне тревожное время: шли выборы в Национальное собрание, и в предварительных турах верх взяли коммунисты. Теперь все зависит от третьего, заключительного тура. Или к власти приходит коммунистическая партия и начинается новая эпоха в жизни Франции, или все останется по-прежнему — и буржуа могут спать спокойно, во всяком случае, до следующих выборов.

По чести, я слабо разбирался в происходящем — незнание языка делало недоступными все средства массовой информации, а мои милые хозяева отличались редкой в наши дни политической наивностью. В своем невинном прекрасноразумии они тихо радовались победе Марше, в которой не сомневались, и считали, что все окружающие разделяют их чувства. Но пожалуй, их больше волновали ставки, которые они делали каждую неделю в тотализаторе: темная лошадка, взяв первый приз, могла скорее разрешить все материальные трудности, нежели сложный процесс социальных преобра-

зований. Правда, к ним иногда захаживали радикально настроенные друзья, в том числе чернобородый, симпатичный и умный молодой инженер Жак, член Французской компартии. От него я узнал, что все обстоит не так просто: перед лицом реальной угрозы лишиться власти буржуазные партии забудут все раздоры, противоречия и объединятся, чтобы осилить коммунистов. К тому же неясно, как поведет себя социалист Миттеран, — словом, борьба впереди.

Жак рассказывал о панике, царящей среди крупной и средней буржуазии и постепенно распространяющейся на буржуазное мелководье: капиталы переводятся в Швейцарию, Бельгию, Голландию, за океан, биржу лихорадит, франк падает, многие компании и фирмы горят — нет заказов, сворачивается производство, остановилось всякое частное строительство, упали цены на квартиры в фешенебельных районах, а замок вскоре можно будет купить на блошином рынке. И хотя нет ни волнений, ни демонстраций, в воздухе пахнет грозой.

Со стороны, к тому же в речевом вакууме, этому трудно было поверить: жизнь шла своим чередом, все так же нескончаем поток машин на улицах, так же полны кафе на Елисейских полях и кольца Больших бульваров, битком набиты рестораны Монпарнаса, бистро Латинского квартала и Монмартра, сияют витрины драгоценной улицы Сент-Оноре, безумствуют огни реклам, соблазнительные афиши заывают в Мулен-Руж, Фоли-Бержер, Лидо, Крезидорс; в Помпиду-центре — грандиозная выставка Казимира Малевича, в Новом музее — импрессионисты из частных собраний, в Комеди-франсез — премьера, в кино — гомерически смешная и непристойная «Дочь стрелочника», новые фильмы с вампиром Дракулой и «Флеш-Гордон» — космическое путешествие на звезду «Секс»; жене похищенного миллионера барона Ампе прислали сустав пальца мужа — тонкий намек, что он еще жив и может вернуться домой, если не тянуть с выкупом

(доверчивые похитители не представляли себе выдержки несчастной женщины и ловкости полиции, которой нужна была лишь малая зацепка), — словом, жизнь была ключом, но все это на поверхности, а в глубине вершила свои дела обузданная расчетом и волей ярость власть имущих, намертво вклевившихся в эту власть.

Но по-настоящему все это открылось мне позже, когда выборы остались позади и жизнь начала входить в прежнюю колею.

Погода была тревожной и в политическом, и в геодезическом смысле: весна никак не палаживалась — дожди со снегом, промозглый ветер, тяжелый для дыхания влажный воздух, пониженное атмосферное давление. Я почувствовал, что скисаю, и, дабы взбодриться, решил осуществить свое заветное желание — пайти Базена. Но как за это взяться? Я не знал ни его адреса, ни телефона, справочное бюро хранит покой великих, а мои хозяева были бесконечно далеки от литературного мира. В издательстве «Галлимар», пожелавшем меня видеть в связи с выходом моего сборника «Чистые пруды», замороженный вежливо-ледяным обращением, я не решился спросить о Базене. И тут неожиданно-негаданно на моем пути появился сказочный человек: волосы что спелая пшеница, бронзовое лицо, испещренное под слоем загара, если внимательно приглядеться, россыпью веснушек, прозрачно-зеленые глаза и белые, как кипень, зубы. Был этот человек как праздник: яркий, улыбчивый, лучащийся добротой, но не беззащитный, как часто бывает с такими людьми, а прочный и сильный.

Звали его редким именем Евлампий, он был корреспондентом по Франции одной из наших центральных газет. Он узнал от общих знакомых, что я томлюсь в Париже, точнее, под Парижем, разыскал по головоломному адресу и предложил свою помощь. Я уже говорил, что он был — как из сказки, а этот жанр обладает своими законами. Если тебе нужна

Жар-птица, то начинай с одного огнистого пера... К тому же мои парижские интересы не замыкались на Базене, и я попросил отвезти меня на могилу Бунина. Не откладывая дела в долгий ящик, мы тут же отправились на машине Евлампия, которую он водит, как Ники Лауда, на кладбище Сент-Женевьев де Буа, километрах в тридцати от Парижа.

Поклонились мы могиле лучшего русского рассказчика, положили по цветку к подножию странного, будто мальтийского креста, постояли и вернулись к машине. Евлампий открыл портфель, достал бутылку красного вина «Божеле», пластмассовые стаканчики, наполнил их.

— За Ивана Алексеевича Бунина! — сказал он.

Я уже не сомневался, что передо мной — человек сердца, к нему можно обратиться с любой просьбой, он не откажет.

И я попросил Евлампия отыскать Эрве Базена и свести меня с ним.

— Разыскивать Базена нечего, он завтра будет в Париже. Мы давно знакомы, и у нас одно любимое кафе.

С легким удивлением я заметил, что Евлампий не отозвался на мою просьбу, ограничившись информацией о перемещении Базена в пространстве.

Очевидно, надо было обосновать свои претензии на знакомство с президентом Гонкуровской академии.

— Мы лишь случайно не встретились в Москве. Он дважды собирался ко мне за город, но всякий раз что-то мешало. Недавно вышла моя статья о нем — по-французски.

— Вы взяли ее с собой? — быстро спросил Евлампий.

— Конечно!

— Дайте ее мне. Это лучшая визитная карточка. А как вы думаете, помнит он вас?

— По моему представлению о писательской памяти — должен помнить.

— Вы хоть не ругаете его?

— Превозношу до небес!

— Ну, тогда дело в шляпе, — сказал Евлампий и — как в воду канул.

Я не был на него в претензии: приближался третий, решающий тур выборов, дело заваривалось круто, и Евлампий был занят сверх головы. Наконец напряжение разрядилось. Буржуазные партии сманеврировали и с незначительным перевесом одержали победу.

Евлампий явился разочарованный результатами выборов, но с оливковой ветвью в руке: Базен готов встретиться со мной в своем кафе, несмотря на загруженность академическими делами.

— Даже статьи не понадобилось, — сказал Евлампий. — Я так замотался, что не помню, куда ее сунул. — И он торжественно назвал дату встречи.

Как раз утром этого дня мы с женой уезжали машиной на юг. Изменить что-либо было не в наших силах...

Досадная неудача. Но я сказал себе: разве любя, и читая, и перечитывая книги Эрве Базена, я не встречаюсь с ним — стоит лишь захотеть? И над этим, самым важным, общением не властны никакие обстоятельства.

Всегда в атаке



человек независтливый, но если бы это томительное чувство было свойственно мне, я завидовал бы моему другу Роману Кармену. Судьба оказалась на редкость щедрой к нему, дав соприкоснуться едва ли не со всеми значительными, ключевыми событиями, которыми так богат наш бурный, тревожный, грозный век. Посудите сами: он захватил пуск Волховстроя, предтечи великих строек первых пятилеток; участвовал в Каракумском пробеге, который возглавлял легендарный Иван Лихачев, отец советского автомобилестроения; воевал в Испании, где фашизм впервые опробовал свои когти; зимовал в бухте Тихой, на острове Рудольфа, после долгих поисков Леваневского, потерпевшего аварию в районе полюса; ходил с молодой революционной китайской армией; прошел всю Великую Отечественную войну, от тяжких оборонительных боев первых ее месяцев до штурма Берлина и капитуляции гитлеровского вермахта; он запечатлел на пленке героический труд нефтяников Каспия, победу революции на Кубе, сражающийся Вьетнам, борющиеся за свою свободу и независимость страны Латинской Америки.

Как хорошо говорит он об этом сам в своей книге «Но напаран!»: «Мысленно вглядываюсь в образы людей, запе-

чатленных на пленку, — их множество! Они через годы смотрят на меня, словно говорят: «Помнишь?» Помню. Испанский крестьянин в окопе под Уэской, колхозница Анна Масопова, богатырь-шахтер Никита Изотов, китайский партизан, раненый, с искаженным от боли лицом, нефтяник Михаил Каверочкин, полярный летчик Илья Мазурук, Хемингуэй в блиндаже на Хараме, умирающий от голода на обледелом Невском безымянный ленинградец, Че Гевара, смотрящий на меня усталым, мечтательным взглядом... Сотни, тысячи лиц, глаз, человеческих судеб, с которыми сплеталась и моя судьба. Помню их. И тех, кто ненадолго мелькнул, запечатленный на пленку, и тех, кто стал частицей жизни кинооператора, кого повстречал и с кем породнился в море, в поле, в бою, во льдах, на родной земле и на далеких меридианах»...

Право, он столько видел, будто прожил Мафусаилов век; а между тем, по нынешнему научному раскладу, Кармен находился всего лишь в пожилом возрасте, язык не повернется сказать: в преддверии старости, настолько не идет это слово к сухопарому, легкому, энергичному и мобильному человеку.

Роман Кармен очень рано начал. Сын талантливого и популярного в свое время писателя, забитого белогвардейцами в одесской тюрьме, он остался с матерью без средств к существованию и почти мальчиком вынужден был пойти работать. Но было и еще одно, не менее важное, что определило раннюю профессионализацию Кармена, — властный зов неведомого, сурового и бесконечно притягательного мира. И в этот мир с камерой-зеркалкой в худых руках бесстрашно шагнул шестнадцатилетний фоторепортер «Огонька».

До чего же я не прав, приписав жизненную удачу Роману Кармена щедрости судьбы. Кармен сознательно и целеустремленно прокладывал свой путь. Влюбленный в революцию, в труд и подвиг, в Человека с большой буквы, он с молодости рвался туда, где жарко и опасно, где творятся самые боль-

шие дела, где борются за свободу и будущее, где решаются важнейшие проблемы века и где человек предстает во весь рост — герой, труженик, покоритель стихий, защитник слабых и угнетенных, неутомимый борец за высшие социальные, моральные и нравственные ценности, устроитель завтрашнего дня. Потому и кидало Кармена по всему миру: от Волхова в Каракумы, от строек пятилетки в борющуюся Испанию, от архипелагов Франца Иосифа в Китай. В Отечественную войну Роман Кармен оказывался всякий раз на полях решающих сражений, будь то под Москвой незабываемым декабрем 1941 года или в Сталинграде 1943-го. Он снимал в блокадном Ленинграде и видел, как взвилось красное знамя над рейхстагом. Не в подарок давалось Кармену быть свидетелем ключевых моментов современной истории, глядеть в глаза величайшим людям эпохи: государственным деятелям, военачальникам, героям; сопутствовать Фиделю Кастро в поездке по Кубе, доверительно беседовать с президентом Альенде, дружить с Че Геварой, маршалом Рокоссовским, Долорес Ибаррури. Человек бесстрашно шел в огонь, он мог сгореть и не вернуться, но — и это действительно принадлежало державе удачи — возвращался, отплевывая гарь и кровь, и, будто спасенное дитя, выносил оттуда потрясающие кадры своих кинопорепортажей и больших документальных фильмов, строки и главы книг, новую дружбу и уважение тех, кто тоже не боится огня.

Казалось бы, лишне говорить о храбрости Кармена, самого отчаянного в лихом содружестве наших кинохроникеров, храбрости, которая удивляла выдавших виды испанских бойцов-республиканцев и советских воздушных асов, но мне хочется сказать о любопытной окраске этой храбрости. Бывает смелость от притупленного инстинкта самосохранения. Человек с дремлющим воображением просто представить себе не может ни истинных размеров опасности, ни степени риска и, главное, собственной гибели. Во время войны я не

раз сталкивался с людьми, которые в страшном самообольщении всерьез считали, что их не возьмет ни пуля, ни осколок, ни штык. Кармена никак не отнесешь к таким наивно-самоуверенным молодцам. Он человек с очень живым и сильным воображением, вовсе лишенный спасительных суеверий. В своей книге «Но пасарап!» он без малейшего кокетства рассказывает, как ему было страшно в начальную пору войны. Но читаешь об этом с улыбкой, ибо страхи Кармена сродни бесстрашию, чего он сам вовсе не замечает. Если Кармену нужен тот или иной кадр, он не раздумывая полезет за ним в любое пекло, в жерло действующего вулкана, в паровозную топку, оседлает космическую ракету, кипится под колеса поезда. Но зачем предположения — семь боевых вылетов на бомбардировщике совершил Кармен в качестве стрелка-радиста из-за кадра, которого никто от него не требовал, кроме его профессиональной совести: как падают из люка самолета фугасные бомбы...

Источник непоказной храбрости Кармена — в его высочайшем профессионализме, беззаветной преданности своему орудию и оружию — кинокамере. Кармен поистине рыцарь документальной кинематографии, возведенной им в ранг высокого искусства. Да, такие люди, как Роман Кармен и немногие равные ему по таланту и мастерству, создали новый, наисовременнейший вид искусства — документально-хроникальный кинематограф.

Роман Кармен начинал как фоторепортер и в дальнейшем — скажем, в дни Отечественной войны — случалось, вспоминал о своей первой профессии, по истинное призвание его — кинокамера. Тем не менее Кармен с благодарностью вспоминает о годах фоторепортерской работы, считая, что они много дали ему и в жизненном, и в рабочем плане. Довольно скоро он перерос амплуа кинохроникера и, не бросая оперативного репортажа, стал создавать большие документальные фильмы, выступая в них и оператором, и режиссером, и зача-

стю сценаристом. Но хотя Кармен умеет в своей профессии все: и снимать, и организовать снятый материал, и оснащать его ярким литературным словом, что непозитивно называется дикторским текстом, в нем нет всеядности, того узурпационного комплекса, который поражает не только документалистов, но, что особенно печально, режиссеров художественных фильмов: Роман Кармен, обладающий универсальностью в рамках хроникальной кинематографии, нередко привлекает к сотрудничеству и операторов, и писателей, и журналистов.

Каждый большой документальный фильм Р. Кармена становится событием и в художественной, и в общественной жизни страны. Последнее не удивительно: он не возится с пустячками, не эстетствует, а берет главное, то, что затрагивает всех людей. И это познавательное, информационное подается в его фильмах на высоком эмоциональном накале, властно вовлекающем зрителя в сопереживание происходящему на экране.

В кратком очерке нет возможности проанализировать эстетическую природу искусства Кармена. Понадобился бы подробный, скрупулезный разбор двух-трех его больших фильмов, а это уже исследовательская работа, потому я лишь коснусь некоторых, быть может и не главных, особенностей его творческой манеры.

Те, кто смотрел «Повесть о нефтяниках Каспия», наверняка запомнили мастера Михаила Каверочкина, героически погибшего на морской буровой во время жестокого шторма. Гибель всегда возносит героя, и порой даже слабый художественный образ обретает значительность и ложится в память зрителей в силу трагического исхода. Не то с Каверочкиным. Еще ничего не зная о подготовленной ему участи, вы начинаете любить этого человека, радоваться его появлению на экране, его простые, добрые, сильные черты чаруют вас ощущением родности. А ведь он не играет, не позирует перед объективом, показывая товар лицом, — бывает и такое в хро-

нике, только не у Кармена, — он, мастер Каверочкин, живет своей жизнью, своими заботами и даже порой не ведаёт, что на него нацелен киноглаз. В этом и проявляется замечательное искусство Кармена — дать на экране прекрасное живое человеческое лицо. Казалось бы, чего тут хитрого? На деле же перед этой задачей порой отступают и крупнейшие мастера. Человек далеко не всегда бывает равен самому себе, даже похож на себя. Общеизвестно, что лицо — зеркало души, но лишь в определенные мгновения, минуты или часы. Иногда это зеркало ровным счетом ничего не отражает. Человек зачастую погружен в некий внутренний сон, не мешающий ему при этом участвовать во внешней жизни, он бывает и мелочно озабочен, утомлен, подавлен, равнодушен и не мил самому себе. Боже упаси запечатлеть тогда зеркало его обесценившейся временно сути. И вот Кармен прозорливо угадывает тот высший момент в человеке, когда он находится во «внутреннем фокусе», когда все самое важное, характерное, ценное и значительное в нем организует его лицо, отражается в глубине зрачков, в неуловимых волнующих тенях, пробегающих по челу, в скрытом, но ощущаемом, как ток, напряжении.

А удивительное лицо героя и мученика Чили — президента Альенде в фильме «Пылающий континент»! Режиссер показывает Альенде в разных планах — и за решением важных государственных дел, и на трибуне, но сильнее всего трогает кадр, где Альенде участвует в субботнике. Немолодой, кабинетный, порядком усталый человек выходит вместе со всеми в день, отведенный для отдыха, потрудиться на благо родной страны. Мы, зрители, словно заглядываем в самую душу, чистую, возвышенную душу президента-марксиста. Вот что делает настоящая кинохроника!

Удивительны в «Пылающем континенте» лица перуанских крестьян, кубинских революционеров, панамских студентов. Эти кинопортреты, говорящие так много о современ-

ном человеке, заставляют вспомнить великую портретную галерею, созданную старыми живописцами и дающую для постижения прошлого больше, чем толстые исторические фолианты. Ведь настоящий портрет не только психологичен, но и социален, он характеризует и модель, и эпоху.

Еще об одной особенности творческого почерка Р. Кармена хотелось бы мне сказать. Он мастер паузы и контрапункта, придающих его фильмам особую объемность, многомерность. Экран — плоскость, Кармен превращает его в рельеф. Вспомните довольно большой кусок из «Пылающего коптилента», где стареющий красавец, матадор века Домингини, которого Хемингуэй называл «смесью Гамлета и Дон Жуана», ведет напряженный, долгий и мастерский бой с огромным быком. Вроде бы излишняя щедрость — уделять столь много места в остросоциальном, трагически серьезном и вместе одухотворенном революционной романтикой фильме пустой забаве. Нет! И дело не только в том, что зрителю необходима разрядка, иначе отказывает воспринимающий аппарат, и не в том даже, что волнующее зрелище корриды неотделимо от душевного комплекса латиноамериканцев, а в чем-то более сложном и подспудном. Смуглое, в бисеринах пота лицо Мигеля Домингина и вся его гибкая напряженная стать, с одной стороны, как бы совпадают с темой яростной борьбы, главной темой фильма, с другой — в силу бесцельности риска матадора — контрастируют, отчего острее чувствуешь, где истинные, а где мнимые ценности. Вот сколько разных и сложных художественных задач решает Роман Кармен одной вроде бы необязательной сценой. Это и есть талант, то не до конца объяснимое, что отличает произведение искусства от мастеровитой ремесленной поделки.

Р. Кармен в каждом фильме проводит несколько линий, создающих гармоническое целое (контрапункт), он умеет находить кульминацию, оттого фильмы его так композиционно прочны и при монументальности своей изысканны. И надо

ли говорить, что у такого страстного, одушевленного большими идеями художника форма никогда не бывает самоцелью, а возникает естественно из глубины материала.

О Кармене часто говорят: железный человек. Ах, если бы он был действительно железным! Но он, как и все мы, состоит из мягкой человеческой плоти, подверженной и слабости, и болезни. Тяжелый инфаркт подшиб Кармена, как стрела летящую птицу. Он болел долго и трудно, но одолел недуг. Обычно люди, прошедшие через такое, резко меняют образ жизни: выходят на пенсию или сводят к минимуму свои трудовые усилия, словом, начинают вести «ватное» существование. Не таков Кармен. Едва поправившись, он уже вел съемки в Южной Америке, взбирался на Кордильеры, обливался потом в пампасах, коченел на Огненной Земле. Он не изменил ни одной своей привычке: засиживался до глубокой ночи с интересным собеседником, мчался за сотни верст по бездорожью единого кадра ради, работал так, как может работать, наверное, один Кармен. Он делал это не из бравады, не из желания доказать что-либо себе или другим, не из пренебрежения к жизни, которую яростно любил, а потому, что такой вот Кармен его устраивал, никогда не подводил, и, стало быть, незачем что-либо менять в себе.

Кармен снял великолепную картину, написал новую книгу, и снова его подсекла болезнь. И опять он вывернулся, не дал уложить себя на лопатки.

...Эти последние слова я пишу, когда моего друга Романа Кармена уже нет на свете. Но перед уходом навсегда он завершил свой самый значительный труд — многосерийную хронику Великой Отечественной войны. В фильме принимало участие несколько совестливых американцев (в том числе знаменитый артист Берт Ланкастер — он читал дикторский текст), полагавших, что пора наконец их соотечественникам узнать о «неизвестной войне». Поэтому они так и называли в телепостроке этот потрясающий жестокой прав-

дой фильм, где честным языком кинохроники поведано, чего стоил советским людям и советской армии разгром фашизма. Очень не по себе делается, когда подумаешь, что самая страшная в истории человечества война, миллионные жертвы, обращенные в щебень города, сожженные села и деревни, ставшая сплошной окалиной земля, — столько приняла в себя раскаленного металла и огня, — весь Апокалипсис XX века оставался неведом заокеанскому народу. Конечно, американцы тоже сражались, и мы чтим подвиг отважных парней, особенно морских пехотинцев, — мы-то знаем об их войне, пусть — и тут не существует двух мнений — несоизмеримой по масштабам и жертвам с нашей, которую в США умудрились не заметить.

Роман Кармен до последнего вздоха, днем и ночью, монтировал эту единственную в своем роде хронику и не дал себе умереть, пока не убедился, что фильм есть. Он ушел так же великолепно, так же щедро, как жил: большая группа его сотрудников удостоилась за картину Ленинской премии. Из разжавшихся пальцев умирающего мастера высыпалось золото... Сам Роман Кармен имел все награды и все звания, какие только можно, но высшая награда была в его собственном сердце — труженика и солдата.

Содержание

Итальянская тетрадь	
Кондогьер	5
Вечерняя прогулка к термам Каракаллы	12
Поэт	21
Животный мир Италии	25
Якопо Тинторетто	35
Вермеер Дельфтский	61
Марк Шагал	88
Владимир Татлин	114
Что сказал бы Гамлет	143
Летающие тарелочки	167
Возвращение Акиры Куросавы	253
До новой встречи, Алан!	294
Островитянин. Сон о Юхане Боргене	328
Голландия Боба ден Ойла	362
Счастливчик Хейли	392
В поисках Лассила	419
Огнепоклошники	471
Два старика	489
Еще раз о бое быков	501
Моментальные фотографии	
Мадемуазель	515
Художник	521
Среди хищников	522

Чайки умирают в гавани	527
И всюду страсти роковые... ..	533
Александр I	544
Несчастный случай	550
Историческая гумба	559
Зачем мне такая жена?.. ..	564
Дети не должны знать	573
Улыбка Джоконды	579
Луковый суп	596
Неостывший пепел	606
О Лескове	614
«...Так хорошо и страшно»	640
Андрей Платонов в театре	643
Ничто не кончилось	654
Перечитывая друга... ..	660
Хранитель лукоморья	668
Неуловимый Базен	679
Всегда в атаке	692

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:

Москва

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 86, к. 1
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, к. 1
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- м. «Пушкинская», «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- м. «Сокол», Ленинградский пр., д. 76, к. 1, Торговый комплекс «Метромаркет», 3-й этаж, тел. 781-40-76
- м. «Сокольники», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- м. «Таганская», «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, тел. 322-28-22
- Торговый комплекс «ХЛ», Дмитровское шоссе, д. 89, тел. 783-97-08
- Торговый комплекс «Крокус-Сити», 65—66-й км МКАД, тел. 942-94-25

Регионы

- г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
- г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
- г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
- г. Краснодар, ул. Красная, д. 29, тел. (8612) 62-55-48
- г. Курск, ул. Ленина, д. 11, тел. (0712) 22-39-70
- г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/16, тел. (8312) 33-79-80
- г. Новороссийск, сквер имени Чайковского, тел. (8612) 68-81-27
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 15, тел. (88632) 35-99-00
- г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1 / Волжская наб., д. 107, тел. (0855) 52-47-26
- г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62, тел. (0912) 20-55-81
- г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 4, тел. (0812) 65-53-58
- г. Тула, пр. Ленина, д. 18, тел. (0872) 36-29-22
- г. Череповец, Советский пр., д. 88а, тел. (8202) 53-61-22

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:

(095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Литературно-художественное издание

Нагибин Юрий
Улыбка Джоконды
Сборник

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерная верстка: С.Б. Клецёв
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Е.А. Лазарева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ОАО «ВЗОИ»
143000, Московская обл., г. Одинцово-6, ул. Союзная, д. 7

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.



Юрий Нагибин.

Классик русской литературы.

Непревзойденный художник, чья изысканная проза
восхищала современников — и не утратила
своего очарования сегодня.

Безупречный знаток СЛОВА, мастер СЮЖЕТА,
виртуоз МЫСЛИ, каждое из произведений которого —
настоящая жемчужина.

ISBN 5-17-021233-X



9 785170 212330